VISIT…

# Annotation

В настоящий том вошли повесть «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из Мертвого дома» и фельетон «Петербургские сновидения в стихах и в прозе», написанные и опубликованные Достоевским в 1859–1862 гг. Это было время возвращения писателя в литературу после вынужденного десятилетнего (с 1849 г.) перерыва, время выработки его новых творческих позиций.

http://rulitera.narod.ru

---


- Федор Михайлович Достоевский
  - Село Степанчиково и его обитатели
    - 
    - Часть первая
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
      - VII
      - VIII
      - IX
      - X
      - XI
      - XII
    - Часть вторая и последняя
      - I
      - II
      - III
      - IV
      - V
      - VI
  - Записки из мертвого дома
    - Часть первая

        - Введение
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
    - Часть вторая
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
  - Петербургские сновидения в стихах и прозе
        -
        - Ода петербургских камелий новому поэту*
  - Примечания
        -
        - Село Степанчиково и его обитатели
        - Записки из мертвого дома
        - Петербургские сновидения в стихах и прозе
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42

- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79

- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51

- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88

- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125

- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162

- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199

- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236

- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273

- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300

# Федор Михайлович Достоевский
# Собрание сочинений в пятнадцати томах
# Том 3. Село Степанчиково и его обитатели. Записки из Мертвого дома.

# Село Степанчиково и его обитатели

***Из записок неизвестного***

# Часть первая

## I
## Вступление

Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Есть натуры решительно всем довольные и ко всему привыкающие; такова была именно натура отставного полковника. Трудно было себе представить человека смирнее и на всё согласнее. Если б его вздумали попросить посерьезнее довезти кого-нибудь версты две на своих плечах, то он бы, может быть, и довез: он был так добр, что в иной раз готов был решительно всё отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным, раскатистым смехом; говорил отрывисто и скороговоркою. От роду ему было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет, он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до шестисот душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми: восьмилетним Илюшей (рождение которого стоило жизни его матери) и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет пятнадцати, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе, в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось.

В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крахоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала, назад лет шестнадцать, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла

его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности; доказывала, что имения его, двухсот пятидесяти душ, и без того едва достаточно на содержание его семейства (то есть на содержание его маменьки, со всем ее штабом приживалок, мосек, шпицев, китайских кошек и проч.), и среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже сорока двух лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтоб иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист, ее сын, задумав непростительную дерзость: завестись своим домом.

Я никогда не мог узнать настоящую причину, побудившую такого, по-видимому, рассудительного человека, как покойный генерал Крахоткин, к этому браку с сорокадвухлетней вдовой. Надо полагать, что он подозревал у ней деньги. Другие думали, что ему просто нужна была нянька, так как он тогда уже предчувствовал весь этот рой болезней, который осадил его потом, на старости лет. Известно одно, что генерал глубоко не уважал жену свою во всё время своего с ней сожительства и язвительно смеялся над ней при всяком удобном случае. Это был странный человек. Полуобразованный, очень неглупый, он решительно презирал всех и каждого, не имел никаких правил, смеялся над всем и над всеми и к старости, от болезней, бывших следствием не совсем правильной и праведной жизни, сделался зол, раздражителен и безжалостен. Служил он удачно; однако принужден был по какому-то «неприятному случаю» очень неладно выйти в отставку, едва избегнув суда и лишившись своего пенсиона. Это озлобило его окончательно. Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сложил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, никогда не справлялся, чем он живет, кто содержит его; а между тем требовал жизненных удобств, не ограничивал расходов, держал карету. Скоро он лишился употребления ног и последние десять лет просидел в покойных креслах, подкачиваемых, когда было нужно, двумя саженными лакеями, которые никогда ничего от него не слыхали, кроме самых разнообразных ругательств. Карету, лакеев и кресла содержал непочтительный сын, посылая матери последнее, закладывая и перезакладывая свое имение, отказывая себе в необходимейшем, войдя в долги, почти неоплатные по тогдашнему его состоянию, и все-таки название эгоиста и неблагодарного сына осталось при нем неотъемлемо.

Но дядя был такого характера, что наконец и сам поверил, что он эгоист, а потому, в наказание себе и чтоб не быть эгоистом, всё более и более присылал денег. Генеральша благоговела перед своим мужем. Впрочем, ей всего более нравилось то, что он генерал, а она по нем — генеральша.

В доме у ней была своя половина, где всё время полусуществования своего мужа она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек[*]. В своем городке она была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и посаженые матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, — словом, она извлекла из своего генеральства всё, что могла извлечь. Генерал во всё это не вмешивался; но зато при людях он смеялся над женою бессовестно, задавал, например, себе такие вопросы: зачем он женился на «такой просвирне»? — и никто не смел ему противоречить. Мало-помалу его оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях.

Но слушатели городка N* не жаловали высоких материй и становились всё реже и реже. Пробовали было завести домашний вист-преферанс; но игра кончалась обыкновенно для генерала такими припадками, что генеральша и ее приживалки в ужасе ставили свечки, служили молебны, гадали на бобах и на картах, раздавали калачи в остроге и с трепетом ожидали послеобеденного часа, когда опять приходилось составлять партию для виста-преферанса и принимать за каждую ошибку крики, визги, ругательства и чуть-чуть не побои. Генерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. Наконец, по слабости зрения, ему понадобился чтец. Тут-то и явился Фома Фомич Опискин.

Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главнейших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя — объяснять не

стану: такой вопрос приличнее и возможнее разрешить самому читателю.

Явился Фома Фомич к генералу Крахоткину как приживальщик из хлеба — ни более, ни менее. Откуда он взялся — покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал и уж, разумеется, «за правду». Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет; грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось и что наконец он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе; что генерал был его благодетель; что это был человек великий, непонятый и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей; что, наконец, если он, Фома, и изображал собою, по генеральскому востребованию, различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтоб развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга. Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению; а между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил — трудно представить неспециалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение, — за что? — неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных иван-яковличей* и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях; рассказывал свою жизнь и подвиги; ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее; особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще

беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев.

Наконец всё переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников. Служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, — одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во всё время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и безответною кротостью, — подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через десять он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные — разумеется, на счет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза.

В разоренном селе Князёвке, принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосек, что скорее будет есть сухой хлеб и, уж разумеется, «запивать его своими слезами», что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склонится на просьбу «непокорного» переехать к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его! Вообще слово нога, употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски,

художественно произносила его… Словом, красноречия было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по сороку верст из Степанчикова в город, и только через две недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти две недели он укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается всё непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое.

— Каково же будет вам, — говорил Фома. — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее, дрожащими и иссохшими от голода руками начнет в самом деле испрашивать себе подаяния? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? Каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой — но ведь это может случиться — под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и… ну, вообще в роскоши! Ужасно, ужасно! но всего ужаснее то — позвольте это вам сказать откровенно, полковник, — всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи… что я говорю! реки, озера, моря, океаны слез!..

Словом, Фома, от излишнего жара, зарапортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша, вместе с своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила наконец своим прибытием Степанчиково. Она говорила, что только *попробует* жить у сына, покамест только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника,

покамест испытывали его почтительность! Сначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и пятнадцатилетнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей, погибших у *такогоотца*, глубоко и тяжело вздыхала и наконец заливалась безмолвными таинственными слезами по крайней мере на целый час. Горе полковнику, если он не умел *понять* этих слез! А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда, по наивности своей, подвертывался, как нарочно, в такие слезливые минуты и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и наконец дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крахоткина, — прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг, ни с того ни с сего, покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня. Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист.

— Жестокий сын! — кричит генеральша, очнувшись, — ты растерзал мои внутренности… mes entrailles, mes entrailles!..[1]

— Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности? — робко возражает полковник.

— Растерзал! растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! умираю!..

Полковник, разумеется, уничтожен.

Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Чрез полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу:

— Ну, да ведь она, братец, grande dame,[2] генеральша! добрейшая старушка; но, знаешь, привыкла ко всему эдакому утонченному… не чета мне, вахлаку! Теперь на меня сердится. Оно, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват…

Случалось, что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в

огуречном рассоле, считала своею обязанностью прочесть наставление полковнику:

— Это оттого, что вы непочтительны-с. Это оттого, что вы эгоисты-с, оттого вы и оскорбляете маменьку-с; они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с, а вы еще только полковники-с.

— Это, брат, девица Перепелицына, — замечает полковник своему слушателю, — превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку! Редкая девица! Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь; она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как!

Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала как мышка перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что, по его глубочайшему убеждению, генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое, и это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича так, как я сам его понял впоследствии.

Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что всё это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. Может быть, спросят: откуда берется такое самолюбие? как зарождается

оно, при таком полном ничтожестве, в таких жалких людях, которые, уже по социальному положению своему, обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж позвольте спросить: уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, — уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом?.. Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбою скитальцев, ваших шутов и юродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может, в детстве гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах? Но я сказал, что Фома Фомич есть к тому же и исключение из общего правила. Это и правда. Он был когда-то литератором и был огорчен и не признан; а литература способна загубить и не одного Фому Фомича — разумеется, непризнанная. Не знаю, но надо полагать, что Фоме Фомичу не удалось еще и прежде литературы; может быть, и на других карьерах он получал одни только щелчки вместо жалованья или что-нибудь еще того хуже. Это мне, впрочем, неизвестно; но я впоследствии справлялся и наверно знаю, что Фома действительно сотворил когда-то в Москве романчик, весьма похожий на те, которые стряпались там в тридцатых годах ежегодно десятками, вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь». «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов[*], доставлявших в свое время приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса[*]. Это было, конечно, давно; но змея литературного самолюбия жалит иногда глубоко и неизлечимо, особенно людей ничтожных и глуповатых. Фома Фомич был огорчен с первого литературного шага и тогда же окончательно примкнул к той огромной

фаланге огорченных, из которой выходят потом все юродивые, все скитальцы и странники. С того же времени, я думаю, и развилась в нем эта уродливая хвастливость, эта жажда похвал и отличий, поклонений и удивлений. Он и в шутах составил себе кучку благоговевших перед ним идиотов. Только чтоб где-нибудь, как-нибудь первенствовать, прорицать, поковеркаться и похвастаться — вот была главная потребность его! Его не хвалили — так он сам себя начал хвалить. Я сам слышал слова Фомы в доме дяди, в Степанчикове, когда уже он стал там полным владыкою и прорицателем. «Не жилец я между вами, — говаривал он иногда с какою-то таинственною важностью, — не жилец я здесь! Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу и тогда прощайте: в Москву, издавать журнал! Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно*. Грянет наконец мое имя, и тогда — горе врагам моим!» Но гений, покамест еще собирался прославиться, требовал награды немедленной. Вообще приятно получать плату вперед, а в этом случае особенно. Я знаю, он серьезно уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг*, подвиг, для которого он и на свет призван и к совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вроде того. Именно: написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия*. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества*. Всё это, разумеется, обольстило дядю.

Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы — огорченного литератора, из Фомы — шута из насущного хлеба, из Фомы — в душе деспота, несмотря на всё предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы — хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на всё согласному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее: без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: посади за стол, он и ноги на стол. Наверстал-таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя

из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом и тотчас же ощутил потребность завести и своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры, и дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни, считали всё это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались.

Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера (повторяю это), конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме; непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности — это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества испытанного. Я смело говорю «мужества»: он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душою он был чист как ребенок. Это был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное, торопливо наряжают своих ближних во все добродетели, радуются чужому успеху, живут, таким образом, постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собою интересам других — их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтоб у него были враги; они, однако ж, у него бывали, но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого

добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, «чтоб уж так», говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости — «чтобы уж так… чтоб уж все были довольны и счастливы!» Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался наконец увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом — ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за всё прошлое, — идиотку, перед которой дядя считал своею обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения…

— Я, братец, сам виноват, — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, — во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь[*]…то есть… что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось — у меня часто с языка срывается… Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: всё это требует награды! ну, наконец, и наука… писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо — словом…

Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и

негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению… он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок — и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.

Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.

— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. — Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж, верно, брат, такая бурда… то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, что… Кажется, о производительных силах каких-то пишет — сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил…

Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству[*]. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно

умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку*, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблий, что папеньку любит государь»… Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.

— А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? — спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.

— А тебе какое дело, пехтерь? — отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. — Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?

Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».*

— Отец ты наш… — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, — как и величать-то тебя не ведаем.

— Пехтерь*! — повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. — Жалованье жалованью розь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, — значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.

— Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? — продолжал удивленный мужик.

Мужики вообще дивились на Фому Фомича.

— Ну да, и моя там есть доля, — отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил такого человека таким разговором.

С дядей разговоры были другого рода.

— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух*. — На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того

небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?

Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.

— Отвечайте же: горит в вас искра или нет? Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.

— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.

— Mais répondez donc,[3] Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами.

— Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.

— Ей-богу, не знаю, Фома, — отвечает наконец дядя с отчаянием во взорах, — должно быть, что-нибудь есть в этом роде… Право, ты уж лучше не спрашивай, а то я совру что-нибудь…

— Хорошо! Так, по-вашему, я так ничтожен, что даже не стою ответа, — вы это хотели сказать? Ну, пусть будет так; пусть я буду ничто.

— Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну когда я это хотел сказать?

— Нет, вы именно это хотели сказать.

— Да клянусь же, что нет!

— Хорошо! Пусть буду я лгун! пусть я, по вашему обвинению, нарочно изыскиваю предлога к ссоре; пусть ко всем оскорблениям присоединится и это — я всё перенесу…

— Mais, mon fils…[4] — вскрикивает испуганная генеральша.

— Фома Фомич! маменька! — восклицает дядя в отчаянии, — ей-богу же, я не виноват! так разве, нечаянно, с языка сорвалось!.. Ты не смотри на меня, Фома: я ведь глуп — сам чувствую, что глуп; сам слышу в себе, что нескладно… Знаю, Фома, всё знаю! ты уж и не говори! — продолжает он, махая рукой. — Сорок лет прожил и до сих пор, до самой той поры, как тебя узнал, всё думал про себя, что

человек… ну и всё там, как следует. А ведь и не замечал до сих пор, что грешен как козел, эгоист первой руки и наделал зла такую кучу, что диво, как еще земля держит!

— Да, вы-таки эгоист! — замечает удовлетворенный Фома Фомич.

— Да уж я и сам понимаю теперь, что эгоист! Нет, шабаш! исправлюсь и буду добрее!

— Дай-то бог! — заключает Фома Фомич, благочестиво вздыхая и подымаясь с кресла, чтоб отойти к послеобеденному сну. Фома Фомич всегда почивал после обеда.

В заключение этой главы позвольте мне сказать собственно о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех, случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. Таким образом, я намерен заключить мое предисловие и прямо перейти к рассказу.

В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда лет десять, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Мы вместе спускали кубарь и украли чепчик у одной презлой старой барыни, приходившейся нам обоим сродни. Чепчик я немедленно привязал к хвосту бумажного змея и запустил под облака. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности: что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них, в Степанчикове, происходят удивительные вещи.

Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать к дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве, на счет дяди, и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданое. Впрочем, о приданом он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить всё это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, который, как я, только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романическою своею стороною? К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка — прехорошенькая. Я, однако ж, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправлюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне, при том же письме, и денег на дорогу. Несмотря на то, я, в сомнениях и даже в тревоге, промедлил в Петербурге три недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. Это был уже пожилой и рассудительный человек, закоренелый холостяк. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор еще не имел никакого понятия, именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной престранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с полумиллионом приданого; что генеральша уже успела

уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом; что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на полумиллионе приданого; что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди, всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может, и оттого, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы: уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался: известие так странно противоречило с письмом дяди и с его предложением!.. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, — так как, по моему окончательному решению, любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, — осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и проч. и проч. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что, по молодости лет и от нечего делать, перескочил из сомнений совершенно в другую крайность: я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам выказываю необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтоб осчастливить невинное и прелестное создание, — словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль; солнце светило ярко; кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом… А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что, казалось мне, только теперь настоящим образом взглянул на свет божий!

## II
## Господин Бахчеев

Я уже приближался к цели моего путешествия. Проезжая маленький городок Б., от которого оставалось только десять верст до Степанчикова, я принужден был остановиться у кузницы, близ самой

заставы, по случаю лопнувшей шины на переднем колесе моего тарантаса. Закрепить ее кое-как, для десяти верст, можно было довольно скоро, и потому я решился, никуда не заходя, подождать у кузницы, покамест кузнецы справят дело. Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден был остановиться для починки своего экипажа. Он стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же бросалось в глаза. Одет он был широко, удобно, опрятно, но отнюдь не по моде.

Не понимаю, почему он и на меня рассердился, тем более что видел меня первый раз в жизни и еще не сказал со мною ни слова. Я заметил это, как только вылез из тарантаса, по необыкновенно сердитым его взглядам. Мне, однако ж, очень хотелось с ним познакомиться. По болтовне его слуг я догадался, что он едет теперь из Степанчикова, от моего дяди, и потому был случай о многом порасспросить. Я было приподнял фуражку и попробовал со всевозможною приятностью заметить, как неприятны иногда бывают задержки в дороге; но толстяк окинул меня как-то нехотя недовольным и брюзгливым взглядом с головы до сапог, что-то проворчал себе под нос и тяжело поворотился ко мне всей поясницей. Эта сторона его особы, хотя и была предметом весьма любопытным для наблюдений, но уж, конечно, от нее нельзя было ожидать разговора приятного.

— Гришка! не ворчать под нос! выпорю!.. — закричал он вдруг на своего камердинера, как будто совершенно не слыхав того, что я сказал о задержках в дороге.

Этот «Гришка» был седой, старинный слуга, одетый в длиннополый сюртук и носивший пребольшие седые бакенбарды. Судя по некоторым признакам, он тоже был очень сердит и угрюмо ворчал себе под нос. Между барином и слугой немедленно произошло объяснение.

— Выпорешь! ори еще больше! — проворчал Гришка будто про себя, но так громко, что все это слышали, и с негодованием отвернулся

что-то приладить в коляске.

— Что? что ты сказал? «Ори еще больше»?.. грубиянить вздумал! — закричал толстяк, весь побагровев.

— Да чего вы взъедаться в самом деле изволите? Слова сказать нельзя!

— Чего взъедаться? Слышите? На меня же ворчит, а мне и не взъедаться!

— Да за что я буду ворчать?

— За что ворчать… А то, небось, нет? Я знаю, за что ты будешь ворчать: за то, что я от обеда уехал, — вот за что.

— А мне что! По мне хошь совсем не обедайте. Я не на вас ворчу; кузнецам только слово сказал.

— Кузнецам… А на кузнецов чего ворчать?

— А не на них, так на экипаж ворчу.

— А на экипаж чего ворчать?

— А зачем изломался! Вперед не ломайся, а в целости будь.

— На экипаж… Нет, ты на меня ворчишь, а не на экипаж. Сам виноват, да он же и ругается!

— Да что вы, сударь, в самом деле, пристали? Отстаньте, пожалуйста!

— А чего ты всю дорогу сычом сидел, слова со мной не сказал, — а? Говоришь же в другие разы!

— Муха в рот лезла — оттого и молчал и сидел сычом. Что я вам сказки, что ли, буду рассказывать? Сказочницу Маланью берите с собой, коли сказки любите.

Толстяк раскрыл было рот, чтоб возразить, но, очевидно, не нашелся и замолчал. Слуга же, довольный своей диалектикой и влиянием на барина, выказанным при свидетелях, с удвоенной важностию обратился к рабочим и начал им что-то показывать.

Попытки мои познакомиться оставались тщетными, особенно при моей неловкости; но мне помогло непредвиденное обстоятельство. Одна заспанная, неумытая и непричесанная физиономия внезапно выглянула из окна закрытого каретного кузова, с незапамятных времен стоявшего без колес у кузницы и ежедневно, но тщетно ожидавшего починки. С появлением этой физиономии раздался между мастеровыми всеобщий смех. Дело в том, что человек, выглянувший из кузова, был в нем накрепко заперт и теперь не мог выйти. Проспавшись в нем хмельной,

он тщетно просился теперь на свободу; наконец, стал просить кого-то сбегать за его инструментом. Всё это чрезвычайно веселило присутствовавших.

Есть такие натуры, которым в особенную радость и веселье бывают довольно странные вещи. Гримасы пьяного мужика, человек, споткнувшийся и упавший на улице, перебранка двух баб и проч. и проч. на эту тему производят иногда в иных людях самый добродушный восторг, неизвестно почему. Толстяк-помещик принадлежал именно к такого рода натурам. Мало-помалу его физиономия из грозной и угрюмой стала делаться довольной и ласковой и, наконец, совсем прояснилась.

— Да это Васильев? — спросил он с участием. — Да как он туда попал?

— Васильев, сударь, Степан Алексеич, Васильев! — закричали со всех сторон.

— Загулял, сударь, — прибавил один из работников, человек пожилой, высокий и сухощавый, с педантски строгим выражением лица и с поползновением на старшинство между своими, — загулял, сударь, от хозяина третий день как ушел, да у нас и хоронится, навязался к нам! Вот стамеску просит. Ну, на что тебе теперь стамеска, пустая ты голова? Последний струмент закладывать хочет!

— Эх, Архипушка! деньги — голуби: прилетят и опять улетят! Пусти, ради небесного создателя, — молил Васильев тонким, дребезжащим голосом, высунув из кузова голову.

— Да сиди ты, идол, благо попал! — сурово отвечал Архип. — Глаза-то еще с третьёва дня успел переменить; с улицы сегодня на заре притащили; моли бога — спрятали. Матвею Ильичу сказали: заболел, «запасные, дескать, колотья у нас проявились[*]».

Смех раздался вторично.

— Да стамеска-то где?

— Да у нашего Зуя! Наладил одно! пьющий человек, как есть, сударь, Степан Алексеич.

— Хе-хе-хе! Ах, мошенник! Так ты вот как в городе работаешь: инструмент закладываешь! — прохрипел толстяк, захлебываясь от смеха, совершенно довольный и пришедший вдруг в наиприятнейшее расположение духа.

— А ведь столяр такой, что и в Москве поискать! Да вот так-то он

всегда себя аттестует, мерзавец, — прибавил он, совершенно неожиданно обратившись ко мне. — Выпусти его, Архип: может, ему что и нужно.

Барина послушались. Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Васильевым, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и оборванный. Он замигал от солнца, чихнул и покачнулся; потом, сделав рукой над глазами щиток, осмотрелся кругом.

— Народу-то, народу-то! — проговорил он, качая головой, — и всё, чай, тре… звые, — протянул он в каком-то грустном раздумье, как бы в упрек самому себе. — Ну, с добрым утром, братцы, с наступающим днем.

Снова всеобщий хохот.

— С наступающим днем! Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный!

— Ври, Емеля, — твоя неделя!

— По-нашему, хоть на час, да вскачь!

— Хе-хе-хе! Ишь краснобай! — вскричал толстяк, еще раз закачавшись от смеха и снова взглянув на меня приветливо. — И не стыдно тебе, Васильев?

— С горя, сударь, Степан Алексеич, с горя — отвечал серьезно Васильев, махнув рукой и, очевидно, довольный, что представился случай еще раз помянуть про свое горе.

— С какого же горя, дурак?

— А с такого, что досель и не видывали: Фоме Фомичу нас записывают.

— Кого? когда? — закричал толстяк, весь встрепенувшись.

Я тоже ступил шаг вперед: дело совершенно неожиданно коснулось и до меня.

— Да всех капитоновских. Наш барин, полковник, — дай бог ему здравия — всю нашу Капитоновку, свою вотчину, Фоме Фомичу пожертвовать хочет; целые семьдесят душ ему выделяет. «На тебе, говорит, Фома! вот теперь у тебя, примерно, нет ничего; помещик ты небольшой; всего-то у тебя два снетка по оброку в Ладожском озере ходят — только и душ ревизских тебе от покойного родителя твоего осталось. Потому родитель твой, — продолжал Васильев с каким-то

злобным удовольствием, посыпая перцем свой рассказ во всем, что касалось Фомы Фомича, — потому что родитель твой был столбовой дворянин, неведомо откуда, неведомо кто; тоже, как и ты, по господам проживал, при милости на кухне пробавлялся. А вот теперь, как запишу тебе Капитоновку, будешь и ты помещик, столбовой дворянин, и людей своих собственных иметь будешь, и лежи себе на печи, на дворянской вакансии…»

Но Степан Алексеевич уж не слушал. Эффект, произведенный на него полупьяным рассказом Васильева, был необыкновенный. Толстяк был так раздражен, что даже побагровел; кадык его затрясся, маленькие глазки налились кровью. Я думал, что с ним тотчас же будет удар.

— Этого недоставало! — проговорил он задыхаясь, — ракалья, Фома, приживальщик, в помещики! Тьфу! пропадайте вы совсем! Эй вы, кончай скорее! Домой!

— Позвольте спросить вас, — сказал я, нерешительно выступая вперед, — сейчас вы изволили упомянуть о Фоме Фомиче; кажется, его фамилия, если только не ошибаюсь, Опискин. Вот видите ли, я желал бы… словом, я имею особенные причины интересоваться этим лицом и, с своей стороны, очень бы желал узнать, в какой степени можно верить словам этого доброго человека, что барин его, Егор Ильич Ростанев, хочет подарить одну из своих деревень Фоме Фомичу. Меня это чрезвычайно интересует, и я…

— А позвольте и вас спросить, — прервал толстый господин, — с какой стороны изволите интересоваться этим лицом, как вы изъясняетесь; а по-моему, так этой ракальей анафемской — вот как называть его надо, а не лицом! Какое у него лицо, у паршивика! Один только срам, а не лицо!

Я объяснил, что насчет лица я покамест нахожусь в неизвестности, но что Егор Ильич Ростанев мне приходится дядей, а сам я — Сергей Александрович такой-то.

— Это что, ученый-то человек? Батюшка мой, да там вас ждут не дождутся! — вскричал толстяк, нелицемерно обрадовавшись. — Ведь я теперь сам от них, из Степанчикова; от обеда уехал, из-за пудинга встал: с Фомой усидеть не мог! Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого… Вот встреча! Вы, батюшка, меня извините. Я Степан Алексеич Бахчеев и вас вот эдаким от полу помню… Ну, кто бы сказал?.. А позвольте вас…

И толстяк полез лобызать меня.

После первых минут некоторого волнения я немедленно приступил к расспросам: случай был превосходный.

— Но кто ж этот Фома? — спросил я, — как это он завоевал там весь дом? Как не выгонят его со двора шелепами?* Признаюсь…

— Его-то выгонят? Да вы сдурели аль нет? Да ведь Егор-то Ильич перед ним на цыпочках ходит! Да Фома велел раз быть вместо четверга середе, так они там, все до единого, четверг середой почитали. «Не хочу, чтоб был четверг, а будь середа!» Так две середы на одной неделе и было. Вы думаете, я приврал что-нибудь? Вот настолечко не приврал! Просто, батюшка, штука капитана Кука* выходит!

— Я слышал это, но, признаюсь…

— Признаюсь да признаюсь! Ведь наладит же одно человек! Да чего признаваться-то? Нет, вы лучше меня расспросите. Ведь всё рассказать, так вы не поверите, а спросите: из каких я лесов к вам явился? Матушка Егора-то Ильича, полковника-то, хоть и очень достойная дама и к тому же генеральша, да, по-моему, из ума совсем выжила: не надышит на Фомку треклятого. Всему она и причиной: она-то и завела его в доме. Зачитал он ее, то есть как есть бессловесная женщина сделалась, хоть и превосходительством называется — за генерала Крахоткина пятидесяти лет замуж выпрыгнула! Про сестрицу Егора Ильича, Прасковью Ильиничну, что в девках сорок лет сидит, и говорить не желаю. Ахи да охи, да клокчет как курица — надоела мне совсем — ну ее! Только разве и есть в ней, что дамский пол: так вот и уважай ее ни за что, ни про что, за то только, что она дамский пол! Тьфу! говорить неприлично: тетушкой она вам приходится. Одна только Александра Егоровна, дочка полковничья, хоть и малый ребенок — всего-то шестнадцатый год, да умней их всех, по-моему: не уважает Фоме; даже смотреть было весело. Милая барышня, больше ничего! Да и кому уважать-то? Ведь он, Фомка-то, у покойного генерала Крахоткина в шутах проживал! ведь он ему, для его генеральской потехи, различных зверей из себя представлял! И выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы попал. А теперь полковник-то, дядюшка-то, отставного шута заместо отца родного почитает, в рамку вставил его, подлеца, в ножки ему кланяется, своему-то приживальщику, — тьфу!

— Впрочем, бедность еще не порок… и… признаюсь вам…

позвольте вас спросить, что он, красив, умен?

— Фома-то? писаный красавец! — отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. (Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал и на меня смотреть подозрительно.) — Писаный красавец! Слышите, добрые люди: красавца нашел! Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж всё хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием, шельмец, обладал, — ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрепя сердце, для остроумия-то, а то ведь и остроумия нет никакого! Просто выпить им дал чего-нибудь всем физик какой-то! Тьфу! язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором! Эй, вы! готово иль нет?

— Воронка еще перековать надо, — промолвил мрачно Григорий.

— Воронка. Я тебе такого задам Воронка!.. Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разинете да и останетесь до второго пришествия с разинутым ртом. Ведь я прежде и сам его уважал. Вы что думаете? Каюсь, открыто каюсь: был дураком! Ведь он и меня обморочил. Всезнай! всю подноготную знает, все науки произошел! Капель он мне давал: ведь я, батюшка, человек больной, сырой человек. Вы, может, не верите, а я больной. Ну, так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите да слушайте; сами поедете, всем полюбуетесь. Ведь он там полковника-то до кровавых слез доведет; ведь кровавую слезу прольет от него полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околоток раззнакомился с ними из-за Фомки треклятого. Ведь всякому, кто ни приедет, оскорбления чинит. Чего уж мне: значительного чина не пощадит! Всякому наставления читает; в мораль какую-то бросило его, шельмеца. Мудрец, дескать, я, всех умнее, одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да что ж, что ученый! Так из-за того, что ученый, уж так непременно и надо заесть неученого?.. И уж как начнет ученым своим языком колотить, так уж та-та-та! та-та-та! то есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать, всё будет болтать, пока ворона не склюет. Зазнался, надулся как мышь на крупу! Ведь уж туда теперь лезет, куда и голова его не пролезет. Да чего! Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал! Хотите, не верьте! Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то! Тьфу! срамец треклятый — больше ничего! А на что холопу знать по-

французски, спрошу я вас? Да на что и нашему-то брату знать по-французски, на что? С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать? разврат — больше ничего! А по-моему, графин водки выпил — вот и заговорил на всех языках. Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык! Небось, и вы по-французски: «та-та-та! та-та-та! вышла кошка за кота!» — прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. — Вы, батюшка, человек ученый — а? по ученой части пошли?

— Да… я отчасти интересуюсь…

— Чай, тоже все науки произошли?

— Так-с, то есть нет… Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я всё сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке…

— А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там, где-нибудь у себя, коли было где сесть! Нет, батюшка, тут, я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет; попадете в аркан! Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верите ли, что я у них похудел? Нет, вы, я вижу, не верите. Что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте.

— Нет-с, помилуйте, я очень верю; только я всё еще не понимаю, — отвечал я, теряясь всё более и более.

— То-то верю, да я-то тебе не верю! Все вы прыгуны, с вашей ученой-то частью. Вам только бы на одной ножке попрыгать да себя показать! Не люблю я, батюшка, ученую часть; вот она у меня где сидит! Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться — непотребный народ! Всё фармазоны; неверие распространяют*; рюмку водки выпить боится, точно она укусит его — тьфу! Рассердили вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу! Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать, да и язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно… А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича…

— Да я б его, Видоплясова, — ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор, — да я б его, Видоплясова, из-под розог не выпустил. Нарвись-ко он на меня, я бы дурь-то немецкую вышиб! задал бы столько, что в два-ста не складешь.

— Молчать! — крикнул барин, — держи язык за зубами; не с тобой говорят!

— Видоплясов, — сказал я, совершенно сбившись и уже не зная,

что говорить, — Видоплясов… скажите, какая странная фамилия?

— А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый!

Я потерял терпение.

— Извините, — сказал я, — но за что ж вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват? Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело…

— Да вы, батюшка, чего обижаетесь? — отвечал толстяк, — нечего вам обижаться! Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикса[*] и вот сейчас на человека моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, Гришка-то мой, да за это-то я его и люблю, подлеца. Чувствительность сердечная погубила меня — откровенно скажу; а во всем этом Фомка один виноват! Погубит он меня, присягну, что погубит! Вот теперь два часа на солнце по его же милости жарюсь. Хотел было к протопопу зайти, покамест эти дураки с починкой копаются. Хороший человек здешний протопоп. Да уж так он расстроил меня, Фомка-то, что уж и на протопопа смотреть не хочется! Ну их всех! Здесь ведь и трактиришка порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы, все до единого! И ведь добро бы чин на нем был необыкновенный какой-нибудь, — продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог отвязаться, — ну тогда хоть по чину простительно; а то ведь и чинишка-то нет; это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вот и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! Чуть что не по нем — вскочит, завизжит: «Обижают, дескать, меня, бедность мою обижают, уважения не питают ко мне!» Без Фомы к столу не смей сесть, а сам не выходит: «Меня, дескать, обидели; я убогий странник, я и черного хлебца поем». Чуть сядут, он тут и явился; опять пошла наша скрипка пилить: «Зачем без меня сели за стол? значит, ни во что меня почитают». Словом, гуляй душа! Я, батюшка, долго молчал. Он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать; на-тка, брат, возьми закуси! Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу! С Егор-то Ильичом я ведь в одном полку служил. Я-то в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году в вотчину приехал в отставке полковником. Говорю ему: «Эй, себя сгубите, не потакайте Фоме! Прольете слезу!» Нет, говорит, превосходнейший он человек (это про Фомку-то!), он мне друг; он меня благонравию учит. Ну, думаю, против благонравия не пойдешь! Уж

коли благонравию зачал учить — значит, последнее дело пришло. Что ж бы вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю? Завтра Ильи-пророка (господин Бахчеев перекрестился): Илюша, сынок-то дядюшкин, именинник. Я было думал и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал: немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает — превосходная вещь! (теперь уж не подарю, морген-фри[*]! Вон у меня в коляске лежит, и нос у немца отбит; назад везу). Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять и попраздновать, да Фомка претит: «Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стало быть, внимания не обращают теперь!» А? каков гусь? восьмилетнему мальчику в тезоименитстве позавидовал! «Так вот нет же, говорит, и я именинник!» Да ведь будет Ильин день, а не Фомин! «Нет, говорит, я тоже в этот день именинник!» Смотрю я, терплю. Что ж бы вы думали? Ведь они теперь на цыпочках ходят да шепчутся: как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет, поздравлять или нет? Не поздравь — обидеться может, а поздравь — пожалуй, и в насмешку примет. Тьфу ты, пропасть! Сели мы обедать… Да ты, батюшка, слушаешь иль нет?

— Помилуйте, слушаю; с особенным даже удовольствием слушаю; потому что через вас я теперь узнал… и… признаюсь…

— То-то, с особенным удовольствием! Знаю я твое удовольствие… Да уж ты не в пикули мне про удовольствие-то свое говоришь?

— Помилуйте, в какую же пику? напротив. Притом же вы так… оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова.

— То есть как это, батюшка, записать? — спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно.

— Впрочем, я, может быть, и не запишу… это я так.

— Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь?

— То есть как это обольстить? — спросил я с удивлением.

— Да так. Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе всё расскажу, как дурак, а ты возьмешь после да и опишешь меня где-нибудь в сочинении.

Я тотчас же поспешил уверить господина Бахчеева, что я не из таких, но он всё еще подозрительно смотрел на меня.

— То-то, не из таких! кто тебя знает! может, и лучше еще. Вон и Фома грозился меня описать да в печать послать.

— Позвольте спросить, — прервал я, отчасти желая переменить

разговор, — скажите, правда ли, что дядюшка хочет жениться?

— Так что же, что хочет? Это бы еще ничего. Женись, коли уж так тебя покачнуло; не это скверно, а другое скверно… — прибавил господин Бахчеев в задумчивости. Гм! про это, батюшка, я вам доподлинно не могу дать ответа. Много теперь туда всякого бабья напихалось, как мух у варенья; да ведь не разберешь, которая замуж хочет. А я вам, батюшка, по дружбе скажу: не люблю бабья! Только слава, что человек, а по правде, так один только срам, да и спасению души вредит. А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. Про это, батюшка, я теперь промолчу: сами увидите; а только то скверно, что дело тянет. Коли жениться, так и женись; а то Фомке боится сказать, да и старухе своей боится сказать: та тоже завизжит на всё село да брыкаться начнет. За Фомку стоит: дескать, Фома Фомич огорчится, коли супруга в дом войдет, потому что ему тогда двух часов не прожить в доме-то. Супруга-то собственноручно в шею вытолкает, да еще, не будь дура, другим каким манером такого киселя задаст, что по уезду места потом не отыщет! Так вот он и куролесит теперь, вместе с маменькой и подсовывают ему таковскую… Да ты, батюшка, что ж меня перебил? Я тебе самую главную статью хотел рассказать, а ты меня перебил! Я постарше тебя; перебивать старика не годится…

Я извинился.

— Да ты не извиняйся! Я вам, батюшка, как человеку ученому, на суд представить хотел, как он сегодня разобидел меня. Ну вот рассуди, коли добрый ты человек. Сели мы обедать; так он меня, я тебе скажу, чуть не съел за обедом-то! С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! Такого самолюбия человек, что уж сам в себе поместиться не может! Вот и вздумал он ко мне придираться, благонравию тоже меня вздумал учить. Зачем, скажите ему, я такой толстый? Ну, пристал человек: зачем не тонкий, а толстый? Ну, скажите же, батюшка, что за вопрос? Ну, видно ли тут остроумие? Я с благоразумием ему отвечаю: «Это так уж бог устроил, Фома Фомич: один толст, а другой тонок; а против всеблагого провидения смертному восставать невозможно». Благоразумно ведь — как вы думаете? «Нет, говорит, у тебя пятьсот душ, живешь на готовом, а пользы отечеству не приносишь; надо служить, а ты всё дома сидишь да на гармонии играешь». А я и

взаправду, когда взгрустнется, на гармонии люблю поиграть. Я опять с благоразумием отвечаю: «А в какую я службу пойду, Фома Фомич? В какой мундир толстоту-то мою затяну? Надену мундир, затянусь, неравно чихну — все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при высшем начальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут — что тогда?» Ну, скажите же, батюшка, ну что я тут смешного сказал? Так нет же, покатывается на мой счет, хаханьки да хихиньки такие пошли… то есть целомудрия в нем нет никакого, я вам скажу, да еще на французском диалекте поносить меня вздумал: «кошон[*]» говорит. Ну, кошон-то и я понимаю, что значит. «Ах ты, физик проклятый, думаю; полагаешь, я тебе теплоух дался?» Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», — сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудинга: пудинг тогда обносили. «Ну вас и с пудингом-то!..»

— Извините меня, — сказал я, прослушав весь рассказ господина Бахчеева, — я, конечно, готов с вами во всем согласиться. Главное, я еще ничего положительного не знаю… Но, видите ли, на этот счет у меня явились теперь свои идеи.

— Какие же это идеи, батюшка, у тебя появились? — недоверчиво спросил господин Бахчеев.

— Видите ли, — начал я, несколько путаясь, — оно, может быть, и некстати теперь, но я, пожалуй, готов сообщить. Вот как я думаю: может быть, мы оба ошибаемся насчет Фомы Фомича; может быть, все эти странности прикрывают натуру особенную, даже даровитую — кто это знает? Может быть, это натура огорченная, разбитая страданиями, так сказать, мстящая всему человечеству. Я слышал, что он прежде был чем-то вроде шута: может быть, это его унизило, оскорбило, сразило?.. Понимаете: человек благородный… сознание… а тут роль шута!.. И вот он стал недоверчив ко всему человечеству и… и, может быть, если примирить его с человечеством… то есть с людьми, то, может быть, из него выйдет натура особенная… может быть, даже очень замечательная, и… и… и ведь есть же что-нибудь в этом человеке? Ведь есть же причина, по которой ему все поклоняются?

Словом, я сам почувствовал, что зарапортовался ужасно. По молодости еще можно было простить. Но господин Бахчеев не простил.

Серьезно и строго смотрел он мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух.

— Это Фомка-то такой особенный человек? — спросил он отрывисто.

— Послушайте: я еще сам почти ничему не верю из того, что я теперь говорил. Я это так только, в виде догадки…

— А позвольте, батюшка, полюбопытствовать спросить: обучались вы философии или нет?

— То есть в каком смысле? — спросил я с недоумением.

— Нет, не в смысле; а вы мне, батюшка, прямо, безо всякого смыслу отвечайте: обучались вы философии или нет?

— Признаюсь, я намерен изучать, но…

— Ну, так и есть! — вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. — Я, батюшка, еще прежде, чем вы рот растворили, догадался, что вы философии обучались! Меня не надуешь! морген-фри! За три версты чутьем услышу философа! Поцелуйтесь вы с вашим Фомой Фомичом! Особенного человека нашел! тьфу! прокисай всё на свете! Я было думал, что вы тоже благонамеренный человек, а вы… Подавай! — закричал он кучеру, уж влезавшему на козла исправленного экипажа. — Домой!

Насилу-то я кое-как успокоил его; кое-как наконец он смягчился; но долго еще не мог решиться переменить гнев на милость. Между тем он влез в коляску с помощью Григория и Архипа, того самого, который читал наставления Васильеву.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, подойдя к коляске, — вы уж более не приедете к дядюшке?

— К дядюшке-то? А плюньте на того, кто вам это сказал! Вы думаете, я постоянный человек, выдержу? В том-то и горе мое, что я тряпка, а не человек! Недели не пройдет, а я опять туда поплетусь. А зачем? Вот подите: сам не знаю зачем, а поеду; опять буду с Фомой воевать. Это уж, батюшка, горе мое! За грехи мне господь этого Фомку в наказание послал. Характер у меня бабий, постоянства нет никакого! Трус я, батюшка, первой руки…

Мы, однако ж, расстались по-дружески; он даже пригласил меня к себе обедать.

— Приезжай, батюшка, приезжай, пообедаем. У меня водочка из Киева пешком пришла, а повар в Париже бывал. Такого фенезерфу[*]

подаст, такую кулебяку мисаиловну сочинит, что только пальчики оближешь да в ножки поклонишься ему, подлецу. Образованный человек! Я вот только давно не сек его, балуется он у меня… да вот теперь благо напомнили… Приезжай! Я бы вас и сегодня с собою пригласил, да вот как-то весь упал, раскис, совсем без задних ног сделался. Ведь я человек больной, сырой человек. Вы, может быть, и не верите… Ну, прощайте, батюшка! Пора плыть и моему кораблю. Вон и ваш тарантасик готов. А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, что он…

Но последних слов уж не было слышно. Коляска, принятая дружно четверкою сильных коней, исчезла в облаках пыли. Подали и мой тарантас; я сел в него, и мы тотчас же проехали городишко. «Конечно, этот господин привирает, — подумал я, — он слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но опять-таки всё, что он говорил о дяде, очень замечательно. Вот уж два голоса согласны в том, что дядя любит эту девицу… Гм! Женюсь я иль нет?» В этот раз я крепко задумался.

## III
## Дядя

Признаюсь, я даже немного струсил. Романические мечты мои показались мне вдруг чрезвычайно странными, даже как будто и глупыми, как только я въехал в Степанчиково. Это было часов около пяти пополудни. Дорога шла мимо барского сада. Снова, после долгих лет разлуки, я увидел этот огромный сад, в котором мелькнуло несколько счастливых дней моего детства и который много раз потом снился мне во сне, в дортуарах школ, хлопотавших о моем образовании. Я выскочил из повозки и пошел прямо через сад к барскому дому. Мне очень хотелось явиться втихомолку, разузнать, выспросить и прежде всего наговориться с дядей. Так и случилось. Пройдя аллею столетних лип, я ступил на террасу, с которой стеклянною дверью прямо входили во внутренние комнаты. Эта терраса была окружена клумбами цветов и заставлена горшками дорогих растений. Здесь я встретил одного из туземцев, старого Гаврилу, бывшего когда-то моим дядькой, а теперь почетного камердинера дядюшки. Старик был в очках и держал в руке тетрадку, которую читал с необыкновенным вниманием. Мы виделись с

ним два года назад, в Петербурге, куда он приезжал вместе с дядей, а потому он тотчас же теперь узнал меня. С радостными слезами бросился он целовать мои руки, причем очки слетели с его носа на пол. Такая привязанность старика меня очень тронула. Но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчеевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы.

— Что это, Гаврила, неужели и тебя начали учить по-французски? — спросил я старика.

— Учат, батюшка, на старости лет, как скворца, — печально отвечал Гаврила.

— Сам Фома учит?

— Он, батюшка. Умнеющий, должно быть, человек.

— Нечего сказать, умник! По разговорам учит?

— По китрадке, батюшка.

— Это что в руках у тебя? А! французские слова русскими буквами — ухитрился! Такому болвану, дураку набитому, в руки даетесь — не стыдно ли, Гаврила? — вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева.

— Где же, батюшка, — отвечал старик, — где же он дурак, коли уж господами нашими так заправляет?

— Гм! Может быть, ты и прав, Гаврила, — пробормотал я, приостановленный этим замечанием. — Веди же меня к дядюшке!

— Сокол ты мой! да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит.

— Да чего же ты боишься?

— Давеча уроку не знал; Фома Фомич на коленки ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка, Сергей Александрыч, чтоб надо мной такие шутки шутить! Барин осерчать изволил, зачем Фому Фомича не послушался. «Он, говорит, старый ты хрыч, о твоем же образовании заботится, произношению тебя хочет учить». Вот и хожу, твержу вокабул[*]. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.

Мне показалось, что тут было что-то неясное. С этим французским языком была какая-нибудь история, подумал я, которую старик не может мне объяснить.

— Один вопрос, Гаврила: каков он собой? видный, высокого роста?

— Фома-то Фомич? Нет, батюшка, плюгавенький такой человечек.

— Гм! Подожди, Гаврила; всё это еще, может быть, уладится; даже непременно, обещаю тебе, уладится! Но… где же дядюшка?

— А за конюшнями мужичков принимает. С Капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их Фоме Фомичу записывают. Отмолиться хотят.

— Да зачем же за конюшнями?

— Опасается, батюшка…

Действительно, я нашел дядю за конюшнями. Там, на площадке, он стоял перед группой крестьян, которые кланялись и о чем-то усердно просили. Дядя что-то с жаром им толковал. Я подошел и окликнул его. Он обернулся, и мы бросились друг другу в объятия.

Он чрезвычайно мне обрадовался; радость его доходила до восторга. Он обнимал меня, сжимал мои руки… Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавил и его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собою разрешение всех его недоразумений, счастье и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастливым один. После первых порывов восторга он вдруг так захлопотал, что наконец совершенно сбился и спутался. Он закидывал меня расспросами, хотел немедленно вести меня к своему семейству. Мы было и пошли, но дядя воротился, пожелав представить меня сначала капитоновским мужикам. Потом, помню, он вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. Потом он бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом. Я с наслаждением смотрел на него. Отвечая на торопливые его расспросы, я сказал, что желал бы не вступать в службу, а продолжать заниматься науками. Как только дело дошло до наук, дядя вдруг насупил брови и сделал необыкновенно важное лицо. Узнав, что в последнее время я занимался минералогией, он поднял голову и с гордостью осмотрелся кругом, как будто он сам, один, без всякой посторонней помощи, открыл и написал всю минералогию. Я уже сказал, что перед словом «наука» он благоговел самым бескорыстнейшим образом, тем более бескорыстным, что сам решительно ничего не знал.

— Эх, брат, есть же на свете люди, что всю подноготную знают! — говорил он мне однажды с сверкающими от восторга глазами. — Сидишь между ними, слушаешь и ведь сам знаешь, что ничего не понимаешь, а все как-то сердцу любо. А отчего? А оттого, что тут польза, тут ум, тут всеобщее счастье! Это-то я понимаю. Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит… Ну, да наконец, и торговля, промышленность — эти, так сказать, струи… то есть я хочу сказать, что как ни верти, а полезно… Ведь полезно — не правда ли?

Но обратимся к нашей встрече.

— Вот подожди, друг мой, подожди, — начал он, потирая руки и скороговоркою, — увидишь человека! Человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, человек науки; останется в столетии. А ведь хорошо словечко: «Останется в столетии»? Это мне Фома объяснил… Подожди, я тебя познакомлю.

— Это вы про Фому Фомича, дядюшка?

— Нет, нет, друг мой! Это я теперь про Коровкина. То есть и Фома тоже, и он… Но это я про Коровкина теперь говорил, — прибавил он, неизвестно отчего покраснев и как будто смешавшись, как только речь зашла про Фому.

— Какими же он науками занимается, дядюшка?

— Науками, братец, науками, вообще науками! Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. Как про железные дороги говорит! И знаешь, — прибавил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, — немного, эдак, вольных идей! Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил… Вот жаль, что я сам мало понял (времени не было), а то бы рассказал тебе всё как по нитке. И, вдобавок, благороднейших свойств человек! Я его пригласил к себе погостить. С часу на час ожидаю.

Между тем мужики глядели на меня, раскрыв рты и выпуча глаза, как на чудо.

— Послушайте, дядюшка, — прервал я его, — я, кажется, помешал мужичкам. Они, верно, за надобностью. О чем они? Я, признаюсь, подозреваю кой-что и очень бы рад их послушать…

Дядя вдруг захлопотал и заторопился.

— Ах, да! я и забыл! да вот видишь… что с ними делать? Выдумали, — и желал бы я знать, кто первый у них это выдумал, —

выдумали, что я отдаю их, всю Капитоновку, — ты помнишь Капитоновку? еще мы туда с покойной Катей все по вечерам гулять ездили, — всю Капитоновку, целых шестьдесят восемь душ, Фоме Фомичу! «Ну, не хотим идти от тебя, да и только!»

— Так это неправда, дядюшка? вы не отдаете ему Капитоновки? — вскричал я почти в восторге.

— И не думал; в голове не было! А ты от кого слышал? Раз как-то с языка сорвалось, вот и пошло гулять мое слово. И отчего им Фома так не мил? Вот подожди, Сергей, я тебя познакомлю, — прибавил он, робко взглянув на меня, как будто уже предчувствуя и во мне врага Фоме Фомичу. — Это, брат, такой человек…

— Не хотим, опричь тебя, никого не хотим! — завопили вдруг мужики целым хором. — Вы отцы, а мы ваши дети!

— Послушайте, дядюшка, — отвечал я, — Фому Фомича я еще не видал, но… видите ли… я кое-что слышал. Признаюсь вам, что я встретил сегодня господина Бахчеева. Впрочем, у меня на этот счет покамест своя идея. Во всяком случае, дядюшка, отпустите-ка вы мужичков, а мы с вами поговорим одни, без свидетелей. Я, признаюсь, затем и приехал…

— Именно, именно, — подхватил дядя, — именно! мужичков отпустим, а потом и поговорим, знаешь, эдак, приятельски, дружески, основательно! Ну, — продолжал он скороговоркой, обращаясь к мужикам, — теперь ступайте, друзья мои. И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.

— Батюшка ты наш! Вы отцы, мы ваши дети! Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! — закричали еще раз мужики.

— Вот дураки-то! да не отдам я вас, говорят!

— А то заучит он нас совсем, батюшка! Здешних, слышь совсем заучил.

— Так неужели он и вас по-французски учит? — вскричал я почти в испуге.

— Нет, батюшка, покамест еще миловал бог! — отвечал один из мужиков, вероятно большой говорун, рыжий, с огромной плешью на затылке и с длинной, жиденькой клинообразной бородкой, которая так и ходила вся, когда он говорил, точно она была живая сама по себе. — Нет, сударь, покамест еще миловал бог.

— Да чему ж он вас учит?

— А учит он, ваша милость, так, что по-нашему выходит золотой ящик купи да медный грош положи.

— То есть как это медный грош?

— Сережа! ты в заблуждении; это клевета! — вскричал дядя, покраснев и ужасно сконфузившись. — Это они, дураки, не поняли, что он им говорил! Он только так… какой тут медный грош!.. А тебе нечего про всё поминать, горло драть, — продолжал дядя, с укоризною обращаясь к мужику, — тебе же, дураку, добра пожелали, а ты не понимаешь да и кричишь!

— Помилуйте, дядюшка, а французский-то язык?

— Это он для произношения, Сережа, единственно для произношения, — проговорил дядя каким-то просительным голосом. — Он это сам говорил, что для произношения… Притом же тут случилась одна особенная история — ты ее не знаешь, а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять… Обвинять-то легко!

— Да вы-то чего! — закричал я, в запальчивости снова обращаясь к мужикам. — Вы бы ему так всё прямо и высказали. Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич, а вот оно как! Ведь есть же у вас язык?

— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила, батюшка? «Я, говорит, тебя, мужика сиволапого, чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста?» Да в поту живет, оттого и нечистая! Не каждый день переменять. С чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь.

— А вот анамедни на гумно пришел, — заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых худеньких лаптишках, и, по-видимому, один из тех, которые вечно чем-нибудь недовольны и всегда держат в запасе какое-нибудь ядовитое, отравленное слово. До сих пор он хоронился за спинами других мужиков, слушал в мрачном безмолвии и всё время не сгонял с лица какой-то двусмысленной, горько-лукавой усмешки. — На гумно пришел: «Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?»* А кто его знает? Наука эта не нашинская, а барская. «Нет, говорит, ты дурак, пехтерь, пользы своей не знаешь; а я, говорит, астролом! Я все божии планиды узнал».

— Ну, а сказал тебе, сколько до солнца верст? — вмешался дядя, вдруг оживляясь и весело мне подмигивая, как бы говоря: «Вот посмотри-ка, что будет!»

— Да, сказал сколько-то много, — нехотя отвечал мужик, не ожидавший такого вопроса.

— Ну, а сколько сказал, сколько именно?

— Да вашей милости лучше известно, а мы люди темные.

— Да я-то, брат, знаю, а ты помнишь ли?

— Да сколько-то сот али тысяч, говорил, будет. Что-то много сказал. На трех возах не вывезешь.

— То-то, помни, братец! А ты думал, небось, с версту будет, рукой достать? Нет, брат, земля — это, видишь, как шар круглый, — понимаешь?.. — продолжал дядя, очертив руками в воздухе подобие шара.

Мужик горько улыбнулся.

— Да, как шар! Она так на воздухе и держится сама собой и кругом солнца ходит. А солнце-то на месте стоит; тебе только кажется, что оно ходит. Вот она штука какая! А открыл это всё капитан Кук, мореход… А черт его знает, кто и открыл, — прибавил он полушепотом, обращаясь ко мне. — Сам-то я, брат, ничего не знаю… А ты знаешь, сколько до солнца-то?

— Знаю, дядюшка, — отвечал я, с удивлением смотря на всю эту сцену, — только вот что я думаю: конечно, необразованность есть то же неряшество; но, с другой стороны… учить крестьян астрономии…

— Именно, именно, именно неряшество! — подхватил дядя в восторге от моего выражения, которое показалось ему чрезвычайно удачным. — Благородная мысль! Именно неряшество! Я это всегда говорил… то есть я этого никогда не говорил, но я чувствовал. Слышите, — закричал он мужикам, — необразованность это то же неряшество, такая же грязь! Вот оттого вас Фома и хотел научить. Он вас добру хотел научить — это ничего. Это, брат, уж всё равно, тоже служба, всякого чина стоит. Вот оно дело какое, наука-то! Ну, хорошо, хорошо, друзья мои! Ступайте с богом, а я рад, рад… будьте покойны, я вас не оставлю.

— Защити, отец родной!

— Вели свет видеть, батюшка!

И мужики повалились в ноги.

— Ну, ну, это вздор! Богу да царю кланяйтесь, а не мне… Ну, ступайте, ведите себя хорошо, заслужите ласку… ну и там всё… Знаешь, — сказал он, вдруг обращаясь ко мне, только что ушли мужики,

и как-то сияя от радости, — любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь, — а? как ты думаешь? Для твоего приезда… Подарить или нет?

— Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек*, как я погляжу.

— Ну, нельзя же, братец, нельзя: это ничего. Я им давно хотел подарить, — прибавил он, как бы извиняясь. — А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтоб и он, мужик, узнал, сколько до солнца, да рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет… как-то эдак радуешься за него. Только знаешь, друг мой, не говори там в гостиной, что я с мужиками здесь объяснялся. Я нарочно их за конюшнями принял, чтоб не видно было. Оно, брат, как-то нельзя было там: щекотливое дело; да и сами они потихоньку пришли. Я ведь это для них больше и сделал…

— Ну вот, дядюшка, я и приехал! — начал я, переменяя разговор и желая добраться поскорее до главного дела. — Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я…

— Друг мой, ни слова об этом! — перебил дядя, как будто в испуге и даже понизив голос, — после, после это всё объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобою и даже, может быть, очень виноват, но…

— Передо мной виноваты, дядюшка?

— После, после, мой друг, после! всё это объяснится. Да какой же ты стал молодец! Милый ты мой! А как же я тебя ждал! Хотел излить, так сказать… ты ученый, ты один у меня… ты и Коровкин. Надобно заметить тебе, что на тебя здесь все сердятся. Смотри же, будь осторожнее, не оплошай!

— На меня? — спросил я, в удивлении смотря на дядю, не понимая, чем я мог рассердить людей, тогда еще мне совсем незнакомых. — На меня?

— На тебя, братец. Что ж делать! Фома Фомич немножко… ну уж и маменька, вслед за ним. Вообще будь осторожен, почтителен, не противоречь, а главное, почтителен…

— Это перед Фомой-то Фомичом, дядюшка?

— Что ж делать, друг мой! ведь я его не защищаю. Действительно он, может быть, человек с недостатками, и даже теперь, в эту самую минуту… Ах, брат Сережа, как это всё меня беспокоит! И как бы это всё

могло уладиться, как бы мы все могли быть довольны и счастливы!.. Но, впрочем, кто ж без недостатков? Ведь не золотые ж и мы?

— Помилуйте, дядюшка! рассмотрите, что он делает…

— Эх, брат! всё это только дрязги и больше ничего! вот, например, я тебе расскажу: теперь он сердится на меня, и за что, как ты думаешь?.. Впрочем, может быть, я и сам виноват. Лучше я тебе потом расскажу…

— Впрочем, знаете, дядюшка, у меня на этот счет выработалась своя особая идея, — перебил я, торопясь высказать мою идею. Да мы и оба как-то торопились. — Во-первых, он был шутом: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству… Но если примирить его с человеком, если возвратить его самому себе…

— Именно, именно! — вскричал дядя в восторге, — именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, неблагородно было бы нам осуждать его! Именно!.. Ах, друг мой, ты меня понимаешь; ты мне отраду привез! Только бы там-то уладилось! Знаешь, я туда теперь и явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется!

— Дядюшка, если так… — начал было я, смутясь от такого признания.

— Ни-ни-ни! ни за что в свете! — закричал он, схватив меня за руки. — Ты мой гость, и я так хочу!

Всё это чрезвычайно меня удивляло.

— Дядюшка, скажите мне сейчас же, — начал я настойчиво, — для чего вы меня звали? чего от меня надеетесь и, главное, в чем передо мной виноваты?

— Друг мой, и не спрашивай! после, после! всё это после объяснится! Я, может быть, и во многом виноват, но я хотел поступить как честный человек, и… и… и ты на ней женишься! Ты женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! — прибавил он, весь покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. — Но довольно, ни слова больше! Всё сам скоро узнаешь. От тебя же будет зависеть… Главное, чтоб ты теперь там понравился, произвел впечатление. Главное, не сконфузься.

— Но послушайте, дядюшка, кто ж у вас там? Я, признаюсь, так мало бывал в обществе, что…

— Что, немножко трусишь? — прервал дядя с улыбкою. — Э, ничего! все свои, ободрись! главное, ободрись, не бойся! Я всё как-то

боюсь за тебя. Кто там у нас, спрашиваешь? Да кто ж у нас… Во-первых, мамаша, — начал он торопливо. — Ты помнишь мамашу или не помнишь? Добрейшая, благороднейшая старушка; без претензий — это можно сказать; старого покроя немножко, да это и лучше. Ну, знаешь, иногда такие фантазии, скажет эдак как-то; на меня теперь сердится, да я сам виноват… знаю, что виноват! Ну, наконец, она ведь что называется grande dame, генеральша… превосходнейший человек был ее муж: во-первых, генерал, человек образованнейший, состояния не оставил, но зато весь был изранен; словом — стяжал уважение! Потом девица Перепелицына. Ну эта… не знаю… в последнее время она как-то того… характер такой… А, впрочем, нельзя же всех и осуждать… Ну, да бог с ней… Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Наперсница маменьки, друг! Потом, брат, сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про эту нечего много говорить: простая, добрая; хлопотунья немного, но зато сердце какое! — ты, главное, на сердце смотри — пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры строит, хочет присвататься. Ты, однако, молчи; чур: секрет! Ну, кто же еще из наших? про детей не говорю: сам увидишь. Илюшка завтра именинник… Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван Иваныч Мизинчиков, тебе будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. Благороднейшая душа! но, знаешь, так промотался, что уж я и не знаю, где он успел так промотаться. Впрочем, у него ничего почти и не было; но все-таки промотался, наделал долгов… Теперь гостит у меня. Я его до этих пор и не знал совсем; сам приехал, отрекомендовался. Милый, добрый, смирный, почтительный. Слыхал ли от него здесь кто и слово? всё молчит. Фома, в насмешку, прозвал его «молчаливый незнакомец» — ничего: не сердится. Фома доволен; говорит про Ивана, что он недалек. Впрочем, Иван ему ни в чем не противоречит и во всем поддакивает. Гм! Забитый он такой… Ну, да бог с ним! сам увидишь. Есть городские гости: Павел Семеныч Обноскин с матерью; молодой человек, но высочайшего ума человек; что-то зрелое, знаешь, незыблемое… Я вот только не умею выразиться; и, вдобавок, превосходной нравственности; строгая мораль! Ну, и наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна, пожалуй, еще будет нам дальняя родственница — ты ее не знаешь, — девица,

немолодая — в этом можно признаться, но… с приятностями девица; богата, братец, так, что два Степанчикова купит; недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат Сережа, пожалуйста, остерегись: она такая болезненная… знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Ну, ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастья! Вдвое надо быть осторожнее с человеком, испытавшим несчастья! Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай… всё это, брат, так сказать, от чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излишнее благородство души — понимаешь?

Мне показалось, что дядя ужасно сконфузился. — Послушайте, дядюшка, — сказал я, — я вас так люблю… простите откровенный вопрос: женитесь вы на ком-нибудь здесь или нет?

— Да ты от кого слышал? — отвечал он, покраснев, как ребенок. — Вот видишь, друг мой, я тебе всё расскажу: во-первых, я не женюсь. Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома Фомич, которого маменька обожает, — и за дело, за дело: он много для нее сделал, — все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают — я ведь это понимаю; но я ни за что не женюсь — я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, я как-то не умел отвечать: ни да, ни нет не сказал. Это уж, брат, со мной всегда так случается. Они и подумали, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтоб завтра, для семейного праздника, я объяснился… и потому завтра такие хлопоты, что я даже не знаю, что предпринять! К тому же Фома Фомич, неизвестно почему, на меня рассердился; маменька тоже. Я, брат, признаюсь тебе, только ждал тебя да Коровкина… хотел излить, так сказать…

— Да чем же тут поможет Коровкин, дядюшка?

— Поможет, друг мой, поможет, — это, брат, уж такой человек; одно слово: человек науки! Я на него как на каменную гору надеюсь: побеждающий человек! Про семейное счастье как говорит! Я, признаюсь, и на тебя тоже надеялся; думал: ты их урезонишь. Сам рассуди: ну, положим, я виноват, действительно виноват — я понимаю всё это; я не бесчувственный. Ну, да всё же меня можно простить когда-нибудь! Тогда бы мы вот как зажили!.. Эх, брат, как выросла моя

Сашурка, хоть сейчас к венцу! Илюшка мой какой стал! завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь — вот что!..

— Дядюшка! где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь, а там…

— В мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заране велел, чтоб тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтоб никто не видал. Именно, именно переоденься! Это хорошо, прекрасно, прекрасно! А я покамест там всех понемногу приготовлю. Ну, и с богом! Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле Талейраном сделаешься. Ну, да ничего! Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. Фома Фомич любит пить сейчас как проснется; оно, знаешь, и лучше… Ну, так я пойду, а ты уж поскорей за мной, не оставляй меня одного: неловко, брат, как-то мне одному-то… Да! постой! вот еще к тебе просьба: не кричи на меня там, как давеча здесь кричал, — а? разве уж потом, если захочешь что заметить, так, наедине, здесь и заметишь; а до тех пор как-нибудь скрепись, подожди! Я, видишь ли, там уж и так накутил. Они сердятся…

— Послушайте, дядюшка, из всего, что я слышал и видел, мне кажется, что вы…

— Тюфяк, что ли? да уж ты договаривай! — перебил он меня совсем неожиданно. — Что ж, брат, делать! Я уж и сам это знаю. Ну, так ты придешь? Как можно скорее приходи, пожалуйста!

Взойдя наверх, я поспешно открыл чемодан, помня приказание дяди сойти вниз как можно скорее. Одеваясь, я заметил, что еще почти ничего не узнал из того, что хотел узнать, хотя и говорил с дядей целый час. Это меня поразило. Одно только было для меня несколько ясно: дядя всё еще настойчиво хотел, чтоб я женился; следовательно, все противоположные слухи, именно, что дядя влюблен в ту же особу сам. — неуместны. Помню, что я был в большой тревоге. Между прочим, мне пришло на мысль, что я приездом моим и молчанием перед дядей почти произнес обещание, дал слово, связал себя навеки. «Нетрудно, — думал я, — нетрудно сказать слово, которое свяжет потом навеки по рукам и по ногам. А я еще не видал и невесты!» И опять-таки: с чего эта вражда против меня целого семейства? Почему именно все они должны смотреть на мой приезд, как уверяет дядя, враждебно? И что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Отчего происходит его таинственность? отчего все

эти испуги и муки? Признаюсь, что всё это представилось мне вдруг чем-то совершенно бессмысленным; а романические и героические мечты мои совсем вылетели из головы при первом столкновении с действительностью. Теперь только, после разговора с дядей, мне вдруг представилась вся нескладность, вся эксцентричность его предложения, и я понял, что подобное предложение, и в таких обстоятельствах, способен был сделать один только дядя. Понял я также, что и сам я, прискакав сюда сломя голову, по первому его слову, в восторге от его предложения, очень походил на дурака. Я одевался поспешно, занятый тревожными моими сомнениями, так что и не заметил сначала прислуживавшего мне слугу.

— Аделаидина цвета изволите галстух надеть[*] или этот, с мелкими клетками? — спросил вдруг слуга, обращаясь ко мне с какою-то необыкновенною, приторною учтивостью.

Я взглянул на него, и оказалось, что он тоже достоин был любопытства. Это был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта. Коричневый фрак, белые брюки, палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Всё это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. Цепочка к часам была выставлена напоказ непременно с тою же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. Длинные, белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде; пальцы оканчивались щеголеватыми, длиннейшими розовыми ногтями. Все это показывало баловня, франта и белоручку. Он шепелявил и премодно не выговаривал букву *р*, подымал и опускал глаза, вздыхал и нежничал до невероятности. От него пахло духами. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал, вероятно, находя в этом самую высшую деликатность, — словом, он весь был пропитан деликатностью, субтильностью и необыкновенным чувством собственного достоинства.

Последнее обстоятельство, неизвестно почему, мне, сгоряча, не понравилось.

— Так этот галстух аделаидина цвета? — спросил я, строго посмотрев на молодого лакея.

— Аделаидина-с, — отвечал он с невозмутимою деликатностью.

— А аграфенина цвета нет?

— Нет-с. Такого и быть не может-с.

— Это почему?

— Неприличное имя Аграфена-с.

— Как неприличное? почему?

— Известно-с; Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с; а Аграфеной могут называть всякую последнюю бабу-с.

— Да ты с ума сошел или нет?

— Никак нет-с, я при своем уме-с. Всё — конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами; но разговором моим многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с.

— Да тебя как зовут?

— Видоплясов.

— А! так это ты Видоплясов?

— Точно так-с.

— Ну, подожди же, брат, я и с тобой познакомлюсь.

«Однако здесь что-то похоже на бедлам»[*], — подумал я про себя, сходя вниз.

## IV
## За чаем

Чайная была та самая комната, из которой был выход на террасу, где я давеча встретил Гаврилу. Таинственные предвещания дяди насчет приема, меня ожидавшего, очень меня беспокоили. Молодость иногда не в меру самолюбива, а молодое самолюбие почти всегда трусливо. Вот почему мне чрезвычайно неприятно было, когда я, только что войдя в дверь и увидя за чайным столом всё общество, вдруг запнулся за ковер, пошатнулся и, спасая равновесие, неожиданно вылетел на средину комнаты. Сконфузившись так, как будто я разом погубил свою

карьеру, честь и доброе имя, стоял я без движения, покраснев как рак и бессмысленно смотря на присутствовавших. Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следственно, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. Я попробовал было поклониться, не докончил, покраснел еще более, бросился к дяде и схватил его за руку.

— Здравствуйте, дядюшка, — проговорил я, задыхаясь, желая сказать что-то совсем другое, гораздо остроумнее, но, совсем неожиданно, сказав только «здравствуйте».

— Здравствуй, здравствуй, братец, — отвечал страдавший за меня дядя, — ведь мы уж здоровались. Да не конфузься, пожалуйста, — прибавил он шепотом, — это, брат, со всеми случается, да еще как! Бывало, хоть провалиться в ту ж пору!.. Ну, а теперь, маменька, позвольте вам рекомендовать: вот наш молодой человек; он немного сконфузился, но вы его верно полюбите. Племянник мой, Сергей Александрович, — добавил он, обращаясь ко всем вообще.

Но прежде чем буду продолжать рассказ, позвольте, любезный читатель, представить вам поименно всё общество, в котором я вдруг очутился. Это даже необходимо для порядка рассказа.

Вся компания состояла из нескольких дам и только двух мужчин, не считая меня и дяди. Фомы Фомича, — которого я так желал видеть и который, я уже тогда же чувствовал это, был полновластным владыкою всего дома, — не было: он блистал своим отсутствием и как будто унес с собой свет из комнаты. Все были мрачны и озабочены. Этого нельзя было не заметить с первого взгляда: как ни был я сам в ту минуту смущен и расстроен, однако я видел, что дядя, например, расстроен чуть ли не так же, как я, хотя он и употреблял все усилия, чтоб скрыть свою заботу под видимою непринужденностью. Что-то тяжелым камнем лежало у него на сердце. Один из двух мужчин, бывших в комнате, был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, тот самый Обноскин, о котором давеча упоминал дядя, восхваляя его ум и мораль. Этот господин мне чрезвычайно не понравился: всё в нем сбивалось на какой-то шик дурного тона; костюм его, несмотря на шик, был как-то потерт и скуден; в лице его было что-то как будто тоже потертое. Белобрысые, тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять человека

независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выделанною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему поворачивался, он медленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. Другой господин, тоже еще человек молодой, лет двадцати восьми, был мой троюродный братец, Мизинчиков. Действительно, он был чрезвычайно молчалив. За чаем во всё время он не сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я вовсе не заметил в нем никакой «забитости», которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал решимость и какую-то определенность характера. Мизинчиков был смугл, черноволос и довольно красив; одет очень прилично — на дядин счет, как узнал я после. Из дам я заметил прежде всех девицу Перепелицыну, по ее необыкновенно злому, бескровному лицу. Она сидела возле генеральши, — о которой будет особая речь впоследствии, — но не рядом, а несколько сзади, из почтительности; поминутно нагибалась и шептала что-то на ухо своей покровительнице. Две-три пожилые приживалки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку-генеральшу. Заинтересовала меня тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидесяти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то почерневшие и обломанные кусочки; это, однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не делать глазки. Она была увешана какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. Смиренная Прасковья Ильинична, моя тетушка, разливала чай. Ей, видимо, хотелось обнять меня после долгой разлуки и, разумеется, тут же расплакаться, но она не смела. Всё здесь, казалось, было под каким-то запретом. Возле нее сидела прехорошенькая, черноглазая пятнадцатилетняя девочка, глядевшая на меня пристально, с детским любопытством, — моя кузина Саша. Наконец, и, может быть, всех более, выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере лет тридцати пяти. Лицо у ней было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении, при

каждом волнении. Волновалась же она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как будто не обращали на себя ничьего внимания, точно наперед все в этом условились. Я догадался, что это была Татьяна Ивановна, та самая, в которой, по выражению дяди, было нечто фантасмагорическое, которую навязывали ему в невесты и за которой почти все в доме ухаживали за ее богатство. Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие; и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. Об этой Татьяне Ивановне, одной из настоящих «героинь» моего рассказа, я скажу после подробнее: биография ее примечательна. Минут пять после моего появления в чайной вбежал из сада прехорошенький мальчик, мой кузен Илюша, завтрашний именинник, у которого теперь оба кармана были набиты бабками, а в руках был кубарь. За ним вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. Она окинула всех пытливым, недоверчивым и даже робким взглядом, пристально посмотрела на меня и села возле Татьяны Ивановны. Помню, что у меня невольно стукнуло сердце: я догадался, что это была та самая гувернантка… Помню тоже, что дядя при ее появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. Заметил я еще, что мадам Обноскина сперва пристально посмотрела на дядю, а потом с саркастической улыбкой навела свой лорнет на гувернантку. Дядя очень смутился и, не зная, что делать, вызвал было Сашеньку, чтоб познакомить ее со мной, но та только привстала и молча, с серьезною важностью, мне присела. Это, впрочем, мне понравилось, потому что к ней шло. В ту же минуту добрая тетушка, Прасковья Ильинична, не вытерпела, бросила разливать чай и кинулась было ко мне лобызать меня; но я еще не успел ей сказать двух слов, как тотчас же раздался визгливый голос девицы Перепелицыной, пропищавшей, что «видно, Прасковья Ильинична забыли-с маменьку-с (генеральшу), что маменька-с требовали чаю-с, а вы и не наливаете-с, а они ждут-с», и

Прасковья Ильинична, оставив меня, со всех ног бросилась к своим обязанностям.

Эта генеральша, самое важное лицо во всем этом кружке и перед которой все ходили по струнке, была тощая и злая старуха, вся одетая в траур, — злая, впрочем, больше от старости и от потери последних (и прежде еще небогатых) умственных способностей; прежде же она была вздорная. Генеральство сделало ее еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на ад. У ней были две манеры злиться. Первая манера была молчаливая, когда старуха по целым дням не разжимала губ своих и упорно молчала, толкая, а иногда даже кидая на пол всё, что перед ней ни поставили. Другая манера была совершенно противоположная: красноречивая. Начиналось обыкновенно тем, что бабушка — она ведь была мне бабушка — погружалась в необыкновенное уныние, ждала разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновлялась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. Разумеется, открывалось, что она всё давно уж заранее предвидела и только потому молчала, что принуждена силою молчать в «этом доме». «Но если б только были к ней почтительны, если б только захотели ее заранее послушаться, то» и т. д. и т. д.; всё это немедленно поддакивалось стаей приживалок, девицей Перепелицыной и, наконец, торжественно скреплялось Фомой Фомичом. В ту минуту, как я представлялся ей, она ужасно гневалась, и, кажется, по первому способу, молчаливому, самому страшному. Все смотрели на нее с боязнью. Одна только Татьяна Ивановна, которой спускалось решительно все, была в превосходнейшем расположении духа. Дядя нарочно, даже с некоторым торжеством, подвел меня к бабушке; но та, сделав кислую гримасу, со злостью оттолкнула от себя свою чашку.

— Это тот вол-ти-жёр[*]? — проговорила она сквозь зубы и нараспев, обращаясь к Перепелицыной.

Этот глупый вопрос окончательно сбил меня с толку. Не понимаю, отчего она назвала меня вольтижёром? Но такие вопросы ей были еще нипочем. Перепелицына нагнулась и пошептала ей что-то на ухо; но старуха злобно махнула рукой. Я стоял с разинутым ртом и вопросительно смотрел на дядю. Все переглянулись, а Обноскин даже

оскалил зубы, что ужасно мне не понравилось.

— Она, брат, иногда заговаривается, — шепнул мне дядя, тоже отчасти потерявшийся, — но это ничего, она это так; это от доброго сердца. Ты, главное, на сердце смотри.

— Да, сердце! сердце! — раздался внезапно звонкий голос Татьяны Ивановны, которая всё время не сводила с меня своих глаз и отчего-то не могла спокойно усидеть на месте: вероятно, слово «сердце», сказанное шепотом, долетело до ее слуха.

Но она не договорила, хотя ей, очевидно, хотелось что-то высказать. Сконфузилась ли она, или что другое, только она вдруг замолчала, покраснела ужасно, быстро нагнулась к гувернантке, пошептала ей что-то на ухо, и вдруг, закрыв рот платком и откинувшись на спинку кресла, захохотала, как будто в истерике. Я оглядывал всех с крайним недоумением; но, к удивлению моему, все были очень серьезны и смотрели так, как будто ничего не случилось особенного. Я, конечно, понял, кто была Татьяна Ивановна. Наконец мне подали чаю, и я несколько оправился. Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что я обязан завести самый любезный разговор с дамами.

— Вы правду сказали, дядюшка, — начал я, — предостерегая меня давеча, что можно сконфузиться. Я откровенно признаюсь — к чему скрывать? — продолжал я, обращаясь с заискивающей улыбкой к мадам Обноскиной, — что до сих пор совсем почти не знал дамского общества, и теперь, когда мне случилось так неудачно войти, мне показалось, что моя поза среди комнаты была очень смешна и отзывалась несколько тюфяком, — не правда ли? Вы читали «Тюфяка?»[*] — заключил я, теряясь всё более и более, краснея за свою заискивающую откровенность и грозно смотря на мсье Обноскина, который, скаля зубы, всё еще оглядывал меня с головы до ног.

— Именно, именно, именно! — вскричал вдруг дядя с чрезвычайным одушевлением, искренно обрадовавшись, что разговор кое-как завязался и я поправляюсь. — Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, сконфузился, да и концы в воду! А я, брат, для первого моего дебюта даже соврал — веришь иль нет? Нет, ей-богу, Анфиса Петровна, это, я вам скажу, интересно прослушать. Только что поступил в юнкера, приезжаю в Москву, отправляюсь к одной важной барыне с рекомендательным письмом — то есть надменнейшая женщина была, но, в сущности, право, предобрая,

что б ни говорили. Вхожу — принимают. Гостиная полна народу, преимущественно тузы. Раскланялся, сел. Со второго слова она мне: «А есть ли, батюшка, деревеньки?» То есть ни курицы не было, — что отвечать? Сконфузился в прах. Все на меня смотрят (ну, что, юнкеришка!). Ну, почему бы не сказать: нет ничего; и благородно бы вышло, потому что правду бы сказал. Не выдержал! «Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал бы круглым числом — не правда ли? Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и, вдобавок, соврал! Ну, что было делать? Удрал во все лопатки и с тех пор ни ногой. Ведь у меня тогда еще ничего не было. Это всё, что теперь: триста душ от дядюшки Афанасья Матвеича да двести душ, с Капитоновкой, еще прежде, от бабушки Акулины Панфиловны, итого пятьсот с лишком. Это хорошо! Только я с тех пор закаялся врать и не вру.

— Ну, я бы на вашем месте не закаивался. Бог знает что может случиться, — заметил Обноскин, насмешливо улыбаясь.

— Ну, да, это правда, правда! Бог знает что может случиться, — простодушно поддакнул дядя.

Обноскин громко захохотал, опрокинувшись на спинку кресла; его маменька улыбнулась; как-то особенно гадко захихикала и девица Перепелицына; захохотала и Татьяна Ивановна, не зная чему, и даже забила в ладоши, — словом, я видел ясно, что дядю в его же доме считали ровно ни во что. Сашенька, злобно сверкая глазками, пристально смотрела на Обноскина. Гувернантка покраснела и потупилась. Дядя удивился.

— А что? что случилось? — повторил он, с недоумением озирая всех нас.

Во всё это время братец мой, Мизинчиков, сидел поодаль, молча, и даже не улыбнулся, когда все засмеялись. Он усердно пил чай, философски смотрел на всю публику и несколько раз, как будто в припадке невыносимой скуки, порывался засвистать, вероятно, по старой привычке, но вовремя останавливался. Обноскин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова: я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал на меня, и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек.

— Я уверена, — защебетала вдруг мадам Обноскина, — я совершенно уверена, monsieur Serge, — ведь так, кажется? — что вы, в вашем Петербурге, были не большим обожателем дам. Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это всё вольнодумцы. Я не иначе соглашаюсь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И признаюсь вам, меня это удивляет, удивляет, молодой человек, просто удивляет!..

— Совершенно не был в обществе, — отвечал я с необыкновенным одушевлением. — Но это… я по крайней мере думаю, ничего-с… Я жил, то есть я вообще нанимал квартиру… но это ничего, уверяю вас. Я буду знаком; а до сих пор я всё сидел дома…

— Занимался науками, — заметил, приосанившись, дядя.

— Ах, дядюшка, вы всё с своими науками!.. Вообразите, — продолжал я с необыкновенною развязностью, любезно осклабляясь и обращаясь снова к Обноскиной, — мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного, практического философа, господина Коровкина; и первое слово сегодня ко мне, после стольких лет разлуки, было, что он ждет этого феноменального чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением… из любви к науке, разумеется…

И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию.

— Кто такой? про кого он? — резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной.

— Гостей-с Егор Ильич наприглашали-с, ученых-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, — с наслаждением пропищала девица.

Дядя совсем растерялся.

— Ах, да! я и забыл! — вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор, — жду Коровкина. Человек науки, человек останется в столетии…

Он осекся и замолчал. Генеральша махнула рукой и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение.

— Это она всегда, как рассердится, возьмет да и бросит что-нибудь на пол, — шептал мне сконфуженный дядя. — Но это только — когда рассердится… Ты, брат, не смотри, не замечай, гляди в сторону… Зачем

ты об Коровкине-то заговорил?..

Но я и без того смотрел в сторону: в эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное; румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием моим сделать дядю смешным, чтоб хоть немного снять смешного с себя, я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно!

— А я с вами всё о Петербурге, — заливалась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. — Я с таким, можно сказать, нас-лаж-дением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице… Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом — помнишь, Поль? генерал Половицын… Ах, какое очаровательное, о-ча-ро-вательное существо была генеральша! Ну, знаете, этот аристократизм, beau monde!..[5] Скажите: вы, вероятно, встречались… Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда: я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших…

— Мне очень жаль, что я не могу… извините… Я уже сказал, что очень редко был в обществе, и совершенно не знаю генерала Половицына; даже не слыхивал, — отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние духа.

— Занимался минералогией! — с гордостью подхватил неисправимый дядя. — Это, брат, что камушки там разные рассматривает, минералогия-то?

— Да, дядюшка, камни…

— Гм… Много есть наук, и всё полезных! А я ведь, брат, по правде, и не знал, что такое минералогия! Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. В чем другом — еще так и сяк, а в науках глуп — откровенно каюсь!

— Откровенно каетесь? — подхватил, ухмыляясь, Обноскин.

— Папочка! — вскрикнула Саша, с укоризной смотря на отца.

— Что, душка? Ах, боже мой, я ведь всё прерываю вас, Анфиса Петровна, — спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. — Извините, ради Христа!

— О, не беспокойтесь! — отвечала с кисленькою улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже всё сказала вашему племяннику и

заключу разве тем, monsieur Serge, — так, кажется? — что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусства… ваяние, например… ну, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою о-ба-я-тельную сторону, но они не заменят дам!.. Женщины, женщины, молодой человек, формируют вас, и потому без них невозможно, невозможно, молодой человек, не-воз-можно!

— Невозможно, невозможно! — раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. — Послушайте, — начала она, как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев, — послушайте, я хочу вас спросить…

— Что прикажете-с? — отвечал я, внимательно в нее вглядываясь.

— Я хотела вас спросить: надолго вы приехали или нет?

— Ей-богу, не знаю-с; как дела…

— Дела! Какие у него могут быть дела?.. О безумец!..

И Татьяна Ивановна, краснея донельзя и закрываясь веером, нагнулась к гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши.

— Постойте! постойте! — вскричала она, отрываясь от своей конфидантки[*] и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтоб я не ушел, — послушайте, знаете ли, что я вам скажу? вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, о-ча-ро-ва-тельного молодого человека!.. Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца — помнишь, Сашенька! еще мы катались и встретили… верхом и в белом жилете… еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник! Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулась из коляски и закричала ему: «бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет… Помнишь, Настенька?

И полупомешанная на амурах девица вся в волнении закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели! В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойна. Анфиса Петровна, например, была не удивлена, но как будто чем-то вдруг озабочена, и с тоскою посмотрела на своего сына; барышни покраснели, а Поль Обноскин, с какою-то непонятною тогда для меня досадою, встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и

привлекло на себя всеобщее внимание.

— А! вот и Евграф Ларионыч! легок на помине! — закричал дядя, нелицемерно обрадовавшись. — Что, брат, из города?

«Ну, чудаки! их как будто нарочно собирали сюда!» — подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая и того, что и сам я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними.

## V
## Ежевикин

В комнату вошла, или, лучше сказать, как-то протеснилась (хотя двери были очень широкие), фигурка, которая еще в дверях сгибалась, кланялась и скалила зубы, с чрезвычайным любопытством оглядывая всех присутствовавших. Это был маленький старичок, рябой, с быстрыми и вороватыми глазками, с плешью и с лысиной и с какой-то неопределенной, тонкой усмешкой на довольно толстых губах. Он был во фраке, очень изношенном и, кажется, с чужого плеча. Одна пуговица висела на ниточке; двух или трех совсем не было. Дырявые сапоги, засаленная фуражка гармонировали с его жалкой одеждой. В руках его был бумажный клетчатый платок, весь засморканный, которым он обтирал пот со лба и висков. Я заметил, что гувернантка немного покраснела и быстро взглянула на меня. Мне показалось даже, что в этом взгляде было что-то гордое и вызывающее.

— Прямо из города, благодетель! прямо оттуда, отец родной! всё расскажу, только позвольте сначала честь заявить, — проговорил вошедший старичок и направился прямо к генеральше, но остановился на полдороге и снова обратился к дяде:

— Вы уж изволите знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий подлец! Ведь я, как вхожу, так уж тотчас же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким образом, с первого шагу, милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую замараю.

Генеральша подала ему руку, к удивлению моему, довольно

благосклонно.

— И вам, раскрасавица наша, поклон, — продолжал он, обращаясь к девице Перепелицыной. — Что делать, сударыня-барыня: подлец! еще в тысяча восемьсот сорок первом году было решено, что подлец, когда из службы меня исключили, именно тогда, как Валентин Игнатьич Тихонцов в высокоблагородные попал; асессора дали; его в асессоры, а меня в подлецы. А уж я так откровенно создан, что во всем признаюсь. Что делать! пробовал честно жить, пробовал, теперь надо попробовать иначе. Александра Егоровна, яблочко наше наливное, — продолжал он, обходя стол и пробираясь к Сашеньке, — позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет и всякими деликатностями. Имениннику наше почтение; лук и стрелу вам, батюшка, привез, сам целое утро делал; ребятишки мои помогали; вот ужо и будем спускать. А подрастете, в офицеры поступите, турке голову срубите. Татьяна Ивановна… ах, да их нет, благодетельницы! а то б и у них платьице поцеловал. Прасковья Ильинична, матушка наша родная, протесниться-то только к вам не могу, а то б не только ручку, даже и ножку бы вашу поцеловал — вот как-с! Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую. Еще сегодня за вас бога молил, благодетельница, на коленках, со слезами, бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам господь всё, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие такие-с… Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поминают. А вот теперь и хозяину большой поклон. Из города, ваше высокородие, прямехонько из города. А это, верно, племянничек ваш, что в ученом факультете воспитывался? Почтение наше всенижайшее, сударь; пожалуйте ручку.

Раздался смех. Понятно было, что старик играл роль какого-то добровольного шута. Приход его развеселил общество. Многие и не поняли его сарказмов, а он почти всех обошел. Одна гувернантка, которую он, к удивлению моему, назвал просто Настей, краснела и хмурилась. Я было отдернул руку: того только, кажется, и ждал старикашка.

— Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка, если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец

родной, покамест еще только пожать. Вы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете? — проговорил он, смотря на меня с насмешкою.

— Н… нет, помилуйте, я…

— То-то, батюшка! Коли я шут, так и другой кто-нибудь тут! А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете. Оно, впрочем, пожалуй, и шут. Я — раб, моя жена — рабыня, к тому же, польсти, польсти! вот оно что: все-таки что-нибудь выиграешь, хоть ребятишкам на молочишко. Сахару, сахару-то побольше во всё подсыпайте, так оно и здоровее будет. Это я вам, батюшка, по секрету говорю; может, и вам понадобится. Фортуна заела, благодетель, оттого я и шут.

— Хи-хи-хи! Ах, проказник этот старичок! вечно-то он рассмешит! — пропищала Анфиса Петровна.

— Матушка моя, благодетельница, ведь дурачком-то лучше на свете проживешь! Знал бы, так с раннего молоду в дураки б записался, авось теперь был бы умный. А то как рано захотел быть умником, так вот и вышел теперь старый дурак.

— Скажите, пожалуйста, — ввязался Обноскин (которому, верно, не понравилось замечание про таланты), как-то особенно независимо развалясь в кресле и рассматривая старика в свое стеклышко, как какую-нибудь козявку, — скажите, пожалуйста… всё я забываю вашу фамилью… как бишь вас?..

— Ах, батюшка! да фамилья-то моя, пожалуй что и Ежевикин, да что в том толку? Вот уж девятый год без места сижу — так и живу себе, по законам природы. А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских![*] Точно как по пословице: у богатого — телята, а у бедного — ребята…

— Ну, да… телята… это, впрочем, в сторону. Ну, послушайте, я давно хотел вас спросить: зачем вы, когда входите, тотчас назад оглядываетесь? Это очень смешно.

— Зачем оглядываюсь? А всё мне кажется, батюшка, что меня сзади кто-нибудь хочет ладошкой прихлопнуть, как муху, оттого и оглядываюсь. Мономан[*] я стал, батюшка.

Опять засмеялись. Гувернантка привстала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки.

— Это, брат, знаешь кто? — шепнул мне дядя, — ведь это *ее* отец!

Я смотрел на дядю во все глаза. Фамилия Ежевикин совершенно вылетела у меня из головы. Я геройствовал, всю дорогу мечтал о своей предполагаемой суженой, строил для нее великодушные планы и совершенно позабыл ее фамилию или, лучше сказать, не обратил на это никакого внимания с самого начала.

— Как отец? — отвечал я тоже шепотом. — Да ведь, я думал, она сирота?

— Отец, братец, отец. И знаешь, пречестнейший, преблагороднейший человек, и даже не пьет, а только так из себя шута строит. Бедность, брат, страшная, восемь человек детей! Настенькиным жалованьем и живут. Из службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой — ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, — не берет! Озлобленный человек!

— Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там, у вас, нового? — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор.

— А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунтах недовес муки оказался*. Это, барыня, тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то Игнатьич и пишет про Тришина: «Уж если, — говорит он, — часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, — а та с офицером прошлого года сбежала, — так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи?» Это он в бумаге своей так и поместил — ей-богу, не вру-с.

— Фи! Какие вы истории рассказываете! — закричала Анфиса Петровна.

— Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф, — поддакнул дядя. — Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный — могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый! И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь! Люди они, кажется, добрые, простые…

— Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь!* — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением.

Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А

может быть, кто знает! может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного.

— Позвольте спросить вас, — сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, — слыхали вы про иезуитов?

— Нет, отец родной, не слыхал; так разве что-нибудь… да где нам! А что-с?

— Так… я было, кстати, хотел рассказать… Впрочем, напомните мне при случае. А теперь, будьте уверены, что я вас понимаю и… умею ценить…

И, совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку.

— Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню! Золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу, для памяти.

И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном, табачном платке.

— Евграф Ларионыч, берите чаю, — сказала Прасковья Ильинична.

— Тотчас, раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня! Это вам за чаек. Степана Алексеича Бахчеева встретил дорогой, сударыня. Такой развеселый, что на тебе! Я уж подумал, не жениться ли собираются? Польсти, польсти! — проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь. — А что же благодетеля-то главного не видать, Фомы Фомича-с? разве не прибудут к чаю?

Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу.

— Уж я, право, не знаю, — отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. — Звали его, да он… Не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова и… разве, впрочем, мне самому сходить?

— Заходил я к ним сейчас, — таинственно проговорил Ежевикин.

— Может ли быть? — вскрикнул дядя в испуге. — Ну, что ж?

— Наперед всего заходил-с, почтение свидетельствовал. Сказали, что они в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что они и сухой хлебной корочкой могут быть сыты, да-с.

Слова эти, казалось, поразили дядю настоящим ужасом.

— Да ты б объяснил ему, Евграф Ларионыч, ты б рассказал, —

проговорил наконец дядя, смотря на старика с тоской и упреком.

— Говорил-с, говорил-с.

— Ну?

— Долго не изволили мне отвечать-с. За математической задачей какой-то сидели, определяли что-то; видно, головоломная задача была. Пифагоровы штаны при мне начертили — сам видел. Три раза повторял; уж на четвертый только подняли головку и как будто впервые меня увидали. «Не пойду, говорят, там теперь *ученый* приехал, так уж где нам быть подле такого светила». Так и изволили выразиться, что подле светила.

И старикашка искоса, с насмешкою, взглянул на меня.

— Ну, так я и ждал! — вскричал дядя, всплеснув руками, — так я и думал! Ведь это он про тебя, Сергей, говорит, что «ученый». Ну, что теперь делать?

— Признаюсь, дядюшка, — отвечал я, с достоинством пожимая плечами, — по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать и внимания, и я, право, удивляюсь вашему смущению.

— Ох, братец, не знаешь ты ничего! — вскрикнул он, энергически махнув рукой.

— Да уж теперь нечего горевать-с, — ввязалась вдруг девица Перепелицына, — коли все причины злые от вас самих спервоначалу произошли-с, Егор Ильич-с. Снявши голову, по волосам не плачут-с. Послушали бы маменьку-с, так теперь бы и не плакали-с.

— Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь бога! — проговорил дядя умоляющим голосом, как будто напрашиваясь на объяснение.

— Я бога боюсь, Егор Ильич; а происходит всё оттого, что вы эгоисты-с и родительницу не любите-с, — с достоинством отвечала девица Перепелицына. — Отчего вам было, спервоначалу, воли их не уважить-с? Они вам мать-с. А я вам неправды не стану говорить-с. Я сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

Мне показалось, что Перепелицына ввязалась в разговор единственно с тою целию, чтоб объявить всем нам, и особенно мне, новоприбывшему, что она сама подполковничья дочь, а не какая-нибудь-с.

— Оттого, что он оскорбляет мать свою, — грозно проговорила наконец сама генеральша.

— Маменька, помилосердуйте! Где же я вас оскорбляю?

— Оттого, что ты мрачный эгоист, Егорушка, — продолжала генеральша, всё более и более одушевляясь.

— Маменька, маменька! где же я мрачный эгоист? — вскричал дядя почти в отчаянии, — пять дней, целых пять дней вы сердитесь на меня и не хотите со мной говорить! А за что? за что? Пусть же судят меня, пусть целый свет меня судит! Пусть, наконец, услышат и мое оправдание. Я долго молчал, маменька; вы не хотели слушать меня: пусть же теперь люди меня услышат. Анфиса Петровна! Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! Сергей, друг мой! ты человек посторонний, ты, так сказать, зритель, ты беспристрастно можешь судить…

— Успокойтесь, Егор Ильич, успокойтесь, — вскрикнула Анфиса Петровна, — не убивайте маменьку!

— Я не убью маменьку, Анфиса Петровна; но вот грудь моя — разите! — продолжал дядя, разгоряченный до последней степени, что бывает иногда с людьми слабохарактерными, когда их выведут из последнего терпения, хотя вся горячка их походит на огонь от зажженной соломы, — я хочу сказать, Анфиса Петровна, что я никого не оскорблю. Я и начну с того, что Фома Фомич благороднейший, честнейший человек и, вдобавок, человек высших качеств, но… но он был несправедлив ко мне в этом случае.

— Гм! — промычал Обноскин, как будто желая поддразнить еще более дядю.

— Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бесчувственный столб? Ведь я вижу, ведь я понимаю, со слезами сердца, можно сказать, понимаю, что все эти недоразумения от излишней любви *его* ко мне происходят. Но, воля ваша, он, ей-богу, несправедлив в этом случае. Я всё расскажу. Я хочу рассказать теперь эту историю, Анфиса Петровна, во всей ее ясности и подробности, чтоб видели, с чего дело вышло и справедливо ли на меня сердится маменька, что я не угодил Фоме Фомичу. Выслушай и ты меня, Сережа, — прибавил он, обращаясь ко мне, что делал и во всё продолжение рассказа, как будто бы боясь других слушателей и сомневаясь в их сочувствии, — выслушай и ты меня, и реши: прав я или нет. Вот видишь, вот с чего началась вся история: неделю назад — да, именно не больше недели, — проезжает

через наш город бывший начальник мой, генерал Русапетов, с супругою и свояченицею. Останавливаются на время. Я поражен. Спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь и приглашаю к себе на обед. Обещал, если можно будет. То есть благороднейший человек, я тебе скажу; блестит добродетелями и, вдобавок, вельможа! Свояченицу свою облагодетельствовал; одну сироту замуж выдал за дивного молодого человека (теперь стряпчим в Малинове; еще молодой человек, но с каким-то, можно сказать, универсальным образованием!) — словом, из генералов генерал! Ну, у нас, конечно, возня, трескотня, повара, фрикасеи*; музыку выписываю. Я, разумеется, рад и смотрю именинником! Не понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! Сидел за столом — помню еще, подавали его любимый киселек со сливками, — молчал-молчал да как вскочит: «Обижают меня, обижают!» — «Да чем же, говорю, тебя, Фома Фомич, обижают?» — «Вы теперь, говорит, мною пренебрегаете; вы генералами теперь занимаетесь; вам теперь генералы дороже меня!» Ну, разумеется, я теперь всё это вкратце тебе передаю; так сказать, одну только сущность; но если бы ты знал, что он еще говорил… словом, потряс всю мою душу! Что ты будешь делать? Я, разумеется, падаю духом; фрапировало* меня это, можно сказать; хожу как мокрый петух. Наступает торжественный день. Генерал присылает сказать, что не может: извиняется — значит, не будет. Я к Фоме: «Ну, Фома, успокойся! Не будет! Что ж бы ты думал? Не прощает, да и только! «Обидели, говорит, меня, да и только!» Я и так и сяк. «Нет, говорит, ступайте к своим генералам; вам генералы дороже меня; вы узы дружества, говорит, разорвали». Друг ты мой! ведь я понимаю, за что он сердится. Я не столб, не баран, не тунеядец какой-нибудь! Ведь это он из излишней любви ко мне, так сказать, из ревности делает — он это сам говорит, — он ревнует меня к генералу, расположение мое боится потерять, испытывает меня, хочет узнать, чем я для него могу пожертвовать. «Нет, говорит, я сам для вас всё равно, что генерал, я сам для вас ваше превосходительство! Тогда помирюсь с вами, когда вы мне свое уважение докажете». — «Чем же я тебе докажу мое уважение, Фома Фомич?» — «А называйте, говорит, меня целый день: ваше превосходительство; тогда и докажете уважение!» Упадаю с облаков! Можешь представить себе мое удивление! «Да послужит это, говорит, вам уроком, чтоб вы не восхищались вперед генералами, когда и другие

люди, может, еще почище ваших всех генералов!» Ну, тут уж и я не вытерпел, каюсь! открыто каюсь! «Фома Фомич, говорю, разве это возможное дело? Ну, могу ли я решиться на это? Разве я могу, разве я вправе произвести тебя в генералы? Подумай, кто производит в генералы? Ну, как я скажу тебе: ваше превосходительство? Да ведь это, так сказать, посягновение на величие судеб! Да ведь генерал служит украшением отечеству: генерал воевал, он свою кровь на поле чести пролил! Как же я тебе-то скажу: ваше превосходительство?» Не унимается, да и только! «Что хочешь, говорю, Фома, всё для тебя сделаю. Вот ты велел мне сбрить бакенбарды, потому что в них мало патриотизма, — я сбрил, поморщился, а сбрил. Мало того, сделаю всё, что тебе будет угодно, только откажись от генеральского сана!» — «Нет, говорит, не помирюсь до тех пор, пока не скажут: ваше превосходительство! Это, говорит, для нравственности вашей будет полезно: это смирит ваш дух!» — говорит. И вот теперь уж неделю, целую неделю говорить не хочет со мной; на всех, кто ни приедет, сердится. Про тебя услыхал, что ученый, — это я виноват; погорячился, разболтал! — так сказал, что нога его в доме не будет, если ты в дом войдешь. «Значит, говорит, уж я теперь для вас не ученый». Вот беда будет, как узнает теперь про Коровкина! Ну помилуй, ну посуди, ну чем же я тут виноват? Ну неужели ж решиться сказать ему «ваше превосходительство»? Ну можно ли жить в таком положении? Ну за что он сегодня бедняка Бахчеева из-за стола прогнал? Ну, положим, Бахчеев не сочинил астрономии; да ведь и я не сочинил астрономии, да ведь и ты не сочинил астрономии… Ну за что, за что?

— А за то, что ты завистлив, Егорушка, — промямлила опять генеральша.

— Маменька! — вскричал дядя в совершенном отчаянии, — вы сведете меня с ума!.. Вы не свои, вы чужие речи переговариваете, маменька! Я, наконец, столбом, тумбой, фонарем делаюсь, а не вашим сыном!

— Я слышал, дядюшка, — перебил я, изумленный до последней степени рассказом, — я слышал от Бахчеева — не знаю, впрочем, справедливо иль нет, — что Фома Фомич позавидовал именинам Илюши и утверждает, что и сам он завтра именинник. Признаюсь, эта характеристическая черта так меня изумила, что я…

— Рожденье, братец, рожденье, не именины, а рожденье! —

скороговоркою перебил меня дядя. — Он не так только выразился, а он прав: завтра его рожденье. Правда, брат, прежде всего…

— Совсем не рожденье! — крикнула Сашенька.

— Как не рожденье? — крикнул дядя, оторопев.

— Вовсе не рожденье, папочка! Это вы просто неправду говорите, чтоб самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его в марте было, — еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: всё кричал, что ему бок *раздавила* подушка, да щипался; тетушку со злости два раза ущипнул! А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассердился, зачем не было камелий в нашем букете. «Я, говорит, люблю камелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня пожалели в оранжерее нарвать». И целый день киснул да куксился, с нами говорить не хотел…

Я думаю, если б бомба упала среди комнаты, то это не так бы изумило и испугало всех, как это открытое восстание — и кого же? — девочки, которой даже и говорить не позволялось громко в бабушкином присутствии. Генеральша, немая от изумления и от бешенства, привстала, выпрямилась и смотрела на дерзкую внучку свою, не веря глазам. Дядя обмер от ужаса.

— Экую волю дают! уморить хотят бабиньку-с! — крикнула Перепелицына.

— Саша, Саша, опомнись! что с тобой, Саша? — кричал дядя, бросаясь то к той, то к другой, то к генеральше, то к Сашеньке, чтоб остановить ее.

— Не хочу молчать, папочка! — закричала Саша, вдруг вскочив со стула, топая ножками и сверкая глазенками, — не хочу молчать! Мы все долго терпели из-за Фомы Фомича, из-за скверного, из-за гадкого вашего Фомы Фомича! Потому что Фома Фомич всех нас погубит, потому что ему то и дело толкуют, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попурри какое-то, а Фома Фомич, как дурак, всему и поверил! Столько сладких блюд ему нанесли, что другому бы совестно стало, а Фома Фомич скушал всё, что перед ним ни поставили, да и еще просит. Вот вы увидите, всех нас съест, а виноват всему папочка! Гадкий, гадкий Фома Фомич, прямо скажу, никого не боюсь! Он глуп, капризен, замарашка, неблагодарный, жестокосердый, тиран, сплетник, лгунишка… Ах, я бы непременно,

непременно, сейчас же прогнала его со двора, а папочка его обожает, а папочка от него без ума!..

— Ах!.. — вскрикнула генеральша и покатилась в изнеможении на диван.

— Голубчик мой. Агафья Тимофеевна, ангел мой! — кричала Анфиса Петровна, — возьмите мой флакон! Воды, скорее воды!

— Воды, воды! — кричал дядя, — маменька, маменька, успокойтесь! на коленях умоляю вас успокоиться!..

— На хлеб на воду вас посадить-с да из темной комнаты не выпускать-с… человекоубийцы вы эдакие! — прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына.

— И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! — кричала Сашенька, в свою очередь пришедшая в какое-то самозабвение. — Я папочку защищаю, потому что он сам себя защитить не умеет. Кто он такой, кто он, ваш Фома Фомич, перед папочкою? У папочки хлеб ест да папочку же и унижает, неблагодарный! Да я б его разорвала в куски, вашего Фому Фомича! На дуэль бы его вызвала да тут бы и убила из двух пистолетов…

— Саша! Саша! — кричал в отчаянии дядя. — Еще одно слово — и я погиб, безвозвратно погиб!

— Папочка! — вскричала Саша, вдруг стремительно бросаясь к отцу, заливаясь слезами и крепко обвив его своими ручками, — папочка! ну вам ли, доброму, прекрасному, веселому, умному, вам ли, вам ли так себя погубить? Вам ли подчиняться этому скверному, неблагодарному человеку, быть его игрушкой, на смех себя выставлять? Папочка, золотой мой папочка!..

Она зарыдала, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.

Началась страшная суматоха. Генеральша лежала в обмороке. Дядя стоял перед ней на коленях и целовал ее руки. Девица Перепелицына увивалась около них и бросала на нас злобные, но торжествующие взгляды. Анфиса Петровна смачивала виски генеральши водою и возилась с своим флаконом. Прасковья Ильинична трепетала и заливалась слезами; Ежевикин искал уголка, куда бы забиться, а гувернантка стояла бледная, совершенно потерявшись от страха. Один только Мизинчиков оставался совершенно по-прежнему. Он встал, подошел к окну и принялся пристально смотреть в него, решительно не обращая внимания на всю эту сцену.

Вдруг генеральша приподнялась с дивана, выпрямилась и обмерила меня грозным взглядом.

— Вон! — крикнула она, притопнув на меня ногою.

Я должен признаться, что этого совершенно не ожидал.

— Вон! вон из дому; вон! Зачем он приехал? чтоб и духу его не было! вон!

— Маменька! маменька, что вы! да ведь это Сережа, — бормотал дядя, дрожа всем телом от страха. — Ведь он, маменька, к нам в гости приехал.

— Какой Сережа? вздор! не хочу ничего слышать; вон! Это Коровкин. Я уверена, что это Коровкин. Меня предчувствие не обманывает. Он приехал Фому Фомича выживать; его и выписали для этого. Мое сердце предчувствует… Вон, негодяй!

— Дядюшка, если так, — сказал я, захлебываясь от благородного негодования, — если так, то я… извините меня. — И я схватился за шляпу.

— Сергей, Сергей, что ты делаешь?.. Ну, вот теперь этот… Маменька! ведь это Сережа!.. Сергей, помилуй! — кричал он, гоняясь за мной и силясь отнять у меня шляпу, — ты мой гость, ты останешься — я хочу! Ведь это она только так, — прибавил он шепотом, — ведь это она только когда рассердится… Ты только теперь, первое время, спрячься куда-нибудь… побудь где-нибудь — и ничего, всё пройдет. Она тебя простит — уверяю тебя! Она добрая, а только так, заговаривается… Слышишь, она принимает тебя за Коровкина, а потом простит, уверяю тебя… Ты чего? — закричал он дрожащему от страха Гавриле, вошедшему в комнату.

Гаврила вошел не один; с ним был дворовый парень, мальчик лет шестнадцати, прехорошенький собой, взятый во двор за красоту, как узнал я после. Звали его Фалалеем. Он был одет в какой-то особенный костюм, в красной шелковой рубашке, обшитой по вороту позументом, с золотым галунным поясом, в черных плисовых шароварах и в козловых сапожках, с красными отворотами. Этот костюм был затеей самой генеральши. Мальчик прегорько рыдал, и слезы одна за другой катились из больших голубых глаз его.

— Это еще что? — вскричал дядя, — что случилось? Да говори же, разбойник!

— Фома Фомич велел быть сюда; сами вослед идут, — отвечал

скорбный Гаврила, — мне на экзамент, а он…

— А он?

— Плясал-с, — отвечал Гаврила плачевным голосом.

— Плясал! — вскрикнул в ужасе дядя.

— Пля-сал! — проревел Фалалей всхлипывая.

— Комаринского?

— Ко-ма-ринского!

— А Фома Фомич застал?

— Зас-тал!

— Дорезали! — вскрикнул дядя, — пропала моя голова! — и обеими руками схватил себя за голову.

— Фома Фомич! — возвестил Видоплясов, входя в комнату.

Дверь отворилась, и Фома Фомич сам, своею собственною особою, предстал перед озадаченной публикой.

## VI
## Про белого быка и про комаринского мужика

Но прежде, чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фалалее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселом занятии. Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди. Дядя его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. Но мальчик как-то особенно понравился генеральше и, несмотря на гнев Фомы Фомича, остался вверху, при господах: настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду — он всё считал за обиду — и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фалалей был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой, редкой игрушкой; и еще неизвестно, кого она больше любила: свою ли маленькую, курчавенькую собачку Ами или Фалалея? Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением.

Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было счесть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда барыня падает в обморок или когда уж слишком забранят его барина. Он сочувствует всякому несчастью. Иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтоб она не сердилась, — и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добр и незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок. Со стола ему подают подачку.

Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар. Когда ему дадут сахарцу, он тут же сгрызает его своими крепкими, белыми, как молоко, зубами, и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике.

Долго гневался Фома Фомич; но, рассудив наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем Фалалею. Разбранив сперва дядю за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как! — говорил он, защищая свою нелепую мысль (мысль, приходившую в голову и не одному Фоме Фомичу, чему свидетелем пишущий эти строки), — как! он всегда вверху при своей госпоже; вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, донне муа мон мушуар[*] — он должен и тут найтись и тут услужить!» Но оказалось, что не только нельзя было Фалалея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку! Фалалей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того: из этого даже вышла история. Дворовые стали дразнить Фалалея французом, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фомы Фомича, и, разгневавшись, он, в наказание, заставил

учиться по-французски самого оппонента, Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господина Бахчеева. Насчет манер было еще хуже: Фома решительно не мог образовать по-своему Фалалея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны, что Фома Фомич, с своей стороны, находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фалалей упорно оставался Фалалеем. Разумеется, за всё это прежде всех доставалось дяде.

— Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал? — кричит, бывало, Фома, для большего эффекта выбрав время, когда все в сборе. — Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом, и, знаете ли, что он сказал после этого? Поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!.. Фалалей подходит плача, утирая обеими руками глаза.

— Что ты сказал, когда сожрал свой пирог? повтори при всех!

Фалалей не отвечает и заливается горькими слезами.

— Так я скажу за тебя, коли так. Ты сказал, треснув себя по своему набитому и неприличному брюху: «Натрескался пирога, как Мартын мыла!»[*] Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это иль нет? говори!

— Ска-зал!.. — подтверждает Фалалей, всхлипывая.

— Ну, так скажи мне теперь; разве Мартын ест мыло? Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло? Говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!

Молчание.

— Я тебя спрашиваю, — пристает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. Ну, кто же он? Регистратор, астроном, пошехонец, поэт, каптенармус, дворовый человек — кто-нибудь должен же быть. Отвечай!

— Дво-ро-вый че-ло-век, — отвечает наконец Фалалей, продолжая плакать.

— Чей? чьих господ?

Но Фалалей не умеет сказать, чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели; с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего

рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах.

Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартыновым мылом Фалалей, Принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына и всё вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще недоставало! Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного его Фалалеем. В этот раз были приняты строгие меры: Фалалей был наказан; он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые, мужицкие сны. «Я за что сержусь, — говорил Фома. — кроме того, что он по-настоящему не должен бы сметь и подумать лезть ко мне с своими снами, тем более с белым быком; кроме этого — согласитесь сами, полковник, — что такое белый бык, как не доказательство грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного Фалалея? Каковы мысли, таковы и сны. Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его вверху, при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу во что-нибудь возвышенное, поэтическое. Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фалалею, — разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фалалей обещал непременно увидать в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду.

Ложась спать, Фалалей со слезами молил об этом бога и долго думал, как бы сделать так, чтоб не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющей в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, а что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть, и самим полковником, чтоб сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крику, упреков и слез. Генеральша к вечеру захворала; весь дом повесил нос. Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-

нибудь из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божию ночь, Фалалей постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать.

Но всего интереснее было то, что Фалалей никак не мог догадаться солгать: просто — сказать, что видел не белого быка, а хоть, например, карету, наполненную дамами и Фомой Фомичом; тем более что солгать, в таком крайнем случае, было даже не так и грешно. Но Фалалей был до того правдив, что решительно не умел солгать, если б даже и захотел. Об этом даже и не намекали ему. Все знали, что он изменит себе в первое же мгновение и что Фома Фомич тотчас же поймает его во лжи. Что было делать? Положение дяди становилось невыносимым: Фалалей был решительно неисправим. Бедный мальчик даже стал худеть от тоски. Ключница Маланья утверждала, что его испортили, и спрыснула его с уголька водою. В этой полезной операции участвовала и сердобольная Прасковья Ильинична. Но даже и это не помогло. Ничто не помогало!

— Да пусто б его взяло, треклятого! — рассказывал Фалалей, — каждую ночь снится! каждый раз с вечера молюсь: «Сон не снись про белого быка, сон не снись про белого быка!» А он тут как тут, проклятый, стоит передо мной, большой, с рогами, тупогубый такой, у-у-у!

Дядя был в отчаянии. Но, к счастью, Фома Фомич вдруг как будто забыл про белого быка. Конечно, никто не верил, что Фома Фомич может забыть о таком важном обстоятельстве. Все со страхом полагали, что он приберегает белого быка про запас и обнаружит его при первом удобном случае. Впоследствии оказалось, что Фоме Фомичу в это время было не до белого быка: у него случились другие дела, другие заботы; другие замыслы созревали в полезной и многодумной его голове. Вот почему он и дал спокойно вздохнуть Фалалею. Вместе с Фалалеем и все отдохнули. Парень повеселел, даже стал забывать о прошедшем; даже белый бык начал появляться реже и реже, хотя всё еще напоминал иногда о своем фантастическом существовании. Словом, всё бы пошло хорошо, если б не было на свете комаринского.

Надобно заметить, что Фалалей отлично плясал; это была его главная способность, даже нечто вроде призвания; он плясал с энергией, с неистощимой веселостью, но особенно любил он комаринского

мужика. Не то чтоб ему уж так очень нравились легкомысленные и во всяком случае необъяснимые поступки этого ветреного мужика — нет, ему нравилось плясать комаринского единственно потому, что слушать комаринского и не плясать под эту музыку было для него решительно невозможно. Иногда, по вечерам, два-три лакея, кучера, садовник, игравший на скрипке, и даже несколько дворовых дам собирались в кружок, где-нибудь на самой задней площадке барской усадьбы, подальше от Фомы Фомича; начинались музыка, танцы и под конец торжественно вступал в свои права и комаринский. Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтор Митюшка.* Надо было посмотреть, что делалось тогда с Фалалеем: он плясал до забвенья самого себя, до истощения последних сил, поощряемый криками и смехом публики; он взвизгивал, кричал, хохотал, хлопал в ладоши; он плясал, как будто увлекаемый постороннею, непостижимою силою, с которой не мог совладать, и упрямо силился догнать всё более и более учащаемый темп удалого мотива, выбивая по земле каблуками. Это были минуты истинного его наслаждения; и всё бы это шло хорошо и весело, если б слух о комаринском не достиг наконец Фомы Фомича. Фома Фомич обмер и тотчас же послал за полковником.

— Я хотел от вас только об одном узнать, полковник, — начал Фома, — совершенно ли вы поклялись погубить этого несчастного идиота или не совершенно? В первом случае я тотчас же отстраняюсь; если же не совершенно, то я…

— Да что такое? что случилось? — вскричал испуганный дядя.

— Как что случилось? Да знаете ли вы, что он пляшет комаринского?

— Ну… ну что ж?

— Как ну что ж? — взвизгнул Фома. — И говорите это вы — вы, их барин и даже, в некотором смысле, отец! Да имеете ли вы после этого здравое понятие о том, что такое комаринский? Знаете ли вы, что эта песня изображает одного отвратительного мужика, покусившегося на самый безнравственный поступок в пьяном виде? Знаете ли, на что посягнул этот развратный холоп? Он попрал самые драгоценные узы и, так сказать, притоптал их своими мужичьими сапожищами, привыкшими попирать только пол кабака! Да понимаете ли, что вы оскорбили благороднейшие чувства мои своим ответом? Понимаете ли,

что вы лично оскорбили меня своим ответом? Понимаете ли вы это иль нет?

— Но, Фома… Да ведь это только песня, Фома…

— Как только песня! И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню — вы, член благородного общества, отец благонравных и невинных детей и, вдобавок, полковник? Только песня! Но я уверен, что эта песня взята с истинного события! Только песня! Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню? какой, какой?

— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфуженный дядя.

— Как! я знаю? я… я… то есть я!.. Обидели! — вскричал вдруг Фома, срываясь со стула и захлебываясь от злости. Он никак не ожидал такого оглушительного ответа.

Не стану описывать гнев Фомы Фомича. Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и *ненаходчивость* своего ответа. Но с этих пор Фома Фомич дал себе клятву: поймать на месте преступления Фалалея, танцующего комаринского. По вечерам, когда все полагали, что он чем-нибудь занят, он нарочно выходил потихоньку в сад, обходил огороды и забивался в коноплю, откуда издали видна была площадка, на которой происходили танцы. Он сторожил бедного Фалалея, как охотник птичку, с наслаждением представляя себе, какой трезвон задаст он в случае успеха всему дому и в особенности полковнику. Наконец неусыпные труды его увенчались успехом: он застал комаринского! Понятно после этого, отчего дядя рвал на себе волосы, когда увидел плачущего Фалалея и услышал, что Видоплясов возвестил Фому Фомича, так неожиданно и в такую хлопотливую минуту представшего перед нами своею собственною особою.

## VII
## Фома Фомич

Я с напряженным любопытством рассматривал этого господина. Гаврила справедливо назвал его плюгавеньким человечком. Фома был

мал ростом, белобрысый и с проседью, с горбатым носом и мелкими морщинками по всему лицу. На подбородке его была большая бородавка. Лет ему было под пятьдесят. Он вошел тихо, мерными шагами, опустив глаза вниз. Но самая нахальная самоуверенность изображалась в его лице и во всей его педантской фигурке. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя, но все-таки шлафроке и, вдобавок, в туфлях. Воротничок его рубашки, не подвязанный галстухом, был отложен à l'enfant;[6] это придавало Фоме Фомичу чрезвычайно глупый вид. Он подошел к незанятому креслу, придвинул его к столу и сел, не сказав никому ни слова. Мгновенно исчезли вся суматоха, всё волнение, бывшие за минуту назад. Всё притихло так, что можно было расслышать пролетевшую муху. Генеральша присмирела, как агнец. Всё подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое нещечко, впилась в него глазами. Девица Перепелицына, осклабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя немедленно захлопотал.

— Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще. Ведь тебе послаще, Фома?

— Не до чаю мне вашего теперь! — проговорил Фома медленно и с достоинством, с озабоченным видом махнув рукой. — Вам бы всё, что послаще!

Эти слова и смешной донельзя, по своей педантской важности, вход Фомы чрезвычайно заинтересовали меня. Мне любопытно было узнать, до чего, до какого забвения приличий дойдет наконец наглость этого зазнавшегося господчика.

— Фома! — крикнул дядя, — рекомендую: племянник мой, Сергей Александрыч! сейчас приехал.

Фома Фомич обмерил его с ног до головы.

— Удивляюсь я, что вы всегда как-то систематически любите перебивать меня, полковник, — проговорил он после значительного молчания, не обратив на меня ни малейшего внимания. — Вам о деле говорят, а вы — бог знает о чем… *трактуете* … Видели вы Фалалея?

— Видел, Фома…

— А, видели! Ну, так я вам его опять покажу, коли видели. Можете полюбоваться на ваше произведение… в нравственном смысле. Поди сюда, идиот! Поди сюда, голландская ты рожа! Ну же, иди, иди! Не

бойся!

Фалалей подошел, всхлипывая, раскрыв рот и глотая слезы. Фома Фомич смотрел на него с наслаждением.

— С намерением назвал я его голландской рожей, Павел Семеныч, — заметил он, развалясь в кресле и слегка поворотясь к сидевшему рядом Обноскину, — да и вообще, знаете, не нахожу нужным смягчать свои выражения ни в каком случае. Правда должна быть правдой. А чем ни прикрывайте грязь, она все-таки останется грязью. Что ж и трудиться, смягчать? себя и людей обманывать! Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий[*]. Скажите — беру вас судьей, — находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не какую-нибудь красную харю?

Фома Фомич говорил тихо, мерно и с каким-то величавым равнодушием.

— В нем прекрасное? — отвечал Обноскин с какою-то нахальною небрежностью. — Мне кажется, это просто порядочный кусок ростбифа — и ничего больше…

— Подхожу сегодня к зеркалу и смотрюсь в него, — продолжал Фома, торжественно пропуская местоимение я. — Далеко не считаю себя красавцем, но поневоле пришел к заключению, что есть же что-нибудь в этом сером глазе, что отличает меня от какого-нибудь Фалалея. Это мысль, это жизнь, это ум в этом глазе! Не хвалюсь именно собой. Говорю вообще о нашем сословии. Теперь, как вы думаете: может ли быть хоть какой-нибудь клочок, хоть какой-нибудь отрывок души в этом живом бифстексе? Нет, в самом деле, заметьте, Павел Семеныч, как у этих людей, совершенно лишенных мысли и идеала и едящих одну говядину, как у них всегда отвратительно свеж цвет лица, грубо и глупо свеж! Угодно вам узнать степень его мышления? Эй, ты, статья! подойди же поближе, дай на себя полюбоваться! Что ты рот разинул? кита, что ли, проглотить хочешь? Ты прекрасен? Отвечай: ты прекрасен?

— Прек-ра-сен! — отвечал Фалалей с заглушенными рыданиями.

Обноскин покатился со смеху. Я чувствовал, что начинаю дрожать от злости.

— Вы слышали? — продолжал Фома, с торжеством обращаясь к Обноскину. — То ли еще услышите! Я пришел ему сделать экзамен.

Есть, видите ли, Павел Семеныч, люди, которым желательно развратить и погубить этого жалкого идиота. Может быть, я строго сужу, ошибаюсь; но я говорю из любви к человечеству. Он плясал сейчас самый неприличный из танцев. Никому здесь до этого нет и дела. Но вот сами послушайте. Отвечай: что ты делал сейчас? отвечай же, отвечай немедленно — слышишь?

— Пля-сал… — проговорил Фалалей, усиливая рыдания.

— Что же ты плясал? какой танец? говори же!

— Комаринского…

— Комаринского! А кто этот комаринский? Что такое комаринский? Разве я могу понять что-нибудь из этого ответа? Ну же, дай нам понятие: кто такой твой комаринский?

— Му-жик…

— Мужик! только мужик? Удивляюсь! Значит, замечательный мужик! значит, это какой-нибудь знаменитый мужик, если о нем уже сочиняются поэмы и танцы? Ну, отвечай же!

Тянуть жилы была потребность Фомы. Он заигрывал с своей жертвой, как кошка с мышкой; но Фалалей молчит, хнычет и не понимает вопроса.

— Отвечай же! — настаивает Фома, — тебя спрашивают: какой это мужик? Говори же!.. господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический?* Много есть мужиков…

— Э-ко-но-ми-ческий…

— А, экономический! Слышите. Павел Семеныч? новый исторический факт: комаринский мужик — экономический. Гм!.. Ну, что же сделал этот экономический мужик? за какие подвиги его так воспевают и… выплясывают?

Вопрос был щекотливый, а так как относился к Фалалею, то и опасный.

— Ну… вы… однако ж… — заметил было Обноскин, взглянув на свою маменьку, которая начинала как-то особенно повертываться на диване. Но что было делать? капризы Фомы Фомича считались законами.

— Помилуйте, дядюшка, если вы не уймете этого дурака, ведь он… Слышите, до чего он добирается? Фалалей что-нибудь соврет, уверяю вас… — шепнул я дяде, который потерялся и не знал, на что решиться.

— Ты бы, однако ж, Фома… — начал он, — вот я рекомендую тебе,

Фома, мой племянник, молодой человек, занимался минералогией…

— Я вас прошу, полковник, не перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы, сколько мне известно, ничего не знаете, а может быть, и *другие* тоже. Я не ребенок. Он ответит мне, что этот мужик, вместо того чтобы трудиться для блага своего семейства, напился пьян, пропил в кабаке полушубок и пьяный побежал по улице. В этом, как известно, и состоит содержание всей этой поэмы, восхваляющей пьянство. Не беспокойтесь, он *теперь* знает, что ему отвечать. Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от самого тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его уже воспевают трубадуры? Ну?

Несчастный Фалалей в тоске озирался кругом и в недоумении, что сказать, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на песок.

— Стыдно ска-зать! — промычал он наконец в совершенном отчаянии.

— А! стыдно сказать! — подхватил Фома, торжествуя. — Вот этого-то ответа я и добивался, полковник! Стыдно сказать, а не стыдно делать? Вот нравственность, которую вы посеяли, которая взошла и которую вы теперь… поливаете. Но нечего терять слова! Ступай теперь на кухню, Фалалей. Теперь я тебе ничего не скажу из уважения к публике; но сегодня же, сегодня же ты будешь жестоко и больно наказан. Если же нет, если и в этот раз меня на тебя променяют, то ты оставайся здесь и утешай своих господ комаринским, а я сегодня же выйду из этого дома! Довольно! Я сказал. Ступай!

— Ну уж вы, кажется, строго… — промямлил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — крикнул было дядя, но оборвался и замолчал. Фома мрачно на него покосился.

— Удивляюсь я, Павел Семеныч, — продолжал он, — что ж делают после этого все эти современные литераторы, поэты, ученые, мыслители? Как не обратят они внимания на то, какие песни поет русский народ и под какие песни пляшет русский народ? Что ж делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? Удивляюсь! Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незабудочки![*] Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления и не бросят свои незабудочки?[*] Это

социальный вопрос! Пусть изобразят они мне мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях — я и на это согласен, — но преисполненного добродетелями, которым — я это смело говорю — может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает[*]: потому и говорю это. Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного[*], не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. Пусть сам богач, в умилении души, принесет ему наконец свое золото; пусть даже при этом случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. Селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются наконец в добродетелях — это высокая мысль! А то что мы видим? С одной стороны, незабудочки, а с другой — выскочил из кабака и бежит по улице в растерзанном виде! Ну, что ж, скажите, тут поэтического? чем любоваться? где ум? где грация? где нравственность? Недоумеваю!

— Сто рублей я тебе должен, Фома Фомич, за такие слова! — проговорил Ежевикин с восхищенным видом.

— А ведь черта лысого с меня и получит, — прошептал он мне потихоньку. — Польсти, польсти!

— Ну, да… это вы хорошо изобразили, — промямлил Обноскин.

— Именно, именно, именно! — вскрикнул дядя, слушавший с глубочайшим вниманием и глядевший на меня с торжеством.

— Тема-то какая завязалась! — шепнул он, потирая руки. — Многосторонний разговор, черт возьми! Фома Фомич, вот мой племянник, — прибавил он от избытка чувств. — Он тоже занимался литературой, — рекомендую.

Фома Фомич, как и прежде, не обратил ни малейшего внимания на рекомендацию дяди.

— Ради бога, не рекомендуйте меня более! я вас серьезно прошу, — шепнул я дяде с решительным видом.

— Иван Иваныч! — начал вдруг Фома, обращаясь к Мизинчикову и пристально смотря на него, — вот мы теперь говорили: какого вы мнения?

— Я? вы меня спрашиваете? — с удивлением отозвался Мизинчиков, с таким видом, как будто его только что разбудили.

— Да, вы-с. Спрашиваю вас потому, что дорожу мнением истинно умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников, которые умны потому только, что их *беспрестанно рекомендуют* за умников, за *ученых*, а иной раз и нарочно выписывают, чтоб показывать их в балагане или вроде того.

Камень был пущен прямо в мой огород. И, однако ж, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. Я. по крайней мере, не сомневался в этом.

— Если вы хотите знать мое мнение, то я… я с вашим мнением согласен, — отвечал Мизинчиков вяло и нехотя.

— Вы всё со мной согласны! даже тошно становится, — заметил Фома. — Скажу вам откровенно, Павел Семеныч, — продолжал он после некоторого молчания, снова обращаясь к Обноскину, — если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»[*]: это высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!

— Именно, именно, именно! высокая *эпоха*! Фрол Силин, благодетельный человек! Помню, читал; *еще* выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, — поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! Он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в *ученый* разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал.

— Впрочем, и теперь пишут занимательно, — осторожно вмешалась Анфиса Петровна. — Вот, например, «Брюссельские тайны»[*].

— Не скажу-с, — заметил Фома, как бы с сожалением. — Читал я недавно одну из поэм… Ну, что! «Незабудочки»! А если хотите, из новейших мне более всех нравится «Переписчик» — легкое перо!

— «Переписчик»! — вскрикнула Анфиса Петровна, — это тот, который пишет в журнал письма?[*] Ах, как это восхитительно! какая игра слов.

— Именно, игра слов. Он, так сказать, играет пером.

Необыкновенная легкость пера!

— Да; но он педант, — небрежно заметил Обноскин.

— Педант, педант — не спорю; но милый педант, но грациозный педант! Конечно, ни одна из идей его не выдержит основательной критики; но увлекаешься легкостью! Пустослов — согласен; но милый пустослов, но грациозный пустослов! Помните, например, он объявляет в литературной статье, что у него есть свои поместья?

— Поместья? — подхватил дядя, — это хорошо! Которой губернии?

Фома остановился, пристально посмотрел на дядю и продолжал тем же тоном:

— Ну, скажите ради здравого смысла: для чего мне, читателю, знать, что у него есть поместья? Есть — так поздравляю вас с этим! Но как мило, как это шутливо описано! Он блещет остроумием, он брызжет остроумием, он кипит! Это какой-то Нарзан остроумия! Да, вот как надо писать! Мне кажется, я бы именно так писал, если б согласился писать в журналах…

— Может, и лучше еще-с, — почтительно заметил Ежевикин.

— Даже что-то мелодическое в слоге! — поддакнул дядя.

Фома Фомич наконец не вытерпел.

— Полковник, — сказал он, — нельзя ли вас попросить — конечно, со всевозможною деликатностью — не мешать нам и позволить нам в покое докончить наш разговор. Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но… оставьте литературу в покое. Она от этого не проиграет, уверяю вас!

Это уже превышало верх всякой дерзости! Я не знал, что подумать.

— Да ведь ты же сам, Фома, говорил, что мелодическое, — с тоскою произнес сконфуженный дядя.

— Так-с. Но я говорил с знанием дела, я говорил кстати; а вы?

— Да-с, мы-то с умом говорили-с, — подхватил Ежевикин, увиваясь около Фомы Фомича. — Ума-то у нас так немножко-с, занимать приходится, разве-разве что на два министерства хватит, а нет, так мы и с третьим управимся, — вот как у нас!

— Ну, значит, опять соврал! — заключил дядя и улыбнулся своей добродушной улыбкою.

— По крайней мере, сознаетесь, — заметил Фома.

— Ничего, ничего, Фома, я не сержусь. Я знаю, что ты, как друг, меня останавливаешь, как родной, как брат. Это я сам позволил тебе, даже просил об этом! Это дельно, дельно! Это для моей же пользы! Благодарю и воспользуюсь!

Терпение мое истощалось. Всё, что я до сих пор по слухам знал о Фоме Фомиче, казалось мне несколько преувеличенным. Теперь же, когда я увидел всё сам, на деле, изумлению моему не было пределов. Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого добровольного рабства, такого легковерного добродушия — с другой. Впрочем, даже и дядя был смущен такою дерзостью. Это было видно… Я горел желанием как-нибудь связаться с Фомой, сразиться с ним, как-нибудь нагрубить ему поазартнее, — а там что бы ни было! Эта мысль одушевила меня. Я искал случая и в ожидании совершенно обломал поля моей шляпы. Но случай не представлялся: Фома решительно не хотел замечать меня.

— Правду, правду ты говоришь, Фома, — продолжал дядя, всеми силами стараясь понравиться и хоть чем-нибудь замять неприятность предыдущего разговора. — Это ты правду режешь, Фома, благодарю. Надо знать дело, а потом уж и рассуждать о нем. Каюсь! Я уже не раз бывал в таком положении. Представь себе, Сергей, я один раз даже экзаменовал… Вы смеетесь! Ну вот, подите! Ей-богу, экзаменовал, да и только. Пригласили меня в одно заведение на экзамен, да и посадили вместе с экзаминаторами, так, для почету, лишнее место было. Так я, признаюсь тебе, даже струсил, страх какой-то напал: решительно ни одной науки не знаю! Что делать! Вот-вот, думаю, самого к доске потянут! Ну, а потом — ничего, обошлось; даже сам вопросы задавал, спросил: кто был Ной? Вообще превосходно отвечали; потом завтракали и за процветание пили шампанское. Отличное заведение!

Фома Фомич и Обноскин покатились со смеху.

— Да я и сам потом смеялся, — крикнул дядя, смеясь добродушнейшим образом и радуясь, что все развеселились. — Нет, Фома, уж куда ни шло! распотешу я вас всех, расскажу, как я один раз срезался… Вообрази, Сергей, стояли мы в Красногорске…

— Позвольте вас спросить, полковник: долго вы будете рассказывать вашу историю? — перебил Фома.

— Ах, Фома! да ведь это чудеснейшая история; просто лопнуть со смеху можно. Ты только послушай: это хорошо, ей-богу хорошо. Я

расскажу, как я срезался.

— Я всегда с удовольствием слушаю ваши истории, когда они в этом роде, — проговорил Обноскин, зевая.

— Нечего делать, приходится слушать, — решил Фома.

— Да ведь, ей-богу же, будет хорошо, Фома. Я хочу рассказать, как я один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске (начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказывать для удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсь в спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили… То есть бестия был этот Зверков, и попить и в картины заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, так уж тут всё забыл: где живет, в каком государстве, как самого зовут? — словом, решительно всё; но в сущности превосходнейший малый… Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаю и сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым… Я вам скажу, единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, — уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужился… Ну, разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил… После узнал: превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа… Ну-с, вот я, как дурак, и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?» — «Которая это?» — «Да эта». — «Да это моя двоюродная сестра». Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: «Да нет, говорю, не эта. Эк у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: кто эта?» — «Это моя сестра». Тьфу ты пропасть! А сестра его, как нарочно, розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, — словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь всё это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются!.. Ну-с, вот. «Да нет! — кричу, а сам не знаю, куда провалиться, — не эта!» — «Вот в середине-то которая?» — «Да, в середине». — «Ну, брат, это жена

моя»… Между нами: объедение, а не дамочка! то есть так бы и проглотил ее всю целиком от удовольствия… «Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же: руби, не жалей!» Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться! Ха-ха-ха-ха!

Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме.

— Кончили ль вы? — спросил он наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику.

— Кончил, Фома.

— И рады?

— То есть как это рад, Фома? — с тоскою отвечал бедный дядя.

— Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?

— Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты…

— Развеселить? — вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, — но вы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли, что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична, — это само собой… Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и всё потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущерб прямодушию и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом, а уж в этом я вас заверяю!..

— Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!

— Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Вас гложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недосягаемую остроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы…

— Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть людей!..

— Да ведь грустно же видеть всё это, полковник, а видя, — невозможно молчать. Я беден, я *проживаю* у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь *молокосос* мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюда давеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меня в такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могут счесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меня перед *незнакомыми*, тогда как я вам равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, а не *вы* мне. Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить — это естественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленно протестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменально завистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вам и досадно, вам и неймется: «Дай же и я свои познания и вкус выкажу!» А какой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько — извините меня, полковник, — сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо — сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник.

— Эх, Фома!..

— То-то: «эх, Фома»! Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не всё же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь в него: ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком!

Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно с прискорбием смотрел, как распекали его барина.

— Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. — Эй ты,

ворона, пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! — Это, вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучает французский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. — Ну, француз, мусью шематон*, — терпеть не может, когда говорят ему: мусью шематон, — знаешь урок?

— Вытвердил, — отвечал, повесив голову, Гаврила.

— А парле-ву-франсе?

— Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе…

* * *

Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так и покатились со смеху, лишь только Гаврила пошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна, упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал, плюнул и с укоризною произнес: «Вот до какого сраму дожил на старости лет!»

Фома Фомич встрепенулся.

— Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?

— Нет, Фома Фомич, — с достоинством отвечал Гаврила, — не грубиянство слова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином, грубиянить. Но всяк человек образ божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-изверга помнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, — дай бог им царство небесное — Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой от покойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь над собой не видывал!

И с последним словом Гаврила развел руками и склонил голову. Дядя следил за ним с беспокойством.

— Ну, полно, полно, Гаврила! — вскричал он, — нечего распространяться; полно!

— Ничего, ничего, — проговорил Фома, слегка побледнев и улыбаясь с натуги. — Пусть поговорит; это ведь всё ваши плоды…

— Всё расскажу, — продолжал Гаврила с необыкновенным одушевлением, — ничего не потаю! Руки свяжут, язык не завяжут! Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобою выхожу человек, одно слово: раб, а и мне в обиду! Услугой и подобострастьем я перед тобой завсегда обязан, для того, что рабски рожден и всякую обязанность во страхе и трепете происходить должен. Книжку сочинять сядешь, я докучного обязан к тебе не допускать, для того — это настоящая должность моя выходит. Прислужить, что понадобится, — с моим полным удовольствием сделаю. А то, что на старости лет по-заморски лаять да перед людьми сраму набираться! Да я в людскую теперь не могу сойти: «француз ты, говорят, француз!» Нет, сударь, Фома Фомич, не один я, дурак, а уж и добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, а что барин наш перед вами всё одно, что малый ребенок; что вы хоть породой и енаральский сын и сами, может, немного до енарала не дослужили, но такой злющий, как, то есть, должен быть настоящий фурий.

Гаврила кончил. Я был вне себя от восторга. Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассердиться? Наконец воспоследовал взрыв.

— Как! он смел обругать меня, — меня! да это бунт! — завизжал Фома и вскочил со стула.

За ним вскочила генеральша и всплеснула руками. Началась суматоха. Дядя бросился выталкивать преступного Гаврилу.

— В кандалы его, в кандалы! — кричала генеральша. — Сейчас же его в город и в солдаты отдай, Егорушка! Не то не будет тебе моего благословения. Сейчас же на него колодку набей и в солдаты отдай![*]

— Как, — кричал Фома, — раб! халдей[*]! хамлет[*]! осмелился обругать меня! он, он, обтирка моего сапога! он осмелился назвать меня фурией!

Я выступил вперед с необыкновенною решимостью.

— Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы, — сказал я, смотря Фоме Фомичу прямо в глаза и дрожа от волнения.

Он был так поражен этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим.

— Это еще что? — вскрикнул он наконец, накидываясь на меня в исступлении и впиваясь в меня своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Да ты кто такой?

— Фома Фомич… — заговорил было совершенно потерявшийся дядя, — это Сережа, мой племянник…

— Ученый! — завопил Фома, — так это он-то ученый? Либерте-эгалите-фратерните[*]! Журналь де деба[*]! Нет, брат, врешь! в Саксонии не была! Здесь не Петербург, не надуешь! Да плевать мне на твой де деба! У тебя де деба, а по-нашему выходит: «Нет, брат, слаба!» Ученый! Да ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл! вот какой ты ученый!

Если б не удержали его, он, мне кажется, бросился бы на меня с кулаками.

— Да он пьян, — проговорил я, с недоумением озираясь кругом.

— Кто? Я? — прикрикнул Фома не своим голосом.

— Да, вы!

— Пьян?

— Пьян.

Этого Фома не мог вынести. Он взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. Генеральша хотела, кажется, упасть в обморок, но рассудила лучше бежать за Фомой Фомичем. За ней побежали и все, а за всеми дядя. Когда я опомнился и огляделся, то увидел в комнате одного Ежевикина. Он улыбался и потирал себе руки.

— Про иезуитика-то давеча рассказать обещались, — проговорил он вкрадчивым голосом.

— Что? — спросил я, не понимая в чем дело.

— Про иезуитика давеча рассказать обещались… анекдотец-с…

Я выбежал на террасу, а оттуда в сад. Голова моя шла кругом…

## VIII
## Объяснение в любви

С четверть часа бродил я по саду, раздраженный и крайне недовольный собой, обдумывая: что мне теперь делать? Солнце садилось. Вдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом

к лицу с Настенькой. В глазах ее были слезы, в руках платок, которым она утирала их.

— Я вас искала, — сказала она.

— А я вас, — отвечал я ей. — Скажите: я в сумасшедшем доме или нет?

— Вовсе не в сумасшедшем доме, — проговорила она обидчиво, пристально взглянув на меня.

— Но если так, так что ж это делается? Ради самого Христа, подайте мне какой-нибудь совет! Куда теперь ушел дядя? Можно мне туда идти? Я очень рад, что вас встретил: может быть, вы меня в чем-нибудь и наставите.

— Нет, лучше не ходите. Я сама ушла от них.

— Да где они?

— А кто знает? Может быть, опять в огород побежали, — проговорила она раздражительно.

— В какой огород?

— Это Фома Фомич на прошлой неделе закричал, что не хочет оставаться в доме, и вдруг побежал в огород, достал в шалаше заступ и начал гряды копать. Мы все удивились: не с ума ли сошел? «Вот, говорит, чтоб не попрекнули меня потом, что я даром хлеб ел, буду землю копать и свой хлеб, что здесь ел, заработаю, а потом и уйду. Вот до чего меня довели!» А тут-то все плачут и перед ним чуть не на коленях стоят, заступ у него отнимают; а он-то копает; всю репу только перекопал. Сделали раз поблажку — вот он, может быть, и теперь повторяет. От него станется.

— И вы… и вы рассказываете это так хладнокровно! — вскричал я в сильнейшем негодовании.

Она взглянула на меня сверкавшими глазами.

— Простите мне; я уж и не знаю, что говорю! Послушайте, вам известно, зачем я сюда приехал?

— Н…нет, — отвечала она, закрасневшись, и какое-то тягостное ощущение отразилось в ее милом лице.

— Вы извините меня, — продолжал я, — я теперь расстроен, я чувствую, что не так бы следовало мне начать говорить об этом… особенно с вами… Но всё равно! По-моему, откровенность в таких делах лучше всего. Признаюсь… то есть я хотел сказать… вы знаете намерение дядюшки? Он приказал мне искать вашей руки…

— О, какой вздор! Не говорите этого, пожалуйста! — сказала она, поспешно перебивая меня и вся вспыхнув. Я был озадачен.

— Как вздор? Но он ведь писал ко мне.

— Так он-таки вам писал? — спросила она с живостью. — Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!

— Простите меня, — пробормотал я, не зная, что говорить, — может быть, я поступил неосторожно, грубо… но ведь такая минута! Сообразите: мы окружены бог знает чем…

— Ох, ради бога, не извиняйтесь! Поверьте, что мне и без того тяжело это слушать, а между тем судите: я и сама хотела заговорить с вами, чтоб узнать что-нибудь… Ах, какая досада! так он-таки вам написал! Вот этого-то я пуще всего боялась! Боже мой, какой это человек! А вы и поверили и прискакали сюда сломя голову? Вот надо было!

Она не скрывала своей досады. Положение мое было непривлекательно.

— Признаюсь, я не ожидал, — проговорил я в самом полном смущении, — такой оборот… я, напротив, думал…

— А, так вы думали? — произнесла она с легкой иронией, слегка закусывая губу. — А знаете, вы мне покажите это письмо, которое он вам писал?

— Хорошо-с.

— Да вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, не обижайтесь; и без того много горя! — сказала она просящим голосом, а между тем насмешливая улыбка слегка мелькнула на ее хорошеньких губках.

— Ох, пожалуйста, не принимайте меня за дурака! — вскричал я с горячностью. — Но, может быть, вы предубеждены против меня? может быть, вам кто-нибудь на меня насказал? может быть, вы потому, что я там теперь срезался? Но это ничего — уверяю вас. Я сам понимаю, каким я теперь дураком стою перед вами. Не смейтесь, пожалуйста, надо мной! Я не знаю, что говорю… А всё это оттого, что мне эти проклятые двадцать два года!

— О боже мой! Так что ж?

— Как так что ж? Да ведь кому двадцать два года, у того это и на лбу написано, как у меня, например, когда я давеча на средину комнаты выскочил или как теперь перед вами… Распроклятый возраст!

— Ох, нет, нет! — отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. — Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и, право, я искренно говорю это! Но… вы только очень самолюбивы. От этого еще можно исправиться.

— Мне кажется, я самолюбив сколько нужно.

— Ну, нет. А давеча, когда вы сконфузились — и отчего ж? оттого, что споткнулись при входе!.. Какое право вы имели выставлять на смех вашего доброго, вашего великодушного дядю, который вам сделал столько добра? Зачем вы хотели свалить на него смешное, когда сами были смешны? Это было дурно, стыдно! Это не делает вам чести, и, признаюсь вам, вы были мне очень противны в ту минуту — вот вам!

— Это правда! Я был болван! Даже больше: я сделал подлость! Вы приметили ее — и я уже наказан! Браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте: может быть, вы перемените наконец ваше мнение, — прибавил я, увлекаемый каким-то странным чувством, — вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда… может быть…

— Ради бога, оставим этот разговор! — вскричала Настенька с видимым нетерпением.

— Хорошо, хорошо, оставимте! Но… где я могу вас видеть?

— Как где видеть?

— Но ведь не может же быть, чтоб мы с вами сказали последнее слово, Настасья Евграфовна! Ради бога, назначьте мне свиданье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. Я ведь помню; я знаю дорогу. Я ведь здесь жил маленький.

— Свидание! Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим.

— Но я теперь еще ничего не знаю, Настасья Евграфовна. Я сперва всё узнаю от дядюшки. Ведь должен же он наконец мне всё рассказать, и тогда я, может быть, скажу вам что-нибудь очень важное…

— Нет, нет! не надо, не надо! — вскричала Настенька, — кончимте всё разом теперь, так чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор — я серьезно прошу вас…

— Так, значит, дядя поступил со мною, как сумасшедший! — вскричал я в припадке нестерпимой досады. — Зачем же он вызывал

меня после этого?.. Но слышите, что это за шум?

Мы были близко от дома. Из растворенных окон раздавались визг и какие-то необыкновенные крики.

— Боже мой! — сказала она побледнев, — опять! Я так и предчувствовала!

— Вы предчувствовали? Настасья Евграфовна, еще один вопрос. Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь предложить вам этот последний вопрос для общего блага. Скажите — и это умрет во мне — скажите откровенно: дядя влюблен в вас или нет?

— Ах! выкиньте, пожалуйста, этот вздор из головы раз навсегда! — вскричала она, вспыхнув от гнева. — И вы тоже! Кабы был влюблен, не хотел бы выдать меня за вас, — прибавила она с горькою улыбкою. — И с чего, с чего это взяли? Неужели вы не понимаете, о чем идет дело? Слышите эти крики?

— Но… это Фома Фомич…

— Да, конечно, Фома Фомич; но теперь из-за меня идет дело, потому что они то же говорят, что и вы, ту же бессмыслицу; то же подозревают, что он влюблен в меня. А так как я бедная, ничтожная, а так как замарать меня ничего не стоит, а они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтоб он меня выгнал домой, к отцу, для безопасности. А ему когда скажут про это, то он тотчас же из себя выходит; даже Фому Фомича разорвать готов. Вон они теперь и кричат об этом; уж я предчувствую, что об этом.

— Так это всё правда! Так, значит, он непременно женится на этой Татьяне?

— На какой Татьяне?

— Ну, да на этой дуре.

— Вовсе не дуре! Она добрая. Не имеете вы права так говорить! У нее благородное сердце, благороднее, чем у многих других. Она не виновата тем, что несчастная.

— Простите. Положим, вы в этом совершенно правы; но не ошибаетесь ли вы в главном? Как же, скажите, я заметил, что они хорошо принимают вашего отца? Ведь если б они до такой уж степени сердились на вас, как вы говорите, и вас выгоняли, так и на него бы сердились и его бы худо принимали.

— А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шутом перед ними вертится! Его принимают именно потому, что он успел

подольститься к Фоме Фомичу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так вот ему и лестно, что и у него теперь есть шуты. Как вы думаете: для кого это отец делает? Он для меня это делает, для меня одной. Ему не надо; он для себя никому не поклонится. Он, может, и очень смешон на чьи-нибудь глаза, но он благородный, благороднейший человек! Он думает, бог знает почему — и вовсе не потому, что я здесь жалованье хорошее получаю — уверяю вас; он думает, что мне лучше оставаться здесь, в этом доме. Но теперь я совсем его разуверила. Я ему написала решительно. Он и приехал, чтоб взять меня, и, если крайность до того дойдет, так хоть завтра же, потому что уж дело почти до всего дошло: они меня съесть хотят, и я знаю наверно, что они там теперь кричат обо мне. Они растерзают *его* из-за меня, они погубят *его*! А *он* мне всё равно, что отец, — слышите, даже больше, чем мой родной отец! Я не хочу дожидаться. Я знаю больше, чем другие. Завтра же, завтра же уеду! Кто знает: может, чрез это они отложат хоть на время и свадьбу *его* с Татьяной Ивановной… Вот я вам всё теперь рассказала. Расскажите же это и ему, потому что я теперь и говорить-то с ним не могу: за нами следят, и особенно эта Перепелицына. Скажите, чтоб *он* не беспокоился обо мне, что я лучше хочу есть черный хлеб и жить в избе у отца, чем быть причиною *его* здешних мучений. Я бедная и должна жить как бедная. Но, боже мой, какой шум! какой крик! Что там еще делается? Нет, во что бы ни стало сейчас пойду туда! Я выскажу им всем всё это прямо в глаза, сама, что бы ни случилось! Я должна это сделать. Прощайте!

Она убежала. Я стоял на одном месте, вполне сознавая всё смешное в той роли, которую мне пришлось сейчас разыграть, и совершенно недоумевая, чем всё это теперь разрешится. Мне было жаль бедную девушку, и я боялся за дядю. Вдруг подле меня очутился Гаврила. Он всё еще держал свою тетрадку в руке.

— Пожалуйте к дяденьке! — проговорил он унылым голосом.

Я очнулся.

— К дяде? А где он? Что с ним теперь делается?

— В чайной. Там же, где чай изволили давеча кушать.

— Кто с ним?

— Одни. Дожидаются.

— Кого? меня?

— За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные деньки! —

прибавил он, глубоко вздыхая.

— За Фомой Фомичом? Гм! А где другие? где барыня?

— На своей половине. В омрак упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.

Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы. На дворе было уже почти совсем темно. Дядя действительно был один, в той же комнате, где произошло мое побоище с Фомой Фомичом, и ходил по ней большими шагами. На столах горели свечи. Увидя меня, он бросился ко мне и крепко сжал мои руки. Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая дрожь пробегала, временем, по всему его телу.

## IX
## Ваше превосходительство

— Друг мой! всё кончено, всё решено! — проговорил он каким-то трагическим полушепотом.

— Дядюшка, — сказал я, — я слышал какие-то крики.

— Крики, братец, крики; всякие были крики! Маменька в обмороке, и всё это теперь вверх ногами. Но я решился

и настою на своем. Я теперь уж никого не боюсь, Сережа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, — и покажу! И вот нарочно послал за тобой, чтоб ты помог мне им показать… Сердце мое разбито, Сережа… но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима!

— Но что же такое случилось, дядюшка?

— Я расстаюсь с Фомой, — произнес дядя решительным голосом.

— Дядюшка! — закричал я в восторге, — ничего лучше вы не могли выдумать! И если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то… располагайте мною во веки веков.

— Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж всё решено. Жду Фому; я уже послал за ним. Или он, или я! Мы должны разлучиться. Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю всё и поступаю опять в гусары! Примут; дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь всё по-новому! На что это у тебя французская тетрадка? — с яростию закричал он, обращаясь к Гавриле. — Прочь ее!

Сожги, растопчи, разорви! Я твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич!..

— Слава те господи! — пробормотал про себя Гаврила. Дело, очевидно, шло не на шутку.

— Друг мой! — продолжал дядя с глубоким чувством, — они требуют от меня невозможного! Ты будешь судить меня; ты теперь станешь между ним и мною, как беспристрастный судья. Ты не знаешь, чего они от меня требовали, и, наконец, формально потребовали, всё высказали! Но это противно человеколюбию, благородству, чести… Я всё расскажу тебе, но сперва…

— Я уж всё знаю, дядюшка! — вскричал я, перебивая его, — я угадываю… Я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной.

— Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом! — торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. — Потом я всё сам расскажу тебе, но покамест… Что ж? — закричал он вошедшему Видоплясову, — где же Фома Фомич?

Видоплясов явился с известием, что Фома Фомич «не желают прийти и находят требование явиться до несовместности грубым-с, так что Фома Фомич очень изволили этим обидеться-с».

— Веди его! тащи его! сюда его! силою притащи его! — закричал дядя, топая ногами.

Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. Я удивился.

«Надо же быть чему-нибудь слишком важному, — подумал я, — если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений».

Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою.

— Ты, впрочем, не рви тетрадку. — сказал он наконец Гавриле. — Подожди и сам будь здесь: ты, может быть, еще понадобишься. — Друг мой! — прибавил он, обращаясь ко мне, — я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Сережа: не лучше ли будет, если б ты ушел отсюда? Тебе всё равно. Я тебе потом всё сам расскажу — а? как ты думаешь? Сделай это для меня, пожалуйста.

— Вы боитесь, дядюшка? вы раскаиваетесь? — сказал я,

пристально смотря на него.

— Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! — вскричал он с удвоенным одушевлением. — Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные! Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали! Неужели ж я должен был согласиться? Нет, я докажу! Я восстал и докажу! Когда-нибудь я должен же был доказать! Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал: Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, а все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. Всё же он для меня много сделал… Уйди, мой друг… Но вот уже его ведут, ведут! Сережа, прошу тебя, выйди! Я тебе всё потом расскажу. Выйди, ради Христа!

И дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но каюсь: я не ушел; я решился остаться на террасе, где было очень темно и, следственно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслушивать!

Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фому Фомича, которому приказали явиться, угрожая силою в случае отказа.

— Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? — возопил Фома, входя в комнату. — Так ли мне передано?

— Твои, твои, Фома, успокойся, — храбро отвечал дядя. — Сядь; поговорим серьезно, дружески, братски. Садись же, Фома.

Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно, затрудняясь, с чего начать речь.

— Именно братски, — повторил он. — Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький; я тоже не маленький — словом, мы оба в летах… Гм! Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах… да, именно в некоторых пунктах, и потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я

уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому… Но что долго толковать! Фома, я твой друг во веки веков и клянусь в том всеми святыми! Вот пятнадцать тысяч рублей серебром: это всё, брат, что есть за душой, последние крохи наскреб, своих обобрал. Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить! Тут всё почти ломбардными и очень немного наличными.* Смело бери! Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за всё, что ты для меня сделал. Да, да, именно, я это чувствую, хотя теперь, в главнейшем-то пункте, мы расходимся. Завтра или послезавтра… или когда тебе угодно… разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома, всего десять верст; там есть домик за церковью, в первом переулке с зелеными ставнями, премиленький домик вдовы-попадьи; как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там, подле нас. Занимайся литературой, науками: приобретешь славу… Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные; протопоп ученый. К нам будешь приезжать гостить по праздникам — и мы заживем, как в раю! Желаешь иль нет?

«Так вот на каких условиях изгоняли Фому! — подумал я, — дядя скрыл от меня о деньгах».

Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда.

— Деньги! — проговорил наконец Фома каким-то выделанно-слабым голосом, — где же они, где эти деньги? Давайте их, давайте сюда скорее!

— Вот они, Фома: последние крохи, ровно пятнадцать, всё. что было. Тут и кредитными и ломбардными — сам увидишь… вот!

— Гаврила! возьми себе эти деньги, — кротко проговорил Фома, — они, старик, могут тебе пригодиться. — Но нет! — вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла, — нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их!.. Мне, мне предлагают деньги! подкупают меня, чтоб я вышел из этого дома! Я ли это слышал? я ли дожил до этого последнего бесчестия? Вот, вот, они, ваши миллионы! Смотрите: вот, вот, вот и вот! Вот как

поступает Фома Опискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!

И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал и не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать; он только немного помял их, но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину.

Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома между тем поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения.

— Ты возвышенный человек, Фома! — вскричал наконец дядя, очнувшись, — ты благороднейший из людей!

— Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством.

— Фома, прости меня! Я подлец перед тобой, Фома!

— Да, передо мной, — поддакнул Фома.

— Фома! не твоему благородству я удивляюсь, — продолжал дядя в восторге, — но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях? Но, Фома, ты в одном ошибся: я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтоб ты вышел из дома, а просто-запросто я хотел, чтоб и у тебя были деньги, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе! На коленях, на коленях готов просить у тебя прощения, Фома, и если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени… если только хочешь…

— Не надо мне ваших колен, полковник!..

— Но, боже мой! Фома, посуди: ведь я был разгорячен, фрапирован, я был вне себя… Но назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я загладить эту обиду? Научи, изреки…

— Ничем, ничем, полковник! И будьте уверены, что завтра же я отрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома.

И Фома начал подыматься с кресла. Дядя, в ужасе, бросился его снова усаживать.

— Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя! — кричал дядя. — Нечего говорить про прах и про сапоги, Фома! Ты не уйдешь, или я пойду за тобой на край света, и всё буду идти за тобой до тех пор, покамест ты не простишь меня… Клянусь, Фома, я так сделаю!

— Вас простить? вы виноваты? — сказал Фома. — Но понимаете ли вы еще вину-то свою передо мною? Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня сейчас этими кусками, каждым глотком этого хлеба, уже съеденного мною; вы мне доказали теперь, что я жил как раб в вашем доме, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов! А между тем я, в чистоте моего сердца, думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат! Не сами ль, не сами ль вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал, как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня? Зачем не поразили вы меня разом, еще прежде, одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху, за то… ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц? Да, именно так! Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы; потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших; ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу неснесеньем яиц! Помилуйте, полковник! разве платят другу иль брату деньгами — и за что же? главное за что же? «На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе: ты даже спасал мне жизнь: на тебе несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой!» Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку! Давно-давно, полковник, я уже предвидел всё это, — вот почему я уже давным-давно задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом! вот почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли! вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня кайеннским перцем[*], а не конфетами! Нет, полковник! живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбною дорогою, с мешком на спине. Так и будет, полковник!

— Нет, Фома, нет! так не будет, так не может быть! — простонал совершенно уничтоженный дядя.

— Да, полковник, да! именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредитными билетами — и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! Я сказал и доказал! Прощайте, полковник. Про-щай-те, полковник!..

И Фома начал вновь подыматься с кресла.

— Прости, прости, Фома! забудь!.. — повторял дядя умоляющим голосом.

— «Прости»! Но к чему вам мое прощение? Ну, хорошо, положим, что я вас и прощу: я христианин; я не могу не простить; я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами: сообразно ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня!

— Сообразно, сообразно, Фома! уверяю тебя, что сообразно!

— Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унизительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете.

— Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя…

— И это тот самый человек, — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, — тот самый человек, для которого я столько раз не спал по ночам! Сколько раз, бывало, в бессонные ночи мои, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе: «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя. Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него; авось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека». Вот как думал Фома в свои бессонные ночи, полковник! и вот как заплатил ему этот полковник! Но довольно, довольно!..

— Но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу — клянусь тебе!

— Заслужите? а где же гарантия? Как христианин, я прощу и даже буду любить вас; но как человек, и человек благородный, я поневоле

буду вас презирать. Я должен, я обязан вас презирать; я обязан во имя нравственности, потому что — повторяю вам это — вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Ну, кто *из ваших* сделает подобный поступок? Кто из них откажется от такого несметного числа денег, от которых отказался, однако ж, нищий, презираемый всеми Фома, из любви к величию? Нет, полковник, чтоб сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне *вы,* как своему ровне, а говорите *ты,* как слуге?

— Фома, но ведь я по дружбе говорил тебе *ты*! — возопил дядя. — Я не знал, что тебе неприятно… Боже мой! но если б я только знал…

— Вы, — продолжал Фома, — вы, который не могли или, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, «ваше превосходительство»…

— Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посягновение, Фома.

— Высшее посягновение! Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай! Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне «ваше превосходительство», обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным желтого дома! Ну неужели я не понимаю, что я бы сам был смешон, если б захотел именоваться превосходительством, я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освящаются добродетелью? За миллион не возьму генеральского чина без добродетели! А между тем вы считали меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, *вы* могли считать меня за безумного, вы и ваши *ученые*! Единственно для того, чтоб просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел, чтоб вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре; хотел доказать вам, что чин — ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала, когда, может быть, и возле вас стоят люди, озаренные добродетелью! Но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника, что вам уже трудно было сказать мне «ваше превосходительство». Вот

где причина! вот где искать ее, а не в посягновении каких-то судеб! Вся причина в том, что вы полковник, а я просто Фома…

— Нет, Фома, нет! уверяю тебя, что это не так. Ты ученый, ты не просто Фома… я почитаю…

— Почитаете! хорошо! Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению: достоин я или нет генеральского сана? Отвечайте решительно и немедленно: достоин иль нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие.

— За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души — достоин! — с гордостью проговорил дядя.

— А если достоин, так для чего же вы не скажете мне «ваше превосходительство»?

— Фома, я, пожалуй, скажу…

— А я требую! А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую! Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что — не забудьте это — вы должны сделать целый ряд подвигов, чтоб сравняться со мною; вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверую в вашу искренность…

— Завтра же скажу тебе, Фома, «ваше превосходительство»!

— Нет, не завтра, полковник, завтра само собой. Я требую, чтоб вы теперь, сейчас же, сказали мне «ваше превосходительство».

— Изволь, Фома, я готов… Только как же это так, сейчас, Фома?..

— Почему же не сейчас? или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно.

— Ну, да пожалуй, Фома, я готов… я даже горжусь… Только как же это, Фома, ни с того ни с сего: «здравствуйте, ваше превосходительство»? Ведь это нельзя…

— Нет, не «здравствуйте, ваше превосходительство», это уже обидный тон; это похоже на шутку, на фарс. Я не позволю с собой таких шуток. Опомнитесь, немедленно опомнитесь, полковник! перемените ваш тон!

— Да ты не шутишь, Фома?

— Во-первых, я не *ты*, Егор Ильич, а *вы* — не забудьте это; и не Фома, а Фома Фомич.

— Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад! Я всеми силами рад… Только что ж я скажу!

— Вы затрудняетесь, что прибавить к слову «ваше превосходительство» — это понятно. Давно бы вы объяснились! Это даже извинительно, особенно если человек *не сочинитель,* если выразиться поучтивее. Ну, я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной: «ваше превосходительство!..»

— Ну, «ваше превосходительство».

— Нет, не: *«ну,* ваше превосходительство», а просто: «ваше превосходительство»! Я вам говорю, полковник, перемените ваш тон! Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперед корпус. С генералом говорят, склоняя вперед корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и всё это знаю… Ну-с: «ваше превосходительство».

— Ваше превосходительство…

— Как я несказанно обрадован, что имею наконец случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что впредь не пощажу слабых сил моих на пользу общую… Ну, довольно с вас!

Бедный дядя! Он должен был повторить всю эту галиматью, фразу за фразой, слово за словом! Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня.

— Ну, не чувствуете ли вы теперь, — проговорил истязатель, — что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел какой-то ангел?.. Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? отвечайте мне!

— Да, Фома, действительно, как-то легче сделалось, — отвечал дядя.

— Как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, окунулось в каком-то елее?

— Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло.

— Как будто по маслу? Гм… Я, впрочем, не про масло вам говорил… Ну, да всё равно! Вот что значит, полковник, исполненный долг! Побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы!

— Самолюбив, Фома, вижу, — со вздохом отвечал дядя.

— Вы эгоист и даже мрачный эгоист…

— Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу; с тех пор, как тебя

узнал, так и это узнал.

— Я сам говорю теперь, как отец, как нежная мать… вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет.

— Правда и это, Фома!

— Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание*, что порядочный человек от вас за тридевять земель убежать готов!

Дядя еще раз глубоко вздохнул.

— Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим, забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас. Живи и жить давай другим — вот мое правило! Терпи, трудись, молись и надейся — вот истины, которые бы я желал внушить разом всему человечеству! Подражайте же им, и тогда я первый раскрою вам мое сердце, буду плакать на груди вашей… если понадобится… А то я, да я, да милость моя! Да ведь надоест же наконец ваша милость, с позволения сказать.

— Сладкогласный человек! — проговорил в благоговении Гаврила.

— Это правда, Фома; я всё это чувствую, — поддакнул растроганный дядя. — Но не во всем же и я виноват, Фома: так уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион, просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить!.. Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший.

— Опять эгоистическая черта! опять я ловлю вас на самолюбии! Вы хвалитесь и мимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы чем; а было бы, может быть, чем.

— Это так с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил старое хорошее время.

— Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю*, разве одним дуракам, верхоплясам, *ученым*, которых не щажу и не хочу щадить. Не люблю дураков! И что такое эти ученые? «Человек науки!» — да наука-то выходит у него надувательная штука, а не наука. Ну что *он* давеча говорил? Давайте его сюда! давайте сюда всех ученых! Всё могу опровергнуть; все положения их могу опровергнуть! Я уж не говорю о благородстве души…

— Конечно, Фома, конечно. Кто ж сомневается?

— Давеча, например, я выказал ум, талант, колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур; я показал и блестящим образом развернул, как из какого-нибудь комаринского может вдруг составиться высокая тема для разговора у человека талантливого. Что ж? Оценил ли кто-нибудь из них меня по достоинству? Нет, отворотились! Я ведь уверен, что он уже говорил вам, что я ничего не знаю. А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел*, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности… Нет, это им не пройдет!.. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь?

— Это, Фома, человек умный, человек науки… Я его жду. Это, верно, уж будет хороший, Фома!

— Гм! сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник, сердца в них нет! А что и ученость без добродетели?

— Нет, Фома, нет! Как о семейном счастии говорил! так сердце и вникает само собою, Фома!

— Гм! Посмотрим; проэкзаменуем и Коровкина. Но довольно, — заключил Фома, подымаясь с кресла. — Я не могу еще вас совершенно простить, полковник: обида была кровавая; но я помолюсь, и, может быть, бог ниспошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом, а теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб…

— Ах, Фома! — захлопотал дядя, — ведь ты в самом деле устал! Знаешь что? не хочешь ли подкрепиться, закусить чего-нибудь? Я сейчас прикажу.

— Закусить! Ха-ха-ха! Закусить! — отвечал Фома с презрительным хохотом. — Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить? Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибками или моченными яблочками! Какой вы жалкий материалист, полковник!

— Эх, Фома, я ведь, ей-богу, от чистого сердца…

— Ну, хорошо. Довольно об этом. Я ухожу, а вы немедленно идите к вашей родительнице: падите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощение, — это ваш долг, ваша обязанность!

— Ах, Фома, я всё время об этом только и думал; даже теперь, с тобой говоря, об этом же думал. Я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях. Но подумай, Фома, чего же от меня и требуют?

Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома! Будь великодушен вполне, осчастливь меня совершенно, подумай, реши — и тогда… тогда… клянусь!..

— Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело, — отвечал Фома. — Вы знаете, что я во всё это нимало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра… Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием. Да не зайдет солнце во гневе вашем![*] а я… а я буду всю ночь молиться за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Прощайте! Прощаю и тебя, старик, — прибавил он, обращаясь к Гавриле. — Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя… Прощайте, прощайте, прощайте все, и благослови вас господь!..

Фома вышел. Я тотчас же бросился в комнату.

— Ты подслушивал? — вскричал дядя.

— Да, дядюшка, я подслушивал! И вы, и вы могли сказать ему «ваше превосходительство»!..

— Что же делать, братец? Я даже горжусь… Это ничего для высокого подвига; но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек! Сергей — ты ведь слышал… И как мог я тут соваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю! Друг мой! я был увлечен; я был в ярости; я не понимал его; я его подозревал, обвинял… но нет! он не мог быть моим противником — это я теперь вижу… А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег?

— Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если всё кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду!

— Друг мой… — засуетился по обыкновению своему дядя, — подожди только две минуты: я, брат, иду теперь к маменьке… там надо кончить… важное, великое, громадное дело!.. А ты покамест уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. Знаешь летний флигель? это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело — я

теперь уж знаю, как сделать, — и тогда мигом к тебе, и тогда всё, всё, всё до последней черты тебе расскажу, всю душу выложу пред тобою. И… и… и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни! Две минуты, только две минутки, Сергей!

Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать, пришлось опять отправляться с Гаврилой.

## X
## Мизинчиков

Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался «новым флигелем» только по старой памяти, но выстроен был уже давно, прежними помещиками. Это был хорошенький, деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома, в самом саду. С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, в которую уже перенесли мой чемодан, я увидел на столике, перед кроватью, лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами[*] и росчерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Всё вместе составляло премиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благодетелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». Сколько я ни напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, — все труды мои остались тщетными: это был самый напыщенный вздор, писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что Видоплясов находится в каком-то бедственном положении, просит моего содействия, в чем-то очень на меня надеется, «по причине моего просвещения» и, в заключение, просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания.[*] Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков.

— Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться, — сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. — Давеча я

не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче.

Я тотчас же отвечал, что и сам рад и прочее, хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели.

— Что это у вас? — сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. — Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же точно лист, с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и вероятно, заранее приготовлялся. Вы не удивляйтесь: здесь много странного, и, право, есть над чем посмеяться.

— Только посмеяться?

— Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию Видоплясова, и уверен, что вы посмеетесь.

— Признаюсь, теперь мне не до Видоплясова, — отвечал я с досадою.

Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова и любезный его разговор — всё это предпринято им с какою-то целью и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный; теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей.

— Проклятый Фома! — сказал я, со злостью стукнув кулаком по столу. — Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан! Проклятая тварь!

— Вы, кажется, уж слишком на него рассердились, — заметил Мизинчиков.

— Слишком рассердился! — вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. — Конечно, я давеча слишком увлекся и, таким образом, дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и, я думаю, нечего было это мне объяснять!.. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе; но, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! и… и… наконец… я просто уеду отсюда — вот что!

— Вы курите? — спокойно спросил Мизинчиков.

— Да.

— Так, вероятно, позволите и мне закурить. Там не позволяют, и я

почти стосковался. Я согласен, — продолжал он, закурив папироску, <—> что всё это похоже на сумасшедший дом, но будьте уверены, что я не позволю себе осуждать вас, именно потому, что на вашем месте я, может, втрое более бы разгорячился и вышел из себя, чем вы.

— А почему же вы не вышли из себя, если действительно были тоже раздосадованы? Я, напротив, припоминаю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать… всем и каждому!

— Ваша правда: он многим благодетельствовал; но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным: во-первых, это и для него бесполезно и даже унизительно как-то; а во-вторых, меня бы завтра же выгнали. А я вам откровенно скажу: мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством.

— Но я нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств… Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете…

— Сделайте одолжение, спрашивайте: я к вашим услугам, — торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул.

— Да вот, например, объясните: сейчас Фома Фомич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках, — я видел это собственными глазами

— Как это? Неужели? — вскрикнул Мизинчиков. — Расскажите, пожалуйста!

Я рассказал, умолчав о «вашем превосходительстве». Мизинчиков слушал с жадным любопытством; он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч.

— Ловко! — сказал он, выслушав рассказ. — Я даже не ожидал от Фомы.

— Однако ж отказался от денег! Чем это объяснить? Неужели благородством души?

— Отказался от пятнадцати тысяч, чтоб взять потом тридцать. Впрочем, знаете что? — прибавил он, подумав, — я сомневаюсь, чтоб у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический; это тоже в своем роде какой-то поэт. Пятнадцать тысяч… гм! Видите ли: он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погримасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая

размазня, и всё это при самом неограниченном самолюбии!

Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно, даже как будто завидно. Я с любопытством вглядывался в него.

— Гм! Надо ожидать больших перемен, — прибавил он, задумываясь. — Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, и женится, из умиления души, — прибавил он сквозь зубы.

— Так вы думаете, что непременно состоится — этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?

Мизинчиков пытливо взглянул на меня.

— Подлецы! — вскричал я запальчиво.

— Впрочем, у них идея довольно основательная: они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства

— Мало он для них сделал! — вскричал я в негодовании — И вы, и вы можете говорить, что это основательная мысль — жениться на пошлой дуре!

— Конечно, и я согласен с вами, что она дура… Гм! Это хорошо, что вы так любите дядюшку; я сам сочувствую хотя на ее деньги можно бы славно округлить имение! Впрочем, У них и другие резоны: они боятся, чтоб Егор Ильич не женился на той гувернантке… помните, еще такая интересная девушка?

— А разве… разве это вероятно? — спросил я в волнении. — Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня это крайне интересует…

— О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает.

— Скрывает! Вы думаете, он скрывает? Ну, а она? Она его любит?

— Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: она очень бедна.

— Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга?

— Да ведь этого нельзя не заметить; притом же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте. Я вам говорю под секретом.

— Возможно ли этому поверить? — вскричал я, — и вы, и вы признаетесь, что этому верите?

— Разумеется, я не верю вполне, я там не был. Впрочем, очень

может и быть.

— Как может быть! Вспомните благородство, честь дяди!

— Согласен; но можно и увлечься, с тем чтоб непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются. Впрочем, повторяю, я нисколько не стою за совершенную достоверность этих известий, тем более что ее здесь очень уж размарали; говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым.

— Ну, вот видите! — вскричал я, — с Видоплясовым! Ну, возможно ли это? Ну, не отвратительно ль даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите?

— Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, — спокойно отвечал Мизинчиков, — а впрочем, могло и случиться. На свете всё может случиться. Я же там не был, и притом я считаю, что это не мое дело. Но так как, я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи с Видоплясовым. Это всё проделки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти слухи, из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича — ей-богу! — на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж всё рассказал вам об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой.

— С просьбой? Помилуйте, всё, чем могу быть полезен…

— Понимаю и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе насчет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предварительную.

— Какую же?

— А вот какую: может быть, вы и согласитесь исполнить мою главную просьбу, может быть и нет, но во всяком случае прежде изложения я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что всё, услышанное вами от меня, останется между нами в глубочайшей тайне и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны

иль нет?

Предисловие было торжественное. Я дал согласие.

— Ну-с?.. — сказал я.

— Дело в сущности очень простое, — начал Мизинчиков. — Я, видите ли, хочу увезти Татьяну Ивановну и жениться на ней; словом, будет нечто похожее на Гретна-Грин* — понимаете?

Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза и некоторое время не мог выговорить слова.

— Признаюсь вам, ничего не понимаю, — проговорил я наконец, — и кроме того, — продолжал я, — ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я, с своей стороны, никак не ожидал…

— Ожидая не ожидали, — перебил Мизинчиков, — в переводе это будет, что я и намерение мое глупы, — не правда ли?

— Вовсе нет-с… но…

— О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях! Не беспокойтесь; вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что эдак ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что всё это с первого взгляда может показаться даже несколько странным. Но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно; и если вы будете так добры, выслушаете все обстоятельства…

— О, помилуйте! я с жадностью слушаю.

— Впрочем, рассказывать почти нечего. Видите ли: я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ. Нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил Бурцова*, играл, пил — словом, глупо, даже и вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел, а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня

родилась мысль. Я немедленно решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что всё это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры… ну, конечно, и для себя…

— Но, позвольте, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?

— Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: только чтоб было что-нибудь романическое и эффектное. Разумеется, всё это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить-то ее отсюда!

— Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит?

— О, не беспокойтесь! в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным, словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительно честное слово, чтоб вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне бы даже грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах.

— Так, стало быть, она совсем сумасшедшая… ах! извините, — прибавил я, спохватившись. — Так как вы теперь имеете на нее виды, то…

— Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас. Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме; притом же в этой мании к амурным делам я, право, не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли: она до прошлого года была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у ней необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил — ну, понимаете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благодетельниц — всё это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство: согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь в ней ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Давеча она рассказала про франта в белом жилете: это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете

судить и об остальном. На вздохи, на записочки, на стишки вы ее тотчас приманите; а если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней всё, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест приостановился до благоприятного времени. Но дня через четыре надо ее увезти, непременно. Накануне я начну подпускать лясы, вздыхать; я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свиданье в беседке, а к рассвету коляска будет готова; я ее выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут никакого риску: она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем ее добрая воля. А уже если она раз бежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства… Привезу я ее в благородный, но бедный дом — здесь есть, в сорока верстах, — где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее не допустят; а между тем я времени терять не буду: свадьбу уладим в три дня — это можно. Разумеется, прежде нужны деньги; но я рассчитал, нужно не более пятисот серебром на всю интермедию, и в этом я надеюсь на Егора Ильича: он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли?

— Понимаю, — сказал я, поняв наконец всё в совершенстве. — Но, скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен?

— Ах, в очень многом, помилуйте! Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство. Вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук.

— Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности, меня, которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?

— Вопрос ваш, — отвечал Мизинчиков с самою любезною улыбкою, — вопрос ваш, признаюсь откровенно, доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение.

— О, много чести!

— Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки и… и… ну и молоды; но вот в чем я совершенно уверен: если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверно, его сдержите. Вы не Обноскин — это первое. Во-вторых, вы честны и не воспользуетесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая,

если захотите вступить со мной в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием: через месяц после свадьбы получить от вас пятьдесят тысяч ассигнациями, в чем, разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма, без процентов.

— Как? — вскричал я, — так вы ее уж и мне предлагаете?

— Натурально, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но… идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги. В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать. А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же скоро успенский пост, и венчать не станут.* Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете?

— Совершенно, и еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности; но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно.

— Почему ж?

— Как почему ж? — вскричал я, давая наконец волю накопившимся во мне чувствам. — Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже неблагороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы; но ведь уж это одно и должно было бы удержать вас, как благородного человека! Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то что смешна. И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтоб вытянуть от нее сто тысяч! Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности: вы непременно ее покинете… Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники!

— Фу ты, боже мой, какой романтизм! — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. — Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне… Рассудите только!

— Конечно, если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женясь на Татьяне Ивановне, — отвечал я с саркастическою улыбкою.

— А то как же? именно так, именно самое великодушное дело! —

вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. — Рассудите только: во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, — ведь это же стоит чего-нибудь? Во-вторых, несмотря на то что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, — это опять чего-нибудь стоит! Наконец, вникните: ну, может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у ней деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт, с эспаньолкой и с усиками, с гитарой и с серенадами, вроде Обноскина, который сманит ее, женится на ней, оберет ее дочиста и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом, а ведь и держат ее только потому, что спекулируют на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну, а понимаете, как только она выйдет за меня — все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство — это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя сестра; за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется тысяч двести пятьдесят, а может, и триста ассигнациями: на это можно, знаете, как прожить! Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах; только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу: мечтай сколько хочешь, а на деле ни-ни! Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто: она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдам-с! Это одно чего стоит? Натурально, я с нею не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге. В этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело начистоту. Но что ж до этого, что мы будем жить врознь? Сообразите, приглядитесь к ее характеру: ну способна ли она быть женой и жить вместе с мужем? Разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете! Ей необходима беспрерывная перемена; она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделалась законной женой. Да я сделаю ее несчастною вконец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально, я буду к ней приезжать раз в год

или чаще, и не за деньгами — уверяю вас. Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не возьму! В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа! По-моему, это рационально: так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии, и, следуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать? скажите! Да ведь это рай, а не жизнь!

Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя. Но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо.

— Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она почти уже

невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду; вы увезете ее почти накануне свадьбы и, сверх того, у него же возьмете взаймы для совершения этого подвига!

— А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром вскричал Мизинчиков. — Не беспокойтесь, я предвидел ваше возражение. Но, во-первых и главное: дядя еще предложения не делал; следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты; притом же, прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях; а потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении, и даже, если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой — заметьте это — я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте: не вы ли сами сейчас были в исступлении, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступаетесь за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести! Да я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение: спасаю его — вы должны это понять! Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу! Ну, какая ему жена Татьяна Ивановна? да и она с ним будет

несчастна, потому что, как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь когда я увезу ее ночью, так уж тут никакая генеральша, никакой Фома Фомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу?

Признаюсь, что последнее рассуждение на меня сильно подействовало.

— А что если он завтра сделает предложение? — сказал я, — ведь уж тогда будет несколько поздно: она будет формальная невеста его.

— Натурально, поздно! Но тут-то и надо работать, чтоб этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложения. Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае, поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы. Разумеется, это только в крайнем случае; я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь.

— Еще один, последний вопрос: вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?

Мизинчиков почесал в затылке и скорчил самую кислую гримасу.

— Признаюсь вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль… словом, свалял ужаснейшего дурака! И как бы вы думали, кому? Обноскину! так что я даже сам не верю себе. Не понимаю, как и случилось! Он всё здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину… Непростительно, непростительно!

— Ну, что ж Обноскин?

— С восторгом согласился, а на другой же день, рано утром, исчез. Дня через три является опять, с своей маменькой. Со мной ни слова, и даже избегает, как будто боится. Я тотчас же понял, в чем штука. А маменька его такая прощелыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал. Конечно, он ей всё рассказал. Я молчу и жду; они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении… Оттого-то я и тороплюсь.

— Чего ж именно вы от них опасаетесь?

— Многого, конечно, не сделают, а что напакостят — так это наверно. Потребуют денег за молчание и за помощь: я того и жду… Только я много не могу им дать, и не дам — я уж решился: больше трех тысяч ассигнациями невозможно. Рассудите сами: три тысячи сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде всё сполна нужно отдать; потом старые долги; ну, сестре хоть что-нибудь, так, хоть что-нибудь. Много ль из ста-то тысяч останется? Ведь это разоренье!.. Обноскины, впрочем, уехали.

— Уехали? — спросил я с любопытством.

— Сейчас после чаю; да и черт с ними! а завтра увидите, опять явятся. Ну, так как же, согласны?

— Признаюсь, — отвечал я, съеживаясь, — не знаю, как и сказать. Дело щекотливое… Конечно, я сохраню всё в тайне; я не Обноскин; но… кажется, вам на меня надеяться нечего.

— Я вижу, — сказал Мизинчиков, вставая со стула, — что вам еще не надоели Фома Фомич и бабушка и что вы, хоть и любите вашего доброго, благородного дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый… Но терпение! Побудете завтра, посмотрите и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал — понимаете? Его непременно заставят жениться. Не забудьте, что, может быть, завтра он сделает предложение. Поздно будет; надо бы сегодня решиться!

— Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать… не знаю как-то…

— Знаем! Ну, подождем до завтра, — решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо. — La nuit porte conseil..[7] До свидания. Я приду к вам пораньше утром, а вы подумайте…

Он повернулся и вышел, что-то насвистывая.

Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил; ночь была темная, воздух теплый и удушливый. Листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошел и десяти шагов, как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то всходил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окликнул его. Дядя был с Видоплясовым.

## XI
## Крайнее недоумение

— Дядюшка! — сказал я, — наконец-то я вас дождался.

— Друг мой, я и сам-то рвался к тебе. Вот только кончу с Видоплясовым, и тогда наговоримся досыта. Много надо тебе рассказать.

— Как, еще с Видоплясовым! Да бросьте вы его, дядюшка.

— Еще только каких-нибудь пять или десять минут, Сергей, и я совершенно твой. Видишь: дело.

— Да он, верно, с глупостями, — проговорил я с досадою.

— Да что сказать тебе, друг мой? Ведь найдет же человек, когда лезть с своими пустяками! Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для своих жалоб? Ну, что я для тебя сделаю? Пожалей хоть ты меня, братец. Ведь я, так сказать, изнурен вами, съеден живьем, целиком! Мочи моей нет с ними, Сергей!

И дядя махнул обеими руками с глубочайшей тоски.

— Да что за важное такое дело, что и оставить нельзя? А мне бы так нужно, дядюшка…

— Эх, брат, уж и так кричат, что я о нравственности моих людей не забочусь! Пожалуй, еще завтра пожалуется на меня, что я не выслушал, и тогда…

И дядя опять махнул рукой.

— Ну, так кончайте же с ним поскорее! Пожалуй, и я помогу. Взойдемте наверх. Что он такое? чего ему? — сказал я, когда мы вошли в комнаты.

— Да вот, видишь, друг мой, не нравится ему своя собственная фамилия, переменить просит. Каково тебе это покажется?

— Фамилия? Как так?.. Ну, дядюшка, прежде чем я услышу, что он сам скажет, позвольте вам сказать, что только у вас в доме могут совершаться такие чудеса, — проговорил я, расставив руки от изумления.

— Эх, брат! эдак-то и я расставить руки умею, да толку-то мало! — с досадою проговорил дядя. — Поди-ка, поговори-ка с ним сам, попробуй. Уж он два месяца пристает ко мне…

— Неосновательная фамилия-с! — отозвался Видоплясов.

— Да почему ж неосновательная? — спросил я его с удивлением.

— Так-с. Изображает собою всякую гнусность-с.

— Да почему же гнусность? Да и как ее переменить? Кто переменяет фамилии?

— Помилуйте, бывают ли у кого такие фамилии-с?

— Я согласен, что фамилия твоя отчасти странная, — продолжал я в совершенном недоумении, — но ведь что ж теперь делать? Ведь и у отца твоего была такая ж фамилия?

— Это подлинно-с, что через родителя моего я таким образом пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти-с, — отвечал Видоплясов.

— Бьюсь об заклад, дядюшка, что тут не без Фомы Фомича! — вскричал я с досадою.

— Ну, нет, братец, ну, нет; ты ошибся. Действительно, Фома ему благодетельствует. Он взял его к себе в секретари; в этом и вся его должность. Ну, разумеется, он его развил, наполнил благородством души, так что он даже, в некотором отношении, прозрел… Вот видишь, я тебе всё расскажу…

— Это точно-с, — перебил Видоплясов, — что Фома Фомич мои истинные благодетели-с, и, бымши истинные мне благодетели, они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есмь червяк на земле, так что чрез них я в первый раз свою судьбу предузнал-с.

— Вот видишь, Сережа, вот видишь, в чем всё дело, — продолжал дядя, заторопившись по своему обыкновению. — Жил он сначала в Москве, с самых почти детских лет, у одного учителя чистописания в услужении. Посмотрел бы ты, как он у него научился писать: и красками, и золотом, и кругом, знаешь, купидонов наставит, — словом, артист! Илюша у него учится; полтора целковых за урок плачу. Фома сам определил полтора целковых. К окрестным помещикам в три дома ездит; тоже платят. Видишь, как одевается! К тому же пишет стихи.

— Стихи! Этого еще недоставало!

— Стихи, братец, стихи, и ты не думай, что я шучу, настоящие стихи, так сказать, версификация, и так, знаешь, складно на все предметы, тотчас же всякий предмет стихами опишет. Настоящий талант! Маменьке к именинам такую рацею соорудил, что мы только рты разинули: и из мифологии там у него, и музы летают, так что даже,

знаешь, видна эта… как бишь ее? округленность форм, — словом, совершенно в рифму выходит. Фома поправлял. Ну я, конечно, ничего и даже рад, с моей стороны. Пусть себе сочиняет, только б не накуролесил чего-нибудь. Я, брат Григорий, тебе ведь, как отец, говорю. Проведал об этом Фома, просмотрел стихи, поощрил и определил к себе чтецом и переписчиком, — словом, образовал. Это он правду говорит, что облагодетельствовал. Ну, эдак, знаешь, у него и благородный романтизм в голове появился и чувство независимости, — мне всё это Фома объяснял, да я уж, правда, и позабыл; только я, признаюсь, хотел и без Фомы его на волю отпустить. Стыдно, знаешь, как-то!.. Да Фома против этого; говорит, что он ему нужен, полюбил он его; да сверх того говорит: «Мне же, барину, больше чести, что у меня между собственными людьми стихотворцы; что так какие-то бароны где-то жили и что это en grand».[8] Ну, en grand, так en grand! Я, братец, уж стал его уважать — понимаешь?.. Только бог знает, как он повел себя. Всего хуже, что он до того перед всей дворней после стихов нос задрал, что уж и говорить с ними не хочет. Ты не обижайся, Григорий, я тебе, как отец, говорю. Обещался он еще прошлой зимой жениться: есть тут одна дворовая девушка, Матрена, и премилая, знаешь, девушка, честная, работящая, веселая. Так вот нет же теперь: не хочу, да и только; отказался. Возмечтал ли он о себе, или рассудил сначала прославиться, а потом уж в другом месте искать руки…

— Более по совету Фомы Фомича-с, — заметил Видоплясов, — так как они истинные мои доброжелатели-с…

— Ну, да уж как можно без Фомы Фомича! — вскричал я невольно.

— Эх, братец, не в том дело! — поспешно прервал меня дядя, — только видишь: ему теперь и проходу нет. Та девка бойкая, задорная, всех против него подняла: дразнят, уськают, даже мальчишки дворовые его вместо шута почитают…

— Более через Матрену-с, — заметил Видоплясов, — потому что Матрена истинная дура-с и, бымши истинная дура-с, притом же невоздержная характером женщина, через нее я таким манером-с пошел жизнию моею претерпевать-с.

— Эх, брат Григорий, говорил я тебе, — продолжал дядя, с укоризною посмотрев на Видоплясова, — сложили они, видишь, Сергей, какую-то пакость в рифму на его фамилию. Он ко мне, жалуется, просит, нельзя ли как-нибудь переменить его фамилию, и что

он давно уж страдал от неблагозвучия…

— Необлагороженная фамилия-с, — ввернул Видоплясов.

— Ну, да уж ты молчи, Григорий! Фома тоже одобрил… то есть не то чтоб одобрил, а видишь, какое соображение: что если, на случай, придется стихи печатать, так как Фома прожектирует, то такая фамилия, пожалуй, и повредит, — не правда ли?

— Так он стихи напечатать хочет, дядюшка?

— Печатать, братец. Это уж решено — на мой счет, и будет выставлено на заглавном листе: крепостной человек такого-то, а в предисловии Фоме от автора благодарность за образование. Посвящено Фоме. Фома сам предисловие пишет. Ну, так представь себе, если на заглавном-то листе будет написано: «Сочинения Видоплясова»…

— «Вопли Видоплясова-с», — поправил Видоплясов.

— Ну, вот видишь, еще и вопли! Ну, что за фамилия Видоплясов? Даже деликатность чувств возмущает; так и Фома говорил. А все эти критики, говорят, такие задорные, насмешники; Брамбеус[*], например… Им ведь всё нипочем! Просмеют за одну только фамилию; так, пожалуй, отчешут бока, что только почесывайся, — не правда ли? Вот я и говорю: по мне, пожалуй, какую хочешь поставь фамилию на стихах — псевдоним, что ли, называется — уж не помню: какой-то *ним.* Да нет, говорит, прикажите по всей дворне, чтоб меня уж и здесь навеки новым именем звали, так чтоб у меня, сообразно таланту, и фамилия была облагороженная…

— Бьюсь об заклад, что вы согласились, дядюшка.

— Я, брат Сережа, чтоб уж только с ними не спорить: пускай себе! Знаешь, тогда между нами недоразумение такое было с Фомой. Вот у нас и пошло с тех пор, что неделя, то фамилия, и всё такие нежные выбирает: Олеандров, Тюльпанов… Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли «Верный» — «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный»[*]. Ты жаловался; балбеса наказали. Ты две недели придумывал новую фамилию — сколько ты их перебрал, — наконец надумался, пришел просить, чтоб тебя звали «Уланов». Ну, скажи мне, братец, ну что может быть глупее Уланова? Я и на это согласился, вторичное приказание отдал о перемене твоей фамилии в Уланова. Так только, братец, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, — чтоб уж только отвязаться. Три дня ходил ты «Уланов». Ты все стены, все подоконники

в беседке перепортил, расчеркиваясь карандашом: «Уланов». Ведь ее потом перекрашивали. Ты целую десть голландской бумаги извел на подписи: «Уланов, проба пера; Уланов, проба пера». Наконец, и тут неудача: прибрали тебе рифму: «болванов». Не хочу болванова — опять перемена фамилии! Какую ты там еще прибрал, я уж и позабыл?

— Танцев-с, — отвечал Видоплясов. — Если уж мне суждено через фамилию мою плясуна собою изображать-с, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному: Танцев-с.

— Ну да, Танцев; согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они такую ему подыскали рифму, что и сказать нельзя! Сегодня опять приходит, опять выдумал что-то новое. Бьюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть иль нет, Григорий, признавайся!

— Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя-с, облагороженное-с.

— Какое?

— Эссбукетов.

— И не стыдно, и не стыдно тебе, Григорий? фамилия с помадной банки! А еще умный человек называешься! Думал-то, должно быть, сколько над ней! Ведь это на духах написано.

— Помилуйте, дядюшка, — сказал я полушепотом, — да ведь это просто дурак, набитый дурак!

— Что ж делать, братец? — отвечал тоже шепотом дядя, — уверяют кругом, что умен и что это всё в нем благородные свойства играют…

— Да развяжитесь вы с ним, ради бога!

— Послушай, Григорий! ведь мне, братец, некогда, помилуй! — начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Видоплясова. — Ну, рассуди, ну, где мне жалобами твоими теперь заниматься! Ты говоришь, что тебя опять они чем-то обидели? Ну, хорошо: вот тебе честное слово даю, что завтра всё разберу, а теперь ступай с богом… Постой! что Фома Фомич?

— Почивать ложились-с. Сказали, что если будет кто об них спрашивать, так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намерены-с.

— Гм! Ну, ступай, братец, ступай! Видишь, Сережа, ведь он всегда при Фоме, так что даже его я боюсь. Да и дворня-то его потому и не любит, что он всё о них Фоме переносит. Вот теперь ушел, а, пожалуй,

завтра и нафискалит о чем-нибудь! А уж я, братец, там всё так уладил, даже спокоен теперь… К тебе спешил. Наконец-то я опять с тобой! — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. — А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. Ну, слава богу, теперь! А давеча-то, Гаврила-то каково? да и Фалалей, и ты — всё одно к одному! Ну, слава богу, слава богу! наконец-то наговорюсь с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сережа, не уезжай: ты один у меня, ты и Коровкин…

— Но, позвольте, что ж вы там такое уладили, дядюшка, и чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит!

— А у меня цела, что ли? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя! Но слава богу! теперь всё уладилось. Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно; но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша-то, давеча-то… горячее сердечко! увлеклась немного, но золотое сердечко! Я горжусь этой девочкой, Сережа! Да будет над нею всегдашнее благословение божие. Тебя тоже простили, и даже, знаешь как? Можешь делать всё, что тебе угодно, ходить по всем комнатам и в саду, и даже при гостях, — словом, всё, что угодно; но только под одним условием, что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме Фомиче, — это непременное условие, то есть решительно ни полслова, — я уж обещался за тебя, — а только будешь слушать, что старшие… то есть я хотел сказать, что другие будут говорить. Они сказали, что ты молод. Ты, Сергей, не обижайся; ведь ты и в самом деле еще молод… Так и Анна Ниловна говорит…

Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях.

— Послушайте, дядюшка, — вскричал я, чуть не задыхаясь, — скажите мне только одно и успокойте меня: я в настоящем сумасшедшем доме или нет?

— Ну вот, братец, уж ты сейчас и в критику! Уж и не можешь никак утерпеть, — отвечал опечаленный дядя. — Вовсе не в сумасшедшем, а так только, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, как ты-то сам вел себя? Помнишь, что ты ему отмочил, — человеку, так сказать, почтенных лет?

— Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка.

— Ну уж это ты, брат, перескакнул! это уж вольнодумство! Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь, но уж это, брат, из мерки выскочило, то есть удивил ты меня, Сергей.

— Не сердитесь, дядюшка, я виноват, но виноват перед вами. Что же касается до вашего Фомы Фомича…

— Ну, вот уж и вашего! Эх, брат Сергей, не суди его строго: мизантропический человек — и больше ничего, болезненный! С него нельзя строго спрашивать. Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей! Да ведь ты сам давеча был свидетелем, просто сиял. А что фокусы-то эти иногда отмачивает, так на это нечего смотреть. Ну, с кем этого не случается?

— Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается?

— Эх, наладил одно! Добродушия в тебе мало, Сережа; простить не умеешь!..

— Ну, хорошо, дядюшка, хорошо! Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Евграфовну?

— Эх, брат, о ней-то всё дело шло. Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается; так-таки и пойдем всем кагалом*, еще перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесет, так что ему как будто маслом по сердцу-то, — словом, польстит. Ах, кабы и ты его, Сережа, вместе с нами, тут же поздравил! Он, может быть, совершенно простил бы тебя. Как бы хорошо было, если б вы помирились! Забудь, брат, обиду, Сережа, ведь ты и сам его обидел… Наидостойнейший человек!

— Дядюшка! дядюшка! — вскричал я, теряя последнее терпение, — я с вами о деле хочу говорить, а вы… Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной?

— Как же, братец, что ты! чего ты кричишь? Из-за нее-то и поднялась давеча вся эта история. Она, впрочем, и не давеча поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее, чтоб тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, ну и от меня требовали, чтоб я ее отослал. Можешь представить себе мое положение… Ну, да слава богу! теперь всё это уладилось. Они, видишь ли, — уж признаюсь тебе во всем, — думали, что я сам в нее влюблен и

жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяснили… так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. Всё это маменька, а пуще всех Анна Ниловна. Фома покамест молчит. Но теперь я их всех разуверил и, признаюсь тебе, уже объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило, и теперь она остается, хоть не совсем, так, еще только для пробы, но все-таки остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. По крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна всё еще ворчит! Уж и не знаю, что выдумать, чтоб ей угодить. И чего это ей хочется, право, этой Анне Ниловне?

— Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка! Да знаете ли, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно и приехал сегодня с тем, чтоб ее увезти? что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключение велела вам кланяться, — знаете ли вы это, иль нет?

Дядя, как был, так и остался передо мной с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.

Не теряя ни минуты, я поспешил рассказать ему весь мой разговор с Настенькой, мое сватовство, ее решительный отказ, ее гнев на дядю за то, что он смел меня вызывать письмом; объяснил, что она надеется его спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной, — словом, не скрыл ничего; даже нарочно преувеличил всё, что было неприятного в этих известиях. Я хотел поразить дядю, чтоб допытаться от него решительных мер, — и действительно поразил. Он вскрикнул и схватил себя за голову.

— Где она, не знаешь ли? где она теперь? — проговорил он наконец, побледнев от испуга. — А я-то, дурак, шел сюда совсем уж спокойный, думал, что всё уж уладилось, — прибавил он в отчаянии.

— Не знаю, где теперь, только давеча, как начались эти крики, она пошла к вам: она хотела всё это выразить вслух, при всех. Вероятно, ее не допустили.

— Еще бы допустили! что б она там наделала! Ах, горячая, гордая головка! И куда она пойдет, куда? куда? А ты-то, ты-то хорош! Да почему ж она тебе отказала? Вздор! Ты должен был понравиться. Почему ж ты ей не понравился? Да отвечай же, ради бога, чего ж ты

стоишь?

— Помилосердуйте, дядюшка! да разве можно задавать такие вопросы?

— Но ведь невозможно ж и это! Ты должен, должен на ней жениться. Зачем же я тебя и тревожил из Петербурга? Ты должен составить ее счастье! Теперь ее гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, — не прогонят. А то куда она пойдет? что с ней будет? В гувернантки? Но ведь это только бессмысленный вздор, в гувернантки-то! Ведь пока место найдет, чем дома жить? У старика их девятеро на плечах; сами голодом сидят. Ведь она ни гроша не возьмет от меня, если выйдет через эти пакостные наговоры, и она, и отец. Да и каково таким образом выйти — ужас! Здесь уж будет скандал — я знаю. А жалованье ее уж давно вперед забрано на семейные нужды: ведь она их питает. Ну, положим, я рекомендую ее в гувернантки, найду такую честную и благородную фамилью… да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли положиться на людей? К тому же бедный человек подозрителен; ему так и кажется, что его заставляют платить за хлеб и за ласку унижениями! Они оскорбят ее; она гордая, и тогда… да уж что тогда? А что если ко всему этому какой-нибудь мерзавец-обольститель подвернется?.. Она плюнет на него, — я знаю, что плюнет, — но ведь он ее все-таки оскорбит, мерзавец! все-таки на нее может пасть бесславие, тень, подозрение, и тогда… Голова трещит на плечах! Ах ты, боже мой!

— Дядюшка! простите меня за один вопрос, — сказал я торжественно, — не сердитесь на меня, поймите, что ответ на этот вопрос может многое разрешить; я даже отчасти вправе требовать от вас ответа, дядюшка!

— Что, что такое? Какой вопрос?

— Скажите, как перед богом, откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Подумайте: ведь из-за этого-то ее здесь и гонят.

Дядя сделал самый энергический жест самого судорожного нетерпения.

— Я? влюблен? в нее? Да они все белены объелись или сговорились против меня. Да для чего ж я тебя-то выписывал, как не для

того, чтоб доказать им всем, что они белены объелись? Да для чего же я тебя-то к ней сватаю? Я? влюблен? в нее? Рехнулись они все, да и только!

— А если так, дядюшка, то позвольте уж мне всё высказать. Объявляю вам торжественно, что я решительно ничего не нахожу дурного в этом предположении. Напротив, вы бы ей счастье сделали, если уж так ее любите, и — и дай бог этого! дай вам бог любовь и совет!

— Но, помилуй, что ты говоришь! — вскричал дядя почти с ужасом. — Удивляюсь, как ты можешь это говорить хладнокровно… и… вообще ты, брат, всё куда-то торопишься, — я замечаю в тебе эту черту! Ну, не бессмысленно ли, что ты сказал? Как, скажи, я женюсь на ней, когда я смотрю на нее как на дочь, а не иначе? Да мне даже стыдно было бы на нее смотреть иначе, даже грешно! Я старик, а она — цветочек! Даже Фома это мне объяснил именно в таких выражениях. У меня отеческой любовью к ней сердце горит, а ты тут с супружеством! Она, пожалуй, из благодарности и не отказала бы, да ведь она презирать меня потом будет за то, что ее благодарностью воспользовался. Я загублю ее, привязанность ее потеряю! Да я бы душу мою ей отдал, деточка она моя! Всё равно как Сашу

люблю, даже больше, признаюсь тебе. Саша мне дочь по праву, по закону, а эту я любовью моею себе дочерью сделал. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила; она мне ее как дочь завещала. Я образование ей дал: и по-французски говорить, и на фортепьяно, и книги, и всё… Улыбочка какая у ней! заметил ты, Сережа? как будто смеется над тобой, а меж тем вовсе не смеется, а, напротив, любит… Я вот и думал, что ты приедешь, сделаешь предложение; они и уверятся, что я не имею видов на нее, и перестанут все эти пакости распускать. Она и осталась бы тогда с нами в тишине, в покое, и как бы мы тогда были счастливы! Вы оба дети мои, почти оба сиротки, оба на моем попечении выросли… я бы вас так любил, так любил! жизнь бы вам отдал, не расстался бы с вами; всюду за вами! Ах, как бы мы могли быть счастливы! И зачем это люди всё злятся, всё сердятся, ненавидят друг друга? Так бы, так бы взял да и растолковал бы им всё! Так бы и выложил перед ними всю сердечную правду! Ах ты, боже мой!

— Да, дядюшка, да, это всё так, а только она вот и отказала мне…

— Отказала! Гм!.. А знаешь, я как будто предчувствовал, что она

откажет тебе, — сказал он в задумчивости. — Но нет! — вскрикнул он, — я не верю! это невозможно! Но ведь в таком случае всё расстроится! Да ты, верно, как-нибудь неосторожно с ней начал, оскорбил еще, может быть; пожалуй, еще комплименты пустился отмачивать… Расскажи мне еще раз, как это было, Сергей!

Я повторил еще раз всё в совершенной подробности. Когда дошло до того, что Настенька удалением своим надеялась спасти дядю от Татьяны Ивановны, тот горько улыбнулся.

— Спасти! — сказал он, — спасти до завтрашнего утра!

— Но вы не хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? — вскричал я в испуге.

— А чем же я и купил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение; формально обещался.

— И вы решились, дядюшка?

— Что ж делать, братец, что ж делать! Это раздирает мне сердце, но я решился. Завтра предложение; свадьбу положили сыграть тихо, по-домашнему; оно, брат, и лучше по-домашнему-то. Ты, пожалуй, шафером. Я уж намекнул о тебе, так они до времени никак тебя не прогонят. Что ж делать, братец? Они говорят: «для детей богатство!» Конечно, для детей чего не сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я хоть что-нибудь сделать для семейства. Не всё же тунеядцем сидеть!

— Но, дядюшка, ведь она сумасшедшая! — вскричал я, забывшись, и сердце мое болезненно сжалось.

— Ну, уж и сумасшедшая! Вовсе не сумасшедшая, а так, испытала, знаешь, несчастия… Что ж делать, братец, и рад бы с умом… А впрочем, и с умом-то какие бывают! А какая она добрая, если б ты знал, благородная какая!

— Но, боже мой! он уж и мирится с этой мыслью! — сказал я в отчаянии.

— А что ж и делать-то, как не так? Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, а не отвертишься: заставят жениться. Так уж лучше теперь, чем еще ссору из-за этого затевать. Я тебе, брат Сережа, всё откровенно скажу: я даже отчасти и рад. Решился, так уж решился, по крайней мере, с плеч долой, — спокойнее как-то. Я вот и шел сюда почти совсем уж спокойный. Такова уж, видно, звезда моя! А главное, в выигрыше то,

что Настя при нас остается. Я ведь и согласился с этим условием. А тут *она* сама бежать хочет! Да не будет же этого! — вскрикнул дядя, топнув ногою. — Послушай, Сергей, — прибавил он с решительным видом, — подожди меня здесь, никуда не ходи; я мигом к тебе ворочусь.

— Куда вы, дядюшка?

— Может быть, я ее увижу, Сергей: всё объяснится, поверь, что всё объяснится, и… и… и женишься же ты на ней — даю тебе честное слово!

Дядя быстро вышел из комнаты и поворотил в сад, а не к дому. Я следил за ним из окна.

## XII
## Катастрофа

Я остался один. Положение мое было нестерпимое: мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложение не выходили у меня из головы. Во что бы ни стало дядю надо было спасти! Я даже думал пойти сыскать Мизинчикова и рассказать ему всё. Но куда, однако ж, пошел дядя? Он сам сказал, что идет отыскивать Настеньку, а между тем поворотил в сад. Мысль о тайных свиданиях промелькнула в моей голове, и пренеприятное чувство ущемило мое сердце. Я вспомнил слова Мизинчикова про тайную связь… Подумав с минуту, я с негодованием отбросил все мои подозрения. Дядя не мог обманывать: это очевидно. Беспокойство мое возрастало каждую минуту. Бессознательно вышел я на крыльцо и пошел в глубину сада, по той самой аллее, в которой исчез дядя. Месяц начинал всходить. Я знал этот сад вдоль и поперек и не боялся заблудиться. Дойдя до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я вдруг остановился как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. Не могу выразить, какое странное чувство досады овладело мною! Я был уверен, что это дядя и Настенька, и продолжал подходить, успокаивая на всякий случай свою совесть тем, что иду прежним шагом и не стараюсь подкрадываться. Вдруг раздался ясно звук поцелуя, потом звуки каких-то одушевленных слов, и тотчас же вслед за этим — пронзительный женский крик. В то же мгновение женщина в белом

платье выбежала из беседки и промелькнула мимо меня, как ласточка. Мне показалось даже, что она закрывала руками лицо, чтоб не быть узнанной: вероятно, меня заметили из беседки. Но каково же было мое изумление, когда в вышедшем вслед за испуганной дамой кавалере я узнал Обноскина, — Обноскина, который, по словам Мизинчикова, давно уж уехал! С своей стороны, и Обноскин, увидав меня, чрезвычайно смутился: всё нахальство его исчезло.

— Извините меня, но… я никак не ожидал с вами встретиться, — проговорил он, улыбаясь и заикаясь.

— А я с вами, — отвечал я насмешливо, — тем более что я слышал, вы уж уехали.

— Нет-с… это так… я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам как к благороднейшему человеку в мире?

— С чем это?

— Есть случаи, — и вы сами согласитесь с этим, — когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого, истинно благородного человека… Надеюсь, вы понимаете меня…

— Не надейтесь: ничего решительно не понимаю.

— Вы видели даму, которая находилась вместе со мной в беседке?

— Видел, но не узнал.

— А, не узнали!.. Эту даму я назову скоро моею женою.

— Поздравляю вас. Но чем же я могу быть вам полезен?

— Только одним: сохранив глубочайшую тайну о том, что вы меня видели с этой дамой.

«Кто ж бы это? — подумал я, — уж не…»

— Право, не знаю-с, — отвечал я Обноскину. — Надеюсь, вы извините, что не могу дать вам слова…

— Нет, ради бога, пожалуйста, — умолял Обноскин. — Поймите мое положение: это секрет. Вы тоже можете быть женихом, тогда и я, с своей стороны…

— Тс! кто-то идет!

— Где?

Действительно, шагах в тридцати от нас, чуть приметно, промелькнула тень проходившего человека.

— Это… это, верно, Фома Фомич! — прошептал Обноскин, трепеща всем телом. — Я узнаю его по походке. Боже мой! и еще шаги,

с другой стороны! Слышите… Прощайте! благодарю вас и… умоляю вас…

Обноскин скрылся. Чрез минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли.

— Это ты? — окрикнул он меня. — Всё пропало, Сережа! всё пропало!

Я заметил, что он тоже дрожал всем телом.

— Что пропало, дядюшка?

— Пойдем! — сказал он, задыхаясь, и, крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. Я ожидал чего-нибудь сверхъестественного и почти не обманулся. Когда мы вошли в комнату, с ним сделалось дурно; он был бледен, как мертвый. Я немедленно спрыснул его водою. «Вероятно, случилось что-нибудь очень ужасное, — думал я, — когда с таким человеком делается обморок».

— Дядюшка, что с вами? — спросил я его наконец.

— Всё пропало, Сережа! Фома застал меня в саду вместе с Настенькой в ту самую минуту, когда я поцеловал ее!

— Поцеловали! в саду! — вскричал я, смотря в изумлении на дядю.

— В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее увидать. Хотел ей всё высказать, урезонить ее, насчет тебя то есть. А она меня уж целый час дожидалась, там, у сломанной скамейки, за прудом… Она туда часто приходит, когда надо поговорить со мной.

— Часто, дядюшка?

— Часто, братец! Последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и выследили, — уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна всё работала. Мы на время и прервали; дня четыре уж ничего не было; а вот сегодня опять понадобилось. Сам ты видел, какая нужда была: без этого как же бы я ей сказал? Прихожу, в надежде застать, а она уж там целый час сидит, меня дожидается: тоже надо было кое-что сообщить…

— Боже мой, какая неосторожность! ведь вы знали, что за вами следят?

— Да ведь критический случай, Сережа; многое надо было взаимно сказать. Днем-то я и смотреть на нее не смею: она в один угол, а я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдемся, да и наговоримся…

— Ну, что ж, дядюшка?

— Не успел я двух слов сказать, знаешь, сердце у меня заколотилось, из глаз слезы выступили; стал я ее уговаривать, чтоб за тебя вышла; а она мне: «Верно, вы меня не любите, верно, вы ничего не видите», и вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала! «Я, говорит, одного вас люблю и ни за кого не выйду. Я вас уж давно люблю, только и за вас не выйду, а завтра же уеду и в монастырь пойду».

— Боже мой! неужели она так и сказала? Ну, что ж дальше, дальше, дядюшка?

— Смотрю, а перед нами Фома! и откуда он взялся? Неужели за кустом сидел да этого греха выжидал?

— Подлец!

— Я обмер. Настенька бежать, а Фома Фомич молча прошел мимо нас, да пальцем мне и погрозил, — понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет?

— Ну, да уж как не понять!

— Понимаешь ли ты, — вскричал он в отчаянии, вскакивая со стула, — понимаешь ли ты, что они хотят ее погубить, осрамить, обесчестить; ищут предлога, чтоб бесчестие на нее всклепать и за это выгнать ее; а вот теперь и нашелся предлог! Ведь они говорили, что она со мной гнусные связи имеет! ведь они, подлецы, говорили, что она с Видоплясовым имеет! Это всё Анна Ниловна говорила. Что теперь будет? что завтра будет? Неужели расскажет Фома?

— Непременно расскажет, дядюшка.

— А если расскажет, если только расскажет… — проговорил он, закусывая губу и сжимая кулаки, — но нет, не верю! он не расскажет, он поймет… это человек высочайшего благородства! Он пощадит ее…

— Пощадит иль не пощадит, — отвечал я решительно, — но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Евграфовне.

Дядя смотрел на меня неподвижно.

— Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестите девушку, если разнесется эта история? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее; что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее?

— Друг мой! — вскричал дядя, — я об этом думал, идя сюда!

— И как же решили?

— Неизменно! Я уже решился, прежде чем начал тебе рассказывать!

— Браво, дядюшка!

И я бросился обнимать его.

Долго мы говорили. Я выставил перед ним все резоны, всю неумолимую необходимость жениться на Настеньке, что, впрочем, он сам понимал еще лучше меня. Но красноречие мое было возбуждено. Я радовался за дядю. Долг подстрекал его, иначе бы он никогда не поднялся. Перед долгом же, перед обязанностью он благоговел. Но, несмотря на то, я решительно не понимал, как устроится это дело. Я знал и слепо верил, что дядя ни за что не отступит от того, что раз признал своею обязанностью; но мне как-то не верилось, чтоб у него достало силы восстать против своих домашних. И потому я старался как можно более подстрекнуть и направить его и работал со всею юношескою горячностью.

— Тем более, тем более, — говорил я, — что теперь уже всё решено и последние сомнения ваши исчезли! Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели и все прежде вас заметили: Настасья Евграфовна вас любит! Неужели же вы попустите, — кричал я, — чтоб эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор?

— Никогда! Но, друг мой, неужели ж я буду наконец так счастлив? — вскричал дядя, бросаясь ко мне на шею. — И как это она полюбила меня, и за что? за что? Кажется, во мне нет ничего такого… Я старик перед нею: вот уж не ожидал-то! ангел мой, ангел!.. Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее: имел ты какую-нибудь идею?

— Я видел только, дядюшка, что вы ее любите так, как больше любить нельзя: любите и между тем сами про это не знаете. Помилуйте! выписываете меня, хотите женить меня на ней, единственно для того, чтоб она вам стала племянницей и чтоб иметь ее всегда при себе…

— А ты… а ты прощаешь меня, Сергей?

— Э, дядюшка!..

И он снова обнял меня.

— Смотрите же, дядюшка, все против вас: надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра.

— Да… да, завтра! — повторил он несколько задумчиво, — и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силой характера… именно с силой характера!

— Не сробейте, дядюшка!

— Не сробею, Сережа! Одно: не знаю, как начать, как приступить!

— Не думайте об этом, дядюшка. Завтрашний день всё решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит — немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок.

— А нельзя ли не выгонять? Я, брат, так решил: завтра же пойду к нему рано, чем свет, всё расскажу, вот как с тобой говорил: не может быть, чтоб он не понял меня; он благороден, он благороднейший из людей! Но вот что меня беспокоит: что если маменька предуведомила сегодня Татьяну Ивановну о завтрашнем предложении? Ведь это уж худо!

— Не беспокойтесь о Татьяне Ивановне, дядюшка.

И я рассказал ему сцену в беседке с Обноскиным. Дядя был в чрезвычайном удивлении. Я ни слова не упомянул о Мизинчикове.

— Фантасмагорическое лицо! истинно фантасмагорическое лицо! — вскричал он. — Бедная! Они подъезжают к ней, хотят воспользоваться ее простотою! Неужели Обноскин? Да ведь он же уехал… Странно, ужасно странно! Я поражен, Сережа… Это завтра же надо исследовать и принять меры… Но уверен ли ты совершенно, что это была Татьяна Ивановна?

Я отвечал, что хотя и не видал в лицо, но по некоторым причинам совершенно уверен, что это Татьяна Ивановна.

— Гм! Не интрижка ли с кем-нибудь из дворовых, а тебе показалось, что Татьяна Ивановна? Не Даша ли, садовника дочь? пролазливая девочка! Замечена, потому и говорю, что замечена. Анна Ниловна выследила… Да нет же, однако! Ведь он говорил, что жениться хочет. Странно! Странно!

Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. «Завтра, завтра, — повторял он, — всё решится, — прежде чем ты встанешь, решится. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему всё, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. Прощай, Сережа. Ложись, ты устал; а я уж, верно, во всю ночь глаз не сомкну».

Он ушел. Я тотчас же лег, усталый и измученный донельзя. День был трудный. Нервы мои были расстроены, и, прежде чем заснул, я

несколько раз вздрагивал и просыпался. Но как ни странны были мои впечатления при отходе ко сну, все-таки странность их почти ничего не значила перед оригинальностью моего пробуждения на другое утро.

# Часть вторая и последняя

## I
## Погоня

Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день; в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или, лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев.

Сомневаться было невозможно: это был он. Высвободив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека.

— Он еще и смотрит! — вскричал толстяк. — Да ты что на меня уставился? Вставай, батюшка, вставай! полчаса бужу; продирай глаза-то!

— Да что случилось? Который час?

— Час, батюшка, еще ранний, а Февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!

— Какая Февронья?

— Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника! — прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе.

— Да про кого и про что вы говорите? — сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. — Уж не Татьяна ль Ивановна?

— А как же? она и есть! Я говорил, предрекал — не хотели слушать! Вот она тебя и поздравила теперь с праздником! На амуре помешана, а амур-то у нее крепко в голове засел! Тьфу! А тот-то, тот-то каков? с бороденкой-то?

— Неужели с Мизинчиковым?

— Тьфу ты пропасть! Да ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника! Знать, тебя еще за ужином вчера укачало, коли теперь еще бродит! С каким Мизинчиковым? С Обноскиным, а не с Мизинчиковым. А Иван Иваныч

Мизинчиков человек благонравный и теперь с нами же в погоню сбирается.

— Что вы говорите? — вскричал я, даже привскакнув на постели, — неужели с Обноскиным?

— Тьфу ты, досадный человек! — отвечал толстяк, вскакивая с места, — я к нему как к образованному человеку пришел оказию сообщить, а он еще сомневается! Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать: и без того золотое время с тобой потерял!

И он вышел в чрезвычайном негодовании.

Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о происшедшем, я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре иль шлафроке. Волосы ее были в беспорядке: видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях.

— Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная.

— Говорят, что правда. Я ищу дядюшку; мы хотим в погоню.

— О! привезите, привезите ее скорее! Она погибнет, если вы ее не воротите.

— Но где же дядюшка?

— Верно, там, у конюшен; там коляску закладывают. Я его здесь поджидала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же; я совсем решилась. Отец возьмет меня; я еду сейчас, если можно будет. Всё погибло теперь! всё потеряно!

Говоря это, она сама глядела на меня как потерянная и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика.

— Успокойтесь! — умолял я ее, — ведь это всё к лучшему — вы увидите… Что с вами, Настасья Евграфовна?

— Я… я не знаю… что со мною, — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. — Скажите ему…

В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум.

Она бросила мою руку и, испуганная, не договорив, убежала вверх по лестнице.

Я нашел всю компанию, то есть дядю, Бахчеева и Мизинчикова, на заднем дворе, у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Всё было готово к отъезду: ждали только меня.

— Вот и он! — закричал дядя при моем появлении. — Слышал, брат? — прибавил он с каким-то странным выражением в лице.

Испуг, растерянность и вместе с тем как будто надежда выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальный переворот.

Тотчас же посвятили меня во все подробности. Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтоб поспеть к ранней обедне в монастырь, находящийся верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в тарантасе Татьяну Ивановну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчееву руки, как бы умоляя его о защите, — так по крайней мере выходило из его рассказа. «А тот-то, подлец, с бороденкой-то, — прибавлял он, — ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчиково, разбудил дядю, Мизинчикова, наконец, и меня. Решили тотчас же пуститься в погоню.

— Обноскин-то, Обноскин-то… — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем и что-то другое, — кто бы мог ожидать!

— От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда.

— Что ж мы, едем иль нет? Али до ночи будем стоять да сказки рассказывать? — прервал господин Бахчеев, влезая в коляску.

— Едем, едем! — подхватил дядя.

— Всё к лучшему, дядюшка, — шепнул я ему. — Видите, как всё это теперь отлично уладилось?

— Полно, брат, не греши… Ах, друг мой! они теперь просто выгонят *ее*, в наказанье, что не удалось, — понимаешь? Ужас, сколько я предчувствую!

— Да что ж, Егор Ильич, шептаться аль ехать? — вскричал в другой раз господин Бахчеев. — Аль уж отложить лошадок да закуску

подать, — как вы думаете: не выпить ли водочки?

Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску, и лошади поскакали.

Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался; потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех. Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на всё с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться.

— Уверены ли вы, Степан Алексеич, что они поехали в Мишино? — спросил вдруг дядя. — Это, брат, двадцать верст отсюда, — прибавил он, обращаясь ко мне, — маленькая деревенька, в тридцать душ; недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга, каких свет не производил! Так по крайней мере о нем говорят; может быть, и ошибочно. Степан Алексеич уверяет, что Обноскин именно туда ехал и что этот чиновник теперь ему помогает.

— А то как же? — вскричал Бахчеев, встрепенувшись. — Уж я говорю, что в Мишино. Только теперь его, в Мишине-то, может, уж Митькой звали, Обноскина-то! Еще бы три часа на дворе попусту прокалякали!

— Не беспокойтесь, — заметил Мизинчиков, — застанем.

— Да, застанем! Небось он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках; был — да сплыл!

— Успокойся, Степан Алексеич, успокойся, догоним, — сказал дядя. — Они еще ничего не успели сделать, — увидишь, что так.

— Не успели сделать! — злобно переговорил господин Бахчеев. — Чего она не успеет наделать, даром что тихонькая! «Тихонькая, говорят, тихонькая!» — прибавил он тоненьким голоском, как будто кого-то передразнивая. — «Испытала несчастья». Вот она нам теперь пятки и показала, несчастная-то! Вот и гоняйся за ней по большим дорогам, высуня язык ни свет ни заря! Помолиться человеку не дадут для божьего праздника. Тьфу!

— Да ведь она, однако ж, не малолетняя, — заметил я, — под

опекой не состоит. Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем?

— Разумеется, — отвечал дядя, — но она захочет — уверяю тебя. Это она теперь только так… Только увидит нас, тотчас воротится, — отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так, на произвол судьбы, в жертву; это, так сказать, долг…

— Под опекой не состоит! — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. — Дура она, батюшка, набитая дура, — а не то, что под опекой не состоит. Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а намедни ошибкой зашел в ее комнату: смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! Да ведь как разодета: журнал, просто журнал! Плюнул да и отошел. Тогда же всё предузнал, как по-писаному!

— К чему ж так обвинять? — заметил я с некоторою робостью. — Известно, что Татьяна Ивановна… не в полном своем здоровье… или, лучше сказать, у ней такая мания… Мне кажется, виноват один Обноскин, а не она.

— Не в полном своем здоровье! ну вот подите вы с ним! — подхватил толстяк, весь побагровев от злости. — Ведь поклялся же бесить человека! Со вчерашнего дня клятву такую дал! Дура она, отец мой, повторяю тебе, капитальная дура, а не то, что не в полном своем здоровье; сызмалетства на купидоне помешана! Вот и довел ее теперь купидон до последней точки. А про того, с бороденкой-то, и поминать нечего! Небось задувает теперь по всем по трем с денежками, динь-динь-динь, да посмеивается.

— Так неужели же вы в самом деле думаете, что он тотчас и бросит ее?

— А то как же? Небось таскать с собой станет такое сокровище? Да на что она ему? оберет ее да и посадит где-нибудь под куст, на дороге — и был таков, а она и сиди себе под кустом да нюхай цветочки!

— Ну, уж это ты увлекся, Степан, не так это будет! — вскричал дядя. — Впрочем, чего ж ты так сердишься? Дивлюсь я на тебя, Степан, тебе-то чего?

— Да ведь я человек али нет? Ведь зло берет; вчуже берет. Ведь, я, может, ее же любя, говорю… Эх, прокисай всё на свете! Ну зачем я приехал сюда? ну зачем я сворачивал? мне-то какое дело? мне-то какое дело?

Так сетовал господин Бахчеев; но я уже не слушал его и задумался о той, которую мы теперь догоняли, — о Татьяне Ивановне. Вот краткая ее биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная дева и наконец бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь испила полную до краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. От природы характера веселого, восприимчивого в высшей степени и легкомысленного, она вначале кое-как еще переносила свою горькую участь и даже могла подчас и смеяться самым веселым, беззаботным смехом; но с годами судьба взяла наконец свое. Мало-помалу Татьяна Ивановна стала желтеть и худеть, сделалась раздражительна, болезненно-восприимчива и впала в самую неограниченную, беспредельную мечтательность, часто прерываемую истерическими слезами, судорожными рыданиями. Чем менее благ земных оставляла ей на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозвратнее гибли и наконец погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее мечты, никогда не осуществимые. Богатства неслыханные, красота неувядаемая, женихи изящные, богатые, знатные, всё князья и генеральские дети, сохранившие для нее свои сердца в девственной чистоте и умирающие у ног ее от беспредельной любви, и наконец *он — он,* идеал красоты, совмещающий в себе всевозможные совершенства, страстный и любящий, художник, поэт, генеральский сын — всё вместе или поочередно, всё это начинало ей представляться не только во сне, но даже почти и наяву. Рассудок ее уже начинал слабеть и не выдерживать приемов этого опиума таинственных, беспрерывных мечтаний… И вдруг судьба подшутила над ней окончательно. В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действительности, в компаньонках у одной старой, беззубой и брюзгливейшей барыни в мире, виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя, утопающая в неге самых безумных и распаленных фантазий, — она вдруг получила известие о смерти одного своего

дальнего родственника, у которого давно уже (о чем она, по легкомыслию своему, никогда не справлялась) перемерли все его близкие родные, человека странного, жившего затворником, где-то за тридевять земель, в захолустье, одиноко, угрюмо, неслышно и занимавшегося черепословием* и ростовщичеством. И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпалось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны: она оказалась единственной законной наследницей умершего родственника. Сто тысяч рублей серебром досталось ей разом. Эта насмешка судьбы доконала ее совершенно. Как же, в самом деле, и без того уже ослабевшему рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно распростилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. Прочь все соображения, все сомнения, все преграды действительности, все неизбежные и ясные, как дважды-два, законы ее! Тридцать пять лет и мечта об ослепляющей красоте, осенний грустный холод и вся роскошь бесконечного блаженства любви, даже не споря между собою, ужились в ее существе. Мечты уже осуществились раз в жизни: отчего же и всему не сбыться? отчего же и *ему* не явиться? Татьяна Ивановна не рассуждала, а верила. Но в ожидании *его,* идеала — женихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельможи и просто поэты, бывшие в Париже и бывшие только в Москве, с бородками и без бородок, с эспаньолками и без эспаньолок, испанцы и неиспанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей день и ночь в количестве, ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет — тот и влюбился; кто бы ни прошел мимо — тот и испанец; кто умер — непременно от любви к ней. Всё это как нарочно подтверждалось в ее глазах еще и тем, что за ней в самом деле начали бегать такие, например, люди, как Обноскин, Мизинчиков и десятки других, с теми же целями. Ей вдруг стали все угождать, стали баловать ее, стали ей льстить. Бедная Татьяна Ивановна и подозревать не хотела,

что всё это из-за денег. Она совершенно была уверена, что по чьему-то мановению все люди вдруг исправились и стали, все до одного, веселые, милые, ласковые, добрые. *Он* не являлся еще налицо; но хотя и сомнения не было в том, что *он* явится, теперешняя жизнь и без того была так недурна, так заманчива, так полна всяких развлечений и угощений, что можно было и подождать. Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила далее чтенья, увлекаемая в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета. Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, ленты, образчики, выкройки, узоры, конфеты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом. Она даже как-то помолодела и похорошела после наследства. До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крахоткину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки; а мысль дяди, после известия о ее побеге с Обноскиным, бежать за ней и воротить ее, хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка неспособна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась к недобрым людям.

Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная, маленькая деревенька, верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшею соломою, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракита свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвесть отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового, длинного и узкого сруба, с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны

начинался новый плетень, с которого еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач.

Встретившийся нам в сенях босоногий мальчик ударился от нас бежать сломя голову. В первой же комнате, на ситцевом, длинном «турецком» диване, без спинки, восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье: кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись: казалось, их и в доме не было; все куда-то попрятались.

— Вот она, путешественница! еще и ручками закрывается! — вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату.

— Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это наконец неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич, а мы здесь совершенно посторонние, — резко заметил Мизинчиков.

Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, всё еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием сказал ей:

— Татьяна Ивановна! мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурка с Настей уж, верно, проплакали о вас целое утро…

Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею.

— Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее! — говорила она рыдая, — скорее, как можно скорее!

— Расскакалась да и сбрендила! — прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою.

— Значит, всё кончено, — сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. — Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку. Едем!

За дверьми послышался шорох; дверь скрипнула и приотворилась

еще более.

— Однако ж, если судить с другой точки зрения, — заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, — то посудите сами, Егор Ильич… ваш поступок в моем доме… и, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич…

— Ваш поступок в *моем* доме, сударь, был скверный поступок, — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина, — а это и дом-то не ваш. Вы слышали: Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего же вам более? Ни слова — слышите, ни слова больше, прошу вас! Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее.

Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни.

— Не презирайте меня, Егор Ильич, — начал он полушепотом, чуть не плача от стыда и поминутно оглядываясь на дверь, вероятно из боязни, чтоб там не услышали, — это всё не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич; я только так это сделал; я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич… но я с благородной целью это сделал, Егор Ильич: я бы употребил с пользою капитал-с… я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете… Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич; а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич…

Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать.

— Ну, ну, полно, полно! — проговорил он наконец. — Успокойся, Павел Семеныч. Что ж делать! Со всяким случается… Если хочешь, приезжай, брат, обедать… а я рад, рад…

Но не так поступил господин Бахчеев.

— Стипендию учредить! — заревел он с яростью, — таковский чтоб учредил! Небось сам рад сорвать со всякого встречного… Штанишек нет, а туда же, в стипендию какую-то лезет! Ах ты лоскутник, лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце! А где ж она, родительница-то? али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там, за ширмами, али под кровать со страха залезла…

— Степан, Степан!.. — закричал дядя.

Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась и сама Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату.

— Это что? — закричала она, — что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь!.. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! — продолжала она вопить, набрасываясь на сына, — ты уж и нюни распустил перед ними! Твоей матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул! Какой ты порядочный молодой человек после этого? Ты тряпка, а не молодой человек после этого!

Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки — ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски.

Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты; но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу.

— Вы так не выйдете, Егор Ильич! — затрещала она снова. — По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом! Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извините-с, здесь благороднее думают! Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуше. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей; она принуждена была бежать от вас ночью — вот как-с! вот вы до чего ее довели! Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться целой шайкой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! не позволю! Я не сошла с ума!.. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет! Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать: это враги ваши, а не друзья! Не робейте, пойдемте! Я их тотчас же выпровожу!..

— Нет, нет! — закричала испуганная Татьяна Ивановна, — я не хочу, не хочу! Какой он муж? Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж?

— Не хотите? — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от

злости, — не хотите? Приехали, да и не хотите? В таком случае как же вы смели обманывать нас? В таком случае как же вы смели обещать ему, бежали с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоумение, в расходы? Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас!.. Он, может быть, десятки тысяч приданого потерял из-за вас!.. Нет-с! Вы заплатите, вы должны теперь заплатить; мы доказательства имеем: вы ночью бежали…

Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед, прямо на Анфису Петровну, и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску.

— Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы! — кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном исступлении. — Я бумагу подам! вы заплатите… вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за Егора Ильича; он под носом у вас держит свою гувернантку на содержании!..

Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку.

— По крайней мере позвольте мне искать вашей дружбы! — сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице.

— Как это дружбы? — сказал я, занося ногу на подножку коляски.

— Так-с! Я еще вчера отличил в вас образованнейшего человека. Не судите меня… Меня собственно обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею наклонности к литературе — уверяю вас; а это всё маменька…

— Верю, верю, — сказал я, — прощайте!

Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством.

В коляске помещалось теперь нас пятеро; но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но всё еще плакала. Дядя, как мог, утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив: видно

было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева.

Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой; он не мог смотреть равнодушно; ворочался на своем месте, краснел как рак и страшно вращал глазами; особенно когда дядя начинал утешать Татьяну Ивановну, толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться; потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбрельку*, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу.

— Безумец! — проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером.

Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд.

— Что-о-о? — заревел толстяк, — что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!

— Безумец! безумец! — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши.

— Стой! — закричал Бахчеев кучеру, — стой!

Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски.

— Да что с тобой, Степан Алексеич? куда ты? — вскричал изумленный дядя.

— Нет, уж довольно с меня! — отвечал толстяк, дрожа от негодования, — прокисай всё на свете! Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру! Прощай, мадам, коман-ву-порте-ву*!

И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом.

— Степан Алексеевич! — кричал дядя, выходя наконец из терпения, — не дурачься, полно, садись! ведь домой пора!

— И — ну вас! — проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что, по толстоте своей, совсем разучился ходить.

— Пошел во весь опор! — закричал Мизинчиков кучеру.

— Что ты, что ты, постой!.. — вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся: немедленно получились желаемые

плоды.

— Стой! стой! — раздался позади нас отчаянный вопль, — стой, разбойник! стой, душегубец ты эдакой!..

Толстяк наконец явился, усталый, полузадохшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстух и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место; по крайней мере он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же, с своей стороны, до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски.

Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но, почти вслед за ним, вошел дядя и тотчас же выслал его.

## II
## Новости

— Я, брат, к тебе на минутку, — начал он торопливо, — спешил сообщить… Я уже всё разузнал. Никто из них сегодня даже у обедни не был, кроме Илюши, Саши да Настеньки. Маменька, говорят, была в судорогах. Оттирали; насилу оттерли. Теперь положено собираться к Фоме, и меня зовут. Не знаю только, поздравлять или нет Фому с именинами-то, — важный пункт! И, наконец, как-то они примут весь этот пассаж? Ужас, Сережа, я уж предчувствую…

— Напротив, дядюшка, — заспешил я в свою очередь, — всё превосходно устроивается. Ведь уж теперь вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне — это одно чего стоит! Я вам еще дорогою это хотел объяснить.

— Так так, друг мой. Но всё это не то; во всем этом, конечно, перст божий, как ты говоришь; но я не про то… Бедная Татьяна Ивановна! какие, однако ж, с ней пассажи случаются!.. Подлец, подлец Обноскин! А впрочем, что ж я говорю «подлец»? я разве не то же бы самое сделал, женясь на ней?.. Но, впрочем, я всё не про то… Слышал ты, что кричала давеча эта негодяйка, Анфиса, про Настю?

— Слышал, дядюшка. Догадались ли вы теперь, что надо спешить?

— Непременно, и во что бы ни стало! — отвечал дядя. — Торжественная минута наступила. Только мы, брат, об одном вчера с тобой не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня, — вот что?

— Помилосердуйте, дядюшка! Когда сама сказала, что любит…

— Друг ты мой, да ведь тут же прибавила, что «ни за что не выйду за вас».

— Эх, дядюшка! это так только говорится; к тому же и обстоятельства сегодня не те.

— Ты думаешь? Нет, брат Сергей, это дело деликатное, ужасно деликатное! Гм!.. А знаешь, хоть и тосковал я, а как-то всю ночь сердце сосало от какого-то счастия!.. Ну, прощай, лечу. Ждут; я уж и так опоздал. Только так забежал, слово с тобой перебросить. Ах, боже мой! — вскричал он, возвращаясь, — главное-то я и забыл! Знаешь что: ведь я ему писал, Фоме-то!

— Когда?

— Ночью; а утром, чем свет, и письмо отослал с Видоплясовым. Я, братец, всё изобразил, на двух листах, всё рассказал, правдиво и откровенно, — словом, что я должен, то есть непременно должен, — понимаешь? — сделать предложение Настеньке. Я умолял его не разглашать о свидании в саду и обращался ко всему благородству его души, чтоб помочь мне у маменьки. Я, брат, конечно, худо написал, но я написал от всего моего сердца и, так сказать, облил моими слезами…

— И что ж? Никакого ответа?

— Покамест еще нет; только давеча, когда мы собирались в погоню, встретил его в сенях, по-ночному, в туфлях и в колпаке, — он спит в колпаке, — куда-нибудь выходил. Ни слова не сказал, даже не взглянул. Я заглянул ему в лицо, эдак снизу, — ничего!

— Дядюшка, не надейтесь на него: нагадит он вам.

— Нет, нет, братец, не говори! — вскричал дядя, махая руками, — я уверен. К тому же ведь это уж последняя надежда моя. Он поймет; он оценит. Он брюзглив, капризен — не спорю; но когда дело дойдет до высшего благородства, тут-то он и засияет, как перл… именно, как перл. Это ты всё оттого, Сергей, что ты еще не видал его в самом высшем благородстве… Но, боже мой! если он в самом деле разгласит вчерашнюю тайну, то,, я уж и не знаю, что тогда будет, Сергей! Чему же

останется и верить на свете? Но нет, он не может быть таким подлецом. Я подметки его не стою! Не качай головой, братец: это правда — не стою!

— Егор Ильич! маменька об вас беспокоются-с, — раздался снизу неприятный голос девицы Перепелицыной, которая, вероятно, успела подслушать в открытое окно весь наш разговор. — Вас по всему дому ищут-с и не могут найти-с.

— Боже мой, опоздал! Беда! — всполошился дядя. — Друг мой, ради Христа, одевайся и приходи туда! Я ведь за этим и забежал к тебе, чтоб вместе пойти… Бегу, бегу, Анна Ниловна, бегу!

Оставшись один, я вспомнил о моей встрече давеча с Настенькой и был рад, что не рассказал о ней дяде: я бы расстроил его еще более. Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе.

Однако ж надо было спешить. Я считал себя обязанным помогать ему и тотчас же начал одеваться; но как ни спешил, желая одеться получше, замешкался. Вошел Мизинчиков.

— Я за вами, — сказал он, — Егор Ильич вас просит немедленно.

— Идем!

Я был уже совсем готов. Мы пошли.

— Что там нового? — спросил я дорогою.

— Все у Фомы, в сборе, — отвечал Мизинчиков, — Фома не капризничает, что-то задумчив и мало говорит, сквозь зубы цедит. Даже поцеловал Илюшу, что, разумеется, привело в восторг Егора Ильича. Еще давеча через Перепелицыну объявил, чтоб не поздравляли его с именинами и что он только хотел испытать… Старуха хоть и нюхает спирт, но успокоилась, потому что Фома покоен. О нашей истории никто ни полслова, как будто ее и не было; молчат, потому что Фома молчит. Он всё утро не пускал к себе никого, хотя старуха давеча без нас всеми святыми молила, чтоб он к ней пришел для совещаний; да и сама ломилась к нему в дверь; но он заперся и отвечал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Он что-то затевает: по лицу видно. Но так как Егор Ильич ничего не в состоянии узнать по лицу, то и находится теперь в полном восторге от кротости Фомы Фомича: настоящий ребенок! Илюша какие-то стихи приготовил, и меня послали

за вами.

— А Татьяна Ивановна?

— Что Татьяна Ивановна?

— Она там же? с ними?

— Нет; она в своей комнате, — сухо отвечал Мизинчиков. — Отдыхает и плачет. Может быть, и стыдится. У ней, кажется, теперь эта… гувернантка. Что это? гроза никак собирается. Смотрите, на небе-то!

— Кажется, гроза, — отвечал я, взглянув на черневшую на краю неба тучу.

В это время мы всходили на террасу.

— А признайтесь, каков Обноскин-то, — а? — продолжал я, не могши утерпеть, чтоб не попытать на этом пункте Мизинчикова.

— Не говорите мне о нем! Не поминайте мне об этом подлеце! — вскричал он, вдруг останавливаясь, покраснев и топнув ногою. — Дурак! дурак! Погубить такое превосходное дело, такую светлую мысль! Послушайте: я, конечно, осел, что просмотрел его плутни, — я в этом торжественно сознаюсь, и, может быть, вы именно хотели этого сознания. Но клянусь вам, если б он сумел всё это обделать как следует, я бы, может быть, и простил его! Дурак, дурак! И как держат, как терпят таких людей в обществе! Как не ссылают их в Сибирь, на поселение, на каторгу! Но врут! им меня не перехитрить! Теперь у меня, по крайней мере, есть опыт, и мы еще потягаемся. Я обдумываю теперь одну новую мысль… Согласитесь сами: неужели ж терять свое потому только, что какой-то посторонний дурак украл вашу мысль и не умел взяться за дело? Ведь это несправедливо! И наконец, этой Татьяне непременно надо выйти замуж — это ее назначение. И если ее до сих пор еще никто не посадил в дом сумасшедших, так это именно потому, что на ней еще можно было жениться. Я вам сообщу мою новую мысль…

— Но, вероятно, после, — прервал я его, — потому что мы вот и пришли.

— Хорошо, хорошо, после! — отвечал Мизинчиков, искривив свой рот судорожной улыбкой. — А теперь… Но куда ж вы? Говорю вам: прямо к Фоме Фомичу! Идите за мной; вы там еще не были. Увидите другую комедию… Так как уж дело пошло на комедии…

## III

## Илюша именинник

Фома занимал две большие и прекрасные комнаты; они были даже и отделаны лучше, чем все другие комнаты в доме. Полный комфорт окружал великого человека. Свежие, красивые обои на стенах, шелковые пестрые занавесы у окон, ковры, трюмо, камин, мягкая, щегольская мебель — всё свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фоме Фомичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами. Посреди кабинета находился большой стол, покрытый красным сукном, весь заложенный книгами и рукописями. Прекрасная бронзовая чернильница и куча перьев, которыми заведовал Видоплясов, — всё это вместе должно было свидетельствовать о тугих умственных работах Фомы Фомича. Скажу здесь кстати, что Фома, просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи*; все они оказались необыкновенною дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии*; потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами;* потом бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться*, и, наконец, повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни*, тоже неоконченную. Больше ничего не осталось. А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же, впоследствии, не один раз заставал Фому за Поль де Коком*, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше. В задней стене кабинета находилась стеклянная дверь, которая вела во двор дома.

Нас дожидались. Фома Фомич сидел в покойном кресле, в каком-то длинном, до пят, сюртуке, но все-таки без галстуха. Был он действительно молчалив и задумчив. Когда мы вошли, он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня. Я поклонился; он отвечал мне легким *поклоном*, впрочем довольно вежливым. Бабушка, видя, что Фома Фомич обошелся со мной благосклонно, с улыбкою закивала мне головою. Бедная, и не ожидала поутру, что ее нещечко так покойно примет известие о «пассаже» с Татьяной Ивановной, и потому теперь

чрезвычайно развеселилась, хотя утром с ней действительно происходили корчи и обмороки. За стулом ее, по обыкновению, стояла девица Перепелицына, сложив губы в ниточку, кисло и злобно улыбаясь и потирая свои костлявые руки одну о другую. Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. Была еще какая-то забредшая утром монашенка и одна соседка-помещица, пожилая и тоже без речей, заехавшая от обедни поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка Прасковья Ильинична уничтожалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на Фому Фомича и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его. Перед ним стоял Илюша в праздничной красной рубашечке, с завитыми кудряшками, хорошенький, как ангельчик. Саша и Настенька тихонько от всех выучили его каким-то стихам, чтоб обрадовать отца в такой день успехами в науках. Дядя чуть не плакал от удовольствия: неожиданная кротость Фомы, веселость генеральши, именины Илюши, стихи — все это привело его в настоящий восторг, и он торжественно просил послать за мной, чтоб и я тоже поскорее разделил всеобщее счастье и прослушал стихи. Саша и Настенька, вошедшая почти вслед за нами, стояли около Илюши. Саша поминутно смеялась и в эту минуту была счастлива как дитя. Настенька, глядя на нее, тоже начала улыбаться, хоть и вошла, за минуту назад, бледная и унылая. Она одна встретила и успокоила Татьяну Ивановну, воротившуюся из путешествия, и до сих пор просидела у ней наверху. Резвый Илюша как будто тоже не мог удержаться от смеха, смотря на своих учительниц. Казалось, они все трое приготовили какую-то пресмешную шутку, которую теперь и хотели разыграть… Я и забыл про Бахчеева. Он сидел поодаль, на стуле, всё еще сердитый и красный, молчал, дулся, сморкался и вообще играл довольно мрачную роль на семейном празднике. Возле него семенил Ежевикин; впрочем, он семенил и везде, целовал ручки у генеральши и у приезжей гостьи, нашептывал что-то девице Перепелицыной, ухаживал за Фомой Фомичом, — словом, поспевал везде. Он тоже с великим сочувствием ожидал Илюшиных стихов и при входе моем бросился ко мне с поклонами, в знак величайшего уважения и преданности. Вовсе не видно было, что он приехал сюда защитить дочь и взять ее совсем из Степанчикова.

— Вот и он! — радостно вскричал дядя, увидев меня. — Илюша,

брат, стихи приготовил — вот неожиданность, настоящий сюрприз! Я, брат, поражен и нарочно за тобой послал и стихи остановил до прихода… Садись-ка возле! Послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, братец, ведь уж, верно, ты их всех надоумил, чтоб меня, старика, обрадовать? Присягну, что так!

Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, всё обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя неспособен был ничего угадать по лицу, как выразился Мизинчиков; а взглянув на Фому, я как-то невольно согласился, что Мизинчиков прав и что надо было чего-нибудь ожидать…

— Не беспокойтесь обо мне, полковник, — отвечал Фома слабым голосом, голосом человека, прощающего врагам своим. — Сюрприз я, конечно, хвалю: это изображает чувствительность и благонравие ваших детей. Стихи тоже полезны, даже для произношения… Но я не стихами был занят это утро, Егор Ильич: я молился… вы это знаете… Впрочем, готов выслушать и стихи.

Между тем я поздравил Илюшу и поцеловал его.

— Именно, Фома, извини! Я забыл… хоть и уверен в твоей дружбе, Фома! Да поцелуй его еще раз, Сережа! Смотри, какой мальчуган! Ну, начинай, Илюшка! Про что это? Верно, какая-нибудь ода торжественная, из Ломоносова что-нибудь?

И дядя приосанился. Он едва сидел на месте от нетерпения и радости.

— Нет, папочка, не из Ломоносова, — сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, — а так как вы были военный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное… Осаду Памбы, папочка.

— Осада Памбы? а! не помню… Что это за Памба, ты знаешь, Сережа? Верно, что-нибудь героическое.

И дядя приосанился в другой раз.

— Говори, Илюша! — скомандовала Сашенька.

Девять лет, как Педро Гомец[*]…—

начал Илюша маленьким, ровным и ясным голосом, без запятых и без точек, как обыкновенно сказывают маленькие дети заученные стихи, —

Девять лет, как Педро Гомец
Осаждает замок Памбу,

Молоком одним питаясь,
И всё войско дона Педра,
Девять тысяч кастильянцев,
Все по данному обету
Ниже хлеба не снедают,
Пьют одно лишь молоко.

— Как! что? Что это за молоко? — вскричал дядя, смотря на меня в изумлении.

— Читай дальше, Илюша, — вскричала Сашенька.

Всякий день дон Педро Гомец
О своем бессилье плачет,
Закрываясь епанчою.
Настает уж год десятый;
Злые мавры торжествуют;
А от войска дона Педра
Всего-навсего осталось
Девятнадцать человек…

— Да это галиматья! — вскричал дядя с беспокойством, — ведь это невозможное ж дело! Девятнадцать человек от всего войска осталось, когда прежде был, даже и весьма значительный, корпус! Что ж это, братец, такое?

Но тут Саша не выдержала и залилась самым откровенным и детским смехом; и хоть смешного было вовсе немного, но не было возможности, глядя на нее, тоже не засмеяться.

— Это, папочка, шуточные стихи, — вскричала она, ужасно радуясь своей детской затее, — это уж нарочно так, сам сочинитель сочинил, чтоб всем смешно было, папочка.

— А! шуточные! — вскричал дядя с просиявшим лицом, — комические то есть! То-то я смотрю… Именно, именно, шуточные! И пресмешно, чрезвычайно смешно: на молоке всю армию поморил, по обету какому-то! Очень надо было давать такие обеты! Очень остроумно — не правда ль, Фома? Это, видите, маменька, такие комические стихи, которые иногда пишут сочинители, — не правда ли, Сергей, ведь пишут? Чрезвычайно смешно! Ну, ну, Илюша, что ж дальше?

Девятнадцать человек!
Их собрал дон Педро Гомец

И сказал им: «Девятнадцать!
Разовьем свои знамена,
В трубы громкие взыграем
И, ударивши в литавры,
Прочь от Памбы мы отступим!
Хоть мы крепости не взяли,
Но поклясться можем смело
Перед совестью и честью,
Не нарушили ни разу
Нами данного обета:
Целых девять лет не ели,
Ничего не ели ровно,
Кроме только молока!

— Экой фофан![*] чем утешается, — прервал опять дядя, — что девять лет молоко пил!.. Да какая ж тут добродетель? Лучше бы по целому барану ел, да людей не морил! Прекрасно, превосходно! Вижу, вижу теперь: это сатира, или… как это там называется, аллегория, что ль? и, может быть, даже на какого-нибудь иностранного полководца, — прибавил дядя, обращаясь ко мне, значительно сдвинув брови и прищуриваясь, — а? как ты думаешь? Но только, разумеется, невинная, благородная сатира, никого не обижающая! Прекрасно! прекрасно! и, главное, благородно! Ну, Илюша, продолжай! Ах вы, шалуньи, шалуньи! — прибавил он, с чувством смотря на Сашу и украдкой на Настеньку, которая краснела и улыбалась.

Ободренные сей речью,
Девятнадцать кастильянцев,
Все, качаяся на седлах,
В голос слабо закричали:
«Санкто Яго Компостелло!
Честь и слава дону Педру!
Честь и слава Льву Кастильи!»
А каплан[*] его, Диего,
Так сказал себе сквозь зубы:
«Если б я был полководцем,
Я б обет дал есть лишь мясо,
Запивая сантуринским!»

— Ну вот! Не то же ли я говорил? — вскричал дядя, чрезвычайно

обрадовавшись. — Один только человек во всей армии благоразумный нашелся, да и тот какой-то каплан! Это кто ж такой, Сергей: капитан ихний, что ли?

— Монах, духовная особа, дядюшка.

— А, да, да! Каплан, капеллан? Знаю, помню! еще в романах Радклиф читал[*]. Там ведь у них разные ордена, что ли?.. Бенедиктинцы[*], кажется… Есть бенедиктинцы-то?..

— Есть, дядюшка.

— Гм!.. Я так и думал. Ну, Илюша, что ж дальше? Прекрасно, превосходно!

И, услышав то, дон Педро
Произнес со громким смехом:
«Подарить ему барана;
Он изрядно подшутил!..»

— Нашел время хохотать! Вот дурак-то! Самому наконец смешно стало! Барана! Стало быть, были же бараны; чего ж он сам-то не ел? Ну, Илюша, дальше! Прекрасно, превосходно! Необыкновенно колко!

— Да уж кончено, папочка!

— А! кончено! В самом деле, чего ж больше оставалось и делать, — не правда ль, Сергей? Превосходно, Илюша! Чудо как хорошо! Поцелуй меня, голубчик! Ах ты, мой милый! Да кто именно его надоумил: ты, Саша?

— Нет, это Настенька. Намедни мы читали. Она прочла, да и говорит: «Какие смешные стихи! Вот будет Илюша именинник: заставим его выучить да рассказать. То-то смеху будет!»

— Так это Настенька? Ну, благодарю, благодарю, — пробормотал дядя, вдруг весь покраснев как ребенок. — Поцелуй меня еще раз, Илюша! Поцелуй меня и ты, шалунья, — сказал он, обнимая Сашеньку и с чувством смотря ей в глаза.

— Вот подожди, Сашурка, и ты будешь именинница, — прибавил он, как будто не зная, что и сказать больше от удовольствия.

Я обратился к Настеньке и спросил ее: чьи стихи?

— Да, да! чьи стихи? — всполошился дядя. — Должно быть, умный поэт написал, — не правда ль, Фома?

— Гм!.. — промычал Фома под нос. Во всё время чтения стихов едкая, насмешливая улыбка не покидала губ его.

— Я, право, забыла, — отвечала Настенька, робко взглядывая на

Фому Фомича.

— Это господин Кузьма Прутков написал, папочка, в «Современнике» напечатано, — выскочила Сашенька.

— Кузьма Прутков! не знаю, — проговорил дядя. — Вот Пушкина так знаю!.. Впрочем, видно, что поэт с достоинствами, — не правда ль, Сергей? И, сверх того, благороднейших свойств человек — это ясно, как два пальца! Даже, может быть, из офицеров… Хвалю! А превосходный журнал «Современник»! Непременно надо подписываться, коли всё такие поэты участвуют… Люблю поэтов! славные ребята! всё в стихах изображают! Помнишь, Сергей, я видел у тебя, в Петербурге, одного литератора. Еще какой-то у него нос особенный… право!.. Что ты сказал. Фома?

Фома Фомич, которого разбирало всё более и более, громко захихикал.

— Нет, я так… ничего-с… — проговорил он, как бы с трудом удерживаясь от смеха. — Продолжайте, Егор Ильич, продолжайте! Я после мое слово скажу… Вот и Степан Алексеич с удовольствием слушает про знакомства ваши с петербургскими литераторами…

Степан Алексеевич, всё время сидевший поодаль, в задумчивости, вдруг поднял голову, покраснел и ожесточенно повернулся в кресле.

— Ты, Фома, меня не задирай, а в покое оставь! — сказал он, гневно смотря на Фому своими маленькими, налитыми кровью глазами. — Мне что твоя литература? Дай только бог мне здоровья, — пробормотал он себе под нос, — а там хоть бы всех… и с сочинителями-то… волтерьянцы, только и есть!

— Сочинители волтерьянцы-с? — проговорил Ежевикин, немедленно очутившись подле господина Бахчеева. — Совершенную правду изволили изложить, Степан Алексеич. Так и Валентин Игнатьич отзываться намедни изволили. Меня самого волтерьянцем обозвали — ей-богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с… то есть крынка молока у бабы скиснет — всё господин Вольтер виноват! Всё у нас так-с.

— Ну, нет! — заметил дядя с важностью, — это ведь заблуждение! Вольтер был только острый писатель; смеялся над предубеждениями; а вольтерьянцем никогда не бывал! Это всё про него враги распустили. За что ж, в самом деле, всё на него, бедняка?..

Снова раздалось ядовитое хихиканье Фомы Фомича Дядя с

беспокойством посмотрел на него и приметно сконфузился.

— Нет, я, видишь, Фома, всё про журналы, — проговорил он с смущением, желая как-нибудь поправиться. — Ты, брат Фома, совершенно был прав, когда, намедни, внушал, что надо подписываться. Я и сам думаю, что надо! Гм… что ж, в самом деле, просвещение распространяют! Не то, какой же будешь сын отечества, если уж на это не подписаться? не правда ль, Сергей? Гм!.. да!.. вот хоть «Современник»… Но знаешь, Сережа, самые сильные науки, по-моему, это в том в толстом журнале, как бишь его? еще в желтой обертке…

— «Отечественные записки», папочка.

— Ну да, «Отечественные записки», и превосходное название, Сергей, — не правда ли? так сказать, всё отечество сидит да записывает… Благороднейшая цель! преполезный журнал! и какой толстый! Поди-ка, издай такой дилижанс! А науки такие, что глаза изо лба чуть не выскочат… Намедни прихожу — лежит книга; взял, из любопытства, развернул да три страницы разом и отмахал. Просто, брат, рот разинул! И знаешь, обо всем толкование: что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват?* По-моему, метла так метла и есть; ухват так и есть ухват! Нет, брат, подожди! Ухват-то выходит, по-ученому, не ухват, а эмблема или мифология, что ли, какая-то, уж не помню что, а только что-то такое вышло… Вот оно как! До всего дошли!

Не знаю, что именно приготовлялся сделать Фома после этой новой выходки дяди, но в эту минуту появился Гаврила и, понурив голову, стал у порога.

Фома Фомич значительно взглянул на него.

— Готово, Гаврила? — спросил он слабым, но решительным голосом.

— Готово-с, — грустно отвечал Гаврила и вздохнул.

— И узелок мой положил на телегу?

— Положил-с.

— Ну, так и я готов! — сказал Фома и медленно приподнялся с кресла. Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокойством озиралась кругом.

— Позвольте мне теперь, полковник, — с достоинством начал Фома, — просить вас оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. Я же,

*прощаясь с вами навеки*, хотел бы вам сказать несколько последних слов…

Испуг и изумление оковали всех слушателей.

— Фома! Фома! да что это с тобою? Куда ты сбираешься? — вскричал наконец дядя.

— Я сбираюсь покинуть ваш дом, полковник, — проговорил Фома самым спокойным голосом. — Я решился идти куда глаза глядят и потому нанял на свои деньги простую, мужичью телегу. На ней теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых книг, две перемены белья — и только! Я беден, Егор Ильич, но ни за что на свете не возьму теперь вашего золота, от которого я еще и вчера отказался!..

— Но, ради бога, Фома? что ж это значит? — вскричал дядя, побледнев как платок.

Генеральша взвизгнула и в отчаянии смотрела на Фому Фомича, протянув к нему руки. Девица Перепелицына бросилась ее поддерживать. Приживалки окаменели на своих местах. Господин Бахчеев тяжело поднялся со стула.

— Ну, началась история! — прошептал подле меня Мизинчиков.

В эту минуту послышались отдаленные раскаты грома: начиналась гроза.

## IV
## Изгнание

— Вы, кажется, спрашиваете, полковник: «что это значит?» — торжественно проговорил Фома, как бы наслаждаясь всеобщим смущением. — Удивляюсь вопросу! Разъясните же мне, с своей стороны, каким образом *вы* в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту последнюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по крайней мере обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.

Но дядя не в состоянии был отвечать: он смотрел на Фому испуганный и уничтоженный, раскрыв рот, с выкатившимися глазами.

— Господи! какие страсти-с! — простонала девица Перепелицына.

— Понимаете ли, полковник, — продолжал Фома, — что вы должны отпустить меня теперь, просто и без расспросов? В вашем доме

даже я, человек пожилой и мыслящий, начинаю уже серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. Поверьте, что ни к чему не поведут расспросы, кроме вашего же посрамления.

— Фома! Фома!.. — вскричал дядя, и холодный пот показался на лбу его.

— И потому позвольте без объяснений сказать вам только несколько прощальных и напутственных слов, последних слов моих в вашем, Егор Ильич, доме. Дело сделано, и его не воротишь! Я надеюсь, что вы понимаете, про какое дело я говорю. Но умоляю вас на коленях: если в сердце вашем осталась хотя искра нравственности, обуздайте стремление страстей своих! И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то, по возможности, потушите пожар!

— Фома! уверяю тебя, что ты в заблуждении! — вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку.

— Умерьте страсти, — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто и не слыхав восклицания дяди, — побеждайте себя. «Если хочешь победить весь мир — победи себя!» Вот мое всегдашнее правило. Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях, и какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим! Я молился за вас целые ночи и трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели…

— Но это невозможно же, Фома! — снова прервал его дядя, — ты не так понял и не то совсем говоришь…

— Итак, вспомните, что вы помещик, — продолжал Фома, опять не слыхав восклицания дяди. — Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания. Пагубная мысль! Не отдых, а забота, и забота перед богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его![*]

— Что ж, я пахать за мужика, что ли, стану? — проворчал Бахчеев, — ведь и я помещик…

— К вам теперь обращаюсь, домашние, — продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, — любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек — образ божий, так

сказать, малолетный, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша!

— Фома Фомич! голубчик! что ты это задумал? — в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса.

— Ну, довольно, кажется? — закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. — Теперь о подробностях; положим, они мелки, но необходимы, Егор Ильич! В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте: скосите и скосите скорей. Таков совет мой…

— Но, Фома…

— Вы хотели, — я знаю это, рубить зыряновский участок лесу; — не рубите — другой совет мой. Сохраните леса: ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли… Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое; удивительно, как поздно сеяли вы яровое!..

— Но, Фома…

— Но, однако ж, довольно! Всего не передашь, да и не время! Я пришлю к вам наставление письменное, в особой тетрадке. Ну, прощайте, прощайте все. Бог с вами, и да благословит вас господь! Благословляю и тебя, дитя мое, — продолжал он, обращаясь к Илюше, — и да сохранит тебя бог от тлетворного яда будущих страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского!.. И вас, и всех… Помните Фому… Ну, пойдем, Гаврила! Подсади меня, старичок.

И Фома направился к дверям. Генеральша взвизгнула и бросилась за ним.

— Нет, Фома! я не пущу тебя так! — вскричал дядя и, догнав его, схватил его за руку.

— Значит, вы хотите действовать насилием? — надменно спросил Фома.

— Да, Фома… и насилием! — отвечал дядя, дрожа от волнения. Ты слишком много сказал и должен разъяснить! Ты не так прочел мое письмо, Фома!..

— Ваше письмо! — взвизгнул Фома, мгновенно воспламенясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва, — ваше письмо! Вот оно, ваше письмо! вот оно! Я рву это письмо, я плюю на это письмо! я топчу ногами своими ваше письмо и исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете меня к объяснениям! Видите! видите! видите!..

И клочки бумаги разлетелись по комнате.

— Повторяю, Фома, ты не понял! — кричал дядя, бледнея всё более и более, — я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья…

— Руку! Вы обольстили эту девицу и надуваете меня, предлагая ей руку; ибо я видел вас вчера с ней ночью в саду, под кустами!

Генеральша вскрикнула и в изнеможении упала в кресло. Поднялась ужасная суматоха. Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. Испуганная Сашенька, обхватив Илюшу, дрожала как в лихорадке.

— Фома! — вскричал дядя в исступлении. Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире!

— Я распространю эту тайну, — визжал Фома, — и сделаю наиблагороднейший из поступков! Я на то послан самим богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! Я готов взобраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем проезжающим!.. Да, знайте все, все, что вчера, ночью, я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид, в саду, под кустами!..

— Ах, какой срам-с! — пропищала девица Перепелицына.

— Фома! не губи себя! — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами.

— …А он, — визжал Фома, — он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению — да, преступлению!.. ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы сделали…

— Еще одно оскорбительное для нее слово, и — я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом!..

— Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц!

Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведшую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, что притворенные двери растворились настежь, и Фома, слетев кубарем по семи каменным ступенькам, растянулся на дворе. Разбитые стекла с дребезгом разлетелись по ступеням крыльца.

— Гаврила, подбери его! — вскричал дядя, бледный как мертвец, — посади его на телегу, и чтоб через две минуты духу его не

было в Степанчикове!

Что бы ни замышлял Фома Фомич, но уж, верно, не ожидал подобной развязки.

Не берусь описывать то, что было в первые минуты после такого пассажа. Раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, — всё это составляло картину неизобразимую. Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза; удары грома слышались чаще и чаще, и крупный дождь застучал в окна.

— Вот-те и праздничек! — пробормотал господин Бахчеев, нагнув голову и растопырив руки.

— Дело худо! — шепнул я ему, тоже вне себя от волнения, — но, по крайней мере, прогнали Фомича и уж не воротят.

— Маменька! опомнились ли вы? легче ли вам? можете ли вы наконец меня выслушать? — спросил дядя, остановясь перед креслом старухи.

Та подняла голову, сложила руки и с умоляющим видом смотрела на сына, которого еще никогда в жизни не видала в таком гневе.

— Маменька! — продолжал он, — чаша переполнена, вы сами видели. Не так хотел я изложить это дело, но час пробил, и откладывать нечего! Вы слышали клевету, выслушайте же и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу, люблю давно и не разлюблю никогда. Она осчастливит детей моих и будет для вас самой почтительной дочерью, и потому теперь, при вас, в присутствии родных и друзей моих, я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись быть моею женою!

Настенька вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла. Генеральша некоторое время смотрела на сына, как будто не понимая, что такое он ей говорит, и вдруг с пронзительным воплем бросилась перед ним на колени.

— Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фому Фомича! — закричала

она, — сейчас вороти! не то я к вечеру же помру без него!

Дядя остолбенел, видя старуху мать, своевольную и капризную, перед собой на коленях. Болезненное ощущение отразилось в лице его; наконец опомнившись, бросился он подымать ее и усаживать опять в кресло.

— Вороти Фому Фомича, Егорушка! — продолжала вопить старуха, — вороти его, голубчика! Жить без него не могу!

— Маменька! — горестно вскричал дядя, — или вы ничего не слышали из того, что я вам сейчас говорил? Я не могу воротить Фому — поймите это! не могу и не вправе, после его низкой и подлейшей клеветы на этого ангела чести и добродетели. Понимаете ли вы, маменька, что я обязан, что честь моя повелевает мне теперь восстановить добродетель! Вы слышали: я ищу руки этой девицы и умоляю вас, чтоб вы благословили союз наш.

Генеральша опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой.

— Матушка моя! родная ты моя! — завизжала она, — не выходи за него замуж! не выходи за него, а упроси его, матушка, чтоб воротил Фому Фомича! Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! всё тебе отдам, всем тебе пожертвую, коли за него не выйдешь. Я еще не всё, старуха, прожила, у меня еще остались крохи после моего покойничка. Всё твое, матушка, всем тебя одарю, да и Егорушка тебя одарит, только не клади меня живую во гроб, упроси Фому Фомича воротить!..

И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой. Настенька едва устояла на месте от испуга, а Перепелицына даже заплакала от злости.

— Смертью уморите вы маменьку-с, — кричала она дяде, — смертью уморят-с! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменьку-с с ихним сыном-с; это и господь бог запрещает-с…

— Анна Ниловна, удержите язык! — вскричал дядя. — Я довольно терпел!..

— Да и я довольно от вас натерпелась-с. Что вы сиротством моим меня попрекаете-с? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша раба-с! Я сама подполковничья дочь-с! Ноги моей не будет-с в вашем доме, не будет-с… сегодня же-с!..

Но дядя не слушал: он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку.

— Настасья Евграфовна! вы слышали мое предложение? — проговорил он, смотря на нее с тоскою, почти с отчаянием.

— Нет, Егор Ильич, нет! уж оставим лучше, — отвечала Настенька, в свою очередь совершенно упав духом. — Это всё пустое, — продолжала она, сжимая его руки и заливаясь слезами. — Это вы после вчерашнего так… но не может этого быть, вы сами видите. Мы ошиблись, Егор Ильич… А я о вас всегда буду помнить, как о моем благодетеле и… и вечно, вечно буду молиться за вас!..

Тут слезы прервали ее голос. Бедный дядя, очевидно, предчувствовал этот ответ; он даже и не думал возражать, настаивать… Он слушал, наклонясь к ней, всё еще держа ее за руку, безмолвный и убитый. Слезы показались в глазах его.

— Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашей женою. Вы видите: меня не хотят у вас… а я всё это давно, уж заранее предчувствовала; маменька ваша не даст нам благословения… *другие* тоже. Вы сами, хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня… с вашим добрым характером…

— Именно с *добрым характером-с*! именно *добренькие-с*! так, Настенька, так! — поддакнул старик отец, стоявший по другую сторону кресла, — именно, вот это-то вот словечко и надо было упомянуть-с.

— Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме, — продолжала Настенька. — А обо мне не беспокойтесь, Егор Ильич: меня никто не тронет, никто не обидит… я пойду к папеньке… сегодня же… Лучше уж простимся, Егор Ильич…

И бедная Настенька опять залилась слезами.

— Настасья Евграфовна! неужели это последнее ваше слово? — проговорил дядя, смотря на нее с невыразимым отчаянием. — Скажите одно только слово — и я жертвую вам всем!..

— Последнее, последнее, Егор Ильич-с, — подхватил опять Ежевикин, — и она вам так хорошо это всё объяснила, что я даже, признаться, и не ожидал-с. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич, именно наидобрейший-с, и чести нам много изволили оказать-с! много чести, много чести-с!.. А все-таки мы вам не пара, Егор Ильич. Вам нужно такую невесту, Егор Ильич-с, чтоб была и богатая, и знатная-с, и

раскрасавица-с, и с голосом тоже была бы-с, и чтоб вся в брильянтах да в страусовых перьях по комнатам вашим ходила-с… Тогда и Фома Фомич, может, уступочку сделают-с… и благословят-с! А Фому-то Фомича вы воротите-с. Напрасно, напрасно изволили его так изобидеть-с! он ведь из добродетели, от излишнего жару-с так наговорил-с… Сами будете потом говорить-с, что из добродетели, — увидите-с! Наидостойнейший человек-с. А вот теперь перемокнет-с… Уж лучше бы теперь воротить-с… потому что ведь придется же воротить-с…

— Вороти! вороти его! — закричала генеральша, — он, голубчик мой, правду тебе говорит!..

— Да-с, — продолжал Ежевикин, — вот и родительница ваша убиваться изволят — понапрасну-с… Воротите-ка-с! А мы уж с Настей тем временем и в поход-с…

— Подожди, Евграф Ларионыч! — вскричал дядя, — умоляю! Еще одно слово будет, Евграф, одно только слово…

Сказав это, он отошел, сел в углу, в кресло, склонил голову и закрыл руками глаза, как будто что-то обдумывая.

В эту минуту страшный удар грома разразился чуть не над самым домом. Всё здание потряслось. Генеральша закричала, Перепелицына тоже, приживалки крестились, оглупев от страха, а вместе с ними и господин Бахчеев.

— Батюшка, Илья-пророк! — прошептали пять или шесть голосов, все вместе, разом.

Вслед за громом полился такой страшный ливень, что, казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым.

— А Фома-то Фомич, что с ним теперь в поле-то будет-с? — пропищала девица Перепелицына.

— Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и, как безумная, бросилась к дверям. Ее удержали приживалки; они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был ужаснейший!

— В одном сюртуке пошли-с: хоть бы шинельку-то взяли с собой-с! — продолжала Перепелицына. — Зонтика тоже не взяли-с. Убьет их теперь молоньёй-то-с!..

— Непременно убьет! — подхватил Бахчеев, — да еще и дождем потом смочит.

— Хоть бы вы-то молчали! — прошептал я ему.

— Да ведь он человек али нет? — гневно отвечал мне Бахчеев. — Ведь не собака. Небось сам-то не выйдешь на улицу. Ну-тка, поди, покупайся, для плезиру.

Предчувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле.

— Дядюшка, — сказал я, наклоняясь к его уху, — неужели вы согласитесь воротить Фому Фомича? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере покамест здесь Настасья Евграфовна.

— Друг мой, — отвечал дядя, подняв голову и с решительным видом смотря мне в глаза, — я судил себя в эту минуту и теперь знаю, что должен делать! Не беспокойся, обиды Насте не будет — я так устрою…

Он встал со стула и подошел к матери.

— Маменька! — сказал он, — успокойтесь: я ворочу Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет сознаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. Я достигну этого! Я его заставлю!.. Иначе он не перейдет через порог этого дома! Клянусь вам тоже, маменька, торжественно: если он согласится на это сам, добровольно, то я готов буду броситься к ногам его и отдам ему всё, всё, что могу отдать, не обижая детей моих! Сам же я, с сего же дня, от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моего счастья! Я оставляю Степанчиково. Живите здесь все покойно и счастливо. Я же еду в полк — и в бурях брани, на поле битвы, проведу отчаянную судьбу мою… Довольно! еду!

В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед смятенною публикой.

— Что с тобой? откуда? Где Фома? — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле.

За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы.

— У березняка оставил, версты полторы отсюдова, — начал он плачевным голосом. — Лошадь молоньи испужалась и в канаву бросилась.

— Ну… — вскричал дядя.

— Телега перевалилась…

— Ну… а Фома?

— В канаву упали-с.

— Да ну же, досказывай, истязатель!

— Бок отшибли-с и заплакали-с. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить-с.

— А Фома там остался?

— Встал и пошел себе дальше с палочкой, — заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.

Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы.

— Полкана! — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки.

Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца-с «с утра в рот не брали-с и что они теперь натощак-с». Девица Перепелицына нашла забытые им очки, в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект: генеральша бросилась на них с воплями и слезами и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло наконец до самой последней степени напряжения… В другом углу Сашенька утешала Настю: они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь с своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему.

— Нет, батюшка, — сказал он мне, — Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда, да время еще тому не пришло: золоторогих быков еще под экипаж ему не достали! Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется!

Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения.

Вдруг раздалось: «Ведут! ведут!» — и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще десяти минут после отъезда дяди: казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича; но загадка

объяснилась потом очень просто: Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно «пошел себе с палочкой»; но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, поворотил в Степанчиково и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу; сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб переменить белье; кричали о бузине и о других крепительных средствах, метались во все стороны без всякого толку; говорили все зараз… Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его ввели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает: поднялся ужаснейший вой; но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку…

## V
## Фома Фомич созидает всеобщее счастье

— Куда это меня привели? — проговорил наконец Фома голосом умирающего за правду человека.

— Проклятая размазня! — прошептал подле меня Мизинчиков, — точно не видит, куда его привели. Вот ломаться-то теперь будет!

— Ты у нас, Фома, ты в кругу своих! — вскричал дядя. — Ободрись, успокойся! И, право, переменил бы ты теперь костюм, Фома, а то заболеешь… Да не хочешь ли подкрепиться — а? так, эдак… рюмочку маленькую чего-нибудь, чтоб согреться…

— Малаги бы я выпил теперь, — простонал Фома, снова закрывая глаза.

— Малаги? навряд ли у нас и есть! — сказал дядя, с беспокойством смотря на Прасковью Ильиничну.

— Как не быть! — подхватила Прасковья Ильинична, — целые четыре бутылки остались, — и тотчас же, гремя ключами, побежала за малагой, напутствуемая криками всех дам, облепивших Фому, как мухи

варенье. Зато господин Бахчеев был в самой последней степени негодования.

— Малаги захотел! — проворчал он чуть не вслух. — И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну, кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца? Тьфу, вы, проклятые! Ну, я-то чего тут стою? чего я-то тут жду?

— Фома! — начал дядя, сбиваясь на каждом слове, — вот теперь… когда ты отдохнул и опять вместе с нами… то есть, я хотел сказать, Фома, что понимаю, как давеча, обвинив, так сказать, невиннейшее создание…

— Где, где она, моя невинность? — подхватил Фома, как будто был в жару и в бреду, — где золотые дни мои? где ты, мое золотое детство, когда я, невинный и прекрасный, бегал по полям за весенней бабочкой? где, где это время? Воротите мне мою невинность, воротите ее!..

И Фома, растопырив руки, обращался ко всем поочередно, как будто невинность его была у кого-нибудь из нас в кармане. Бахчеев готов был лопнуть от гнева.

— Эк чего захотел! — проворчал он с яростью. — Подайте ему его невинность! Целоваться, что ли, он с ней хочет? Может, и мальчишкой-то был уже таким же разбойником, как и теперь! присягну, что был.

— Фома!.. — начал было опять дядя.

— Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? — кричал Фома, — когда я обнимался с человеком и плакал на груди его? а теперь — где я? где я?

— Ты у нас, Фома, успокойся! — крикнул дядя, — а я вот что хотел тебе сказать, Фома…

— Хоть бы вы-то уж теперь помолчали-с, — прошипела Перепелицына, злобно сверкнув своими змеиными глазками.

— Где я? — продолжал Фома, — кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на меня рога свои. Жизнь, что же ты такое? Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом!

— Батюшки, о монументах заговорил! — прошептал Ежевикин, сплеснув руками.

— О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне

монумент[*], а более ничего не надо, не надо, не надо!

— Фома! — прервал дядя, — полно! успокойся! нечего говорить о монументах. Ты только выслушай… Видишь, Фома, я понимаю, что ты, может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели — уверяю тебя, ты ошибся, Фома…

— Да перестанете ли вы-с? — запищала опять Перепелицына, — убить, что ли, вы несчастного человека хотите-с, потому что они в ваших руках-с?..

Вслед за Перепелицыной встрепенулась и генеральша, а за ней и вся ее свита; все замахали на дядю руками, чтоб он остановился.

— Анна Ниловна, молчите вы сами, а я знаю, что говорю! — с твердостью отвечал дядя. — Это дело святое! дело чести и справедливости. Фома! ты рассудителен, ты должен сей же час испросить прощение у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.

— У какой девицы? какую девицу я оскорбил? — проговорил Фома, в недоумении обводя всех глазами, как будто совершенно забыв всё происшедшее и не понимая, о чем идет дело.

— Да, Фома, и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам твоим, и тогда…

— Кого же это я оскорбил? — вопил Фома, — какую девицу? Где она? где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице!..

В эту минуту Настенька, смущенная и испуганная, подошла к Егору Ильичу и дернула его за рукав.

— Нет, Егор Ильич, оставьте его, не надо извинений! к чему это всё? — говорила она умоляющим голосом. — Бросьте это!..

— А! теперь я припоминаю! — вскричал Фома. — Боже! я припоминаю! О, помогите, помогите мне припоминать! — просил он, по-видимому, в ужасном волнении. — Скажите: правда ли, что меня изгнали отсюда, как шелудивейшую из собак? Правда ли, что молния поразила меня? Правда ли, что меня вышвырнули отсюда с крыльца? Правда ли, правда ли это?

Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом Фоме Фомичу.

— Так, так! — твердил он, — я припоминаю… я припоминаю теперь, что после молнии и падения моего я бежал сюда, преследуемый

громом, чтоб исполнить свой долг и исчезнуть навеки! Приподымите меня! Как ни слаб я теперь, но должен исполнить свою обязанность.

Его тотчас приподняли с кресла. Фома стал в положение оратора и протянул свою руку.

— Полковник! — вскричал он, — теперь я очнулся совсем; гром еще не убил во мне умственных способностей; осталась, правда, глухота в правом ухе, происшедшая, может быть, не столько от грома, сколько от падения с крыльца… Но что до этого! И какое кому дело до правого уха Фомы!

Последним словам своим Фома придал столько печальной иронии и сопровождал их такою жалобною улыбкою, что стоны тронутых дам раздались снова. Все они с укором, а иные с яростью смотрели на дядю, уже начинавшего понемногу уничтожаться перед таким согласным выражением всеобщего мнения. Мизинчиков плюнул и отошел к окну. Бахчеев всё сильнее и сильнее подталкивал меня локтем; он едва стоял наместе.

— Теперь слушайте жевсе мою исповедь! — возопил Фома, обводя всех гордым и решительным взглядом, — а вместе с тем и решите судьбу несчастного Опискина. Егор Ильич! давно уже я наблюдал за вами, наблюдал с замиранием моего сердца и видел всё, всё, тогда как вы еще и не подозревали, что я наблюдаю **за**вами. Полковник! я, может быть, ошибался, но я знал ваш эгоизм, ваше неограниченное самолюбие, ваше феноменальное сластолюбие, и кто обвинит меня, что я поневоле затрепетал о чести наиневиннейшей из особ?

— Фома, Фома!.. ты, впрочем, не очень распространяйся, Фома! — вскричал дядя, с беспокойством смотря на страдальческое выражение в лице Настеньки.

— Не столько невинность и доверчивость этой особы, сколько ее неопытность смущала меня, — продолжал Фома, как будто и не слыхав предостережения дяди. — Я видел, что нежное чувство расцветает в ее сердце, как вешняя роза, и невольно припоминал Петрарку, сказавшего, что «невинность так часто бывает на волосок от погибели». Я вздыхал, стонал, и хотя за эту девицу, чистую, как жемчужина, я готов был отдать всю кровь мою на поруки, но кто мог мне поручиться за вас, Егор Ильич? Зная необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвовать для минутного их удовлетворения, я вдруг погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы

наиблагороднейшей из девиц…

— Фома! неужели ты мог это подумать? — вскричал дядя.

— С замиранием моего сердца я следил за вами. Если хотите узнать о том, как я страдал, спросите у Шекспира: он расскажет вам в своем «Гамлете» о состоянии души моей. Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании моем я видел всё в черном цвете, и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе*, — будьте уверены! Оттого-то и видели вы мое тогдашнее желание удалить *ее* из этого дома: я хотел спасти ее; оттого-то и видели вы меня во всё последнее время раздражительным и злобствующим на весь род человеческий. О! кто примирит меня теперь с человечеством? Чувствую, что я, может быть, был взыскателен и несправедлив к гостям вашим, к племяннику вашему, к господину Бахчееву, требуя от него астрономии; но кто обвинит меня за тогдашнее состояние души моей? Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил*. Я чувствовал, что моя обязанность предупредить несчастие, что я поставлен, что я произведен для этого, — и что же? вы не поняли наиблагороднейших побуждений души моей и платили мне во всё это время злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями…

— Фома! если так… конечно, я чувствую… — вскричал дядя в чрезвычайном волнении.

— Если вы действительно чувствуете, полковник, то благоволите дослушать, а не прерывать меня. Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о судьбе и счастье этого дитяти; ибо она еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. И знаете ли, Егор Ильич, что все поступки ваши, как нарочно, поминутно подтверждали мою мнительность и удостоверяли меня во всех подозрениях моих? Знаете ли, что вчера, когда вы осыпали меня своим золотом, чтоб удалить меня от себя, я подумал: «Он удаляет от себя в лице моем свою совесть, чтоб удобнее совершить преступление…»

— Фома, Фома! неужели ты это думал вчера? — с ужасом вскричал дядя. — Господи боже, а я-то ничего и не подозревал!

— Само небо внушило мне эти подозрения, — продолжал Фома. — И решите сами, что мог я подумать, когда слепой случай привел меня в

тот же вечер к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я в эту минуту — о боже! — увидев наконец собственными своими глазами, что все подозрения мои оправдались вдруг самым блистательным образом? Но мне еще оставалась одна надежда, слабая, конечно, но всё же надежда — и что же? Сегодня утром вы разрушаете ее сами в прах и в обломки! Вы присылаете мне письмо ваше; вы выставляете намерение жениться; умоляете не разглашать… «Но почему же, — подумал я, — почему же он написал именно теперь, когда уже я застал его, а не прежде? Почему же прежде он не прибежал ко мне, счастливый и прекрасный — ибо любовь украшает лицо, — почему не бросился он тогда в мои объятия, не заплакал на груди моей слезами беспредельного счастья и не поведал мне всего, всего?» Или я крокодил, который бы только сожрал вас, а не дал бы вам полезного совета? Или я какой-нибудь отвратительный жук, который бы только укусил вас, а не способствовал вашему счастью? «Друг ли я его или самое гнуснейшее из насекомых?» — вот вопрос, который я задал себе нынче утром! «Для чего, наконец, — думал я, — для чего же выписывал он из столицы своего племянника и сватал его к этой девице, как не для того, чтоб обмануть и нас, и *легкомысленного* племянника, а между тем втайне продолжать преступнейшее из намерений?» Нет, полковник, если кто утвердил во мне мысль, что взаимная любовь ваша преступна, то это вы сами, и одни только вы! Мало того, вы преступник и перед этой девицей, ибо ее, чистую и благонравную, через вашу же неловкость и эгоистическую недоверчивость вы подвергли клевете и тяжким подозрениям!

Дядя молчал, склонив голову: красноречие Фомы, видимо, одержало верх над всеми его возражениями, и он уже сознавал себя полным преступником. Генеральша и ее общество молча и с благоговением слушали Фому, а Перепелицына с злобным торжеством смотрела на бедную Настеньку.

— Пораженный, раздраженный, убитый, — продолжал Фома, — я заперся сегодня на ключ и молился, да внушит мне бог правые мысли! Наконец положил я: в последний раз и публично испытать вас. Я, может быть, слишком горячо принялся, может быть, слишком предался моему негодованию; но за благороднейшие побуждения мои вы вышвырнули меня из окошка! Падая из окошка, я думал про себя: «Вот так-то всегда на свете вознаграждается добродетель!» Тут я ударился оземь и затем

едва помню, что со мною дальше случилось!

Визги и стоны прервали Фому Фомича при этом трагическом воспоминании. Генеральша бросилась было к нему с бутылкой малаги в руках, которую она только что перед этим вырвала из рук воротившейся Прасковьи Ильиничны, но Фома величественно отвел рукой и малагу, и генеральшу.

— Остановитесь! — вскричал он, — мне надо кончить. Что случилось после моего падения — не знаю. Знаю только одно, что теперь, мокрый и готовый схватить лихорадку, я стою здесь, чтоб составить ваше обоюдное счастье. Полковник! по многим признакам, которых я не хочу теперь объяснять, я уверился наконец, что любовь ваша была чиста и даже возвышенна, хотя вместе с тем и преступно недоверчива. Избитый, униженный, подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, как рыцарь средних веков, готов был пролить до капли всю кровь мою, — я решаюсь теперь показать вам, как мстит за свои обиды Фома Опискин. Протяните мне вашу руку, полковник!

— С удовольствием, Фома! — вскричал дядя, — и так как ты вполне объяснился теперь о чести благороднейшей особы, то… разумеется… вот тебе рука моя, Фома, вместе с моим раскаянием…

И дядя с жаром подал ему руку, не подозревая еще, что из этого выйдет.

— Дайте и вы мне вашу руку, — продолжал Фома, слабым голосом, раздвигая дамскую сбившуюся около него толпу и обращаясь к Настеньке.

Настенька смутилась, смешалась и робко смотрела на Фому.

— Подойдите, подойдите, милое мое дитя! Это необходимо для вашего счастья, — ласково прибавил Фома, всё еще продолжая держать руку дяди в своих руках.

— Что это он затевает? — проговорил Мизинчиков.

Настя, испуганная и дрожащая, медленно подошла к Фоме и робко протянула ему свою ручку.

Фома взял эту ручку и положил ее в руку дяди.

— Соединяю и благословляю вас, — произнес он самым торжественным голосом, — и если благословение убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! Урра!

Всеобщее изумление было беспредельно. Развязка была так неожиданна, что на всех нашел какой-то столбняк. Генеральша как была, так и осталась с разинутым ртом и с бутылкой малаги в руках. Перепелицына побледнела и затряслась от ярости. Приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах. Дядя задрожал и хотел что-то проговорить, но не мог. Настя побледнела, как мертвая, и робко проговорила, что «это нельзя»… — но уже было поздно. Бахчеев первый — надо отдать ему справедливость — подхватил «ура» Фомы Фомича, за ним я, за мною, во весь свой звонкий голосок, Сашенька, тут же бросившаяся обнимать отца; потом Илюша, потом Ежевикин; после всех уж Мизинчиков.

— Ура! — крикнул другой раз Фома, — урра! И на колени, дети моего сердца, на колени перед нежнейшею из матерей! Просите ее благословения, и, если надо, я сам преклоню перед нею колени, вместе с вами…

Дядя и Настя, еще не взглянув друг на друга, испуганные и, кажется, не понимавшие, что с ними делается, упали на колени перед генеральшей; все столпились около них; но старуха стояла как будто ошеломленная, совершенно не понимая, как ей поступить. Фома помог и этому обстоятельству: он сам повергся перед своей покровительницей. Это разом уничтожило все ее недоумения. Заливаясь слезами, она проговорила наконец, что согласна. Дядя вскочил и стиснул Фому в объятиях.

— Фома, Фома!.. — проговорил он, но голос его осекся, и он не мог продолжать.

— Шампанского! — заревел Степан Алексеевич. — Урра!

— Нет-с, не шампанского-с, — подхватила Перепелицына, которая уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а вместе с тем и последствия, — а свечку богу зажечь-с, образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с…

Тотчас же все бросились исполнять благоразумный совет; поднялась ужасная суетня. Надо было засветить свечу. Степан Алексеевич подставил стул и полез приставлять свечу к образу, но тотчас же подломил стул и тяжело соскочил на пол, удержавшись, впрочем, на ногах. Нисколько не рассердившись, он тут же с почтением уступил место Перепелицыной. Тоненькая Перепелицына мигом

обделала дело: свеча зажглась. Монашенка и приживалки начали креститься и класть земные поклоны. Сняли образ Спасителя и поднесли генеральше. Дядя и Настя снова стали на колени, и церемония совершилась при набожных наставлениях Перепелицыной, поминутно приговаривавшей: «В ножки-то поклонитесь, к образу-то приложитесь, ручку-то у мамаши поцелуйте-с!» После жениха и невесты к образу почел себя обязанным приложиться и господин Бахчеев, причем тоже поцеловал у матушки-генеральши ручку. Он был в восторге неописанном.

— Урра! — закричал он снова. — Вот теперь так уж выпьем шампанского!

Впрочем, и все были в восторге. Генеральша плакала, но теперь уж слезами радости: союз, благословленный Фомою, тотчас же сделался в глазах ее и приличным и священным, — а главное, она чувствовала, что Фома Фомич отличился и что теперь уж останется с нею на веки веков. Все приживалки, по крайней мере с виду, разделяли всеобщий восторг. Дядя то становился перед матерью на колени и целовал ее руки, то бросался обнимать меня, Бахчеева, Мизинчикова и Ежевикина. Илюшу он чуть было не задушил в своих объятиях. Саша бросилась обнимать и целовать Настеньку, Прасковья Ильинична обливалась слезами. Господин Бахчеев, заметив это, подошел к ней — к ручке. Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним платком. В другом углу хныкал Гаврила и с благоговением смотрел на Фому Фомича, а Фалалей рыдал во весь голос, подходил ко всем и тоже целовал у всех руки. Все были подавлены чувством. Никто еще не начинал говорить, никто не объяснялся; казалось, всё уже было сказано; раздавались только радостные восклицания. Никто не понимал еще, как это всё вдруг так скоро и просто устроилось. Знали только одно, что всё это сделал Фома Фомич и что это факт насущный и непреложный.

Но еще и пяти минут не прошло после всеобщего счастья, как вдруг между нами явилась Татьяна Ивановна. Каким образом, каким чутьем могла она так скоро, сидя у себя наверху, узнать про любовь и про свадьбу? Она впорхнула с сияющим лицом, со слезами радости на глазах, в обольстительно изящном туалете (наверху она-таки успела переодеться) и прямо, с громкими криками, бросилась обнимать Настеньку.

— Настенька, Настенька! ты любила его, а я и не знала, — вскричала она. — Боже! они любили друг друга, они страдали в тишине, втайне! их преследовали! Какой роман! Настя, голубчик мой, скажи мне всю правду: неужели ты в самом деле любишь этого безумца?

Вместо ответа Настя обняла ее и поцеловала.

— Боже, какой очаровательный роман! — и Татьяна Ивановна захлопала от восторга в ладоши. — Слушай, Настя, слушай, ангел мой: все эти мужчины, все до единого — неблагодарные, изверги и не стоят нашей любви. Но, может быть, он лучший из них. Подойди ко мне, безумец! — вскричала она, обращаясь к дяде и хватая его за руку, — неужели ты влюблен? неужели ты способен любить? Смотри на меня: я хочу посмотреть тебе в глаза; я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет? Нет, нет, они не лгут: в них сияет любовь. О, как я счастлива! Настенька, друг мой, послушай, ты не богата: я подарю тебе тридцать тысяч. Возьми, ради бога! Мне не надо, не надо; мне еще много останется. Нет, нет, нет, нет! — закричала она и замахала руками, увидя, что Настя хочет отказываться. — Молчите и вы, Егор Ильич, это не ваше дело. Нет, Настя, я уж так положила — тебе подарить; я давно хотела тебе подарить и только дожидалась первой любви твоей… Я буду смотреть на ваше счастье. Ты обидишь меня, если не возьмешь; я буду плакать, Настя… Нет, нет, нет и нет!

Татьяна Ивановна была в таком восторге, что в эту минуту, по крайней мере, невозможно, даже жаль было ей возражать. На это и не решились, а отложили до другого времени. Она бросилась целовать генеральшу, Перепелицыну — всех нас. Бахчеев почтительнейшим образом протеснился к ней и попросил и у ней ручку.

— Матушка ты моя! голубушка ты моя! прости ты меня, дурака, за давешнее: не знал я твоего золотого сердечка!

— Безумец! я давно тебя знаю, — с восторженною игривостью пролепетала Татьяна Ивановна, ударила Степана Алексеевича по носу перчаткой и порхнула от него, как зефир, задев его своим пышным платьем. Толстяк почтительно посторонился.

— Достойнейшая девица! — проговорил он с умилением. — А нос-то немцу ведь подклеили! — шепнул он мне конфиденциально, радостно смотря мне в глаза.

— Какой нос? какому немцу? — спросил я в удивлении.

— А вот выписному-то, что ручку-то у своей немки целует, а та

слезу платком вытирает. Евдоким у меня починил вчера еще; а давеча, как воротились с погони, я и послал верхового… Скоро привезут. Превосходная вещь!

— Фома! — вскричал дядя, в исступленном восторге, — ты виновник нашего счастья! Чем могу я воздать тебе?

— Ничем, полковник, — отвечал Фома с постной миной. — *Продолжайте не обращать на меня внимания* и будьте счастливы без Фомы.

Он был, очевидно, пикирован: среди всеобщих излияний о нем как будто и забыли.

— Это всё от восторга, Фома! — вскричал дядя. — Я, брат, уж и не помню, где и стою. Слушай, Фома: я обидел тебя. Всей жизни моей, всей крови моей недостанет, чтоб удовлетворить твою обиду, и потому я молчу, даже не извиняюсь. Но если когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, то повелевай и увидишь… Я больше ничего не скажу, Фома.

И дядя махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что б сильнее могло выразить его мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами.

— Вот они какие ангелы-с! — пропищала, в свою очередь, в похвалу Фоме девица Перепелицына.

— Да, да! — подхватила Сашенька, — я и не знала, что вы такой хороший человек, Фома Фомич, и была к вам непочтительна. А вы простите меня, Фома Фомич, и уж будьте уверены, что я буду вас всем сердцем любить. Если б вы знали, как я теперь вас почитаю!

— Да, Фома! — подхватил Бахчеев, — прости и ты меня, дурака! не знал я тебя, не знал! Ты, Фома Фомич, не только ученый, но и — просто герой! Весь дом мой к твоим услугам. А лучше всего приезжай-ка, брат, ко мне послезавтра, да уж и с матушкой-генеральшей, да уж и с женихом и невестой, — да чего тут! всем домом ко мне! то есть вот как пообедаем, — заранее не похвалюсь, а одно скажу: только птичьего молока для вас не достану! Великое слово даю!

Среди этих излияний подошла к Фоме Фомичу и Настенька и, без дальних слов, крепко обняла его и поцеловала.

— Фома Фомич! — сказала она, — вы наш благодетель; вы столько для нас сделали, что я и не знаю, чем вам заплатить за всё это, а только знаю, что буду для вас самой нежной, самой почтительной сестрой…

Она не могла договорить: слезы заглушили слова ее. Фома поцеловал ее в голову и сам прослезился.

— Дети мои, дети моего сердца! — сказал он. — Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли[*]. Изгнание есть несчастье! Скитальцем пойду я теперь по земле с моим посохом, и кто знает? может быть, через несчастья мои я стану еще добродетельнее! Эта мысль — единственное оставшееся мне утешение!

— Но… куда же ты уйдешь, Фома? — в испуге вскричал дядя.

Все вздрогнули и устремились к Фоме.

— Но разве я могу оставаться в вашем доме после давешнего вашего поступка, полковник? — спросил Фома с необыкновенным достоинством.

Но ему не дали говорить: общие крики заглушили слова его. Его усадили в кресло; его упрашивали, его оплакивали, и уж не знаю, что еще с ним делали. Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не было, как не было и вчера, как не было и тогда, когда он копал в огороде. Он знал, что теперь его набожно остановят, уцепятся за него, особенно когда он всех осчастливил, когда все в него снова уверовали, когда все готовы были носить его на руках и почитать это за честь и за счастье. Но, вероятно, давешнее, малодушное его возвращение, когда он испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь погеройствовать; а главное — предстоял такой соблазн поломаться; можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не было никакой возможности противиться искушению. Он и не противился; он вырывался от непускавших его; он требовал своего посоха, молил, чтоб отдали ему его свободу, чтоб отпустили его на все четыре стороны; что он в «этом доме» был обесчещен, избит; что он воротился для того, чтоб составить всеобщее счастье; что может ли он, наконец, оставаться в «доме неблагодарности и есть щи, хотя и сытные, но приправленные побоями»? Наконец он перестал вырываться. Его снова усадили в кресло; но красноречие его не прерывалось.

— Разве не обижали меня здесь? — кричал он, — разве не дразнили меня здесь языком? разве вы, вы сами, полковник, подобно

невежественным детям мещан на городских улицах, не показывали мне ежечасно шиши и кукиши? Да, полковник! я стою за это сравнение, потому что если вы и не показывали мне их физически, то, всё равно, это были нравственные кукиши; а нравственные кукиши, в иных случаях, даже обиднее физических. Я уже не говорю о побоях…

— Фома, Фома! — вскричал дядя, — не убивай меня этим воспоминанием! Я уж говорил тебе, что всей крови моей недостаточно, чтоб омыть эту обиду. Будь же великодушен! забудь, прости и останься созерцать наше счастье! Твои плоды, Фома!..

— …Я хочу любить, любить человека, — кричал Фома, — а мне не дают человека, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его! Где этот человек? куда спрятался этот человек? Как Диоген с фонарем, ищу я его* всю жизнь и не могу найти, и не могу никого любить, доколе не найду этого человека. Горе тому, кто сделал меня человеконенавистником! Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если б даже хотел? Нет; почему нет? Потому что он Фалалей. Почему я не люблю человечества? Потому что всё, что ни есть на свете, — Фалалей или похоже на Фалалея!* Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, чем Фалалея! Поди, поди сюда, мой всегдашний истязатель, поди сюда! — закричал он, вдруг обратившись к Фалалею, самым невиннейшим образом выглядывавшему на цыпочках из-за толпы, окружавшей Фому Фомича, — поди сюда! Я докажу вам, полковник, — кричал Фома, притягивая к себе рукой Фалалея, обеспамятевшего от страха, — я докажу вам справедливость слов моих о всегдашних насмешках и кукишах! Скажи, Фалалей, и скажи правду: что видел ты во сне сегодняшнюю ночь? Вот увидите, полковник, увидите ваши плоды! Ну, Фалалей, говори!

Бедный мальчик, дрожавший от страха, обводил кругом отчаянный взгляд, ища хоть в ком-нибудь своего спасения; но все только трепетали и с ужасом ждали его ответа.

— Ну же, Фалалей, я жду!

Вместо ответа Фалалей сморщил лицо, растянул свой рот и заревел, как теленок.

— Полковник! видите ли это упорство? Неужели оно натуральное? В последний раз обращаюсь к тебе, Фалалей, скажи: какой сон ты видел сегодня?

— Про…

— Скажи, что меня видел, — подсказывал Бахчеев.

— Про ваши добродетели-с! — подсказал на другое ухо Ежевикин.

Фалалей только оглядывался.

— Про… про ваши доб… про белого бы-ка! — промычал он наконец и залился горючими слезами.

Все ахнули. Но Фома Фомич был в припадке необыкновенного великодушия.

— По крайней мере, я вижу твою искренность, Фалалей, — сказал он, — искренность, которой не замечаю в других. Бог с тобою! Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то бог воздаст и тебе и другим. Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из созданий, как ты, я привык различать образ и подобие божие… Я прощаю тебя, Фалалей! Дети мои, обнимите меня, я остаюсь!..

«Остается!» — вскричали все с восторгом.

— Остаюсь и прощаю. Полковник, наградите Фалалея сахаром: пусть не плачет он в такой день всеобщего счастья.

Разумеется, такое великодушие нашли изумительным. *Так* заботиться, в *такую* минуту и — о ком же? о Фалалее! Дядя бросился исполнять приказание о сахаре. Тотчас же, бог знает откуда, в руках Прасковьи Ильиничны явилась серебряная сахарница. Дядя вынул было дрожавшею рукою два куска, потом три, потом уронил их, наконец видя, что ничего не в состоянии сделать от волнения:

— Э! — вскричал он, — уж для такого дня! Держи, Фалалей! — и высыпал ему за пазуху всю сахарницу.

— Это тебе за искренность, — прибавил он, в виде нравоучения.

— Господин Коровкин, — доложил вдруг появившийся в дверях Видоплясов.

Произошла маленькая суета. Посещение Коровкина было, очевидно, некстати. Все вопросительно посмотрели на дядю.

— Коровкин! — вскричал дядя в некотором замешательстве. — Конечно, я рад… — прибавил он, робко взглядывая на Фому, — но уж, право, не знаю, просить ли его теперь — в такую минуту. Как ты

думаешь, Фома?

— Ничего, ничего! — благосклонно проговорил Фома, — пригласите и Коровкина; пусть и он участвует во всеобщем счастье.

Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа.

— Почтительнейше осмелюсь доложить-с, — заметил Видоплясов, — что Коровкин изволят находиться не в своем виде-с.

— Не в своем виде? как? Что ты врешь? — вскричал дядя.

— Точно так-с: не в трезвом состоянии души-с…

Но прежде чем дядя успел раскрыть рот, покраснеть, испугаться и сконфузиться до последней степени, последовало и разрешение загадки. В дверях появился сам Коровкин, отвел рукой Видоплясова и предстал пред изумленною публикой. Это был невысокий, но плотный господин лет сорока, с темными волосами и с проседью, выстриженный под гребенку, с багровым, круглым лицом, с маленькими, налитыми кровью глазами, в высоком волосяном галстухе, застегнутом сзади пряжкой, во фраке необыкновенно истасканном, в пуху и в сене, и сильно лопнувшем под мышкой, в pantalon impossible[9] и при фуражке, засаленной до невероятности, которую он держал на отлете. Этот господин был совершенно пьян. Выйдя на средину комнаты, он остановился, покачиваясь и тюкая вперед носом, в пьяном раздумье; потом медленно во весь рот улыбнулся.

— Извините, господа, — проговорил он, — я… того… (тут он щелкнул по воротнику) получил!

Генеральша немедленно приняла вид оскорбленного достоинства. Фома, сидя в кресле, иронически обмеривал взглядом эксцентрического гостя. Бахчеев смотрел на него с недоумением, сквозь которое проглядывало, однако, некоторое сочувствие. Смущение же дяди было невероятное; он всею душою страдал за Коровкина.

— Коровкин! — начал было он, — послушайте!

— Атанде-с*, — прервал Коровкин. — Рекомендуюсь: дитя природы… Но что я вижу? Здесь дамы… А зачем же ты не сказал мне, подлец, что у тебя здесь дамы? — прибавил он, с плутовскою улыбкою смотря на дядю, — ничего? не робей!.. представимся и прекрасному полу… Прелестные дамы! — начал он, с трудом ворочая язык и завязая на каждом слове, — вы видите несчастного, который… ну, да уж и так далее… Остальное не договаривается… Музыканты! польку!

— А не хотите ли заснуть? — спросил Мизинчиков, спокойно

подходя к Коровкину.

— Заснуть? Да вы с оскорблением говорите?

— Нисколько. Знаете, с дороги полезно…

— Никогда! — с негодованием отвечал Коровкин. — Ты думаешь, я пьян? — нимало… А впрочем, где у вас спят?

— Пойдемте, я вас сейчас проведу.

— Куда? в сарай? Нет, брат, не надуешь! Я уж там ночевал… А впрочем, веди… С хорошим человеком отчего не пойти?.. Подушки не надо; военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини… Да, слушай, — прибавил он останавливаясь, — ты, я вижу, малый теплый; сочини-ка ты мне того… понимаешь? ромео, так только, чтоб муху задавить… единственно, чтоб муху задавить, одну то есть рюмочку.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Мизинчиков.

— Хорошо… Да ты постой, ведь надо же проститься… Adieu, mesdames и mesdemoiselles!.. Вы, так сказать, пронзили… Ну, да уж нечего! после объяснимся… а только разбудите меня, как начнется… или даже за пять минут до начала… а без меня не начинать! слышите? не начинать!..

И веселый господин скрылся за Мизинчиковым.

Все молчали. Недоумение еще продолжалось. Наконец Фома начал понемногу, молча и неслышно, хихикать; смех его разрастался всё более и более в хохот. Видя это, повеселела и генеральша, хотя всё еще выражение оскорбленного достоинства сохранялось в лице ее. Невольный смех начинал подыматься со всех сторон. Дядя стоял как ошеломленный, краснея до слез и некоторое время не в состоянии вымолвить слова.

— Господи боже! — проговорил он наконец, — кто ж это знал? Но ведь… ведь это со всяким же может случиться. Фома, уверяю тебя, что это честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек. Фома… вот ты увидишь!..

— Вижу-с, вижу-с, — отвечал Фома, задыхаясь от смеха, — необыкновенно начитанный, именно начитанный!

— Про железные дороги как говорит-с! — заметил вполголоса Ежевикин.

— Фома!.. — вскричал было дядя, но всеобщий хохот покрыл слова его. Фома Фомич так и заливался. Видя это, рассмеялся и дядя.

— Ну, да что тут! — сказал он с увлечением. — Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье… ты же простишь и Коровкину.

Не смеялась одна только Настенька. Полными любовью глазами смотрела она на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!»

## VI
## Заключение

Торжество Фомы было полное и непоколебимое. Действительно, без него ничего бы не устроилось, и совершившийся факт подавлял все сомнения и возражения. Благодарность осчастливленных была безгранична. Дядя и Настенька так и замахали на меня руками, когда я попробовал было слегка намекнуть, каким процессом получилось согласие Фомы на их свадьбу. Сашенька кричала: «Добрый, добрый Фома Фомич; я ему подушку гарусом вышью!» — и даже пристыдила меня за мое жестокосердие. Новообращенный Степан Алексеич, кажется, задушил бы меня, если б мне вздумалось сказать при нем что-нибудь непочтительное про Фому Фомича. Он теперь ходил за Фомой, как собачка, смотрел на него с благоговением и к каждому слову его прибавлял: «Благороднейший ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!» Что ж касается Ежевикина, то он был в самой последней степени восторга. Старикашка давным-давно видел, что Настенька вскружила голову Егору Ильичу, и с тех пор наяву и во сне только и грезил о том, как бы выдать за него свою дочку. Он тянул дело до последней невозможности и отказался уже тогда, когда невозможно было не отказаться. Фома перестроил дело. Разумеется, старик, несмотря на свой восторг, понимал Фому Фомича насквозь; словом, было ясно, что Фома Фомич воцарился в этом доме навеки и что тиранству его теперь уже не будет конца. Известно, что самые неприятнейшие, самые капризнейшие люди хоть на время, да укрощаются, когда удовлетворят их желаниям. Фома Фомич, совершенно напротив, как-то еще больше глупел при удачах и задирал нос всё выше и выше. Перед самым обедом, переменив белье и

переодевшись, он уселся в кресле, позвал дядю и, в присутствии всего семейства, стал читать ему новую проповедь.

— Полковник! — начал он, — вы вступаете в законный брак. Понимаете ли вы ту обязанность…

И так далее и так далее; представьте себе десять страниц формата «Journal des Débats», самой мелкой печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. Все были голодны; всем хотелось обедать; но, несмотря на то, никто не смел противоречить и все с благоговением дослушали всю дичь до конца; даже Бахчеев, при всем своем мучительном аппетите, просидел, не шелохнувшись, в самой полной почтительности. Удовлетворившись собственным красноречием, Фома Фомич наконец развеселился и даже довольно сильно подпил за обедом, провозглашая самые необыкновенные тосты. Он принялся острить и подшучивать, разумеется, насчет молодых. Все хохотали и аплодировали. Но некоторые из шуток были до такой степени сальны и недвусмысленны, что даже Бахчеев сконфузился. Наконец Настенька вскочила из-за стола и убежала. Это привело Фому Фомича в неописанный восторг; но он тотчас же нашелся: в кратких, но сильных словах изобразил он достоинства Настеньки и провозгласил тост за здоровье отсутствующей. Дядя, за минуту сконфуженный и страдавший, готов был теперь обнимать ФомуФомича. Вообще жених и невеста как будто стыдились друг друга и своего счастья, — и я заметил: с самого благословения еще они не сказали меж собою ни слова, даже как будто избегали глядеть друг на друга. Когда встали из-за стола, дядя вдруг исчез неизвестно куда. Отыскивая его, я забрел на террасу. Там, сидя в кресле, за кофеем, ораторствовал Фома, сильно подкураженный. Около него были только Ежевикин, Бахчеев и Мизинчиков. Я остановился послушать.

— Почему, — кричал Фома, — почему я готов сейчас же идти на костер за мои убеждения? А почему из вас никто не в состоянии пойти на костер? Почему, почему?

— Да ведь это уж и лишнее будет, Фома Фомич, на костер-то-с! — трунил Ежевикин. — Ну, что толку? Во-первых, и больно-с, а во-вторых, сожгут — что останется?

— Что останется? Благородный пепел останется. Но где тебе

понять, где тебе оценить меня! Для вас не существует великих людей, кроме каких-то там Цезарей да Александров Македонских! А что сделали твои Цезари? кого осчастливили? Что сделал твой хваленый Александр Македонский? Всю землю-то завоевал? Да ты дай мне такую же фалангу, так и я завоюю, и ты завоюешь, и он завоюет… Зато он убил добродетельного Клита[*], а я не убивал добродетельного Клита… Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, а не прославлять во всемирной истории… да уж вместе и Цезарю!

— Цезаря-то хоть пощадите, Фома Фомич!

— Не пощажу дурака! — кричал Фома.

— И не щади! — с жаром подхватил Степан Алексеевич, тоже подвыпивший, — нечего их щадить; все они прыгуны, все только бы на одной ножке повертеться! колбасники! Вон один давеча стипендию какую-то хотел учредить. А что такое стипендия? Черт ее и знает, что она значит! Об заклад побьюсь, какая-нибудь новая пакость. А тот, другой, давеча-то в благородном обществе, вензеля пишет да рому просит! По-моему, отчего не выпить? Да ты пей, пей, да и перегородку сделай, а потом, пожалуй, и опять пей… Нечего их щадить! все мошенники! Один только ты ученый, Фома!

Бахчеев, если отдавался кому, то отдавался весь, безусловно и безо всякой критики.

Я отыскал дядю в саду, у пруда, в самом уединенном месте. Он был с Настенькой. Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как будто виноватая. Дядя пошел ко мне навстречу с сиявшим лицом; в глазах его стояли слезы восторга. Он взял меня за обе руки и крепко сжал их.

— Друг мой! — сказал он, — я до сих пор как будто не верю моему счастью… Настя тоже. Мы только дивимся и прославляем всевышнего. Сейчас она плакала. Поверишь ли, до сих пор я как-то не опомнился, как-то растерялся весь: и верю и не верю! И за что это мне? за что? что я сделал? чем я заслужил?

— Если кто заслужил, дядюшка, то это вы, — сказал я с увлечением. — Я еще не видал такого честного, такого прекрасного, такого добрейшего человека, как вы…

— Нет, Сережа, нет, это слишком, — отвечал он, как бы с сожалением. — То-то и худо, что мы добры (то есть я про себя одного говорю), когда нам хорошо; а когда худо, так и не подступайся близко! Вот мы только сейчас толковали об этом с Настей. Сколько ни сиял

передо мною Фома, а, поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не уверовал, когда он отказался от такого подарка! К стыду моему говорю! Сердце трепещет после давешнего воспоминания! Но я не владел собой… Когда он сказал давеча про Настю, то меня как будто в самое сердце что-то укусило. Я не понял и поступил, как тигр…

— Что ж, дядюшка, может, это было даже естественно.

Дядя замахал руками.

— Нет, нет, брат, и не говори! А просто-запросто всё это от испорченности моей природы, оттого, что я мрачный и сластолюбивый эгоист и без удержу отдаюсь страстям моим. Так и Фома говорит. (Что было отвечать на это?) Не знаешь ты, Сережа, — продолжал он с глубоким чувством, — сколько раз я бывал раздражителен, безжалостен, несправедлив, высокомерен, да и не к одному Фоме! Вот теперь это всё вдруг пришло на память, и мне как-то стыдно, что я до сих пор ничего еще не сделал, чтоб быть достойным такого счастья. Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать всё добрые дела… И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно всё это говорила! Боже мой, что за девушка!

Он остановился в волнении. Через минуту он продолжал:

— Мы положили, брат, особенно лелеять Фому, маменьку и Татьяну Ивановну. А Татьяна-то Ивановна! какое благороднейшее существо! О, как я виноват пред всеми! Я и перед тобой виноват… Но если кто осмелится теперь обидеть Татьяну Ивановну, о! тогда… Ну, да уж нечего!., для Мизинчикова тоже надо что-нибудь сделать.

— Да, дядюшка, я теперь переменил мое мнение о Татьяне Ивановне. Ее нельзя не уважать и не сострадать ей.

— Именно, именно! — подхватил с жаром дядя, — нельзя не уважать! Ведь вот, например, Коровкин, ведь ты уж, наверно, смеешься над ним, — прибавил он, с робостью заглядывая мне в лицо, — и все мы давеча смеялись над ним. А ведь это, может быть, непростительно… ведь это, может быть, превосходнейший, добрейший человек, но судьба… испытал несчастья… Ты не веришь, а это, может быть, истинно так.

— Нет, дядюшка; почему же не верить?

И я с жаром начал говорить о том, что в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства; что неисследима глубина души человеческой; что нельзя презирать падших, а, напротив, должно отыскивать и восстанавливать; что неверна общепринятая мерка добра и нравственности и проч. и проч., — словом, я воспламенился и рассказал даже о натуральной школе[*]; в заключение же прочел стихи:

Когда из мрака заблужденья[*]…

Дядя пришел в необыкновенный восторг.

— Друг мой, друг мой! — сказал он, растроганный, — ты совершенно понимаешь меня и еще лучше меня рассказал всё, что я сам хотел было выразить. Так, так! Господи! почему это зол человек? почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым? Вот и Настя то же самое сейчас говорила… Но посмотри, однако ж, какое здесь славное место, — прибавил он, оглядываясь вокруг себя, — какая природа! какая картина! Экое дерево! посмотри: в обхват человеческий! Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то всё вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнью… Неужели ж нет — а? как ты думаешь?

— Очень может быть, дядюшка. По-своему, разумеется…

— Ну да, разумеется, по-своему… Дивный, дивный творец!.. А ведь ты должен хорошо помнить весь этот сад, Сережа: как ты тут играл и бегал, когда был маленький! Я ведь помню, когда ты был маленький, — прибавил он, смотря на меня с неизъяснимым выражением любви и счастья. — Тебе только к пруду не позволяли ходить одному. А помнишь, один раз, вечером, Катя-покойница подозвала тебя и стала тебя ласкать… Ты всё бегал в саду перед этим и весь разрумянился; волоски у тебя такие светленькие, в кудряшках… Она ими играла-играла, да и сказала: «Это хорошо, что ты его, сиротку, к нам взял». Помнишь иль нет?

— Чуть-чуть, дядюшка.

— Тогда еще вечер был, и солнце на вас обоих так светило, а я сидел в углу и трубку курил да на вас смотрел… Я, Сережа, каждый месяц к ней на могилу, в город, езжу, — прибавил он пониженным голосом, в котором слышались дрожание и подавляемые слезы. — Я об этом сейчас Насте говорил: она сказала, что мы оба вместе будем к ней

ездить…

Дядя замолчал, стараясь подавить свое волнение.

В эту минуту к нам подошел Видоплясов.

— Видоплясов! — вскричал дядя встрепенувшись, — ты от Фомы Фомича?

— Нет-с, я более по своей надобности-с.

— А, ну и славно! вот и узнаем про Коровкина. А я ведь еще давеча хотел спросить… Я ему, Сережа, велел там наблюдать, Коровкина-то. — В чем дело, Видоплясов?

— Осмелюсь доложить, — сказал Видоплясов, — что вчера вы изволили упоминуть-с насчет моей просьбы-с и обещать мне ваше высокое заступление от ежедневных обид-с.

— Неужели ты опять про фамилию? — вскричал дядя в испуге.

— Что ж делать-с? Ежечасные обиды-с…

— Ах, Видоплясов, Видоплясов! что мне с тобой делать? — сказал с сокрушением дядя. — Ну, какие тебе могут быть обиды? Ведь ты просто с ума сойдешь, в желтом доме жизнь кончишь!

— Кажется, я умом моим-с… — начал было Видоплясов.

— Ну то-то, то-то, — перебил дядя, — я, братец, это так говорю, не в обиду тебе, а в пользу. Ну какие там у тебя обиды? Бьюсь об заклад, какая-нибудь дрянь?

— Проходу нет-с.

— От кого?

— От всех-с и преимущественно через Матрену-с. Через нее я моею жизнию страдать пошел-с. Известно-с, что все отличительные люди-с, кто сызмалетства еще меня видел, говорили, что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица-с. Что же, сударь? Из-за этого мне теперь и проходу нет-с. Как только я мимо иду-с, все мне следом кричат всякие дурные слова-с; даже ребятишки маленькие-с, которых надо прежде всего розгами высечь-с, и те кричат-с… Вот и теперь, когда я сюда шел, кричали-с… Мочи нет-с. Защитите, сударь, вашим покровом-с!

— Ах, Видоплясов!.. Ну да что ж они такое кричат? Верно, глупость какую-нибудь, на которую не надо и внимания обращать.

— Неприлично будет сказать-с.

— Да что именно?

— Омерзительно выговорить-с.

— Да уж говори!

— Гришка-голанец съел померанец-с.

— Фу, какой человек! Я думал и бог знает что! А ты плюнь да мимо и пройди.

— Плевал-с: еще больше кричат-с.

— Да послушайте, дядюшка, — сказал я, — ведь он жалуется на то, что ему житья нет в здешнем доме. Отправьте его, хоть на время, в Москву, к тому каллиграфу. Ведь он, вы говорили, у каллиграфа какого-то жил.

— Ну, брат, тот тоже кончил трагически!

— А что?

— Они-с, — отвечал Видоплясов, — имели несчастье присвоить себе чужую собственность-с, за что, несмотря на весь их талант, были посажены в острог-с, где безвозвратно погибли-с.

— Хорошо, хорошо, Видоплясов: ты теперь успокойся, а я всё это разберу и улажу, — сказал дядя, — обещаю тебе! Ну что Коровкин? спит?

— Никак нет-с, они сейчас изволили отъехать-с. Я с тем и шел доложить-с.

— Как отъехать? Что ты? Да как же ты выпустил? — вскричал дядя.

— По добродушию сердца-с: жалостно было смотреть-с. Как проснулись и вспомнили весь процесс, так тотчас же ударили себя по голове и закричали благим матом-с…

— Благим матом!..

— Почтительнее будет выразиться: многоразличные вопли испускали-с. Кричали: как они представятся теперь прекрасному полу-с? а потом прибавили: «Я не достоин рода человеческого!» — и всё так жалостно говорили-с, в отборных словах-с.

— Деликатнейший человек! Я говорил тебе, Сергей… Да как же ты, Видоплясов, пустил, когда именно тебе я велел стеречь? Ах, боже мой, боже мой!

— Более через сердечную жалость-с. Просили не говорить-с. Их же извозчик лошадей выкормил и запрег-с. А за врученную, три дни назад, сумму-с велели почтительнейше благодарить-с и сказать, что вышлют долг с одною из первых почт-с.

— Какую это сумму, дядюшка?

— Они называли двадцать пять рублей серебром-с, — сказал Видоплясов.

— Это я, брат, ему тогда дал взаймы, на станции: у него недостало. Разумеется, он вышлет с первой же почтой… Ах, боже мой, как мне жаль! Не послать ли в погоню, Сережа?

— Нет, дядюшка, лучше не посылайте.

— Я сам то же думаю. Видишь, Сережа, я, конечно, не философ, но я думаю, что во всяком человеке гораздо более добра, чем снаружи кажется. Так и Коровкин: он не вынес стыда… Но пойдем, однако ж, к Фоме! Мы замешкались; может оскорбиться неблагодарностью, невниманием… Идем же! Ах, Коровкин, Коровкин!

Роман кончен. Любовники соединились, и гений добра безусловно воцарился в доме, в лице Фомы Фомича. Тут можно бы сделать очень много приличных объяснений; но, в сущности, все эти объяснения теперь совершенно лишние. Таково, по крайней мере, мое мнение. Взамен всяких объяснений скажу лишь несколько слов о дальнейшей судьбе всех героев моего рассказа: без этого, как известно, не кончается ни один роман, и это даже предписано правилами.

Свадьба «осчастливленных» произошла спустя шесть недель после описанных мною происшествий. Сделали всё тихо, семейно, без особенной пышности и без лишних гостей. Я был шафером Настеньки, Мизинчиков — со стороны дяди. Впрочем, были и гости. Но самым первым, самым главным человеком был, разумеется, Фома Фомич. За ним ухаживали; его носили на руках. Но как-то случилось, что его один раз обнесли шампанским. Немедленно произошла история, сопровождаемая упреками, воплями, криками. Фома убежал в свою комнату, заперся на ключ, кричал, что презирают его, что теперь уж «новые люди» вошли в семейство, и потому он ничто, не более как щепка, которую надо выбросить. Дядя был в отчаянии; Настенька плакала; с генеральшей, по обыкновению, сделались судороги… Свадебный пир походил на похороны. И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел моему бедному дяде и бедненькой Настеньке. До самой смерти своей (Фома Фомич умер в прошлом году) он киснул, куксился, ломался, сердился, бранился, но благоговение к нему «осчастливленных» не только не уменьшалось, но даже каждодневно возрастало, пропорционально его капризам. Егор Ильич и Настенька до того были счастливы друг с

другом, что даже боялись за свое счастье, считали, что это уж слишком послал им господь; что не стоят они такой милости, и предполагали, что, может быть, впоследствии им назначено искупить свое счастье крестом и страданиями. Понятно, что Фома Фомич мог делать в этом смиренном доме всё, что ему вздумается. И чего-чего он не наделал в эти семь лет! Даже нельзя себе представить, до каких необузданных фантазий доходила иногда его пресыщенная, праздная душа в изобретении самых утонченных, нравственно-лукулловских капризов[*]. Три года спустя после дядюшкиной свадьбы скончалась бабушка. Осиротевший Фома был поражен отчаянием. Даже и теперь в доме дяди с ужасом рассказывают о тогдашнем его положении. Когда засыпали могилу, он рвался в нее и кричал, чтоб и его вместе засыпали. Целый месяц не давали ему ни ножей, ни вилок; а один раз силою, вчетвером, раскрыли ему рот и вынули оттуда булавку, которую он хотел проглотить. Кто-то из посторонних свидетелей борьбы заметил, что Фома Фомич тысячу раз мог проглотить эту булавку во время борьбы и, однако ж, не проглотил. Но эту догадку выслушали все с решительным негодованием и тут же уличили догадчика в жестокосердии и неприличии. Только одна Настенька хранила молчание и чуть-чуть улыбнулась; причем дядя взглянул на нее с некоторым беспокойством. Вообще нужно заметить, что Фома хоть и куражился, хоть и капризничал в доме дяди по-прежнему, но прежних, деспотических и наглых распеканций, какие он позволял себе с дядей, уже не было. Фома жаловался, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился по-прежнему, — не было таких сцен, как «ваше превосходительство», и это, кажется, сделала Настенька. Она почти неприметно заставила Фому кой-что уступить и кой в чем покориться. Она не хотела видеть унижения мужа и настояла на своем желании. Фома ясно видел, что она его почти понимает. Я говорю *почти*, потому что Настенька тоже лелеяла Фому и даже каждый раз поддерживала мужа, когда он восторженно восхвалял своего мудреца. Она хотела заставить других уважать всё в своем муже, а потому гласно оправдывала и его привязанность к Фоме Фомичу. Но я уверен, что золотое сердечко Настеньки забыло все прежние обиды: она всё простила Фоме, когда он соединил ее с дядей, и, кроме того, кажется, серьезно, всем сердцем вошла в идею дяди, что со «страдальца» и прежнего шута нельзя много спрашивать, а что надо, напротив, уврачевать сердце его. Бедная

Настенька сама была из *униженных,* сама страдала и помнила это. Чрез месяц Фома утих, сделался даже ласков и кроток; но зато начались другие, самые неожиданные припадки: он начал впадать в какой-то магнетический сон, устрашавший всех до последней степени. Вдруг, например, страдалец что-нибудь говорит, даже смеется, и в одно мгновение окаменеет, и окаменеет именно в том самом положении, в котором находился в последнее мгновение перед припадком; если, например, он смеялся, то так и оставался с улыбкою на устах; если же держал что-нибудь, хоть вилку, то вилка так и остается в поднятой руке, на воздухе. Потом, разумеется, рука опустится, но Фома Фомич уже ничего не чувствует и не помнит, как она опустилась. Он сидит, смотрит, даже моргает глазами, но не говорит ничего, ничего не слышит и не понимает. Так продолжалось иногда по целому часу. Разумеется, все в доме чуть не умирают от страха, сдерживают дыхание, ходят на цыпочках, плачут. Наконец Фома проснется, чувствуя страшное изнеможение, и уверяет, что ровно ничего не слыхал и не видал во всё это время. Нужно же, чтоб до такой степени ломался, рисовался человек, выдерживал целые часы добровольной муки — и единственно для того, чтоб сказать потом: «Смотрите на меня, я и чувствую-то краше, чем вы!» Наконец Фома Фомич проклял дядю «за ежечасные обиды и непочтительность» и переехал жить к господину Бахчееву. Степан Алексеевич, который после дядиной свадьбы еще много раз ссорился с Фомой Фомичом, но всегда кончал тем, что сам же просил у него прощенья, в этот раз принялся за дело с необыкновенным жаром: он встретил Фому с энтузиазмом, накормил на убой и тут же положил формально рассориться с дядей и даже подать на него просьбу. У них был где-то спорный клочок земли, о котором, впрочем, никогда и не спорили, потому что дядя вполне уступал его, без всяких споров, Степану Алексеевичу. Не говоря ни слова, господин Бахчеев велел заложить коляску, поскакал в город, настрочил там просьбу и подал, прося суд присудить ему формальным образом землю, с вознаграждениями проторей и убытков[*], и таким образом казнить самоуправство и хищничество. Между тем Фома, на другой же день, соскучившись у господина Бахчеева, простил дядю, приехавшего с повинною, и отправился обратно в Степанчиково. Гнев господина Бахчеева, возвратившегося из города и не заставшего Фомы, был ужасен; но через три дня он явился в Степанчиково с повинною, со

слезами просил прощенья у дяди и уничтожил свою просьбу. Дядя в тот же день помирил его с Фомой Фомичом, и Степан Алексеевич опять ходил за Фомой, как собачка, и по-прежнему приговаривал к каждому слову: «Умный ты человек, Фома! ученый ты человек, Фома!»

Фома Фомич лежит теперь в могиле, подле генеральши; над ним стоит драгоценный памятник из белого мрамора, весь испещренный плачевными цитатами и хвалебными надписями. Иногда Егор Ильич и Настенька благоговейно заходят, с прогулки, в церковную ограду поклониться Фоме. Они и теперь не могут говорить о нем без особого чувства; припоминают каждое его слово, что он ел, что любил. Вещи его сберегаются как драгоценность. Почувствовав себя совершенно осиротевшими, дядя и Настя еще более привязались друг к другу. Детей им бог не дал; они очень горюют об этом, но роптать не смеют. Сашенька давно уже вышла замуж за одного прекрасного молодого человека. Илюша учится в Москве. Таким образом, дядя и Настя живут одни и не надышатся друг на друга. Забота их друг о друге дошла до какой-то болезненности. Настя беспрерывно молится. Если кто из них первый умрет, то другой, я думаю, не проживет и недели. Но дай бог им долго жить! Принимают они всех с полным радушием и готовы разделить со всяким несчастным всё, что у них имеется. Настенька любит читать жития святых и с сокрушением говорит, что обыкновенных добрых дел еще мало, а что надо бы раздать всё нищим и быть счастливыми в бедности. Если б не забота об Илюше и Сашеньке, дядя бы давно так и сделал, потому что он во всем вполне согласен с женою. С ними живет Прасковья Ильинична и угождает им во всем с наслаждением; она же ведет и хозяйство. Господин Бахчеев сделал ей предложение еще вскоре после дядюшкиной свадьбы, но она наотрез ему отказала. Заключили из этого, что она пойдет в монастырь; но и этого не случилось. В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их капризам, ходить за ними и служить им. Теперь, по смерти генеральши, своей матери, она считает своею обязанностью не разлучаться с братом и угождать во всем Настеньке. Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время всё чаще и чаще стал посещать свою дочь. Вначале он приводил дядю в отчаяние тем, что почти совершенно отстранил себя и свою мелюзгу (так называл он

детей своих) от Степанчикова. Все зазывы дяди не действовали на него: он был не столько горд, сколько щекотлив и мнителен. Самолюбивая мнительность его доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут принимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. От дяди же он ничего решительно не хотел принять. Настенька чрезвычайно ошиблась, говоря мне тогда, в саду, об отце, что он представляет из себя шута *для нее*. Правда, ему ужасно хотелось тогда выдать Настеньку замуж; но корчил он из себя шута просто из внутренней потребности, чтоб дать выход накопившейся злости. Потребность насмешки и *язычка* была у него в крови. Он карикатурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унизительнее была его лесть, тем язвительнее и откровеннее проглядывала в ней насмешка. Такая уж была его манера. Всех детей его удалось разместить в лучших учебных заведениях, в Москве и Петербурге, и то только, когда Настенька ясно доказала ему, что всё это сделается на ее собственный счет, то есть в счет ее собственных тридцати тысяч, подаренных ей Татьяной Ивановной. Эти тридцать тысяч, по правде, никогда и не брали у Татьяны Ивановны; а ее, чтоб она не горевала и не обижалась, умилостивили, обещая ей при первых неожиданных семейных нуждах обратиться к ее помощи. Так и сделали: для виду были произведены у ней, в разное время, два довольно значительные займа. Но Татьяна Ивановна умерла три года назад, и Настя все-таки получила свои тридцать тысяч. Смерть бедной Татьяны Ивановны была скоропостижная. Всё семейство собиралось на бал к одному из соседних помещиков, и только что успела она нарядиться в свое бальное платье, а на голову надеть очаровательный венок из белых роз, как вдруг почувствовала дурноту, села в кресло и умерла. В этом венке ее и похоронили. Настя была в отчаянии. Татьяну Ивановну лелеяли в доме и ходили за ней, как за ребенком. Она удивила всех здравомыслием своего завещания: кроме Настенькиных тридцати тысяч, всё остальное, до трехсот тысяч ассигнациями, назначалось для воспитания бедных сироток-девочек и для награждения их деньгами по выходе из учебных заведений. В год ее смерти вышла замуж и девица Перепелицына, которая, по смерти генеральши, осталась у дяди в надежде подлизаться

к Татьяне Ивановне. Между тем овдовел чиновник-помещик, владетель Мишина, той самой маленькой деревушки, в которой у нас происходила сцена с Обноскиным и его маменькой за Татьяну Ивановну. Чиновник этот был страшный сутяга и имел от первой жены шесть человек детей. Подозревая у Перепелицыной деньги, он начал к ней подсылать с предложениями, и та немедленно согласилась. Но Перепелицына была бедна, как курица: у ней всего-то было триста рублей серебром, да и то подаренные ей Настенькой на свадьбу. Теперь муж и жена грызутся с утра до вечера. Она теребит за волосы его детей и отсчитывает им колотушки; ему же (по крайней мере так говорят) царапает лицо и поминутно корит его подполковничьим своим происхождением. Мизинчиков тоже пристроился. Он благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться сельскому хозяйству. Дядя рекомендовал его одному богатому графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка наезжал в свои поместья. Заметив в Мизинчикове способности и взяв во внимание рекомендацию, граф предложил ему место управляющего в своих поместьях, прогнав своего прежнего управителя немца, который, несмотря на прославленную немецкую честность, обчищал своего графа как липку. Через пять лет имения узнать нельзя было: крестьяне разбогатели; завелись статьи по хозяйству, прежде невозможные; доходы чуть ли не удвоились, — словом, новый управитель отличился и прогремел на всю губернию хозяйственными своими способностями. Каково же было изумление и горе графа, когда Мизинчиков, ровно чрез пять лет, несмотря ни на какие просьбы, ни на какие надбавки, решительно отказался от службы и вышел в отставку! Граф думал, что его сманили соседи-помещики, или даже в другую губернию. И как же все удивились, когда вдруг, два месяца по выходе в отставку, у Ивана Ивановича Мизинчикова явилось превосходнейшее имение, во сто душ, ровно в сорока верстах от графского, купленное им у какого-то промотавшегося гусара, прежнего его приятеля! Эти сто душ он тотчас же заложил, и через год у него явилось еще шестьдесят душ в окрестностях. Теперь он сам помещик, и хозяйство у него бесподобное. Все дивятся: где он вдруг достал денег? Другие же только покачивают головами. Но Иван Иванович совершенно спокоен и чувствует себя вполне в своем праве. Он выписал из Москвы свою сестру, ту самую, которая дала ему свои последние три целковых

на сапоги, когда он отправлялся в Степанчиково, — премилую девушку, уже не первой молодости, кроткую, любящую, образованную, но чрезвычайно запуганную. Она всё время скиталась где-то в Москве, в компаньонках, у какой-то благодетельницы; теперь же благоговеет перед братом, хозяйничает в его доме, считает его волю законом, а себя вполне счастливою. Братец не балует ее и держит несколько в черном теле; но она этого не замечает. В Степанчикове ее ужасно как полюбили, и, говорят, господин Бахчеев к ней неравнодушен. Он и сделал бы предложение, да боится отказа. Впрочем, о господине Бахчееве мы надеемся поговорить в другой раз, в другом рассказе, подробнее.

Вот, кажется, и все лица… Да! забыл: Гаврила очень постарел и совершенно разучился говорить по-французски. Из Фалалея вышел очень порядочный кучер, а бедный Видоплясов давным-давно в желтом доме и, кажется, там и умер… На днях поеду в Степанчиково и непременно справлюсь о нем у дяди.

# Записки из мертвого дома

# Часть первая

## Введение

В отдаленных краях Сибири[*], среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной, много с двумя тысячами жителей, деревянные, невзрачные, с двумя церквами — одной в городе, другой на кладбище, — города, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город. Они обыкновенно весьма достаточно снабжены исправниками, заседателями и всем остальным субалтерным чином[*]. Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные; порядки старые, крепкие, веками освященные. Чиновники, по справедливости играющие роль сибирского дворянства, — или туземцы, закоренелые сибиряки, или наезжие из России, большею частью из столиц, прельщенные выдаваемым не в зачет окладом жалованья, двойными прогонами и соблазнительными надеждами в будущем. Из них умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешать загадку жизни, скоро наскучают Сибирью и с тоской себя спрашивают: зачем они в нее заехали? С нетерпением отбывают они свой законный термин службы[*], три года, и по истечении его тотчас же хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею. Они неправы: не только с служебной, но даже со многих точек зрения в Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный; есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев[*]. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать… Вообще земля благословенная.[*] Надо только уметь ею пользоваться. В Сибири умеют ею пользоваться.

В одном из таких веселых и довольных собою городков, с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется

неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К.* поселенцем. Он, собственно, приписан был к одной подгородной волости, но жил в городе, имея возможность добывать в нем хоть какое-нибудь пропитание обучением детей. В сибирских городах часто встречаются учителя из ссыльных поселенцев; ими не брезгают. Учат же они преимущественно французскому языку, столь необходимому на поприще жизни и о котором без них в отдаленных краях Сибири не имели бы и понятия. В первый раз я встретил Александра Петровича в доме одного старинного, заслуженного и хлебосольного чиновника, Ивана Иваныча Гвоздикова, у которого было пять дочерей, разных лет, подававших прекрасные надежды. Александр Петрович давал им уроки четыре раза в неделю, по тридцати копеек серебром за урок. Наружность его меня заинтересовала. Это был чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридцати пяти, маленький и тщедушный. Одет был всегда весьма чисто, по-европейски. Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию разговора. Я тогда же расспросил о нем Ивана Иваныча и узнал, что Горянчиков живет безукоризненно и нравственно и что иначе Иван Иваныч не пригласил бы его для дочерей своих; но что он страшный нелюдим, ото всех прячется, чрезвычайно учен, много читает, но говорит весьма мало и что вообще с ним довольно трудно разговориться. Иные утверждали, что он положительно сумасшедший, хотя и находили, что, в сущности, это еще не такой важный недостаток, что многие из почетных членов города готовы всячески обласкать Александра Петровича, что он мог бы даже быть полезным, писать просьбы и проч. Полагали, что у него должна быть порядочная родня в России, может быть, даже и не последние люди, но знали, что он с

самой ссылки упорно пресек с ними всякие сношения, — одним словом, вредит себе. К тому же у нас все знали его историю, знали, что он убил жену свою еще в первый год своего супружества, убил из ревности и сам донес на себя (что весьма облегчило его наказание). На такие же преступления всегда смотрят как на несчастия и сожалеют о них. Но, несмотря на всё это, чудак упорно сторонился от всех и являлся в людях только давать уроки.

Я сначала не обращал на него особенного внимания, но, сам не знаю почему, он мало-помалу начал интересовать меня. В нем было что-то загадочное. Разговориться не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от Ивана Иваныча. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже удивился. С тех пор, встречаясь со мной, он смотрел на меня как будто с каким-то испугом. Но я не унялся; меня что-то тянуло к нему, и месяц спустя я, ни с того ни с сего, сам зашел к Горянчикову. Разумеется, я поступил глупо и неделикатно. Он квартировал на самом краю города, у старухи мещанки, у которой была больная в чахотке дочь, а у той незаконнорожденная дочь, ребенок лет десяти, хорошенькая и веселенькая девочка. Александр Петрович сидел с ней и учил ее читать в ту минуту, как я вошел к нему. Увидя меня, он до того смешался, как будто я поймал его на каком-нибудь преступлении. Он растерялся совершенно, вскочил со стула и глядел на меня во все глаза. Мы наконец уселись; он пристально следил за каждым моим взглядом, как будто в каждом из них подозревал какой-нибудь особенный таинственный смысл. Я догадался, что он был мнителен до сумасшествия. Он с ненавистью глядел на меня, чуть не спрашивая: «Да скоро ли ты уйдешь отсюда?» Я заговорил с ним о нашем городке, о текущих новостях; он отмалчивался и злобно улыбался; оказалось, что он не только не знал самых обыкновенных, всем известных городских новостей, но даже не интересовался знать их. Заговорил я потом о

нашем крае, о его потребностях; он слушал меня молча и до того странно смотрел мне в глаза, что мне стало наконец совестно за наш разговор. Впрочем, я чуть не раздразнил его новыми книгами и журналами; они были у меня в руках, только что с почты, я предлагал их ему еще неразрезанные. Он бросил на них жадный взгляд, но тотчас же переменил намерение и отклонил предложение, отзываясь недосугом. Наконец я простился с ним и, выйдя от него, почувствовал, что с сердца моего спала какая-то несносная тяжесть. Мне было стыдно и показалось чрезвычайно глупым приставать к человеку, который именно поставляет своею главнейшею задачею — как можно подальше спрятаться от всего света. Но дело было сделано. Помню, что книг у него почти совсем не заметил, и, стало быть, несправедливо говорили о нем, что он много читает. Однако же, проезжая раза два, очень поздно ночью, мимо его окон, я заметил в них свет. Что же делал он, просиживая до зари? Не писал ли он? А если так, что же именно?

Обстоятельства удалили меня из нашего городка месяца на три. Возвратясь домой уже зимою, я узнал, что Александр Петрович умер осенью, умер в уединении и даже ни разу не позвал к себе лекаря. В городке о нем уже почти позабыли. Квартира его стояла пустая. Я немедленно познакомился с хозяйкой покойника, намереваясь выведать у нее: чем особенно занимался ее жилец и не писал ли он чего-нибудь? За двугривенный она принесла мне целое лукошко бумаг, оставшихся после покойника. Старуха призналась, что две тетрадки она уже истратила. Это была угрюмая и молчаливая баба, от которой трудно было допытаться чего-нибудь путного. О жильце своем она не могла сказать мне ничего особенного нового. По ее словам, он почти никогда ничего не делал и по месяцам не раскрывал книги и не брал пера в руки; зато целые ночи прохаживал взад и вперед по комнате и все что-то думал, а иногда и говорил сам с собою; что он очень полюбил и очень ласкал ее внучку, Катю, особенно с тех пор, как узнал, что ее зовут Катей, и что в Катеринин день каждый раз ходил по ком-то служить панихиду. Гостей не мог терпеть; со двора выходил только учить детей; косился даже на нее, старуху, когда она, раз в неделю, приходила хоть немножко прибрать в его комнате, и почти никогда не сказал с нею ни единого слова в целых три года. Я спросил Катю: помнит ли она своего учителя? Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть кого-нибудь заставить

любить себя. Я унес его бумаги и целый день перебирал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. Но тут же была одна тетрадка, довольно объемистая, мелко исписанная и недоконченная, может быть, заброшенная и забытая самим автором. Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Но каторжные записки — «Сцены из Мертвого дома», — как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираю сначала две-три главы; пусть судит публика…

# I
# Мертвый дом

Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть что-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большой двор, шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенный кругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепко прислоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь

охраняемые часовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу. За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе как о какой-то несбыточной сказке. Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом, жизнь — как нигде, и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать.

Как входите в ограду — видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в глубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели; далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средина двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесь строятся арестанты, происходит поверка и перекличка утром, в полдень и вечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, — судя по мнительности караульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором, остается еще довольно большое пространство. Здесь, по задам строений, иные из заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить в нерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь с ними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменые лица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимым занятием, в свободное время, было считать пали. Их было тысячи полторы, и у него они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него день; каждый день он отсчитывал по одной пале и таким образом по оставшемуся числу несосчитанных паль мог наглядно видеть, сколько дней еще остается ему пробыть в остроге до срока работы. Он был искренно рад, когда доканчивал какую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще ему дожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и наконец выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острог первый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни о своем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным. Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молился на образа и потом низко, в пояс, откланивался

товарищам, прося не поминать его лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточного сибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этим получил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился. Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Они поговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел его лицо, когда он возвращался в казарму… Да, в этом месте можно было научиться терпению.

Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было всё мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, всё — обруганное, ошельмованное… да, живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение.

Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали. И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльных даже из кавказских горцев. Всё это разделялось по степени преступлений, а следовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать, что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своего представителя. Главное основание всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные разряда гражданского *(сильнокаторжные,* как наивно произносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались на работу на сроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь по сибирским волостям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, не лишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах. Присылались они на короткие сроки; по

окончании же их поворачивались туда же, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из них почти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важные преступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разряд назывался «всегдашним». Но «всегдашние» всё еще не совершенно лишались всех прав состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшных преступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Назывался он «особым отделением». Со всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно было удвоять и утроять рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. «Вам на срок, а нам вдоль по каторге», — говорили они другим заключенным. Я слышал потом, что разряд этот уничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок, а заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместе переменилось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давно минувшие и прошедшие…

Давно уж это было; всё это снится мне теперь, как во сне. Помню, как я вошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народ возвращался с работы; готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мне наконец двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть столько лет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самом деле, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я бы никак не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что я во все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? На работе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу — один! Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!

Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги — промышленники по находным деньгам или по столевской части. Были и такие, про которых трудно было решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до того никогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что

никогда совесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные лица, почти всегда молчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство было не в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка, разговорится кто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесь никого не мог удивить. «Мы — народ грамотный!» — говорили они часто, с каким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник, хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как он зарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завел куда-то в пустой сарай да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся его шуткам, закричала как один человек, и разбойник принужден был замолчать; не от негодования закричала казарма, а так, потому что *не надо* было *про это* говорить, потому что говорить *про это* не принято. Замечу, кстати, что этот народ был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальном смысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В каком другом месте, где русский народ собирается в больших массах, отделите вы от него кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была бы грамотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, что грамотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и нельзя не согласиться, что грамотность развивает в народе самонадеянность. Но ведь это вовсе не недостаток. Различались все разряды по платью: у одних половина куртки была темно-бурая[*], а другая серая, равно и на панталонах — одна нога серая, а другая темно-бурая. Один раз, на работе, девчонка-калашница, подошедшая к арестантам, долго всматривалась в меня и потом вдруг захохотала. «Фу, как не славно! — закричала она, — и серого сукна недостало, и черного сукна недостало!» Были и такие, у которых вся куртка была одного серого сукна, но только рукава были темно-бурые. Голова тоже брилась по-разному: у одних половина головы была выбрита вдоль черепа, у других поперек.

С первого взгляда можно было заметить некоторую резкую общность во всем этом странном семействе; даже самые резкие, самые оригинальные личности, царившие над другими невольно, и те старались попасть в общий тон всего острога. Вообще же скажу, что весь этот народ, — за некоторыми немногими исключениями неистощимо-веселых людей, пользовавшихся за это всеобщим

презрением, — был народ угрюмый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый, обидчивый и в высшей степени формалист. Способность ничему не удивляться была величайшею добродетелью. Все были помешаны на том, как наружно держать себя. Но нередко самый заносчивый вид с быстротою молнии сменялся на самый малодушный. Было несколько истинно сильных людей; те были просты и не кривлялись. Но странное дело: из этих настоящих сильных людей было несколько тщеславных до последней крайности, почти до болезни. Вообще тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма кромешная. Но против внутренних уставов и принятых обычаев острога никто не смел восставать; все подчинялись. Бывали характеры резко выдающиеся, трудно, с усилием подчинявшиеся, но все-таки подчинявшиеся. Приходили в острог такие, которые уж слишком зарвались, слишком выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени. Но у нас их тотчас осаживали, несмотря на то что иные, до прибытия в острог, бывали ужасом целых селений и городов. Оглядываясь кругом, новичок скоро замечал, что он не туда попал, что здесь дивить уже некого, и неприметно смирялся и попадал в общий тон. Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение, так сказать официальное, какое-то спокойное резонерство: «Мы погибший народ, — говорили они, — не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды». — «Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры». — «Не хотел шить золотом, теперь бей камни молотом». Всё это говорилось часто, и в виде нравоучения и в виде обыкновенных поговорок и присловий, но никогда серьезно. Всё это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренно в своей беззаконности. Попробуй кто не из каторжных упрекнуть арестанта его преступлением, выбранить его (хотя, впрочем, не в русском духе попрекать преступника) — ругательствам не будет конца. А какие были

они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей — а это утонченнее, ядовитее. Беспрерывные ссоры еще более развивали между ними эту науку. Весь этот народ работал из-под палки, — следственно, он был праздный, следственно, развращался: если и не был прежде развращен, то в каторге развращался. Все они собрались сюда не своей волей; все они были друг другу чужие.

«Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в одну кучу!» — говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом плане в этой кромешной жизни. Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, бесстрашные. Этих как-то невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревнивы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые ругательства не вступали, вели себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству, — не из принципа послушания, не из сознания обязанностей, а так, как будто по какому-то контракту, сознав взаимные выгоды. Впрочем, с ними и поступали осторожно. Я помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительного, известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказанию. День был летний, пора нерабочая. Штаб-офицер, ближайший и непосредственный начальник острога, приехал сам в кордегардию[*], которая была у самых наших ворот, присутствовать при наказании. Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов; он довел их до того, что они его трепетали. Был он до безумия строг, «бросался на людей», как говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного[*], умерявшего иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед

своим управлением. Не понимаю, как мог он кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под суд.

Арестант побледнел, когда его кликнули. Обыкновенно он молча и решительно ложился под розги, молча терпел наказание и вставал после наказания как встрепанный, хладнокровно и философски смотря на приключившуюся неудачу. С ним, впрочем, поступали всегда осторожно. Но на этот раз он считал себя почему-то правым. Он побледнел и, тихонько от конвоя, успел сунуть в рукав острый английский сапожный нож. Ножи и всякие острые инструменты страшно запрещались в остроге. Обыски были частые, неожиданные и нешуточные, наказания жестокие; но так как трудно отыскать у вора, когда тот решится что-нибудь особенно спрятать, и так как ножи и инструменты были всегдашнею необходимостью в остроге, то, несмотря на обыски, они не переводились. А если и отбирались, то немедленно заводились новые. Вся каторга бросилась к забору и с замиранием сердца смотрела сквозь щели паль. Все знали, что Петров в этот раз не захочет лечь под розги и что майору пришел конец. Но в самую решительную минуту наш майор сел на дрожки и уехал, поручив исполнение экзекуции другому офицеру. «Сам бог спас!» — говорили потом арестанты. Что же касается до Петрова, он преспокойно вытерпел наказание. Его гнев прошел с отъездом майора. Арестант послушен и покорен до известной степени; но есть крайность, которую не надо переходить. Кстати: ничего не может быть любопытнее этих странных вспышек нетерпения и строптивости. Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд, можно даже назвать его сумасшедшим; да так и делают.

Я сказал уже, что в продолжение нескольких лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми. Это факт. Конечно, тщеславие, дурные примеры, молодечество, ложный стыд во многом тому причиною. С другой стороны, кто может сказать, что выследил глубину этих погибших сердец и прочел в них сокровенное от всего света? Но ведь можно же было, во столько лет, хоть что-нибудь заметить, поймать, уловить в этих сердцах хоть какую-нибудь черту, которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании. Но

этого не было, положительно не было. Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают. Конечно, остроги и система насильных работ не исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивают только ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие. Но я твердо уверен, что знаменитая келейная система[*] достигает только ложной, обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, энервирует[*] его душу, ослабляет ее, пугает ее и потом нравственно иссохшую мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния. Конечно, преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. К тому же он уже потерпел от него наказание, а чрез это почти считает себя очищенным, сквитавшимся. Можно судить, наконец, с таких точек зрения, что чуть ли не придется оправдать самого преступника. Но, несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком. Только в остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками. Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и

сослан в работу на двадцать лет. Всё время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, а то, что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил: «Вот *родитель мой*, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь». Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление. Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне всё его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить.

Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!..»

Арестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские слова, ножи, топоры чаще всего приходили им в бреду на язык. «Мы народ битый, — говорили они, — у нас нутро отбитое, оттого и кричим по ночам».

Казенная каторжная крепостная работа была не занятием, а обязанностью: арестант отработывал свой урок или отбывал законные часы работы и шел в острог. На работу смотрели с ненавистью. Без своего особого, собственного занятия, которому бы он предан был всем умом, всем расчетом своим, человек в остроге не мог бы жить. Да и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой? От одной праздности здесь развились бы в нем такие преступные свойства, о которых он прежде не имел и понятия. Без труда и без законной, нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге, вследствие естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие. Длинный летний день почти весь наполнялся казенной

работой; в короткую ночь едва было время выспаться. Но зимой арестант, по положению, как только смеркалось, уже должен быть заперт в остроге. Что же делать в длинные, скучные часы зимнего вечера? И потому почти каждая казарма, несмотря на запрет, обращалась в огромную мастерскую. Собственно труд, занятие не запрещались; но строго запрещалось иметь при себе, в остроге, инструменты, а без этого невозможна была работа. Но работали тихонько, и, кажется, начальство в иных случаях смотрело на это не очень пристально. Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики. Был один еврей, Исай Бумштейн, ювелир, он же и ростовщик. Все они трудились и добывали копейку. Заказы работ добывались из города. Деньги есть чеканенная свобода, а потому для человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро. Если они только брякают у него в кармане, он уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тратить. Но деньги всегда и везде можно тратить, тем более что запрещенный плод вдвое слаще. А в каторге можно было даже иметь и вино. Трубки были строжайше запрещены, но все их курили. Деньги и табак спасали от цинготной и других болезней. Работа же спасала от преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в стклянке. Несмотря на то, и работа и деньги запрещались. Нередко по ночам делались внезапные обыски, отбиралось всё запрещенное, и — как ни прятались деньги, а все-таки иногда попадались сыщикам. Вот отчасти почему они и не береглись, а вскорости пропивались; вот почему заводилось в остроге и вино. После каждого обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего состояния, бывал обыкновенно больно наказан. Но, после каждого обыска, тотчас же пополнялись недостатки, немедленно заводились новые вещи, и всё шло по-старому. И начальство знало об этом, и арестанты не роптали на наказания, хотя такая жизнь похожа была на жизнь поселившихся на горе Везувии.

Кто не имел мастерства, промышлял другим образом. Были способы довольно оригинальные. Иные промышляли, например, одним перекупством, а продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. Но каторга была очень бедна и

чрезвычайно промышленна. Последняя тряпка была в цене и шла в какое-нибудь дело. По бедности же и деньги в остроге имели совершенно другую цену, чем на воле. За большой и сложный труд платилось грошами. Некоторые с успехом промышляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся или разорившийся, нес последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных денег за ужасные проценты. Если он не выкупал эти вещи в срок, то они безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процветало, что принимались под заклад даже казенные смотровые вещи, как-то: казенное белье, сапожный товар и проч., — вещи, необходимые всякому арестанту во всякий момент. Но при таких закладах случался и другой оборот дела, не совсем, впрочем, неожиданный: заложивший и получивший деньги немедленно, без дальних разговоров, шел к старшему унтер-офицеру, ближайшему начальнику острога, доносил о закладе смотровых вещей, и они тотчас же отбирались у ростовщика обратно, даже без доклада высшему начальству. Любопытно, что при этом иногда даже не было и ссоры: ростовщик молча и угрюмо возвращал что следовало и даже как будто сам ожидал, что так будет. Может быть, он не мог не сознаться в себе, что на месте закладчика и он бы так сделал. И потому если ругался иногда потом, то без всякой злобы, а так только, для очистки совести.

Вообще все воровали друг у друга ужасно. Почти у каждого был свой сундук с замком, для хранения казенных вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какие были там искусные воры. У меня один арестант, искренно преданный мне человек (говорю это без всякой натяжки), украл Библию, единственную книгу, которую позволялось иметь в каторге; он в тот же день мне сам сознался в этом, не от раскаяния, но жалея меня, потому что я ее долго искал. Были целовальники, торговавшие вином и быстро обогащавшиеся. Об этой продаже я скажу когда-нибудь особенно; она довольно замечательна. В остроге было много пришедших за контрабанду, и потому нечего удивляться, каким образом, при таких осмотрах и конвоях, в острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру своему, какое-то особенное преступление. Можно ли, например, представить себе, что деньги, выгода, у иного контрабандиста играют второстепенную роль, стоят на втором плане? А между тем бывает именно так. Контрабандист работает по страсти, по

призванию. Это отчасти поэт. Он рискует всем, идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, выпутывается; иногда даже действует по какому-то вдохновению. Это страсть столь же сильная, как и картежная игра. Я знал в остроге одного арестанта, наружностью размера колоссального, но до того кроткого, тихого, смиренного, что нельзя было представить себе, каким образом он очутился в остроге. Он был до того незлобив и уживчив, что во всё время своего пребывания в остроге ни с кем не поссорился. Но он был с западной границы, пришел за контрабанду и, разумеется, не мог утерпеть и пустился проносить вино. Сколько раз его за это наказывали, и как он боялся розог! Да и самый пронос вина доставлял ему самые ничтожные доходы. От вина обогащался только один антрепренер. Чудак любил искусство для искусства. Он был плаксив как баба и сколько раз, бывало, после наказания; клялся и зарекался не носить контрабанды. С мужеством он преодолевал себя иногда по целому месяцу, но наконец все-таки не выдерживал… Благодаря этим-то личностям вино не оскудевало в остроге.

Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но постоянный и благодетельный. Это подаяние. Высший класс нашего общества не имеет понятия, как заботятся о «несчастных» купцы, мещане и весь народ наш. Подаяние бывает почти беспрерывное и почти всегда хлебом, сайками и калачами, гораздо реже деньгами. Без этих подаяний, во многих местах, арестантам, особенно подсудимым, которые содержатся гораздо строже решеных, было бы слишком трудно. Подаяние религиозно делится арестантами поровну. Если недостает на всех, то калачи разрезаются поровну, иногда даже на шесть частей, и каждый заключенный непременно получает себе свой кусок. Помню, как я в первый раз получил денежное подаяние. Это было скоро по прибытии моем в острог. Я возвращался с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Ее муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали. Увидя меня, девочка закраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала ее девочке. Та бросилась бежать за мной… «На, „несчастный“, возьми Христа ради

копеечку!»[*] — кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял ее копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку я долго берег у себя.

## II
## Первые впечатления

Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо представляются теперь моему воображению. Последующие мои острожные годы мелькают в воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем стушевались, слились между собою, оставив по себе одно цельное впечатление: тяжелое, однообразное, удушающее.

Но всё, что я выжил в первые дни моей каторги, представляется мне теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть.

Помню ясно, что с первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашел в ней ничего особенно поражающего, необыкновенного или, лучше сказать, неожиданного. Всё это как будто и прежде мелькало передо мной в воображении, когда я, идя в Сибирь, старался угадать вперед мою долю. Но скоро бездна самых странных неожиданностей, самых чудовищных фактов начала останавливать меня почти на каждом шагу. И уже только впоследствии, уже довольно долго пожив в остроге, осмыслил я вполне всю исключительность, всю неожиданность такого существования и все более и более дивился на него. Признаюсь, что это удивление сопровождало меня во весь долгий срок моей каторги; я никогда не мог примириться с нею.

Первое впечатление мое, при поступлении в острог, вообще было самое отвратительное; но, несмотря на то, — странное дело! — мне показалось, что в остроге гораздо легче жить, чем я воображал себе дорогой. Арестанты, хоть и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино (хотя очень немногие), а по ночам иные заводили картеж. Самая работа, например, показалась мне вовсе не так тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тягость и *каторжность* этой работы не столько в трудности и беспрерывности ее, сколько в том, что она — *принужденная*, обязательная, из-под палки. Мужик на воле работает, пожалуй, и несравненно больше, иногда даже

и по ночам, особенно летом; но он работает на себя, работает с разумною целью, и ему несравненно легче, чем каторжному на вынужденной и совершенно для него бесполезной работе. Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна: арестант делает кирпич, копает землю, штукатурит, строит; в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели. Но так как часть такой пытки, бессмыслицы, унижения и стыда есть непременно и во всякой вынужденной работе, то и каторжная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденная.

Впрочем, я поступил в острог зимою, в декабре месяце, и еще не имел понятия о летней работе, впятеро тяжелейшей. Зимою же в нашей крепости казенных работ вообще было мало. Арестанты ходили на Иртыш ломать старые казенные барки, работали по мастерским, разгребали у казенных зданий снег, нанесенный буранами, обжигали и толкли алебастр и проч. и проч. Зимний день был короток, работа кончалась скоро, и весь наш люд возвращался в острог рано, где ему почти бы нечего было делать, если б не случалось кой-какой своей работы. Но собственной работой занималась, может быть, только треть арестантов, остальные же били баклуши, слонялись без нужды по всем казармам острога, ругались, заводили меж собой интриги, истории, напивались, если навертывались хоть какие-нибудь деньги; по ночам проигрывали в карты последнюю рубашку, и всё это от тоски, от праздности, от нечего делать. Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть

еще одна мука, чуть ли не сильнейшая, чем все другие. Это: *вынужденное общее сожительство*.* Общее сожительство, конечно, есть и в других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большею частью бессознательно.

Также и пища показалась мне довольно достаточною. Арестанты уверяли, что такой нет в арестантских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить: я там не был. К тому же многие имели возможность иметь собственную пищу. Говядина стоила у нас грош за фунт, летом три копейки. Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство же каторги ело казенную. Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная; в артели же всем доставало. Хлеб наш был как-то особенно вкусен и этим славился во всем городе. Приписывали это удачному устройству острожных печей. Щи же были очень неказисты. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и, особенно в будние дни, были жидкие, тощие. Меня ужаснуло в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания.

Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги. Но на другой же день мне пришлось выйти из острога, чтоб перековаться. Кандалы мои были неформенные, кольчатые, «мелкозвон», как называли их арестанты. Они носились наружу. Форменные же острожные кандалы, приспособленные к работе, состояли не из колец, а из четырех железных прутьев, почти в палец толщиною, соединенных между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под панталоны. К серединному кольцу привязывался ремень, который в свою очередь прикреплялся к поясному ремню, надевавшемуся прямо на рубашку.

Помню первое мое утро в казарме. В кордегардии у острожных ворот барабан пробил зорю, и минут через десять караульный унтер-офицер начал отпирать казармы. Стали просыпаться. При тусклом свете, от шестериковой сальной свечи*, подымались арестанты, дрожа от холода, с своих нар. Большая часть была молчалива и угрюма со сна.

Они зевали, потягивались и морщили свои клейменые лбы. Иные крестились, другие уже начинали вздорить. Духота была страшная. Свежий зимний воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. У ведер с водой столпились арестанты; они по очереди брали ковш, набирали в рот воды и умывали себе руки и лицо изо рта. Вода заготовлялась с вечера парашником. Во всякой казарме по положению был один арестант, выбранный артелью, для прислуги в казарме. Он назывался парашником и не ходил на работу. Его занятие состояло в наблюдении за чистотой казармы, в мытье и в скоблении нар и полов, в приносе и выносе ночного ушата и в доставлении свежей воды в два ведра — утром для умывания, а днем для питья. Из-за ковша, который был один, начались немедленно ссоры.

— Куда лезешь, язевый лоб![*] — ворчал один угрюмый высокий арестант, сухощавый и смуглый, с какими-то странными выпуклостями на своем бритом черепе, толкая другого, толстого и приземистого, с веселым и румяным лицом, — постой!

— Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь, монумент вытянулся. То есть никакой-то, братцы, в нем фартикультяпности нет.[*]

«Фартикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того только и надо было веселому толстяку, который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с глубочайшим презрением.

— Бирюлина корова! — проговорил он как бы про себя, — ишь, отъелся на острожном чистяке! * Рад, что к разговенью двенадцать поросят принесет.

Толстяк наконец рассердился.

— Да ты что за птица такая? — вскричал он вдруг, раскрасневшись.

— То и есть, что птица!

— Какая?

— Такая.

— Какая такая?

— Да уж одно слово такая.

— Да какая?

Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как будто хотел тотчас же кинуться в драку. Я и вправду думал, что будет драка. Для меня всё это было ново, и я смотрел с

любопытством. Но впоследствии я узнал, что все подобные сцены были чрезвычайно невинны и разыгрывались, как в комедии, для всеобщего удовольствия; до драки же никогда почти не доходило. Все это было довольно характерно и изображало нравы острога.

Высокий арестант стоял спокойно и величаво. Он чувствовал, что на него смотрят и ждут, осрамится ли он или нет своим ответом; что надо было поддержать себя, доказать, что он действительно птица, и показать, какая именно птица. С невыразимым презрением скосил он глаза на своего противника, стараясь, для большей обиды, посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его как букашку, и медленно и внятно произнес:

— Каган!..

То есть что он птица каган.* Громкий залп хохота приветствовал находчивость арестанта.

— Подлец ты, а не каган! — заревел толстяк, почувствовав, что срезался на всех пунктах, и дойдя до крайнего бешенства.

Но только что ссора стала серьезною, молодцов немедленно осадили.

— Что загалдели! — закричала на них вся казарма.

— Да вы лучше подеритесь, чем горло-то драть! — прокричал кто-то из-за угла.

— Да, держи, подерутся! — раздалось в ответ. — У нас народ бойкий, задорный; семеро одного не боимся…

— Да и оба хороши! Один за фунт хлеба в острог пришел, а другой — крыночная блудница*, у бабы простокишу поел*, за то и кнута хватил.

— Ну-ну-ну! полно вам, — закричал инвалид, проживавший для порядка в казарме и поэтому спавший в углу на особой койке.

— Вода, ребята! Невалид Петрович проснулся! Невалиду Петровичу, родимому братцу!

— Брат… Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! — ворчал инвалид, натягивая в рукава шинель…

Готовились к поверке; начало рассветать; в кухне набралась густая толпа народу, не в прорез. Арестанты толпились в своих полушубках и в половинчатых шапках у хлеба, который резал им один из кашеваров. Кашевары выбирались артелью, в каждую кухню по двое. У них же сохранялся и кухонный нож для резания хлеба и мяса, на всю кухню

один.

По всем углам и около столов разместились арестанты, в шапках, в полушубках и подпоясанные, готовые выйти сейчас на работу. Перед некоторыми стояли деревянные чашки с квасом. В квас крошили хлеб и прихлебывали. Гам и шум был нестерпимый; но некоторые благоразумно и тихо разговаривали по углам.

— Старичку Антонычу хлеб да соль, здравствуй! — проговорил молодой арестант, усаживаясь подле нахмуренного и беззубого арестанта.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — проговорил тот, не поднимая глаз и стараясь ужевать хлеб своими беззубыми деснами.

— А ведь я, Антоныч, думал, что ты помер; право-ну.

— Нет, ты сперва помри, а я после…

Я сел подле них. Справа меня разговаривали два степенные арестанта, видимо стараясь друг перед другом сохранить свою важность.

— У меня небось не украдут, — говорил один, — я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть.

— Ну, да и меня голой рукой не бери: обожгу.

— Да чего обожжешь-то! Такой же варнак; больше и названья нам нет… она тебя оберет, да и не поклонится. Тут, брат, и моя копеечка умылась. Намедни сама пришла. Куда с ней деться? Начал проситься к Федьке-палачу: у него еще в форштадте[*] дом стоял, у Соломонки-паршивого, у жида, купил, вот еще который потом удавился…

— Знаю. Он у нас в третьем годе в целовальниках сидел, а по прозвищу Гришка Темный кабак. Знаю.

— А вот и не знаешь; это другой Темный кабак.

— Как не другой! Знать, ты толсто знаешь! Да я тебе столько посредственников приведу…

— Приведешь! Ты откуда, а я чей?

— Чей! Да я вот тебя и бивал, да не хвастаю, а то еще чей!

— Ты бивал! Да кто меня прибьет, еще тот не родился; а кто бивал, тот в земле лежит.

— Чума бендерская![*]

— Чтоб те язвила язва сибирская!

— Чтоб с тобой говорила турецкая сабля!.. И пошла ругань.

— Ну-ну-ну! Загалдели! — закричали кругом. — На воле не умели

жить; рады, что здесь до чистяка добрались…

Тотчас уймут. Ругаться, «колотить» языком позволяется. Это отчасти и развлечение для всех. Но до драки не всегда допустят, и только разве в исключительном случае враги подерутся. О драке донесут майору; начнутся розыски, приедет сам майор, — одним словом, всем нехорошо будет, а потому-то драка и не допускается. Да и сами враги ругаются больше для развлечения, для упражнения в слоге. Нередко сами себя обманывают, начинают с страшной горячкой, остервенением… думаешь: вот бросятся друг на друга; ничуть не бывало: дойдут до известной точки и тотчас расходятся. Всё это меня сначала чрезвычайно удивляло. Я нарочно привел здесь пример самых обыкновенных каторжных разговоров. Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом забаву, милое упражнение, приятность? Впрочем, не надо забывать и тщеславия. Диалектик-ругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру.

Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят косо.

Я уже поймал несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас же стали подслуживаться: начали учить меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги, сундучок с замком, чтоб спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес в острог. На другой же день они у меня его украли и пропили. Один из них сделался впоследствии преданнейшим мне человеком, хотя и не переставал обкрадывать меня при всяком удобном случае. Он делал это без всякого смущения, почти бессознательно, как будто по обязанности, и на него невозможно было сердиться.

Между прочим, они научили меня, что должно иметь свой чай, что не худо мне завести и чайник, а покамест достали мне на подержание чужой и рекомендовали мне кашевара, говоря, что копеек за тридцать в месяц он будет стряпать мне что угодно, если я пожелаю есть особо и покупать себе провиант… Разумеется, они заняли у меня денег, и каждый из них в один первый день приходил занимать раза по три.

На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно.

Несмотря на то что те уже лишены всех своих прав состояния и

вполне сравнены с остальными арестантами, — арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренно признавали нас за дворян, несмотря на то что сами же любили дразнить нас нашим падением.

— Нет, теперь полно, постой! Бывало, Петр через Москву прет, а нынче Петр веревки вьет, — и проч. и проч. любезности.

Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе, за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать. Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь.

В каторге было несколько человек из дворян. Во-первых, человек пять поляков. Об них я поговорю когда-нибудь особо. Каторжные страшно не любили поляков, даже больше, чем ссыльных из русских дворян. Поляки (я говорю об одних политических преступниках) были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения, а те понимали это очень хорошо и платили той же монетою.

Мне надо было почти два года прожить в остроге, чтоб приобресть расположение некоторых из каторжных. Но большая часть из них наконец меня полюбила и признала за «хорошего» человека.

Из русских дворян, кроме меня, было четверо. Один — низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода в острог и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой — тот самый отцеубийца, о котором я уже говорил в своих записках. Третий был Аким Акимыч; редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним; но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними запанибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. Заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хоть бы не его было дело. Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. Служил он на Кавказе прапорщиком. Мы

сошлись с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело. Начал он на Кавказе же, с юнкеров, по пехотному полку, долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирной князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение; оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд; уличал и укорял князька всенародно; доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед, и, в заключение, расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За всё это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда, в крепостях, на двенадцать лет. Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам; но, несмотря на то что знал это, он как будто никак не мог понять своей вины настоящим образом:

— Да помилуйте! Ведь он зажег мою крепость? Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это! — говорил он мне, отвечая на мои возражения.

Но, несмотря на то что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость.

Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой: взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги.

Выходя из острога на работу, арестанты строились перед кордегардией в два ряда; спереди и сзади арестантов выстроивались конвойные солдаты с заряженными ружьями. Являлись: инженерный офицер, кондуктор* и несколько инженерных нижних чинов, приставов над работами. Кондуктор рассчитывал арестантов и посылал их

партиями куда нужно на работу.

Вместе с другими я отправился в инженерную мастерскую. Это было низенькое каменное здание, стоявшее на большом дворе, заваленном разными матерьялами. Тут была кузница, слесарня, столярная, малярная и проч. Аким Акимыч ходил сюда и работал в малярной, варил олифу, составлял краски и разделывал столы и мебель под орех.

В ожидании перековки я разговорился с Акимом Акимычем о первых моих впечатлениях в остроге.

— Да-с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съесть рады;* немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с? Здесь, я вам скажу, жить трудно. А в российских арестантских ротах еще труднее-с. Вот у нас есть оттуда, так не нахвалятся нашим острогом, точно из ада в рай перешли. Не в работе беда-с. Говорят, там, в первом-то разряде, начальство не совершенно военное-с, по крайней мере другим манером, чем у нас, поступает-с. Там, говорят, ссыльный может жить своим домком. Я там не был, да так говорят-с. Не бреют; в мундирах не ходят-с; хотя, впрочем, оно и хорошо, что у нас они в мундирном виде и бритые; все-таки порядку больше, да и глазу приятнее-с. Да только им-то это не нравится. Да и посмотрите, сброд-то какой-с! Иной из кантонистов,* другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, семью, детей милых оставил на родине, пятый жид, шестой цыган, седьмой неизвестно кто, и все-то они должны ужиться вместе во что бы то ни стало, согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах. Да и воля-то какая: лишний кусок можно съесть только украдкой, всякий грош в сапоги прятать, и всё только и есть, что острог да острог… Поневоле дурь пойдет в голову.

Но это я уж знал. Мне особенно хотелось расспросить о нашем майоре. Аким Акимыч не секретничал, и, помню, впечатление мое было не совсем приятное.

Но еще два года мне суждено было прожить под его начальством. Всё, что рассказал мне о нем Аким Акимыч, оказалось вполне справедливым, с тою разницею, что впечатление действительности всегда сильнее, чем впечатление от простого рассказа. Страшный был

это человек именно потому, что такой человек был начальником, почти неограниченным, над двумястами душ. Сам по себе он только был беспорядочный и злой человек, больше ничего. На арестантов он смотрел как на своих естественных врагов, и это была первая и главная ошибка его. Он действительно имел некоторые способности; но все, даже и хорошее, представлялось в нем в таком исковерканном виде. Невоздержный, злой, он врывался в острог даже иногда по ночам, а если замечал, что арестант спит на левом боку или навзничь, то наутро его наказывал: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал». В остроге его ненавидели и боялись как чумы. Лицо у него было багровое, злобное. Все знали, что он был вполне в руках своего денщика, Федьки. Любил же он больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном; прогнал одного ветеринара и, по своему обыкновению, чуть не подрался с ним и, услышав от Федьки, что в остроге есть арестант, ветеринар-самоучка, который лечил чрезвычайно удачно, немедленно призвал его.

— Выручи! Озолочу тебя, вылечи Трезорку! — закричал он арестанту.

Это был мужик-сибиряк, хитрый, умный, действительно очень ловкий ветеринар, но вполне мужичок.

— Смотрю я на Трезорку, — рассказывал он потом арестантам, впрочем, долго спустя после своего визита к майору, когда уже всё дело было забыто, — смотрю: лежит пес на диване, на белой подушке; и ведь вижу, что воспаление, что надоть бы кровь пустить, и вылечился бы пес, ей-ей говорю! да думаю про себя: «А что, как не вылечу, как околеет?» «Нет, говорю, ваше высокоблагородие, поздно позвали; кабы вчера или третьего дня, в это же время, так вылечил бы пса; а теперь не могу, не вылечу…»

Так и умер Трезорка.

Мне рассказывали в подробности, как хотели убить нашего майора. Был в остроге один арестант. Он жил у нас уже несколько лет и отличался своим кротким поведением. Замечали тоже, что он почти ни с кем никогда не говорил. Его так и считали каким-то юродивым. Он был грамотный и весь последний год постоянно читал Библию, читал и днем и ночью. Когда все засыпали, он вставал в полночь, зажигал восковую церковную свечу, влезал на печку, раскрывал книгу и читал до утра. В

один день он пошел и объявил унтер-офицеру, что не хочет идти на работу. Доложили майору; тот вскипел и прискакал немедленно сам. Арестант бросился на него с приготовленным заранее кирпичом, но промахнулся. Его схватили, судили и наказали. Всё произошло очень скоро. Через три дня он умер в больнице. Умирая, он говорил, что не имел ни на кого зла, а хотел только пострадать. Он, впрочем, не принадлежал ни к какой раскольничьей секте. В остроге вспоминали о нем с уважением.

Наконец меня перековали. Между тем в мастерскую явились одна за другою несколько калашниц. Иные были совсем маленькие девочки. До зрелого возраста они ходили обыкновенно с калачами; матери пекли, а они продавали. Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей; так почти всегда водилось. Были и не девочки. Калач стоил грош, и арестанты почти все их покупали.

Я заметил одного арестанта, столяра, уже седенького, но румяного и с улыбкой заигрывавшего с калашницами. Перед их приходом он только что навертел на шею красненький кумачный платочек. Одна толстая и совершенно рябая бабенка поставила на его верстак свою сельницу[*]. Между ними начался разговор.

— Что ж вы вчера не приходили туда? — заговорил арестант с самодовольной улыбочкой.

— Вот! Я пришла, а вас Митькой звали, — отвечала бойкая бабенка.

— Нас потребовали, а то бы мы неизменно находились при месте… А ко мне третьего дня все ваши приходили.

— Кто да кто?

— Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда приходила, Двугрошовая приходила…

— Это что же? — спросил я Акима Акимыча, — неужели?..

— Бывает-с, — отвечал он, скромно опустив глаза, потому что был чрезвычайно целомудренный человек.

Это, конечно, бывало, но очень редко и с величайшими трудностями. Вообще было больше охотников, например, хоть выпить, чем на такое дело, несмотря на всю естественную тягость вынужденной жизни. До женщин было трудно добраться. Надо было выбирать время, место, условливаться, назначать свидания, искать уединения, что было особенно трудно, склонять конвойных, что было еще труднее, и вообще

тратить бездну денег, судя относительно. Но все-таки мне удавалось впоследствии, иногда, быть свидетелем и любовных сцен. Помню, однажды летом мы были втроем в каком-то сарае на берегу Иртыша и протапливали какую-то обжигательную печку; конвойные были добрые. Наконец, явились две «суфлеры»[*], как называют их арестанты.

— Ну, что так засиделись? Небось у Зверковых? — встретил их арестант, к которому они пришли, давно уже их ожидавший.

— Я засиделась? Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них, посидела, — отвечала весело девица.

Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была Чекунда. С ней вместе пришла Двугрошовая. Эта уже была вне всякого описания.

— И с вами давно не видались, — продолжал волокита, обращаясь к Двугрошовой, — что это вы словно как похудели?

— А может быть. Прежде-то я куды была толстая, а теперь — вот словно иглу проглотила.

— Всё по солдатикам-с?

— Нет уж это вам про нас злые люди набухвостили[*]; а впрочем, что ж-с? Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить![*]

— А вы их бросьте, а нас любите; у нас деньги есть…

В довершение картины представьте себе этого волокиту, бритого, в кандалах, полосатого и под конвоем.

Я простился с Акимом Акимычем и, узнав, что мне можно воротиться в острог, взял конвойного и пошел домой. Народ уже сходился. Прежде всех возвращаются с работы работающие на уроки. Единственное средство заставить арестанта работать усердно, это — задать ему урок. Иногда уроки задаются огромные, но все-таки они кончаются вдвое скорее, чем если б заставили работать вплоть до обеденного барабана. Окончив урок, арестант беспрепятственно шел домой, и уже никто его не останавливал.

Обедают не вместе, а как попало, кто раньше пришел; да и кухня не вместила бы всех разом. Я попробовал щей, но с непривычки не мог их есть и заварил себе чаю. Мы уселись на конце стола. Со мной был один товарищ, так же как и я, из дворян.

Арестанты приходили и уходили. Было, впрочем, просторно, еще не все собрались. Кучка в пять человек уселась особо за большим столом. Кашевар налил им в две чашки щей и поставил на стол целую латку с жареной рыбой. Они что-то праздновали и ели свое. На нас они

поглядели искоса. Вошел один поляк и сел рядом с нами.

— Дома не был, а всё знаю! — громко закричал один высокий арестант, входя в кухню и взглядом окидывая всех присутствующих.

Он был лет пятидесяти, мускулист и сухощав. В лице его было что-то лукавое и вместе веселое. В особенности замечательна была его толстая, нижняя, отвисшая губа; она придавала его лицу что-то чрезвычайно комическое.

— Ну, здорово ночевали! Что ж не здороваетесь? Нашим курским! — прибавил он, усаживаясь подле обедавших свое кушанье, — хлеб да соль! Встречайте гостя.

— Да мы, брат, не курские.

— Аль тамбовским?

— Да и не тамбовские. С нас, брат, тебе нечего взять. Ты ступай к богатому мужику, там проси.

— В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна[*]; а где он, богатый мужик, живет?

— Да вон Газин богатый мужик; к нему и ступай.

— Кутит, братцы, сегодня Газин, запил: весь кошель пропивает.

— Целковых двадцать есть, — заметил другой. — Выгодно, братцы, целовальником быть.

— Что ж, не примете гостя? Ну, так похлебаем и казенного.

— Да ты ступай проси чаю. Вон баре пьют.

— Какие баре, тут нет бар; такие же, как и мы теперь, — мрачно промолвил один, сидевший в углу арестант. До сих пор он не проговорил слова.

— Напился бы чаю, да просить совестно: мы с анбицией! — заметил арестант с толстой губой, добродушно смотря на нас.

— Если хотите, я вам дам, — сказал я, приглашая арестанта, — угодно?

— Угодно? Да уж как не угодно! — Он подошел к столу.

— Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал; господского питья захотелось, — проговорил мрачный арестант.

— А разве здесь никто не пьет чаю? — спросил я его, но он не удостоил меня ответом.

— Вот и калачи несут. Уж удостойте и калачика!

Внесли калачи. Молодой арестант нес целую связку и распродавал ее по острогу. Калашница уступала ему десятый калач; на этот-то калач

он и рассчитывал.

— Калачи, калачи! — кричал он, входя в кухню, — московские, горячие! Сам бы ел, да денег надо. Ну, ребята, последний калач остался: у кого мать была?

Это воззвание к материнской любви рассмешило всех, и у него взяли несколько калачей.

— А что, братцы, — проговорил он, — ведь Газин-то сегодня догуляется до греха! Ей-богу! Когда гулять вздумал. Неравно осмиглазый приедет.

— Спрячут. А что, крепко пьян?

— Куды! Злой, пристает.

— Ну, так догуляется до кулаков…

— Про кого они говорят? — спросил я поляка, сидевшего рядом со мною.

— Это Газин, арестант. Он торгует здесь вином. Когда наторгует денег, тотчас же их пропивает. Он жесток и зол; впрочем, трезвый смирен; когда же напьется, то весь наружу; на людей с ножом кидается. Тут уж его унимают.

— Как же унимают?

— На него бросаются человек десять арестантов и начинают ужасно бить, до тех пор, пока он не лишится всех чувств, то есть бьют до полусмерти. Тогда укладывают его на нары и накрывают полушубком.

— Да ведь они могут его убить?

— Другого бы убили, но его нет. Он ужасно силен, сильнее здесь всех в остроге и самого крепкого сложения. На другое же утро он встает совершенно здоровый.

— Скажите, пожалуйста, — продолжал я расспрашивать поляка, — ведь вот они тоже едят свое кушанье, а я пью чай. А между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это значит?

— Это не за чай, — отвечал поляк. — Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них не похожи. Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унизить. Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть. Вы еще не раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то что здесь очень многие и очень

часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай. Им можно, а вам нельзя.

Проговорив это, он встал и ушел из-за стола. Через несколько минут сбылись и слова его…

## III
## Первые впечатления

Только что ушел М-цкий (тот поляк, который говорил со мною), Газин, совершенно пьяный, ввалился в кухню.

Пьяный арестант, среди бела дня, в будний день, когда все обязаны были выходить на работу, при строгом начальнике, который каждую минуту мог приехать в острог, при унтер-офицере, заведующем каторжными и находящемся в остроге безотлучно, при караульных, при инвалидах — одним словом, при всех этих строгостях совершенно спутывал все зарождающиеся во мне понятия об арестантском житье-бытье. И довольно долго пришлось мне прожить в остроге, прежде чем я разъяснил себе все такие факты, столь загадочные для меня в первые дни моей каторги.

Я говорил уже, что у арестантов всегда была собственная работа и что эта работа — естественная потребность каторжной жизни; что, кроме этой потребности, арестант страстно любит деньги и ценит их выше всего, почти наравне с свободой, и что он уже утешен, если они звенят у него в кармане. Напротив, он уныл, грустен, беспокоен и падает духом, если их нет, и тогда он готов и на воровство и на что попало, только бы их добыть. Но, несмотря на то что в остроге деньги были такою драгоценностью, они никогда не залеживались у счастливца, их имеющего. Во-первых, трудно было их сохранить, чтоб не украли или не отобрали. Если майор добирался до них, при внезапных обысках, то немедленно отбирал. Может быть, он употреблял их на улучшение арестантской пищи; по крайней мере они приносились к нему. Но всего чаще их крали: ни на кого нельзя было положиться. Впоследствии у нас открыли способ сохранять деньги с полною безопасностью. Они отдавались на сохранение старику староверу, поступившему к нам из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев[*]…Но не могу утерпеть, чтоб не сказать о нем

несколько слов, хотя и отвлекаюсь от предмета.

Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни. Прислали его за чрезвычайно важное преступление. Между стародубовскими старообрядцами стали появляться обращенные. Правительство сильно поощряло их и стало употреблять все усилия для дальнейшего обращения и других несогласных. Старик, вместе с другими фанатиками, решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая церковь*, и они сожгли ее. Как один из зачинщиков старик сослан был в каторжную работу. Был он зажиточный, торгующий мещанин; дома оставил жену, детей; но с твердостью пошел в ссылку, потому что в ослеплении своем считал ее «мукою за веру». Прожив с ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий как дитя человек быть бунтовщиком? Я несколько раз заговаривал с ним «о вере». Он не уступал ничего из своих убеждений; но никогда никакой злобы, никакой ненависти не было в его возражениях. А между тем он разорил церковь и не запирался в этом. Казалось, что, по своим убеждениям, свой поступок и принятые за него «муки» он должен бы был считать славным делом. Но как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия или гордости не замечал я в нем. Были у нас в остроге и другие старообрядцы, большею частью сибиряки. Это был сильно развитой народ, хитрые мужики, чрезвычайные начетчики* и буквоеды и по-своему сильные диалектики; народ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый в высочайшей степени. Совсем другой человек был старик. Начетчик, может быть, больше их, он уклонялся от споров. Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся — не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека*, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек

хороший. Во всем остроге старик приобрел всеобщее уважение, которым нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его. Я отчасти понял, какое мог он иметь влияние на своих единоверцев. Но, несмотря на видимую твердость, с которою он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи (той самой, на которой прежде него по ночам молился зачитавшийся арестант, хотевший убить майора) и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: «Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!» Не могу рассказать, как мне стало грустно. Вот этому-то старику мало-помалу почти все арестанты начали отдавать свои деньги на хранение. В каторге почти все были воры, но вдруг все почему-то уверились, что старик никак не может украсть. Знали, что он куда-то прятал врученные ему деньги, но в такое потаенное место, что никому нельзя было их отыскать. Впоследствии мне и некоторым из поляков он объяснил свою тайну. В одной из паль был сучок, по-видимому твердо сросшийся с деревом. Но он вынимался, и в дереве оказалось большое углубление. Туда-то дедушка прятал деньги и потом опять вкладывал сучок, так что никто никогда не мог ничего отыскать.

Но я отклонился от рассказа. Я остановился на том, почему в кармане у арестанта не залеживались деньги. Но, кроме труда уберечь их, в остроге было столько тоски; арестант же, по природе своей, существо до того жаждущее свободы и, наконец, по социальному своему положению, до того легкомысленное и беспорядочное, что его, естественно, влечет вдруг «развернуться на все», закутить на весь капитал, с громом и с музыкой, так, чтоб забыть, хоть на минуту, тоску свою. Даже странно было смотреть, как иной из них работает, не разгибая шеи, иногда по нескольку месяцев, единственно для того, чтоб в один день спустить весь заработок, всё дочиста, а потом опять, до нового кутежа, несколько месяцев корпеть за работой. Многие из них любили заводить себе обновки, и непременно партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные, черные штаны, поддевки, сибирки[*]. В большом употреблении были тоже ситцевые рубашки и пояса с медными бляхами. Рядились в праздники, и разрядившийся непременно,

бывало, пройдет по всем казармам показать себя всему свету. Довольство хорошо одетого доходило до ребячества; да и во многом арестанты были совершенные дети. Правда, все эти хорошие вещи как-то вдруг исчезали от хозяина, иногда в тот же вечер закладывались и спускались за бесценок. Впрочем, кутеж развертывался постепенно. Пригонялся он обыкновенно или к праздничным дням, или к дням именин кутившего. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед. Покупалась говядина, рыба, делались сибирские пельмени; он наедался как вол, почти всегда один, редко приглашая товарищей разделить свою трапезу. Потом появлялось и вино: именинник напивался как стелька и непременно ходил по казармам, покачиваясь и спотыкаясь, стараясь показать всем, что он пьян, что он «гуляет», и тем заслужить всеобщее уважение. Везде в русском народе к пьяному чувствуется некоторая симпатия; в остроге же к загулявшему даже делались почтительны. В острожной гульбе был своего рода аристократизм. Развеселившись, арестант непременно нанимал музыку. Был в остроге один полячок из беглых солдат, очень гаденький, но игравший на скрипке и имевший при себе инструмент — всё свое достояние. Ремесла он не имел никакого и тем только и промышлял, что нанимался к гуляющим играть веселые танцы. Должность его состояла в том, чтоб безотлучно следовать за своим пьяным хозяином из казармы в казарму и пилить на скрипке изо всей мочи. Часто на лице его являлась скука, тоска. Но окрик: «Играй, деньги взял!» — заставлял его снова пилить и пилить. Арестант, начиная гулять, мог быть твердо уверен, что если он уж очень напьется, то за ним непременно присмотрят, вовремя уложат спать и всегда куда-нибудь спрячут при появлении начальства, и всё это совершенно бескорыстно. С своей стороны, унтер-офицер и инвалиды, жившие для порядка в остроге, могли быть тоже совершенно спокойны: пьяный не мог произвести никакого беспорядка. За ним смотрела вся казарма, и если б он зашумел, забунтовал — его бы тотчас же усмирили, даже просто связали бы. А потому низшее острожное начальство смотрело на пьянство сквозь пальцы, да и не хотело замечать. Оно очень хорошо знало, что не позволь вина, так будет и хуже. Но откуда же доставалось вино?

Вино покупалось в остроге же у так называемых целовальников. Их было несколько человек, и торговлю свою они вели беспрерывно и

успешно, несмотря на то что пьющих и «гуляющих» было вообще немного, потому что гульба требовала денег, а арестантские деньги добывались трудно. Торговля начиналась, шла и разрешалась довольно оригинальным образом. Иной арестант, положим, не имеет ремесла и не желает трудиться (такие бывали), но хочет иметь деньги и притом человек нетерпеливый, хочет скоро нажиться. У него есть несколько денег для начала, и он решается торговать вином: предприятие смелое, требующее большого риску. Можно было за него поплатиться спиной и разом лишиться товара и капитала. Но целовальник на то идет. Денег у него сначала немного, и потому в первый раз он сам проносит в острог вино и, разумеется, сбывает его выгодным образом. Он повторяет опыт второй и третий раз, и если не попадается начальству, то быстро расторговывается, и только тогда основывает настоящую торговлю на широких основаниях: делается антрепренером, капиталистом, держит агентов и помощников, рискует гораздо меньше, а наживается всё больше и больше. Рискуют за него помощники.

В остроге всегда бывает много народу промотавшегося, проигравшегося, прогулявшего всё до копейки, народу без ремесла, жалкого и оборванного, но одаренного до известной степени смелостью и решимостью. У таких людей остается, в виде капитала, в целости одна только спина; она может еще служить к чему-нибудь, и вот этот-то последний капитал промотавшийся гуляка и решается пустить в оборот. Он идет к антрепренеру и нанимается к нему для проноски в острог вина; у богатого целовальника таких работников несколько. Где-нибудь вне острога существует такой человек — из солдат, из мещан, иногда даже девка, — который на деньги антрепренера и за известную премию, сравнительно очень немалую, покупает в кабаке вино и скрывает его где-нибудь в укромном местечке, куда арестанты приходят на работу. Почти всегда поставщик первоначально испробывает доброту водки и отпитое бесчеловечно добавляет водой; бери не бери, да арестанту и нельзя быть слишком разборчивым: и то хорошо, что еще не совсем пропали его деньги и доставлена водка, хоть какая-нибудь, да все-таки водка. К этому-то поставщику и являются указанные ему наперед от острожного целовальника проносители, с бычачьими кишками. Эти кишки сперва промываются, потом наливаются водой и, таким образом, сохраняются в первоначальной влажности и растяжимости, чтобы со временем быть удобными к воспринятию водки. Налив кишки водкой,

арестант обвязывает их кругом себя, по возможности в самых скрытных местах своего тела. Разумеется, при этом выказывается вся ловкость, вся воровская хитрость контрабандиста. Его честь отчасти затронута; ему надо надуть и конвойных и караульных. Он их надувает: у хорошего вора конвойный, иногда какой-нибудь рекрутик, всегда прозевает. Разумеется, конвойный изучается предварительно; к тому же принимается в соображение время, место работы. Арестант, например печник, полезет на печь: кто увидит, что он там делает? Не лезть же за ним и конвойному. Подходя к острогу, он берет в руки монетку — пятнадцать или двадцать копеек серебром, на всякий случай, и ждет у ворот ефрейтора. Всякого арестанта, возвращающегося с работы, караульный ефрейтор осматривает кругом и ощупывает и потом уже отпирает ему двери острога. Проноситель вина обыкновенно надеется, что посовестятся слишком подробно его ощупывать в некоторых местах. Но иногда пролаз ефрейтор добирается и до этих мест и нащупывает вино. Тогда остается одно последнее средство: контрабандист молча и скрытно от конвойного сует в руки ефрейтора затаенную в руке монетку. Случается, что вследствие такого маневра он проходит в острог благополучно и проносит вино. Но иногда маневр не удается, и тогда приходится рассчитаться своим последним капиталом, то есть спиной. Докладывают майору, капитал секут, и секут больно, вино отбирается в казну, и контрабандист принимает всё на себя, не выдавая антрепренера, но, заметим себе, не потому, чтоб гнушался доноса, а единственно потому, что донос для него невыгоден: его бы все-таки высекли; всё утешение было бы в том, что их бы высекли обоих. Но антрепренер ему еще нужен, хотя, по обычаю и по предварительному договору, за высеченную спину контрабандист не получает с антрепренера ни копейки. Что же касается вообще доносов, то они обыкновенно процветают. В остроге доносчик не подвергается ни малейшему унижению; негодование к нему даже немыслимо. Его не чуждаются, с ним водят дружбу, так что если б вы стали в остроге доказывать всю гадость доноса, то вас бы совершенно не поняли. Тот арестант из дворян, развратный и подлый, с которым я прервал все сношения, водил дружбу с майорским денщиком Федькой и служил у него шпионом, а тот передавал всё услышанное им об арестантах майору. У нас все это знали, и никто никогда даже и не вздумал наказать или хоть бы укорить негодяя.

Но я отклонился в сторону. Разумеется, бывает, что вино проносится и благополучно; тогда антрепренер принимает принесенные кишки, заплатив за них деньги, и начинает рассчитывать. По расчету оказывается, что товар стоит уже ему очень дорого; а потому, для больших барышей, он переливает его еще раз, сызнова разбавляя еще раз водой, чуть не наполовину, и, таким образом приготовившись совершенно, ждет покупателя. В первый же праздник, а иногда в будни, покупатель является: это арестант, работавший несколько месяцев, как кордонный вол, и скопивший копейку, чтобы пропить всё в заранее определенный для того день. Этот день еще задолго до своего появления снился бедному труженику и во сне, и в счастливых мечтах за работой и обаянием своим поддерживал его дух на скучном поприще острожной жизни. Наконец заря светлого дня появляется на востоке; деньги скоплены, не отобраны, не украдены, и он их несет целовальнику. Тот подает ему сначала вино, по возможности чистое, то есть всего только два раза разбавленное; но по мере отпивания из бутылки всё отпитое немедленно добавляется водой. За чашку вина платится впятеро, вшестеро больше, чем в кабаке. Можно представить себе, сколько нужно выпить таких чашек и сколько заплатить за них денег, чтоб напиться! Но, по отвычке от питья и от предварительного воздержания, арестант хмелеет довольно скоро и обыкновенно продолжает пить до тех пор, пока не пропьет все свои деньги. Тогда идут в ход все обновки: целовальник в то же время и ростовщик. Сперва поступают к нему новозаведенные партикулярные вещи, потом доходит и до старого хлама, а наконец, и до казенных вещей. С пропитием всего, до последней тряпки, пьяница ложится спать и на другой день, проснувшись с неминуемой трескотней в голове, тщетно просит у целовальника хоть глоток вина на похмелье. Грустно переносит он невзгоду, и в тот же день принимается опять за работу, и опять несколько месяцев работает, не разгибая шеи, мечтая о счастливом кутежном дне, безвозвратно канувшем в вечность, и мало-помалу начиная ободряться и поджидать другого такого же дня, который еще далеко, но который все-таки придет же когда-нибудь в свою очередь.

Что же касается целовальника, то, наторговав наконец огромную сумму, несколько десятков рублей, он заготовляет последний раз вино и уже не разбавляет его водой, потому что назначает его для себя; довольно торговать: пора и самому попраздновать! Начинается кутеж,

питье, еда, музыка. Средства большие; задобривается даже и ближайшее, низшее, острожное начальство. Кутеж иногда продолжается по нескольку дней. Разумеется, заготовленное вино скоро пропивается; тогда гуляка идет к другим целовальникам, которые уже поджидают его, и пьет до тех пор, пока не пропивает всего до копейки. Как ни оберегают арестанты гуляющего, но иногда он попадается на глаза высшему начальству, майору или караульному офицеру. Его берут в кордегардию, обирают его капиталы, если найдут их на нем, и в заключение секут. Встряхнувшись, он приходит обратно в острог и чрез несколько дней снова принимается за ремесло целовальника. Иные из гуляк, разумеется богатенькие, мечтают и о прекрасном поле. За большие деньги они пробираются иногда, тайком, вместо работы, куда-нибудь из крепости на форштадт, в сопровождении подкупленного конвойного. Там, в каком-нибудь укромном домике, где-нибудь на самом краю города, задается пир на весь мир и ухлопываются действительно большие суммы. За деньги и арестантом не брезгают; конвойный же подбирается как-нибудь заранее, с знанием дела. Обыкновенно такие конвойные сами — будущие кандидаты в острог. Впрочем, за деньги всё можно сделать, и такие путешествия остаются почти всегда в тайне. Надо прибавить, что они весьма редко случаются; на это надо много денег, и любители прекрасного пола прибегают к другим средствам, совершенно безопасным.

Еще с первых дней моего острожного житья один молодой арестант, чрезвычайно хорошенький мальчик, возбудил во мне особенное любопытство. Звали его Сироткин. Был он довольно загадочное существо во многих отношениях. Прежде всего меня поразило его прекрасное лицо; ему было не более двадцати трех лет от роду. Находился он в особом отделении, то есть в бессрочном, следственно, считался одним из самых важных военных преступников. Тихий и кроткий, он говорил мало, редко смеялся. Глаза у него были голубые, черты правильные, личико чистенькое, нежное, волосы светло-русые. Даже полуобритая голова мало его безобразила: такой он был хорошенький мальчик. Ремесла он не имел никакого, но деньги добывал хоть понемногу, но часто. Был он приметно ленив, ходил неряхой. Разве кто другой оденет его хорошо, иногда даже в красную рубашку, и Сироткин, видимо, рад обновке: ходит по казармам, себя показывает. Он не пил, в карты не играл, почти ни с кем не ссорился. Ходит, бывало,

за казармами — руки в карманах, смирный, задумчивый. О чем он мог думать, трудно было себе и представить. Окликнешь иногда его, из любопытства, спросишь о чем-нибудь, он тотчас же ответит и даже как-то почтительно, не по-арестантски, но всегда коротко, неразговорчиво; глядит же на вас как десятилетний ребенок. Заведутся у него деньги — он не купит себе чего-нибудь необходимого, не отдаст починить куртку, не заведет новых сапогов, а купит калачика, пряничка и скушает, — точно ему семь лет от роду. «Эх ты, Сироткин! — говорят, бывало, ему арестанты, — сирота ты казанская!» В нерабочее время он обыкновенно скитается по чужим казармам; все почти заняты своим делом, одному ему нечего делать. Скажут ему что-нибудь, почти всегда в насмешку (над ним и его товарищами таки часто посмеивались), — он, не сказав ни слова, поворотится и идет в другую казарму; а иногда, если уж очень просмеют его, покраснеет. Часто я думал: за что это смирное, простодушное существо явилось в острог? Раз я лежал в больнице в арестантской палате. Сироткин был также болен и лежал подле меня; как-то под вечер мы с ним разговорились; он невзначай одушевился и, к слову, рассказал мне, как его отдавали в солдаты, как, провожая его, плакала над ним его мать и как тяжело ему было в рекрутах. Он прибавил, что никак не мог вытерпеть рекрутской жизни: потому что там все были такие сердитые, строгие, а командиры всегда почти были им недовольны…

— Как же кончилось? — спросил я. — За что ж ты сюда-то попал? Да еще в особое отделение… Ах ты, Сироткин, Сироткин!

— Да я-с, Александр Петрович, всего год пробыл в батальоне; а сюда пришел за то, что Григорья Петровича, моего ротного командира, убил.

— Слышал я это, Сироткин, да не верю. Ну, кого ты мог убить?

— Так случилось, Александр Петрович. Уж оченно мне тяжело стало.

— Да как же другие-то рекруты живут? Конечно, тяжело сначала, а потом привыкают, и, смотришь, выходит славный солдат. Тебя, должно быть, мать забаловала; пряничками да молочком до восемнадцати лет кормила.

— Матушка-то меня, правда, очень любила-с. Когда я в некруты пошел, она после меня слегла да, слышно, и не вставала… Горько мне уж очень под конец по некрутству стало. Командир невзлюбил, за всё

наказывает, — а и за что-с? Я всем покоряюсь, живу в аккурат; винишка не пью, ничем не заимствуюсь; а уж это, Александр Петрович, плохое дело, коли чем заимствуется человек. Все кругом такие жестокосердые, — всплакнуть негде. Бывало, пойдешь куда за угол да там и поплачешь. Вот и стою я раз в карауле. Уж ночь; поставили меня на часы, на абвахте, у сошек[*]. Ветер: осень была, а темень такая, что хоть глаз раздери. И так тошно, тошно мне стало! Взял я к ноге ружье, штык отомкнул, положил подле; скинул правый сапог, дуло наставил себе в грудь, налег на него и большим пальцем ноги спустил курок. Смотрю — осечка! Я ружье осмотрел, прочистил затравку, пороху нового подсыпал, кремешок пообил и опять к груди приставил. Что же-с? порох вспыхнул, а выстрела опять нет! Что ж это, думаю? Взял я, надел сапог, штык примкнул, молчу и расхаживаю. Тут-то я и положил это дело сделать: хоть куда хошь, только вон из некрутства! Через полчаса едет командир; главным рундом правил[*]. Прямо на меня: «Разве так стоят в карауле?» Я взял ружье на руку, да и всадил в него штык по самое дуло. Четыре тысячи прошел, да и сюда, в особое отделение…

Он не лгал. Да и за что же его прислали бы в особое отделение? Обыкновенные преступления наказываются гораздо легче. Впрочем, только один Сироткин и был из всех своих товарищей такой красавчик. Что же касается других, подобных ему, которых было у нас всех человек до пятнадцати, то даже странно было смотреть на них: только два-три лица были еще сносны; остальные же все такие вислоухие, безобразные, неряхи; иные даже седые. Если позволят обстоятельства, я скажу когда-нибудь о всей этой кучке подробнее. Сироткин же часто был дружен с Газиным, тем самым, по поводу которого я начал эту главу, упомянув, что он пьяный ввалился в кухню и что это спутало мои первоначальные понятия об острожной жизни. Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть свирепее, чудовищнее его. Я видел в Тобольске знаменитого своими злодеяниями разбойника Каменева; видел потом Соколова, подсудимого арестанта, из беглых солдат, страшного убийцу. Но ни один из них не производил на меня такого отвратительного впечатления, как Газин. Мне иногда представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен, сильнее

всех в остроге; росту выше среднего, сложения геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. В остроге носились об нем странные слухи: знали, что он был из военных; но арестанты толковали меж собой, не знаю, правда ли, что он беглый из Нерчинска; в Сибирь сослан был уже не раз, бегал не раз, переменял имя и наконец-то попал в наш острог, в особое отделение. Рассказывали тоже про него, что он любил прежде резать маленьких детей, единственно из удовольствия: заведет ребенка куда-нибудь в удобное место; сначала напугает его, измучает и, уже вполне насладившись ужасом и трепетом бедной маленькой жертвы, зарежет ее тихо, медленно, с наслаждением. Всё это, может быть, и выдумывали, вследствие общего тяжелого впечатления, которое производил собою на всех Газин, но все эти выдумки как-то шли к нему, были к лицу. А между тем в остроге он вел себя, не пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. Был всегда тих, ни с кем никогда не ссорился и избегал ссор, но как будто от презрения к другим, как будто считая себя выше всех остальных; говорил очень мало и был как-то преднамеренно несообщителен. Все движения его были медленные, спокойные, самоуверенные. По глазам его было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и жестокое было всегда в лице его и в улыбке. Он торговал вином и был в остроге одним из самых зажиточных целовальников. Но в год раза два ему приходилось напиваться самому пьяным, и вот тут-то высказывалось всё зверство его натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей. Арестанты, зная его ужасную силу, разбегались от него и прятались; он бросался на всякого встречного. Но скоро нашли способ справляться с ним. Человек десять из его казармы бросались вдруг на него все разом и начинали бить. Невозможно представить себе ничего жесточе этого битья: его били в грудь, под сердце, под ложечку, в живот; били много и долго и переставали только тогда, когда он терял все свои чувства и становился как мертвый. Другого бы не решились так бить: так бить — значило убить, но только не Газина. После битья его, совершенно бесчувственного, завертывали в полушубок и относили на нары. «Отлежится, мол!» И действительно, наутро он вставал почти

здоровый и молча и угрюмо выходил на работу. И каждый раз, когда Газин напивался пьян, в остроге все уже знали, что день кончится для него непременно побоями. Да и сам он знал это и все-таки напивался. Так шло несколько лет. Наконец, заметили, что и Газин начинает поддаваться. Он стал жаловаться на разные боли, стал заметно хиреть; все чаще и чаще ходил в госпиталь… «Поддался-таки!» — говорили про себя арестанты.

Он вошел в кухню в сопровождении того гаденького полячка со скрипкой, которого обыкновенно нанимали гулявшие для полноты своего увеселения, и остановился посреди кухни, молча и внимательно оглядывая всех присутствующих. Все замолчали. Наконец, увидя тогда меня и моего товарища, он злобно и насмешливо посмотрел на нас, самодовольно улыбнулся, что-то как будто сообразил про себя и, сильно покачиваясь, подошел к нашему столу.

— А позвольте спросить, — начал он (он говорил по-русски), — вы из каких доходов изволите здесь чаи распивать?

Я молча переглянулся с моим товарищем, понимая, что всего лучше молчать и не отвечать ему. С первого противоречия он пришел бы в ярость.

— Стало быть, у вас деньги есть? — продолжал он допрашивать. — Стало быть, у вас денег куча, а? А разве вы затем в каторгу пришли, чтоб чаи распивать? Вы чаи распивать пришли? Да говорите же, чтоб вас!..

Но видя, что мы решились молчать и не замечать его, он побагровел и задрожал от бешенства. Подле него, в углу, стояла большая сельница (лоток), в которую складывался весь нарезанный хлеб, приготовляемый для обеда или ужина арестантов. Она была так велика, что в ней помещалось хлеба для половины острога; теперь же стояла пустая. Он схватил ее обеими руками и взмахнул над нами. Еще немного, и он бы раздробил нам головы. Несмотря на то что убийство или намерение убить грозило чрезвычайными неприятностями всему острогу: начались бы розыски, обыски, усиление строгостей, а потому арестанты всеми силами старались не доводить себя до подобных общих крайностей, — несмотря на это, теперь все притихли и выжидали. Ни одного слова в защиту нас! Ни одного крика на Газина! — до такой степени была сильна в них ненависть к нам! Им, видимо, приятно было наше опасное положение… Но дело кончилось

благополучно: только что он хотел опустить сельницу, кто-то крикнул из сеней:

— Газин! Вино украли!..

Он грохнул сельницу на пол и как сумасшедший бросился из кухни.

— Ну, бог спас! — говорили меж собой арестанты. И долго потом они говорили это.

Я не мог узнать потом, было ли это известие о покраже вина справедливое или кстати придуманное, нам во спасение.

Вечером, уже в темноте, перед запором казарм, я ходил около паль, и тяжелая грусть пала мне на душу, и никогда после я не испытывал такой грусти во всю мою острожную жизнь. Тяжело переносить первый день заточения, где бы то ни было: в остроге ли, в каземате ли, в каторге ли… Но, помню, более всего занимала меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время моей жизни в остроге, — мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно. Например: и тот и другой убили человека; взвешены все обстоятельства обоих дел; и по тому и по другому делу выходит почти одно наказание. А между тем, посмотрите, какая разница в преступлениях. Один, например, зарезал человека так, за ничто, за луковицу: вышел на дорогу, зарезал мужика проезжего, а у него-то и всего одна луковица. «Что ж, батька! Ты меня посылал на добычу: вон я мужика зарезал и всего-то луковицу нашел». — «Дурак! Луковица — ан копейка! Сто душ — сто луковиц, вот те и рубль!» (острожная легенда). А другой убил, защищая от сладострастного тирана честь невесты, сестры, дочери. Один убил по бродяжеству, осаждаемый целым полком сыщиков, защищая свою свободу, жизнь, нередко умирая от голодной смерти; а другой режет маленьких детей из удовольствия резать, чувствовать на своих руках их теплую кровь, насладиться их страхом, их последним голубиным трепетом под самым ножом. И что же? И тот и другой поступают в ту же каторгу. Правда, есть вариация в сроках присуждаемых наказаний. Но вариаций этих сравнительно немного; а вариаций в одном и том же роде преступлений — бесчисленное множество. Что характер, то и вариация. Но положим, что примирить, сгладить эту разницу невозможно, что это своего рода неразрешимая задача — квадратура

круга, положим так. Но если б даже это неравенство и не существовало, — посмотрите на другую разницу, на разницу в самых последствиях наказания… Вот человек, который в каторге чахнет, тает как свечка; и вот другой, который до поступления в каторгу и не знал даже, что есть на свете такая развеселая жизнь, такой приятный клуб разудалых товарищей. Да, приходят в острог и такие. Вот, например, человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного закона. А вот рядом с ним другой, который даже и не подумает ни разу о совершенном им убийстве, во всю каторгу. Он даже считает себя правым. А бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он жил в последней степени унижения, никогда не наедался досыта и работал на своего антрепренера с утра до ночи; а в каторге работа легче, чем дома, хлеба вдоволь, и такого, какого он еще и не видывал; по праздникам говядина, есть подаяние, есть возможность заработать копейку. А общество? Народ продувной, ловкий, всезнающий; и вот он смотрит на своих товарищей с почтительным изумлением; он еще никогда не видал таких; он считает их самым высшим обществом, которое только может быть в свете. Неужели наказание для этих двух одинаково чувствительно? Но, впрочем, что заниматься неразрешимыми вопросами! Бьет барабан, пора по казармам.

## IV
## Первые впечатления

Началась последняя поверка. После этой поверки запирались казармы, каждая особым замком, и арестанты оставлялись запертыми вплоть до рассвета.

Поверка производилась унтер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстраивали иногда на дворе, и приходил караульный офицер. Но чаще вся эта церемония происходила домашним образом: поверяли по казармам. Так было и теперь. Поверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконец

бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму. В ней помещалось человек до тридцати арестантов, сбитых довольно тесно на нарах. Спать было еще рано. Каждый, очевидно, должен был чем-нибудь заняться.

Из начальства в казарме оставался только один инвалид, о котором я уже упоминал прежде. В каждой казарме тоже был старший из арестантов, назначаемый самим плац-майором, разумеется, за хорошее поведение. Очень часто случалось, что и старшие в свою очередь попадались в серьезных шалостях; тогда их секли, немедленно разжалывали в младшие и замещали другими. В нашей казарме старшим оказался Аким Акимыч, который, к удивлению моему, нередко покрикивал на арестантов. Арестанты отвечали ему обыкновенно насмешками. Инвалид был умнее его и ни во что не вмешивался, а если и случалось ему шевелить когда языком, то не более как из приличия, для очистки совести. Он молча сидел на своей койке и тачал сапог. Арестанты не обращали на него почти никакого внимания.

В этот первый день моей острожной жизни я сделал одно наблюдение и впоследствии убедился, что оно верно. Именно: что все не арестанты, кто бы они ни были, начиная с непосредственно имеющих связь с арестантами, как-то: конвойных, караульных солдат, до всех вообще, имевших хоть какое-нибудь дело с каторжным бытом, — как-то преувеличенно смотрят на арестантов. Точно они каждую минуту в беспокойстве ожидают, что арестант нет-нет да и бросится на кого-нибудь из них с ножом. Но что всего замечательнее — сами арестанты сознавали, что их боятся, и это, видимо, придавало им что-то вроде куражу. А между тем самый лучший начальник для арестантов бывает именно тот, который их не боится. Да и вообще, несмотря на кураж, самим арестантам гораздо приятнее, когда к ним имеют доверие. Этим их можно даже привлечь к себе. Случалось в мое острожное время, хотя и чрезвычайно редко, что кто-нибудь из начальства заходил в острог без конвоя. Надо было видеть, как это поражало арестантов, и поражало с хорошей стороны. Такой бесстрашный посетитель всегда возбуждал к себе уважение, и если б даже действительно могло случиться что-нибудь дурное, то при нем бы оно не случилось. Внушаемый арестантами страх повсеместен, где только есть арестанты, и, право, не знаю, отчего он собственно происходит. Некоторое основание он, конечно, имеет, начиная с самого наружного вида арестанта,

признанного разбойника; кроме того, всякий, подходящий к каторге, чувствует, что вся эта куча людей собралась здесь не своею охотою и что, несмотря ни на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом: он останется с чувствами, с жаждой мщения и жизни, с страстями и с потребностями удовлетворить их. Но, несмотря на то, я положительно уверен, что бояться арестантов все-таки нечего. Не так легко и не так скоро бросается человек с ножом на другого человека. Одним словом, если и возможна опасность, если она и бывает когда, то, по редкости подобных несчастных случаев, можно прямо заключить, что она ничтожна. Разумеется, я говорю теперь только об арестантах решеных, из которых даже многие рады, что добрались наконец до острога (до того хороша бывает иногда жизнь новая!), а следовательно, расположены жить спокойно и мирно; да, кроме того, и действительно беспокойным из своих сами не дадут много куражиться. Каждый каторжный, как бы он смел и дерзок ни был, боится всего в каторге. Подсудимый же арестант — другое дело. Этот действительно способен броситься на постороннего человека так, ни за что, единственно потому, например, что ему завтра должно выходить к наказанию; а если затеется новое дело, то, стало быть, отдаляется и наказание. Тут есть причина, цель нападения: это — «переменить свою участь» во что бы ни стало и как можно скорее. Я даже знаю один странный психологический случай в этом роде.

У нас в остроге, в военном разряде, был один арестант, из солдатиков, не лишенный прав состояния, присланный года на два в острог по суду, страшный фанфарон и замечательный трус. Вообще фанфаронство и трусость встречаются в русском солдате чрезвычайно редко. Наш солдат смотрит всегда таким занятым, что если б и хотел, то ему бы некогда было фанфаронить. Но если уж он фанфарон, то почти всегда бездельник и трус. Дутов (фамилия арестанта) отбыл наконец свой коротенький срок и вышел опять в линейный батальон. Но так как все ему подобные, посылаемые в острог для исправления, окончательно в нем балуются, то обыкновенно и случается так, что они, побыв на воле не более двух-трех недель, поступают снова под суд и являются в острог обратно, только уж не на два или на три года, а во «всегдашний» разряд, на пятнадцать или на двадцать лет. Так и случилось. Недели через три по выходе из острога, Дутов украл из-под замка; сверх того, нагрубил и набуянил. Был отдан под суд и приговорен к строгому наказанию.

Испугавшись предстоящего наказания донельзя, до последней степени, как самый жалкий трус, он накануне того дня, когда его должны были прогнать сквозь строй, бросился с ножом на вошедшего в арестантскую комнату караульного офицера. Разумеется, он очень хорошо понимал, что таким поступком он чрезвычайно усилит свой приговор и срок каторжной работы. Но расчет был именно в том, чтоб хоть на несколько дней, хоть на несколько часов отдалить страшную минуту наказания! Он до того был трус, что, бросившись с ножом, он даже не ранил офицера, а сделал всё для проформы, для того только, чтоб оказалось новое преступление, за которое бы его опять стали судить.

Минута перед наказанием, конечно, ужасна для приговоренного, и мне в несколько лет пришлось видеть довольно подсудимых накануне рокового для них дня. Обыкновенно я встречался с подсудимыми арестантами в госпитале, в арестантских палатах, когда лежал больной, что случалось довольно часто. Известно всем арестантам во всей России, что самые сострадательные для них люди — доктора. Они никогда не делают между арестантами различия, как невольно делают почти все посторонние, кроме разве одного простого народа. Тот никогда не корит арестанта за его преступление, как бы ужасно оно ни было, и прощает ему всё за понесенное им наказание и вообще за несчастье. Недаром же весь народ во всей России называет преступление несчастьем, а преступников несчастными. Это глубоко знаменательное определение. Оно тем более важно, что сделано бессознательно, инстинктивно. Доктора же — истинное прибежище арестантов во многих случаях, особенно для подсудимых, которые содержатся тяжеле решеных… И вот подсудимый, рассчитав вероятный срок ужасного для него дня, уходит часто в госпиталь, желая хоть сколько-нибудь отдалить тяжелую минуту. Когда же он обратно выписывается, почти наверно зная, что роковой срок завтра, то всегда почти бывает в сильном волнении. Иные стараются скрыть свои чувства из самолюбия, но неловкий, напускной кураж не обманывает их товарищей. Все понимают, в чем дело, и молчат про себя из человеколюбия. Я знал одного арестанта, молодого человека, убийцу, из солдат, приговоренного к полному числу палок[*]. Он до того заробел, что накануне наказания решился выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку[*]. Кстати: вино всегда является у подсудимого арестанта перед наказанием. Оно проносится еще задолго до срока,

добывается за большие деньги, и подсудимый скорее будет полгода отказывать себе в самом необходимом, но скопит нужную сумму на четверть штофа вина, чтоб выпить его за четверть часа до наказания. Между арестантами вообще существует убеждение, что хмельной не так больно чувствует плеть или палки. Но я отвлекся от рассказа. Бедный малый, выпив свою крышку вина, действительно тотчас же сделался болен: с ним началась рвота с кровью, и его отвезли в госпиталь почти бесчувственного. Эта рвота до того расстроила его грудь, что через несколько дней в нем открылись признаки настоящей чахотки, от которой он умер через полгода. Доктора, лечившие его от чахотки, не знали, отчего она произошла.

Но, рассказывая о часто встречающемся малодушии преступников перед наказанием, я должен прибавить, что, напротив, некоторые из них изумляют наблюдателя необыкновенным бесстрашием. Я помню несколько примеров отваги, доходившей до какой-то бесчувственности, и примеры, эти были не совсем редки. Особенно помню я мою встречу с одним страшным преступником. В один летний день распространился в арестантских палатах слух, что вечером будут наказывать знаменитого разбойника Орлова, из беглых солдат, и после наказания приведут в палаты. Больные арестанты в ожидании Орлова утверждали, что накажут его жестоко. Все были в некотором волнении, и, признаюсь, я тоже ожидал появления знаменитого разбойника с крайним любопытством. Давно уже я слышал о нем чудеса. Это был злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, — человек с страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Он повинился во многих убийствах и был приговорен к наказанию палками, сквозь строй. Привели его уже вечером. В палате уже стало темно, и зажгли свечи. Орлов был почти без чувств, страшно бледный, с густыми, всклоченными, черными как смоль волосами. Спина его вспухла и была крававо-синего цвета. Всю ночь ухаживали за ним арестанты, переменяли ему воду, переворачивали его с боку на бок, давали лекарство, точно они ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь своим благодетелем. На другой же день он очнулся вполне и прошелся раза два по палате! Это меня изумило: он прибыл, в госпиталь слишком слабый и измученный. Он прошел зараз целую половину всего предназначенного ему числа палок. Доктор остановил экзекуцию только тогда, когда заметил, что дальнейшее продолжение наказания грозило

преступнику неминуемой смертью. Кроме того, Орлов был малого роста и слабого сложения, и к тому же истощен долгим содержанием под судом. Кому случалось встречать когда-нибудь подсудимых арестантов, тот, вероятно, надолго запомнил их изможденные, худые и бледные лица, лихорадочные взгляды. Несмотря на то, Орлов быстро поправлялся. Очевидно, внутренняя, душевная его энергия сильно помогала натуре. Действительно, это был человек не совсем обыкновенный. Из любопытства я познакомился с ним ближе и целую неделю изучал его. Положительно могу сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного характером человека, как он. Я видел уже раз, в Тобольске, одну знаменитость в таком же роде, одного бывшего атамана разбойников. Тот был дикий зверь вполне, и вы, стоя возле него и еще не зная его имени, уже инстинктом предчувствовали, что подле вас находится страшное существо. Но в том ужасало меня духовное отупение. Плоть до того брала верх над всеми его душевными свойствами, что вы с первого взгляда по лицу его видели, что тут осталась только одна дикая жажда телесных наслаждений, сладострастия, плотоугодия. Я уверен, что Коренев — имя того разбойника — даже упал бы духом и трепетал бы от страха перед наказанием, несмотря на то что способен был резать даже не поморщившись. Совершенно противоположен ему был Орлов. Это была наяву полная победа над плотью. Видно было, что этот человек мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. Между прочим, я поражен был его странным высокомерием. Он на всё смотрел как-то до невероятности свысока, но вовсе не усиливаясь подняться на ходули, а так как-то натурально. Я думаю, не было существа в мире, которое бы могло подействовать на него одним авторитетом. На всё он смотрел как-то неожиданно спокойно, как будто не было ничего на свете, что бы могло удивить его. И хотя он вполне понимал, что другие арестанты смотрят на него уважительно, но нисколько не рисовался перед ними. А между тем тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения. Был он очень неглуп и как-то странно откровенен, хотя отнюдь не болтлив. На вопросы мои он прямо отвечал мне, что ждет выздоровления, чтоб поскорей выходить остальное наказание, и что он боялся сначала, перед

наказанием, что не перенесет его. «Но теперь, — прибавил он, подмигнув мне глазом, — дело кончено. Выхожу остальное число ударов, и тотчас же отправят с партией в Нерчинск, а я-то с дороги бегу! Непременно бегу! Вот только б скорее спина зажила!» И все эти пять дней он с жадностью ждал, когда можно будет проситься на выписку. В ожидании же он был иногда очень смешлив и весел. Я пробовал с ним заговаривать об его похождениях. Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большими. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. Через минуту он расхохотался надо мной самым простодушным смехом без всякой иронии, и, я уверен, оставшись один и вспоминая мои слова, может быть, несколько раз он принимался про себя смеяться. Наконец, он выписался еще с не совсем поджившей спиной; я тоже пошел в этот раз на выписку, и из госпиталя нам случилось возвращаться вместе: мне в острог, а ему в кордегардию подле нашего острога, где он содержался и прежде. Прощаясь, он пожал мне руку, и с его стороны это был знак высокой доверенности. Я думаю, он сделал это потому, что был очень доволен собой и настоящей минутой. В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее. Назавтра же его вывели к вторичному наказанию…

Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то особенный вид — вид настоящего жилища, домашнего очага. Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей, вполне как дома. Днем унтер-офицеры, караульные и вообще начальство могут во всякую минуту прибыть в острог, а потому все обитатели острога как-то и держат себя иначе, как будто не вполне успокоившись, как будто поминутно ожидая чего-то, в какой-то тревоге. Но только что заперли казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь рукоделье. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою свечу и свой подсвечник, большею частью деревянный. Кто засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежу. Мефитический[*] воздух казармы усиливался с часу на час. Кучка

гуляк засела в уголку на корточках перед разостланным ковром за карты. Почти в каждой казарме был такой арестант, который держал у себя аршинный худенький коврик, свечку и до невероятности засаленные, жирные карты. Всё это вместе называлось: майдан[*]. Содержатель получал плату с играющих, копеек пятнадцать за ночь; тем он и промышлял. Игроки играли обыкновенно в три листа, в горку и проч. Все игры были азартные. Каждый играющий высыпал перед собою кучу медных денег — всё, что у него было в кармане, и вставал с корточек, только проигравшись в пух или обыграв товарищей. Игра кончалась поздно ночью, а иногда длилась до рассвета, до самой той минуты, как отворялась казарма. В нашей комнате, так же как и во всех других казармах острога, всегда бывали нищие, байгуши[*], проигравшиеся и пропившиеся или так просто, от природы, нищие. Я говорю «от природы» и особенно напираю на это выражение. Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь на посылках, обыкновенно у гуляк или у внезапно разбогатевших и возвысившихся. Всякий почин, всякая инициатива — для них горе и тягость. Они как будто и родились с тем условием, чтоб ничего не начинать самим и только прислуживать, жить не своей волей, плясать по чужой дудке; их назначение — исполнять одно чужое. В довершение всего никакие обстоятельства, никакие перевороты не могут их обогатить. Они всегда нищие. Я заметил, что такие личности водятся и не в одном народе, а во всех обществах, сословиях, партиях, журналах и ассоциациях. Так-то случалось и в каждой казарме, в каждом остроге, и только что составлялся майдан, один из таких немедленно являлся прислуживать. Да и вообще ни один майдан не мог обойтись без прислужника. Его нанимали обыкновенно игроки все вообще, на всю ночь, копеек за пять серебром, и главная его обязанность была стоять всю ночь на карауле. Большею частью он мерз часов шесть или семь в темноте, в сенях, на тридцатиградусном морозе, прислушиваясь к каждому стуку, к каждому звону, к каждому шагу на дворе. Плац-майор или караульные являлись

иногда в острог довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющих, и работающих, и лишние свечки, которые можно было видеть еще со двора. По крайней мере, когда вдруг начинал греметь замок на дверях из сеней на двор, было уже поздно прятаться, тушить свечи и улегаться на нары. Но так как караульному прислужнику после того больно доставалось от майдана, то и случаи таких промахов были чрезвычайно редки. Пять копеек, конечно, смешно ничтожная плата, даже и для острога; но меня всегда поражала в остроге суровость и безжалостность нанимателей, и в этом и во всех других случаях. «Деньги взял, так и служи!» Это был аргумент, не терпевший никаких возражений. За выданный грош наниматель брал всё, что мог брать, брал, если возможно, лишнее и еще считал, что он одолжает наемщика. Гуляка, хмельной, бросающий деньги направо и налево без счету, непременно обсчитывал своего прислужника, и это заметил я не в одном остроге, не у одного майдана.

Я сказал уже, что в казарме почти все уселись за какие-нибудь занятия: кроме игроков, было не более пяти человек совершенно праздных; они тотчас же легли спать. Мое место на нарах приходилось у самой двери. С другой стороны нар, голова с головой со мною, помещался Аким Акимыч. Часов до десяти или до одиннадцати он работал, клеил какой-то разноцветный китайский фонарик, заказанный ему в городе, за довольно хорошую плату. Фонарики он делал мастерски, работал методически, не отрываясь; когда же кончил работу, то аккуратно прибрался, разостлал свой тюфячок, помолился богу и благонравно улегся на свою постель. Благонравие и порядок он простирал, по-видимому, до самого мелочного педантизма; очевидно, он должен был считать себя чрезвычайно умным человеком, как и вообще все тупые и ограниченные люди. Не понравился он мне с первого же дня, хотя, помню, в этот первый день я много о нем раздумывал и всего более дивился, что такая личность, вместо того чтоб успевать в жизни, очутилась в остроге. Впоследствии мне не раз придется говорить об Акиме Акимыче.

Но опишу вкратце состав всей нашей казармы. В ней приходилось мне жить много лет, и это всё были мои будущие сожители и товарищи. Понятно, что я вглядывался в них с жадным любопытством. Слева от моего места на нарах помещалась кучка кавказских горцев, присланных большею частию за грабежи и на разные сроки. Их было: два лезгина,

один чеченец и трое дагестантских татар. Чеченец был мрачное и угрюмое существо; почти ни с кем не говорил и постоянно смотрел вокруг себя с ненавистью, исподлобья и с отравленной, злобно-насмешливой улыбкой. Один из лезгинов был уже старик, с длинным, тонким, горбатым носом, отъявленный разбойник с виду. Зато другой, Нурра, произвел на меня с первого же дня самое отрадное, самое милое впечатление. Это был человек еще нестарый, росту невысокого, сложенный, как Геркулес, совершенный блондин с светло-голубыми глазами, курносый, с лицом чухонки и с кривыми ногами от постоянной прежней езды верхом. Всё тело его было изрублено, изранено штыками и пулями. На Кавказе он был мирной, но постоянно уезжал потихоньку к немирным горцам и оттуда вместе с ними делал набеги на русских. В каторге его все любили. Он был всегда весел, приветлив ко всем, работал безропотно, спокоен и ясен, хотя часто с негодованием смотрел на гадость и грязь арестантской жизни и возмущался до ярости всяким воровством, мошенничеством, пьянством и вообще всем, что было нечестно; но ссор не затевал и только отворачивался с негодованием. Сам он во всё продолжение своей каторги не украл ничего, не сделал ни одного дурного поступка. Был он чрезвычайно богомолен. Молитвы исполнял он свято; в посты перед магометанскими праздниками постился как фанатик и целые ночи выстаивал на молитве. Его все любили и в честность его верили. «Нурра — лев», — говорили арестанты; так за ним и оставалось название льва. Он совершенно был уверен, что по окончании определенного срока в каторге его воротят домой на Кавказ, и жил только этой надеждой. Мне кажется, он бы умер, если бы ее лишился. В первый же мой день в остроге я резко заметил его. Нельзя было не заметить его доброго, симпатизирующего лица среди злых, угрюмых и насмешливых лиц остальных каторжных. В первые полчаса, как я пришел в каторгу, он, проходя мимо меня, потрепал по плечу, добродушно смеясь мне в глаза. Я не мог сначала понять, что это означало. Говорил же он по-русски очень плохо. Вскоре после того он опять подошел ко мне и опять, улыбаясь, дружески ударил меня по плечу. Потом опять и опять, и так продолжалось три дня. Это означало с его стороны, как догадался я и узнал потом, что ему жаль меня, что он чувствует, как мне тяжело знакомиться с острогом, хочет показать мне свою дружбу, ободрить меня и уверить в своем покровительстве. Добрый и наивный Нурра!

Дагестантских татар было трое, и все они были родные братья. Два из них уже были пожилые, но третий, Алей, был не более двадцати двух лет, а на вид еще моложе. Его место на нарах было рядом со мною. Его прекрасное, открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце, и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась на его красивом, можно даже сказать — прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая. На родине старший брат его (старших братьев у него было пять; два других попали в какой-то завод) однажды велел ему взять шашку и садиться на коня, чтобы ехать вместе в какую-то экспедицию. Уважение к старшим в семействах горцев так велико, что мальчик не только не посмел, но даже и не подумал спросить, куда они отправляются? Те же не сочли и за нужное сообщать ему это. Все они ехали на разбой, подстеречь на дороге богатого армянского купца и ограбить его. Так и случилось: они перерезали конвой, зарезали армянина и разграбили его товар. Но дело открылось: их взяли всех шестерых, судили, уличили, наказали и сослали в Сибирь, в каторжные работы. Всю милость, которую сделал суд для Алея, был уменьшенный срок наказания: он сослан был на четыре года. Братья очень любили его, и скорее какою-то отеческою, чем братскою любовью. Он был им утешением в их ссылке, и они, обыкновенно мрачные и угрюмые, всегда улыбались, на него глядя, и когда заговаривали с ним (а говорили они с ним очень мало, как будто всё еще считая его за мальчика, с которым нечего говорить о серьезном), то суровые лица их разглаживались, и я угадывал, что они с ним говорят о чем-нибудь шутливом, почти детском, по крайней мере они всегда переглядывались и добродушно усмехались, когда, бывало, выслушают его ответ. Сам же он почти не смел с ними заговаривать: до того доходила его почтительность. Трудно представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узнал его впоследствии. Он был целомудрен, как чистая девочка, и чей-нибудь скверный,

цинический, грязный или несправедливый, насильный поступок в остроге зажигал огонь негодования в его прекрасных глазах, которые делались оттого еще прекраснее. Но он избегал ссор и брани, хотя был вообще не из таких, которые бы дали себя обидеть безнаказанно, и умел за себя постоять. Но ссор он ни с кем не. имел: его все любили и все ласкали. Сначала со мной он был только вежлив. Мало-помалу я начал с ним разговаривать; в несколько месяцев он выучился прекрасно говорить по-русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Он мне показался чрезвычайно умным мальчиком, чрезвычайно скромным и деликатным и даже много уже рассуждавшим. Вообще скажу заранее: я считаю Алея далеко не обыкновенным существом и вспоминаю о встрече с ним как об одной из лучших встреч в моей жизни. Есть натуры до того прекрасные от природы, до того награжденные богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможною. За них вы всегда спокойны. Я и теперь спокоен за Алея. Где-то он теперь?..

Раз, уже довольно долго после моего прибытия в острог, я лежал на нарах и думал о чем-то очень тяжелом. Алей, всегда работящий и трудолюбивый, в этот раз ничем не был занят, хотя еще было рано спать. Но у них в это время был свой мусульманский праздник, и они не работали. Он лежал, заложив руки за голову, и тоже о чем-то думал. Вдруг он спросил меня:

— Что, тебе очень теперь тяжело?

Я оглядел его с любопытством, и мне показался странным этот быстрый прямой вопрос от Алея, всегда деликатного, всегда разборчивого, всегда умного сердцем: но, взглянув внимательнее, я увидел в его лице столько тоски, столько муки от воспоминаний, что тотчас же нашел, что ему самому было очень тяжело и именно в эту самую минуту. Я высказал ему мою догадку. Он вздохнул и грустно улыбнулся. Я любил его улыбку, всегда нежную и сердечную. Кроме того, улыбаясь, он выставлял два ряда жемчужных зубов, красоте которых могла бы позавидовать первая красавица в мире.

— Что, Алей, ты, верно, сейчас думал о том, как у вас в Дагестане празднуют этот праздник? Верно, там хорошо?

— Да, — отвечал он с восторгом, и глаза его просияли. — А почему ты знаешь, что я думал об этом?

— Еще бы не знать! Что, там лучше, чем здесь?

— О! зачем ты это говоришь…

— Должно быть, теперь какие цветы у вас, какой рай!..

— О-ох, и не говори лучше. — Он был в сильном волнении.

— Послушай, Алей, у тебя была сестра?

— Была, а что тебе?

— Должно быть, она красавица, если на тебя похожа.

— Что на меня! Она такая красавица, что по всему Дагестану нет лучше. Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видал такую! У меня и мать красавица была.

— А любила тебя мать?

— Ах! Что ты говоришь! Она, верно, умерла теперь с горя по мне. Я любимый был у нее сын. Она меня больше сестры, больше всех любила… Она ко мне сегодня во сне приходила и надо мной плакала.

Он замолчал и в этот вечер уже больше не сказал ни слова. Но с этих пор он искал каждый раз говорить со мной, хотя сам из почтения, которое он неизвестно почему ко мне чувствовал, никогда не заговаривал первый. Зато очень был рад, когда я обращался к нему. Я расспрашивал его про Кавказ, про его прежнюю жизнь. Братья не мешали ему со мной разговаривать, и им даже это было приятно. Они тоже, видя, что я всё более и более люблю Алея, стали со мной гораздо ласковее.

Алей помогал мне в работе, услуживал мне чем мог в казармах, и видно было, что ему очень приятно было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне, и в этом старании угодить не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, которое он уже и не скрывал ко мне. Между прочим, у него было много способностей механических: он выучился порядочно шить белье, тачал сапоги и, впоследствии, выучился сколько мог столярному делу. Братья хвалили его и гордились им.

— Послушай, Алей, — сказал я ему однажды, — отчего ты не выучишься читать и писать по-русски? Знаешь ли, как это может тебе пригодиться здесь, в Сибири, впоследствии?

— Очень хочу. Да у кого выучиться?

— Мало ли здесь грамотных? Да хочешь, я тебя выучу?

— Ах, выучи, пожалуйста! — и он даже привстал на нарах и с мольбою сложил руки, смотря на меня.

Мы принялись с следующего же вечера. У меня был русский

перевод Нового завета* — книга, не запрещенная в остроге. Без азбуки, по одной этой книге, Алей в несколько недель выучился превосходно читать. Месяца через три он уже совершенно понимал книжный язык. Он учился с жаром, с увлечением.

Однажды мы прочли с ним всю Нагорную проповедь*. Я заметил, что некоторые места в ней он проговаривал как будто с особенным чувством.

Я спросил его, нравится ли ему то, что он прочел.

Он быстро взглянул, и краска выступила на его лице.

— Ах, да! — отвечал он, — да, Иса святой пророк*, Иса божий слова говорил. Как хорошо!

— Что ж тебе больше всего нравится?

— А где он говорит: прощай, люби, не обижай и врагов люби Ах, как хорошо он говорит!

Он обернулся к братьям, которые прислушивались к нашему разговору, и с жаром начал им говорить что-то. Они долго и серьезно говорили между собою и утвердительно покачивали головами. Потом с важно-благосклонною, то есть чисто мусульманскою улыбкою (которую я так люблю и именно люблю важность этой улыбки), обратились ко мне и подтвердили, что Иса был божий пророк и что он делал великие чудеса; что он сделал из глины птицу, дунул на нее, и она полетела… и что это и у них в книгах написано*. Говоря это, они вполне были уверены, что делают мне великое удовольствие, восхваляя Ису, а Алей был вполне счастлив, что братья его решились и захотели сделать мне это удовольствие.

Письмо у нас пошло тоже чрезвычайно успешно. Алей достал бумаги (и не позволил мне купить ее на мои деньги), перьев, чернил и в каких-нибудь два месяца выучился превосходно писать. Это даже поразило его братьев. Гордость и довольство их не имели пределов. Они не знали, чем возблагодарить меня. На работах, если нам случалось работать вместе, они наперерыв помогали мне и считали это себе за счастье. Я уже не говорю про Алея Он любил меня, может быть, так же, как и братьев. Никогда не забуду, как он выходил из острога. Он отвел меня за казарму и там бросился мне на шею и заплакал. Никогда прежде он не целовал меня и не плакал. «Ты для меня столько сделал, столько сделал, — говорил он, — что отец мой, мать мне бы столько не сделали: ты меня человеком сделал, бог заплатит тебе, а я тебя никогда не

забуду…»

Где-то, где-то теперь мой добрый, милый, милый Алей!..

Кроме черкесов, в казармах наших была еще целая кучка поляков, составлявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключительность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою очередь всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, больные; их было человек шесть. Некоторые из них были люди образованные; об них я буду говорить особо и подробно впоследствии. От них же я иногда, в последние годы моей жизни в остроге, доставал кой-какие книги. Первая книга, прочтенная мною, произвела на меня сильное, странное, особенное впечатление. Об этих впечатлениях я когда-нибудь скажу особо. Для меня они слишком любопытны, и я уверен, что многим они будут совершенно непонятны. Не испытав, нельзя судить о некоторых вещах. Скажу одно: что нравственные лишения тяжелее всех мук физических. Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое общество, даже, может быть, еще в более развитое. Он потерял, конечно, много — родину, семью, всё, но среда его остается та же. Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом… Это — рыба, вытащенная из воды на песок… И часто для всех одинаковое по закону наказание обращается для него в вдесятеро мучительнейшее. Это истина… даже если б дело касалось одних материальных привычек, которыми надо пожертвовать.

Но поляки составляли особую цельную кучку. Их было шестеро, и они были вместе. Из всех каторжных нашей казармы они любили только одного жида, и может быть единственно потому, что он их забавлял. Нашего жидка, впрочем, любили даже и другие арестанты, хотя решительно все без исключения смеялись над ним. Он был у нас один, и я даже теперь не могу вспоминать о нем без смеху. Каждый раз, когда я глядел на него, мне всегда приходил на память Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы»[*], который, раздевшись, чтоб отправиться на ночь с своей жидовкой в какой-то шкаф, тотчас же стал ужасно похож на цыпленка. Исай Фомич, наш жидок, был как две капли воды похож на общипанного цыпленка. Это был человек уже немолодой, лет

около пятидесяти, маленький ростом и слабосильный, хитренький и в то же время решительно глупый. Он был дерзок и заносчив и в то же время ужасно труслив. Весь он был в каких-то морщинках, и на лбу и на щеках его были клейма, положенные ему на эшафоте. Я никак не мог понять, как мог он выдержать шестьдесят плетей. Пришел он по обвинению в убийстве. У него был припрятан рецепт, доставленный ему от доктора его жидками тотчас же после эшафота. По этому рецепту можно было получить такую мазь, от которой недели в две могли сойти его клейма. Употребить эту мазь в остроге он не смел и выжидал своего двенадцатилетнего срока каторги, после которой, выйдя на поселение, непременно намеревался воспользоваться рецептом. «Не то нельзя будет зениться, — сказал он мне однажды, — а я непременно ходу зениться». Мы с ним были большие друзья. Он всегда был в превосходнейшем расположении духа. В каторге жить ему было легко; он был по ремеслу ювелир, был завален работой из города, в котором не было ювелира, и таким образом избавился от тяжелых работ. Разумеется, он в то же время был ростовщик и снабжал под проценты и залоги всю каторгу деньгами. Он пришел прежде меня, и один из поляков описывал мне подробно его прибытие. Это пресмешная история, которую я расскажу впоследствии; об Исае Фомиче я буду говорить еще не раз.

Остальной люд в нашей казарме состоял из четырех старообрядцев, стариков и начетчиков, между которыми был и старик из Стародубовских слобод, из двух-трех малороссов, мрачных людей, из молоденького каторжного, с тоненьким личиком и с тоненьким носиком, лет двадцати трех, уже убившего восемь душ, из кучки фальшивых монетчиков, из которых один был потешник всей нашей казармы, и, наконец, из нескольких мрачных и угрюмых личностей, обритых и обезображенных, молчаливых и завистливых, с ненавистью смотревших исподлобья кругом себя и намеревавшихся так смотреть, хмуриться, молчать и ненавистничать еще долгие годы — весь срок своей каторги. Всё это только мелькнуло передо мной в этот первый, безотрадный вечер моей новой жизни, — мелькнуло среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мефитическом воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота. Я лег на голых нарах, положив в голову свое платье (подушки у меня еще не было), накрылся тулупом, но долго не мог заснуть, хотя и был весь

измучен и изломан от всех чудовищных и неожиданных впечатлений этого первого дня. Но новая жизнь моя только еще начиналась. Многое еще ожидало меня впереди, о чем я никогда не мыслил, чего и не предугадывал…

## V
## Первый месяц

Три дня спустя по прибытии моем в острог мне велено было выходить на работу. Очень памятен мне этот первый день работы, хотя в продолжение его не случилось со мной ничего очень необыкновенного, по крайней мере взяв в соображение все и без того необыкновенное в моем положении. Но это было тоже одно из первых впечатлений, а я еще продолжал ко всему жадно присматриваться. Все эти три первые дня я провел в самых тяжелых ощущениях. «Вот конец моего странствования: я в остроге! — повторял я себе поминутно, — вот пристань моя на многие, долгие годы, мой угол, в который я вступаю с таким недоверчивым, с таким болезненным ощущением… А кто знает? Может быть, — когда, через много лет, придется оставить его, — еще пожалею о нем!..» — прибавлял я не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно бередить свою рану, точно желая полюбоваться своей болью, точно в сознании всей великости несчастия есть действительно наслаждение. Мысль со временем пожалеть об этом угле — меня самого поражала ужасом: я и тогда уже предчувствовал, до какой чудовищной степени приживчив человек. Но это еще было впереди, а покамест теперь кругом меня всё было враждебно и — страшно… хоть не всё, но, разумеется, так мне казалось. Это дикое любопытство, с которым оглядывали меня мои новые товарищи-каторжники, усиленная их суровость с новичком из дворян, вдруг появившимся в их корпорации, суровость, иногда доходившая чуть не до ненависти, — всё это до того измучило меня, что я сам желал уж поскорее работы, чтоб только поскорее узнать и изведать всё мое бедствие разом, чтоб начать жить, как и все они, чтоб войти со всеми поскорее в одну колею. Разумеется, я тогда многого не замечал и не подозревал, что у меня было под самым носом: между враждебным я еще не угадывал отрадного. Впрочем, несколько

приветливых, ласковых лиц, которых я встретил даже в эти три дня, покамест сильно меня ободрили. Всех ласковее и приветливее со мной был Аким Акимыч. Между угрюмыми и ненавистливыми лицами остальных каторжных я не мог не заметить тоже несколько добрых и веселых. «Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, — спешил я подумать себе в утешение, — кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, *остальных,* которые *остались* там, за острогом». Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем — боже мой! — если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!

Вот, например, тут был один человек, которого только через много-много лет я узнал вполне, а между тем он был со мной и постоянно около меня почти во всё время каторги. Это был арестант Сушилов. Как только заговорил я теперь о каторжниках, которые были *не хуже* других, то тотчас же невольно вспомнил о нем. Он мне прислуживал. У меня тоже был и другой прислужник. Аким Акимыч еще с самого начала, с первых дней, рекомендовал мне одного из арестантов — Осипа, говоря, что за тридцать копеек в месяц он будет мне стряпать ежедневно особое кушанье, если мне уж так противно казенное и если я имею средства завести свое. Осип был один из четырех поваров, назначаемых арестантами по выбору в наши две кухни, хотя, впрочем, оставлялось вполне и на их волю принять или не принять такой выбор; а приняв, можно было хоть завтра же опять отказаться. Повара уж так и не ходили на работу, и вся должность их состояла в печении хлеба и варке щей. Звали их у нас не поварами, а стряпками (в женском роде), впрочем, не из презрения к ним, тем более что на кухню выбирался народ толковый и по возможности честный, а так, из милой шутки, чем наши повара нисколько не обижались. Осипа почти всегда выбирали, и почти несколько лет сряду он постоянно был стряпкой и отказывался иногда только на время, когда его уж очень забирала тоска, а вместе с тем и охота проносить вино. Он был редкой честности и кротости человек, хотя и пришел за контрабанду. Это был тот самый контрабандист, высокий, здоровый малый, о котором уже я упоминал; трус до всего, особенно до розог, смирный, безответный, ласковый со всеми, ни с кем *никогда* не поссорившийся, но который не мог не проносить вина, несмотря на всю свою трусость, по страсти к контрабанде. Он вместе с другими поварами торговал тоже вином, хотя,

конечно, не в таком размере, как, например, Газин, потому что не имел смелости на многое рискнуть. С этим Осипом я всегда жил очень ладно. Что же касается до средств иметь свое кушанье, то их надо было слишком немного. Я не ошибусь, если скажу, что в месяц у меня выходило на мое прокормление всего рубль серебром, разумеется кроме хлеба, который был казенный, и иногда щей, если уж я был очень голоден, несмотря на мое к ним отвращение, которое, впрочем, почти совсем прошло впоследствии. Обыкновенно я покупал кусок говядины, по фунту на день. А зимой говядина у нас стоила грош. За говядиной ходил на базар кто-нибудь из инвалидов, которых у нас было по одному в каждой казарме, для надсмотра за порядком, и которые сами, добровольно, взяли себе в обязанность ежедневно ходить на базар за покупками для арестантов и не брали за это почти никакой платы, так разве пустяки какие-нибудь. Делали они это для собственного спокойствия, иначе им невозможно бы было в остроге ужиться. Таким образом, они проносили табак, кирпичный чай, говядину, калачи и проч. и проч., кроме только разве одного вина. Об вине их не просили, хотя иногда и потчевали. Осип стряпал мне несколько лет сряду всё один и тот же кусок зажаренной говядины. Уж как он был зажарен — это другой вопрос, да не в том было и дело. Замечательно, что с Осипом я в несколько лет почти не сказал двух слов. Много раз начинал заговаривать с ним, но он как-то был неспособен поддерживать разговор: улыбнется, бывало, или ответит *да* или *нет,* да и только. Даже странно было смотреть на этого Геркулеса семи лет от роду.

Но, кроме Осипа, из людей, мне помогавших, был и Сушилов. Я не призывал его и не искал его. Он как-то сам нашел меня и прикомандировался ко мне; даже не помню, когда и как это сделалось. Он стал на меня стирать. За казармами для этого нарочно была устроена большая помойная яма. Над этой-то ямой, в казенных корытах, и мылось арестантское белье. Кроме того, Сушилов сам изобретал тысячи различных обязанностей, чтоб мне угодить: наставлял мой чайник, бегал по разным поручениям, отыскивал что-нибудь для меня, носил мою куртку в починку, смазывал мне сапоги раза четыре в месяц; всё это делал усердно, суетливо, как будто бог знает какие на нем лежали обязанности, — одним словом, совершенно связал свою судьбу с моею и взял все мои дела на себя. Он никогда не говорил, например: «У вас столько рубах, у вас куртка разорвана» и проч., а всегда: «У *нас* теперь

столько-то рубах, у *нас* куртка разорвана». Он так и смотрел мне в глаза и, кажется, принял это за главное назначение всей своей жизни. Ремесла, или, как говорят арестанты, рукомесла, у него не было никакого, и, кажется, только от меня он и добывал копейку. Я платил ему сколько мог, то есть грошами, и он всегда безответно оставался доволен. Он не мог не служить кому-нибудь и, казалось, выбрал меня особенно потому, что я был обходительнее других и честнее на расплату. Был он из тех, которые никогда не могли разбогатеть и поправиться и которые у нас брались сторожить майданы, простаивая по целым ночам в сенях на морозе, прислушиваясь к каждому звуку на дворе на случай плац-майора, и брали за это по пяти копеек серебром чуть не за всю ночь, а в случае просмотра теряли все и отвечали спиной. Я уж об них говорил. Характеристика этих людей — уничтожать свою личность всегда, везде и чуть не перед всеми, а в общих делах разыгрывать даже не второстепенную, а третьестепенную роль. Всё это у них уж так по природе. Сушилов был очень жалкий малый, вполне безответный и приниженный, даже забитый, хотя его и никто у нас не бил, а так уж, от природы забитый. Мне его всегда было отчего-то жаль. Я даже и взглянуть на него не мог без этого чувства; *а* почему жаль — я бы сам не мог ответить. Разговаривать с ним я тоже не мог; он тоже разговаривать не умел, и видно, что ему это было в большой труд, и он только тогда оживлялся, когда, чтоб кончить разговор, дашь ему что-нибудь сделать, попросишь его сходить, сбегать куда-нибудь. Я даже, наконец, уверился, что доставляю ему этим удовольствие. Он был не высок и не мал ростом, не хорош и не дурен, не глуп и не умен, не молод и не стар, немножко рябоват, отчасти белокур. Слишком определительного об нем никогда ничего нельзя было сказать. Одно только: он, как мне кажется и сколько я мог догадаться, принадлежал к тому же товариществу, как и Сироткин, и принадлежал единственно по своей забитости и безответности. Над ним иногда посмеивались арестанты, главное, за то, что он *сменялся* дорогою, идя в партии в Сибирь, и сменился за красную рубашку и за рубль серебром. Вот за эту-то ничтожную цену, за которую он себя продал, над ним смеялись арестанты. Смениться — значит переменяться с кем-нибудь именем, а следственно, и участью. Как ни чуден кажется этот факт, а он справедлив, и в мое время он еще существовал между препровождающимися в Сибирь арестантами в полной силе,

освященный преданиями и определенный известными формами. Сначала я никак не мог этому поверить, хотя и пришлось наконец поверить очевидности.

Это вот каким образом делается. Препровождается, например, в Сибирь партия арестантов. Идут всякие: и в каторгу, и в завод, и на поселенье; идут вместе. Где-нибудь дорогою, ну хоть в Пермской губернии, кто-нибудь из ссыльных пожелает сменяться с другим. Например, какой-нибудь Михайлов, убийца или по другому капитальному преступлению, находит идти на многие годы в каторгу для себя невыгодным. Положим, он малый хитрый, тертый, дело знает; вот он и высматривает кого-нибудь из той же партии попростее, позабитее, побезответнее и которому определено наказание небольшое сравнительно: или в завод на малые годы, или на поселенье, или даже в каторгу, только поменьше сроком. Наконец находит Сушилова. Сушилов из дворовых людей и сослан просто на поселенье. Идет он уже тысячи полторы верст, разумеется без копейки денег, потому что у Сушилова никогда не может быть ни копейки, — идет изнуренный, усталый, на одном казенном продовольстве, без сладкого куска хоть мимоходом, в одной казенной одежде, всем прислуживая за жалкие медные гроши. Михайлов заговаривает с Сушиловым, сходится, даже дружится и, наконец, на каком-нибудь этапе поит его вином. Наконец, предлагает ему: не хочет ли он сменяться? Я, дескать, Михайлов, вот так и так, иду в каторгу не каторгу, а в какое-то «особое отделение». Оно хоть и каторга, но особая, получше, стало быть. Об особом отделении, во время существования его, даже из начальства-то не все знали, хоть бы, например, и в Петербурге. Это был такой отдельный и особый уголок, в одном из уголков Сибири, и такой немноголюдный (при мне было в нем до семидесяти человек), что трудно было и на след его напасть. Я встречал потом людей, служивших и знающих о Сибири, которые от меня только в первый раз услыхали о существовании «особого отделения». В Своде законов сказано об нем всего строк шесть: «Учреждается при таком-то остроге особое отделение, для самых важных преступников, впредь до открытия в Сибири самых тяжких каторжных работ». Даже сами арестанты этого «отделения» не знали: что оно, навечно или на срок? Сроку не было положено, сказано — впредь до открытия самых тяжких работ, и только; стало быть, «вдоль по каторге». Немудрено, что ни Сушилов, да и никто из партии этого не

знал, не исключая и самого сосланного Михайлова, который разве только имел понятие об особом отделении, судя по своему преступлению, слишком тяжкому и за которое уже он прошел тысячи три или четыре. Следственно, не пошлют же его в хорошее место. Сушилов же шел на поселение; чего же лучше? «Не хочешь ли сменяться?» Сушилов под хмельком, душа простая, полон благодарности к обласкавшему его Михайлову, и потому не решается отказать. К тому же он слышал уже в партии, что меняться можно, что другие же меняются, следственно, необыкновенного и неслыханного тут нет ничего. Соглашаются. Бессовестный Михайлов, пользуясь необыкновенною простотою Сушилова, покупает у него имя за красную рубашку и за рубль серебром, которые тут же и дает ему при свидетелях. Назавтра Сушилов уже не пьян, но его поят опять, ну, да и плохо отказываться: полученный рубль серебром уже пропит, красная рубашка немного спустя тоже. Не хочешь, так деньги отдай. А где взять целый рубль серебром Сушилову? А не отдаст, так артель заставит отдать: за этим смотрят в артели строго. К тому же если дал обещание, то исполни, — и на этом артель настоит. Иначе сгрызут. Забьют, пожалуй, или просто убьют, по крайней мере застращают.

В самом деле, допусти артель хоть один раз в таком деле поблажку, то и обыкновение смены именами кончится. Коли можно будет отказываться от обещания и нарушать сделанный торг, уже взявши деньги, — кто же будет его потом исполнять? Одним словом — тут артельное, общее дело, а потому и партия к этому делу очень строга. Наконец Сушилов видит, что уж не отмолишься, и решается вполне согласиться. Объявляется всей партии; ну, там кого еще следует тоже дарят и поят, если надо. Тем, разумеется, всё равно: Михайлов или Сушилов пойдут к черту на рога, ну, а вино-то выпито; угостили, — следственно, и с их стороны молчок. На первом же этапе делают, например, перекличку; доходит до Михайлова: «Михайлов!» Сушилов откликается: я! «Сушилов!» Михайлов кричит: *я* — и пошли дальше. Никто и не говорит уж больше об этом. В Тобольске ссыльных рассортировывают. «Михайлова» на поселение, а «Сушилова» под усиленным конвоем препровождают в особое отделение. Далее никакой уже протест невозможен; да и чем в самом деле доказать? На сколько лет затянется такое дело? Что за него еще будет? Где, наконец, свидетели? Отрекутся, если б и были. Так и остается в результате, что

Сушилов за рубль серебром да за красную рубаху в «особое отделение» пришел.

Арестанты смеялись над Сушиловым — не за то, что он сменился (хотя к сменившимся на более тяжелую работу с легкой вообще питают презрение, как ко всяким попавшимся впросак дуракам), а за то, что он взял только красную рубаху и рубль серебром: слишком уж ничтожная плата. Обыкновенно меняются за большие суммы, опять-таки судя относительно. Берут даже и по нескольку десятков рублей. Но Сушилов был так безответен, безличен и для всех ничтожен, что над ним и смеяться-то как-то не приходилось.

Долго мы жили с Сушиловым, уже несколько лет. Мало-помалу он привязался ко мне чрезвычайно; я не мог этого не заметить, так что и я очень привык к нему. Но однажды — никогда не могу простить себе этого — он чего-то по моей просьбе не выполнил, а между тем только что взял у меня денег, и я имел жестокость сказать ему: «Вот, Сушилов, деньги-то вы берете, а дело-то не делаете». Сушилов смолчал, сбегал по моему делу, но что-то вдруг загрустил. Прошло два дня. Я думал: не может быть, чтоб он это от моих слов. Я знал, что один арестант, Антон Васильев, настоятельно требовал с него какой-то грошовый долг. Верно, денег нет, а он боится спросить у меня. На третий день я и говорю ему: «Сушилов, вы, кажется, у меня хотели денег спросить, для Антона Васильева? Нате». Я сидел тогда на нарах; Сушилов стоял передо мной. Он был, кажется, очень поражен, что я сам ему предложил денег, сам вспомнил о его затруднительном положении, тем более что в последнее время он, по его мнению, уж слишком много у меня забрал, так что и надеяться не смел, что я еще дам ему. Он посмотрел на деньги, потом на меня, вдруг отвернулся и вышел. Всё это меня очень поразило. Я пошел за ним и нашел его за казармами. Он стоял у острожного частокола, лицом к забору, прижав к нему голову и облокотясь на него рукой. «Сушилов, что с вами?» — спросил я его. Он не смотрел на меня, и я, к чрезвычайному удивлению, заметил, что он готов заплакать: «Вы, Александр Петрович… думаете, — начал он прерывающимся голосом и стараясь смотреть в сторону, — что я вам… за деньги… а я… я… ээх!» Тут он оборотился опять к частоколу, так что даже стукнулся об него лбом, — и как зарыдает!.. Первый раз я видел в каторге человека плачущего. Насилу я утешил его, и хоть он с этих пор, если возможно это, еще усерднее начал служить мне и «наблюдать меня», но по

некоторым, почти неуловимым признакам я заметил, что его сердце никогда не могло простить мне попрек мой. А между тем другие смеялись же над ним, шпыняли его при всяком удобном случае, ругали его иногда крепко, — а он жил же с ними ладно и дружелюбно и никогда не обижался. Да, очень трудно бывает распознать человека, даже и после долгих лет знакомства!

Вот почему с первого взгляда каторга и не могла мне представиться в том настоящем виде, как представилась впоследствии. Вот почему я и сказал, что если и смотрел на всё с таким жадным, усиленным вниманием, то все-таки не мог разглядеть много такого, что у меня было под самым носом. Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжелое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовала тому встреча моя с А-вым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня в острог и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу. Я, впрочем, узнал еще до прибытия в острог, что встречусь там с А-вым. Он отравил мне это первое тяжелое время и усилил мои душевные муки. Не могу умолчать о нем.

Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А-в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору всё, что делается в остроге, и был дружен с его денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на

какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими.* Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. «Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно». Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве. У нас был отцеубийца, из дворян; я уже упоминал о нем; но я убедился по многим чертам и фактам, что даже и тот был несравненно благороднее и человечнее А-ва. На мои глаза, во всё время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на всё, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренно никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо.* Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор и голод, чем такой человек в обществе! Я сказал уже, что в остроге всё так исподлилось, что шпионство и доносы процветали и арестанты нисколько не сердились за это. Напротив, с А-м все они были очень дружны и обращались с ним несравненно дружелюбнее, чем с нами. Милости же к нему нашего пьяного майора придавали ему в их глазах значение и вес. Между прочим, он уверил майора, что он может снимать портреты (арестантов он уверял, что был гвардии поручиком), и тот потребовал, чтоб его высылали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтоб рисовать майорский портрет. Тут-то он и сошелся с денщиком Федькой, имевшим чрезвычайное влияние на своего барина,

а следственно, на всех и на всё в остроге. А-в шпионил на нас по требованию майора же, а тот, хмельной, когда бил его по щекам, то его же ругал шпионом и доносчиком. Случалось, и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал А-ву продолжать портрет. Наш майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть не Брюллов[*], о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты разбрюллов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю. Между прочим, он заставлял А-ва снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что А-в великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец, майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем всё более и более становится на него непохожим, рассердился, исколотил художника и сослал его за наказание в острог, на черную работу. А-в, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки и от всех наслаждений, которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне. По крайней мере майор с удалением А-ва перестал преследовать М., арестанта, на которого А-в беспрерывно ему наговаривал, и вот за что: М. во время прибытия А-ва в острог был один. Он очень тосковал; не имел ничего общего с прочими арестантами, глядел на них с ужасом и омерзением, не замечал и проглядел в них всё, что могло бы подействовать на него примирительно, и не сходился с ними. Те платили ему тою же ненавистью. Вообще положение людей, подобных М., в остроге ужасно. Причина, по которой А-в попал в острог, была М. неизвестна. Напротив, А-в, догадавшись, с кем имеет дело, тотчас же уверил его, что он сослан совершенно за противоположное доносу, почти за то же, за что сослан был и М. М. страшно обрадовался товарищу, другу. Он ходил за ним, утешал его в первые дни каторги, предполагая, что он должен был очень страдать, отдал ему последние свои деньги, кормил его, поделился с ним необходимейшими вещами. Но А-в тотчас же возненавидел его именно за то, что тот был благороден, за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то именно, что был совершенно не похож на него, и всё, что М., в прежних разговорах, передал ему об остроге и о майоре, всё это А-в поспешил при первом случае донести майору. Майор

страшно возненавидел за это и угнетал М., и если б не влияние коменданта, он довел бы его до беды. А-в же не только не смущался, когда потом М. узнал про его низость, но даже любил встречаться с ним и с насмешкой смотреть на него. Это, видимо, доставляло ему наслаждение. Мне несколько раз указывал на это сам М. Эта подлая тварь потом бежала с одним арестантом и с конвойным, но об этом побеге я скажу после. Он очень сначала и ко мне подлизывался, думая, что я не слыхал о его истории. Повторяю, он отравил мне первые дни моей каторги еще большей тоской. Я ужаснулся той страшной подлости и низости, в которую меня ввергнули, среди которой я очутился. Я подумал, что здесь и всё так же подло и низко. Но я ошибался: я судил обо всех по А-ву.

В эти три дня я в тоске слонялся по острогу, лежал на своих нарах, отдал шить надежному арестанту, указанному мне Аким Акимычем, из выданного мне казенного холста рубашки, разумеется за плату (по скольку-то грошей с рубашки), завел себе, по настоятельному совету Акима Акимыча, складной тюфячок (из войлока, обшитого холстом), чрезвычайно тоненький, как блин, и подушку, набитую шерстью, страшно жесткую с непривычки. Аким Акимыч сильно хлопотал об устройстве мне всех этих вещей и сам в нем участвовал, собственноручно сшил мне одеяло из лоскутков старого казенного сукна, собранного из выносившихся панталон и курток, купленных мною у других арестантов. Казенные вещи, которым выходил срок, оставлялись в собственность арестанта; они тотчас же продавались тут же в остроге, и как бы ни была заношена вещь, все-таки имела надежду сойти с рук за какую-нибудь цену. Всему этому я сначала очень удивлялся. Вообще это было время моего первого столкновения с народом. Я сам вдруг сделался таким же простонародьем, таким же каторжным, как и они. Их привычки, понятия, мнения, обыкновения стали как будто тоже моими, по крайней мере по форме, по закону, хотя я и не разделял их в сущности. Я был удивлен и смущен, точно и не подозревал прежде ничего этого и не слыхал ни о чем, хотя и знал и слышал. Но действительность производит совсем другое впечатление, чем знание и слухи. Мог ли я, например, хоть когда-нибудь прежде подозревать, что такие вещи, такие старые обноски могут считаться тоже вещами? А вот сшил же себе из этих старых обносков одеяло! Трудно было и представить себе, какого сорта было сукно,

определенное на арестантское платье. С виду оно как будто и в самом деле походило на сукно, толстое, солдатское; но, чуть-чуть поношенное, оно обращалось в какой-то бредень[*] и раздиралось возмутительно. Впрочем, суконное платье давалось на годичный срок, но и с этим сроком трудно было справиться. Арестант работает, носит на себе тяжести; платье обтирается и обдирается скоро. Тулупы же выдавались на три года и обыкновенно служили в продолжение всего этого срока и одеждой, и одеялами, и подстилками. Но тулупы крепки, хотя и не редкость было на ком-нибудь видеть к концу третьего года, то есть срока выноски, тулуп, заплатанный простою холстиной. Несмотря на то, даже очень выношенные, по окончании определенного им срока, продавались копеек за сорок серебром. Некоторые же, получше сохранившиеся, продавались за шесть или даже за семь гривен серебром, а в каторге это были большие деньги.

Деньги же — я уже говорил об этом — имели в остроге страшное значение, могущество. Положительно можно сказать, что арестант, имевший хоть какие-нибудь деньги в каторге, в десять раз меньше страдал, чем совсем не имевший их, хотя последний обеспечен тоже всем казенным, и к чему бы, кажется, иметь ему деньги? — как рассуждало наше начальство. Опять-таки, повторяю, что, если б арестанты лишены были всякой возможности иметь свои деньги, они или сходили бы с ума, или мерли бы, как мухи (несмотря на то что были во всем обеспечены), или, наконец, пустились бы в неслыханные злодейства, — одни от тоски, другие — чтоб поскорее быть как-нибудь казненным и уничтоженным или так как-нибудь «переменить участь» (техническое выражение). Если же арестант, добыв почти кровавым потом свою копейку или решась для приобретения ее на необыкновенные хитрости, сопряженные часто с воровством и мошенничеством, в то же время так безрассудно, с таким ребяческим бессмыслием тратит их, то это вовсе не доказывает, что он их не ценит, хотя бы и казалось так с первого взгляда. К деньгам арестант жаден до судорог, до омрачения рассудка, и если действительно бросает их, как щепки, когда кутит, то бросает за то, что считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе. А арестанты большие мечтатели. Об этом я кой-что скажу после, но, к слову пришлось: поверят ли, что я видал сосланных на *двадцатилетний* срок, которые мне самому говорили,

очень спокойно, такие, например, фразы: «А вот подожди, даст бог, кончу срок, и тогда…» Весь смысл слова «арестант» означает человека без воли; а, тратя деньги, он поступает уже по *своей воле.* Несмотря ни на какие клейма, кандалы и ненавистные пали острога, заслоняющие ему божий мир и огораживающие его как зверя в клетке, он может достать вина, то есть страшно запрещенное наслаждение, попользоваться клубничкой, даже иногда (хоть и не всегда) подкупить своих ближайших начальников, инвалидов и даже унтер-офицера, которые сквозь пальцы будут смотреть на то, что он нарушает закон и дисциплину; даже может, сверх торгу, еще покуражиться над ними, а покуражиться арестант ужасно любит, то есть представиться пред товарищами и уверить даже себя *хоть на время*, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется, — одним словом, может накутить, набуянить, разобидеть кого-нибудь в прах и доказать ему, что он всё это *может,* что всё это в «наших руках», то есть уверить себя в том, о чем бедняку и помыслить невозможно. Кстати: вот отчего, может быть, в арестантах, даже и в трезвом виде, замечается всеобщая наклонность к куражу, к хвастовству, к комическому и наивнейшему возвеличению собственной личности, хотя бы призрачному. Наконец, во всем этом кутеже есть свой риск, — значит, всё это имеет хоть какой-нибудь призрак жизни, хоть отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за свободу? Какой миллионщик, если б ему сдавили горло петлей, не отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха?

Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе несколько лет так смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с того ни с сего — точно бес в него влез — зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное преступление рискнул: или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или изнасиловал и проч. Смотрят на него и удивляются. А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его, — это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем, колотит в свою крышу и

силится сбросить ее, хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уже не до рассудка: тут судороги. Возьмем еще в соображение, что почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением; а в таком случае, ему, естественно, всё равно, что большое, что малое проявление. Кутить — так уж кутить, рискнуть — так уж рискнуть на всё, даже хоть на убийство. И только ведь стоит начать: опьянеет потом человек, даже не удержишь! А потому всячески бы лучше не доводить до этого. Всем было бы спокойнее.

Да; но как это сделать?

## VI
## Первый месяц

При вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится, несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе братский уход за «несчастными», сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое. Не могу не припомнить здесь вкратце об одной встрече. В городе, в котором находился наш острог, жила одна дама, Настасья Ивановна, вдова. Разумеется, никто из нас, в бытность в остроге, не мог познакомиться с ней лично. Казалось, назначением жизни своей она избрала помощь ссыльным, но более всех заботилась о нас. Было ли в семействе у ней какое-нибудь подобное же несчастье, или кто-нибудь из особенно дорогих и близких ее сердцу людей пострадал по такому же преступлению, но только она как будто за особое счастье почитала сделать для нас всё, что только могла. Многого она, конечно, не могла: она была очень бедна. Но мы, сидя в остроге, чувствовали, что там, за острогом, есть у нас преданнейший друг. Между прочим, она нам часто сообщала известия, в которых мы

очень нуждались. Выйдя из острога и отправляясь в другой город, я успел побывать у ней и познакомиться с нею лично. Она жила где-то в форштадте, у одного из своих близких родственников. Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна; даже нельзя было узнать, умна ли она, образованна ли? Замечалась только в ней, на каждом шагу, одна бесконечная доброта, непреодолимое желание угодить, облегчить, сделать для вас непременно что-нибудь приятное. Всё это так и виднелось в ее тихих, добрых взглядах. Я провел вместе с другим из острожных моих товарищей у ней почти целый вечер. Она так и глядела нам в глаза, смеялась, когда мы смеялись, спешила соглашаться со всем, что бы мы ни сказали; суетилась угостить нас хоть чем-нибудь, чем только могла. Подан был чай, закуска, какие-то сласти, и если б у ней были тысячи, она бы, кажется, им обрадовалась только потому, что могла бы лучше нам угодить да облегчить наших товарищей, оставшихся в остроге. Прощаясь, она вынесла нам по сигарочнице на память. Эти сигарочницы она склеила для нас сама из картона (уж бог знает, как они были склеены), оклеила их цветной бумажкой, точно такою же, в какую переплетаются краткие арифметики для детских школ (а может быть, и действительно на оклейку пошла какая-нибудь арифметика). Кругом же обе папиросочницы были, для красоты, оклеены тоненьким бордюрчиком из золотой бумажки, за которою она, может быть, нарочно ходила в лавки. «Вот вы курите же папироски, так, может быть, и пригодится вам», — сказала она, как бы извиняясь робко перед нами за свой подарок…[*] Говорят иные (я слышал и читал это), что высочайшая любовь к ближнему есть в то же время и величайший эгоизм.[*] Уж в чем тут-то был эгоизм — никак не пойму.

Хоть у меня вовсе не было при входе в острог больших денег, но я как-то не мог тогда серьезно досадовать на тех из каторжных, которые почти в первые часы моей острожной жизни, уже обманув меня раз, пренаивно приходили по другому, по третьему и даже по пятому разу занимать у меня. Но признаюсь в одном откровенно: мне очень было досадно, что весь этот люд, с своими наивными хитростями, непременно должен был, как мне казалось, считать меня простофилей и дурачком и смеяться надо мной, именно потому, что я в пятый раз давал им деньги. Им непременно должно было казаться, что я поддаюсь на их обманы и хитрости, и если б, напротив, я им отказывал и прогонял их, то, я уверен, они стали бы несравненно более уважать меня. Но как я ни

досадовал, а отказать все-таки не мог. Досадовал же я потому, что серьезно и заботливо думал в эти первые дни о том, как и на какой ноге поставлю я себя в остроге, или, лучше сказать, на какой ноге я должен был стоять с ними. Я чувствовал и понимал, что вся эта среда для меня совершенно новая, что я в совершенных потемках, а что в потемках нельзя прожить столько лет. Следовало приготовиться. Разумеется, я решил, что прежде всего надо поступать прямо, как внутреннее чувство и совесть велят. Но я знал тоже, что ведь это только афоризм, а передо мной все-таки явится самая неожиданная практика.

И потому, несмотря на все мелочные заботы о своем устройстве в казарме, о которых я уже упоминал и в которые вовлекал меня по преимуществу Аким Акимыч, несмотря на то что они несколько и развлекали меня, — страшная, ядущая тоска всё более и более меня мучила. «Мертвый дом!» — говорил я сам себе, присматриваясь иногда в сумерки, с крылечка нашей казармы, к арестантам, уже собравшимся с работы и лениво слонявшимся по площадке острожного двора, из казарм в кухни и обратно. Присматривался к ним и по лицам и движениям их старался узнавать, что они за люди и какие у них характеры? Они же шлялись передо мной с нахмуренными лбами или уже слишком развеселые (эти два вида наиболее встречаются и почти характеристика каторги), ругались или просто разговаривали или, наконец, прогуливались в одиночку, как будто в задумчивости, тихо, плавно, иные с усталым и апатическим видом, другие (даже и здесь!) — с видом заносчивого превосходства, с шапками набекрень, с тулупами внакидку, с дерзким, лукавым взглядом и с нахальной пересмешкой. «Всё это моя среда, мой теперешний мир, — думал я, — с которым, хочу не хочу, а должен жить…» Я пробовал было расспрашивать и разузнать об них у Акима Акимыча, с которым очень любил пить чай, чтоб не быть одному. Мимоходом сказать, чай, в это первое время, был почти единственною моею пищею. От чаю Аким Акимыч не отказывался и сам наставлял наш смешной, самодельный, маленький самовар из жести, который дал мне на подержание М. Аким Акимыч выпивал обыкновенно один стакан (у него были и стаканы), выпивал молча и чинно, возвращая мне его, благодарил и тотчас же принимался отделывать мое одеяло. Но того, что мне надо было узнать, — сообщить не мог и даже не понимал, к чему я так особенно интересуюсь характерами окружающих нас и ближайших к нам каторжных, и слушал

меня даже с какой-то хитренькой улыбочкой, очень мне памятной. «Нет, видно, надо самому испытывать, а не расспрашивать», — подумал я.

На четвертый день, так же как и в тот раз, когда я ходил перековываться, выстроились рано поутру арестанты, в два ряда, на площадке перед кордегардией, у острожных ворот. Впереди, лицом к ним, и сзади — вытянулись солдаты, с заряженными ружьями и с примкнутыми штыками. Солдат имеет право стрелять в арестанта, если тот вздумает бежать от него; но в то же время и отвечает за свой выстрел, если сделал его не в случае самой крайней необходимости; то же самое и в случае открытого бунта каторжников. Но кто же бы вздумал бежать явно? Явился инженерный офицер, кондуктор, а также инженерные унтер-офицеры и солдаты, приставы над производившимися работами. Сделали перекличку; часть арестантов, ходившая в швальни*, отправлялась прежде всех; до них инженерное начальство и не касалось; они работали собственно на острог и обшивали его. Затем отправились в мастерские, а затем и на обыкновенные черные работы. В числе человек двадцати других арестантов отправился и я. За крепостью, на замерзшей реке, были две казенные барки, которые за негодностью нужно было разобрать, чтоб по крайней мере старый лес не пропал даром. Впрочем, весь этот старый материал, кажется, очень мало стоил, почти ничего. Дрова в городе продавались по цене ничтожной, и кругом лесу было множество. Посылали почти только для того, чтоб арестантам не сидеть сложа руки, что и сами-то арестанты хорошо понимали. За такую работу они всегда принимались вяло и апатически, и почти совсем другое бывало, когда работа сама по себе была дельная, ценная и особенно когда можно было выпросить себе на урок. Тут они словно чем-то одушевлялись и хоть им вовсе не было никакой от этого выгоды, но, я сам видел, выбивались из сил, чтоб ее поскорей и получше докончить; даже самолюбие их тут как-то заинтересовывалось. А в настоящей работе, делавшейся более для проформы, чем для надобности, трудно было выпросить себе урок, а надо было работать вплоть до барабана, бившего призыв домой в одиннадцать часов утра. День был теплый и туманный; снег чуть не таял. Вся наша кучка отправилась за крепость на берег, слегка побрякивая цепями, которые хотя и были скрыты под одеждою, но все-таки издавали тонкий и резкий металлический звук с каждым шагом. Два-три человека отделились за необходимым инструментом в цейхауз*.

Я шел вместе со всеми и даже как будто оживился: мне хотелось поскорее увидеть и узнать, что за работа? Какая это каторжная работа? И как я сам буду в первый раз в жизни работать? Помню всё до малейшей подробности. На дороге встретился нам какой-то мещанин с бородкой, остановился и засунул руку в карман. Из нашей кучки немедленно отделился арестант, снял шапку, принял подаяние — пять копеек — и проворно воротился к своим. Мещанин перекрестился и пошел своею дорогою. Эти пять копеек в то же утро проели на калачах, разделив их на всю нашу партию поровну.

Из всей этой кучки арестантов одни были, по обыкновению, угрюмы и неразговорчивы, другие равнодушны и вялы, третьи лениво болтали промеж собой. Один был ужасно чему-то рад и весел, пел и чуть не танцевал дорогой, прибрякивая с каждым прыжком кандалами. Это был тот самый невысокий и плотный арестант, который в первое утро мое в остроге поссорился с другим у воды, во время умывания, за то, что другой осмелился безрассудно утверждать про себя, что он птица каган. Звали этого развеселившегося парня Скуратов. Наконец, он запел какую-то лихую песню, из которой я помню припев:

Без меня меня женили —

Я на мельнице был.*

Недоставало только балалайки.

Его необыкновенно веселое расположение духа, разумеется, тотчас же возбудило в некоторых из нашей партии негодование, даже принято было чуть не за обиду.

— Завыл! — с укоризною проговорил один арестант, до которого, впрочем, вовсе не касалось дело.

— Одна была песня у волка, и ту перенял, туляк! — заметил другой, из мрачных, хохлацким выговором.

— Я-то, положим, туляк, — немедленно возразил Скуратов, — а вы в вашей Полтаве галушкой подавились.

— Ври! Сам-то что едал! Лаптем щи хлебал.

— А теперь словно черт ядрами кормит, — прибавил третий.

— Я и вправду, братцы, изнеженный человек, — отвечал с легким вздохом Скуратов, как будто раскаиваясь в своей изнеженности и обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности, — с самого сызмалетства на черносливе да на пампрусских булках испытан (то есть воспитан. Скуратов нарочно коверкал слова), родимые же братцы мои и

теперь еще в Москве свою лавку имеют, в прохожем ряду ветром торгуют, купцы богатеющие.

— А ты чем торговал?

— А по разным качествам и мы происходили. Вот тогда-то, братцы, и получил я первые двести…

— Неужто рублей! — подхватил один любопытный, даже вздрогнув, услышав про такие деньги.

— Нет, милый человек, не рублей, а палок. Лука, а Лука!

— Кому Лука, а тебе Лука Кузьмич, — нехотя отозвался маленький и тоненький арестантик с востреньким носиком.

— Ну Лука Кузьмич, черт с тобой, так уж и быть.

— Кому Лука Кузьмич, а тебе дядюшка.

— Ну, да черт с тобой и с дядюшкой, не стоит и говорить! А хорошее было слово хотел сказать. Ну, так вот, братцы, как это случилось, что недолго я нажил в Москве; дали мне там напоследок пятнадцать кнутиков да и отправили вон. Вот я…

— Да за что отправили-то?.. — перебил один, прилежно следивший за рассказом.

— А не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе[*], так что я не успел, братцы, настоящим образом в Москве разбогатеть А оченно, оченно, оченно того хотел, чтоб богатым быть. И уж так мне этого хотелось, что и не знаю, как и сказать.

Многие рассмеялись. Скуратов был, очевидно, из добровольных весельчаков, или, лучше, шутов, которые как будто ставили себе в обязанность развеселять своих угрюмых товарищей и, разумеется, ровно ничего, кроме брани, за это не получали. Он принадлежал к особенному и замечательному типу, о котором мне, может быть, еще придется поговорить.

— Да тебя и теперь вместо соболя бить можно, — заметил Лука Кузьмич. — Ишь, одной одежи рублей на сто будет.

На Скуратове был самый ветхий, самый заношенный тулупишка, на котором со всех сторон торчали заплаты. Он довольно равнодушно, но внимательно осмотрел его с верху донизу.

— Голова зато дорого стоит, братцы, голова! — отвечал он. — Как и с Москвой прощался, тем и утешен был, что голова со мной вместе пойдет. Прощай, Москва, спасибо за баню, за вольный дух, славно исполосовали! А на тулуп нечего тебе, милый человек, смотреть…

— Небось на твою голову смотреть?

— Да и голова-то у него не своя, а подаянная, — опять ввязался Лука. — Ее ему в Тюмени Христа ради подали, как с партией проходил.

— Что ж ты, Скуратов, небось мастерство имел?

— Како мастерство! Поводырь был, гаргосов водил, у них голыши таскал, — заметил один из нахмуренных, — вот и всё его мастерство.

— Я девствительно пробовал было сапоги тачать, — отвечал Скуратов, совершенно не заметив колкого замечания. — Всего одну пару и стачал.

— Что ж, покупали?

— Да, нарвался такой, что, видно, бога не боялся, отца-мать не почитал; наказал его господь, — купил. Все вокруг Скуратова так и покатились со смеху.

— Да потом еще раз работал, уже здесь, — продолжал с чрезвычайным хладнокровием Скуратов, — Степану Федорычу Поморцеву, поручику, головки приставлял.

— Что ж он, доволен был?

— Нет, братцы, недоволен. На тысячу лет обругал да еще коленком напинал меня сзади. Оченно уж рассердился. Эх, солгала моя жизнь, солгала каторжная!

Погодя того немножко,

Ак-кулинин муж на двор…[*] —

неожиданно залился он снова и пустился притопывать вприпрыжку ногами.

— Ишь, безобразный человек! — проворчал шедший подле меня хохол, с злобным презрением скосив на него глаза.

— Бесполезный человек! — заметил другой окончательным и серьезным тоном.

Я решительно не понимал, за что на Скуратова сердятся, да и вообще — почему все веселые, как уже успел я заметить в эти первые дни, как будто находились в некотором презрении? Гнев хохла и других я относил к личностям. Но это были не личности, а гнев за то, что в Скуратове не было выдержки, не было строгого напускного вида собственного достоинства, которым заражена была вся каторга до педантства, — одним словом, за то, что он был, по их же выражению, «бесполезный» человек. Однако на веселых не на всех сердились и не всех так третировали, как Скуратова и других, ему подобных. Кто как с

собой позволял обходиться: человек добродушный и без затей тотчас же подвергался унижению. Это меня даже поразило. Но были и из веселых, которые умели и любили огрызнуться и спуску никому не давали: тех принуждены были уважать. Тут же, в этой же кучке людей, был один из таких зубастых, а в сущности развеселый и премилейший человек, но которого с этой стороны я узнал уже после, видный и рослый парень, с большой бородавкой на щеке и с прекомическим выражением лица, впрочем довольно красивого и сметливого. Называли его пионером[*], потому что когда-то он служил в пионерах; теперь же находился в особом отделении. Про него мне еще придется говорить.

Впрочем, и не все «серьезные» были так экспансивны, как негодующий на веселость хохол. В каторге было несколько человек, метивших на первенство, на знание всякого дела, на находчивость, на характер, на ум. Многие из таких действительно были люди умные, с характером и действительно достигали того, на что метили, то есть первенства и значительного нравственного влияния на своих товарищей. Между собою эти умники были часто большие враги — и каждый из них имел много ненавистников. На прочих арестантов они смотрели с достоинством и даже с снисходительностью, ссор ненужных не затевали, у начальства были на хорошем счету, на работах являлись как будто распорядителями, и ни один из них не стал бы придираться, например, за песни: до таких мелочей они не унижались. Со мной все такие были замечательно вежливы, во всё продолжение каторги, но не очень разговорчивы; тоже как будто из достоинства. Об них тоже придется поговорить подробнее.

Пришли на берег. Внизу, на реке, стояла замерзшая в воде старая барка, которую надо было ломать. На той стороне реки синела степь; вид был угрюмый и пустынный. Я ждал, что так все и бросятся за работу, но об этом и не думали. Иные расселись на валявшихся по берегу бревнах; почти все вытащили из сапог кисеты с туземным табаком, продававшимся на базаре в листах по три копейки за фунт, и коротенькие талиновые чубучки[*] с маленькими деревянными трубочками-самодельщиной. Трубки закурились; конвойные солдаты обтянули нас цепью и с скучнейшим видом принялись нас стеречь.

— И кто догадался ломать эту барку? — промолвил один как бы про себя, ни к кому, впрочем, не обращаясь. — Щепок, что ль захотелось?

— А кто нас не боится, тот и догадался, — заметил другой.

— Куда это мужичье-то валит? — помолчав, спросил первый, разумеется не заметив ответа на прежний вопрос и указывая вдаль на толпу мужиков, пробиравшихся куда-то гуськом по цельному снегу. Все лениво оборотились в ту сторону и от нечего делать принялись их пересмеивать. Один из мужичков, последний, шел как-то необыкновенно смешно, расставив руки и свесив набок голову, на которой была длинная мужичья шапка, гречневиком*. Вся фигура его цельно и ясно обозначалась на белом снегу.

— Ишь, братан Петрович, как оболокся! — заметил один, передразнивая выговором мужиков. Замечательно, что арестанты вообще смотрели на мужиков несколько свысока, хотя половина из них были из мужиков.

— Задний-то, ребята, ходит, точно редьку садит.

— Это тяжкодум, у него денег много, — заметил третий.

Все засмеялись, но как-то тоже лениво, как будто нехотя. Между тем подошла калашница, бойкая и разбитная бабенка.

У ней взяли калачей на подаянный пятак и разделили тут же поровну.

Молодой парень, торговавший в остроге калачами, забрал десятка два и крепко стал спорить, чтоб выторговать три, а не два калача, как следовало по обыкновенному порядку. Но калашница не соглашалась.

— Ну, а того-то не дашь?

— Чего еще?

— Да чего мыши-то не едят.

— Да чтоб те язвило! — взвизгнула бабенка и засмеялась.

Наконец появился и пристав над работами, унтер-офицер с палочкой.

— Эй вы, что расселись! Начинать!

— Да что, Иван Матвеич, дайте урок, — проговорил один из «начальствующих», медленно подымаясь с места.

— Чего давеча на разводке не спрашивали? Барку растащи, вот те и урок.

Кое-как наконец поднялись и спустились к реке, едва волоча ноги. В толпе тотчас же появились и «распорядители», по крайней мере на словах. Оказалось, что барку не следовало рубить зря, а надо было по возможности сохранить бревна и в особенности поперечные кокоры,

прибитые по всей длине своей ко дну барки деревянными гвоздями, — работа долгая и скучная.

— Вот надоть бы перво-наперво оттащить это бревнушко. Принимайся-ка, ребята! — заметил один вовсе не распорядитель и не начальствующий, а просто чернорабочий, бессловесный и тихий малый, молчавший до сих пор, и, нагнувшись, обхватил руками толстое бревно, поджидая помощников. Но никто не помог ему.

— Да, подымешь небось! И ты не подымешь, да и дед твой, медведь, приди, — и тот не подымет! — проворчал кто-то сквозь зубы.

— Так что ж, братцы, как начинать-то? Я уж и не знаю… — проговорил озадаченный выскочка, оставив бревно и приподымаясь.

— Всей работы не переработаешь… чего выскочил?

— Трем курам корму раздать обочтется, а туда же первый… Стрепета![*]

— Да я, братцы, ничего, — отговаривался озадаченный, — я только так…

— Да что ж мне на вас чехлы понадеть, что ли? Аль солить вас прикажете на зиму? — крикнул опять пристав, с недоумением смотря на двадцатиголовую толпу, не знавшую, как приняться за дело. — Начинать! Скорей!

— Скорей скорого не сделаешь, Иван Матвеич.

— Да ты и так ничего не делаешь, эй! Савельев! Разговор Петрович! Тебе говорю: что стоишь, глаза продаешь!.. начинать!

— Да я что ж один сделаю?..

— Уж задайте урок, Иван Матвеич.

— Сказано — не будет урока. Растащи барку и иди домой. Начинать!

Принялись наконец, но вяло, нехотя, неумело. Даже досадно было смотреть на эту здоровенную толпу дюжих работников, которые, кажется, решительно недоумевали, как взяться за дело. Только было принялись вынимать первую, самую маленькую кокору[*] — оказалось, что она ломается, «сама ломается», как принесено было в оправдание приставу; следственно, так нельзя было работать, а надо было приняться как-нибудь иначе. Пошло долгое рассуждение промеж собой о том, как приняться иначе, что делать? Разумеется, мало-помалу дошло до ругани, грозило зайти и подальше… Пристав опять прикрикнул и помахал палочкой, но кокора опять сломалась. Оказалось наконец, что

топоров мало и что надо еще принести какой-нибудь инструмент. Тотчас же отрядили двух парней, под конвоем, за инструментом в крепость, а в ожидании все остальные преспокойно уселись на барке, вынули свои трубочки и опять закурили. Пристав наконец плюнул.

— Ну, от вас работа не заплачет! Эх, народ, народ! — проворчал он сердито, махнул рукой и пошел в крепость, помахивая палочкой.

Через час пришел кондуктор. Спокойно выслушав арестантов, он объявил, что дает на урок вынуть еще четыре кокоры, но так, чтоб уж они не ломались, а целиком, да, сверх того, отделил разобрать значительную часть барки, с тем что тогда уж можно будет идти домой. Урок был большой, но, батюшки, как принялись! Куда делась лень, куда делось недоумение! Застучали топоры, начали вывертывать деревянные гвозди. Остальные подкладывали толстые шесты и, налегая на них в двадцать рук, бойко и мастерски выламывали кокоры, которые, к удивлению моему, выламывались теперь совершенно целые и непопорченные. Дело кипело. Все вдруг как-то замечательно поумнели. Ни лишних слов, ни ругани, всяк знал, что сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать. Ровно за полчаса до барабана заданный урок был окончен, и арестанты пошли домой, усталые, но совершенно довольные, хоть и выиграли всего-то каких-нибудь полчаса против указанного времени. Но относительно меня я заметил одну особенность: куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы, везде я был не у места, везде мешал, везде меня чуть не с бранью отгоняли прочь.

Какой-нибудь последний оборвыш, который и сам-то был самым плохим работником и не смел пикнуть перед другими каторжниками, побойчее его и потолковее, и тот считал вправе крикнуть на меня и прогнать меня, если я становился подле него, под тем предлогом, что я ему мешаю. Наконец, один из бойких прямо и грубо сказал мне: «Куда лезете, ступайте прочь! Что соваться куда не спрашивают».

— Попался в мешок! — тотчас же подхватил другой.

— А ты лучше кружку возьми, — сказал мне третий, — да и ступай сбирать на каменное построение да на табашное разорение, а здесь тебе нечего делать.

Приходилось стоять отдельно, а отдельно стоять, когда все работают, как-то совестно. Но когда действительно так случилось, что я отошел и стал на конец барки, тотчас же закричали:

— Вон каких надавали работников; чего с ними сделаешь? Ничего

не сделаешь!

Всё это, разумеется, было нарочно, потому что всех это тешило. Надо было поломаться над бывшим дворянчиком, и, конечно, они были рады случаю.

Очень понятно теперь, почему, как уже я говорил прежде, первым вопросом моим при вступлении в острог было: как вести себя, как поставить себя перед этими людьми? Я предчувствовал, что часто будут у меня такие же столкновения с ними, как теперь на работе. Но, несмотря ни на какие столкновения, я решился не изменять плана моих действий, уже отчасти обдуманного мною в это время; я знал, что он справедлив. Именно: я решил, что надо держать себя как можно проще и независимее, отнюдь не выказывать особенного старания сближаться с ними; но и не отвергать их, если они сами пожелают сближения. Отнюдь не бояться их угроз и ненависти и, по возможности, делать вид, что не замечаю того. Отнюдь не сближаться с ними на некоторых известных пунктах и не давать потачки некоторым их привычкам и обычаям, одним словом — не напрашиваться самому на полное их товарищество. Я догадался с первого взгляда, что они первые презирали бы меня за это. Однако, по их понятиям (и я узнал это впоследствии наверно), я все-таки должен был соблюдать и уважать перед ними даже дворянское происхождение мое, то есть нежиться, ломаться, брезгать ими, фыркать на каждом шагу, белоручничать. Так именно они понимали, что такое дворянин. Они, разумеется, ругали бы меня за это, но все-таки уважали бы про себя. Такая роль была не по мне; я никогда не бывал дворянином по их понятиям; но зато я дал себе слово никакой уступкой не унижать перед ними ни образования моего, ни образа мыслей моих. Если б я стал, им в угоду, подлещаться к ним, соглашаться с ними, фамильярничать с ними и пускаться в разные их «качества», чтоб выиграть их расположение, — они бы тотчас же предположили, что я делаю это из страха и трусости, и с презрением обошлись бы со мной. А-в был не пример: он ходил к майору, и они сами боялись его. С другой стороны, мне и не хотелось замыкаться перед ними в холодную и недоступную вежливость, как делали поляки. Я очень хорошо видел теперь, что они презирают меня за то, что я хотел работать, как и они, не нежился и не ломался перед ними; и хоть я наверно знал, что потом они принуждены будут переменить обо мне свое мнение, но все-таки мысль, что теперь они как будто имеют право

презирать меня, думая, что я на работе заискивал перед ними, — эта мысль ужасно огорчала меня.

Когда вечером, по окончании послеобеденной работы, я воротился в острог, усталый и измученный, страшная тоска опять одолела меня. «Сколько тысяч еще таких дней впереди, — думал я, — всё таких же, всё одних и тех же!» Молча, уже в сумерки, скитался я один за казармами, вдоль забора, и вдруг увидал нашего Шарика, бегущего прямо ко мне. Шарик был наша острожная собака, так, как бывают ротные, батарейные и эскадронные собаки. Она жила в остроге с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это была довольно большая собака, черная с белыми пятнами, дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом. Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла смирно, ласково смотрела на меня и в знак удовольствия тихо махала хвостом. Теперь, долго меня не видя, — меня, первого, который в несколько лет вздумал ее приласкать, — она бегала и отыскивала меня между всеми и, отыскав за казармами, с визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со мной сталось, но я бросился целовать ее, я обнял ее голову; она вскочила мне передними лапами на плеча и начала лизать мне лицо. «Так вот друг, которого мне посылает судьба!» — подумал я, и каждый раз, когда потом, в это первое тяжелое и угрюмое время, я возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне даже приятно было думать, как будто хвалясь перед собой своей же мукой, что вот на всем свете только и осталось теперь для меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг — моя верная собака Шарик.

## VII
## Новые знакомства. Петров

Но время шло, и я мало-помалу стал обживаться. С каждым днем

всё менее и менее смущали меня обыденные явления моей новой жизни. Происшествия, обстановка, люди — всё как-то примелькалось к глазам. Примириться с этой жизнью было невозможно, но признать ее за совершившийся факт давно пора было. Все недоразумения, которые еще остались во мне, я затаил внутри себя, как только мог глуше. Я уже не слонялся по острогу как потерянный и не выдавал тоски своей. Дико любопытные взгляды каторжных уже не останавливались на мне так часто, не следили за мной с такою выделанною наглостью. Я тоже, видно, примелькался им, чему я был очень рад. По острогу я уже расхаживал как у себя дома, знал свое место на нарах и даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть. Регулярно каждую неделю ходил брить половину своей головы. Каждую субботу, в шабашное время[*], нас вызывали для этого, поочередно, из острога в кордегардию (не выбрившийся уже сам отвечал за себя), и там цирюльники из батальонов мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня даже и теперь мороз проходит по коже при воспоминании об этой пытке. Впрочем, скоро нашлось лекарство: Аким Акимыч указал мне одного арестанта, военного разряда, который за копейку брил собственной бритвой кого угодно и тем промышлял. Многие из каторжных ходили к нему, чтоб избежать казенных цирюльников, а между тем народ был не неженка. Нашего арестанта-цирюльника звали *майором* — почему — не знаю, и чем он мог напоминать майора — тоже не могу сказать. Теперь, как пишу это, так и представляется мне этот майор, высокий, сухощавый и молчаливый парень, довольно глуповатый, вечно углубленный в свое занятие и непременно с ремнем в руке, на котором он денно и нощно направлял свою донельзя сточенную бритву, и, кажется, весь уходил в это занятие, приняв его, очевидно, за назначение всей своей жизни. В самом деле, он был до крайности доволен, когда бритва была хороша и когда кто-нибудь приходил побриться: мыло было у него теплое, рука легкая, бритье бархатное. Он видимо наслаждался и гордился своим искусством и небрежно принимал заработанную копейку, как будто и в самом деле дело было в искусстве, а не в копейке. Больно досталось А-ву от нашего плац-майора, когда он, фискаля ему на острог, упомянул раз имя нашего острожного цирюльника и неосторожно назвал его *майором.* Плац-майор рассвирепел и обиделся до последней степени. «Да знаешь ли ты,

подлец, что такое майор! — кричал он с пеной у рта, по-свойски расправляясь с А-вым, — понимаешь ли ты, что такое майор! И вдруг какой-нибудь подлец каторжный, и сметь его звать майором, мне в глаза, в моем присутствии!..» Только А-в мог уживаться с таким человеком.

С самого первого дня моей жизни в остроге я уже начал мечтать о свободе. Расчет, когда кончатся мои острожные годы, в тысяче разных видах и применениях, сделался моим любимым занятием. Я даже и думать ни о чем не мог иначе и уверен, что так поступает всякий, лишенный на срок свободы. Не знаю, думали ль, рассчитывали ль каторжные так же, как я, но удивительное легкомыслие их надежд поразило меня с первого шагу. Надежда заключенного, лишенного свободы, — совершенно другого рода, чем настоящим образом живущего человека. Свободный человек, конечно, надеется (например, на перемену судьбы, на исполнение какого-нибудь предприятия), но он живет, он действует; настоящая жизнь увлекает его своим круговоротом вполне. Не то для заключенного. Тут, положим, тоже жизнь — острожная, каторжная; но кто бы ни был каторжник и на какой бы срок он ни был сослан, он решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за что-то положительное, окончательное, за часть действительной жизни. Всякий каторжник чувствует, что он не *у себя дома*, а как будто в гостях. На двадцать лет он смотрит как будто на два года и совершенно уверен, что и в пятьдесят пять лет по выходе из острога он будет такой же молодец, как и теперь, в тридцать пять. «Поживем еще!» — думает он и упрямо гонит от себя все сомнения и прочие досадные мысли. Даже сосланные без срока, особого отделения, и те рассчитывали иногда, что вот нет-нет, а вдруг придет разрешение из Питера: «Переслать в Нерчинск, в рудники, и назначить сроки». Тогда славно: во-первых, в Нерчинск чуть не полгода идти, а в партии идти против острога куды лучше! А потом кончить в Нерчинске срок и тогда… И ведь так рассчитывает иной седой человек!

В Тобольске видел я прикованных к стене. Он сидит на цепи, этак в сажень длиною; тут у него койка. Приковали его за что-нибудь из ряду вон страшное, совершенное уже в Сибири. Сидят по пяти лет, сидят и по десяти. Большею частью из разбойников. Одного только между ними я видел как будто из господ; где-то он когда-то служил. Говорил он смирнехонько, пришепетывая; улыбочка сладенькая. Он показывал нам

свою цепь, показывал, как надо ложиться удобнее на койку. То-то, должно быть, была своего рода птица! Все они вообще смирно ведут себя и кажутся довольными, а между тем каждому чрезвычайно хочется поскорее высидеть свой срок. К чему бы, кажется? А вот к чему: выйдет он тогда из душной промозглой комнаты с низкими кирпичными сводами и пройдется по двору острога, и… и только. За острог уж его не выпустят никогда. Он сам знает, что спущенные с цепи навечно уже содержатся при остроге, до самой смерти своей, и в кандалах. Он это знает, и все-таки ему ужасно хочется поскорее кончить свой цепной срок. Ведь без этого желания мог ли бы он просидеть пять или шесть лет на цепи, не умереть или не сойти с ума? Стал ли бы еще иной-то сидеть?

Я чувствовал, что работа может спасти меня, укрепить мое здоровье, тело. Постоянное душевное беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня совершенно. «Чаще быть на воздухе, каждый день уставать, приучаться носить тяжести — и по крайней мере я спасу себя, — думал я, — укреплю себя, выйду здоровый, бодрый, сильный, нестарый». Я не ошибся: работа и движение были мне очень полезны. Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой. «Нет, — думал я, на него глядя, — я хочу жить и буду жить». Зато и доставалось же мне сначала от каторжных за любовь к работе, и долго они язвили меня презрением и насмешками. Но я не смотрел ни на кого и бодро отправлялся куда-нибудь, например хоть обжигать и толочь алебастр, — одна из первых работ, мною узнанных. Это была работа легкая. Инженерное начальство, по возможности, готово было облегчать работу дворянам, что, впрочем, было вовсе не поблажкой, а только справедливостью. Странно было бы требовать с человека, вполовину слабейшего силой и никогда не работавшего, того же урока, который задавался по положению настоящему работнику. Но это «баловство» не всегда исполнялось, даже исполнялось-то как будто украдкой: за этим надзирали строго со стороны. Довольно часто приходилось работать работу тяжелую, и тогда, разумеется, дворяне выносили двойную тягость, чем другие работники. На алебастр назначали обыкновенно человека три-четыре, стариков или слабосильных, ну, и нас в том числе,

разумеется; да, сверх того, прикомандировывали одного настоящего работника, знающего дело. Обыкновенно ходил всё один и тот же, несколько лет сряду, Алмазов, суровый, смуглый и сухощавый человек, уже в летах, необщительный и брюзгливый. Он глубоко нас презирал. Впрочем, он был очень неразговорчив, до того, что даже ленился ворчать на нас. Сарай, в котором обжигали и толкли алебастр, стоял тоже на пустынном и крутом берегу реки. Зимой, особенно в сумрачный день, смотреть на реку и на противоположный далекий берег было скучно. Что-то тоскливое, надрывающее сердце было в этом диком и пустынном пейзаже. Но чуть ли еще не тяжелей было, когда на бесконечной белой пелене снега ярко сияло солнце; так бы и улетел куда-нибудь в эту степь, которая начиналась на другом берегу и расстилалась к югу одной непрерывной скатертью тысячи на полторы верст. Алмазов обыкновенно молча и сурово принимался за работу; мы словно стыдились, что не можем настоящим образом помогать ему, а он нарочно управлялся один, нарочно не требовал от нас никакой помощи, как будто для того, чтоб мы чувствовали всю вину нашу перед ним и каялись собственной бесполезностью. А всего-то и дела было вытопить печь, чтоб обжечь накладенный в нее алебастр, который мы же, бывало, и натаскаем ему. На другой же день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, начиналась его выгрузка из печки. Каждый из нас брал тяжелую колотушку, накладывал себе особый ящик алебастром и принимался разбивать его. Это была премилая работа. Хрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахивали тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. И уставали-то мы наконец, и легко в то же время становилось; щеки краснели, кровь обращалась быстрее. Тут уж и Алмазов начинал смотреть на нас снисходительно, как смотрят на малолетних детей; снисходительно покуривал свою трубочку и все-таки не мог не ворчать, когда приходилось ему говорить. Впрочем, он и со всеми был такой же, а в сущности, кажется, добрый человек.

Другая работа, на которую я посылался, — в мастерской вертеть точильное колесо. Колесо было большое, тяжелое. Требовалось немалых усилий вертеть его, особенно когда токарь (из инженерных мастеровых) точил что-нибудь вроде лестничной балясины или ножки от большого стола, для казенной мебели какому-нибудь чиновнику, на

что требовалось чуть не бревно. Одному в таком случае было вертеть не под силу, и обыкновенно посылали двоих — меня и еще одного из дворян, Б. Так эта работа в продолжение нескольких лет и оставалась за нами, если только приходилось что-нибудь точить. Б. был слабосильный, тщедушный человек, еще молодой, страдавший грудью. Он прибыл в острог с год передо мною вместе с двумя другими из своих товарищей — одним стариком, всё время острожной жизни денно и нощно молившимся богу (за что очень уважали его арестанты) и умершим при мне, и с другим, еще очень молодым человеком, свежим, румяным, сильным, смелым, который дорогою нес устававшего с пол-этапа Б., что и продолжалось семьсот верст сряду. Нужно было видеть их дружбу между собою. Б. был человек с прекрасным образованием, благородный, с характером великодушным, но испорченным и раздраженным болезнью. С колесом справлялись мы вместе, и это даже занимало нас обоих. Мне эта работа давала превосходный моцион.

Особенно тоже я любил разгребать снег. Это бывало обыкновенно после буранов, и бывало очень нередко в зиму. После суточного бурана заметало иной дом до половины окон, а иной чуть не совсем заносило. Тогда, как уже прекращался буран и выступало солнце, выгоняли нас большими кучами, а иногда и всем острогом — отгребать сугробы снега от казенных зданий. Каждому давалась лопата, всем вместе урок, иногда такой, что надо было удивляться, как можно с ним справиться, и все дружно принимались за дело. Рыхлый, только что слегшийся и слегка примороженный сверху снег ловко брался лопатой, огромными комками, и разбрасывался кругом, еще на воздухе обращаясь в блестящую пыль. Лопата так и врезалась в белую, сверкающую на солнце массу. Арестанты почти всегда работали эту работу весело. Свежий зимний воздух, движение разгорячали их. Все становились веселее; раздавался хохот, вскрикиванья, остроты. Начинали играть в снежки, не без того, разумеется, чтоб через минуту не закричали благоразумные и негодующие на смех и веселость, и всеобщее увлечение обыкновенно кончалось руганью.

Мало-помалу я стал распространять и круг моего знакомства. Впрочем, сам я не думал о знакомствах: я всё еще был неспокоен, угрюм и недоверчив. Знакомства мои начались сами собою. Из первых стал посещать меня арестант Петров. Я говорю *посещать* и особенно напираю на это слово. Петров жил в особом отделении и в самой

отдаленной от меня казарме. Связей между нами, по-видимому, не могло быть никаких; общего тоже решительно ничего у нас не было и быть не могло. А между тем в это первое время Петров как будто обязанностью почитал чуть не каждый день заходить ко мне в казарму или останавливать меня в шабашное время, когда, бывало, я хожу за казармами, по возможности подальше от всех глаз. Мне сначала это было неприятно. Но он как-то так умел сделать, что вскоре его посещения даже стали развлекать меня, несмотря на то что это был вовсе не особенно сообщительный и разговорчивый человек. С виду был он невысокого роста, сильного сложения, ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, бледный, с широкими скулами, с смелым взглядом, с белыми, частыми и мелкими зубами и с вечной щепотью тертого табаку за нижней губой. Класть за губу табак было в обычае у многих каторжных. Он казался моложе своих лет. Ему было лет сорок, а на вид только тридцать. Говорил он со мной всегда чрезвычайно непринужденно, держал себя в высшей степени на равной ноге, то есть чрезвычайно порядочно и деликатно. Если он замечал, например, что я ищу уединения, то, поговорив со мной минуты две, тотчас же оставлял меня и каждый раз благодарил за внимание, чего, разумеется, не делал никогда и ни с кем из всей каторги. Любопытно, что такие же отношения продолжались между нами не только в первые дни, но и в продолжение нескольких лет сряду и почти никогда не становились короче, хотя он действительно был мне предан. Я даже и теперь не могу решить: чего именно ему от меня хотелось, зачем он лез ко мне каждый день? Хоть ему и случалось воровать у меня впоследствии, но он воровал как-то *нечаянно*, денег же почти никогда у меня не просил, следственно, приходил вовсе не за деньгами или за каким-нибудь интересом.

Не знаю тоже почему, но мне всегда казалось, что он как будто вовсе не жил вместе со мною в остроге, а где-то далеко в другом доме, в городе, и только посещал острог мимоходом, чтоб узнать новости, проведать меня, посмотреть, как мы все живем. Всегда он куда-то спешил, точно где-то кого-то оставил и там ждут его, точно где-то что-то недоделал. А между тем как будто и не очень суетился. Взгляд у него тоже был какой-то странный: пристальный, с оттенком смелости и некоторой насмешки, но глядел он как-то вдаль, через предмет; как будто из-за предмета, бывшего перед его носом, он старался

рассмотреть какой-то другой, подальше. Это придавало ему рассеянный вид. Я нарочно смотрел иногда: куда пойдет от меня Петров? Где это его так ждут? Но от меня он торопливо отправлялся куда-нибудь в казарму или в кухню, садился там подле кого-нибудь из разговаривающих, слушал внимательно, иногда и сам вступал в разговор даже очень горячо, а потом вдруг как-то оборвет и замолчит. Но говорил ли он, сидел ли молча, а все-таки видно было, что он так только, мимоходом, что где-то там есть дело и там его ждут. Страннее всего то, что дела у него не было никогда, никакого; жил он в совершенной праздности (кроме казенных работ, разумеется). Мастерства никакого не знал, да и денег у него почти никогда не водилось. Но он и об деньгах не много горевал. И об чем он говорил со мной? Разговор его бывал так же странен, как и он сам. Увидит, например, что я хожу где-нибудь один за острогом, и вдруг круто поворотит в мою сторону. Ходил он всегда скоро, поворачивал всегда круто. Придет шагом, а кажется, будто он подбежал.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я вам не помешал?

— Нет.

— Я вот хотел вас про Наполеона спросить. Он ведь родня тому, что в двенадцатом году был?[*] (Петров был из кантонистов и грамотный.)

— Родня.

— Какой же он, говорят, президент?

Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно поскорее об чем-то узнать. Точно он справку наводил по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства.

Я объяснил, какой он президент, и прибавил, что, может быть, скоро и императором будет.

— Это как?

Объяснил я, по возможности, и это. Петров внимательно слушал, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонив в мою сторону ухо.

— Гм. А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной с

самого высокого человека?

— Да, есть такие.

— Какие же это?

Я объяснил, сколько знал, и это.

— А где же они живут?

— В жарких землях. На острове Суматре есть.

— Это в Америке, что ли? Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят?

— Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете.

Я объяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов.

— А-а! А вот я прошлого года про графиню Лавальер читал, от адъютанта Арефьев книжку приносил. Так это правда или так только — выдумано? Дюма сочинение.*

— Разумеется, выдумано.

— Ну, прощайте. Благодарствуйте.

И Петров исчезал, и в сущности никогда почти мы не говорили иначе, как в этом роде.

Я стал о нем справляться. М., узнавши об этом знакомстве, даже предостерегал меня. Он сказал мне, что многие из каторжных вселяли в него ужас, особенно сначала, с первых дней острога, но ни один из них, ни даже Газин, не производил на него такого ужасного впечатления, как этот Петров.

— Это самый решительный, самый бесстрашный из всех каторжных, — говорил М. — Он на всё способен; он ни перед чем не остановится, если ему придет каприз. Он и вас зарежет, если ему это вздумается, так, просто зарежет, не поморщится и не раскается. Я даже думаю, он не в полном уме.

Этот отзыв сильно заинтересовал меня. Но М. как-то не мог мне дать отчета, почему ему так казалось. И странное дело: несколько лет сряду я знал потом Петрова, почти каждый день говорил с ним; всё время он был ко мне искренно привязан (хоть и решительно не знаю за что) — и во все эти несколько лет хотя он и жил в остроге благоразумно и ровно ничего не сделал ужасного, но я каждый раз, глядя на него и разговаривая с ним, убеждался, что М. был прав и что Петров, может быть, самый решительный, бесстрашный и не знающий над собою

никакого принуждения человек. Почему это так мне казалось — тоже не могу дать отчета.

Замечу, впрочем, что этот Петров был тот самый, который хотел убить плац-майора, когда его позвали к наказанию и когда майор «спасся чудом», как говорили арестанты, — уехав перед самой минутой наказания. В другой раз, еще до каторги, случилось, что полковник ударил его на учении. Вероятно, его и много раз перед этим били; но в этот раз он не захотел снести и заколол своего полковника открыто, среди бела дня, перед развернутым фронтом. Впрочем, я не знаю в подробности всей его истории; он никогда мне ее не рассказывал. Конечно, это были только вспышки, когда натура объявлялась вдруг вся, целиком. Но все-таки они были в нем очень редки. Он действительно был благоразумен и даже смирен. Страсти в нем таились, и даже сильные, жгучие; но горячие угли были постоянно посыпаны золою и тлели тихо. Ни тени фанфаронства или тщеславия я никогда не замечал в нем, как, например, у других. Он ссорился редко, зато и ни с кем особенно не был дружен, разве только с одним Сироткиным, да и то когда тот был ему нужен. Раз, впрочем, я видел, как он серьезно рассердился. Ему что-то не давали, какую-то вещь; чем-то обделили его. Спорил с ним арестант-силач, высокого роста, злой, задира, насмешник и далеко не трус, Василий Антонов, из гражданского разряда. Они уже долго кричали, и я думал, что дело кончится много-много что простыми колотушками, потому что Петров хоть и очень редко, но иногда даже дирался и ругался, как самый последний из каторжных. Но в этот раз случилось не то: Петров вдруг побледнел, губы его затряслись и посинели; дышать стал он трудно. Он встал с места и медленно, очень медленно, своими неслышными, босыми шагами (летом он очень любил ходить босой) подошел к Антонову. Вдруг разом во всей шумной и крикливой казарме все затихли; муху было бы слышно. Все ждали, что будет. Антонов вскочил ему навстречу; на нем лица не было… Я не вынес и вышел из казармы. Я ждал, что еще не успею сойти с крыльца, как услышу крик зарезанного человека. Но дело кончилось ничем и на этот раз: Антонов, не успел еще Петров дойти до него, молча и поскорее выкинул ему спорную вещь. (Дело шло о какой-то самой жалкой ветошке, о каких-то подвертках). Разумеется, минуты через две Антонов все-таки ругнул его помаленьку, для очистки совести и для приличия, чтоб показать, что не совсем же он так уж струсил. Но на ругань Петров

не обратил никакого внимания, даже и не отвечал: дело было не в ругани и выигралось оно в его пользу; он остался очень доволен и взял себе ветошку. Через четверть часа он уже по-прежнему слонялся по острогу с видом совершенного безделья и как будто искал, не заговорят ли где-нибудь о чем-нибудь полюбопытнее, чтоб приткнуть туда и свой нос и послушать. Его, казалось, всё занимало, но как-то так случалось, что ко всему он по большей части оставался равнодушен и только так слонялся по острогу без дела, метало его туда и сюда. Его можно было тоже сравнить с работником, с дюжим работником, от которого затрещит работа, но которому покамест не дают работы, и вот он в ожидании сидит и играет с маленькими детьми. Не понимал я тоже, зачем он живет в остроге, зачем не бежит? Он не задумался бы бежать, если б только крепко того захотел. Над такими людьми, как Петров, рассудок властвует только до тех пор, покамест они чего не захотят. Тут уж на всей земле нет препятствия их желанию. А я уверен, что он бежать сумел бы ловко, надул бы всех, по неделе мог бы сидеть без хлеба где-нибудь в лесу или в речном камыше. Но, видно, он еще не набрел на эту мысль и не пожелал этого *вполне*. Большого рассуждения, особенного здравого смысла я никогда в нем не замечал. Эти люди так и родятся об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей их туда и сюда; так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дела вполне по желанию; тут уж им и голова нипочем. Удивлялся я иногда, как это такой человек, который зарезал своего начальника за побои, так беспрекословно ложится у нас под розги. Его иногда и секли, когда он попадался с вином. Как и все каторжные без ремесла, он иногда пускался проносить вино. Но он и под розги ложился как будто с собственного согласия, то есть как будто сознавал, что за дело; в противном случае ни за что бы не лег, хоть убей. Дивился я на него тоже, когда он, несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня. Находило на него это как-то полосами. Это он украл у меня Библию, которую я ему дал только донести из одного места в другое. Дорога была в несколько шагов, но он успел найти по дороге покупщика, продал ее и тотчас же пропил деньги. Верно, уж очень ему пить захотелось, а уж что очень захотелось, то *должно* быть исполнено. Вот такой-то и режет человека за четвертак, чтоб за этот четвертак выпить косушку, хотя в другое время пропустит мимо с сотнею тысяч. Вечером он мне сам и объявил о покраже, только без всякого смущения

и раскаянья, совершенно равнодушно, как о самом обыкновенном приключении. Я было пробовал хорошенько его побранить; да и жалко мне было мою Библию. Он слушал, не раздражаясь, даже очень смирно; соглашался, что Библия очень полезная книга, искренно жалел, что ее у меня теперь нет, но вовсе не сожалел о том, что украл ее; он глядел с такою самоуверенностью, что я тотчас же и перестал браниться. Брань же мою он сносил, вероятно рассудив, что ведь нельзя же без этого, чтоб не изругать его за такой поступок, так уж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает; но что в сущности всё это вздор, такой вздор, что серьезному человеку и говорить-то было бы совестно. Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме наук и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами. Часто я задавал себе вопрос: что ему в этих книжных знаниях, о которых он меня обыкновенно расспрашивает? Случалось, что во время этих разговоров я нет-нет да и посмотрю на него сбоку: уж не смеется ли он надо мной? Но нет; обыкновенно он слушал серьезно, внимательно, хотя, впрочем, не очень, и это последнее обстоятельство мне иногда досаждало. Вопросы задавал он точно, определительно, но как-то не очень дивился полученным от меня сведениям и принимал их даже рассеянно… Казалось мне еще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзя говорить, как с другими людьми, что, кроме разговора о книжках, я ни о чем не пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего.

Я уверен, что он даже любил меня, и это меня очень поражало. Считал ли он меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне то особого рода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо к другому слабейшему, признав меня за такое… не знаю. И хоть всё это не мешало ему меня обворовывать, но, я уверен, и обворовывая, он жалел меня. «Эх, дескать! — думал он, может быть, запуская руку в мое добро, — что ж это за человек, который и за добро-то свое постоять не может!» Но за это-то он, кажется, и любил меня. Он мне сам сказал один раз, как-то нечаянно, что я уже «слишком доброй души человек» и «уж так вы просты, так просты, что даже жалость берет». «Только вы, Александр Петрович, не примите в обиду, — прибавил он через минуту, — я ведь так от души сказал».

С этакими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или переворота и таким образом разом попадают на свою полную деятельность. Они не люди слова и не могут быть зачинщиками и главными предводителями дела; но они главные исполнители его и первые начинают. Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, — и все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены[*], где обыкновенно и кладут свои головы. Я не верю, чтоб Петров хорошо кончил; он в какую-нибудь одну минуту всё разом кончит, и если не пропал еще до сих пор, значит, случай его не пришел. Кто знает, впрочем? Может, и доживет до седых волос и преспокойно умрет от старости, без цели слоняясь туда и сюда. Но, мне кажется, М. был прав, говоря, что это был самый решительный человек из всей каторги.

## VIII
## Решительные люди. Лучка

Насчет решительных трудно сказать; в каторге, как и везде, их было довольно мало. С виду, пожалуй, и страшный человек; сообразишь, бывало, что про иного рассказывают, и даже сторонишься от него. Какое-то безотчетное чувство заставляло меня даже обходить этих людей сначала. Потом я во многом изменился в моем взгляде даже на самых страшных убийц. Иной и не убил, да страшнее другого, который по шести убийствам пришел. Об иных же преступлениях трудно было составить даже самое первоначальное понятие: до того в совершении их было много странного. Я именно потому говорю, что у нас в простонародье иные убийства происходят от самых удивительных причин. Существует, например, и даже очень часто, такой тип убийцы: живет этот человек тихо и смирно. Доля горькая — терпит. Положим, он мужик, дворовый человек, мещанин, солдат. Вдруг что-нибудь у него сорвалось; он не выдержал и пырнул ножом своего врага и притеснителя. Тут-то и начинается странность: на время человек вдруг выскакивает из мерки. Первого он зарезал притеснителя, врага; это хоть и преступно, но понятно; тут повод был; но потом уж он режет и не

врагов, режет первого встречного и поперечного, режет для потехи, за грубое слово, за взгляд, для четки или просто: «Прочь с дороги, не попадайся, я иду!» Точно опьянеет человек, точно в горячечном бреду. Точно, перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинает любоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмывает его перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самой разнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердца от ужаса, которого невозможно, чтоб он сам к себе не чувствовал. Знает он к тому же, что ждет его страшная казнь. Всё это может быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами, так что уж сам наконец рад бы броситься вниз головою: поскорей, да и дело с концом! И случается это всё даже с самыми смирными и неприметными дотоле людьми. Иные из них в этом чаду даже рисуются собой. Чем забитее был он прежде, тем сильнее подмывает его теперь пощеголять, задать страху. Он наслаждается этим страхом, любит самое отвращение, которое возбуждает в других. Он напускает на себя какую-то *отчаянность,* и такой «отчаянный» иногда сам уж поскорее ждет наказания, ждет, чтоб *порешили* его, потому что самому становится наконец тяжело носить на себе эту напускную *отчаянность.* Любопытно, что большею частью всё это настроение, весь этот напуск, продолжается ровно вплоть до эшафота, а потом как отрезало: точно и в самом деле этот срок какой-то форменный, как будто назначенный заранее определенными для того правилами. Тут человек вдруг смиряется, стушевывается, в тряпку какую-то обращается. На эшафоте нюнит — просит у народа прощения. Приходит в острог, и смотришь: такой слюнявый, такой сопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него: «Да неужели это тот самый, который зарезал пять-шесть человек?»

Конечно, иные и в остроге не скоро смиряются. Всё еще сохраняется какой-то форс, какая-то хвастливость: вот, дескать, я ведь не то, что вы думаете; я «по шести душам». Но кончает тем, что все-таки смиряется. Иногда только потешит себя, вспоминая свой удалой размах, свой кутеж, бывший раз в его жизни, когда он был «отчаянным», и очень любит, если только найдет простячка, с приличной важностью перед ним поломаться, похвастаться и рассказать ему свои подвиги, не показывая, впрочем, и вида, что ему самому

рассказать хочется. Вот, дескать, какой я был человек!

И с какими утонченностями наблюдается эта самолюбивая осторожность, как лениво небрежен бывает иногда такой рассказ! Какое изученное фатство проявляется в тоне, в каждом словечке рассказчика. И где этот народ выучился!

Раз в эти первые дни, в один длинный вечер, праздно и тоскливо лежа на нарах, я прослушал один из таких рассказов и по неопытности принял рассказчика за какого-то колоссального, страшного злодея, за неслыханный железный характер, тогда как в это же время чуть не подшучивал над Петровым. Темой рассказа было, как он, Лука Кузьмич, не для чего иного, как единственно для одного своего удовольствия, *уложил* одного майора. Этот Лука Кузьмич был тот самый маленький, тоненький, с востреньким носиком, молоденький арестантик нашей казармы, из хохлов, о котором уже как-то упоминал я. Был он в сущности русский, а только родился на юге, кажется, дворовым человеком. В нем действительно было что-то вострое, заносчивое: «мала птичка, да ноготок востер». Но арестанты инстинктивно раскусывают человека. Его очень немного уважали, или, как говорят в каторге, «ему очень немного уважали». Он был ужасно самолюбив. Сидел он в этот вечер на нарах и шил рубашку. Шитье белья было его ремеслом. Подле него сидел тупой и ограниченный парень, но добрый и ласковый, плотный и высокий, его сосед по нарам, арестант Кобылин. Лучка, по соседству, часто с ним ссорился и вообще обращался свысока, насмешливо и деспотически, чего Кобылин отчасти и не замечал по своему простодушию. Он вязал шерстяной чулок и равнодушно слушал Лучку. Тот рассказывал довольно громко и явственно. Ему хотелось, чтобы все его слушали, хотя, напротив, и старался делать вид, что рассказывает одному Кобылину.

— Это, брат, пересылали меня из нашего места, — начал он, ковыряя иглой, — в Ч-в[*], по бродяжеству значит.

— Это когда же, давно было? — спросил Кобылин.

— А вот горох поспеет — другой год пойдет. Ну, как пришли в К-в[*] — и посадили меня туда на малое время в острог. Смотрю: сидят со мной человек двенадцать, всё хохлов, высокие, здоровые, дюжие, точно быки. Да смирные такие: еда плохая, вертит ими ихний майор, как его милости *завгодно* (Лучка нарочно перековеркал слово). Сижу день, сижу другой; вижу — трус народ. «Что ж вы, говорю, такому дураку

поблажаете?» — «А поди-кась сам с ним поговори!» — даже ухмыляются на меня. Молчу я.

— И пресмешной же тут был один хохол, братцы, — прибавил он вдруг, бросая Кобылина и обращаясь ко всем вообще. — Рассказывал, как его в суде порешили и как он с судом разговаривал, а сам заливается-плачет; дети, говорит, у него остались, жена. Сам матерой такой, седой, толстый. «Я ему, говорит, бачу: ни! А вин, бисов сын, всё пишет, всё пишет. Ну, бачу соби, да щоб ты здох, а я б подывився! А вин всё пишет, всё пишет, да як писне!.. Тут и пропала моя голова!» Дай-ка, Вася, ниточку; гнилые каторжные,

— Базарные, — отвечал Вася, подавая нитку.

— Наши швальные лучше. Анамеднись Невалида посылали, и у какой он там подлой бабы берет? — продолжал Лучка, вдевая на свет нитку.

— У кумы, значит.

— Значит, у кумы.

— Так что же, как же майор-то? — спросил совершенно забытый Кобылин.

Того только и было нужно Лучке. Однако ж он не сейчас продолжал свой рассказ, даже как будто и внимания не удостоил Кобылина. Спокойно расправил нитки, спокойно и лениво передернул под собой ноги и наконец-то уж заговорил:

— Взбудоражил наконец я моих хохлов, потребовали майора. А я еще с утра у соседа жулик * спросил, взял да и спрятал, значит, на случай. Рассвирепел майор. Едет. Ну, говорю, не трусить, хохлы! А у них уж душа в пятки ушла; так и трясутся. Вбежал майор; пьяный. «Кто здесь! Как здесь! Я царь, я и бог!»

— Как сказал он: «Я царь, я и бог», — я и выдвинулся, — продолжал Лучка, — нож у меня в рукаве.

«Нет, говорю, ваше высокоблагородие, — а сам помаленьку всё ближе да ближе, — нет, уж это как же может быть, говорю, ваше высокоблагородие, чтобы вы были у нас царь да и бог?»

«А, так это ты, так это ты? — закричал майор. — Бунтовщик!»

«Нет, говорю (а сам всё ближе да ближе), нет, говорю, ваше высокоблагородие, как, может, известно и ведомо вам самим, бог наш, всемогущий и вездесущий, един есть, говорю. И царь наш един, над всеми нами самим богом поставленный. Он, ваше высокоблагородие,

говорю, монарх. А вы, говорю, ваше высокоблагородие, еще только майор — начальник наш, ваше высокоблагородие, царскою милостью, говорю, и своими заслугами».

«Как-как-как-как!» — так и закудахтал, говорить не может, захлебывается. Удивился уж очень.

«Да, вот как», — говорю; да как кинусь на него вдруг да в самый живот ему так-таки весь нож и впустил. Ловко пришлось. Покатился да только ногами задрыгал. Я нож бросил.

«Смотрите, говорю, хохлы, подымайте его теперь!»

Здесь уже я сделаю одно отступление. К несчастью, такие выражения: «Я царь, я и бог» — и много других подобных этому были в немалом употреблении в старину между многими из командиров. Надо, впрочем, признаться, что таких командиров остается уже немного, а может быть, и совсем перевелись. Замечу тоже, что особенно щеголяли и любили щеголять такими выражениями большею частью командиры, сами вышедшие из нижних чинов. Офицерский чин как будто переворачивает всю их внутренность, а вместе и голову. Долго кряхтя под лямкой и перейдя все степени подчиненности, они вдруг видят себя офицерами, командирами, благородными и с непривычки и первого упоения преувеличивают понятие о своем могуществе и значении; разумеется, только относительно подчиненных им нижних чинов. Перед высшими же они по-прежнему в подобострастии, совершенно уже не нужном и даже противном для многих начальников. Иные подобострастники даже с особенным умилением спешат заявить перед своими высшими командирами, что ведь они и сами из нижних чинов, хоть и офицеры, и «свое место завсегда помнят». Но относительно нижних чинов они становились чуть не неограниченными повелителями. Конечно, теперь вряд ли уж есть такие и вряд ли найдется такой, чтоб прокричал: «Я царь, я и бог». Но, несмотря на это, я все-таки замечу, что ничто так не раздражает арестантов, да и вообще всех нижних чинов, как вот этакие выражения начальников. Эта нахальность самовозвеличения, это преувеличенное мнение о своей безнаказанности рождает ненависть в самом покорном человеке и выводит его из последнего терпения. К счастью, всё это дело почти прошлое, даже и в старину-то строго преследовалось начальством. Несколько примеров тому и я знаю.

Да и вообще раздражает нижний чин всякая свысока небрежность,

всякая брезгливость в обращении с ними. Иные думают, например, что если хорошо кормить, хорошо содержать арестанта, всё исполнять по закону, так и дело с концом. Это тоже заблуждение. Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, хоть и инстинктивно, хоть бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место перед начальником; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что он человек. А так как он действительно человек, то, следственно, и надо с ним обращаться по-человечески. Боже мой! да *человеческое* обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнул образ божий. С этими-то «несчастными» и надо обращаться наиболее по-человечески. Это спасение и радость их. Я встречал таких добрых, благородных командиров. Я видел действие, которое производили они на этих униженных. Несколько ласковых слов — и арестанты чуть не воскресали нравственно. Они, как дети, радовались и, как дети, начинали любить. Замечу еще одну странность: сами арестанты не любят слишком фамильярного и *слишком* уж добродушного с собой обхождения начальников. Ему хочется уважать начальника, а тут он как-то перестает его уважать. Арестанту любо, например, чтоб у начальника его были ордена, чтоб он был видный собою, в милости у какого-нибудь высокого начальника, чтоб был и строг, и важен, и справедлив, и достоинство бы свое соблюдал. Таких арестанты больше любят: значит, и свое достоинство сохранил, и их не обидел, стало быть, и всё хорошо и красиво.

. . . . . .

— Уж и жарили ж тебя, должно быть, за это? — спокойно заметил Кобылин.

— Гм. Жарили-то, брат, оно правда, что жарили. Алей, дай-ка ножницы! Чтой-то, братцы, сегодня майдана нет?

— Даве пропились, — заметил Вася. — Если б не пропились, так оно, пожалуй, и было бы.

— Если б! За если б и в Москве сто рублей дают, — заметил Лучка.

— А сколько тебе, Лучка, дали за всё про всё? — заговорил опять Кобылин.

— Дали, друг любезный, сто пять. А что скажу, братцы, ведь чуть меня не убили, — подхватил Лучка, опять бросая Кобылина. — Вот как

вышли мне эти сто пять, повезли меня в полном параде. А никогда-то до сего я еще плетей не отведывал. Народу привалило видимо-невидимо, весь город сбежался: разбойника наказывать будут, убивец, значит. Уж и как глуп этот народ, так и не знаю как и сказать. Тимошка * раздел, положил, кричит: «Поддержись, ожгу!» — жду: что будет? Как он мне влепит раз, — хотел было я крикнуть, раскрыл было рот, а крику-то во мне и нет. Голос, значит, остановился. Как влепит два, ну, веришь иль не веришь, я уж и не слыхал, как *два* просчитали. А как очнулся, слышу, считают: семнадцатый. Так меня, брат, раза четыре потом с кобылы снимали*, по получасу отдыхал: водой обливали. Гляжу на всех выпуча глаза да и думаю: «Тут же помру…»

— А и не помер? — наивно спросил Кобылин. Лучка обвел его в высочайшей степени презрительным взглядом; раздался хохот.

— Балясина, как есть!*

— На чердаке нездорово, — заметил Лучка, точно раскаиваясь, что мог заговорить с таким человеком.

— Умом, значит, решен, — скрепил Вася.

Лучка хоть и убил шесть человек, но в остроге его никогда и никто не боялся, несмотря на то что, может быть, он душевно желал прослыть страшным человеком…

## IX
## Исай Фомич. Баня. Рассказ баклушина

Наступал праздник рождества Христова. Арестанты ожидали его с какою-то торжественностью, и, глядя на них, я тоже стал ожидать чего-то необыкновенного. Дня за четыре до праздника повели нас в баню. В мое время, особенно в первые мои годы, арестантов редко водили в баню. Все обрадовались и начали собираться. Назначено было идти после обеда, и в эти послеобеда уже не было работы. Всех больше радовался и суетился из нашей казармы Исай Фомич Бумштейн, каторжный из евреев, о котором уже я упоминал в четвертой главе моего рассказа. Он любил париться до отупения, до бесчувственности, и каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, вспомнить и о нашей каторжной бане (которая стоит того, чтоб об ней не забыть), то на первый план картины тотчас же

выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исая Фомича, товарища моей каторги и сожителя по казарме. Господи, что за уморительный и смешной был этот человек! Я уже сказал несколько слов про его фигурку: лет пятидесяти, тщедушный, сморщенный, с ужаснейшими клеймами на щеках и на лбу, худощавый, слабосильный, с белым цыплячьим телом. В выражении лица его виднелось беспрерывное, ничем непоколебимое самодовольство и даже блаженство. Кажется, он ничуть не сожалел, что попал в каторгу. Так как он был ювелир, а ювелира в городе не было, то и работал беспрерывно по господам и по начальству города одну ювелирскую работу. Ему все-таки хоть сколько-нибудь, да платили. Он не нуждался, жил даже *богато*, но откладывал деньги и давал под заклад на проценты всей каторге. У него был свой самовар, хороший тюфяк, чашки, весь обеденный прибор. Городские евреи не оставляли его своим знакомством и покровительством. По субботам он ходил под конвоем в свою городскую молельную (что дозволяется законами) и жил совершенно припеваючи, с нетерпением, впрочем, ожидая выжить свой двенадцатилетний срок, чтоб «зениться». В нем была самая комическая смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства. Мне очень странно было, что каторжные вовсе не смеялись над ним, разве только подшучивали для забавы. Исай Фомич, очевидно, служил всем для развлечения и всегдашней потехи. «Он у нас один, не троньте Исая Фомича», — говорили арестанты, и Исай Фомич хотя и понимал, в чем дело, но, видимо, гордился своим значением, что очень тешило арестантов. Он уморительнейшим образом прибыл в каторгу (еще до меня, но мне рассказывали). Вдруг однажды, перед вечером, в шабашное время; распространился в остроге слух, что привели жидка и бреют в кордегардии и что он сейчас войдет. Из евреев тогда в каторге еще ни одного не было. Арестанты ждали его с нетерпением и тотчас же обступили, как он вошел в ворота. Острожный унтер-офицер провел его в гражданскую казарму и указал ему место на нарах. В руках у Исая Фомича был его мешок с выданными ему казенными вещами и своими собственными. Он положил мешок, взмостился на нары и уселся, подобрав под себя ноги, не смея ни на кого поднять глаза. Кругом него раздавался смех и острожные шуточки, имевшие в виду еврейское его происхождение. Вдруг сквозь толпу протеснился молодой арестант, неся в руках самые старые, грязные и

разорванные летние свои шаровары, с придачею казенных подверток. Он присел подле Исая Фомича и ударил его по плечу.

— Ну, друг любезный, я тебя здесь уже шестой год поджидаю. Вот смотри, много ли дашь?

И он разложил перед ним принесенные лохмотья.

Исай Фомич, который при входе в острог сробел до того, что даже глаз не смел поднять на эту толпу насмешливых, изуродованных и страшных лиц, плотно обступивших его кругом, и от робости еще не успел сказать слова, увидев заклад, вдруг встрепенулся и бойко начал перебирать пальцами лохмотья. Даже прикинул на свет. Все ждали, что он скажет.

— Что ж, рубля-то серебром небось не дашь? А ведь стоило бы! — продолжал закладчик, подмигивая Исаю Фомичу.

— Рубля серебром нельзя, а семь копеек можно. И вот первые слова, произнесенные Исаем Фомичом в остроге. Все так и покатились со смеху.

— Семь! Ну давай хоть семь; твое счастье! Смотри ж, береги заклад; головой мне за него отвечаешь.

— Проценту три копейки, будет десять копеек, — отрывисто и дрожащим голосом продолжал жидок, опуская руку в карман за деньгами и боязливо поглядывая на арестантов. Он и трусил-то ужасно, и дело-то ему хотелось обделать.

— В год, что ли, три копейки проценту?

— Нет, не в год, а в месяц.

— Тугонек же ты, жид. А как тебя величать?

— Исай Фомиць.

— Ну, Исай Фомич, далеко ты у нас пойдешь! Прощай.

Исай Фомич еще раз осмотрел заклад, сложил и бережно сунул его в свой мешок при продолжавшемся хохоте арестантов.

Его действительно все как будто даже любили и никто не обижал, хотя почти все были ему должны. Сам он был незлобив, как курица, и, видя всеобщее расположение к себе, даже куражился, но с таким простодушным комизмом, что ему тотчас же это прощалось. Лучка, знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его, и вовсе не из злобы, а так, для забавы, точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч. Исай Фомич очень хорошо это знал, нисколько не обижался и преловко отшучивался.

— Эй, жид, приколочу!

— Ты меня один раз ударишь, а я тебя десять, — молодцевато отвечает Исай Фомич.

— Парх проклятый!

— Нехай буде парх.

— Жид пархатый!

— Нехай буде такочки. Хоть пархатый, да богатый; гроши ма.

— Христа продал.

— Нехай буде такочки.

— Славно, Исай Фомич, молодец! Не троньте его, он у нас один! — кричат с хохотом арестанты.

— Эй, жид, хватишь кнута, в Сибирь пойдешь.

— Да я и так в Сибири.

— Еще дальше ушлют.

— А что там пан бог есть?

— Да есть-то есть.

— Ну нехай; был бы пан бог да гроши, так везде хорошо будет.

— Молодец, Исай Фомич, видно, что молодец! — кричат кругом, а Исай Фомич хоть и видит, что над ним же смеются, но бодрится; всеобщие похвалы приносят ему видимое удовольствие, и он на всю казарму начинает тоненьким дискантиком петь: «Ля-ля-ля-ля-ля!» — какой-то нелепый и смешной мотив, единственную песню, без слов, которую он пел в продолжение всей каторги. Потом, познакомившись ближе со мной, он уверял меня под клятвою, что это та самая песня и именно тот самый мотив, который пели все шестьсот тысяч евреев, от мала до велика, переходя через Чермное море[*], и что каждому еврею заповедано петь этот мотив в минуту торжества и победы над врагами.

Накануне каждой субботы, в пятницу вечером, в нашу казарму нарочно ходили из других казарм посмотреть, как Исай Фомич будет справлять свой шабаш. Исай Фомич был до того невинно хвастлив и тщеславен, что это общее любопытство доставляло ему тоже удовольствие. Он с педантскою и выделанною важностью накрывал в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные слова, начинал облачаться в свою ризу (*ижу,* как он выговаривал). Это была пестрая накидка из шерстяной материи, которую он тщательно хранил в своем сундуке. На обе руки он навязывал наручники, а на голове, на самом лбу, прикреплял перевязкой

какой-то деревянный ящичек[*], так что казалось, изо лба Исая Фомича выходит какой-то смешной рог. Затем начиналась молитва. Читал он ее нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты. Конечно, всё это было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было смешного и странного, но смешно было то, что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами. То вдруг закроет руками голову и начинает читать навзрыд. Рыданья усиливаются, и он в изнеможении и чуть не с воем склоняет на книгу свою голову, увенчанную ковчегом; но вдруг, среди самых сильных рыданий, он начинает хохотать и причитывать нараспев каким-то умиленно торжественным, каким-то расслабленным от избытка счастья голосом. «Ишь его разбирает!» — говорят, бывало, арестанты. Я спрашивал однажды Исая Фомича: что значат эти рыдания и потом вдруг эти торжественные переходы к счастью и блаженству? Исай Фомич ужасно любил эти расспросы от меня. Он немедленно объяснил мне, что плач и рыдания означают мысль о потере Иерусалима и что закон предписывает при этой мысли как можно сильнее рыдать и бить себя в грудь. Но что в минуту самых сильных рыданий он, Исай Фомич, *должен вдруг,* как бы невзначай, вспомнить (это *вдруг* тоже предписано законом), что есть пророчество о возвращении евреев в Иерусалим. Тут он должен немедленно разразиться радостью, песнями, хохотом и проговаривать молитвы так, чтобы самым голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно больше торжественности и благородства. Этот переход *вдруг* и непременная обязанность этого перехода чрезвычайно нравились Исаю Фомичу: он видел в этом какой-то особенный, прехитрый кунштик[*] и с хвастливым видом передавал мне это замысловатое правило закона. Раз, во время самого разгара молитвы, в комнату вошел плац-майор в сопровождении караульного офицера и конвойных. Все арестанты вытянулись в струнку у своих нар, один только Исай Фомич еще более начал кричать и кривляться. Он знал, что молитва дозволена, прерывать ее нельзя было, и, крича перед майором, не рисковал, разумеется, ничем. Но ему чрезвычайно приятно было поломаться перед майором и порисоваться перед нами. Майор подошел к нему на один шаг расстояния: Исай Фомич оборотился задом к своему столику и прямо в лицо майору начал читать нараспев свое торжественное пророчество, размахивая руками. Так как ему предписывалось и в эту минуту выражать в своем лице чрезвычайно

много счастья и благородства, то он и сделал это немедленно, как-то особенно сощурив глаза, смеясь и кивая на майора головой. Майор удивился; но наконец фыркнул от смеха, назвал его тут же в глаза дураком и пошел прочь, и Исай Фомич еще более усилил свои крики. Через час, когда уж он ужинал, я спросил его: а что если б плац-майор, по глупости своей, на вас рассердился?

— Какой плац-майор?

— Как какой? Да разве вы не видали?

— Нет.

— Да ведь он стоял на один аршин перед вами, прямо перед вашим лицом.

Но Исай Фомич серьезнейшим образом начал уверять меня, что он не видал решительно никакого майора, что в это время, при этих молитвах, он впадает в какой-то экстаз, так что ничего уж не видит и не слышит, что кругом его происходит.

Как теперь вижу Исая Фомича, когда он в субботу слоняется, бывало, без дела по всему острогу, всеми силами стараясь ничего не делать, как это предписано в субботу по закону. Какие невозможные анекдоты рассказывал он мне каждый раз, когда приходил из своей молельни; какие ни на что не похожие известия и слухи из Петербурга приносил мне, уверяя, что получил их от своих жидков, а те из первых рук.

Но я слишком уж много разговорился об Исае Фомиче.

Во всем городе были только две публичные бани. Первая, которую содержал один еврей, была номерная, с платою по пятидесяти копеек за номер и устроенная для лиц высокого полета. Другая же баня была по преимуществу простонародная, ветхая, грязная, тесная, и вот в эту-то баню и повели наш острог. Было морозно и солнечно; арестанты радовались уже тому, что выйдут из крепости и посмотрят на город. Шутки, смех не умолкали дорогою. Целый взвод солдат провожал нас с заряженными ружьями, на диво всему городу. В бане тотчас же разделили нас на две смены: вторая дожидалась в холодном предбаннике, покамест первая смена мылась, что необходимо было сделать за теснотою бани. Но, несмотря на то, баня была до того тесна, что трудно было представить, как и половина-то наших могла в ней уместиться. Но Петров не отставал от меня; он сам без моего приглашения подскочил помогать мне и даже предложил меня вымыть.

Вместе с Петровым вызвался прислуживать мне и Баклушин, арестант из особого отделения, которого звали у нас пионером и о котором как-то я поминал как о веселейшем и милейшем из арестантов, каким он и был в самом деле. Мы с ним уже слегка познакомились. Петров помог мне даже раздеваться, потому что по непривычке я раздевался долго, а в передбаннике было холодно, чуть ли не так же, как на дворе. Кстати: арестанту очень трудно раздеваться, если он еще не совсем научился. Во-первых, нужно уметь скоро расшнуровывать подкандальники. Эти подкандальники делаются из кожи, вершка в четыре длиною, и надеваются на белье, прямо под железное кольцо, охватывающее ногу. Пара подкандальников стоит не менее шести гривен серебром, а между тем каждый арестант заводит их себе на свой счет, разумеется, потому что без подкандальников невозможно ходить. Кандальное кольцо не плотно охватывает ногу, и между кольцом и ногой может пройти палец; таким образом, железо бьет по ноге, трет ее, и в один день арестант без подкандальников успел бы натереть себе раны. Но снять подкандальники еще не трудно. Труднее научиться ловко снимать из-под кандалов белье. Это целый фокус. Сняв нижнее белье, положим, хоть с левой ноги, нужно пропустить его сначала между ногой и кандальным кольцом; потом, освободив ногу, продеть это белье назад сквозь то же кольцо; потом всё, уже снятое с левой ноги, продернуть сквозь кольцо на правой ноге; а затем всё продетое сквозь правое кольцо опять продеть к себе обратно. Такая же история и с надеваньем нового белья. Новичку даже трудно и догадаться, как это делается; первый выучил нас всему этому арестант Коренев, в Тобольске, бывший атаман разбойников, просидевший пять лет на цепи. Но арестанты привыкли и обходятся без малейшего затруднения. Я дал Петрову несколько копеек, чтоб запастись мылом и мочалкой; арестантам выдавалось, правда, и казенное мыло, на каждого по кусочку, величиною с двукопеечник, а толщиною с ломтик сыра, подаваемого по вечерам на закуску у «среднего рода» людей. Мыло продавалось тут же, в передбаннике, вместе с сбитнем, калачами и горячей водой. На каждого арестанта отпускалось, по условию с хозяином бани, только по одной шайке горячей воды; кто же хотел обмыться почище, тот за грош мог получить и другую шайку, которая и передавалась в самую баню через особо устроенное для того окошко из передбанника. Раздев, Петров повел меня даже под руку, заметив, что мне очень трудно

ступать в кандалах. «Вы их кверху потяните, на икры, — приговаривал он, поддерживая меня, точно дядька, — а вот тут осторожнее, тут порог». Мне даже несколько совестно было; хотелось уверить Петрова, что я и один умею пройти; но он этому бы не поверил. Он обращался со мной решительно как с ребенком, несовершеннолетним и неумелым, которому всякий обязан помочь. Петров был отнюдь не слуга, прежде всего не слуга; разобидь я его, он бы знал, как со мной поступить. Денег за услуги я ему вовсе не обещал, да он и сам не просил. Что ж побуждало его так ходить за мной?

Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек разом, и уж по крайней мере, наверно, восемьдесят, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас пришло в баню до двухсот человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Я испугался и хотел вернуться назад, но Петров тотчас же ободрил меня. Кое-как, с величайшими затруднениями, протеснились мы до лавок через головы рассевшихся на полу людей, прося их нагнуться, чтоб нам можно было пройти. Но места на лавках все были заняты. Петров объявил мне, что надо купить место, и тотчас же вступил в торг с арестантом, поместившимся у окошка. За копейку тот уступил свое место, немедленно получил от Петрова деньги, которые тот нес, зажав в кулаке, предусмотрительно взяв их с собою в баню, и тотчас же юркнул под лавку прямо под мое место, где было темно, грязно и где липкая сырость наросла везде чуть не на полпальца. Но места и под лавками были все заняты; там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели скрючившись арестанты, плескаясь из своих шаек. Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя; грязная вода стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. На полке и на всех уступах, ведущих к нему, сидели, съежившись и скрючившись, мывшиеся. Но мылись мало. Простолюдины мало моются горячей водой и мылом; они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой — вот и вся баня. Веников пятьдесят на полке подымалось и опускалось разом; все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не жар; это было пекло. Всё это орало и гоготало, при звуке ста цепей, волочившихся по полу… Иные,

желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа; раздавались визги и крики. У окошка в передбаннике, откуда подавали воду, шла ругань, теснота, целая свалка. Полученная горячая вода расплескивалась на головы сидевших на полу, прежде чем ее доносили до места. Нет-нет, а в окно или в приотворенную дверь выглянет усатое лицо солдата, с ружьем в руке, высматривающего, нет ли беспорядков. Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались еще уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы! У меня мороз прошел по коже, смотря на них. Поддадут — и пар застелет густым, горячим облаком всю баню; всё загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги; а в довершение Исай Фомич гогочет во всё горло на самом высоком полке. Он парится до беспамятства, но, кажется, никакой жар не может насытить его; за копейку он нанимает парильщика, но тот наконец не выдерживает, бросает веник и бежит отливаться холодной водой. Исай Фомич не унывает и нанимает другого, третьего: он уже решается для такого случая не смотреть на издержки и сменяет до пяти парильщиков. «Здоров париться, молодец Исай Фомич!» — кричат ему снизу арестанты, Исай Фомич сам чувствует, что в эту минуту он выше всех и заткнул всех их за пояс; он торжествует и резким, сумасшедшим голосом выкрикивает свою арию: ля-ля-ля-ля-ля, покрывающую все голоса. Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место. Я не утерпел, чтоб не сообщить эту догадку Петрову; он только поглядел кругом и промолчал.

Я было хотел, и ему купить место подле меня; но он уселся у моих ног и объявил, что ему очень ловко. Баклушин между тем покупал нам воду и подносил ее по мере надобности. Петров объявил, что вымоет меня с ног до головы, так что «будете совсем чистенькие», и усиленно звал меня париться. Париться я не рискнул. Петров вытер меня всего мылом. «А теперь я вам *ножки* вымою», — прибавил он в заключение. Я было хотел отвечать, что могу вымыть и сам, но уж не противоречил ему и совершенно отдался в его волю. В уменьшительном «ножки»

решительно не звучало ни одной нотки рабской; просто-запросто Петров не мог назвать моих ног ногами, вероятно, потому, что у других, у настоящих людей, — ноги, а у меня еще только ножки.

Вымыв меня, он с такими же церемониями, то есть с поддержками и предостережениями на каждом шагу, точно я был фарфоровый, доставил меня в передбанник и помог надеть белье и, уже когда совершенно кончил со мной, бросился назад в баню, париться.

Когда мы пришли домой, я предложил ему стакан чаю. От чаю он не отказался, выпил и поблагодарил. Мне пришло в голову раскошелиться и попотчевать его косушкой. Косушка нашлась и в нашей казарме. Петров был отменно доволен, выпил, крякнул и, заметив мне, что я совершенно оживил его, поспешно отправился в кухню, как будто там без него чего-то никак не могли решить. Вместо него ко мне явился другой собеседник, Баклушин (пионер), которого я еще в бане тоже позвал к себе на чай.

Я не знаю характера милее Баклушина. Правда, он не давал спуску другим, он даже часто ссорился, не любил, чтоб вмешивались в его дела, — одним словом, умел за себя постоять. Но он ссорился ненадолго, и, кажется, все у нас его любили. Куда он ни входил, все встречали его с удовольствием. Его знали даже в городе как забавнейшего человека в мире и никогда не теряющего своей веселости. Это был высокий парень, лет тридцати, с молодцеватым и простодушным лицом, довольно красивым, и с бородавкой. Это лицо он коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и поперечных, что окружавшие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников; но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он «пустой и бесполезный» человек. Он был полон огня и жизни. Познакомился он со мной еще с первых дней и объявил мне, что он из кантонистов, служил потом в пионерах и был даже замечен и любим некоторыми высокими лицами, чем, по старой памяти, очень гордился. Меня он тотчас же стал расспрашивать о Петербурге. Он даже и книжки читал. Придя ко мне на чай, он сначала рассмешил всю казарму, рассказав, как поручик Ш. отделал утром нашего плац-майора, и, сев подле меня, с довольным видом объявил мне, что, кажется, театр состоится. В остроге затевался театр на праздниках. Объявились актеры, устраивались помаленьку декорации. Некоторые из города обещались дать свои платья для

актерских ролей, даже для женских; даже, через посредство одного денщика, надеялись достать офицерский костюм с эксельбантами. Только бы плац-майор не вздумал запретить, как прошлого года. Но прошлого года на рождестве майор был не в духе: где-то проигрался, да и в остроге к тому же нашалили, вот он и запретил со зла, а теперь, может быть, не захочет стеснять. Одним словом, Баклушин был в возбужденном состоянии. Видно было, что он один из главных зачинщиков театра, и я тогда же дал себе слово непременно побывать на этом представлении. Простодушная радость Баклушина об удаче театра была мне по сердцу. Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне, что не всё служил в Петербурге; что он там в чем-то провинился и его послали в Р.*, впрочем, унтер-офицером, в гарнизонный баталион.

— Вот оттуда-то меня уж и прислали сюда, — заметил Баклушин.

— Да за что же это? — спросил я его.

— За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? Ведь за то, что влюбился!

— Ну, за это еще не пришлют сюда, — возразил я смеясь.

— Правда, — прибавил Баклушин, — правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за немца, посудите сами!

— Однако ж как же это? Расскажите, это любопытно.

— Пресмешная история, Александр Петрович.

— Так тем лучше. Рассказывайте.

— Аль рассказать? Ну, так уж слушайте… Я выслушал хоть не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства…

— Дело это было вот как, — начал Баклушин. — Как послали это они меня в Р., вижу — город хороший, большой, только немцев много. Ну, я, разумеется, еще молодой человек, у начальства на хорошем счету, хожу себе шапку набекрень, время провожу, значит. Немкам подмигиваю. И понравилась тут мне одна немочка, Луиза. Они обе были прачки, для самого ни на есть чистого белья, она и ее тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а живут зажиточно. Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила, — этакая то есть милушка, что я и не встречал еще такой никогда. Я было сначала того да

сего, а она мне: «Нет, этого не моги, Саша, потому я хочу всю невинность свою сохранить, чтоб тебе же достойной женой быть», и только ласкается, смеется таково звонко… да чистенькая такая была, я уж и не видал таких, кроме нее. Сама же взманила меня жениться. Ну как не жениться, подумайте! Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику… Вдруг смотрю — Луиза раз на свидание не вышла, другой не пришла, на третий не бывала… Я письмо отправляю; на письмо нет ответу. Что ж это, думаю? То есть кабы обманывала она меня, так ухитрилась бы, и на письмо бы отвечала, и на свидание бы приходила. А она и солгать-то не сумела; так просто отрезала. Это тетка, думаю. К тетке я ходить не смел; она хоть и знала, а мы все-таки под видом делали, то есть тихими стопами. Я Как угорелый хожу, написал последнее письмо и говорю: «Коль не придешь, сам к тетке приду». Испугалась, пришла. Плачет; говорит, один немец, Шульц, дальний их родственник, часовщик, богатый и уж пожилой, изъявил желание на ней жениться, — «чтоб, говорит, и меня осчастливить, и самому на старости без жены не остаться; да и любит он меня, говорит, и давно уж намерение это держал, да всё молчал, собирался. Так вот, говорит, Саша, он богатый, и это для меня счастье; так неужели ж ты меня моего счастья хочешь лишить?» Я смотрю: она плачет, меня обнимает… Эх, думаю, ведь резон же она говорит! Ну, что толку за солдата выйти, хотя б я и унтер? «Ну, говорю, Луиза, прощай, бог с тобой; нечего мне тебя твоего счастья лишать. А что он, хорош?» — «Нет, говорит, пожилой такой, с длинным носом…» Даже сама рассмеялась. Ушел я от нее; что ж, думаю, не судьба! На другое это утро пошел я под его магазин, улицу-то она мне сказала. Смотрю в стекло: сидит немец, часы делает, лет этак сорока пяти, нос горбатый, глаза выпучены, во фраке и в стоячих воротничках, этаких длинных, важный такой. Я так и плюнул; хотел было у него тут же стекло разбить… да что, думаю! нечего трогать, пропало, как с возу упало! Пришел в сумерки в казарму, лег на койку и вот, верите ли, Александр Петрович, как заплачу…

Ну, проходит этак день, другой, третий. С Луизой не вижусь. А меж тем услыхал от одной кумы (старая была, тоже прачка, к которой Луиза иногда хаживала), что немец про нашу любовь знает, потому-то и решил поскорей свататься. А то бы еще года два поджидал. С Луизы будто бы он клятву такую взял, что она меня знать не будет; и что будто он их, и

тетку и Луизу, покуда еще в черном теле держит; что, может, дескать, еще и раздумает, а что совсем-то еще и теперь не решился. Сказала она мне тоже, что послезавтра, в воскресенье, он их обеих утром на кофе звал и что будет еще один родственник, старик, прежде был купец, а теперь бедный-пребедный, где-то в подвале надсмотрщиком служит. Как узнал я, что в воскресенье они, может быть, всё дело решат, так меня зло взяло, что и с собой совладать не могу. И весь этот день и весь следующий только и делал, что об этом думал. Так бы и съел этого немца, думаю.

В воскресенье утром, еще я ничего не знал, а как обедни отошли — вскочил, натянул шинель да и отправился к немцу. Думал я их всех застать. И почему я отправился к немцу и что там хотел сказать — сам не знаю. А на всякий случай пистолет в карман сунул. Был у меня этот пистолетишка так, дрянной, с прежним курком; еще мальчишкой я из него стрелял. Из него и стрелять-то нельзя уж было. Однако ж я его пулей зарядил; думаю: станут выгонять, грубить — я пистолет выну и их всех напугаю. Прихожу. В мастерской никого нет, а сидят все в задней комнате. Окромя их, ни души, прислуги никакой. У него всего-то прислуга одна немка была, она ж и кухарка. Я прошел магазин; вижу — дверь туда заперта, да старая этак дверь, на крючке. Сердце у меня бьется, я остановился, слушаю: говорят по-немецки. Я как толкну ногой из всей силы, дверь тотчас и растворилась. Смотрю: стол накрыт. На столе большой кофейник и кофей на спирте кипит. Сухари стоят; на другом подносе графин водки, селедка и колбаса и еще бутылка вина какого-то. Луиза и тетка, обе разодетые, на диване сидят. Против них на стуле сам немец, жених, причесанный, во фраке и в воротничках, так и торчат вперед. А сбоку на стуле еще немец сидит, старик уж, толстый, седой, и молчит. Как вошел я, Луиза так и побледнела. Тетка было привскочила, да и села, а немец нахмурился. Такой сердитый; встал и навстречу:

— Что вам, говорит, угодно?

Я было сконфузился, да злость уж меня сильно взяла.

— Чего, говорю, угодно! А ты гостя принимай, водкой потчуй. Я к тебе в гости пришел. Немец подумал и говорит.

— Садит-с. Сел я.

— Давай же, говорю, водки-то.

— Вот, говорит, водка; пейте, пожалуй.

— Да ты мне, говорю, хорошей водки давай. — Злость-то, значит, меня уж очень берет.

— Это хорошая водка.

Обидно мне стало, что уж слишком он так меня низко ставит. А всего пуще, что Луиза смотрит. Выпил я да и говорю:

— Да ты что ж так грубить начал, немец? Ты со мною подружись. Я по дружбе к тебе пришел.

— Я не могу быть ваш друг, говорит: ви простой солдат. Ну, тут я и взбесился.

— Ах ты чучела, говорю, колбасник! Да знаешь ли ты, что от сей минуты я всё, что хочу, с тобой могу сделать? Вот хочешь, из пистолета тебя застрелю?

Вынул я пистолет, встал перед ним да и наставил дуло ему прямо в голову, в упор. Те сидят ни живы ни мертвы; пикнуть боятся; а старик, так тот как лист трясется, молчит, побледнел весь.

Немец удивился, однако ж опомнился.

— Я вас не боюсь, говорит, и прошу вас, как благородный человек, вашу шутку сейчас оставить, а я вас совсем не боюсь.

— Ой, врешь, говорю, боишься! — А чего! сам головы из-под пистолета пошевелить не смеет; так и сидит.

— Нет, говорит, ви это никак не смеет сделать.

— Да почему ж, говорю, не смеет-то?

— А потому, говорит, что это вам строго запрещено и вас строго наказать за это будут.

То есть черт этого дурака немца знает! Не поджег бы он меня сам, был бы жив до сих пор; за спором только и стало дело.

— Так не смею, говорю, по-твоему?

— Нет-т!

— Не смею?

— Ви это совершенно не смейт со мной сделать…

— Ну так вот же тебе, колбаса! — Да как цапну его, он и покатился на стуле. Те закричали.

Я пистолет в карман, да и был таков, а как в крепость входил, тут у крепостных ворот пистолет в крапиву и бросил.

Пришел я домой, лег на койку и думаю: вот сейчас возьмут. Час проходит, другой — не берут. И уж этак перед сумерками такая тоска на меня напала; вышел я; беспременно Луизу повидать захотелось. Прошел

я мимо часовщика. Смотрю: там народ, полиция. Я к куме: вызови Луизу! Чуть-чуть подождал, вижу: бежит Луиза, так и бросилась мне на шею, сама плачет: «Всему я, говорит, виновата, что тетки послушалась». Сказала она мне тоже, что тетка тотчас же после давешнего домой пришла и так струсила, что заболела и — молчок; и сама никому не объявила и мне говорить запретила; боится; как угодно, пусть так и делают. «Нас, говорит, Луиза, никто давеча не видал. Он и служанку свою услал, потому боялся. Та бы ему в глаза вцепилась, кабы узнала, что он жениться хочет. Из мастеровых тоже никого в доме не было; всех удалил. Сам и кофей сварил, сам и закуску приготовил. А родственник, так тот и прежде всю жизнь свою молчал, ничего не говорил, а как случилось давеча дело, взял шапку и первый ушел. И, верно, тоже молчать будет», — сказала Луиза. Так оно и было. Две недели меня никто не брал, и подозрения на меня никакого не было. В эти же две недели, верьте не верьте, Александр Петрович, я всё счастье мое испытал. Каждый день с Луизой сходились. И уж так она, так она ко мне привязалась! Плачет: «Я, говорит, за тобой, куда тебя сошлют, пойду, всё для тебя покину!» Я уж думал всей жизни моей тут решиться: так она меня тогда разжалобила. Ну, а через две недели меня и взяли. Старик и тетка согласились да и доказали на меня…

— Но постойте, — прервал я Баклушина, — вас за это только могли всего-то лет на десять, ну на двенадцать, на полный срок, в гражданский разряд прислать; а ведь вы в особом отделении. Как это можно?

— Ну, уж это другое вышло дело, — сказал Баклушин. — Как привели меня в судную комиссию, капитан перед судом и обругай меня скверными словами. Я не стерпел да и говорю ему: «Ты что ругаешься-то? Разве не видишь, подлец, что перед зерцалом сидишь!»* Ну, тут уж и пошло по-другому, по-новому стали судить да за всё вместе и присудили: четыре тысячи да сюда, в особое отделение. А как вывели меня к наказанию, вывели и капитана: меня по зеленой улице, а его лишить чинов и на Кавказ в солдаты. До свиданья, Александр Петрович. Заходите же к нам в представление-то.

## X
## Праздник Рождества Христова

Наконец наступили и праздники. Еще в сочельник арестанты почти не выходили на работу. Вышли в швальни, в мастерские; остальные только побыли на разводке, и хоть и были кой-куда назначены, но почти все, поодиночке или кучками, тотчас же возвратились в острог, и после обеда никто уже не выходил из него. Да и утром большая часть ходила только по своим делам, а не по казенным: иные — чтоб похлопотать о пронесении вина и заказать новое; другие — повидать знакомых куманьков и кумушек или собрать к празднику должишки за сделанные ими прежде работы; Баклушин и участвовавшие в театре — чтоб обойти некоторых знакомых, преимущественно из офицерской прислуги, и достать необходимые костюмы. Иные ходили с заботливым и суетливым видом единственно потому, что и другие были суетливы и заботливы, и хоть иным, например, ниоткуда не предстояло получить денег, но они смотрели так, как будто и они тоже получат от кого-нибудь деньги; одним словом, все как будто ожидали к завтрашнему дню какой-то перемены, чего-то необыкновенного. К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из съестного: говядины, поросят, даже гусей. Многие из арестантов, даже самые скромные и бережливые, копившие круглый год свои копейки, считали обязанностью раскошелиться к такому дню и достойным образом справить разговень. Завтрашний день был настоящий, неотъемлемый у арестанта праздник, признанный за ним формально законом. В этот день арестант не мог быть выслан на работу, и таких дней всего было три в году[*].

И, наконец, кто знает, сколько воспоминаний должно было зашевелиться в душах этих отверженцев при встрече такого дня! Дни великих праздников резко отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с самого детства. Это дни отдохновения от их тяжких работ, дни семейного сбора. В остроге же они должны были припоминаться с мучениями и тоской. Уважение к торжественному дню переходило у арестантов даже в какую-то форменность; немногие гуляли; все были серьезны и как будто чем-то заняты, хотя у многих совсем почти не было дела. Но и праздные и гуляки старались сохранять в себе какую-то важность… Смех как будто был запрещен. Вообще настроение дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости, и кто нарушал общий тон, хоть бы невзначай, того осаживали с криком и бранью и сердились на него как будто за неуважение к самому

празднику. Это настроение арестантов было замечательно, даже трогательно. Кроме врожденного благоговения к великому дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он, стало быть, отверженец, погибший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то же, что у людей. Они это чувствовали; это было видно и понятно.

Аким Акимыч тоже очень готовился к празднику. У него не было ни семейных воспоминаний, потому что он вырос сиротой в чужом доме и чуть не с пятнадцати лет пошел на тяжелую службу; не было в жизни его и особенных радостей, потому что всю жизнь свою провел он регулярно, однообразно, боясь хоть на волосок выступить из показанных ему обязанностей. Не был он и особенно религиозен, потому что благонравие, казалось, поглотило в нем все остальные его человеческие дары и особенности, все страсти и желания, дурные и хорошие. Вследствие всего этого он готовился встретить торжественный день не суетясь, не волнуясь, не смущаясь тоскливыми и совершенно бесполезными воспоминаниями, а с тихим, методическим благонравием, которого было ровно настолько, сколько нужно для исполнения обязанности и раз навсегда указанного обряда. Да и вообще он не любил много задумываться. Значение факта, казалось, никогда не касалось его головы, но раз указанные ему правила он исполнял с священною аккуратностью. Если б завтра же приказали ему сделать совершенно противное, он бы сделал и это с тою же самою покорностью и тщательностью, как делал и противоположное тому накануне. Раз, один только раз в жизни он попробовал пожить своим умом — и попал в каторгу. Урок не пропал для него даром. И хоть ему не суждено было судьбою понять хоть когда-нибудь, в чем именно он провинился, но зато он вывел из своего приключения спасительное правило — не рассуждать никогда и ни в каких обстоятельствах, потому что рассуждать «не его ума дело», как выражались промеж себя арестанты. Слепо преданный обряду, он даже и на праздничного поросенка своего, которого начинил кашей и изжарил (собственноручно, потому что умел и жарить), смотрел с каким-то предварительным уважением, точно это был не обыкновенный поросенок, которого всегда можно было купить и изжарить, а какой-то особенный, праздничный. Может быть, он еще с детства привык видеть

на столе в этот день поросенка и вывел, что поросенок необходим для этого дня, и я уверен, если б хоть раз в этот день он не покушал поросенка, то на всю жизнь у него бы осталось некоторое угрызение совести о неисполненном долге. До праздника он ходил в своей старой куртке и в старых панталонах, хоть и благопристойно заштопанных, но зато уж совсем заносившихся. Оказалось теперь, что новую пару, выданную ему еще месяца четыре назад, он тщательно сберегал в своем сундучке и не притрогивался к ней с улыбающейся мыслью торжественно обновить ее в праздник. Так он и сделал. Еще с вечера он достал свою новую пару, разложил, осмотрел, пообчистил, обдул и, исправив всё это, предварительно примерил ее. Оказалось, что пара была совершенно впору; всё было прилично, плотно застегивалось доверху, воротник, как из кордона, высоко подпирал подбородок; в талье образовалось даже что-то вроде мундирного перехвата, и Аким Акимыч даже осклабился от удовольствия и не без молодцеватости повернулся перед крошечным своим зеркальцем, которое собственноручно и давно уже оклеил в свободную минутку золотым бордюрчиком. Только один крючочек у воротника куртки оказался как будто не на месте. Сообразив это, Аким Акимыч решил переставить крючок; переставил, примерил опять, и оказалось уже совсем хорошо. Тогда он сложил всё по-прежнему и с успокоенным духом упрятал до завтра в сундучок. Голова его была обрита удовлетворительно; но, оглядев себя внимательно в зеркальце, он заметил, что как будто не совсем гладко на голове; показывались чуть видные ростки волос, и он немедленно сходил к «майору», чтоб обриться совершенно прилично и по форме. И хоть Акима Акимыча никто не стал бы завтра осматривать, но обрился он единственно для спокойствия своей совести, чтоб уж так, для такого дня, исполнить все свои обязанности. Благоговение к пуговке, к погончику, к петличке еще с детства неотъемлемо напечатлелось в уме его в виде неоспоримой обязанности, а в сердце — как образ последней степени красоты, до которой может достичь порядочный человек. Всё исправив, он, как старший арестант в казарме, распорядился приносом сена и тщательно наблюдал, как разбрасывали его по полу. То же самое было и в других казармах. Не знаю почему, но к рождеству всегда разбрасывали у нас по казарме сено[*]. Потом, окончив все свои труды, Аким Акимыч помолился богу, лег на свою койку и тотчас же заснул безмятежным сном младенца, чтоб проснуться

как можно раньше утром. Так же точно поступили, впрочем, и все арестанты. Во всех казармах улеглись гораздо раньше обыкновенного. Обыкновенные вечерние работы были оставлены; об майданах и помину не было. Всё ждало завтрашнего утра.

Оно наконец настало. Рано, еще до свету, едва только пробили зорю, отворили казармы, и вошедший считать арестантов караульный унтер-офицер поздравил их всех с праздником. Ему отвечали тем же, отвечали приветливо и ласково. Наскоро помолившись, Аким Акимыч и многие, имевшие своих гусей и поросят на кухне, поспешно пошли смотреть, что с ними делается, как их жарят, где что стоит и так далее. Сквозь темноту из маленьких, залепленных снегом и льдом окошек нашей казармы видно было, что в обеих кухнях, во всех шести печах, пылает яркий огонь, разложенный еще до свету. По двору, в темноте, уже шныряли арестанты в своих полушубках, в рукава и внакидку; всё это стремилось в кухню. Но некоторые, впрочем очень немногие, успели уже побывать и у целовальников. Это были уже самые нетерпеливые. Вообще же все вели себя благопристойно, смирно и как-то не по-обыкновенному чинно. Не слышно было ни обычной ругани, ни обычных ссор. Все понимали, что день большой и праздник великий. Были такие, что сходили в другие казармы, поздравить кой-кого из своих. Проявлялось что-то вроде дружества. Замечу мимоходом: между арестантами почти совсем не замечалось дружества, не говорю общего, — это уж подавно, — а так, частного, чтоб один какой-нибудь арестант сдружился с другим. Этого почти совсем у нас не было, и это замечательная черта: так не бывает на воле. У нас вообще все были в обращении друг с другом черствы, сухи, за очень редкими исключениями, и это был какой-то формальный, раз принятый и установленный тон. Я тоже вышел из казармы; начинало чуть-чуть светать; звезды меркли; морозный тонкий пар подымался кверху. Из печных труб на кухне валил дым столбами. Некоторые из попавшихся мне навстречу арестантов сами охотно и ласково поздравили меня с праздником. Я благодарил и отвечал тем же. Из них были и такие, которые до сих пор еще ни слова со мной не сказали во весь этот месяц.

У самой кухни нагнал меня арестант из военной казармы, в тулупе внакидку. Он еще с полдвора разглядел меня и кричал мне: «Александр Петрович! Александр Петрович!» Он бежал на кухню и торопился. Я остановился и подождал его. Это был молодой парень, с круглым

лицом, с тихим выражением глаз, очень неразговорчивый со всеми, а со мной не сказавший еще ни одного слова и не обращавший на меня доселе никакого внимания со времени моего поступления в острог; я даже не знал, как его и зовут. Он подбежал ко мне запыхавшись и стал передо мной в упор, глядя на меня с какой-то тупой, но в то же время и блаженной улыбкой.

— Что вам? — не без удивления спросил я его, видя, что он стоит передо мной, улыбается, глядит на меня во все глаза, а разговора не начинает.

— Да как же, праздник… — пробормотал он и, сам догадавшись, что не о чем больше говорить, бросил меня и поспешно отправился в кухню.

Замечу здесь кстати, что и после этого мы с ним ровно никогда не сходились и почти не сказали ни слова друг другу до самого моего выхода из острога.

На кухне около жарко разгоревшихся печей шла суетня и толкотня, целая давка. Всякий наблюдал за своим добром; стряпки принимались готовить казенное кушанье, потому что в этот день обед назначался раньше. Никто, впрочем, не начинал еще есть, хоть иным бы и хотелось, но наблюдалось перед другими приличие. Ждали священника, и уже после него полагались разговени. Между тем еще не успело совсем ободнять, как уже начали раздаваться за воротами острога призывные крики ефрейтора: «Поваров!» Эти крики раздавались чуть не поминутно и продолжались почти два часа. Требовали поваров с кухни, чтоб принимать приносимое со всех концов города в острог подаяние. Приносилось оно в чрезвычайном количестве в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряженików, шанег, блинов и прочих сдобных печений. Я думаю, не осталось ни одной хозяйки из купеческих и мещанских домов во всем городе, которая бы не прислала своего хлеба, чтоб поздравить с великим праздником «несчастных» и заключенных. Были подаяния богатые — сдобные хлебы из чистейшей муки, присланные в большом количестве. Были подаяния и очень бедные — такой какой-нибудь грошовый калачик и две каких-нибудь черные шаньги, чуть-чуть обмазанные сметаной: это уже был дар бедняка бедняку, из последнего. Всё принималось с одинаковою благодарностью, без различия даров и даривших. Принимавшие арестанты снимали шапки, кланялись, поздравляли с праздником и относили подаяние на кухню. Когда уже

набрались целые груды подаянного хлеба, потребовали старших из каждой казармы, и они уже распределили всё поровну, по казармам. Не было ни спору, ни брани; дело вели честно, поровну. Что пришлось на нашу казарму, разделили уже у нас; делил Аким Акимыч и еще другой арестант; делили своей рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малейшего возражения, ни малейшей зависти от кого-нибудь; все остались довольны; даже подозрения не могло быть, чтоб подаяние можно утаить или раздать не поровну. Устроив свои дела в кухне, Аким Акимыч приступил к своему облачению, оделся со всем приличием и торжественностью, не оставив ни одного крючочка незастегнутым, и, одевшись, тотчас же приступил к настоящей молитве. Он молился довольно долго. На молитве стояло уже много арестантов, большею частью пожилых. Молодежь помногу не молилась: так разве перекрестится кто, вставая, даже и в праздник. Помолившись, Аким Акимыч подошел ко мне и с некоторою торжественностью поздравил меня с праздником. Я тут же позвал его на чай, а он меня на своего поросенка. Спустя немного прибежал ко мне и Петров поздравить меня. Он, кажется, уж выпил и хоть прибежал запыхавшись, но многого не сказал, а только постоял недолго передо мной с каким-то ожиданием и вскоре ушел от меня на кухню. Между тем в военной казарме приготовлялись к принятию священника. Эта казарма была устроена не так, как другие: в ней нары тянулись около стен, а не посредине комнаты, как во всех прочих казармах, так что это была единственная в остроге комната, не загроможденная посредине. Вероятно, она и устроена была таким образом, чтоб в ней, в необходимых случаях, можно было собирать арестантов. Среди комнаты поставили столик, накрыли его чистым полотенцем, поставили на нем образ и зажгли лампадку. Наконец пришел священник с крестом и святою водою. Помолившись и пропев перед образом, он стал перед арестантами, и все с истинным благоговением стали подходить прикладываться к кресту. Затем священник обошел все казармы и окропил их святою водою. На кухне он похвалил наш острожный хлеб, славившийся своим вкусом в городе, и арестанты тотчас же пожелали ему послать два свежих и только что выпеченных хлеба; на отсылку их немедленно употреблен был один инвалид. Крест проводили с тем же благоговением, с каким и встретили, и затем почти тотчас же приехали плац-майор и комендант. Коменданта у нас любили и даже уважали. Он обошел все казармы в

сопровождении плац-майора, всех поздравил с праздником, зашел в кухню и попробовал острожных щей. Щи вышли славные; отпущено было для такого дня чуть не по фунту говядины на каждого арестанта. Сверх того, сготовлена была просяная каша и масла отпустили вволю. Проводив коменданта, плац-майор велел начинать обедать. Арестанты старались не попадаться ему на глаза. Не любили у нас его злобного взгляда из-под очков, которым он и теперь высматривал направо и на лево, не найдется ли беспорядков, не попадется ли какой-нибудь виноватый.

Стали обедать. Поросенок Акима Акимыча был зажарен превосходно. И вот не могу объяснить, как это случилось: тотчас же по отъезде плац-майора, каких-нибудь пять минут спустя, оказалось необыкновенно много пьяного народу, а между тем, еще за пять минут, все были почти совершенно трезвые. Явилось много рдеющих и сияющих лиц, явились балалайки. Полячок со скрипкой уже ходил за каким-то гулякой, нанятый на весь день, и пилил ему веселые танцы. Разговор становился хмельнее и шумнее. Но отобедали без больших беспорядков. Все были сыты. Многие из стариков и солидных отправились тотчас же спать, что сделал и Аким Акимыч, полагая, кажется, что в большой праздник после обеда непременно нужно заснуть. Старичок из стародубовских старообрядцев, вздремнув немного, полез на печку, развернул свою книгу и промолился до глубокой ночи, почти не прерывая молитвы. Ему тяжело было смотреть на «страм», как говорил он про всеобщую гулянку арестантов. Все черкесы уселись на крылечке и с любопытством, а вместе и с некоторым омерзением смотрели на пьяный народ. Мне повстречался Нурра: «Яман[*], яман! — сказал он мне, покачивая головою с благочестивым негодованием, — ух, яман! Аллах сердит будет!» Исай Фомич упрямо и высокомерно засветил в своем уголку свечку и начал работать, видимо показывая, что ни во что не считает праздник. Кой-где по углам начались майданы. Инвалидов не боялись, а в случае унтер-офицера, который сам старался ничего не замечать, поставили сторожей. Караульный офицер раза три заглядывал во весь этот день в острог. Но пьяные прятались, майданы снимались при его появлении, да и сам он, казалось, решился не обращать внимания на мелкие беспорядки. Пьяный человек в этот день считался уже беспорядком мелким. Мало-помалу народ разгуливался. Начинались и ссоры. Трезвых все-таки

оставалось гораздо большая часть, и было кому присмотреть за нетрезвыми. Зато уж гулявшие пили без меры. Газин торжествовал. Он разгуливал с самодовольным видом около своего места на нарах, под которое смело перенес вино, хранившееся до того времени где-то в снегу за казармами, в потаенном месте, и лукаво посмеивался, смотря на прибывавших к нему потребителей. Сам он был трезв и не выпил ни капли. Он намерен был гулять в конце праздника, обобрав предварительно все денежки из арестантских карманов. По казармам раздавались песни. Но пьянство переходило уже в чадный угар, и от песен недалеко было до слез. Многие расхаживали с собственными балалайками, тулупы внакидку, и с молодецким видом перебирали струны. В особом отделении образовался даже хор, человек из восьми. Они славно пели под аккомпанемент балалаек и гитар. Чисто народных песен пелось мало. Помню только одну, молодецки пропетую:

Я вечор млада[*]
Во пиру была.

И здесь я услышал новый вариант этой песни, которого прежде не встречал. В конце песни прибавлялось несколько стихов:

У меня ль, младой,
Дома убрано:
Ложки вымыла,
Во щи вылила;
С косяков сскребла,
Пироги спекла.

Пелись же большею частью песни так называемые у нас арестантские, впрочем все известные. Одна из них: «Бывало…» — юмористическая, описывающая, как прежде человек веселился и жил барином на воле, а теперь попал в острог. Описывалось, как он подправлял прежде «бламанже шенпанским», а теперь —

Дадут капусты мне с водою —
И ем, так за ушми трещит.

В ходу была тоже слишком известная:
Прежде жил я, мальчик, веселился
И имел свой капитал:
Капиталу, мальчик, я решился
И в неволю жить попал…

и так далее. Только у нас произносится не «капитал», а «копитал», производя капитал от слова «копить»; пелись тоже заунывные. Одна была чисто каторжная, тоже, кажется, известная:

Свет небесный воссияет,
Барабан зорю пробьет, —
Старший двери отворяет,
Писарь требовать идет.

Нас не видно за стенами,
Каково мы здесь живем;
Бог, творец небесный, с нами,
Мы и здесь не пропадем,*

и т. д.

Другая пелась еще заунывнее, впрочем прекрасным напевом, сочиненная, вероятно, каким-нибудь ссыльным, с приторными и довольно безграмотными словами. Из нее я вспоминаю теперь несколько стихов:

Не увидит взор мой той страны,
В которой я рожден;
Терпеть мученья без вины
Навек я осужден.

На кровле филин прокричит,
Раздастся по лесам,
Заноет сердце, загрустит,

## Меня не будет там[*]

Эта песня пелась у нас часто, но не хором, а в одиночку. Кто-нибудь, в гулевое время, выйдет, бывало, на крылечко казармы, сядет, задумается, подопрет щеку рукой и затянет ее высоким фальцетом. Слушаешь, и как-то душу надрывает. Голоса у нас были порядочные.

Между тем начинались уж и сумерки. Грусть, тоска и чад тяжело проглядывали среди пьянства и гульбы. Смеявшийся за час тому назад уже рыдал где-нибудь, напившись через край. Другие успели уже раза по два подраться. Третьи, бледные и чуть держась на ногах, шатались по казармам, заводили ссоры. Те же, у которых хмель был незадорного свойства, тщетно искали друзей, чтобы излить перед ними свою душу и выплакать свое пьяное горе. Весь этот бедный народ хотел повеселиться, провесть весело великий праздник — и, господи! какой тяжелый и грустный был этот день чуть не для каждого. Каждый проводил его, как будто обманувшись в какой-то надежде. Петров раза два еще забегал ко мне. Он очень немного выпил во весь день и был почти совсем трезвый. Но он до самого последнего часа всё чего-то ожидал, что непременно должно случиться, чего-то необыкновенного, праздничного, развеселого. Хоть он и не говорил об этом, но видно было по его глазам. Он сновал из казармы в казарму без устали. Но ничего особенного не случалось и не встречалось, кроме пьянства, пьяной бестолковой ругани и угоревших от хмеля голов. Сироткин бродил тоже в новой красной рубашке по всем казармам, хорошенький, вымытый, и тоже тихо и наивно, как будто ждал чего-то. Мало-помалу в казармах становилось несносно и омерзительно. Конечно, было много и смешного, но мне было как-то грустно и жалко их всех, тяжело и душно между ними. Вон два арестанта спорят, кому кого угощать. Видно, что они уже долго спорят и прежь того даже поссорились. У одного в особенности есть какой-то давнишний зуб на другого. Он жалуется и, нетвердо ворочая языком, силится доказать, что тот поступил с ним несправедливо: был продан какой-то полушубок, утаены когда-то какие-то деньги, в прошлом году на масленице. Что-то еще, кроме этого, было… Обвиняющий — высокий и мускулистый парень, неглупый, смирный, но когда пьян — с стремлением дружиться и излить свое горе. Он и ругается и претензию показывает как будто с желанием еще

крепче потом помириться с соперником. Другой — плотный, коренастый, невысокого роста, с круглым лицом, хитрый и пронырливый. Он выпил, может быть, больше своего товарища, но пьян только слегка. Он с характером и слывет богатым, но ему почему-то выгодно не раздражать теперь своего экспансивного друга, и он подводит его к целовальнику; друг утверждает, что он должен и обязан ему поднести, «если только ты честный человек есть».

Целовальник с некоторым уважением к требователю и с оттенком презрения к экспансивному другу, потому что тот пьет не на свои, а его потчуют, достает и наливает чашку вина.

— Нет, Степка, это ты должен, — говорит экспансивный друг, видя, что его взяла, — потому ефто твой долг.

— Да я с тобой и язык-то даром не стану мозолить! — отвечает Степка.

— Нет, Степка, это ты врешь, — подтверждает первый, принимая от целовальника чашку, — потому ты мне деньги должен; совести нет и глаза-то у тебя не свои, а заемные! Подлец ты, Степка, вот тебе; одно слово подлец!

— Ну чего рюмишь, вино расплескал! Честь ведут да дают, так пей! — кричит целовальник на экспансивного друга, — не до завтра над тобой стоять!

— Да и выпью, чего кричишь! С праздником, Степан Дорофеич! — вежливо и с легким поклоном обратился он, держа чашку в руках, к Степке, которого еще за полминуты обзывал подлецом. — Будь здоров на сто годов, а что жил, не в зачет! — Он выпил, крякнул и утерся. — Прежде, братцы, я много вина подымал, — заметил он с серьезною важностью, обращаясь как будто ко всем и ни к кому в особенности, — а теперь уж, знать, лета мои подходят. Благодарствую, Степан Дорофеич.

— Не на чем.

— Так я всё про то буду тебе, Степка, говорить; и, окромя того, что ты выходишь передо мной большой подлец, я тебе скажу…

— А я тебе вот что, пьяная ты харя, скажу, — перебивает потерявший терпение Степка. — Слушай да всякое мое слово считай: вот тебе свет пополам; тебе полсвета и мне полсвета. Иди и не встречайся ты больше мне. Надоел!

— Так не отдашь денег?

— Каких тебе еще денег, пьяный ты человек?

— Эй, на том свете сам придешь отдавать — не возьму! Наша денежка трудовая, да потная, да мозольная. Замаешься с моим пятаком на том свете.

— Да ну тебя к черту.

— Что нукаешь; не запрег.

— Пошел, пошел!

— Подлец!

— Варнак!

И пошла опять ругань, еще больше, чем до потчеванья. Вот сидят на нарах отдельно два друга: один высокий, плотный, мясистый, настоящий мясник; лицо его красно. Он чуть не плачет, потому что очень растроган. Другой — тщедушный, тоненький, худой, с длинным носом, с которого как будто что-то каплет, и с маленькими свиными глазками, обращенными в землю. Это человек политичный и образованный; был когда-то писарем и трактует своего друга несколько свысока, что тому втайне очень неприятно. Они весь день вместе пили.

— Он меня дерзнул! — кричит мясистый друг, крепко качая голову писаря левой рукой, которою он обхватил его. «Дерзнул» — значит ударил. Мясистый друг, сам из унтер-офицеров, втайне завидует своему испитому другу, и потому оба они, один перед другим, щеголяют изысканностью слога.

— А я тебе говорю, что и ты не прав… — начинает догматически писарь, упорно не подымая на него своих глаз и с важностью смотря в землю.

— Он меня дерзнул, слышь ты! — прерывает друг, еще больше теребя своего милого друга. — Ты один мне теперь на всем свете остался, слышишь ты это? Потому я тебе одному говорю: он меня дерзнул!..

— А я опять скажу: такое кислое оправданье, милый друг, составляет только стыд твоей голове! — тоненьким и вежливым голоском возражает писарь, — а лучше согласись, милый друг, всё это пьянство через твое собственное непостоянство…

Мясистый друг несколько отшатывается назад, тупо глядит своими пьяными глазами на самодовольного писаришку и вдруг, совершенно неожиданно, изо всей силы ударяет своим огромным кулаком по маленькому лицу писаря. Тем и кончается дружба за целый день.

Милый друг без памяти летит под нары…

Вот входит в нашу казарму один мой знакомый из особого отделения, бесконечно добродушный и веселый парень, неглупый, безобидно-насмешливый и необыкновенно простоватый с виду. Это тот самый, который, в первый мой день в остроге, в кухне за обедом искал, где живет богатый мужик, уверял, что он «с анбицией», и напился со мною чаю. Он лет сорока, с необыкновенно толстой губой и с большим мясистым носом, усеянным угрями. В руках его балалайка, на которой он небрежно перебирает струны. За ним следовал, точно прихвостень, чрезвычайно маленький арестантик, с большой головой, которого я очень мало знал доселе. На него, впрочем, и никто не обращал никакого внимания. Он был какой-то странный, недоверчивый, вечно молчаливый и серьезный; ходил работать в швальню и, видимо, старался жить особняком и ни с кем не связываться. Теперь же, пьяный, он привязался, как тень, к Варламову. Он следовал за ним в ужасном волнении, размахивал руками, бил кулаком по стене, по нарам и даже чуть не плакал. Варламов, казалось, не обращал на него никакого внимания, как будто и не было его подле. Замечательно, что прежде эти два человека почти совсем друг с другом не сходились; у них и по занятиям, и по характеру ничего нет общего. И разрядов они разных и живут по разным казармам. Звали маленького арестанта — Булкин.

Варламов, увидев меня, осклабился. Я сидел на своих нарах у печки. Он стал поодаль против меня, что-то сообразив, покачнулся и, неровными шагами подойдя ко мне, как-то молодцевато избоченился всем корпусом и, слегка потрогивая струны, проговорил речитативом, чуть-чуть постукивая сапогом:

Круглолица, белолица,
Распевает, как синица,
Милая моя;
Она в платьице атласном,
Гарнитуровом прекрасном,
Очень хороша.

Эта песня, казалось, вывела из себя Булкина; он замахал руками и, обращаясь ко всем, закричал:

— Всё-то врет, братцы, всё-то он врет! Ни одного слова не скажет вправду, всё врет!

— Старичку Александру Петровичу! — проговорил Варламов, с плутоватым смехом заглядывая мне в глаза, и чуть не полез со мной целоваться. Он был пьяненек. Выражение «Старичку такому-то…», то есть такому-то мое почтение, употребляется в простонародье по всей Сибири, хотя бы относилось к человеку двадцати лет. Слово «старичок» означает что-то почетное, почтительное, даже льстивое.

— Ну что, Варламов, как поживаете?

— Да по деньку на день. А уж кто празднику рад, тот спозаранку пьян; вы уж меня извините! — Варламов говорил несколько нараспев.

— И всё-то врет, всё-то он опять врет! — закричал Булкин, в каком-то отчаянии стуча рукою по нарам. Но тот как будто слово дал не обращать на него ни малейшего внимания, и в этом было чрезвычайно много комизму, потому что Булкин привязался к Варламову совершенно ни с того ни с сего еще с самого утра именно за то, что Варламов «всё врет», как ему отчего-то показалось. Он бродил за ним, как тень, привязывался к каждому его слову, ломал свои руки, обколотил их чуть не в кровь об стены и об нары и страдал, видимо страдал от убеждения, что Варламов «всё врет»! Если б у него были волосы на голове, он бы, кажется, вырвал их от огорчения. Точно он взял на себя обязанность отвечать за поступки Варламова, точно на его совести лежали все недостатки Варламова. Но в том-то и штука, что тот даже и не глядел на него.

— Всё врет, всё врет, всё врет! Ни одно-то слово его ни к чему не подходит! — кричал Булкин.

— Да тебе-то что! — отвечали со смехом арестанты.

— Я вам, Александр Петрович, доложу, что был я очень красив из себя и очень меня любили девки… — начал вдруг ни с того ни с сего Варламов.

— Врет! Опять врет! — прерывает с каким-то визгом Булкин.

Арестанты хохочут.

— А я-то перед ними куражусь: рубаха на мне красная, шаровары плисовые; лежу себе, как этакой граф Бутылкин, ну то есть пьян, как швед, одно слово — чего изволите!

— Врет! — решительно подтверждает Булкин.

— А в те поры был у меня от батюшки дом двухэтажный

каменный. Ну, в два-то года я два этажа и спустил, остались у меня одни ворота без столбов. Что ж, деньги — голуби: прилетят и опять улетят!

— Врет! — еще решительнее подтверждает Булкин.

— Так уж я вот ономнясь и послал моим родичам отсюда слезницу; авось деньжонок пришлют. Потому, говорили, я против родителев моих шел. Неуважительный был! Вот уж седьмой год, как послал.

— И нет ответу? — спросил я, засмеявшись.

— Да нет, — отвечал он, вдруг засмеявшись сам и всё ближе и ближе приближая свой нос к самому моему лицу. — А у меня, Александр Петрович, здесь полюбовница есть…

— У вас? Любовница?

— Онуфриев даве и говорит: «Моя пусть рябая, нехорошая, да зато у ней сколько одежи; а твоя хорошая, да нищая, с мешком ходит».

— Да разве правда?

— А и вправду нищая! — отвечал он и залился неслышным смехом; в казарме тоже захохотали. Действительно, все знали, что он связался с какой-то нищей и выдал ей в полгода всего десять копеек.

— Ну, так что ж? — спросил я, желая от него наконец отвязаться.

Он помолчал, умильно посмотрел на меня и нежно произнес:

— Так вот не соблаговолите ли мне по сей причине на косушку? Я ведь, Александр Петрович, всё чай пил сегодня, — прибавил он в умилении, принимая деньги, — и так я этого чаю нахлестался, что одышка взяла, а в брюхе как в бутылке болтается…

Меж тем как он принимал деньги, нравственное расстройство Булкина, казалось, дошло до последних пределов. Он жестикулировал, как отчаянный, чуть не плакал.

— Люди божий! — кричал он, обращаясь ко всей казарме в исступлении, — смотрите на него! Всё врет! Что ни скажет, всё-то, всё-то, всё-то он врет!

— Да тебе-то что? — кричат ему арестанты, удивляясь на его ярость, — несообразный ты человек!

— Не дам соврать! — кричит Булкин, сверкая глазами и стуча из всей силы кулаком по нарам, — не хочу, чтоб он врал!

Все хохочут. Варламов берет деньги, откланивается мне и, кривляясь, спешит из казармы, разумеется к целовальнику. И тут, кажется, он в первый раз замечает Булкина.

— Ну, пойдем! — говорит он ему, останавливаясь на пороге, точно

он и впрямь был ему на что-то нужен. — Набалдашник! — прибавляет он с презрением, пропуская огорченного Булкина вперед себя и вновь начиная тренькать на балалайке…

Но что описывать этот чад! Наконец кончается этот удушливый день. Арестанты тяжело засыпают на нарах. Во сне они говорят и бредят еще больше, чем в другие ночи. Кой-где еще сидят за майданами. Давно ожидаемый праздник прошел. Завтра опять будни, опять на работу…

## XI
## Представление

На третий день праздника, вечером, состоялось первое представление в нашем театре[*]. Предварительных хлопот по устройству, вероятно, было много, но актеры взяли всё на себя, так что все мы, остальные, и не знали: в каком положении дело? что именно делается? даже хорошенько не знали, что будет представляться. Актеры все эти три дня, выходя на работу, старались как можно более добыть костюмов. Баклушин, встречаясь со мной, только прищелкивал пальцами от удовольствия. Кажется, и на плац-майора нашел порядочный стих. Впрочем, нам было совершенно неизвестно, знал ли он о театре. Если знал, то позволил ли его формально или только решился молчать, махнув рукой на арестантскую затею и подтвердив, разумеется, чтоб всё было по возможности в порядке? Я думаю, он знал о театре, не мог не знать; но вмешиваться не хотел, понимая, что может быть хуже, если он запретит: арестанты начнут шалить, пьянствовать, так что гораздо лучше, если чем-нибудь займутся. Я, впрочем, предполагаю в плац-майоре такое рассуждение единственно потому, что оно самое естественное, самое верное и здравое. Даже так можно сказать: если б у арестантов не было на праздниках театра или какого-нибудь занятия в этом роде, то его следовало самому начальству выдумать. Но так как наш плац-майор отличался совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества, то очень немудрено, что я беру большой грех на себя, предполагая, что он знал о театре и позволил его. Такому человеку, как плац-майор, надо было везде кого-нибудь придавить, что-нибудь отнять, кого-нибудь лишить

права — одним словом, где-нибудь произвести распорядок. В этом отношении он был известен в целом городе. Какое ему дело, что именно от этих стеснений в остроге могли выйти шалости? На шалости есть наказания (рассуждают такие, как наш плац-майор), а с мошенниками-арестантами строгость и беспрерывное, буквальное исполнение закона — вот и всё, что требуется! Эти бездарные исполнители закона решительно не понимают, да и не в состоянии понять, что одно буквальное исполнение его, без смысла, без понимания духа его, прямо ведет к беспорядкам, да и никогда к другому не приводило. «В законах сказано, чего же больше?» — говорят они и искренно удивляются, что от них еще требуют, впридачу к законам, здравого рассудка и трезвой головы. Последнее особенно кажется многим из них излишнею и возмутительною роскошью, стеснением, нетерпимостью.

Но как бы то ни было, старший унтер-офицер не противоречил арестантам, а им только того и надо было. Я утвердительно скажу, что театр и благодарность за то, что его позволили, были причиною, что на праздниках не было ни одного серьезного беспорядка в остроге: ни одной злокачественной ссоры, ни одного воровства. Я сам был свидетелем, как свои же унимали иных разгулявшихся или ссорившихся единственно под тем предлогом, что запретят театр. Унтер-офицер взял с арестантов слово, что всё будет тихо и вести будут себя хорошо. Согласились с радостью и свято исполняли обещание; льстило тоже очень, что верят их слову. Надо, впрочем, сказать, что позволить театр решительно ничего не стоило начальству, никаких пожертвований. Предварительно места не огораживали: театр созидался и разнимался весь в какие-нибудь четверть часа. Продолжался он полтора часа, и, если б вдруг вышло свыше приказание прекратить представление, — дело бы обделалось в один миг. Костюмы были спрятаны в сундуках у арестантов. Но прежде чем скажу, как устроен был театр и какие именно были костюмы, скажу об афише театра, то есть что именно предполагалось играть.

Собственно писаной афишки не было. На второе, на третье представление явилась, впрочем, одна, написанная Баклушиным для гг. офицеров и вообще благородных посетителей, удостоивших наш театр, еще в первое представление, своим посещением. Именно: из господ приходил обыкновенно караульный офицер, и однажды зашел сам дежурный по караулам. Зашел тоже раз инженерный офицер; вот на

случай этих-то посетителей и создалась афишка[*]. Предполагалось, что слава острожного театра прогремит далеко в крепости и даже в городе, тем более что в городе не было театра[*]. Слышно было, что составился на одно представление из любителей, да и только. Арестанты, как дети, радовались малейшему успеху, тщеславились даже. «Ведь кто знает, — думали и говорили у нас про себя и между собою, — пожалуй, и самое высшее начальство узнает; придут и посмотрят, увидят тогда, какие есть арестанты. Это не простое солдатское представление, с какими-то чучелами, с плывучими лодками, с ходячими медведями и козами. Тут актеры, настоящие актеры, господские комедии играют; такого театра и в городе нет. У генерала Абросимова было раз, говорят, представление и еще будет; ну, так, может, только костюмами и возьмут, а насчет *разговору,* так еще кто знает перед нашими-то! До губернатора дойдет, пожалуй, и — чем черт не шутит? — может, и сам захочет прийти посмотреть. В городе-то нет театра…» Одним словом, фантазия арестантов, особенно после первого успеха, дошла на праздниках до последней степени, чуть ли не до наград или до уменьшения срока работ, хотя в то же время и сами они почти тотчас же предобродушно принимались смеяться над собою. Одним словом, это были дети, вполне дети, несмотря на то что иным из этих детей было по сороку лет. Но, несмотря на то что не было афиши, я уже знал в главных чертах состав предполагаемого представления. Первая пьеса была: «Филатка и Мирошка соперники»[*]. Баклушин еще за неделю до представления хвалился передо мной, что роль самого Филатки, которую он брал на себя, будет так представлена, что и в санкт-петербургском театре не видывали. Он расхаживал по казармам, хвастался немилосердно и бесстыдно, а вместе с тем и совершенно добродушно, а иногда вдруг, бывало, отпустит что-нибудь «по-тиатральному», то есть из своей роли, — и все хохочут, смешно или не смешно то, что он отпустил. Впрочем, надо признаться, и тут арестанты умели себя выдержать и достоинство соблюсти: восторгались выходками Баклушина и рассказами о будущем театре или только самый молодой и желторотый народ, без выдержки, или только самые значительные из арестантов, которых авторитет был незыблемо установлен, так что им уж нечего было бояться прямо выражать свои ощущения, какие бы они ни были, хотя бы самого наивного (то есть, по острожным понятиям, самого неприличного) свойства. Прочие же выслушивали слухи и толки молча,

правда, не осуждали, не противоречили, но всеми силами старались отнестись к слухам о театре равнодушно и даже отчасти и свысока. Только уж в последнее время, в самый почти день представления, все начали интересоваться: что-то будет? как-то наши? что плац-майор? удастся ли так же, как в запрошлом году? и проч. Баклушин уверял меня, что все актеры подобраны великолепно, каждый «к своему месту». Что даже и занавес будет. Что Филаткину невесту будет играть Сироткин, — и вот сами увидите, каков он в женском-то платье! — говорил он, прищуриваясь и прищелкивая языком. У благодетельной помещицы будет платье с фальбалой[*], и пелеринка, и зонтик в руках, а благодетельный помещик выйдет в офицерском сюртуке с эксельбантами и с тросточкой. Затем следовала вторая пьеса, драматическая: «Кедрил-обжора»[*]. Название меня очень заинтересовало; но как я ни расспрашивал об этой пьесе — ничего не мог узнать предварительно. Узнал только, что взята она не из книги, а «по списку»; что пьесу достали у какого-то отставного унтер-офицера, в форштадте, который, верно, сам когда-нибудь участвовал в представлении ее на какой-нибудь солдатской сцене. У нас в отдаленных городах и губерниях действительно есть такие театральные пьесы, которые, казалось бы, никому не известны, может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами собой откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра в известной полосе России. Кстати: я сказал «народного театра». Очень бы и очень хорошо было, если б кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе, исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже, может быть, не совсем ничтожный. Я верить не хочу, чтобы всё, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, было выдумано нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приемы и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти. Искать их надо у солдат, у фабричных, в фабричных городах и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились тоже они по деревням и по губернским городам между дворнями больших помещичьих домов. Я даже думаю, что многие старинные пьесы расплодились в списках по России не иначе, как через помещицкую дворню. У прежних старинных помещиков и московских бар бывали собственные театры, составленные из крепостных артистов. И вот в

этих-то театрах и получилось начало нашего народного драматического искусства, которого признаки несомненны. Что же касается до «Кедрила-обжоры», то, как ни желалось мне, я ничего не мог узнать о нем предварительно, кроме того, что на сцене появляются злые духи и уносят Кедрила в ад. Но что такое значит Кедрил и, наконец, почему Кедрил, а не Кирилл? русское ли это или иностранное происшествие? — этого я никак не мог добиться. В заключение объявлялось, что будет представляться «пантомина под музыку». Конечно, всё это было очень любопытно. Актеров было человек пятнадцать — всё бойкий и бравый народ. Они гомозились про себя, делали репетиции, иногда за казармами, таились, прятались. Одним словом, хотели удивить всех нас чем-то необыкновенным и неожиданным.

В будни острог запирался рано, как только наступала ночь. В рождественский праздник сделано было исключение: не запирали до самой вечерней зари. Эта льгота давалась собственно для театра. В продолжение праздника обыкновенно каждый день, перед вечером, посылали из острога с покорнейшей просьбой к караульному офицеру: «позволить театр и не запирать подольше острога», прибавляя, что и вчера был театр и долго не запирался, а беспорядков никаких не было. Караульный офицер рассуждал так: «Беспорядков действительно вчера не было; а уж как сами слово дают, что не будет и сегодня, значит, сами за собой будут смотреть, а это всего крепче. К тому же не позволь представления, так, пожалуй (кто их знает? народ каторжный!), нарочно что-нибудь напакостят со зла и караульных подведут». Наконец, и то: в карауле стоять скучно, а тут театр, да не просто солдатский, а арестантский, а арестанты народ любопытный: весело будет посмотреть. А посмотреть караульный офицер всегда вправе.

Приедет дежурный: «Где караульный офицер?» — «Пошел в острог арестантов считать, казармы запирать», — ответ прямой, и оправдание прямое. Таким образом, караульные офицеры каждый вечер в продолжение всего праздника позволяли театр и не запирали казарм вплоть до вечерней зари. Арестанты и прежде знали, что от караула не будет препятствия, и были покойны.

Часу в седьмом пришел за мной Петров, и мы вместе отправились на представленье. Из нашей казармы отправились почти все, кроме черниговского старовера и поляков. Поляки только в самое последнее представление, четвертого января, решились побывать в театре, и то

после многих уверений, что там и хорошо, и весело, и безопасно. Брезгливость поляков нимало не раздражала каторжных, а встречены они были четвертого января очень вежливо. Их даже пропустили на лучшие места. Что же касается до черкесов и в особенности Исая Фомича, то для них наш театр был истинным наслаждением. Исай Фомич каждый раз давал по три копейки, а в последний раз положил на тарелку десять копеек, и блаженство изображалось на лице его. Актеры положили сбирать с присутствующих, кто сколько даст, на расходы по театру и на свое собственное *подкрепление.* Петров уверял, что меня пустят на одно из первых мест, как бы ни был набит битком театр, на том основании, что я, как богаче других, вероятно, и больше дам, а к тому же и толку больше ихнего знаю. Так и случилось. Но опишу первоначально залу и устройство театра.

Военная казарма наша, в которой устроился театр, была шагов в пятнадцать длиною. С двора вступали на крыльцо, с крыльца в сени, а из сеней в казарму. Эта длинная казарма, как уже и сказал я, была особого устройства: нары тянулись в ней по стене, так что средина комнаты оставалась свободной. Половина комнаты, ближайшая от выхода с крыльца, была отдана зрителям; другая же половина, которая сообщалась с другой казармой, назначалась для самой сцены. Прежде всего меня поразила занавесь. Она тянулась шагов на десять поперек всей казармы. Занавесь была такою роскошью, что действительно было чему подивиться. Кроме того, она была расписана масляной краской: изображались деревья, беседки, пруды и звезды. Составилась она из холста, старого и нового, кто сколько дал и пожертвовал, из старых арестантских онучек и рубах, кое-как сшитых в одно большое полотнище, и, наконец, часть ее, на которую не хватило холста, была просто из бумаги, тоже выпрошенной по листочку в разных канцеляриях и приказах. Наши же маляры, между которыми отличался и Брюллов — А-в, позаботились раскрасить и расписать ее. Эффект был удивительный. Такая роскошь радовала даже самых угрюмых и самых щепетильных арестантов, которые, как дошло до представления, оказались все без исключения такими же детьми, как и самые горячие из них и нетерпеливые. Все были очень довольны, даже хвастливо довольны. Освещение состояло из нескольких сальных свечек, разрезанных на части. Перед занавесью стояли две скамейки из кухни, а перед скамейками три-четыре стула, которые нашлись в унтер-

офицерской комнате. Стулья назначались на случай, для самых высших лиц офицерского звания. Скамейки же — для унтер-офицеров и инженерных писарей, кондукторов и прочего народа, хотя и начальствующего, но не в офицерских чинах, на случай, если б они заглянули в острог. Так и случилось: посторонние посетители у нас не переводились во весь праздник; иной вечер приходило больше, другой меньше, а в последнее представление так ни одного места на скамьях не оставалось незанятым. И, наконец, уже сзади скамеек, помещались арестанты, стоя, из уважения к посетителям, без фуражек, в куртках или в полушубках, несмотря на удушливый парной воздух комнаты. Конечно, места для арестантов полагалось слишком мало. Но, кроме того, что один буквально сидел на другом, особенно в задних рядах, заняты были еще нары, кулисы, и, наконец, нашлись любители, постоянно ходившие за театр, в другую казарму, и уже оттуда, из-за задней кулисы, высматривавшие представление. Теснота в первой половине казармы была неестественная и равнялась, может быть, тесноте и давке, которую я недавно еще видел в бане. Дверь в сени была отворена; в сенях, в которых было двадцать градусов морозу, тоже толпился народ. Нас, меня и Петрова, тотчас же пропустили вперед, почти к самым скамейкам, где было гораздо виднее, чем в задних рядах. Во мне отчасти видели ценителя, знатока, бывшего и не в таких театрах; видели, что Баклушин всё это время советовался со мной и относился ко мне с уважением; мне, стало быть, теперь честь и место. Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но всё это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим уменьем обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти. Но теперь, в театре, они посторонились передо мной. Они признавали, что в этом я могу судить лучше их, что я видал и знаю больше их. Самые не расположенные из них ко мне (я знаю это) желали теперь моей похвалы их театру и безо всякого самоунижения пустили меня на лучшее место. Я сужу теперь, припоминая тогдашнее мое впечатление. Мне тогда же показалось — я помню это, — что в их справедливом суде над собой было вовсе не

принижение, а чувство собственного достоинства. Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. Петушиной же замашки быть впереди во всех местах и *во что бы то ни стало,* стоит ли, нет ли того человек, — этого в народе нет. Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков — и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться.

Петров наивно сказал мне, когда мы только еще собирались в театр, что меня пустят вперед и потому еще, что я дам больше денег. Положенной цены не было: всякий давал, что мог или что хотел. Почти все положили что-нибудь, хоть по грошу, когда пошли сбирать на тарелку. Но если меня пустили вперед отчасти и за деньги, в предположении, что я дам больше других, то опять-таки сколько было в этом чувства собственного достоинства! «Ты богаче меня и ступай вперед, и хоть мы здесь все равны, но ты положишь больше: следственно, такой посетитель, как ты, приятнее для актеров, — тебе и первое место, потому что все мы здесь не за деньги, а из уважения, а следственно, сортировать себя мы должны уже сами». Сколько в этом настоящей благородной гордости! Это не уважение к деньгам, а уважение к самому себе. Вообще же к деньгам, к богатству, в остроге не было особенного уважения, особенно если смотреть на арестантов на всех безразлично, в массе, в артели. Я не помню даже ни одного из них, серьезно унижавшегося из-за денег, если б пришлось даже рассматривать их и поодиночке. Были попрошайки, выпрашивавшие и у меня. Но в этом попрошайстве было больше шалости, плутовства, чем прямого дела; было больше юмору, наивности. Не знаю, понятно ли я выражаюсь… Но я забыл о театре. К делу.

До поднятия занавеса вся комната представляла странную и оживленную картину. Во-первых, толпа зрителей, сдавленная, сплюснутая, стиснутая со всех сторон, с терпением и с блаженством в лице ожидающая начала представления. В задних рядах люди, гомозящиеся один на другого. Многие из них принесли с собой поленья с кухни: установив кое-как у стенки толстое полено, человек взбирался на него ногами, обеими руками упирался в плеча впереди стоящего и, не

изменяя положения, стоял таким образом часа два, совершенно довольный собою и своим местом. Другие укреплялись ногами на печи, на нижней приступке, и точно так же выстаивали всё время, опираясь на передовых. Это было в самых задних рядах, у стены. Сбоку, взмостившись на нары, стояла тоже сплошная толпа над музыкантами. Тут были хорошие места. Человек пять взмостились на самую печь и, лежа на ней, смотрели вниз. То-то блаженствовали! На подоконниках по другой стене тоже гомозились целые толпы опоздавших или не нашедших хорошего места. Все вели себя тихо и чинно. Всем хотелось себя выказать перед господами и посетителями с самой лучшей стороны. На всех лицах выражалось самое наивное ожидание. Все лица были красные и смоченные потом от жару и духоты. Что за странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих изборожденных, клейменых лбах и щеках, в этих взглядах людей, доселе мрачных и угрюмых, в этих глазах, сверкавших иногда страшным огнем! Все были без шапок, и с правой стороны все головы представлялись мне бритыми. Но вот на сцене слышится возня, суетня. Сейчас подымется занавесь. Вот заиграл оркестр… Этот оркестр стоит упоминания. Сбоку, по нарам, разместилось человек восемь музыкантов: две скрипки (одна была в остроге, другую у кого-то заняли в крепости, а артист нашелся и дома), три балалайки — всё самодельщина, две гитары и бубен вместо контрабаса. Скрипки только визжали и пилили, гитары были дрянные, зато балалайки были неслыханные. Проворство переборки струн пальцами решительно равнялось самому ловкому фокусу. Игрались всё плясовые мотивы. В самых плясовых местах балалаечники ударяли костями пальцев о деку балалайки; тон, вкус, исполнение, обращение с инструментами, характер передачи мотива — всё это было свое, оригинальное, арестантское. Один из гитаристов тоже великолепно знал свой инструмент. Это был тот самый из дворян, который убил своего отца. Что же касается до бубна, то он просто делал чудеса: то завертится на пальце, то большим пальцем проведут по его коже, то слышатся частые, звонкие и однообразные удары, то вдруг этот сильный, отчетливый звук как бы рассыпается горохом на бесчисленное число маленьких, дребезжащих и шушуркающих звуков. Наконец, появились еще две гармонии. Честное слово, я до тех пор не имел понятия о том, что можно сделать из простых, простонародных инструментов; согласие

звуков, сыгранность, а главное, дух, характер понятия и передачи самой сущности мотива были просто удивительные. Я в первый раз понял тогда совершенно, что именно есть бесконечно разгульного и удалого в разгульных и удалых русских плясовых песнях. Наконец поднялась занавесь. Все пошевелились, все переступили с одной ноги на другую, задние привстали на цыпочки; кто-то упал с полена; все до единого раскрыли рты и уставили глаза, и полнейшее молчание воцарилось… Представление началось.

Подле меня стоял Алей, в группе своих братьев и всех остальных черкесов. Они все страстно привязались к театру и ходили потом каждый вечер. Все мусульмане, татары и проч., как замечал я не один раз, всегда страстные охотники до всяких зрелищ. Подле них прикурнул и Исай Фомич, который, казалось, с поднятием занавеса весь превратился в слух, в зрение и в самое наивное жадное ожидание чудес и наслаждений. Даже жалко было бы, если б он разочаровался в своих ожиданиях. Милое лицо Алея сияло такой детскою, прекрасною радостью, что, признаюсь, мне ужасно было весело на него смотреть, и я, помню, невольно каждый раз при какой-нибудь смешной и ловкой выходке актера, когда раздавался всеобщий хохот, тотчас же оборачивался к Алею и заглядывал в его лицо. Он меня не видал; не до меня ему было! Очень недалеко от меня, с левой стороны, стоял арестант, пожилой, всегда нахмуренный, всегда недовольный и ворчливый. Он тоже заметил Алея и, я видел, несколько раз с полуулыбкой оборачивался поглядеть на него: так он был мил! «Алей Семеныч» называл он его, не знаю зачем. Начали «Филаткой и Мирошкой». Филатка (Баклушин) был действительно великолепен. Он сыграл свою роль с удивительною отчетливостью. Видно было, что он вдумывался в каждую фразу, в каждое движение свое. Каждому пустому слову, каждому жесту своему он умел придать смысл и значение, совершенно соответственное характеру своей роли. Прибавьте к этому старанию, к этому изучению удивительную, неподдельную веселость, простоту, безыскусственность, и вы, если б видели Баклушина, сами согласились бы непременно, что это настоящий прирожденный актер, с большим талантом. Филатку я видел не раз на московском и петербургском театрах и положительно говорю — столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже* Баклушина. В сравнении с ним они были пейзане, «не настоящие мужики. Им

слишком хотелось представить мужика. Баклушина, сверх того, возбуждало соперничество: всем известно было, что во второй пьесе роль Кедрила будет играть арестант Поцейкин, актер, которого все почему-то считали даровитее, лучше Баклушина, и Баклушин страдал от этого, как ребенок. Сколько раз приходил он ко мне в эти последние дни и изливал свои чувства. За два часа до представления его трясла лихорадка. Когда хохотали и кричали ему из толпы: «Лихо, Баклушин! Ай да молодец!» — всё лицо его сияло счастьем, настоящее вдохновение блистало в глазах его. Сцена целования с Мирошкой, когда Филатка кричит ему предварительно «утрись!» и сам утирается, вышла уморительно смешна. Все так и покатились со смеху. Но всего занимательнее для меня были зрители; тут уж все были нараспашку. Они отдавались своему удовольствию беззаветно. Крики ободрения раздавались все чаще и чаще. Вот один подталкивает товарища и наскоро сообщает ему свои впечатления, даже не заботясь и, пожалуй, не видя, кто стоит подле него; другой, при какой-нибудь смешной сцене, вдруг с восторгом оборачивается к толпе, быстро оглядывает всех, как бы вызывая всех смеяться, машет рукой и тотчас же опять жадно обращается к сцене. Третий просто прищелкнет языком и пальцами и не может смирно устоять на месте; а так как некуда идти, то только переминается с ноги на ногу. К концу пьесы общее веселое настроение дошло до высшей степени. Я ничего не преувеличиваю. Представьте острог, кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь однообразную, как водяная капель в хмурый, осенний день, — и вдруг всем этим пригнетенным и заключенным позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть тяжелый сон, устроить целый театр, да еще как устроить: на гордость и на удивление всему городу, — знай, дескать, наших, каковы арестанты! Их, конечно, всё занимало, костюмы например. Ужасно любопытно было для них увидеть, например, такого-то Ваньку Отпетого, али Нецветаева, али Баклушина совсем в другом платье, чем в каком столько уж лет их каждый день видели. «Ведь арестант, тот же арестант, у самого кандалы побрякивают, а вот выходит же теперь в сюртуке, в круглой шляпе, в плаще — точно штатской! Усы себе приделал, волосы. Вон платочек красный из кармана вынул, обмахивается, барина представляет, точно сам ни дать ни взять барин!» И все в восторге. Благодетельный помещик вышел в адъютантском мундире, правда очень стареньком, в эполетах, в фуражке

с кокардочкой и произвел необыкновенный эффект. На эту роль было два охотника, и — поверят ли? — оба, точно маленькие дети, ужасно поссорились друг с другом за то, кому играть: обоим хотелось показаться в офицерском мундире с эксельбантами! Их уж разнимали другие актеры и присудили большинством голосов отдать роль Нецветаеву, не потому, что он был казистее и красивее другого и таким образом лучше бы походил на барина, а потому, что Нецветаев уверил всех, что он выйдет с тросточкой и будет так ею помахивать и по земле чертить, как настоящий барин и первейший франт, чего Ваньке Отпетому и не представить, потому настоящих господ он никогда и не видывал. И действительно, Нецветаев, как вышел с своей барыней перед публику, только и делал, что быстро и бегло чертил тоненькой камышовой тросточкой, которую откудова-то достал, по земле, вероятно считая в этом признаки самой высшей господственности, крайнего щегольства и фешени*. Вероятно, когда-нибудь еще в детстве, будучи дворовым, босоногим мальчишкой, случилось ему увидать красиво одетого барина с тросточкой и пленяться его уменьем вертеть ею, и вот впечатление навеки и неизгладимо осталось в душе его, так что теперь, в тридцать лет от роду, припомнилось всё, как было, для полного пленения и прельщения всего острога. Нецветаев был до того углублен в свое занятие, что уж и не смотрел ни на кого и никуда, даже говорил, не подымая глаз, и только и делал, что следил за своей тросточкой и за ее кончиком. Благодетельная помещица была тоже в своем роде чрезвычайно замечательна: она явилась в старом, изношенном кисейном платье, смотревшем настоящей тряпкой, с голыми руками и шеей, страшно набеленным и нарумяненным лицом, в спальном коленкоровом чепчике, подвязанном у подбородка, с зонтиком в одной руке и с веером из разрисованной бумаги в другой, которым она беспрерывно обмахивалась. Залп хохоту встретил барыню; да и сама барыня не выдержала и несколько раз принималась хохотать. Играл барыню арестант Иванов. Сироткин, переодетый девушкой, был очень мил. Куплеты тоже сошли хорошо. Одним словом, пьеса кончилась к самому полному и всеобщему удовольствию. Критики не было, да и быть не могло.

Проиграли еще раз увертюру «Сени, мои сени», и вновь поднялась занавесь. Это Кедрил. Кедрил что-то вроде Дон-Жуана; по крайней мере и барина и слугу черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт,

но это, видно, отрывок; начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России, где-то на постоялом дворе. Трактирщик вводит в комнату барина в шинели и в круглой исковерканной шляпе. За ним идет его слуга Кедрил с чемоданом и с завернутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть обжора. Играет его арестант Поцейкин, соперник Баклушина; барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик, Нецветаев, предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин, мрачный и озабоченный, бормочет про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил трус и обжора. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит как лист. Он бы убежал, но трусит барина. Да, сверх того, ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитер по-своему, трус, надувает барина на каждом шагу и в то же время боится его. Это замечательный тип слуги, в котором как-то неясно и отдаленно сказываются черты Лепорелло, и действительно замечательно переданный. Поцейкин с решительным талантом, и, на мой взгляд, актер еще лучше Баклушина. Я, разумеется, встретясь на другой день с Баклушиным, не высказал ему своего мнения вполне: я бы слишком огорчил его. Арестант, игравший барина, сыграл тоже недурно. Вздор он нес ужаснейший, ни на что не похожий; но дикция была правильная, бойкая, жест соответственный. Покамест Кедрил возится с чемоданами, барин ходит в раздумье по сцене и объявляет во всеуслышание, что в нынешний вечер конец его странствованиям. Кедрил любопытно прислушивается, гримасничает, говорит a parte[10] и смешит с каждым словом зрителей. Ему не жаль барина; но он слышал о чертях; ему хочется узнать, что это такое, и вот он вступает в разговоры и в расспросы. Барин наконец объявляет ему, что когда-то в какой-то беде он обратился к помощи ада и черти помогли ему, выручили; но что сегодня срок и, может быть, сегодня же они придут, по условию, за душой его. Кедрил начинает шибко трусить. Но барин не теряет духа и велит ему приготовить ужин. Услыша про ужин, Кедрил оживляется, вынимает курицу, вынимает вино, — и нет-нет, а сам отщипнет от курицы и отведает. Публика хохочет. Вот скрипнула дверь, ветер стучит ставнями; Кедрил дрожит и наскоро, почти бессознательно упрятывает в рот огромный кусок курицы, который и проглотить не может. Опять хохот. «Готово ли?» — кричит

барин, расхаживая по комнате. «Сейчас, сударь… я вам… приготовлю», — говорит Кедрил, сам садится за стол и преспокойно начинает уплетать барское кушанье. Публике, видимо, любо проворство и хитрость слуги и то, что барин в дураках. Надо признаться, что и Поцейкин стоил действительно похвалы. Слова: «Сейчас, сударь, я вам приготовлю» — он выговорил превосходно. Сев за стол, он начинает есть с жадностью и вздрагивает с каждым шагом барина, чтоб тот не заметил его проделок; чуть тот повернется на месте, он прячется под стол и тащит с собой курицу. Наконец он утоляет свой первый голод; пора подумать о барине. «Кедрил, скоро ли ты?» — кричит барин. «Готово-с!» — бойко отвечает Кедрил, спохватившись, что барину почти ничего не остается. На тарелке действительно лежит одна куриная ножка. Барин, мрачный и озабоченный, ничего не замечая, садится за стол, а Кедрил с салфеткой становится за его стулом. Каждое слово, каждый жест, каждая гримаса Кедрила, когда он, оборачиваясь к публике, кивает на простофилю барина, встречаются с неудержимым хохотом зрителями. Но вот, только что барин принимается есть, появляются черти. Тут уж ничего понять нельзя, да и черти появляются как-то уж слишком не по-людски: в боковой кулисе отворяется дверь и является что-то в белом, а вместо головы у него фонарь со свечой; другой фантом тоже с фонарем на голове*, в руках держит косу. Почему фонари, почему коса, почему черти в белом? никто не может объяснить себе. Впрочем, об этом никто не задумывается. Так уж, верно, тому и быть должно. Барин довольно храбро оборачивается к чертям и кричит им, что он готов, чтоб они брали его. Но Кедрил трусит, как заяц; он лезет под стол, но, несмотря на весь свой испуг, не забывает захватить со стола бутылку. Черти на минуту скрываются; Кедрил вылезает из-за стола; но только что барин принимается опять за курицу, как три черта снова врываются в комнату, подхватывают барина сзади и несут его в преисподнюю. «Кедрил! спасай меня!» — кричит барин. Но Кедрилу не до того. Он в этот раз и бутылку, и тарелку, и даже хлеб стащил под стол. Но вот он теперь один, чертей нет, барина тоже. Кедрил вылезает, осматривается, и улыбка озаряет лицо его. Он плутовски прищуривается, садится на барское место и, кивая публике, говорит полушепотом:

— Ну, я теперь один… без барина!..

Все хохочут тому, что он без барина; но вот он еще прибавляет

полушепотом, конфиденциально обращаясь к публике и всё веселее и веселее подмигивая глазком:

— Барина-то черти взяли!..

Восторг зрителей беспредельный! Кроме того, что барина черти взяли, это было так высказано, с таким плутовством, с такой насмешливо-торжествующей гримасой, что действительно невозможно не аплодировать. Но недолго продолжается счастье Кедрила. Только было он распорядился бутылкой, налил себе в стакан и хотел пить, как вдруг возвращаются черти, крадутся сзади на цыпочках и цап-царап его под бока. Кедрил кричит во всё горло; от трусости он не смеет оборотиться. Защищаться тоже не может: в руках бутылка и стакан, с которыми он не в силах расстаться. Разинув рот от ужаса, он с полминуты сидит, выпуча глаза на публику, с таким уморительным выражением трусливого испуга, что решительно с него можно было писать картину. Наконец его несут, уносят; бутылка с ним, он болтает ногами и кричит, кричит. Крики его раздаются еще за кулисами. Но занавесь опускается, и все хохочут, все в восторге… Оркестр начинает камаринскую.

Начинают тихо, едва слышно, но мотив растет и растет, темп учащается, раздаются молодецкие прищелкиванья по декам балалайки… Это камаринская во всем своем размахе, и, право, было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас в остроге[*]. Начинается пантомина под музыку[*]. Камаринская не умолкает во всё продолжение пантомины. Представлена внутренность избы. На сцене мельник и жена его. Мельник в одном углу чинит сбрую, в другом углу жена прядет лен. Жену играет Сироткин, мельника Нецветаев.

Замечу, что наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, чем видите глазами. Вместо задней стены протянут какой-то ковер или попона; сбоку какие-то дрянные ширмы. Левая же сторона ничем не заставлена, так что видны нары. Но зрители невзыскательны и соглашаются дополнить воображением действительность, тем более что арестанты к тому очень способны: «Сказано сад, так и почитай за сад, комната так комната, изба так изба — всё равно, и церемониться много нечего». Сироткин в костюме молодой бабенки очень мил. Между зрителями раздается вполголоса несколько комплиментов. Мельник кончает работу, берет шапку, берет

кнут, подходит к жене и объясняет ей знаками, что ему надо идти, но что если без него жена кого примет, то… и он показывает на кнут. Жена слушает и кивает головой. Этот кнут, вероятно, ей очень знаком: бабенка от мужа погуливает. Муж уходит. Только что он за дверь, жена грозит ему вслед кулаком. Но вот стучат; дверь отворяется, и опять является сосед, тоже мельник, мужик в кафтане и с бородой. В руках у него подарок, красный платок. Бабенка смеется; но только что сосед хочет обнять ее, как в двери опять стук. Куда деваться? Она наскоро прячет его под стол, а сама опять за веретено. Является другой обожатель: это писарь, в военной форме. До сих пор пантомина шла безукоризненно, жест был безошибочно правилен. Можно было даже удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать: сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и в тяжкой доле! Но арестант, игравший писаря, вероятно, когда-то был на провинциальном или домашнем театре, и ему вообразилось, что наши актеры, все до единого, не понимают дела и не так ходят, как следует ходить на сцене. И вот он выступает, как, говорят, выступали в старину на театрах классические герои: ступит длинный шаг и, еще не придвинув другой ноги, вдруг остановится, откинет назад весь корпус, голову, гордо поглядит кругом и — ступит другой шаг. Если такая ходьба была смешна в классических героях, то в военном писаре, в комической сцене, еще смешнее. Но публика наша думала, что, вероятно, так там и надо, и длинные шаги долговязого писаря приняла как совершившийся факт, без особенной критики. Едва только писарь успел выйти на средину сцены, как послышался еще стук: хозяйка опять переполошилась. Куда девать писаря? в сундук, благо отперт. Писарь лезет в сундук, и бабенка его накрывает крышкой. На этот раз является гость особенный, тоже влюбленный, но особого свойства. Это брамин и даже в костюме. Неудержимый хохот раздается между зрителями. Брамина играет арестант Кошкин, и играет прекрасно. У него фигура браминская. Жестами объясняет он всю степень любви своей. Он приподымает руки к небу, потом прикладывает их к груди, к сердцу; но только что он успел разнежиться — раздается сильный удар в дверь. По удару слышно, что это хозяин. Испуганная жена вне себя, брамин мечется как угорелый и умоляет, чтоб его спрятали. Наскоро она становит его за шкаф, а сама, забыв отпереть, бросается к своей пряже и прядет, прядет, не слыша стука в

дверь своего мужа, с перепуга сучит нитку, которой у нее нет в руках, и вертит веретено, забыв поднять его с пола. Сироткин очень хорошо и удачно изобразил этот испуг. Но хозяин выбивает дверь ногою и с кнутом в руке подходит к жене. Он всё заметил и подкараулил и прямо показывает ей пальцами, что у ней спрятаны трое. Затем ищет спрятанных. Первого находит соседа и провожает его тузанами из комнаты. Струсивший писарь хотел было бежать, приподнял головой крышку и тем сам себя выдал. Хозяин подстегивает его кнутиком, и на этот раз влюбленный писарь прискакивает вовсе не по-классически. Остается брамин; хозяин долго ищет его, наконец находит в углу за шкафом, вежливо откланивается ему и за бороду вытягивает на средину сцены. Брамин пробует защищаться, кричит: «Окаянный, окаянный!» (единственные слова, сказанные в пантомине), но муж не слушает и расправляется по-свойски. Жена, видя, что дело доходит теперь до нее, бросает пряжу, веретено и бежит из комнаты; донцо валится* на землю, арестанты хохочут. Алей, не глядя на меня, теребит меня за руку и кричит мне: «Смотри! брамин, брамин!» — а сам устоять не может от смеху. Занавесь падает. Начинается другая сцена…

Но нечего описывать всех сцен. Их было еще две или три. Все они смешны и неподдельно веселы. Если сочинили их не сами арестанты, то по крайней мере в каждую из них положили своего. Почти каждый актер импровизировал от себя, так что в следующие вечера один и тот же актер одну и ту же роль играл несколько иначе. Последняя пантомина, фантастического свойства, заключилась балетом. Хоронился мертвец. Брамин с многочисленной прислугой делает над гробом разные заклинания, но ничто не помогает. Наконец раздается «Солнце на закате»*, мертвец оживает, и все в радости начинают плясать. Брамин пляшет вместе с мертвецом, и пляшет совершенно особенным образом, по-брамински. Тем и кончается театр, до следующего вечера. Наши все расходятся веселые, довольные, хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не по-всегдашнему, а почти с спокойным духом, — а с чего бы, кажется? А между тем это не мечта моего воображения. Это правда, истина. Только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не по-острожному — и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут… Но вот уже глубокая ночь. Я

вздрагиваю и просыпаюсь случайно: старик всё еще молится на печке и промолится там до самой зари; Алей тихо спит подле меня. Я припоминаю, что, и засыпая, он еще смеялся, толкуя вместе с братьями о театре, и невольно засматриваюсь на его спокойное детское лицо. Мало-помалу я припоминаю всё: последний день, праздники, весь этот месяц… в испуге приподымаю голову и оглядываю спящих моих товарищей при дрожащем тусклом свете шестериковой казенной свечи. Я смотрю на их бедные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету, — всматриваюсь — и точно мне хочется увериться, что всё это не продолжение безобразного сна, а действительная правда. Но это правда: вот слышится чей-то стон; кто-то тяжело откинул руку и брякнул цепями. Другой вздрогнул во сне и начал говорить, а дедушка на печи молится за всех «православных христиан», и слышно его мерное, тихое, протяжное: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!..»

«Не навсегда же я здесь, а только ведь на несколько лет!» — думаю я и склоняю опять голову на подушку.

# Часть вторая

## I
## Госпиталь

Вскоре после праздников я сделался болен и отправился в наш военный госпиталь. Он стоял особняком, в полуверсте от крепости.[*] Это было длинное одноэтажное здание, окрашенное желтой краской. Летом, когда происходили ремонтные работы, на него выходило чрезвычайное количество вохры. На огромном дворе госпиталя помещались службы, дома для медицинского начальства и прочие природные постройки. В главном же корпусе располагались одни только палаты. Палат было много, но арестантских всего только две, всегда очень наполненных, но особенно летом, так что приходилось часто сдвигать кровати. Наполнялись наши палаты всякого рода «несчастным народом». Ходили туда наши, ходили разного рода военные подсудимые, содержавшиеся на разных абвахтах, решеные, нерешеные и пересылочные; ходили и из исправительной роты — странного заведения, в которое отсылались провинившиеся и малонадежные солдатики из батальонов для поправления своего поведения и откуда года через два и больше они обыкновенно выходили такими мерзавцами, каких на редкость и встретить. Заболевшие из арестантов у нас обыкновенно поутру объявляли о болезни своей унтер-офицеру. Их тотчас же записывали в книгу и с этой книгой отсылали больного с конвойным в батальонный лазарет. Там доктор предварительно свидетельствовал всех больных из всех военных команд, расположенных в крепости, и кого находил действительно больным, записывал в госпиталь. Меня отметили в книге, и во втором часу, когда уже все наши отправились из острога на послеобеденную работу, я пошел в госпиталь. Больной арестант обыкновенно брал с собой сколько мог денег, хлеба, потому что на тот день не мог ожидать себе в госпитале порции, крошечную трубочку и кисет с табаком, кремнем и огнивом. Эти последние предметы тщательно запрятывались в сапоги. Я вступил в ограду госпиталя не без некоторого любопытства к этой новой, не знакомой еще мне варьяции нашего арестантского житья-бытья.

День был теплый, хмурый и грустный — один из тех дней, когда такие заведения, как госпиталь, принимают особенно деловой, тоскливый и кислый вид. Мы с конвойным вошли в приемную, где стояли две медные ванны и где уже дожидались двое больных, из подсудимых, тоже с конвойными. Вошел фельдшер, лениво и со властию оглядел нас и еще ленивее отправился доложить дежурному лекарю. Тот явился скоро; осмотрел, обошелся очень ласково и выдал нам «скорбные листы», в которых были обозначены наши имена. Дальнейшее же расписание болезни, назначение лекарств, порции и проч. предоставлялось уже тому из ординаторов, который заведовал арестантскими палатами. Я уже и прежде слышал, что арестанты не нахвалятся своими лекарями. «Отцов не надо!» — отвечали они мне на мои расспросы, когда я отправлялся в больницу. Между тем мы переоделись. Платье и белье, в котором мы пришли, от нас отобрали и одели нас в белье госпитальное да, сверх того, выдали нам длинные чулки, туфли, колпаки и толстые суконные бурого цвета халаты, подшитые не то холстом, не то каким-то пластырем. Одним словом, халат был до последней степени грязен; но оценил я его вполне уже на месте. Затем нас повели в арестантские палаты, которые были расположены в конце длиннейшего коридора, высокого и чистого. Наружная чистота везде была очень удовлетворительна; всё, что с первого раза бросалось в глаза, так и лоснилось. Впрочем, это могло мне так показаться после нашего острога. Двое подсудимых пошли в палату налево, я направо. У двери, замкнутой железным болтом, стоял часовой с ружьем, подле него подчасок. Младший унтер-офицер (из госпитального караула) велел пропустить меня, и я очутился в длинной и узкой комнате, по обеим продольным стенам которой стояли кровати, числом около двадцати двух, между которыми три-четыре еще были не заняты. Кровати были деревянные, окрашенные зеленой краской, слишком знакомые всем и каждому у нас на Руси, — те самые кровати, которые, по какому-то предопределению, никак не могут быть без клопов. Я поместился в углу, на той стороне, где были окна.

Как уже и сказал я, тут были и наши арестанты, из острога. Некоторые из них уже знали меня или по крайней мере видели прежде. Гораздо более было из подсудимых и из исправительной роты. Труднобольных, то есть не встававших с постели, было не так много. Другие же, легкобольные или выздоравливавшие, или сидели на койках,

или ходили взад и вперед по комнате, где между двумя рядами кроватей оставалось еще пространство, достаточное для прогулки. В палате был чрезвычайно удушливый, больничный запах. Воздух был заражен разными неприятными испарениями и запахом лекарств, несмотря на то что почти весь день в углу топилась печка. На моей койке был надет полосатый чехол. Я снял его. Под чехлом оказалось суконное одеяло, подшитое холстом, и толстое белье слишком сомнительной чистоты. Возле койки стоял столик, на котором была кружка и оловянная чашка. Всё это для приличия прикрывалось выданным мне маленьким полотенцем. Внизу столика была еще полка: там сохранялись у пивших чай чайники, жбаны с квасом и проч.; но пивших чай между больными было очень немного. Трубки же и кисеты, которые были почти у каждого, не исключая даже и чахоточных, прятались под койки. Доктор и другие из начальников почти никогда их не осматривали, а если и заставали кого с трубкой, то делали вид, что не замечают. Впрочем, и больные были почти всегда осторожны и ходили курить к печке. Разве уж ночью курили прямо с кроватей; но ночью никто не обходил палат, кроме разве иногда офицера, начальника госпитального караула.

До тех пор я никогда не лежал ни в какой больнице; всё окружающее потому было для меня чрезвычайно ново. Я заметил, что возбуждаю некоторое любопытство. Обо мне уже слышали и оглядывали меня очень бесцеремонно, даже с оттенком некоторого превосходства, как оглядывают в школах новичка или в присутственных местах просителя. Справа подле меня лежал один подсудимый, писарь, незаконный сын одного отставного капитана. Он судился по фальшивым деньгам и лежал уже с год, кажется ничем не больной, но уверявший докторов, что у него аневризм. Он достиг цели: каторга и телесное наказанье миновали его, и он, еще год спустя, был отослан в Т-к[*] для содержания где-то при больнице. Это был плотный, коренастый парень лет двадцати восьми, большой плут и законник, очень неглупый, чрезвычайно развязный и самонадеянный малый, до болезни самолюбивый, пресерьезно уверивший самого себя, что он честнейший и правдивейший человек в свете и даже вовсе ни в чем не виноватый, и так и оставшийся навсегда с этой уверенностью Он первый заговорил со мною, с любопытством стал меня расспрашивать и довольно подробно рассказал мне о внешних порядках госпиталя. Разумеется, прежде всего он заявил мне, что он капитанский сын. Ему чрезвычайно хотелось

казаться дворянином или по крайней мере «из благородных». Вслед за ним подошел ко мне один больной из исправительной роты и начал уверять, что он знал многих из прежде сосланных дворян, называя их по имени и отчеству. Это был уже седой солдат; на лице его было написано, что он всё это врет. Звали его Чекунов. Он, очевидно, ко мне подлизывался, вероятно подозревая у меня деньги. Заметив у меня сверток с чаем и сахаром, он тотчас же предложил свои услуги: достать чайник и заварить мне чаю. Чайник мне обещал прислать назавтра М-цкий из острога с кем-нибудь из арестантов, ходивших в госпиталь на работу. Но Чекунов обделал всё дело. Он достал какой-то чугунок, даже чашку, вскипятил воду, заварил чаю — одним словом, услуживал с необыкновенным усердием, чем возбудил тотчас же в одном из больных несколько ядовитых насмешек на свой счет. Этот больной был чахоточный, лежавший напротив меня, по фамильи Устьянцев, из подсудимых солдат, тот самый, который, испугавшись наказания, выпил крышку вина, крепко настояв в нем табаку, и тем нажил себе чахотку; о нем я уже упоминал как-то прежде. До сих пор он лежал молча и трудно дыша, пристально и серьезно ко мне приглядываясь и с негодованием следя за Чекуновым. Необыкновенная, желчная серьезность придавала какой-то особенно комический оттенок его негодованию. Наконец он не выдержал:

— Ишь, холоп! Нашел барина! — проговорил он с расстановками и задыхающимся от бессилия голосом. Он был уже в последних днях своей жизни.

Чекунов с негодованием оборотился к нему:

— Это кто холоп? — произнес он, презрительно глядя на Устьянцева.

— Ты холоп! — отвечал тот таким самоуверенным тоном, как будто имел полное право распекать Чекунова и даже был приставлен к нему для этой цели.

— Я холоп?

— Ты и есть. Слышите, добрые люди, не верит! Удивляется!

— Да тебе-то что! Вишь, они одни, как без рук. Без слуги непривычно, известно. Почему не услужить, мохнорылый ты шут!

— Это кто мохнорылый?

— Ты мохнорылый.

— Я мохнорылый?

— Ты и есть!

— А ты красавец? У самого лицо, как воронье яйцо… коли я мохнорылый.

— Мохнорылый и есть! Ведь уж бог убил, лежал бы себе да помирал! Нет, туда же, сбирает! Ну, чего сбираешь!

— Чего! Нет, уж я лучше сапогу поклонюсь, а не лаптю. Отец мой не кланялся и мне не велел. Я… я…

Он было хотел продолжать, но страшно закашлялся на несколько минут, выплевывая кровью. Скоро холодный, изнурительный пот выступил на узеньком лбу его. Кашель мешал ему, а то бы он всё говорил; по глазам его видно было, как хотелось ему еще поругаться; но в бессилии он только отмахивался рукою… Так что Чекунов под конец уж и позабыл его.

Я почувствовал, что злость чахоточного направлена скорее на меня, чем на Чекунова. За желание Чекунова подслужиться и тем достать копейку никто бы не стал на него сердиться или смотреть на него с особым презрением. Всяк понимал, что он это делает просто из-за денег. На этот счет простой народ вовсе не так щепетилен и чутко умеет различать дело. Устьянцеву не понравился собственно я, не понравился ему мой чай и то, что я и в кандалах, как барин, как будто не могу обойтись без прислуги, хотя я вовсе не звал и не желал никакой прислуги. Действительно, мне всегда хотелось всё делать самому, и даже я особенно желал, чтоб и виду не подавать о себе, что я белоручка, неженка, барствую. В этом отчасти состояло даже мое самолюбие, если уж к слову сказать пришлось. Но вот, — и решительно не понимаю, как это всегда так случалось, — но я никогда не мог отказаться от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой; а по наружности и выходило как-то само собой, что я действительно барин, не могу обойтись без прислуги и барствую. Это, конечно, было мне очень досадно. Но Устьянцев был чахоточный, раздражительный человек. Прочие же из больных соблюдали вид равнодушия, даже с некоторым оттенком высокомерия. Помню, все были заняты одним особенным обстоятельством: из арестантских разговоров я узнал, что в тот же вечер приведут к нам одного подсудимого, которого в эту минуту наказывают шпицрутенами. Арестанты ждали новичка с некоторым любопытством. Говорили,

впрочем, что наказанье будет легкое — всего только пятьсот.

Понемногу я огляделся кругом. Сколько я мог заметить, действительно больные лежали здесь всё более цинготною и глазною болезнями — местными болезнями тамошнего края. Таких было в палате несколько человек. Из других, действительно больных, лежали лихорадками, разными болячками, грудью. Здесь не так, как в других палатах, здесь были собраны в кучу все болезни, даже венерические. Я сказал — *действительно* больных, потому что было несколько и пришедших *так*, безо всякой болезни, «отдохнуть». Доктора допускали таких охотно, из сострадания, особенно когда было много пустых кроватей. Содержание на абвахтах и в острогах казалось сравнительно с госпитальным до того плохо, что многие арестанты с удовольствием приходили лежать, несмотря на спертый воздух и запертую палату. Были даже особенные любители лежанья и вообще госпитального житья-бытья; всех более, впрочем, из исправительной роты. Я с любопытством осматривал моих новых товарищей, но, помню, особенное любопытство тогда же возбудил во мне один, уже умиравший, из нашего острога, тоже чахоточный и тоже в последних днях, лежавший через кровать от Устьянцева и, таким образом, тоже почти против меня. Звали его Михайлов; еще две недели тому назад я видел его в остроге. Он давно уже был болен, и давно бы пора ему было идти лечиться; но он с каким-то упорным и совершенно ненужным терпеньем преодолевал себя, крепился и только на праздниках ушел в госпиталь, чтоб умереть в три недели от ужасной чахотки; точно сгорел человек. Меня поразило теперь его страшно изменившееся лицо, — лицо, которое я из первых заметил по вступлении моем в острог; оно мне тогда как-то в глаза кинулось. Подле него лежал один исправительный солдат, уже старый человек, страшный и отвратительный неряха… Но, впрочем, не пересчитывать же всех больных… Я вспомнил теперь и об этом старикашке единственно потому, что он произвел на меня тогда тоже некоторое впечатление и в одну минуту успел дать мне довольно полное понятие о некоторых особенностях арестантской палаты. У этого старичонки, помню, был тогда сильнейший насморк. Он всё чихал и всю неделю потом чихал даже и во сне, как-то залпами, по пяти и по шести чихов за раз, аккуратно каждый раз приговаривая: «Господи, далось же такое наказанье!» В ту минуту он сидел на постели и с жадностью набивал

себе нос табаком из бумажного сверточка, чтоб сильнее и аккуратнее прочихаться. Чихал он в бумажный платок, собственный, клетчатый, раз сто мытый и до крайности полинялый, причем как-то особенно морщился его маленький нос, слагаясь в мелкие бесчисленные морщинки, и выставлялись осколки старых, почернелых зубов вместе с красными слюнявыми деснами. Прочихавшись, он тотчас же развертывал платок, внимательно рассматривал обильно накопившуюся в нем мокроту и немедленно смазывал ее на свой бурый казенный халат, так что вся мокрота оставалась на халате, а платок только что разве оставался сыренек. Так он делал всю неделю. Это копотливое, скряжническое сбережение собственного платка в ущерб казенному халату вовсе не возбуждало со стороны больных никакого протеста, хотя кому-нибудь из них же после него пришлось бы надеть этот же самый халат. Но наш простой народ небрезглив и негадлив даже до странности. Меня же так и покоробило в ту минуту, и я тотчас же с омерзением и любопытством невольно начал осматривать только что надетый мною халат. Тут я заметил, что он уже давно возбуждал мое внимание своим сильным запахом; он успел уже на мне нагреться и пахнул всё сильнее и сильнее лекарствами, пластырями и, как мне казалось, каким-то гноем, что было немудрено, так как он с незапамятных лет не сходил с плеч больных. Может быть, холщовую подкладку его на спине и промывали когда-нибудь; но наверно не знаю. Зато в настоящее время эта подкладка была пропитана всеми возможными неприятными соками, примочками, пролившеюся водою из прорезанных мушек и проч. К тому же в арестантские палаты очень часто являлись только что наказанные шпицрутенами, с израненными спинами; их лечили примочками, и потому халат, надевавшийся прямо на мокрую рубашку, никаким образом не мог не портиться: так все на нем и оставалось. И всё время мое в остроге, всё эти несколько лет, как только мне случалось бывать в госпитале (а бывал я частенько), я каждый раз с боязливою недоверчивостью надевал халат. Особенно же не нравились мне иногда встречавшиеся в этих халатах вши, крупные и замечательно жирные. Арестанты с наслаждением казнили их, так что когда под толстым, неуклюжим арестантским ногтем щелкнет, бывало, казненный зверь, то даже по лицу охотника можно было судить о степени полученного им удовлетворения. Очень тоже не любили у нас клопов и тоже, бывало, подымались иногда всей палатой истреблять их

в иной длинный, скучный зимний вечер. И хотя в палате, кроме тяжелого запаху, снаружи всё было по возможности чисто, но внутренней, так сказать подкладочной, чистотой у нас далеко не щеголяли. Больные привыкли к этому и даже считали, что так и надо, да и самые порядки к особенной чистоте не располагали. Но о порядках я скажу после…

Только что Чекунов подал мне чай (мимоходом сказать, на палатной воде, которая приносилась разом на целые сутки и как-то слишком скоро портилась в нашем воздухе), отворилась с некоторым шумом дверь, и за усиленным конвоем введен был только что наказанный шпицрутенами солдатик. Это было в первый раз, как я видел наказанного. Впоследствии их приводили часто, иных даже приносили (слишком уж тяжело наказанных), и каждый раз это доставляло большое развлечение больным. Встречали у нас такового обыкновенно с усиленно-строгим выражением лиц и с какою-то даже несколько натянутою серьезностью. Впрочем, прием отчасти зависел и от степени важности преступления, а следственно, и от количества наказания. Очень больно битый и, по репутации, большой преступник пользовался и большим уважением и большим вниманием, чем какой-нибудь бежавший рекрутик, вот как тот, например, которого привели теперь. Но и в том и в другом случае ни особенных сожалений, ни каких-нибудь особенно раздражительных замечаний не делалось. Молча помогали несчастному и ухаживали за ним, особенно если он не мог обойтись без помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдают битого в опытные и искусные руки. Помощь обыкновенно была в частой и необходимой перемене смоченной в холодной воде простыни или рубашки, которою одевали истерзанную спину, особенно если наказанный сам уже был не в силах наблюдать за собой, да, кроме того, в ловком выдергивании заноз из болячек, которые зачастую остаются в спине от сломавшихся об нее палок. Последняя операция обыкновенно очень бывает неприятна больному. Но вообще меня всегда удивляла необыкновенная стойкость в перенесении боли наказанными. Много я их перевидал, иногда уже слишком битых, и почти ни один из них не стонал! Только лицо как будто всё изменится, побледнеет; глаза горят; взгляд рассеянный, беспокойный, губы трясутся, так что бедняга нарочно прикусывает их, бывало, чуть не до крови зубами. Вошедший солдатик был парень лет двадцати трех, крепкого, мускулистого

сложения, красивого лица, высокий, стройный, смуглотелый. Спина его была, впрочем, порядочно пообита. Сверху до самой поясницы всё его тело было обнажено; на плеча его была накинута мокрая простыня, от которой он дрожал всеми членами, как в лихорадке, и часа полтора ходил взад и вперед по палате. Я вглядывался в его лицо: казалось, он ни о чем не думал в эту минуту, смотрел странно и дико, беглым взглядом, которому, видимо, тяжело было остановиться на чем-нибудь внимательно. Мне показалось, что он пристально посмотрел на мой чай. Чай был горячий; пар валил из чашки, а бедняк иззяб и дрожал, стуча зуб об зуб. Я пригласил его выпить. Он молча и круто повернул ко мне, взял чашку, выпил стоя и без сахару, причем очень торопился и как-то особенно старался не глядеть на меня. Выпив всё, он молча поставил чашку и, даже не кивнув мне головою, пошел опять сновать взад вперед по палате. Но ему было не до слов и не до киваний! Что же касается до арестантов, то все они сначала почему-то избегали всякого разговору с наказанным рекрутиком; напротив, помогши ему вначале, они как будто сами старались потом не обращать на него более никакого внимания, может быть желая как можно более дать ему покоя и не докучать ему никакими дальнейшими допросами и «участиями», чем он, кажется, был совершенно доволен.

Между тем смерклось, зажгли ночник. У некоторых из арестантов оказались даже свои собственные подсвечники, впрочем очень не у многих. Наконец, уже после вечернего посещения доктора, вошел караульный унтер-офицер, сосчитал всех больных, и палату заперли, внеся в нее предварительно ночной ушат… Я с удивлением узнал, что этот ушат остается здесь всю ночь, тогда как настоящее ретирадное место было тут же в коридоре, всего только два шага от дверей. Но уже таков был заведенный порядок. Днем арестанта еще выпускали из палаты, впрочем не более как на одну минуту; ночью же ни под каким видом. Арестантские палаты не походили на обыкновенные, и больной арестант даже и в болезни нес свое наказание. Кем первоначально заведен был этот порядок — не знаю; знаю только, что настоящего порядка в этом не было никакого и что никогда вся бесполезная сушь формалистики не высказывалась крупнее, как, например, в этом случае. Порядок этот шел, разумеется, не от докторов. Повторяю: арестанты не нахвалились своими лекарями, считали их за отцов, уважали их. Всякий видел от них себе ласку, слышал доброе слово; а арестант, отверженный

всеми, ценил это, потому что видел неподдельность и искренность этого доброго слова и этой ласки. Она могла и не быть; с лекарей бы никто не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечнее: следственно, они были добры из настоящего человеколюбия. И, уж разумеется, они понимали, что больному, кто бы он ни был, арестант ли, нет ли, нужен такой же, например, свежий воздух, как и всякому другому больному, даже самого высшего чина. Больные в других палатах, выздоравливающие, например, могли свободно ходить по коридорам, задавать себе большой моцион, дышать воздухом, не настолько отравленным, как воздух палатный, спертый и всегда необходимо наполненный удушливыми испарениями. И страшно и гадко представить себе теперь, до какой же степени должен был отравляться этот и без того уже отравленный воздух по ночам у нас, когда вносили этот ушат, при теплой температуре палаты и при известных болезнях, при которых невозможно обойтись без выхода. Если я сказал теперь, что арестант и в болезни нес свое наказание, то, разумеется, не предполагал и не предполагаю, что такой порядок устроен был именно только для одного наказания. Разумеется, это была бы бессмысленная с моей стороны клевета. Больных уже нечего наказывать. А если так, то само собою разумеется, что, вероятно, какая-нибудь строгая, суровая необходимость принуждала начальство к такой вредной по своим последствиям мере. Какая же? Но вот тем-то и досадно, что ничем другим нельзя хоть сколько-нибудь объяснить необходимость этой меры и, сверх того, многих других мер, до того непонятных, что не только объяснить, но даже предугадать объяснения их невозможно. Чем объяснить такую бесполезную жестокость? Тем, видите ли, что арестант придет в больницу, нарочно притворившись больным, обманет докторов, выйдет ночью в сортир и, пользуясь темнотою, убежит? Серьезно доказывать всю нескладность такого рассуждения почти невозможно. Куда убежит? Как убежит? В чем убежит? Днем выпускают по одному; так же могло бы быть и ночью. У двери стоит часовой с заряженным ружьем. Ретирадное место буквально в двух шагах от часового, но, несмотря на то, туда сопровождает больного подчасок и не спускает с него глаз всё время. Там только одно окно, по-зимнему с двумя рамами и с железной решеткой. Под окном же на дворе, у самых окон арестантских палат, тоже ходит всю ночь часовой. Чтоб выйти в окно, нужно выбить раму и решетку. Кто ж это

позволит? Но положим, он убьет предварительно подчаска, так что тот и не пикнет и никто того не услышит. Но, допустив даже эту нелепость, нужно ведь все-таки ломать окно и решетку. Заметьте, что тут же подле часового спят палатные сторожа, а в десяти шагах, у другой арестантской палаты, стоит другой часовой с ружьем, возле него другой подчасок и другие сторожа. И куда бежать зимой в чулках, в туфлях, в больничном халате и в колпаке? А если так, если так мало опасности (то есть по-настоящему совершенно нет никакой), — для чего такое серьезное отягощение больных, может быть в последние дни и часы их жизни, больных, которым свежий воздух еще нужней, чем здоровым? Для чего? Я никогда не мог понять этого…

Но если уж спрошено раз: «Для чего?», и так как уж пришлось к слову, то не могу не вспомнить теперь и еще об одном недоумении, столько лет торчавшем передо мной в виде самого загадочного факта, на который я тоже никаким образом не мог подыскать ответа. Не могу не сказать об этом хотя несколько слов, прежде чем приступлю к продолжению моего описания. Я говорю о кандалах, от которых не избавляет никакая болезнь решеного каторжника. Даже чахоточные умирали на моих глазах в кандалах. И между тем все к этому привыкли, все считали это чем-то совершившимся, неотразимым. Вряд ли даже и задумывался кто-нибудь об этом, когда даже и из докторов никому и в ум не пришло, во все эти несколько лет, хоть один раз походатайствовать у начальства о расковке труднобольного арестанта, особенно в чахотке. Положим, кандалы сами по себе не бог знает какая тягость. Весу они бывают от восьми до двенадцати фунтов. Носить десять фунтов здоровому человеку неотягчительно. Говорили мне, впрочем, что от кандалов после нескольких лет начинают будто бы ноги сохнуть. Не знаю, правда ли это, хотя, впрочем, тут есть некоторая вероятность. Тягость, хоть и малая, хоть и в десять фунтов, прицепленная к ноге навсегда, все-таки ненормально увеличивает вес члена и чрез долгое время может оказать некоторое вредное действие… Но положим, что для здорового всё ничего. Так ли для больного? Положим, что и обыкновенному больному ничего. Но таково ли, повторяю, для труднобольных, таково ли, повторяю, для чахоточных, у которых и без того уже сохнут руки и ноги, так что всякая соломинка становится тяжела? И, право, если б медицинское начальство выхлопотало облегчение хотя бы только одним чахоточным, то уж и это

одно было бы истинным и великим благодеянием. Положим, скажет кто-нибудь, что арестант злодей и недостоин благодеяний; но ведь неужели же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перст божий? Да и поверить нельзя, чтоб это делалось для одного наказания. Чахоточный и по суду избавляется от наказания телесного. Следственно, тут опять-таки заключается какая-нибудь таинственная, важная мера, в видах спасительной предосторожности. Но какая? — понять нельзя. Ведь нельзя же в самом деле бояться, что чахоточный убежит. Кому это придет в голову, особенно имея в виду известную степень развития болезни? Прикинуться же чахоточным, обмануть докторов, чтоб убежать, — невозможно. Не такая болезнь; ее с первого взгляда видно. Да и кстати сказать: неужели заковывают человека в ножные кандалы для того только, чтоб он не бежал или чтоб это помешало ему бежать? Совсем нет. Кандалы — одно шельмование, стыд и тягость, физическая и нравственная. Так по крайней мере предполагается. Бежать же они никогда никому помешать не могут. Самый неумелый, самый неловкий арестант сумеет их без большого труда очень скоро подпилить или сбить заклепку камнем. Ножные кандалы решительно ни от чего не предостерегают; а если так, если назначаются они решеному каторжному только для одного наказания, то опять спрашиваю: неужели ж наказывать умирающего?

И вот теперь, как я пишу это, ярко припоминается мне один умирающий, чахоточный, тот самый Михайлов, который лежал почти против меня, недалеко от Устьянцева, и который умер, помнится, на четвертый день по прибытии моем в палату. Может быть, я и заговорил теперь о чахоточных, невольно повторяя те впечатления и те мысли, которые тогда же пришли мне в голову по поводу этой смерти. Самого Михайлова, впрочем, я мало знал. Это был еще очень молодой человек, лет двадцати пяти, не более, высокий, тонкий и чрезвычайно благообразной наружности. Он жил в особом отделении и был до странности молчалив, всегда как-то тихо, как-то спокойно грустный. Точно он «засыхал» в остроге. Так по крайней мере о нем потом выражались арестанты, между которыми он оставил о себе хорошую память. Вспоминаю только, что у него были прекрасные глаза, и, право, не знаю, почему он мне так отчетливо вспоминается. Он умер часа в три пополудни, в морозный и ясный день. Помню, солнце так и пронизывало крепкими косыми лучами зеленые слегка подмерзшие

стекла в окнах нашей палаты. Целый поток их лился на несчастного. Умер он не в памяти и тяжело, долго отходил, несколько часов сряду. Еще с утра глаза его уже начинали не узнавать подходивших к нему. Его хотели как-нибудь облегчить, видели, что ему очень тяжело; дышал он трудно, глубоко, с хрипеньем; грудь его высоко подымалась, точно ему воздуху было мало. Он сбил с себя одеяло, всю одежду и, наконец, начал срывать с себя рубашку: даже и та казалась ему тяжелою. Ему помогли и сняли с него и рубашку. Страшно было смотреть на это длинное-длинное тело, с высохшими до кости ногами и руками, с опавшим животом, с поднятою грудью, с ребрами, отчетливо рисовавшимися, точно у скелета. На всем теле его остались один только деревянный крест с ладонкой и кандалы, в которые, кажется, он бы теперь мог продеть иссохшую ногу. За полчаса до смерти его все у нас как будто притихли, стали разговаривать чуть не шепотом. Кто ходил — ступал как-то неслышно. Разговаривали меж собой мало, о вещах посторонних, изредка только взглядывали на умиравшего, который хрипел всё более и более. Наконец он блуждающей и нетвердой рукой нащупал на груди свою ладонку и начал рвать ее с себя, точно и та была ему в тягость, беспокоила, давила его. Сняли и ладонку. Минут через десять он умер. Стукнули в дверь к караульному, дали знать. Вошел сторож, тупо посмотрел на мертвеца и отправился к фельдшеру. Фельдшер, молодой и добрый малый, немного излишне занятый своею наружностью, довольно, впрочем, счастливою, явился скоро; быстрыми шагами, ступая громко по притихшей палате, подошел к покойнику и с каким-то особенно развязным видом, как будто нарочно выдуманным для этого случая, взял его за пульс, пощупал, махнул рукою и вышел. Тотчас же отправились дать знать караулу: преступник был важный, особого отделения; его и за мертвого-то признать надо было с особыми церемониями. В ожидании караульных кто-то из арестантов тихим голосом подал мысль, что не худо бы закрыть покойнику глаза. Другой внимательно его выслушал, молча подошел к мертвецу и закрыл глаза. Увидев тут же лежавший на подушке крест, взял его, осмотрел и молча надел его опять Михайлову на шею; надел и перекрестился. Между тем мертвое лицо костенело; луч света играл на нем; рот был полураскрыт, два ряда белых, молодых зубов сверкали из-под тонких, прилипших к деснам губ. Наконец вошел караульный унтер-офицер при тесаке и в каске, за ним два сторожа. Он подходил, всё более и более замедляя

шаги, с недоумением посматривая на затихших и со всех сторон сурово глядевших на него арестантов. Подойдя на шаг к мертвецу, он остановился как вкопанный, точно оробел. Совершенно обнаженный, иссохший труп, в одних кандалах, поразил его, и он вдруг отстегнул чешую, снял каску, чего вовсе не требовалось, и широко перекрестился. Это было суровое, седое, служилое лицо. Помню, в это же самое мгновенье тут же стоял Чекунов, тоже седой старик. Всё время он молча и пристально смотрел в лицо унтер-офицера, прямо в упор, и с каким-то странным вниманием вглядывался в каждый жест его. Но глаза их встретились, и у Чекунова вдруг отчего-то дрогнула нижняя губа. Он как-то странно скривил ее, оскалил зубы и быстро, точно нечаянно кивнув унтер-офицеру на мертвеца, проговорил:

— Тоже ведь мать была! — и отошел прочь.

Помню, эти слова меня точно пронзили… И для чего он их проговорил, и как пришли они ему в голову? Но вот труп стали поднимать, подняли вместе с койкой; солома захрустела, кандалы звонко, среди всеобщей тишины, брякнули об пол… Их подобрали. Тело понесли. Вдруг все громко заговорили. Слышно было, как унтер-офицер, уже в коридоре, посылал кого-то за кузнецом. Следовало расковать мертвеца…

Но я отступил от предмета…

## II
## Продолжение

Доктора обходили палаты поутру; часу в одиннадцатом являлись они у нас все вместе, сопровождая главного доктора, а прежде них, часа за полтора, посещал палату наш ординатор. В то время у нас был ординатором один молоденький лекарь, знающий дело, ласковый, приветливый, которого очень любили арестанты и находили в нем только один недостаток: «слишком уж смирен». В самом деле, он был как-то неразговорчив, даже как будто конфузился нас, чуть не краснел, изменял порции чуть не по первой просьбе больных и даже, кажется, готов был назначать им и лекарства по их же просьбе. Впрочем, он был славный молодой человек. Надо признаться, много лекарей на Руси пользуются любовью и уважением простого народа, и это, сколько я

заметил, совершенная правда. Знаю, что мои слова покажутся парадоксом, особенно взяв в соображение всеобщее недоверие всего русского простого народа к медицине и к заморским лекарствам. В самом деле, простолюдин скорее несколько лет сряду, страдая самою тяжелою болезнию, будет лечиться у знахарки или своими домашними, простонародными лекарствами (которыми отнюдь не надо пренебрегать), чем пойдет к доктору или лежать в госпитале. Но, кроме того, что тут есть одно чрезвычайно важное обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине, именно: всеобщее недоверие всего простолюдья ко всему, что носит на себе печать административного, форменного; кроме того, народ запуган и предубежден против госпиталей разными страхами, россказнями, нередко нелепыми, но иногда имеющими свое основание. Но, главное, его пугают немецкие порядки госпиталя, чужие люди кругом во всё продолжение болезни, строгости насчет еды, рассказы о настойчивой суровости фельдшеров и лекарей, о взрезывании и потрошении трупов и проч. К тому же, рассуждает народ, господа лечить будут, потому что лекаря все-таки господа. Но при более близком знакомстве с лекарями (хотя и не без исключений, но большею частию) все эти страхи исчезают очень скоро, что, по моему мнению, прямо относится к чести докторов наших, преимущественно молодых. Большая часть их умеют заслужить уважение и даже любовь простонародья. По крайней мере я пишу о том, что сам видел и испытал неоднократно и во многих местах, и не имею оснований думать, чтоб в других местах слишком часто поступалось иначе. Конечно, в некоторых уголках лекаря берут взятки, сильно пользуются от своих больниц, почти пренебрегают больными, даже забывают совсем медицину. Это еще есть; но я говорю про большинство или, лучше сказать, про тот дух, про то направление, которое осуществляется теперь, в наши дни, в медицине. Те же, отступники дела, волки в овечьем стаде, что бы ни представляли в свое оправдание, как бы ни оправдывались, например хоть *средой*, которая заела и их в свою очередь, всегда будут неправы, особенно если при этом потеряли и человеколюбие. А человеколюбие, ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех лекарств. Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не всё же, и часто иной хитрый и понимающий дело плут преловко прикрывает и

оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто подлость, особенно если умеет красно говорить или писать. Впрочем, я опять отбился от темы; я хотел только сказать, что простой народ недоверчив и враждебен более к администрации медицинской, а не к лекарям. Узнав, каковы они на деле, он быстро теряет многие из своих предубеждений. Прочая же обстановка наших лечебниц до сих пор во многом не соответствует духу народа, до сих пор враждебна своими порядками привычкам нашего простолюдья и не в состоянии приобрести полного доверия и уважения народного. Так мне по крайней мере кажется из некоторых моих собственных впечатлений.

Наш ординатор обыкновенно останавливался перед каждым больным, серьезно и чрезвычайно внимательно осматривал его и опрашивал, назначал лекарства, порции. Иногда он и сам замечал, что больной ничем не болен; но так как арестант пришел отдохнуть от работы или полежать на тюфяке, вместо голых досок, и, наконец, все-таки в теплой комнате, а не в сырой кордегардии, где в тесноте содержатся густые кучи бледных и испитых подсудимых (подсудимые у нас почти всегда, на всей Руси, бледные и испитые — признак, что их содержание и душевное состояние почти всегда тяжелее, чем у решеных), то наш ординатор спокойно записывал им какую-нибудь febris catarhalis[11] и оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой febris catarhalis все смеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятая у нас, по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным, формула для обозначения притворной болезни; «запасные колотья», как переводили сами арестанты febris catarhalis. Иногда больной злоупотреблял мягкосердием лекаря и продолжал лежать до тех пор, пока его не выгоняли силой. Тогда нужно было посмотреть на нашего ординатора: он как будто робел, как будто стыдился прямо сказать больному, чтоб он выздоравливал и скорее бы просился на выписку, хотя и имел полное право просто-запросто безо всяких разговоров и умасливаний выписать его, написав ему в скорбном листе sanat est.[12] Он сначала намекал ему, потом как бы упрашивал: «Не пора ли, дескать? ведь уже ты почти здоров, в палате тесно» — и проч. и проч., до тех пор, пока больному самому становилось совестно и он сам наконец просился на выписку. Старший доктор хоть был и человеколюбивый и честный человек (его тоже очень любили больные), но был несравненно суровее, решительнее ординатора, даже при случае

выказывал суровую строгость, и за это его у нас как-то особенно уважали. Он являлся в сопровождении всех госпитальных лекарей, после ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово и вообще производил хорошее впечатление. Пришедших с «запасными колотьями» он никогда не отвергал и не отсылал назад; но если больной сам упорствовал, то просто-запросто выписывал его: «Ну что ж, брат, полежал довольно, отдохнул, ступай, надо честь знать». Упорствовали обыкновенно или ленивые до работ, особенно в рабочее, летнее время, или из подсудимых, ожидавших себе наказания. Помню, с одним из таких употреблена была особенная строгость, жестокость даже, чтоб склонить его к выписке. Пришел он с глазною болезнию: глаза красные, жалуется на сильную колючую боль в глазах. Его стали лечить мушками, пиявками, брызгами в глаза какой-то разъедающей жидкостью и проч., но болезнь все-таки не проходила, глаза не очищались. Мало-помалу догадались доктора, что болезнь притворная: воспаление постоянно небольшое, хуже не делается, да и не вылечивается, всё в одном положении, случай подозрительный. Арестанты все давно уже знали, что он притворяется и людей обманывает, хотя он сам и не признавался в этом. Это был молодой парень, даже красивый собой, но производивший какое-то неприятное впечатление на всех нас: скрытный, подозрительный, нахмуренный, ни с кем не говорит, глядит исподлобья, от всех таится, точно всех подозревает. Я помню — иным даже приходило в голову, чтоб он не сделал чего-нибудь. Он был солдат, сильно проворовался, был уличен, и ему выходили тысяча палок и арестантские роты. Чтоб отдалить минуту наказания, как я уже упоминал прежде, решаются иногда подсудимые на страшные выходки: пырнет ножом накануне казни кого-нибудь из начальства или своего же брата арестанта, его и судят по-новому и отдаляется наказание еще месяца на два, и цель его достигается. Ему нужды нет до того, что его будут наказывать через два же месяца вдвое, втрое суровее; только бы теперь-то отдалить грозную минуту хоть на несколько дней, а там что бы ни было — до того бывает иногда силен упадок духа в этих несчастных. У нас иные уже шептались промеж себя, чтоб остерегаться его: пожалуй, зарежет кого-нибудь ночью. Впрочем, так только говорили, а особенных предосторожностей никаких не брали

даже те, у которых койки приходились с ним рядом. Видели, впрочем, что он по ночам растирает глаза известкой со штукатурки и чем-то еще другим, чтоб к утру они опять стали красные. Наконец главный доктор погрозил ему заволокой. В упорной глазной болезни, продолжающейся долго и когда уже все медицинские средства бывают испытаны, чтоб спасти зрение, доктора решаются на сильное и мучительное средство: ставят больному заволоку, точно лошади. Но бедняк и тут не согласился выздороветь. Что за упрямый был это характер, или уж слишком трусливый; ведь заволока была хоть и не так, как палки, но тоже очень мучительна. Больному собирают сзади на шее кожу рукой, сколько можно захватить, протыкают все захваченное тело ножом, отчего происходит широкая и длинная рана по всему затылку, и продевают в эту рану холстинную тесемку, довольно широкую, почти в палец; потом каждый день, в определенный час, эту тесемку передергивают в ране, так что как будто вновь ее разрезают, чтоб рана вечно гноилась и не заживала. Бедняк переносил, впрочем с ужасными мучениями, и эту пытку упорно несколько дней и наконец только согласился выписаться. Глаза его в один день стали совершенно здоровые, и, как только зажила его шея, он отправился на абвахту, чтоб назавтра же выйти опять на тысячу палок. Конечно, тяжела минута перед наказанием, тяжела до того, что, может быть, я грешу, называя этот страх малодушием и трусостию. Стало быть, тяжело, когда подвергаются двойному, тройному наказанию, только бы не сейчас оно исполнилось. Я упоминал, впрочем, и о таких, которые сами просились скорее на выписку еще с не зажившей от первых палок спиной, чтоб выходить остальные удары и окончательно выйти из-под суда; а содержание под судом, на абвахте, конечно, для всех несравненно хуже каторги. Но, кроме разницы темпераментов, большую роль играет в решимости и бесстрашии некоторых закоренелая привычка к ударам и к наказанию. Многократно битый как-то укрепляется духом и спиной и смотрит, наконец, на наказание скептически, почти как на малое неудобство, и уже не боится его. Говоря вообще, это верно. Один наш арестантик, из особого отделения, крещеный калмык Александр или Александра, как звали его у нас, странный малый, плутоватый, бесстрашный и в то же время очень добродушный, рассказывал мне, как он выходил свои четыре тысячи, рассказывал смеясь и шутя, но тут же клялся пресерьезно, что если б с детства, с самого нежного, первого своего

детства, он не вырос под плетью, от которой буквально всю жизнь его в своей орде не сходили рубцы с его спины, то он бы ни за что не вынес этих четырех тысяч. Рассказывая, он как будто благословлял это воспитание под плетью. «Меня за всё били, Александр Петрович, — говорил он мне раз, сидя на моей койке, под вечер, перед огнями, — за всё про всё, за что ни попало, били лет пятнадцать сряду, с самого того дня, как себя помнить начал, каждый день по нескольку раз; не бил, кто не хотел; так что я под конец уж совсем привык». Как он попал в солдаты, не знаю; не помню; впрочем, может, он и рассказывал; это был всегдашний бегун и бродяга. Только помню его рассказ о том, как он ужасно струсил, когда его приговорили к четырем тысячам за убийство начальника. «Я знал, что меня будут наказывать строго и что, может, из-под палок не выпустят, и хоть я и привык к плетям, да ведь четыре тысячи палок — шутка! да еще всё начальство озлилось! Знал я, наверно знал, что не пройдет даром, не выхожу; не выпустят из-под палок. Я сначала попробовал было окреститься, думаю, авось простят, и хоть мне свои же тогда говорили, что ничего из этого не выйдет, не простят, да думаю: все-таки попробую, все-таки им жальче будет крещеного-то. Меня и в самом деле окрестили и при святом крещении нарекли Александром; ну, а палки все-таки палками остались; хоть бы одну простили; даже обидно мне стало. Я и думаю про себя: постой же, я вас всех и взаправду надую. И ведь что вы думаете, Александр Петрович, надул! Я ужасно умел хорошо мертвым представиться, то есть не то чтобы совсем мертвым, а вот-вот сейчас душа вон из тела уйдет. Повели меня; ведут одну тысячу: жжет, кричу; ведут другую, ну, думаю, конец мой идет, из ума совсем вышибли, ноги подламываются, я грох об землю: глаза у меня стали мертвые, лицо синее, дыхания нет, у рта пена. Подошел лекарь: сейчас, говорит, умрет. Понесли меня в госпиталь, а я тотчас ожил. Так меня еще два раза потом выводили, и уж злились они, очень на меня злились, а я их еще два раза надул; третью тысячу только одну прошел, обмер, а как пошел четвертую, так каждый удар, как ножом по сердцу, проходил, каждый удар за три удара шел, так больно били! Остервенились на меня. Эта-то вот скаредная последняя тысяча (чтоб ее!) всех трех первых стоила, и кабы не умер я перед самым концом (всего палок двести только оставалось), забили бы тут же насмерть, ну да и я не дал себя в обиду: опять надул и опять обмер; опять поверили, да и как не поверить, лекарь верит, так что на

двухстах-то последних, хоть изо всей злости били потом, так били, что в другой раз две тысячи легче, да нет, нос утри, не забили, а отчего не забили? А всё тоже потому, что сыздетства под плетью рос. Оттого и жив до сегодня. Ох, били-то меня, били на моем веку!» — прибавил он в конце рассказа как бы в грустном раздумье, как бы силясь припомнить и пересчитать, сколько раз его били. «Да нет, — прибавил он, перебивая минутное молчание, — и не пересчитать, сколько били; да и куды перечесть! Счету такого не хватит». Он взглянул на меня и рассмеялся, но так добродушно, что я сам не мог не улыбнуться ему в ответ. «Знаете ли, Александр Петрович, я ведь и теперь, коли сон ночью вижу, так непременно — что меня бьют; других и снов у меня не бывает». Он действительно часто кричал по ночам и кричал, бывало, во всё горло, так что его тотчас будили толчками арестанты: «Ну, что, черт, кричишь!» Был он парень здоровый, невысокого росту, вертлявый и веселый, лет сорока пяти, жил со всеми ладно, и хоть очень любил воровать и очень часто бывал у нас бит за это, но ведь кто ж у нас не проворовывался и кто ж у нас не был бит за это? Прибавлю к этому одно: удивлялся я всегда тому необыкновенному добродушию, тому беззлобию, с которым рассказывали все эти битые о том, как их били, и о тех, кто их бил. Часто ни малейшего даже оттенка злобы или ненависти не слышалось в таком рассказе, от которого у меня подчас подымалось сердце и начинало крепко и сильно стучать. А они, бывало, рассказывают и смеются, как дети. Вот М-цкий, например, рассказывал мне о своем наказании; он был не дворянин и прошел пятьсот. Я узнал об этом от других и сам спросил его: правда ли это и как это было? Он ответил как-то коротко, как будто с какою-то внутреннею болью, точно стараясь не глядеть на меня, и лицо его покраснело; через полминуты он посмотрел на меня, и в глазах его засверкал огонь ненависти, а губы затряслись от негодования. Я почувствовал, что он никогда не мог забыть этой страницы из своего прошедшего. Но наши, почти все (не ручаюсь, чтоб не было исключений), смотрели на это совсем иначе. Не может быть, думал я иногда, чтоб они считали себя совсем виновными и достойными казни, особенно когда согрешили не против своих, а против начальства. Большинство из них совсем себя не винило. Я сказал уже, что угрызений совести я не замечал, даже в тех случаях, когда преступление было против своего же общества. О преступлениях против начальства и говорить нечего. Казалось мне иногда, что в этом

последнем случае был свой особенный, так сказать, какой-то практический или, лучше, фактический взгляд на дело. Принималась во внимание судьба, неотразимость факта, и не то что обдуманно как-нибудь, а так уж, бессознательно, как вера какая-нибудь. Арестант, например, хоть и всегда наклонен чувствовать себя правым в преступлениях против начальства, так что и самый вопрос об этом для него немыслим, но все-таки он практически сознавал, что начальство смотрит на его преступление совсем иным взглядом, а стало быть, он и должен быть наказан, и квиты. Тут борьба обоюдная. Преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частию и совсем оправдает, лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. Совесть его спокойна, а совестью он и силен и не смущается нравственно, а это главное. Он как бы чувствует, что есть на что опереться, и потому не ненавидит, а принимает случившееся с ним за факт неминуемый, который не им начался, не им и кончится и долго-долго еще будет продолжаться среди раз поставленной, пассивной, но упорной борьбы. Какой солдат ненавидит лично турку, когда с ним воюет; а ведь турка же режет его, колет, стреляет в него. Впрочем, не все рассказы были уж совершенно хладнокровны и равнодушны. Про поручика Жеребятникова, например, рассказывали даже с некоторым оттенком негодования, впрочем не очень большого. С этим поручиком Жеребятниковым я познакомился еще в первое время моего лежания в больнице, разумеется из арестантских рассказов. Потом как-то я увидел его в натуре, когда он стоял у нас в карауле. Это был человек лет под тридцать, росту высокого, толстый, жирный, с румяными, заплывшими жиром щеками, с белыми зубами и с ноздревским раскатистым смехом. По лицу его было видно, что это самый незадумывающийся человек в мире. Он до страсти любил сечь и наказывать палками, когда, бывало, назначали его экзекутором. Спешу присовокупить, что на поручика Жеребятникова я уж и тогда смотрел как на урода между своими же, да так смотрели на него и сами арестанты. Были и кроме него исполнители, в старину разумеется, в ту недавнюю старину, о которой «свежо предание, а верится с трудом»[*], любившие исполнить свое дело рачительно и с усердием. Но большею частию это происходило наивно и без особого увлечения. Поручик же

был чем-то вроде утонченнейшего гастронома в исполнительном деле. Он любил, он страстно любил исполнительное искусство, и любил единственно для искусства. Он наслаждался им и, как истаскавшийся в наслаждениях, полинявший патриций времен Римской империи, изобретал себе разные утонченности, разные противуестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу. Вот выводят арестанта к наказанию; Жеребятников экзекутором; один взгляд на длинный выстроенный ряд людей с толстыми палками уже вдохновляет его. Он самодовольно обходит ряды и подтверждает усиленно, чтобы каждый исполнял свое дело рачительно, совестливо, не то… Но уж солдатики знали, что значит это *не то.* Но вот приводят самого преступника, и если он еще до сих пор был не знаком с Жеребятниковым, если не слыхал еще про него всей подноготной, то вот какую, например, штуку тот с ним выкидывал. (Разумеется, это одна из сотни штучек; поручик был неистощим в изобретениях). Всякий арестант в ту минуту, когда его обнажают, а руки привязывают к прикладам ружей, на которых таким образом тянут его потом унтер-офицеры через всю зеленую улицу, — всякий арестант, следуя общему обычаю, всегда начинает в эту минуту слезливым, жалобным голосом молить экзекутора, чтобы наказывал послабее и не усугублял наказание излишнею строгостию: «Ваше благородие, — кричит несчастный, — помилуйте, будьте отец родной, заставьте за себя век бога молить, не погубите, помилосердствуйте!» Жеребятников только, бывало, того и ждет; тотчас остановит дело и тоже с чувствительным видом начинает разговор с арестантом:

— Друг ты мой, — говорит он, — да что же мне-то делать с тобой? Не я наказую, закон!

— Ваше благородие, всё в ваших руках, помилосердствуйте!

— А ты думаешь, мне не жалко тебя? Ты думаешь, мне в удовольствие смотреть, как тебя будут бить? Ведь я тоже человек! Человек я аль нет, по-твоему?

— Вестимо, ваше благородие, знамо дело; вы отцы, мы дети. Будьте отцом родным! — кричит арестант, начиная уже надеяться.

— Да, друг ты мой, рассуди сам; ум-то ведь у тебя есть, чтоб рассудить: ведь я и сам знаю, что по человечеству должен и на тебя, грешника, смотреть снисходительно и милостиво.

— Сущую правду изволите, ваше благородие, говорить!

— Да, милостиво смотреть, как бы ты ни был грешен. Да ведь тут не я, а закон! Подумай! Ведь я богу служу и отечеству; я ведь тяжкий грех возьму на себя, если ослаблю закон, подумай об этом!

— Ваше благородие!

— Ну, да уж что! Уж так и быть, для тебя! Знаю, что грешу, но уж так и быть… Помилую я тебя на этот раз, накажу легко. Ну, а что если я тем самым тебе вред принесу? Я тебя вот теперь помилую, накажу легко, а ты понадеешься, что и другой раз так же будет, да и опять преступление сделаешь, что тогда? Ведь на моей же душе…

— Ваше благородие! Другу, недругу закажу! Вот как есть перед престолом небесного создателя…

— Ну, да уж хорошо, хорошо! А поклянешься мне, что будешь себя впредь хорошо вести?

— Да разрази меня господи, да чтоб мне на том свете…

— Не клянись, грешно. Я и слову твоему поверю, даешь слово?

— Ваше благородие!!!

— Ну, слушай же, милую я тебя только ради сиротских слез твоих; ты сирота?

— Сирота, ваше благородие, как перст один, ни отца, ни матери…

— Ну, так ради сиротских слез твоих; но смотри же, в последний раз… ведите его, — прибавляет он таким мягкосердым голосом, что арестант уже и не знает, какими молитвами бога молить за такого милостивца. Но вот грозная процессия тронулась, повели; загремел барабан, замахали первые палки… «Катай его! — кричит во всё свое горло Жеребятников. — Жги его! Лупи, лупи! Обжигай! Еще ему, еще ему! Крепче сироту, крепче мошенника! Сажай его, сажай!» И солдаты лупят со всего размаха, искры сыплются из глаз бедняка, он начинает кричать, а Жеребятников бежит за ним по фрунту и хохочет, хохочет, заливается, бока руками подпирает от смеха, распрямиться не может, так что даже жалко его под конец станет, сердешного. И рад-то он, и смешно-то ему, и только разве изредка перервется его звонкий, здоровый, раскатистый смех, и слышится опять: «Лупи его, лупи! Обжигай его, мошенника, обжигай сироту!..»

А вот еще какие он изобретал варьяции: выведут к наказанию; арестант опять начинает молить. Жеребятников на этот раз не ломается, не гримасничает, а пускается в откровенности:

— Видишь что, любезный, — говорит он, — накажу я тебя как

следует, потому ты и стоишь того. Но вот что я для тебя, пожалуй, сделаю: к прикладам я тебя не привяжу. Один пойдешь, только по-новому: беги что есть силы через весь фрунт! Тут хоть и каждая палка ударит, да ведь дело-то будет короче, как думаешь? Хочешь испробовать?

Арестант слушает с недоумением, с недоверчивостью и задумывается. «Что ж, — думает он про себя, — а может, оно и вправду вольготнее будет; пробегу что есть мочи, так мука впятеро короче будет, а может, и не всякая палка ударит».

— Хорошо, ваше благородие, согласен.

— Ну, и я согласен, катай! Смотрите ж, не зевать! — кричит он солдатам, зная, впрочем, наперед, что ни одна палка не манкирует виноватой спины; промахнувшийся солдат тоже очень хорошо знает, чему подвергается. Арестант пускается бежать что есть силы по «зеленой улице», но, разумеется, не пробегает и пятнадцати рядов; палки, как барабанная дробь, как молния, разом, вдруг, низвергаются на его спину, и бедняк с криком упадает, как подкошенный пулей. «Нет, ваше благородие, лучше уже по закону», — говорит он, медленно подымаясь с земли, бледный и испуганный, а Жеребятников, который заранее знал всю эту штуку и что из нее выйдет, хохочет, заливается. Но и не описать всех его развлечений и всего, что про него у нас рассказывали!

Несколько другим образом, в другом тоне и духе, рассказывали у нас об одном поручике Смекалове, исполнявшем должность командира при нашем остроге, прежде еще, чем назначили к этой должности нашего плац-майора. Про Жеребятникова хоть и рассказывали довольно равнодушно, без особенной злобы, но все-таки не любовались его подвигами, не хвалили его, а видимо им гнушались. Даже как-то свысока презирали его. Но про поручика Смекалова вспоминали у нас с радостию и наслаждением. Дело в том, что это вовсе не был какой-нибудь особенный охотник высечь; в нем отнюдь не было чисто жеребятнического элемента. Но все-таки он был отнюдь не прочь и высечь; в том-то и дело, что самые розги его вспоминались у нас с какою-то сладкою любовью, — так умел угодить этот человек арестантам! А и чем? Чем заслужил он такую популярность? Правда, наш народ, как, может быть, и весь народ русский, готов забыть целые муки за одно ласковое слово; говорю об этом как об факте, не разбирая

его на этот раз ни с той, ни с другой стороны. Нетрудно было угодить этому народу и приобрести у него популярность. Но поручик Смекалов приобрел *особенную* популярность — так что даже о том, как он сек, припоминалось чуть не с умилением. «Отца не надо», — говорят, бывало, арестанты и даже вздыхают, сравнивая по воспоминаниям их прежнего временного начальника, Смекалова, с теперешним плац-майором. «Душа человек!» Был он человек простой, может, даже и добрый по-своему. Но случается, бывает не только добрый, но даже и великодушный человек в начальниках; и что ж? — все не любят его, а над иным так, смотришь, и просто смеются. Дело в том, что Смекалов умел как-то так сделать, что все его у нас признавали за *своего* человека, а это большое уменье или, вернее сказать, прирожденная способность, над которой и не задумываются даже обладающие ею. Странное дело: бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Не брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу, — вот где, кажется мне, причина! Барчонка-белоручки в них не видать, духа барского не слыхать, а есть в них какой-то особенный простонародный запах, прирожденный им, и, боже мой, как чуток народ к этому запаху! Чего он не отдаст за него! Милосерднейшего человека готов променять даже на самого строгого, если этот припахивает ихним собственным посконным запахом. Что ж, если этот припахивающий человек, сверх того, и действительно добродушен, хотя бы и по-своему? Тут уж ему и цены нет! Поручик Смекалов, как уже и сказал я, иной раз и больно наказывал, но он как-то так умел сделать, что на него не только не злобствовали, но даже, напротив, теперь, в мое время, как уже всё давно прошло, вспоминали о его *штучках* при сечении со смехом и с наслаждением. Впрочем, у него было немного штук: фантазии художественной не хватало. По правде, была всего-то одна штучка, одна-единственная, с которой он чуть не целый год у нас пробавлялся; но, может быть, она именно и мила-то была тем, что была единственная. Наивности в этом было много. Приведут, например, виноватого арестанта. Смекалов сам выйдет к наказанию, выйдет с усмешкою, с шуткою, об чем-нибудь тут же расспросит виноватого, об чем-нибудь постороннем, о его личных, домашних, арестантских делах, и вовсе не с какою-нибудь целью, не с заигрыванием каким-нибудь, а так просто — *потому что ему действительно знать хочется об этих делах.* Принесут розги, а

Смекалову стул; он сядет на него, трубку даже закурит. Длинная у него такая трубка была. Арестант начинает молить… «Нет уж, брат, ложись, чего уж тут…» — скажет Смекалов; арестант вздохнет и ляжет. «Ну-тка, любезный, умеешь вот такой-то стих наизусть?»* — «Как не знать, ваше благородие, мы крещеные, сыздетства учились». — «Ну, так читай». И уж арестант знает, что читать, и знает заранее, что будет при этом чтении, потому что эта штука раз тридцать уже и прежде с другими повторялась. Да и сам Смекалов знает, что арестант это знает; знает, что даже и солдаты, которые стоят с поднятыми розгами над лежащей жертвой, об этой самой штуке тоже давно уж наслышаны, и все-таки он повторяет ее опять, — так она ему раз навсегда понравилась, может быть именно потому, что он ее сам сочинил, из литературного самолюбия. Арестант начинает читать, люди с розгами ждут, а Смекалов даже пригнется с места, руку подымет, трубку перестанет курить, ждет известного словца. После первой строчки известных стихов арестант доходит наконец до слова *«на небеси»*. Того только и надо. «Стой! — кричит воспламененный поручик и мигом с вдохновенным жестом, обращаясь к человеку, поднявшему розгу, кричит: — А ты ему поднеси!»

И заливается хохотом. Стоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый, несмотря на то что розга по команде *«поднеси»* свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритвой резнуть по его виноватому телу. И радуется Смекалов, радуется именно тому, что вот как же это он так хорошо придумал — и *сам* сочинил: «на небеси» и «поднеси» — и кстати, и в рифму выходит. И Смекалов уходит от наказания совершенно довольный собой, да и высеченный тоже уходит чуть не довольный собой и Смекаловым и, смотришь, через полчаса уж рассказывает в остроге, как и теперь, в тридцать первый раз, была повторена уже тридцать раз прежде сего повторенная штука. «Одно слово, душа человек! Забавник!»

Даже подчас какой-то маниловщиной отзывались воспоминания о добрейшем поручике.

— Бывало, идешь этта, братцы, — рассказывает какой-нибудь арестантик, и всё лицо его улыбается от воспоминания, — идешь, а он уж сидит себе под окошком в халатике, чай пьет, трубочку покуривает. Снимешь шапку. — Куда, Аксенов, идешь?

— Да на работу, Михаил Васильич, перво-наперво в мастерскую

надоть, — засмеется себе… То есть душа человек! Одно слово душа!

— И не нажить такого! — прибавляет кто-нибудь из слушателей.

## III
## Продолжение *

Я заговорил теперь о наказаниях, равно как и об разных исполнителях этих интересных обязанностей, собственно потому, что, переселясь в госпиталь, получил только тогда и первое наглядное понятие обо всех этих делах. До тех пор я знал об этом только понаслышке. В наши две палаты сводились все наказанные шпицрутенами подсудимые из всех батальонов, арестантских отделений и прочих военных команд, расположенных в нашем городе и во всем его округе. В это первое время, когда я ко всему, что совершалось кругом меня, еще так жадно приглядывался, все эти странные для меня порядки, все эти наказанные и готовившиеся к наказанию естественно производили на меня сильнейшее впечатление. Я был взволнован, смущен и испуган. Помню, что тогда же я вдруг и нетерпеливо стал вникать во все подробности этих новых явлений, слушать разговоры и рассказы на эту тему других арестантов, сам задавал им вопросы, добивался решений. Мне желалось, между прочим, знать непременно все степени приговоров и исполнений, все оттенки этих исполнений, взгляд на всё это самих арестантов; я старался вообразить себе психологическое состояние идущих на казнь. Я сказал уже, что перед наказанием редко кто бывает хладнокровен, не исключая даже и тех, которые уже предварительно были много и неоднократно биты. Тут вообще находит на осужденного какой-то острый, но чисто физический страх, невольный и неотразимый, подавляющий всё нравственное существо человека. Я и потом, во все эти несколько лет острожной жизни, невольно приглядывался к тем из подсудимых, которые, пролежав в госпитале после первой половины наказания и залечив свои спины, выписывались из госпиталя, чтобы назавтра же выходить остальную половину назначенных по конфирмации палок. Это разделение наказания на две половины случается всегда по приговору лекаря, присутствующего при наказании. Если назначенное по преступлению число ударов большое, так что арестанту всего разом не

вынести, то делят ему это число на две, даже на три части, судя по тому, что скажет доктор во время уже самого наказания, то есть может ли наказуемый продолжать идти сквозь строй дальше, или это будет сопряжено с опасностью для его жизни. Обыкновенно пятьсот, тысяча и даже полторы тысячи выходятся разом; но если приговор в две, в три тысячи, то исполнение делится на две половины и даже на три. Те, которые, залечив после первой половины свою спину, выходили из госпиталя, чтоб идти под вторую половину, в день выписки и накануне бывали обыкновенно мрачны, угрюмы, неразговорчивы. Замечалась в них некоторая отупелость ума, какая-то неестественная рассеянность. В разговоры такой человек не пускается и больше молчит; любопытнее всего, что с таким и сами арестанты никогда не говорят и не стараются заговаривать о том, что его ожидает. Ни лишнего слова, ни утешения; даже стараются и вообще-то мало внимания обращать на такого. Это, конечно, лучше для подсудимого. Бывают исключения, как вот, например, Орлов, о котором я уже рассказывал. После первой половины наказания он только на то и досадовал, что спина его долго не заживает и что нельзя ему поскорее выписаться, чтоб поскорей выходить остальные удары, отправиться с партией в назначенную ему ссылку и бежать с дороги. Но этого развлекала цель, и бог знает, что у него на уме. Это была страстная и живучая натура. Он был очень доволен, в сильно возбужденном состоянии, хотя и подавлял свои ощущения. Дело в том, что он еще перед первой половиной наказания думал, что его не выпустят из-под палок и что он должен умереть. До него доходили уже разные слухи о мерах начальства, еще когда он содержался под судом; он уже и тогда готовился к смерти. Но, выходив первую половину, он ободрился. Он явился в госпиталь избитый до полусмерти, я еще никогда не видал таких язв; но он пришел с радостью в сердце, с надеждой, что останется жив, что слухи были ложные, что его вот выпустили же теперь из-под палок, так что теперь, после долгого содержания под судом, ему уже начинали мечтаться дорога, побег, свобода, поля и леса… Через два дня после выписки из госпиталя он умер в том же госпитале, на прежней же койке, не выдержав второй половины. Но я уже упоминал об этом.

И, однако, те же арестанты, которые проводили такие тяжелые дни и ночи перед самым наказанием, переносили самую казнь мужественно, не исключая и самых малодушных. Я редко слышал стоны даже в

продолжение первой ночи по их прибытии, нередко даже от чрезвычайно тяжело избитых; вообще народ умеет переносить боль. Насчет боли я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определительно узнать, как велика эта боль, с чем ее, наконец, можно сравнить? Право, не знаю, для чего я добивался этого. Одно только помню, что не из праздного любопытства. Повторяю, я был взволнован и потрясен. Но у кого я ни спрашивал, я никак не мог добиться удовлетворительного для меня ответа. Жжет, как огнем палит, — вот всё, что я мог узнать, и это был единственный у всех ответ. Жжет, да и только. В это же первое время, сойдясь поближе с М-м, я расспрашивал и его. «Больно, — отвечал он, — очень, а ощущение — жжет, как огнем; как будто жарится спина на сильном огне». Одним словом, все показывали в одно слово. Впрочем, помню, я тогда же сделал одно странное замечание, за верность которого особенно не стою; но общность приговора самих арестантов сильно его поддерживает: это то, что розги, если даются в большом количестве, самое тяжелое наказание из всех у нас употребляемых. Казалось бы, что это с первого взгляда нелепо и невозможно. Но, однако же, с пятисот, даже с четырехсот розог можно засечь человека до смерти; а свыше пятисот почти наверно. Тысячи розог не вынесет разом даже человек самого сильнейшего сложения. Между тем пятьсот палок можно перенести безо всякой опасности для жизни. Тысячу палок может вынести, без опасения за жизнь, даже и не сильного сложения человек. Даже с двух тысяч палок нельзя забить человека средней силы и здорового сложения. Арестанты все говорили, что розги хуже палок. «Розги садче, — говорили они, — муки больше». Конечно, розги мучительнее палок. Они сильнее раздражают, сильнее действуют на нервы, возбуждают их свыше меры, потрясают свыше возможности. Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиз де Сада и Бренвилье[*]. Я думаю, что в этом ощущении есть нечто такое, отчего у этих джентльменов замирает сердце, сладко и больно вместе. Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то

делается не властен в своих ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть от привычки до степени зверя. Кровь и власть пьянят: развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен. К тому же пример, возможность такого своеволия действуют и на всё общество заразительно: такая власть соблазнительна. Общество, равнодушно смотрящее на такое явление, уже само заражено в своем основании. Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению.

Палачом гнушаются же в обществе, но палачом-джентльменом далеко нет. Только недавно высказалось противное мнение, но высказалось еще только в книгах, отвлеченно. Даже те, которые высказывают его, не все еще успели затушить в себе эту потребность самовластия. Даже всякий фабрикант, всякий антрепренер непременно должен ощущать какое-то раздражительное удовольствие в том, что его работник зависит иногда весь, со всем семейством своим, единственно от него. Это наверно так; не так скоро поколение отрывается от того, что сидит в нем наследственно; не так скоро отказывается человек от того, что вошло в кровь его, передано ему, так сказать, с матерним молоком. Не бывает таких скороспелых переворотов. Сознать вину и родовой грех еще мало, очень мало; надобно совсем от него отучиться. А это не так скоро делается.

Я заговорил о палаче. Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке. Но не равно развиваются звериные свойства человека. Если же в ком-нибудь они пересиливают в своем развитии все другие его свойства, то такой человек, конечно, становится ужасным и безобразным. Палачи бывают двух родов: одни бывают добровольные, другие — подневольные, обязанные. Добровольный палач, конечно, во всех отношениях подневольного, которым, однако, так гнушается народ, гнушается до ужаса, до гадливости, до

безотчетного, чуть не мистического страха. Откуда же этот почти суеверный страх к одному палачу и такое равнодушие, чуть не одобрение к другому? Бывают примеры до крайности странные: я знавал людей даже добрых, даже честных, даже уважаемых в обществе, и между тем они, например, не могли хладнокровно перенести, если наказуемый не кричит под розгами, не молит и не просит о пощаде. Наказуемые должны непременно кричать и молить о пощаде. Так принято; это считается и приличным и необходимым, и когда однажды жертва не хотела кричать, то исполнитель, которого я знал и который в других отношениях мог считаться человеком, пожалуй, и добрым, даже лично обиделся при этом случае. Он хотел было сначала наказать легко, но, не слыша обычных «ваше благородие, отец родной, помилуйте, заставьте за себя вечно бога молить» и проч., рассвирепел и дал розог пятьдесят лишних, желая добиться и крику и просьб, — и добился. «Нельзя-с, грубость есть», — отвечал он мне очень серьезно. Что же касается до настоящего палача, подневольного, обязанного, то известно: это арестант решеный и приговоренный в ссылку, но оставленный в палачах; поступивший сначала в науку к другому палачу и, выучившись у него, оставленный навек при остроге, где он содержится особо, в особой комнате, имеющий даже свое хозяйство, но находившийся почти всегда под конвоем. Конечно, живой человек не машина; палач бьет хоть и по обязанности, но иногда тоже входит в азарт, но хоть бьет не без удовольствия для себя, зато почти никогда не имеет личной ненависти к своей жертве. Ловкость удара, знание своей науки, желание показать себя перед своими товарищами и перед публикой подстрекают его самолюбие. Он хлопочет ради искусства. Кроме того, он знает очень хорошо, что он всеобщий отверженец, что суеверный страх везде встречает и провожает его, и нельзя ручаться, чтоб это не имело на него влияния, не усиливало в нем его ярости, его звериных наклонностей. Даже дети знают, что он «отказывается от отца и матери». Странное дело, сколько мне ни случалось видеть палачей, все они были люди развитые, с толком, с умом и с необыкновенным самолюбием, даже с гордостью. Развилась ли в них эта гордость в отпор всеобщему к ним презрению; усиливалась ли она сознанием страха, внушаемого ими их жертве, и чувством господства над нею, — не знаю. Может быть, даже самая парадность и театральность той обстановки, с которою они являются перед публикой на эшафоте, способствуют развитию в них

некоторого высокомерия. Помню, мне пришлось однажды в продолжение некоторого времени часто встречать и близко наблюдать одного палача. Это был малый среднего роста, мускулистый, сухощавый, лет сорока, с довольно приятным и умным лицом и с кудрявой головой. Он был всегда необыкновенно важен, спокоен; снаружи держал себя по-джентльменски, отвечал всегда коротко, рассудительно и даже ласково, но как-то высокомерно ласково, как будто он чем-то чванился предо мною. Караульные офицеры часто с ним при мне заговаривали и, право, даже с некоторым как будто уважением к нему. Он это сознавал и перед начальником нарочно удвоивал свою вежливость, сухость и чувство собственного достоинства. Чем ласковее разговаривал с ним начальник, тем неподатливее сам он казался, и хотя отнюдь не выступал из утонченнейшей вежливости, но, я уверен, в эту минуту он считал себя неизмеримо выше разговаривавшего с ним начальника. На лице его это было написано. Случалось, что иногда в очень жаркий летний день посылали его под конвоем с длинным тонким шестом и избивать городских собак. В этом городке было чрезвычайно много собак, совершенно никому не принадлежавших и плодившихся с необыкновенною быстротою. В каникулярное время они становились опасными, и для истребления их, по распоряжению начальства, посылался палач. Но даже и эта унизительная должность, по-видимому, нимало не унижала его. Надо было видеть, с каким достоинством он расхаживал по городским улицам в сопровождении усталого конвойного, пугая уже одним видом своим встречных баб и детей, как он спокойно и даже свысока смотрел на всех встречавшихся. Впрочем, палачам жить привольно. У них есть деньги, едят они очень хорошо, пьют вино. Деньги достаются им через взятки. Гражданский подсудимый, которому выходит по суду наказание, предварительно хоть чем-нибудь, хоть из последнего, да подарит палача. Но с иных, с богатых подсудимых, они сами берут, назначая им сумму сообразно с вероятными средствами арестанта, берут и по тридцати рублей, а иногда даже и более. С очень богатыми даже очень торгуются. Очень слабо наказать палач, конечно, не может; он отвечает за это своей же спиной. Но зато, за известную взятку, он обещается жертве, что не прибьет ее очень больно. Почти всегда соглашаются на его предложение; если ж нет, он действительно наказывает варварски, и это вполне в его власти.

Случается, что он налагает значительную сумму даже на очень бедного подсудимого; родственники ходят, торгуются, кланяются, и беда, если не удовлетворят его. В таких случаях много помогает ему суеверный страх, им внушаемый. Каких диковинок про палачей не рассказывают! Впрочем, сами арестанты уверяли меня, что палач может убить с одного удара. Но, во-первых, когда ж это было испытано? А, впрочем, может быть. Об этом говорили слишком утвердительно. Палач же сам ручался мне, что он это может сделать. Говорили тоже, что он может ударить со всего размаха по самой спине преступника, но так, что даже самого маленького рубчика не вскочит после удара и преступник не почувствует ни малейшей боли. Впрочем, обо всех этих фокусах и утонченностях известно уже слишком много рассказов. Но если даже палач и возьмет взятку, чтоб наказать легко, то все-таки первый удар дается им со всего размаха и изо всей силы. Это даже обратилось между ними в обычай. Последующие удары он смягчает, особенно если ему предварительно заплатили. Но первый удар, заплатили иль нет ему, — его. Право, не знаю, для чего это у них так делается? Для того ли, чтоб сразу приучить жертву к дальнейшим ударам, по тому расчету, что после очень трудного удара уже не так мучительны покажутся легкие, или тут просто желание пофорсить перед жертвой, задать ей страху, огорошить ее с первого раза, чтоб понимала она, с кем дело имеет, показать себя, одним словом. Во всяком случае палач перед началом наказания чувствует себя в возбужденном состоянии духа, чувствует силу свою, сознает себя властелином; он в эту минуту актер; на него дивится и ужасается публика, и, уж конечно, не без наслаждения кричит он своей жертве перед первым ударом: «Поддержись, ожгу!» — обычные и роковые слова в этом случае. Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую.

В это первое время, в госпитале, я заслушивался всех этих арестантских рассказов. Лежать было нам всем ужасно скучно. Каждый день так похож один на другой! Утром еще развлекало нас посещение докторов и потом скоро после них обед. Еда, разумеется, в таком однообразии представляла значительное развлечение. Порции были разные, распределенные по болезням лежавших. Иные получали только один суп с какой-то крупой; другие только одну кашицу; третьи одну только манную кашу, на которую было очень много охотников. Арестанты от долгого лежания изнеживались и любили лакомиться.

Выздоравливавшим и почти здоровым давали кусок вареной говядины, «быка», как у нас говорили. Всех лучше была порция цинготная — говядина с луком, с хреном и проч., а иногда и с крышкой водки. Хлеб был, тоже смотря по болезням, черный или полубелый, порядочно выпеченный. Эта официальность и тонкость в назначении порций только смешила больных. Конечно, в иной болезни человек и сам ничего не ел. Но зато те больные, которые чувствовали аппетит, ели, что хотели. Иные менялись порциями, так что порция, подходящая к одной болезни, переходила к совершенно другой. Другие, которые лежали на слабой порции, покупали говядину или цинготную порцию, пили квас, госпитальное пиво, покупая его у тех, кому оно назначалось. Иные съедали даже по две порции. Эти порции продавались или перепродавались за деньги. Говяжья порция ценилась довольно высоко: она стоила пять копеек ассигнациями. Если в нашей палате не было у кого купить, посылали сторожа в другую арестантскую палату, а нет — так и в солдатские палаты, в «вольные», как у нас говорили. Всегда находились охотники продать. Они оставались на одном хлебе, зато зашибали деньгу. Бедность была, конечно, всеобщая, но те, которые имели деньжонки, посылали даже на базар за калачами, даже за лакомствами и проч. Наши сторожа исполняли все эти поручения совершенно бескорыстно. После обеда наступало самое скучное время; кто от нечего делать спал, кто болтал, кто ссорился, кто что-нибудь вслух рассказывал. Если не приводили новых больных, было еще скучнее. Приход новичка почти всегда производил некоторое впечатление, особенно если он был никому не знакомый. Его оглядывали, старались узнать, что он и как, откуда и по каким делам. Особенно интересовались в этом случае пересыльными: те всегда что-нибудь да рассказывали, впрочем не о своих интимных делах; об этом, если сам человек не заговаривал, никогда не расспрашивали, а так: откуда шли? с кем? какова дорога? куда пойдут? и проч. Иные, тут же слыша новый рассказ, припоминали как бы мимоходом что-нибудь из своего собственного: об разных пересылках, партиях, исполнителях, о партионных начальниках. Наказанные шпицрутенами являлись тоже об эту пору, к вечеру. Они всегда производили довольно сильное впечатление, как, впрочем, и было уже упомянуто; но не каждый же день их приводили, и в тот день, когда их не было, становилось у нас как-то вяло, как будто все эти лица одно другому страшно надоели,

начинались даже ссоры. У нас радовались даже сумасшедшим, которых приводили на испытание. Уловка прикинуться сумасшедшим, чтоб избавиться от наказания, употреблялась изредка подсудимыми. Одних скоро обличали или, лучше сказать, они сами решались изменять политику своих действий, и арестант, прокуралесив два-три дня, вдруг ни с того ни с сего становился умным, утихал и мрачно начинал проситься на выписку. Ни арестанты, ни доктора не укоряли такого и не стыдили, напоминая ему его недавние фокусы; молча выписывали, молча провожали, и дня через два-три он являлся к нам наказанный. Такие случаи бывали, впрочем, вообще редки. Но настоящие сумасшедшие, приводившиеся на испытание, составляли истинную кару божию для всей палаты. Иных сумасшедших, веселых, бойких, кричащих, пляшущих и поющих, арестанты сначала встречали чуть не с восторгом. «Вот забава-то!» — говаривали они, смотря на иного только что приведенного кривляку. Но мне ужасно трудно и тяжело было видеть этих несчастных. Я никогда не мог хладнокровно смотреть на сумасшедших.

Впрочем, скоро беспрерывные кривлянья и беспокойные выходки приведенного и встреченного с хохотом сумасшедшего решительно всем у нас надоедали и дня в два выводили всех из терпения окончательно. Одного из них держали у нас недели три, и приходилось просто бежать из палаты. Как нарочно, в это время привели еще сумасшедшего. Этот произвел на меня особенное впечатление. Случилось это уже на третий год моей каторги. В первый год, или, лучше сказать, в первые же месяцы моей острожной жизни, весной, я ходил с одной партией на работу за две версты, в кирпичный завод, с печниками, подносчиком. Надо было исправить для будущих летних кирпичных работ печи. В это утро в заводе М-цкий и Б. познакомили меня с проживавшим там надсмотрщиком, унтер-офицером Острожским. Это был поляк, старик лет шестидесяти, высокий, сухощавый, чрезвычайно благообразной и даже величавой наружности. В Сибири он находился с давнишних пор на службе и хоть происходил из простонародья, пришел как солдат бывшего в тридцатом году войска, но М-цкий и Б. его любили и уважали. Он всё читал католическую Библию. Я разговаривал с ним, и он говорил так ласково, так разумно, так занимательно рассказывал, так добродушно и честно смотрел. С тех пор я не видал его года два, слышал только, что по какому-то делу он

находился под следствием, и вдруг его ввели к нам в палату как сумасшедшего. Он вошел с визгами, с хохотом и с самыми неприличными, с самыми камаринскими жестами пустился плясать по палате. Арестанты были в восторге, но мне стало так грустно… Через три дня мы все уже не знали, куда с ним деваться. Он ссорился, дрался, визжал, пел песни, даже ночью, делал поминутно такие отвратительные выходки, что всех начинало просто тошнить. Он никого не боялся. На него надевали горячешную рубашку, но от этого становилось нам же хуже, хотя без рубашки он затевал ссоры и лез драться чуть не со всеми. В эти три недели иногда вся палата подымалась в один голос и просила главного доктора перевести наше нещечко* в другую арестантскую палату. Там в свою очередь выпрашивали дня через два перевести его к нам. А так как сумасшедших случилось у нас разом двое, беспокойных и забияк, то одна палата с другою чередовались и менялись сумасшедшими. Но оказывались оба хуже. Все вздохнули свободнее, когда их от нас увели наконец куда-то…

Помню тоже еще одного странного сумасшедшего. Привели однажды летом одного подсудимого, здорового и с виду очень неуклюжего парня, лет сорока пяти, с уродливым от оспы лицом, с заплывшими красными маленькими глазами и с чрезвычайно угрюмым и мрачным видом. Поместился он рядом со мною. Оказался он очень смирным малым, ни с кем не заговаривал и сидел как будто что-то обдумывая. Стало смеркаться, и вдруг он обратился ко мне. Прямо, без дальних предисловий, но с таким видом, как будто сообщает мне чрезвычайную тайну, он стал мне рассказывать, что на днях ему выходит две тысячи, но что этого теперь не будет, потому что дочь полковника Г. об нем хлопочет. Я с недоумением посмотрел на него и отвечал, что в таком случае, мне кажется, дочь полковника ничего не в состоянии сделать. Я еще ни о чем не догадывался; его привели вовсе не как сумасшедшего, а как обыкновенного больного. Я спросил его, чем он болен? Он ответил мне, что не знает и что его зачем-то сюда прислали, но что он совершенно здоров, а полковничья дочь в него влюблена; что она раз, две недели тому назад, проезжала мимо абвахты, а он на ту пору и выгляни из-за решетчатого окошечка. Она, как увидала его, тотчас же и влюбилась. И с тех пор разными видами была уже три раза на абвахте; первый раз заходила вместе с отцом к брату, офицеру, стоявшему в то время у них в карауле; другой раз пришла с матерью

раздать подаяние и, проходя мимо, шепнула ему, что она его любит и выручит. Странно было, с какими тонкими подробностями рассказывал он мне всю эту нелепость, которая, разумеется, вся целиком родилась в расстроенной, бедной голове его. В свое избавление от наказания он верил свято. О страстной любви к нему этой барышни говорил спокойно и утвердительно, и, несмотря уже на общую нелепость рассказа, так дико было слышать такую романтическую историю о влюбленной девице от человека под пятьдесят лет, с такой унылой, огорченной и уродливой физиономией. Странно, что мог сделать страх наказанья с этой робкой душой. Может быть, он действительно кого-нибудь увидел в окошко, и сумасшествие, приготовлявшееся в нем от страха, возраставшего с каждым часом, вдруг разом нашло свой исход, свою форму. Этот несчастный солдат, которому, может быть, во всю жизнь ни разу и не подумалось о барышнях, выдумал вдруг целый роман, инстинктивно хватаясь хоть за эту соломинку. Я выслушал молча и сообщил о нем другим арестантам. Но когда другие стали любопытствовать, он целомудренно замолчал. Назавтра доктор долго опрашивал его, и так как он сказал ему, что ничем не болен, и по осмотру оказался действительно таким, то его и выписали. Но о том, что у него в листе написано было sanat, мы узнали уже, когда доктора вышли из палаты, так что сказать им, в чем дело, уже нельзя было. Да мы и сами-то еще тогда вполне не догадывались, в чем было главное дело. А между тем всё дело состояло в ошибке приславшего его к нам начальства, не объяснившего, для чего его присылали. Тут случилась какая-то небрежность. А может быть, даже и приславшие еще только догадывались и были вовсе не уверены в его сумасшествии, действовали по темным слухам и прислали его на испытанье. Как бы то ни было, несчастного вывели через два дня к наказанию. Оно, кажется, очень поразило его своею неожиданностью; он не верил, что его накажут, до последней минуты и, когда повели его по рядам, стал кричать: «Караул»! В госпитале его положили на этот раз уже не в нашу, а, за неимением в ней коек, в другую палату. Но я справлялся о нем и узнал, что он во все восемь дней ни с кем не сказал ни слова, был смущен и чрезвычайно грустен… Потом его куда-то услали, когда зажила его спина. Я по крайней мере уже больше не слыхал о нем ничего.

Что же касается вообще до лечения и лекарств, то, сколько я мог

заметить, легкобольные почти не исполняли предписаний и не принимали лекарств, но труднобольные и вообще действительно больные очень любили лечиться, принимали аккуратно свои микстуры и порошки; но более всего у нас любили наружные средства. Банки, пиявки, припарки и кровопускания, которые так любит и которым так верит наш простолюдин, принимались у нас охотно и даже с удовольствием. Меня заинтересовало одно странное обстоятельство. Эти самые люди, которые были так терпеливы в перенесении мучительнейших болей от палок и розог, нередко жаловались, кривлялись и даже стонали от каких-нибудь банок. Разнеживались ли они уж очень, или так просто франтили, — уж не знаю, как это объяснить. Правда, наши банки были особого рода. Машинку, которою просекается мгновенно кожа, фельдшер когда-то, в незапамятные времена, затерял или испортил, или, может быть, она сама испортилась, так что он уже принужден был делать необходимые надрезы тела ланцетом. Надрезов делают для каждой банки около двенадцати. Машинкой не больно. Двенадцать ножичков ударят вдруг, мгновенно, и боль не слышна. Но надрезывание ланцетом другое дело. Ланцет режет сравнительно очень медленно; боль слышна; а так как, например, при десяти банках приходится сделать сто двадцать таких надрезов, то всё вместе, конечно, было чувствительно. Я испытал это, но хотя и было больно и досадно, но все-таки не так же, чтоб не удержаться и стонать. Даже смешно было иногда смотреть на иного верзилу и здоровяка, как он корчится и начинает нюнить. Вообще это можно было сравнить с тем, когда иной человек, твердый и даже спокойный в каком-нибудь серьезном деле, хандрит и капризничает дома, когда нечего делать, не ест, что подают, бранится и ругается; всё не по нем, все ему досаждают, все ему грубят, все его мучают — одним словом, с жиру бесится, как говорят иногда о таких господах, встречающихся, впрочем, и в простонародии; а в нашем остроге, при взаимном всеобщем сожитии, даже слишком часто. Бывало, в палате свои уже начнут дразнить такого неженку, а иной просто выругает; вот он и замолчит, точно и в самом деле того и ждал, чтоб его выругали, чтоб замолчать. Особенно не любил этого Устьянцев и никогда не пропускал случая поругаться с неженкой. Он и вообще не пропускал случая с кем-нибудь сцепиться. Это было его наслаждением, потребностью, разумеется, от болезни, отчасти и от тупоумия. Смотрит, бывало, сперва серьезно и пристально

и потом каким-то спокойным, убежденным голосом начинает читать наставления. До всего ему было дело; точно он был приставлен у нас для наблюдения за порядком или за всеобщею нравственностью.

— До всего доходит, — говорят, бывало, смеясь, арестанты. Его, впрочем, щадили и избегали ругаться с ним, а так только иногда смеялись.

— Ишь, наговорил! На трех возах не вывезешь.

— Чего наговорил? Перед дураком шапки не снимают известно. Чего ж он от ланцета кричит? Любил медок, люби и холодок, терпи, значит.

— Да тебе-то что?

— Нет, братцы, — перебил один из наших арестантиков, — рожки ничего; я испробовал; а вот нет хуже боли, когда тебя за ухо долго тянут.

Все засмеялись.

— А тебя нешто тянули?

— А ты думал нет? Известно, тянули.

— То-то ухи-то у тебя торчком стоят.

У этого арестантика, Шапкина, действительно были предлинные, в обе стороны торчавшие уши. Он был из бродяг, еще молодой, малый дельный и тихий, говоривший всегда с каким-то серьезным, затаенным юмором, что придавало много комизму иным его рассказам.

— Да с чего мне думать-то, что тебя за ухо тянули? Да и как я это вздумаю, туголобый ты человек? — ввязался снова Устьянцев, с негодованием обращаясь к Шапкину, хотя, впрочем, тот вовсе не к нему относился, а ко всем вообще, но Шапкин даже и не посмотрел на него.

— А тебя кто тянул? — спросил кто-то.

— Кто? Известно кто, исправник. Это, братцы, по бродяжеству было. Пришли мы тогда в К., а было нас двое, я да другой, тоже бродяга, Ефим без прозвища. По дороге мы у одного мужика в Толминой деревне разжились маненько. Деревня такая есть, Толмина. Ну, вошли да и поглядываем: разжиться бы и здесь, да и драло. В поле четыре воли, а в городе жутко — известно. Ну, перво-наперво зашли в кабачок. Огляделись. Подходит к нам один, прогорелый такой, локти продраны, в немецком платье. То да се.

— А вы как, говорит, позвольте спросить, по документу?

— Нет, говорим, без документа.

— Так-с. И мы тоже-с. Тут у меня еще двое благоприятелей, говорит, тоже у генерала Кукушкина[13] служат*. Так вот смею спросить, мы вот подкутили маненько да и деньжонками пока не разжились. Полштофика благоволите нам.

— С нашим полным удовольствием, говорим. Ну, выпили. И указали тут они нам одно дело, по столевской, то есть по нашей, части. Дом тут стоял, с краю города, и богатый тут жил один мещанин, добра пропасть, ночью и положили проведать. Да только мы у богатого-то мещанина тут все впятером, в ту же ночь, и попались. Взяли нас в часть, а потом к самому исправнику. Я, говорит, их сам допрошу. Выходит с трубкой, чашку чаю за ним несут, здоровенный такой, с бакенбардами. Сел. А тут уж, кроме нас, еще троих привели, тоже бродяги. И смешной же это человек, братцы, бродяга; ну, ничего не помнит, хоть ты кол ему на голове теши, всё забыл, ничего не знает. Исправник прямо ко мне: «Ты кто таков?» Так и зарычал, как из бочки. Ну, известно, то же, что и все, сказываю: ничего, дескать, не помню, ваше высокоблагородие, всё позабыл.

— Постой, говорит, я еще с тобой поговорю, рожа-то мне знакомая, — сам бельмы на меня так и пялит. А я его допрежь сего никогда и не видывал. К другому: — Ты кто?

— Махни-драло, ваше высокоблагородие.

— Это так тебя и зовут Махни-драло?

— Так и зовут, ваше высокоблагородие.

— Ну, хорошо, ты Махни-драло, а ты? — к третьему, значит.

— А я за ним, ваше высокоблагородие.

— Да прозываешься-то ты как?

— Так и прозываюсь. А я за ним, ваше высокоблагородие.

— Да кто ж тебя, подлеца, так назвал?

— Добрые люди назвали, ваше высокоблагородие. На свете не без добрых людей, ваше высокоблагородие, известно.

— А кто такие эти добрые люди?

— А запамятовал маненько, ваше высокоблагородие, уж извольте простить великодушно.

— Всех позабыл?

— Всех позабыл, ваше высокоблагородие.

— Да ведь были ж у тебя тоже отец и мать?.. Их-то хоть помнишь ли?

— Надо так полагать, что были, ваше высокоблагородие, а впрочем, тоже маненько запамятовал; может, и были, ваше высокоблагородие.

— Да где ж ты жил до сих пор?

— В лесу, ваше высокоблагородие.

— Всё в лесу?

— Всё в лесу.

— Ну, а зимой?

— Зимы не видал, ваше высокоблагородие.

— Ну, а ты, тебя как зовут?

— Топором, ваше высокоблагородие.

— А тебя?

— Точи не зевай, ваше высокоблагородие.

— А тебя?

— Потачивай небось, ваше высокоблагородие.

— Все ничего не помните?

— Ничего не помним, ваше высокоблагородие.

Стоит, смеется, и они на него глядят, усмехаются. Ну, а другой раз и в зубы ткнет, как нарвешься. А народ-то всё здоровенный, жирные такие.

— Отвести их в острог, говорит, я с ними потом; ну, а ты оставайся, — это мне то есть говорит. — Пошел сюда, садись! — Смотрю: стол, бумага, перо. Думаю: «Чего ж он это ладит делать?» — Садись, говорит, на стул, бери перо, пиши! — а сам схватил меня за ухо да и тянет. Я смотрю на него, как черт на попа: «Не умею, говорю, ваше высокоблагородие». — Пиши!

— Помилосердуйте, ваше высокоблагородие. — Пиши, как умеешь, так и пиши! — а сам всё за ухо тянет, всё тянет, да как завернет! Ну, братцы, скажу, легче бы он мне триста розог всыпал, ажно искры посыпались, — пиши, да и только!

— Да что он, сдурел, что ли?

— Нет, не сдурел. А в Т-ке писарек занедолго штуку выкинул: деньги тяпнул казенные да с тем и бежал, тоже уши торчали. Ну, дали знать повсеместно. А я по приметам-то как будто и подошел, так вот он и пытал меня: умею ль я писать и как я пишу?

— Эко дело, парень! А больно?

— Говорю, больно. Раздался всеобщий смех.

— Ну, а написал?

— Да чего написал? Стал пером водить, водил-водил по бумаге-то, он и бросил. Ну, плюх с десяток накидал, разумеется, да с тем и пустил, тоже в острог, значит.

— А ты разве умеешь писать?

— Прежде умел, а вот как перьями стали писать, так уж я и разучился…

Вот в таких рассказах, или, лучше сказать, в такой болтовне, проходило иногда наше скучное время. Господи, что это была за скука! Дни длинные, душные, один на другой точь-в-точь похожие. Хоть бы книга какая-нибудь! И между тем я, особенно вначале, часто ходил в госпиталь, иногда больной, иногда просто лежать; уходил от острога. Тяжело было там, еще тяжелее, чем здесь, нравственно тяжелее. Злость, вражда, свара, зависть, беспрерывные придирки к нам, дворянам, злые, угрожающие лица! Тут же в госпитале все были более на равной ноге, жили более по-приятельски. Самое грустное время в продолжение целого дня приходилось вечером, при свечах, и в начале ночи. Укладываются спать рано. Тусклый ночник светит вдали у дверей яркой точкой, а в нашем конце полумрак. Становится I смрадно и душно. Иной не может заснуть, встанет и сидит часа полтора на постели, склонив свою голову в колпаке, как будто о чем-то думает. Смотришь на него целый час и стараешься угадать, о чем он думает, чтобы тоже как-нибудь убить время. А то начнешь мечтать, вспоминать прошедшее, рисуются широкие и яркие картины в воображении; припоминаются такие подробности, которых в другое время и не припомнил бы и не прочувствовал бы так, как теперь. А то гадаешь про будущее: как-то выйдешь из острога? Куда? Когда это будет? Воротишься ль когда-нибудь на свою родимую сторону? Думаешь, думаешь, и надежда зашевелится в душе… А то иной раз просто начнешь считать: раз, два, три и т. д., чтоб как-нибудь среди этого счета заснуть. Я иногда насчитывал до трех тысяч и не засыпал. Вот кто-нибудь заворочается. Устьянцев закашляет своим гнилым, чахоточным кашлем и потом слабо застонет и каждый раз приговаривает: «Господи, я согрешил!» И странно слышать этот больной, разбитый и ноющий голос среди всеобщей тиши. А вот где-нибудь в уголке тоже не спят и разговаривают с своих коек. Один что-нибудь начнет рассказывать про свою быль, про далекое, про минувшее, про бродяжничество, про детей,

про жену, про прежние порядки. Так и чувствуешь уже по одному шепоту, что всё, об чем он рассказывает, никогда к нему опять не воротится, а сам он, рассказчик, — ломоть отрезанный; другой слушает. Слышен только тихий, равномерный шепот, точно вода журчит где-то далеко… Помню, однажды, в одну длинную зимнюю ночь, я прослушал один рассказ. С первого взгляда он мне показался каким-то горячешным сном, как будто я лежал в лихорадке и мне всё это приснилось в жару, в бреду…

## IV
## Акулькин муж

Рассказ

Ночь была уже поздняя, час двенадцатый. Я было заснул, но вдруг проснулся. Тусклый, маленький свет отдаленного ночника едва озарял палату… Почти все уже спали. Спал даже Устьянцев, и в тишине слышно было, как тяжело ему дышится и как хрипит у него в горле с каждым дыханьем мокрота. В отдалении, в сенях, раздались вдруг тяжелые шаги приближающейся караульной смены. Брякнуло прикладом об пол ружье. Отворилась палата; ефрейтор, осторожно ступая, пересчитал больных. Через минуту заперли палату, поставили нового часового, караул удалился, и опять прежняя тишина. Тут только я заметил, что неподалеку от меня, слева, двое не спали и как будто шептались между собою. Это случалось в палатах: иногда дни и месяцы лежат один подле другого и не скажут ни. слова, и вдруг как-нибудь разговорятся в ночной вызывающий час, и один начнет перед другим выкладывать всё свое прошедшее.

Они, по-видимому, давно уже говорили. Начала я не застал, да и теперь не всё мог расслышать; но мало-помалу привык и стал всё понимать. Мне не спалось: что же делать, как не слушать?.. Один рассказывал с жаром, полулежа на постели, приподняв голову и вытянув по направлению к товарищу шею. Он видимо был разгорячен, возбужден; ему хотелось рассказывать. Слушатель его угрюмо и совершенно равнодушно сидел на своей койке, протянув по ней ноги, изредка что-нибудь мычал в ответ или в знак участия рассказчику, но как будто более для приличия, а не в самом деле, и поминутно набивал

из рожка свой нос табаком. Это был исправительный солдат Черевин, человек лет пятидесяти, угрюмый педант, холодный резонер и дурак с самолюбием. Рассказчик Шишков был еще молодой малый, лет под тридцать, наш гражданский арестант, работавший в швальне. До сих пор я мало обращал на него внимания; да и потом во всё время моей острожной жизни как-то не тянуло меня им заняться. Это был пустой и взбалмошный человек. Иногда молчит, живет угрюмо, держит себя грубо, по неделям не говорит. А иногда вдруг ввяжется в какую-нибудь историю, начнет сплетничать, горячится из пустяков, снует из казармы в казарму, передает вести, наговаривает, из себя выходит. Его побьют, он опять замолчит. Парень был трусоватый и жидкий. Все как-то с пренебрежением с ним обходились. Был он небольшого роста, худощавый; глаза какие-то беспокойные, а иногда как-то тупо задумчивые. Случалось ему что-нибудь рассказывать: начнет горячо, с жаром, даже руками размахивает — и вдруг порвет али сойдет на другое, увлечется новыми подробностями и забудет, о чем начал говорить. Он часто ругивался и непременно, бывало, когда ругается, попрекает в чем-нибудь человека, в какой-нибудь вине перед собой, с чувством говорит, чуть не плачет… На балалайке он играл недурно и любил играть, а на праздниках даже плясал, и плясал хорошо, когда, бывало, заставят… Его очень скоро можно было что-нибудь заставить сделать… Он не то чтоб уж так был послушен, а любил лезть в товарищество и угождать из товарищества.

Я долго не мог вникнуть, про что он рассказывает. Мне казалось тоже сначала, что он всё отступает от темы и увлекается посторонним. Он, может быть, и замечал, что Черевину почти дела нет до его рассказа, но, кажется, хотел нарочно убедить себя, что слушатель его — весь внимание, и, может быть, ему было бы очень больно, если б он убедился в противном.

— …Бывало, выйдет на базар-то, — продолжал он, — все кланяются, чествуют, одно слово — богатей.

— Торги, говоришь, имел?

— Ну да, торги. Оно по мещанству-то промеж нами бедно. Голь как есть. Бабы-то с реки-то, на яр, эвона куда воду носят в огороде полить; маются-маются, а к осени и на щи-то не выберут. Разор. Ну, заимку большую имел, землю работниками пахал, троих держал, опять к тому ж своя пасека, медом торговали и скотом тоже, и по нашему месту,

значит, был в великом уважении. Стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой. Этта выйдет в лисьей шубе на базар-то, так все-то чествуют. Чувствуют, значит. «Здравствуйте, батюшка, Анкудим Трофимыч!» — «Здравствуй, скажет, и ты». Никем то есть не побрезгает. «Живите больше, Анкудим Трофимыч!» — «А как твои дела?» — спросит. «Да наши дела, как сажа бела. Вы как, батюшка?» — «Живем и мы, скажет, по грехам нашим, тоже небо коптим». — «Живите больше, Анкудим Трофимыч!» Никем то есть не брезгует, а говорит — так всякое слово его словно в рубль идет. Начетчик был, грамотей, всё-то божественное читает. Посадит старуху перед собой: «Ну, слушай, жена, понимай!» — и начнет толковать. А старуха-то не то чтобы старая была, на второй уж на ней женился, для детей, значит, от первой-то не было. Ну, а от второй-то, от Марьи-то Степановны, два сына были еще невзрослые, младшего-то, Васю, шестидесяти лет прижил, а Акулька-то, дочь из всех старшая, значит, восемнадцати лет была.

— Это твоя-то, жена-то?

— Погоди, сначала тут Филька Морозов набухвостит. Ты, говорит Филька-то Анкудиму-то, делись; все четыреста целковых отдай, а я работник, что ли, тебе? не хочу с тобой торговать и Акульку твою, говорит, брать не хочу. Я теперь, говорит, закурил. У меня, говорит, теперь родители померли, так я и деньги пропью, да потом в наемщики, значит, в солдаты пойду, а через десять лет фельдмаршалом сюда к вам приеду. Анкудим-то ему деньги и отдал, совсем как есть рассчитался, — потому еще отец его с стариком-то на один капитал торговали. «Пропащий ты, говорит, человек». А он ему: «Ну, еще пропащий я или нет, а с тобой, седая борода, научишься шилом молоко хлебать. Ты, говорит, экономию с двух грошей загнать хочешь, всякую дрянь собираешь, — не годится ли в кашу. Я, дескать, на это плевать хотел. Копишь-копишь, да черта и купишь. У меня, говорит, характер. А Акульку твою все-таки не возьму: я, говорит, и без того с ней спал…»

— Да как же, говорит Анкудим-то, ты смеешь позорить честного отца, честную дочь? Когда ты с ней спал, змеиное ты сало, щучья ты кровь? — а сам и затрясся весь. Сам Филька рассказывал.

— Да не то что за меня, говорит, я так сделаю, что и ни за кого Акулька ваша теперь не пойдет, никто не возьмет, и Микита Григорьич теперь не возьмет, потому она теперь бесчестная. Мы еще с осени с ней

на житье схватились. А я теперь за сто раков[*] не соглашусь. Вот на пробу давай сейчас сто раков — не соглашусь…

И закурил же он у нас, парень! Да так, что земля стоном стоит, по городу-то гул идет. Товарищей понабрал, денег куча, месяца три кутил, всё спустил. «Я, говорит, бывало, как деньги все покончу, дом спущу, все спущу, а потом либо в наемщики, либо бродяжить пойду!» *С* утра, бывало, до вечера пьян, с бубенчиками на паре ездил. И уж так его любили девки, что ужасти. На торбе хорошо играл.[*]

— Значит, он с Акулькой еще допрежь того дело имел?

— Стой, подожди. Я тогда тоже родителя схоронил, а матушка моя пряники, значит, пекла, на Анкудима работали, тем и кормились. Житье у нас было плохое. Ну, тоже заимка за лесом была, хлебушка сеяли, да после отца-то всё порешили, потому я тоже закурил, братец ты мой. От матери деньги побоями вымогал…

— Это нехорошо, коли побоями. Грех великий.

— Бывало, пьян, братец ты мой, с утра до ночи. Дом у нас был еще так себе, ничего, хоть гнилой, да свой, да в избе-то хоть зайца гоняй. Голодом, бывало, сидим, по неделе тряпицу жуем. Мать-то меня, бывало, костит, костит; а мне чего!.. Я, брат, тогда от Фильки Морозова не отходил. С утра до ночи с ним. «Играй, говорит, мне на гитаре и танцуй, а я буду лежать и в тебя деньги кидать, потому как я самый богатый человек». И чего-чего он не делал! Краденого только не принимал: «Я, говорит, не вор, а честный человек». «А пойдемте, говорит, Акульке ворота дегтем мазать; потому не хочу, чтоб Акулька за Микиту Григорьича вышла. Это мне теперь дороже киселя, говорит». А за Микиту Григорьича старик еще допрежь сего хотел девку отдать. Микита-то старик тоже был, вдовец, в очках ходил, торговал. Он как услыхал, что про Акульку слухи пошли, да и на попятный: «Мне, говорит, Анкудим Трофимыч, это в большое бесчестье будет, да и жениться я, по старости лет, не желаю». Вот мы Акульке ворота и вымазали. Так уж драли ее, драли за это дома-то… Марья Степановна кричит: «Со света сживу!» А старик: «В древние годы, говорит, при честных патриархах, я бы её, говорит, на костре изрубил, а ныне, говорит, в свете тьма и тлен». Бывало, суседи на всю улицу слышат, как Акулька ревма-ревет: секут с утра до ночи. А Филька на весь базар кричит: «Славная, говорит, есть девка Акулька, собутыльница. Чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь! Я, говорит, им там кинулся

в нос, помнить будут». В то время и я раз повстречал Акульку, с ведрами шла, да и кричу: «Здравствуйте, Акулина Кудимовна! Салфет вашей милости, чисто ходишь, где берешь, дай подписку, с кем живешь!» — да только и сказал; а она как посмотрела на меня, такие у ней большие глаза-то были, а сама похудела, как щепка. Как посмотрела на меня, мать-то думала, что она смеется со мною, и кричит в подворотню: «Что ты зубы-то моешь, бесстыдница!» — так в тот день ее опять драть. Бывало, целый битый час дерет. «Засеку, говорит, потому она мне теперь не дочь».

— Распутная, значит, была.

— А вот ты слушай, дядюшка. Мы вот как это всё тогда с Филькой пьянствовали, мать ко мне и приходит, а я лежу: «Что ты, говорит, подлец, лежишь? Разбойник ты, говорит, этакой». Ругается, значит. «Женись, говорит, вот на Акульке женись. Они теперь и за тебя рады отдать будут, триста рублей одних денег дадут». А я ей: «Да ведь она, говорю, теперь уж на весь свет бесчестная стала». — «А ты дурак, говорит; венцом всё прикрывается; тебе ж лучше, коль она перед тобой на всю жизнь виновата выйдет. А мы бы ихними деньгами и справились; я уж с Марьей, говорит, Степановной говорила. Очень слушает». А я: «Деньги, говорю, двадцать целковых на стол, тогда женюсь». И вот, веришь иль нет, до самой свадьбы без просыпу был пьян. А тут еще Филька Морозов грозит: «Я тебе, говорит, Акулькин муж, все ребра сломаю, а с женой твоей, захочу, кажинную ночь спать буду». А я ему: «Врешь, собачье мясо!» Ну, тут он меня по всей улице осрамил. Я прибежал домой: «Не хочу, говорю, жениться, коли сейчас мне еще пятьдесят целковых не выложут!»

— А отдавали за тебя-то?

— За меня-то? А отчего нет? Мы ведь не бесчестные были. Мой родитель только под конец от пожару разорился, а то еще ихнего богаче жили. Анкудим-то и говорит: «Вы, говорит, голь перекатная». А я и отвечаю: «Немало, дескать, у вас дегтем-то ворота мазаны». А он мне: «Что ж, говорит, ты над нами куражишься? Ты докажи, что она бесчестная, а на всякий роток не накинешь платок. Вот бог, а вот, говорит, порог, не бери. Только деньги, что забрал, отдай». Вот я тогда с Филькой и порешил: с Митрием Быковым послал ему сказать, что я его на весь свет теперь обесчествую, и до самой свадьбы, братец ты мой, без просыпу был пьян. Только к венцу отрезвился. Как привезли нас этта от

венца, посадили, а Митрофан Степаныч, дядя, значит, и говорит: «Хоть и не честно, да крепко, говорит, дело сделано и покончено». Старик-то, Анкудим-то, был тоже пьян и заплакал, сидит — а у него слезы по бороде текут. Ну я, брат, тогда вот как сделал: взял я в карман с собой плеть, еще до венца припас, и так и положил, что уж натешусь же я теперь над Акулькой, знай, дескать, как бесчестным обманом замуж выходить, да чтоб и люди знали, что я не дураком женился…

— И дело! Значит, чтоб она и впредь чувствовала…

— Нет, дядюшка, ты знай помалчивай. По нашему-то месту у нас тотчас же от венца и в клеть ведут, а те покамест там пьют. Вот и оставили нас с Акулькой в клети. Она такая сидит белая, ни кровинки в лице. Испужалась, значит. Волосы у ней были тоже совсем как лен белые. Глаза были большие. И всё, бывало, молчит, не слышно ее, словно немая в доме живет. Чудная совсем. Что ж, братец, можешь ты это думать: я-то плеть приготовил и тут же у постели положил, а она, братец ты мой, как есть ни в чем не повинная передо мной вышла.

— Что ты!

— Ни в чем; как есть честная из честного дома. И за что же, братец ты мой, она после эфтова такую муку перенесла? За что ж ее Филька Морозов перед всем светом обесчестил?

— Да.

— Стал я это перед ней тогда, тут же с постели, на коленки, руки сложил: «Матушка, говорю, Акулина Кудимовна, прости ты меня, дурака, в том, что я тебя тоже за такую почитал. Прости ты меня, говорю, подлеца!» А она сидит передо мной на кровати, глядит на меня, обе руки мне на плеча положила, смеется, а у самой слезы текут; плачет и смеется… Я тогда как вышел — ко всем: «Ну, говорю, встречу теперь Фильку Морозова — и не жить ему больше на свете!» А старики, так те уж кому молиться-то не знают: мать-то чуть в ноги ей не упала, воет. А старик и сказал: «Знали б да ведали, не такого бы мужа тебе, возлюбленная дочь наша, сыскали». А как вышли мы с ней в первое воскресенье в церковь: на мне смушачья шапка, тонкого сукна кафтан, шаровары плисовые; она в новой заячьей шубке, платочек шелковый, — то есть я ее стою и она меня стоит: вот как идем! Люди на нас любуются: я-то сам по себе, а Акулинушку тоже хоть нельзя перед другими похвалить, нельзя и похулить, а так что из десятка не выкинешь…

— Ну и хорошо.

— Ну и слушай. Я после свадьбы на другой же день, хоть и пьяный, да от гостей убег; вырвался этто я и бегу: «Давай, говорю, сюда бездельника Фильку Морозова, — подавай его сюда, подлеца!» Кричу по базару-то! Ну и пьян тоже был; так меня уж подле Власовых изловили да силком три человека домой привели. А по городу-то толк идет. Девки на базаре промеж себя говорят: «Девоньки, умницы, вы что знаете? Акулька-то честная вышла». А Филька-то мне мало время спустя при людях и говорит: «Продай жену — пьян будешь. У нас, говорит, солдат Яшка затем и женился: с женой не спал, а три года пьян был». Я ему говорю: «Ты подлец!» — «А ты, говорит, дурак. Ведь тебя нетрезвого повенчали. Что ж ты в эфтом деле, после того, смыслить мог?» Я домой пришел и кричу: «Вы, говорю, меня пьяного повенчали!» Мать было тут же вцепилась. «У тебя, говорю, матушка, золотом уши завешаны. Подавай Акульку!» Ну, и стал я ее трепать. Трепал я ее, брат, трепал, часа два трепал, доколе сам с ног не свалился; три недели с постели не вставала.

— Оно, конечно, — флегматически заметил Черевин, — их не бей, так они… а разве ты ее застал с полюбовником-то?

— Нет, застать не застал, — помолчав и как бы с усилием заметил Шишков. — Да уж обидно стало мне очень, люди совсем задразнили, и всему-то этому коновод был Филька. «У тебя, говорит, жена для модели, чтобы люди глядели». Нас, гостей, созвал; такую откупорку задал: «Супруга, говорит, у него милосердивая душа, благородная, учтивая, обращательная, всем хороша, во как у него теперь! А забыл, парень, как сам ей дегтем ворота мазал?» Я-то пьян сидел, а он как схватит меня в ту пору за волосы, как схватит, пригнул книзу-то: «Пляши, говорит, Акулькин муж, я тебя так буду за волоса держать, а ты пляши, меня потешай!» — «Подлец ты!» — кричу. А он мне: «Я к тебе с канпанией приеду и Акульку, твою жену, при тебе розгами высеку, сколько мне будет угодно». Так я, верь не верь, после того целый месяц из дому боялся уйти: приедет, думаю, обесчествует. Вот за это самое и стал ее бить…

— Да чего ж бить-то? Руки свяжут, язык не завяжут. Бить тоже много не годится. Накажи, поучи, да и обласкай. На то жена.

Шишков некоторое время молчал.

— Обидно было, — начал он снова, — опять же эту привычку взял;

иной день с утра до вечера бью: встала неладно, пошла нехорошо. Не побью, так скучно. Сидит она, бывало, молчит, в окно смотрит, плачет… Всё, бывало, плачет, жаль ее этто станет, а бью. Мать меня, бывало, за нее костит-костит: «Подлец ты, говорит, варначье твое мясо!» — «Убью, кричу, и не смей мне теперь никто говорить; потому меня обманом женили». Сначала старик Анкудим-то вступался, сам приходил: «Ты, говорит, еще не бог знает, какой член; я на тебя и управу найду!» А потом отступился. А Марья-то Степановна так смирилась совсем. Однажды пришла — слезно молит: «С докукой к тебе, Иван Семеныч, статья небольшая, а просьба велика. Вели свет видеть, батюшка, — кланяется, — смирись, прости ты ее! Нашу дочку злые люди оговорили: сам знаешь, честную брал…» В ноги кланяется, плачет. А я-то куражусь: «Я вас и слышать теперь не хочу! Что хочу теперь, то над всеми вами и делаю, потому я теперь в себе не властен; а Филька Морозов, говорю, мне приятель и первый друг…»

— Значит, опять вместе закурили?

— Куды! И приступу к нему нет. Совсем как есть опился. Всё свое порешил и в наемщики у мещанина нанялся; за старшого сына пошел. А уж по нашему месту, коли наемщик, так уж до самого того дня, как свезут его, всё перед ним в доме лежать должно, а он над всем полный господин. Деньги при сдаче получает сполна, а до того в Хозяйском доме живет, по полугоду живут, и что только они тут настроят над хозяевами-то, так только святых вон понеси! Я, дескать, за твоего сына в солдаты иду, значит, ваш благодетель, так вы все мне уважать должны, не то откажусь. Так Филька-то у мещанина-то дым коромыслом пустил, с дочерью спит, хозяина за бороду кажинный день после обеда таскает — всё в свое удовольствие делает. Кажинный день ему баня, и чтоб вином пар поддавали, а в баню его чтоб бабы на своих руках носили. Домой с гулянки воротится, станет на улице: «Не хочу в ворота, разбирай заплот!»[*] — так ему в другом месте, мимо ворот, заплот разбирать должны, он и пройдет. Наконец кончил, повезли сдавать, отрезвили. Народу-то, народу-то по всей-то улице валит: Фильку Морозова сдавать везут! Он на все стороны кланяется. А Акулька на ту пору с огорода шла; как Филька-то увидал ее, у самых наших ворот: «Стой!» — кричит, выскочил из телеги да прямо ей земной поклон: «Душа ты моя, говорит, ягода, любил я тебя два года, а теперь меня с музыкой в солдаты везут. Прости, говорит, меня, честного

отца честная дочь, потому я подлец перед тобой, — во всем виноват!» И другой раз в землю ей поклонился. Акулька-то стала, словно испужалась сначала, а потом поклонилась ему в пояс да и говорит; «Прости и ты меня, добрый молодец, а я зла на тебе никакого не знаю». Я за ней в избу: «Что ты ему, собачье мясо, сказала?» А она, вот веришь мне или нет, посмотрела на меня: «Да я его, говорит, больше света теперь люблю!»

— Ишь ты!..

— Я в тот день целый день ей ни слова не говорил… Только к вечеру: «Акулька! я тебя теперь убью, говорю». Ночь-то этто не спится, вышел в сени кваску испить, а тут и заря заниматься стала. Я в избу вошел. «Акулька, говорю, собирайся на заимку ехать». А я еще и допрежь того собирался, и матушка знала, что поедем. «Вот это, говорит, дело: пора страдная, а работник, слышно, там третий день животом лежит». Я телегу запрег, молчу. Из нашего-то города как выехать, тут сейчас тебе бор пойдет на пятнадцать верст, а за бором-то наша заимка. Версты три бором проехали, я лошадь остановил: «Вставай, говорю, Акулина; твой конец пришел». Она смотрит на меня, испужалась, встала передо мной, молчит. «Надоела ты мне, говорю; молись богу!» Да как схвачу ее за волосы: косы-то были такие толстые, длинные, на руку их замотал, да сзади ее с обеих сторон коленками придавил, вынул нож, голову-то ей загнул назад да как тилисну по горлу ножом… Она как закричит, кровь-то как брызнет, я нож бросил, обхватил ее руками-то спереди, лег на землю, обнял ее и кричу над ней, ревма-реву; и она кричит, и я кричу; вся трепещет, бьется из рук-то, а кровь-то на меня, кровь-то — и на лицо-то и на руки так и хлещет, так и хлещет. Бросил я ее, страх на меня напал, и лошадь бросил, а сам бежать, бежать, домой к себе по задам забежал, да в баню: баня у нас такая старая, неслужащая стояла; под полок забился и сижу там. До ночи там просидел.

— А Акулька-то?

— А она-то, знать, после меня встала и тоже домой пошла. Так ее за сто шагов уж от того места потом нашли.

— Недорезал, значит.

— Да… — Шишков на минуту остановился.

— Этта жила такая есть, — заметил Черевин, — коли ее, эту самую жилу, с первого раза не перерезать, то всё будет биться человек, и

сколько бы крови ни вытекло, не помрет.

— Да она ж померла. Мертвую повечеру-то нашли. Дали знать, меня стали искать и разыскали уж к ночи, в бане… Вот уж четвертый год, почитай, здесь живу, — прибавил он помолчав.

— Гм… Оно, конечно, коли не бить — не будет добра, — хладнокровно и методически заметил Черевин, опять вынимая рожок. Он начал нюхать, долго и с расстановкой. — Опять-таки тоже, парень, — продолжал он, — выходишь ты сам по себе оченно глуп. Я тоже этак свою жену с полюбовником раз застал. Так я ее зазвал в сарай; повод сложил надвое. «Кому, говорю, присягаешь? Кому присягаешь?» Да уж драл ее, драл, поводом-то, драл-драл, часа полтора ее драл, так она мне: «Ноги, кричит, твои буду мыть да воду эту пить». Овдотьей звали ее.

## V
## Летняя пора

Но вот уже и начало апреля, вот уже приближается и святая неделя. Мало-помалу начинаются и летние работы. Солнце с каждым днем всё теплее и ярче; воздух пахнет весною и раздражительно действует на организм. Наступающие красные дни волнуют и закованного человека, рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный зимний или осенний день, и это заметно на всех арестантах. Они как будто и рады светлым дням, но вместе с тем в них усиливается какая-то нетерпеливость, порывчатость. Право, я заметил, что весной как будто чаще случались у нас острожные ссоры. Чаще слышался шум, крик, гам, затевались истории; а вместе с тем, случалось, подметишь вдруг где-нибудь на работе чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую даль, куда-нибудь туда, на другой берег Иртыша, где начинается необъятною скатертью, тысячи на полторы верст, вольная киргизская степь; подметишь чей-нибудь глубокий вздох, всей грудью, как будто так и тянет человека дохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им придавленную, закованную душу. «Эхма!» — говорит наконец арестант и вдруг, точно стряхнув с себя мечты и раздумье, нетерпеливо и угрюмо схватится за заступ или за кирпичи,

которые надо перетащить с одного места на другое. Через минуту он уже и забывает свое внезапное ощущение и начинает смеяться или ругаться, судя по характеру; а то вдруг с необыкновенным, вовсе не соразмерным с потребностью жаром схватится за рабочий урок, если он задан ему, и начинает работать, — работать изо всех сил, точно желая задавить в себе тяжестью работы что-то такое, что само его теснит и давит изнутри. Всё это народ сильный, большею частью в цвете лет и сил… Тяжелы кандалы в эту пору! Я не поэтизирую в эту минуту и уверен в правде моей заметки. Кроме того, что в тепле, среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжеле становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля; кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где попригляднее и повольготнее; пьют и едят где что удастся, что бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под божьим оком. Кто говорит! Иногда и тяжело, и голодно, и изнурительно «служить у генерала Кукушкина». По целым суткам иной раз не приходится видеть хлеба; от всех надо прятаться, хорониться; приходится и воровать, и грабить, а иногда и зарезать. «Поселенец что младенец: на что взглянет, то и тянет», — говорят в Сибири про поселенцев. Это присловье во всей силе и даже с некоторой прибавкой может быть приложено и к бродяге. Бродяга редко не разбойник и всегда почти вор, разумеется больше по необходимости, чем по призванию. Есть закоренелые бродяги. Бегут иные, даже кончивши свои каторжные сроки, уже с поселения. Казалось бы, и доволен он на поселении и обеспечен, а нет! всё куда-то тянет, куда-то отзывает его. Жизнь по лесам, жизнь бедная и ужасная, но вольная и полная приключений, имеет что-то соблазнительное, какую-то таинственную прелесть для тех, кто уже раз испытал ее, и смотришь — бежал человек, иной даже скромный, аккуратный, который уже обещал сделаться хорошим оседлым человеком и дельным хозяином. Иной даже женится, заводит детей, лет пять живет на одном месте и вдруг в одно прекрасное утро исчезает куда-нибудь, оставляя в недоумении жену, детей и всю

волость, к которой приписан. У нас в остроге мне указывали на одного из таких бегунов. Он никаких особенных преступлений не сделал, по крайней мере не слыхать было, чтоб говорили о нем в этом роде, а всё бегал, всю жизнь свою пробегал. Бывал он и на южной русской границе за Дунаем, и в киргизской степи, и в Восточной Сибири, и на Кавказе — везде побывал. Кто знает, может быть, при других обстоятельствах из него бы вышел какой-нибудь Робинзон Крузе[*] с его страстью путешествовать. Впрочем, всё это мне об нем говорили другие; сам же он мало в остроге разговаривал, и то разве промолвит что-нибудь самое необходимое. Это был очень маленький мужичонка, лет уже пятидесяти, чрезвычайно смирный, с чрезвычайно спокойным и даже тупым лицом, спокойным до идиотства. Летом он любил сидеть на солнышке и непременно, бывало, мурлычет про себя какую-нибудь песенку, но так тихо, что за пять шагов от него уже не слышно. Черты лица его были какие-то одеревенелые; ел он мало, всё больше хлебушка; никогда-то он не купил ни одного калача, ни шкалика вина; да вряд ли у него и были когда-нибудь деньги, вряд ли даже он умел и считать. Ко всему он относился совершенно спокойно. Острожных собачек иногда кормил из своих рук, а у нас острожных собак никто не кормил. Да русский человек вообще не любит кормить собак. Говорят, он был женат, и даже раза два; говорили, что у него есть где-то дети… За что он попал в острог, совершенно не знаю. Наши все ждали, что он и от нас улизнет; но или время его не пришло, или уж года ушли, но он жил себе да поживал, как-то созерцательно относясь ко всей этой странной среде, окружавшей его. Впрочем, положиться было нельзя; хотя, казалось бы, и зачем ему было бежать, что за выигрыш? А между тем все-таки, в целом, лесная, бродячая жизнь — рай перед острожной. Это так понятно; да и не может быть никакого сравнения. Хоть тяжелая доля, да всё своя воля. Вот почему всякий арестант на Руси, где бы он ни сидел, становится как-то беспокоен весною, с первыми приветными лучами весеннего солнца. Хоть и далеко не всякий намерен бежать: положительно можно сказать, что решается на это, по трудности и по ответственности, из сотни один; но зато остальные девяносто девять хоть помечтают о том, как бы можно было бежать и куда бы это бежать; хоть душу себе отведут на одном желании, на одном представлении возможности. Иной хоть припомнит, как он прежде когда-то бегал… Я говорю теперь о решеных. Но, разумеется, гораздо чаще и всех больше

решаются на побег из подсудимых. Решеные же на срок только разве бегают в начале своего арестантства. Отбыв же два-три года каторги, арестант уже начинает ценить эти годы и мало-помалу соглашается про себя лучше уж закончить законным образом свой рабочий термин и выйти на поселение, чем решиться на такой риск и на такую гибель в случае неудачи. А неудача так возможна. Только разве десятому удается *переменить свою участь.* Из решеных рискуют тоже чаще других бежать осужденные на слишком долгие сроки. Пятнадцать-двадцать лет кажутся бесконечностью, и решеный на такой срок постоянно готов помечтать о перемене участи, хотя бы десять лет уже отбыл в каторге. Наконец, и клеимы отчасти мешают рисковать на побег. *Переменить же участь* — технический термин. Так и на допросах, если уличат в побеге, арестант отвечает, что он хотел переменить свою участь. Это немного книжное выражение буквально приложимо к этому делу. Всякий бегун имеет в виду не то что освободиться совсем, — он знает, что это почти невозможно, — но или попасть в другое заведение, или угодить на поселение, или судиться вновь, по новому преступлению, — совершенному уже по бродяжеству, — одним словом, куда угодно, только бы не на старое, надоевшее ему место, не в прежний острог. Все эти бегуны, если не найдут себе в продолжение лета какого-нибудь случайного, необыкновенного места, где бы перезимовать, — если, например, не наткнутся на какого-нибудь укрывателя беглых, которому в этом выгода; если, наконец, не добудут себе, иногда через убийство, какого-нибудь паспорта, с которым можно везде прожить, — все они к осени, если их не изловят предварительно, большею частию сами являются густыми толпами в города и в остроги, в качестве бродяг, и садятся в тюрьмы зимовать, конечно не без надежды бежать опять летом.

Весна действовала и на меня своим влиянием. Помню, как я с жадностью смотрел иногда сквозь щели паль и подолгу стоял, бывало, прислонившись головой к нашему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь, как зеленеет трава на нашем крепостном вале, как всё гуще и гуще синеет далекое небо. Беспокойство и тоска моя росли с каждым днем, и острог становился мне всё более и более ненавистным. Ненависть, которую я, в качестве дворянина, испытывал постоянно в продолжение первых лет от арестантов, становилась для меня невыносимой, отравляла всю жизнь мою ядом. В эти первые годы я

часто уходил, безо всякой болезни, лежать в госпиталь, единственно для того, чтоб не быть в остроге, чтоб только избавиться от этой упорной, ничем не смиряемой всеобщей ненависти. «Вы — железные носы, вы нас заклевали!»* — говорили нам арестанты, и как я завидовал, бывало, простонародью, приходившему в острог! Те сразу делались со всеми товарищами. И потому весна, призрак свободы, всеобщее веселье в природе, сказывалась на мне как-то тоже грустно и раздражительно. В конце поста, кажется на шестой неделе, мне пришлось говеть. Весь острог, еще с первой недели, разделен был старшим унтер-офицером на семь смен, по числу недель поста, для говения. В каждой смене оказалось, таким образом, человек по тридцати. Неделя говенья мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ. Мы ходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день. Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны — всё это расшевеливало в душе моей далекое-далекое минувшее, напоминало впечатления еще детских лет, и, помню, мне очень приятно было, когда, бывало, утром, по подмерзшей за ночь земле, нас водили под конвоем с заряженными ружьями в божий дом. Конвой, впрочем, не входил в церковь. В церкви мы становились тесной кучей у самых дверей, на самом последнем месте, так что слышно было только разве голосистого дьякона да изредка из-за толпы приметишь черную ризу да лысину священника. Я припоминал, как, бывало, еще в детстве, стоя в церкви, смотрел я иногда на простой народ, густо теснившийся у входа и подобострастно расступавшийся перед густым эполетом, перед толстым барином или перед расфуфыренной, но чрезвычайно богомольной барыней, которые непременно проходили на первые места и готовы были поминутно ссориться из-за первого места. Там, у входа, казалось мне тогда, и молились-то не так, как у нас, молились смиренно, ревностно, земно и с каким-то полным сознанием своей приниженности.

Теперь и мне пришлось стоять на этих же местах, даже и не на этих; мы были закованные и ошельмованные; от нас все сторонились, нас все даже как будто боялись, нас каждый раз оделяли милостыней, и, помню, мне это было даже как-то приятно, какое-то утонченное, особенное ощущение сказывалось в этом странном удовольствии. «Пусть же, коли так!» — думал я. Арестанты молились очень усердно, и

каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. «Тоже ведь и я человек, — может быть, думал он или чувствовал, подавая, — перед богом-то все равны…» Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: «…но яко разбойника мя приими»[*], — почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется приняв эти слова буквально на свой счет.

Но вот пришла и святая. От начальства вышло нам по одному яйцу и по ломтю пшеничного сдобного хлеба. Из города опять завалили острог подаянием. Опять посещение с крестом священника, опять посещение начальства, опять жирные щи, опять пьянство и шатанье — всё точь-в-точь как и на рождестве, с тою разницею, что теперь можно было гулять на дворе острога и греться на солнышке. Было как-то светлее, просторнее, чем зимой, но как-то тоскливее. Длинный, бесконечный летний день становился как-то особенно невыносимым на праздниках. В будни по крайней мере сокращался день работою.

Летние работы действительно оказались гораздо труднее зимних. Работы шли всё больше по инженерным постройкам. Арестанты строили, копали землю, клали кирпичи; другие из них занимались слесарною, столярною или малярною частию при ремонтных исправлениях казенных домов. Третьи ходили в завод делать кирпичи. Эта последняя работа считалась у нас самою тяжелою. Кирпичный завод находился от крепости верстах в трех или в четырех. Каждый день в продолжение лета утром, часов в шесть, отправлялась целая партия арестантов, человек в пятьдесят, для делания кирпичей. На эту работу выбирали чернорабочих, то есть не мастеровых и не принадлежащих к какому-нибудь мастерству. Они брали с собою хлеба, потому что за дальностию места невыгодно было приходить домой обедать и, таким образом, делать верст восемь лишних, и обедали уже вечером, возвратясь в острог. Урок же задавался на весь день, и такой, что разве в целый рабочий день арестант мог с ним справиться. Во-первых, надо было накопать и вывезти глину, наносить самому воду, самому вытоптать глину в глиномятной яме и наконец-то сделать из нее что-то очень много кирпичей, кажется сотни две, чуть ли даже не две с половиной. Я всего только два раза ходил в завод. Возвращались заводские уже вечером, усталые, измученные, и постоянно целое лето попрекали других тем, что они делают самую трудную работу. Это

было, кажется, их утешением. Несмотря на то, иные ходили туда даже с некоторою охотою: во-первых, дело было за городом; место было открытое, привольное, на берегу Иртыша. Все-таки поглядеть кругом отраднее: не крепостная казенщина! Можно было и покурить свободно и даже полежать с полчаса с большим удовольствием. Я же или по-прежнему ходил в мастерскую, или на алебастр, или, наконец, употреблялся в качестве подносчика кирпичей при постройках. В последнем случае пришлось однажды перетаскивать кирпичи с берега Иртыша к строившейся казарме сажен на семьдесят расстояния, через крепостной вал, и работа эта продолжалась месяца два сряду. Мне она даже понравилась, хотя веревка, на которой приходилось носить кирпичи, постоянно натирала мне плечи. Но мне нравилось то, что от работы во мне видимо развивалась сила. Сначала я мог таскать только по восьми кирпичей, а в каждом кирпиче было по двенадцати фунтов. Но потом я дошел до двенадцати и до пятнадцати кирпичей, и это меня очень радовало. Физическая сила в каторге нужна не менее нравственной для перенесения всех материальных неудобств этой проклятой жизни.

А я еще хотел жить и после острога…

Я, впрочем, любил таскать кирпичи не за то только, что от этой работы укрепляется тело, а за то еще, что работа производилась на берегу Иртыша. Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление своею пустынностью. На берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать ее. Все прочие места наших работ были в крепости или подле нее. С самых первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. Дом нашего плац-майора казался мне каким-то проклятым, отвратительным местом, и я каждый раз с ненавистью глядел на него, когда проходил мимо. На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Всё для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега[*]. Всматриваешься долго и разглядишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет с своими двумя

баранами. Всё это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой… Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпимая, и действовала на меня раздражительно, горько. В этот первый год от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, людей способных и мыслить и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между язвительными словами я никогда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось безо всяких видов, а нередко прямо из души, может быть более меня пострадавшей и вынесшей. Но к чему распространяться об этом? Я чрезвычайно был рад, если приходилось сильно устать, воротившись домой: авось засну! Потому что спать было у нас летом мученье, чуть ли еще не хуже, чем зимой. Вечера, правда, были иногда очень хороши. Солнце, целый день не сходившее с острожного двора, наконец закатывалось. Наступала прохлада, а за ней почти холодная (говоря сравнительно) степная ночь. Арестанты, в ожидании как запрут их, толпами ходят, бывало, по двору. Главная масса толпится, правда, более на кухне. Там всегда подымается какой-нибудь насущный острожный вопрос, толкуется о том, о сем, разбирается иногда какой-нибудь слух, часто нелепый, но возбуждающий необыкновенное внимание этих отрешенных от мира людей; то, например, пришло известие, что нашего плац-майора сгоняют долой. Арестанты легковерны, как дети; сами знают, что известие — вздор, что принес его известный болтун и «нелепый» человек — арестант Квасов, которому уже давно положили не верить и который что ни слово, то врет, — а между тем все схватываются за известие, судят, рядят, сами себя тешат, а кончится тем, что сами на себя рассердятся, самим за себя стыдно станет, что поверили Квасову.

— Да кто же его сгонит! — кричит один. — Небось шея толста, сдюжит!

— Да ведь и над ним, чай, старшие есть! — возражает другой, горячий и неглупый малый, видавший виды, но спорщик, каких свет не

производил.

— Ворон ворону глаз не выклюет! — угрюмо, словно про себя замечает третий, уже седой человек, одиноко доедающий в углу свои щи.

— А старшие-то небось тебя придут спрашиваться — сменить его али нет? — прибавляет равнодушно четвертый, слегка тренькая на балалайке.

— А почему ж не меня? — с яростью возражает второй. — Значит, вся бедность просит, все тогда заявляйте, коли начнут опрашивать. А то у нас небось кричат, а к делу дойдет, так и на попятный!

— А ты думал как? — говорит балалаечник. — На то каторга.

— Анамеднись, — продолжает, не слушая и в горячке, спорщик, — муки оставалось. Поскребки собрали, самые что ни есть слезы, значит; послали продать. Нет, узнал; артельщик донес; отобрали; экономия, значит. Справедливо аль нет?

— Да ты кому хочешь жаловаться?

— Кому! Да самому левизору, что едет.

— Какому такому левизору?

— Это правда, братцы, что едет левизор, — говорит молодой разбитной парень, грамотный, из писарей и читавший «Герцогиню Лавальер» или что-то в этом роде. Он вечно веселый и потешник, но за некоторое знание дел и потертость его уважают. Не обращая внимания на возбужденное всеобщее любопытство о будущем ревизоре, он прямо идет к стряпке, то есть к повару, и спрашивает у него печенки. Наши стряпки часто чем-нибудь торговали в этом роде. Купят, например, на свои деньги большой кусок печенки, зажарят и продают по мелочи арестантам.

— На грош али на два? — спрашивает стряпка.

— Режь на два: пускай люди завидуют! — отвечает арестант. — Генерал, братцы, генерал такой из Петербурга едет, всю Сибирь осматривать будет. Это верно. У комендантских сказывали.

Известие производит необыкновенное волнение. С четверть часа идут расспросы: кто именно, какой генерал, какого чину и старше ли здешних генералов? О чинах, начальниках, кто из них старше, кто кого может согнуть и кто сам из них согнется, ужасно любят разговаривать арестанты, даже спорят и ругаются за генералов чуть не до драки. Казалось бы, что тут за выгода? Но подробным знанием генералов и

вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего, доострожного значения человека в обществе. Вообще разговор о высшем начальстве считается самым изящным и важным разговором в остроге.

— Значит, и взаправду выходит, братцы, что майора-то сменять едут, — замечает Квасов, маленький, красненький человечек, горячий и крайне бестолковый. Он-то первый и принес известие о майоре.

— Задарит! — отрывисто возражает угрюмый седой арестант, уже управившийся со щами.

— А и то задарит, — говорит другой. — Мало он денег-то награбил! До нас еще баталионным был. Анамеднись на протопоповской дочери жениться хотел.

— Да ведь не женился: дверь указали; беден, значит. Какой он жених! Встал со стула — и всё с ним. О святой всё на картах продул. Федька сказывал.

— Да; мальчик не мот, а деньгам перевод.

— Эх, брат, вот и я женат был. Плохо жениться бедному: женись, а и ночь коротка! — замечает Скуратов, подвернувшийся тут же к разговору.

— Как же! Об тебе тут и речь, — замечает развязный парень из писарей. — А ты, Квасов, скажу я тебе, большой дурак. Неужели ж ты думаешь, что такого генерала майор задарит и что такой генерал будет нарочно из Петербурга ехать, чтоб майора ревизовать? Глуп же ты, парень, вот что скажу.

— А что ж? Уж коли он генерал, так и не возьмет, что ли? — скептически заметил кто-то из толпы.

— Знамо дело, не возьмет, а возьмет, так уж толсто возьмет.

— Вестимо, толсто; по чину.

— Генерал всегда возьмет, — решительно замечает Квасов.

— Ты, что ли, давал ему? — с презрением говорит вдруг вошедший Баклушин. — Да ты и генерала-то вряд ли когда видал?

— Ан видал.

— Врешь.

— Сам соври.

— Ребята, коли он видал, пусть сейчас при всех говорит, какого он знает генерала? Ну, говори, потому я всех генералов знаю.

— Я генерала Зиберта видел, — как-то нерешительно отвечает

Квасов.

— Зиберта? Такого и генерала нет. Знать? в спину он тебе заглянул, Зиберт-то, когда, может, еще только подполковником был, а тебе со страху и показалось, что генерал.

— Нет, вы меня послушайте, — кричит Скуратов, — потому я женатый человек. Генерал такой действительно был на Москве, Зиберт, из немцев, а русский. У русского попа кажинный год исповедовался о госпожинках, и всё, братцы, он воду пил, словно утка. Кажинный день сорок стаканов москворецкой воды выпивал. Это, сказывали, он от какой-то болезни водой лечился; мне сам его камардин сказывал.

— В брюхе-то с воды-то небось караси завелись? — замечает арестант с балалайкой.

— Ну, полно вам! Тут о деле идет, а они… Какой же это левизор, братцы? — заботливо замечает один суетливый арестант, Мартынов, старик из военных, бывший гусар.

— Ведь вот врет народ! — замечает один из скептиков. — И откуда что берут и во что кладут? А и всё-то вздор.

— Нет, не вздор! — догматически замечает Куликов, до сих пор величаво молчавший. Это парень с весом, лет под пятьдесят, чрезвычайно благообразного лица и с какой-то презрительно-величавой манерой. Он сознает это и этим гордится. Он отчасти цыган, ветеринар, добывает по городу деньги за лечение лошадей, а у нас в остроге торгует вином. Малый он умный и много видывал. Слова роняет, как будто рублем дарит.

— Это взаправду, братцы, — спокойно продолжает он, — я еще на прошлой неделе слышал; едет генерал, из очень важных, будет всю Сибирь ревизовать. Дело знамое, задарят и его, да только не наш восьмиглазый: он и сунуться к нему не посмеет. Генерал генералу рознь, братцы. Всякие бывают. Только я вам говорю, наш майор при всяком случае на теперешнем месте останется. Это верно. Мы народ без языка, а из начальства свои на своего же доносить не станут. Ревизор поглядит в острог, да с тем и уедет, и донесет, что всё хорошо нашел…

— То-то, братцы, а майор-то струсил: ведь с утра пьян.

— А вечером другую фуру везет. Федька сказывал.

— Черного кобеля не отмоешь добела. Впервой, что ль, он пьян?

— Нет, это уж что же, если и генерал ничего не сделает! Нет, уж полно ихним дурачествам подражать! — волнуясь, говорят промеж себя

арестанты.

Весть о ревизоре мигом разносится по острогу. По двору бродят люди и нетерпеливо передают друг другу известие. Другие нарочно молчат, сохраняя свое хладнокровие, и тем, видимо, стараются придать себе больше важности. Третьи остаются равнодушными. На казарменных крылечках рассаживаются арестанты с балалайками. Иные продолжают болтать. Другие затягивают песни, но вообще все в этот вечер в чрезвычайно возбужденном состоянии.

Часу в десятом у нас всех сосчитывали, загоняли по казармам и запирали на ночь. Ночи были короткие: будили в пятом часу утра, засыпали же все никак не раньше одиннадцати. До тех пор всегда, бывало, идет еще суетня, разговоры, а иногда, как и зимой, бывают и майданы. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Хоть и обдает ночным холодком из окна с поднятой рамой, но арестанты мечутся на своих нарах всю ночь, словно в бреду. Блохи кишат мириадами. Они водятся у нас и зимою, и в весьма достаточном количестве, но начиная с весны разводятся в таких размерах, о которых я хоть и слыхивал прежде, но, не испытав на деле, не хотел верить. И чем дальше к лету, тем злее и злее они становятся. Правда, к блохам можно привыкнуть, я сам испытал это; но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучают, что лежишь, наконец, словно в лихорадочном жару, и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь. Наконец, когда перед самым утром угомонятся наконец и блохи, словно замрут, и когда под утренним холодком как будто действительно сладко заснешь, — раздается вдруг безжалостный треск барабана у острожных ворот и начинается зоря. С проклятием слушаешь, закутываясь в полушубок, громкие, отчетливые звуки, словно считаешь их, а между тем сквозь сон лезет в голову нестерпимая мысль, что так будет и завтра, и послезавтра, и несколько лет сряду, вплоть до самой свободы. Да когда ж это, думаешь, эта свобода и где она? А между тем надо просыпаться; начинается обыденная ходьба, толкотня… Люди одеваются, спешат на работу. Правда, можно было заснуть с час еще в полдень.

О ревизоре сказали правду. Слухи с каждым днем подтверждались всё более и более, и наконец все узнали уже наверно, что едет из Петербурга один важный генерал ревизовать всю Сибирь, что он уж приехал, что он уж в Тобольске. Каждый день новые слухи приходили в острог. Приходили вести и из города: слышно было, что все трусят,

хлопочут, хотят товар лицом показать. Толковали, что у высшего начальства готовят приемы, балы, праздники. Арестантов высылали целыми кучами ровнять улицы в крепости, срывать кочки, подкрашивать заборы и столбики, подштукатуривать, подмазывать — одним словом, хотели в один миг всё исправить, что надо было лицом показать. Наши понимали очень хорошо это дело и всё горячее и задорнее толковали между собою. Фантазия их доходила до колоссальных размеров. Собирались даже показать *претензию*, когда генерал станет спрашивать о довольстве. А между тем спорили и бранились между собою. Плац-майор был в волнении. Чаще наезжал в острог, чаще кричал, чаще кидался на людей, чаще забирал народ в кордегардию и усиленно смотрел за чистотой и благообразием. — В это время, как нарочно, случилась в остроге одна маленькая историйка, которая, впрочем, вовсе не взволновала майора, как бы можно было ожидать, а, напротив, даже доставила ему удовольствие. Один арестант в драке пырнул другого шилом в грудь, почти под самое сердце.

Арестант, совершивший преступление, назывался Ломов; получившего рану звали у нас Гаврилкой; он был из закоренелых бродяг. Не помню, было ли у него другое прозвание; звали его у нас всегда Гаврилкой.

Ломов был из зажиточных т-х крестьян, К-ского уезда. Все Ломовы жили семьею: старик отец, три сына и дядя их, Ломов. Мужики они были богатые. Говорили по всей губернии, что у них было до трехсот тысяч ассигнациями капиталу. Они пахали, выделывали кожи, торговали, но более занимались ростовщичеством, укрывательством бродяг и краденого имущества и прочими художествами. Крестьяне на пол-уезда были у них в долгах, находились у них в кабале. Мужиками они слыли умными и хитрыми, но наконец зачванились, особенно когда одно очень важное лицо в тамошнем крае стало у них останавливаться по дороге, познакомился с стариком лично и полюбил его за сметливость и оборотливость. Они вдруг вздумали, что на них уж более нет управы, и стали всё сильнее и сильнее рисковать в разных беззаконных предприятиях. Все роптали на них; все желали им провалиться сквозь землю; но они задирали нос всё выше и выше. Исправники, заседатели стали им уже нипочем. Наконец они свихнулись и погибли, но не за худое, не за тайные преступления свои, а за напраслину. У них был верстах в десяти от деревни большой хутор,

по-сибирски заимка. Там однажды проживало у них под осень человек шесть работников-киргизов, закабаленных с давнего времени. В одну ночь все эти киргизы-работники были перерезаны. Началось дело. Оно продолжалось долго. При деле раскрылось много других нехороших вещей. Ломовы были обвинены в умерщвлении своих работников. Сами они так рассказывали, и весь острог это знал: их заподозрили в том, что они слишком много задолжали работникам, а так как, несмотря на свое большое состояние, были скупы и жадны, то и перерезали киргизов, чтобы не платить им долгу. Во время следствия и суда всё состояние их пошло прахом. Старик умер. Дети были разосланы. Один из сыновей и его дядя попали в нашу каторгу на двенадцать лет. И что же? Они были совершенно невинны в смерти киргизов. Тут же в остроге объявился потом Гаврилка, известный плут и бродяга, малый веселый и бойкий, который брал всё это дело на себя. Не слыхал я, впрочем, признавался ль он в этом сам, но весь острог был убежден совершенно, что киргизы его рук не миновали. Гаврилка с Ломовым еще бродягой имел дело. Он пришел в острог на короткий срок, как беглый солдат и бродяга. Киргизов он зарезал вместе с тремя другими бродягами; они думали сильно поживиться и пограбить в заимке.

Ломовых у нас не любили, не знаю за что. Один из них, племянник, был молодец, умный малый и уживчивого характера; но дядя его, пырнувший Гаврилку шилом, был глупый и вздорный мужик. Он со многими еще допрежь того ссорился, и его порядочно бивали. Гаврилку все любили за веселый и складный характер. Хоть Ломовы и знали, что он преступник, и они за его дело пришли, но с ним не ссорились; никогда, впрочем, и не сходились; да и он не обращал на них никакого внимания. И вдруг вышла ссора у него с дядей Ломовым за одну противнейшую девку. Гаврилка стал хвалиться ее благосклонностью; мужик стал ревновать и в один прекрасный полдень пырнул его шилом. Ломовы хоть и разорились под судом, но жили в остроге богачами. У них, видимо, были деньги. Они держали самовар, пили чай. Наш майор знал об этом и ненавидел обоих Ломовых до последней крайности. Он видимо для всех придирался к ним и вообще добирался до них. Ломовы объясняли это майорским желанием взять с них взятку. Но взятки они не давали.

Конечно, если б Ломов хоть немного дальше просунул шило, он убил бы Гаврилку. Но дело кончилось решительно только одной

царапиной. Доложили майору. Я помню, как он прискакал, запыхавшись и, видимо, довольный. Он удивительно ласково, точно с родным сыном, обошелся с Гаврилкой.

— Что, дружок, можешь в госпиталь так дойти али нет? Нет, уж лучше ему лошадь запречь. Запречь сейчас лошадь! — закричал он впопыхах унтер-офицеру.

— Да я, ваше высокоблагородие, ничего не чувствую. Он только слегка поколол, ваше высокоблагородие.

— Ты не знаешь, ты не знаешь, мой милый; вот увидишь… Место опасное; всё от места зависит; под самое сердце угодил, разбойник! А тебя, тебя, — заревел он, обращаясь к Ломову, — ну, теперь я до тебя доберусь!.. В кордегардию!

И действительно добрался. Ломова судили, и хоть рана оказалась самым легким поколом, но намерение было очевидное. Преступнику набавили рабочего сроку и провели сквозь тысячу. Майор был совершенно доволен…

Наконец прибыл и ревизор.

На второй же день по прибытии в город он приехал и к нам в острог. Дело было в праздник. Еще за несколько дней у нас было всё вымыто, выглажено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на них было белое, чистое. Летом все ходили, по положению, в полотняных белых куртках и панталонах. На спине у каждого был вшит черный круг, вершка два в диаметре. Целый час учили арестантов, как отвечать, если на случай высокое лицо поздоровается. Производились репетиции. Майор суетился как угорелый. За час до появления генерала все стояли по своим местам как истуканы и держали руки по швам. Наконец в час пополудни генерал приехал. Это был важный генерал, такой важный, что, кажется, все начальственные сердца должны были дрогнуть по всей Западной Сибири с его прибытием. Он вошел сурово и величаво; за ним ввалилась большая свита сопровождавшего его местного начальства; несколько генералов, полковников. Был один штатский, высокий и красивый господин во фраке и башмаках, приехавший тоже из Петербурга и державший себя чрезвычайно непринужденно и независимо. Генерал часто обращался к нему, и весьма вежливо. Это необыкновенно заинтересовало арестантов: штатский, а такой почет, и еще от такого генерала! Впоследствии узнали его фамилию и кто он такой, но толков было множество. Наш

майор, затянутый, с оранжевым воротником, с налитыми кровью глазами, с багровым угреватым лицом, кажется, не произвел на генерала особенно приятного впечатления. Из особенного уважения к высокому посетителю он был без очков. Он стоял поодаль, вытянутый в струнку, и всем существом своим лихорадочно выжидал мгновения на что-нибудь понадобиться, чтоб лететь исполнять желания его превосходительства. Но он ни на что не понадобился. Молча обошел генерал казармы, заглянул и на кухню, кажется, попробовал щей. Ему указали меня: так и так, дескать, из дворян.

— А! — отвечал генерал. — А как он теперь ведет себя?

— Покамест удовлетворительно, ваше превосходительство, — отвечали ему.

Генерал кивнул головою и минуты через две вышел из острога. Арестанты, конечно, были ослеплены и озадачены, но все-таки остались в некотором недоумении. Ни о какой претензии на майора, разумеется, не могло быть и речи. Да и майор был совершенно в этом уверен еще заранее.

## VI
## Каторжные животные

Покупка Гнедка, случившаяся вскоре в остроге, заняла и развлекла арестантов гораздо приятнее высокого посещения. В остроге у нас полагалась лошадь для привоза воды, для вывоза нечистот и проч. Для ухода определялся к ней арестант. Он же с ней и ездил, разумеется под конвоем. Работы нашему коню было очень достаточно и утром и вечером. Гнедко служил у нас уже очень давно. Лошадка была добрая, но поизносившаяся. В одно прекрасное утро, перед самым Петровым днем, Гнедко, привезя вечернюю бочку, упал и издох в несколько минут. О нем пожалели, все собрались кругом, толковали, спорили. Бывшие у нас отставные кавалеристы, цыганы, ветеринары и проч. выказали при этом даже много особенных познаний по лошадиной части, даже поругались между собою, но Гнедка не воскресили. Он лежал мертвый, со вздутым брюхом, в которое все считали обязанностью потыкать пальцем; доложили майору о приключившейся воле божией, и он решил, чтоб немедленно была куплена новая лошадь.

В самый Петров день, поутру, после обедни, когда все у нас были в полном сборе, стали приводить продажных лошадей. Само собою разумеется, что препоручить покупку следовало самим арестантам. У нас были настоящие знатоки, и надуть двести пятьдесят человек, только этим прежде и занимавшихся, было трудно. Являлись киргизы, барышники, цыгане, мещане. Арестанты с нетерпением ждали появления каждого нового коня. Они были веселы, как дети. Всего более им льстило, что вот и они, точно вольные, точно действительно из *своего* кармана покупают *себе* лошадь и имеют полное право купить. Три коня было приведено и уведено, пока покончили дело на четвертом. Входившие барышники с некоторым изумлением и как бы робостью осматривались кругом и даже изредка оглядывались на конвойных, вводивших их. Двухсотенная ватага такого народу, бритая, проклейменная, в цепях и у себя дома, в своем каторжном гнезде, за порог которого никто не переступает, внушала к себе своего рода уважение. Наши же истощались в разных хитростях при испытании каждого приводимого коня. Куда-куда они ему ни заглядывали, чего у него ни ощупали и вдобавок с таким деловым, с таким серьезным и хлопотливым видом, как будто от этого зависело главное благосостояние острога. Черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом; у них глаза разгорались, и бегло болтали они на своем непонятном наречии, скаля свои белые зубы и кивая своими смуглыми горбоносыми лицами. Иной из русских так и прикуется всем вниманием к их спору, точно в глаза к ним вскочить хочет. Слов-то не понимает, так хочет хоть по выражению глаз догадаться, как решили: годится ли конь или нет? И даже странным показалось бы такое судорожное внимание иному постороннему наблюдателю. О чем бы, кажется, тут так особенно хлопотать иному арестанту, и арестанту-то какому-нибудь так себе, смиренному, забитому, который даже перед иным из своих же арестантов пикнуть не смеет! Точно он сам для себя покупал лошадь, точно и в самом деле для него не всё равно было, какая ни купится. Кроме черкесов, наиболее отличались бывшие цыгане и барышники: им уступали и первое место и первое слово. Тут даже произошел некоторого рода благородный поединок, особенно между двумя — арестантом Куликовым, прежним цыганом, конокрадом и барышником, и самоучкой-ветеринаром, хитрым сибирским мужичком, недавно пришедшим в острог и уже успевшим отбить у Куликова всю его

городскую практику. Дело в том, что наших острожных самоучек-ветеринаров весьма ценили во всем городе, и не только мещане или купцы, но даже самые высшие чины обращались в острог, когда у них заболевали лошади, несмотря на бывших в городе нескольких настоящих ветеринарных врачей. Куликов до прибытия Елкина, сибирского мужичка, не знал себе соперника, имел большую практику и, разумеется, получал денежную благодарность. Он сильно цыганил и шарлатанил и знал гораздо менее, чем выказывал. По доходам он был аристократ между нашими. По бывалости, по уму, по смелости и решимости он уже давно внушил к себе невольное уважение всем арестантам в остроге. Его у нас слушали и слушались. Но говорил он мало: говорил, как рублем дарил, и всё только в самых важных случаях. Был он решительный фат, но было в нем много действительной, неподдельной энергии. Он был уже в летах, но очень красив, очень умен. С нами, дворянами, обходился как-то утонченно вежливо и вместе с тем с необыкновенным достоинством. Я думаю, если б нарядить его и привезть под видом какого-нибудь графа в какой-нибудь столичный клуб, то он бы и тут нашелся, сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, немного, но с весом, и в целый вечер, может быть, не раскусили бы, что он не граф, а бродяга. Я говорю серьезно: так он был умен, сметлив и быстр на соображение. К тому же манеры его были прекрасные, щегольские. Должно быть, он видал в своей жизни виды. Впрочем, прошедшее его было покрыто мраком неизвестности. Жил он у нас в особом отделении. Но с прибытием Елкина, хоть и мужика, но зато хитрейшего мужика, лет пятидесяти, из раскольников, ветеринарная слава Куликова затмилась. В какие-нибудь два месяца он отбил у него почти всю его городскую практику. Он вылечивал, и очень легко, таких лошадей, от которых Куликов еще прежде давно отказался. Он даже вылечивал таких, от которых отказывались городские ветеринарные лекаря. Этот мужичок пришел вместе с другими за фальшивую монету. Надо было ему ввязаться, на старости лет, и такое дело компаньоном! Сам же он, смеясь над собой, рассказывал у нас, что из трех настоящих золотых у них вышел всего только один фальшивый. Куликов был несколько оскорблен его ветеринарными успехами, даже слава его между арестантами начала было меркнуть. Он держал любовницу в форштадте, ходил в плисовой поддевке, носил серебряное кольцо, серьгу и собственные сапоги с оторочкой, и вдруг, за неимением

доходов, он принужден был сделаться целовальником, и потому все ждали, что теперь при покупке нового Гнедка враги, чего доброго, пожалуй, еще подерутся. Ждали с любопытством. У каждого из них была своя партия. Передовые из обеих партий уже начинали волноваться и помаленьку уже перекидывались ругательствами. Сам Елкин уже съежил было свое хитрое лицо в самую саркастическую улыбку. Но оказалось не то: Куликов и не подумал ругаться, но и без ругани поступил мастерски. Он начал с уступки, даже с уважением выслушал критические мнения своего соперника, но, поймав его на одном слове, скромно и настойчиво заметил ему, что он ошибается, и, прежде чем Елкин успел опомниться и оговориться, доказал, что ошибается он вот именно в том-то и в том-то. Одним словом, Елкин был сбит чрезвычайно неожиданно и искусно, и хоть верх все-таки остался за ним, но и куликовская партия осталась довольна.

— Нет, ребята, его, знать, не скоро собьешь, за себя постоит; куды! — говорили одни.

— Елкин больше знает! — замечали другие, но как-то уступчиво замечали. Обе партии заговорили вдруг в чрезвычайно уступчивом тоне.

— Не то что знает, у него только рука полегче. А насчет

скотины и Куликов не сробеет.

— Не сробеет парень!

— Не сробеет…

Нового Гнедка наконец выбрали и купили. Это была славная лошадка, молоденькая, красивая, крепкая и с чрезвычайно милым, веселым видом. Уж разумеется, по всем другим статьям она оказалась безукоризненною. Стали торговаться: просили тридцать рублей, наши давали двадцать пять. Торговались горячо и долго, сбавляли и уступали. Наконец самим смешно стало.

— Что ты из своего кошеля, что ли, деньги брать будешь? — говорили одни. — Чего торговаться-то?

— Казну, что ли, жалеть? — кричали другие.

— Да всё же, братцы, всё ж это деньги, — артельные…

— Артельные! Нет, видно, нашего брата, дураков, не сеют, а мы сами родимся…

Наконец за двадцать восемь рублей торг состоялся. Доложили майору, и покупка была решена. Разумеется, тотчас же вынесли хлеба с солью и с честию ввели нового Гнедка в острог. Кажется, не было

арестанта, который при этом случае не потрепал его по шее или не погладил по морде. В этот же день запрягли Гнедка возить воду, и все с любопытством посмотрели, как новый Гнедко повезет свою бочку. Наш водовоз Роман поглядывал на нового конька с необыкновенным самодовольствием. Это был мужик лет пятидесяти, молчаливого и солидного характера. Да и все русские кучера бывают чрезвычайно солидного и даже молчаливого характера, как будто действительно верно, что постоянное обращение с лошадьми придает человеку какую-то особенную солидность и даже важность. Роман был тих, со всеми ласков, несловоохотен, нюхал из рожка табак и постоянно с незапамятных времен возился с острожными Гнедками. Новокупленный был уже третий. У нас были все уверены, что к острогу идет гнедая масть, что нам это будто бы *к дому*. Так подтверждал и Роман. Пегого, например, ни за что не купили бы. Место водовоза постоянно, по какому-то праву, оставалось навсегда за Романом, и у нас никто никогда и не вздумал бы оспаривать у него это право. Когда пал прежний Гнедко, никому и в голову не пришло, даже и майору, обвинить в чем-нибудь Романа: воля божия, да и только, а Роман хороший кучер. Скоро Гнедко сделался любимцем острога. Арестанты хоть и суровый народ, но подходили часто ласкать его. Бывало, Роман, воротясь с реки, запирает ворота, отворенные ему унтер-офицером, а Гнедко, войдя в острог, стоит с бочкой и ждет его, косит на него глазами. «Пошел один!» — крикнет ему Роман, и Гнедко тотчас же повезет один, довезет до кухни и остановится, ожидая стряпок и парашников с ведрами, чтоб брать воду. «Умник, Гнедко! — кричат ему, — один привез!.. Слушается».

— Ишь в самом деле: скотина, а понимает!

— Молодец, Гнедко!

Гнедко мотает головою и фыркает, точно он и в самом деле понимает и доволен похвалами. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнедко ест и опять закивает головою, точно проговоривает: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты хороший человек!»

Я тоже любил подносить Гнедку хлеба. Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие, теплые губы, проворно подбиравшие подачку.

Вообще наши арестантики могли бы любить животных, и если б им

это позволили, они с охотою развели бы в остроге множество домашней скотины и птицы. И, кажется, что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов, как не такое, например, занятие? Но этого не позволяли. Ни порядки наши, ни место этого не допускали.

В остроге во всё мое время перебывало, однако же, случайно несколько животных. Кроме Гнедка, были у нас собаки, гуси, козел Васька, да жил еще некоторое время орел.

В качестве постоянной острожной собаки жил у нас, как уже и сказано было мною прежде, Шарик, умная и добрая собака, с которой я был в постоянной дружбе. Но так как уж собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое и внимания не следует обращать, то и на Шарика у нас почти никто не обращал внимания. Жила себе собака, спала на дворе, ела кухонные выброски и никакого особенного интереса ни в ком не возбуждала, однако всех знала и всех в остроге считала своими хозяевами. Когда арестанты возвращались с работы, она уже по крику у кордегардии: «Ефрейтора!» — бежит к воротам, ласково встречает каждую партию, вертит хвостом и приветливо засматривает в глаза каждому вошедшему, ожидая хоть какой-нибудь ласки. Но в продолжении многих лет она не добилась никакой ласки ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех. Не помню, каким образом появилась у нас потом в остроге и другая собака, Белка. Третью же, Культяпку, я сам завел, принеся ее как-то с работы, еще щенком. Белка была странное создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между собою. Кроме того, вся она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами; хвост был облезший, почти весь без шерсти, и постоянно поджатый. Оскорбленная судьбою, она, видимо, решилась смириться. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше, из хлеба, за казармами; если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же еще за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнется на спину: «Делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, сапогом, точно считая это непременною своею обязанностью. «Вишь, подлая!» — говорят,

бывало, арестанты. Но Белка даже и визжать не смела, и если уж слишком пронимало ее от боли, то как-то заглушенно и жалобно выла. Точно так же она перекувыркивалась и перед Шариком и перед всякой другой собакой, когда выбегала по своим делам за острог. Бывало, перекувырнется и лежит смиренно, когда какой-нибудь большой вислоухий пес бросится на нее с рыком и лаем. Но собаки любят смирение и покорность в себе подобных. Свирепый пес немедленно укрощался, с некоторою задумчивостью останавливался над лежащей перед ним вверх ногами покорной собакой и медленно с большим любопытством начинал ее обнюхивать во всех частях тела. Что-то в это время могла думать вся трепетавшая Белка? «А ну как, разбойник, рванет?» — вероятно, приходило ей в голову. Но, обнюхав внимательно, пес наконец бросал ее, не находя в ней ничего особенно любопытного. Белка тотчас же вскакивала и опять, бывало, пускалась, ковыляя, за длинной вереницей собак, провожавших какую-нибудь Жучку. И хоть она наверно знала, что с Жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а все-таки хоть издали поковылять — и то было для ней утешением в ее несчастьях. Об чести она уже, видимо, перестала думать. Потеряв всякую карьеру в будущем, она жила только для одного хлеба и вполне сознавала это. Я попробовал раз ее приласкать; это было для нее так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле, на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от умиления. Из жалости я ласкал ее часто. Зато она и встречать меня не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит болезненно и слезливо. Кончилось тем, что ее за острогом на валу разорвали собаки.

Совсем другого характера был Культяпка. Зачем я его принес из мастерской в острог еще слепым щенком, не знаю. Мне приятно было кормить и растить его. Шарик тотчас же принял Культяпку под свое покровительство и спал с ним вместе. Когда Культяпка стал подрастать, то он позволял ему кусать свои уши, рвать себя за шерсть и играть с ним, как обыкновенно играют взрослые собаки со щенками. Странно, что Культяпка почти не рос в вышину, а всё в длину и ширину. Шерсть была на нем лохматая, какого-то светло-мышиного цвету; одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих: «Был бы

только виден восторг, а приличия ничего не значат!» Бывало, где бы я ни был, но по крику: «Культяпка!» — он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогою. Я ужасно полюбил этого маленького уродца. Казалось, судьба готовила ему в жизни довольство и одни только радости. Но в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьем женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал Культяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалял его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревавший, визжал от удовольствия. Но на другое же утро он исчез. Я долго искал его; точно в воду канул; и только через две недели всё объяснилось: Культяпкин мех чрезвычайно понравился Неустроеву. Он содрал его, выделал и подложил им бархатные зимние пол сапожки, которые заказала ему аудиторша. Он показывал мне и полусапожки, когда они были готовы. Шерсть вышла удивительная. Бедный Культяпка!

В остроге у нас многие занимались выделкой кож и часто, бывало, приводили с собой собак с хорошей шерстью, которые в тот же миг исчезали. Иных воровали, а иных даже и покупали. Помню, раз за кухнями я увидал двух арестантов. Они об чем-то совещались и хлопотали. Один из них держал на веревке великолепнейшую большую собаку, очевидно дорогой породы. Какой-то негодяй лакей увел ее от своего барина и продал нашим башмачникам за тридцать копеек серебром. Арестанты собирались ее повесить. Это очень удобно делалось: кожу сдирали, а труп бросали в большую и глубокую помойную яму, находившуюся в самом заднем углу нашего острога и которая летом, в сильные жары, ужасно воняла. Ее изредка вычищали. Бедная собака, казалось, понимала готовившуюся ей участь. Она пытливо и с беспокойством взглядывала поочередно на нас троих и изредка только осмеливалась повертеть своим пушистым прижатым хвостом, точно желая смягчить нас этим знаком своей к нам доверенности. Я поскорей ушел, а они, разумеется, кончили свое дело благополучно.

Гуси у нас завелись как-то тоже случайно. Кто их развел и кому они собственно принадлежали, не знаю, но некоторое время они очень тешили арестантов и даже стали известны в городе. Они и вывелись в остроге и содержались на кухне. Когда выводок подрос, то все они,

целым кагалом, повадились ходить вместе с арестантами на работу. Только, бывало, загремит барабан и двинется каторга к выходу, наши гуси с криком бегут за нами, распустив свои крылья, один за другим выскакивают через высокий порог из калитки и непременно отправляются на правый фланг, где и выстраиваются, ожидая окончания разводки. Примыкали они всегда к самой большой партии и на работах паслись где-нибудь неподалеку. Только что двигалась партия с работы обратно в острог, подымались и они. В крепости разнеслись слухи, что гуси ходят с арестантами на работу. «Ишь, арестанты с своими гусями идут! — говорят, бывало, встречающиеся. — Да как это вы их обучили!» — «Вот вам на гусей!» — прибавлял другой и подавал подаяние. Но, несмотря на всю их преданность, к какому-то разговенью их всех перерезали.

Зато нашего козла Ваську ни за что бы не зарезали, если б не случилось особенного обстоятельства. Тоже не знаю, откуда он у нас взялся и кто принес его, но вдруг очутился в остроге маленький, беленький, прехорошенький козленок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его: надо же было в остроге, при конюшне, держать козла. Однако ж он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. Раз, когда уже у него прорезывались порядочные рожки, однажды вечером лезгин Бабай, сидя на казарменном крылечке в толпе других арестантов, вздумал с ним бодаться. Они уже долго стукались лбами, — это была любимая забава арестантов с козлом, — как вдруг Васька вспрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца и, только что Бабай отворотился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе передние копытцы и со всего размаха ударил Бабая в затылок, так что тот слетел кувырком с крыльца к восторгу всех присутствующих и первого Бабая. Одним словом, Ваську все ужасно любили. Когда он стал подрастать, над ним, вследствие общего и серьезного совещания, произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. «Не то пахнуть козлом будет», — говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть. Да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел, с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины.

Бывало, идет и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську: рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный, а они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любованье козлом, что иным из них приходила даже в голову, словно детям, мысль: «Не вызолотить ли рога Ваське!» Но только так поговорили, а не исполнили. Я, впрочем, помню, спросил Акима Акимыча, лучшего нашего золотильщика после Исая Фомича: можно ли действительно вызолотить козлу рога? Он сначала внимательно посмотрел на козла, серьезно сообразил и отвечал, что, пожалуй, можно, «но будет непрочно-с и к тому же совершенно бесполезно». Тем дело и кончилось. И долго бы прожил Васька в остроге и умер бы разве от одышки, но однажды, возвращаясь во главе арестантов с работы, разубранный и разукрашенный, он попался навстречу майору, ехавшему на дрожках. «Стой! — заревел он. — Чей козел?» Ему объяснили. «Как! в остроге козел, и без моего позволения! Унтер-офицера!» Явился унтер-офицер, и тотчас же было повелено немедленно зарезать козла. Шкуру содрать, продать на базаре и вырученные деньги включить в казенную арестантскую сумму, а мясо отдать арестантам во щи. В остроге поговорили, пожалели, но, однако ж, не посмели ослушаться. Ваську зарезали над нашей помойной ямой. Мясо купил один из арестантов всё целиком, внеся острогу полтора целковых. На эти деньги купили калачей, а купивший Ваську распродал по частям, своим же, на жаркое. Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным.

Проживал у нас тоже некоторое время в остроге орел (карагуш)[*], из породы степных небольших орлов. Кто-то принес его в острог раненого и измученного. Вся каторга обступила его; он не мог летать: правое крыло его висело по земле, одна нога была вывихнута. Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу, и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь. Когда на него насмотрелись и стали расходиться, он отковылял, хромая, прискакивая на одной ноге и помахивая здоровым крылом, в самый

дальний конец острога, где забился в углу, плотно прижавшись к палям. Тут он прожил у нас месяца три и во всё время ни разу не вышел из своего угла. Сначала приходили часто глядеть на него, натравливали на него собаку. Шарик кидался на него с яростию, но, видимо, боялся подступить ближе, что очень потешало арестантов. «Зверь! — говорили они. — Не дается!» Потом и Шарик стал больно обижать его; страх прошел, и он, когда натравливали, изловчился хватать его за больное крыло. Орел защищался из всех сил когтями и клювом и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных, приходивших его рассматривать. Наконец всем он наскучил; все его бросили и забыли, и, однако ж, каждый день можно было видеть возле него клочки свежего мяса и черепок с водой. Кто-нибудь да наблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел несколько дней; наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях. Мне случилось не раз издали наблюдать его. Не видя никого и думая, что он один, он иногда решался недалеко выходить из угла и ковылял вдоль паль, шагов на двенадцать от своего места, потом возвращался назад, потом опять выходил, точно делал моцион. Завидя меня, он тотчас же изо всех сил, хромая и прискакивая, спешил на свое место и, откинув назад голову, разинув клюв, ощетинившись, тотчас же приготовлялся к бою. Никакими ласками я не мог смягчить его: он кусался и бился, говядины от меня не брал и всё время, бывало, как я над ним стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза своим злым, пронзительным взглядом. Одиноко и злобно он ожидал смерти, не доверяя никому и не примиряясь ни с кем. Наконец арестанты точно вспомнили о нем, и хоть никто не заботился, никто и не поминал о нем месяца два, но вдруг во всех точно явилось к нему сочувствие. Заговорили, что надо вынести орла. «Пусть хоть околеет, да не в остроге», — говорили одни.

— Вестимо, птица вольная, суровая, не приучишь к острогу-то, — поддакивали другие.

— Знать, он не так, как мы, — прибавил кто-то.

— Вишь, сморозил: то птица, а мы, значит, человеки.

— Орел, братцы, есть царь лесов… — начал было Скуратов, но его на этот раз не стали слушать. Раз после обеда, когда пробил барабан на работу взяли, орла, зажав ему клюв рукой, потому что он начал жестоко драться, и понесли из острога. Дошли до вала. Человек двенадцать, бывших в этой партии, с любопытством желали видеть, куда пойдет

орел. Странное дело: все были чем-то довольны, точно отчасти сами они получили свободу.

— Ишь собачье мясо: добро ему творишь, а он всё кусается! — говорил державший его, почти с любовью смотря на злую птицу.

— Отпущай его, Микитка!

— Ему, знать, черта в чемодане не строй. Ему волю подавай, заправскую волю-волюшку.

Орла сбросили с валу в степь. Это было глубокою осенью, в холодный и сумрачный день. Ветер свистал в голой степи и шумел в пожелтелой, иссохшей, клочковатой степной траве. Орел пустился прямо, махая больным крылом и как бы торопясь уходить от нас куда глаза глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала в траве его голова.

— Вишь его! — задумчиво проговорил один.

— И не оглянется! — прибавил другой. — Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!

— А ты думал, благодарить воротится? — заметил третий

— Знамо дело, воля. Волю почуял.

— Слобода, значит.

— И не видать уж, братцы.

— Чего стоять-то? марш! — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу.

## VII
## Претензия

Начиная эту главу, издатель записок покойного Александра Петровича Горянчикова считает своею обязанностью сделать читателям следующее сообщение.

В первой главе «Записок из Мертвого дома» сказано несколько слов об одном отцеубийце, из дворян. Между прочим, он поставлен был в пример того, с какой бесчувственностью говорят иногда арестанты о совершенных ими преступлениях. Сказано было тоже, что убийца не сознался перед судом в своем преступлении, но что, судя по рассказам людей, знавших все подробности его истории, факты были до того ясны, что невозможно было не верить преступлению. Эти же люди

рассказывали автору «Записок», что преступник поведения был совершенно беспутного, ввязался в долги и убил своего отца, жаждая после него наследства. Впрочем, весь город, в котором прежде служил этот отцеубийца, рассказывал эту историю одинаково. Об этом последнем факте издатель «Записок» имеет довольно верные сведения. Наконец, в «Записках» сказано, что в остроге убийца был постоянно в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа; что это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя отнюдь не глупец, и что автор «Записок» никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. И тут же прибавлены слова: «Разумеется, я не верил этому преступлению».

На днях издатель «Записок из Мертвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога. Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия…

Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе.

Мы думаем тоже, что если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины Мертвого дома.

А теперь продолжаем.

Я уже говорил прежде, что я наконец освоился с моим положением в остроге. Но это «наконец» совершалось очень туго и мучительно, слишком мало-помалу. В сущности мне надо было почти год времени для этого, и это был самый трудный год моей жизни. Оттого-то он так весь целиком и уложился в моей памяти. Мне кажется, я каждый час этого года помню в последовательности. Говорил я тоже, что *привыкнуть* к этой жизни не могли и другие арестанты. Помню, как в этот первый год я часто размышлял про себя: «Что они, как? неужели могли привыкнуть? неужели спокойны?» И вопросы эти очень меня занимали. Я уже упоминал, что все арестанты жили здесь как бы не у себя дома, а как будто на постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то. Люди, присланные на всю жизнь, и те густились или тосковали, и уж

непременно каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Это всегдашнее беспокойство, выказывавшееся хоть и молча, но видимо; эта странная горячность и нетерпеливость иногда невольно высказанных надежд, подчас до того неосновательных, что они как бы походили на бред, и, что более всего поражало, уживавшихся нередко в самых практических, по-видимому, умах, — всё это придавало необыкновенный вид и характер этому месту, до того, что, может быть, эти-то черты и составляли самое характерное его свойство. Как-то чувствовалось, почти с первого взгляда, что этого нет за острогом. Тут все были мечтатели, и это бросалось в глаза. Это чувствовалось болезненно, именно потому, что мечтательность сообщала большинству острога вид угрюмый и мрачный, нездоровый какой-то вид. Огромное большинство было молчаливо и злобно до ненависти, не любило выставлять своих надежд напоказ. Простодушие, откровенность были в презрении. Чем необычнее были надежды и чем больше чувствовал эту несбыточность сам мечтатель, тем упорнее и целомудреннее он их таил про себя, но отказаться от них он не мог. Кто знает, может быть, иной стыдился их про себя. В русском характере столько положительности и трезвости взгляда, столько внутренней насмешки над первым собою… Может быть, от этого постоянного затаенного недовольства собою и было столько нетерпеливости у этих людей в повседневных отношениях друг с другом, столько непримиримости и насмешки друг над другом. И если, например, выскакивал вдруг, из них же, какой-нибудь понаивнее и нетерпеливее и высказывал иной раз вслух то, что у всех было про себя на уме, пускался в мечты и надежды, то его тотчас же грубо осаживали, обрывали, осмеивали; но сдается мне, что самые рьяные из преследователей были именно те, которые, может быть, сами-то еще дальше него пошли в своих мечтах и надеждах. На наивных и простоватых, я сказал уже, смотрели у нас все вообще как на самых пошлых дураков и относились к ним презрительно. Каждый был до того угрюм и самолюбив, что начинал презирать человека доброго и без самолюбия. Кроме этих наивных и простоватых болтунов, все остальные, то есть молчаливые, резко разделялись на добрых и злых, на угрюмых и светлых. Угрюмых и злых было несравненно больше; если ж из них и случались иные уж так по природе своей говоруны, то все они непременно были беспокойные сплетники и тревожные завистники. До

всего чужого им было дело, хотя своей собственной души, своих собственных тайных дел и они никому не выдавали напоказ. Это было не в моде, не принято. Добрые — очень маленькая кучка — были тихи, молчаливо таили про себя свои упования и, разумеется, более мрачных склонны были к надежде и вере в них. Впрочем, сдается мне, что в остроге был еще отдел вполне отчаявшихся. Таков был, например, и старик из Стародубских слобод; во всяком случае таких было очень мало. Старик был с виду спокоен (я уже говорил о нем), но по некоторым признакам, я полагаю, душевное состояние его было ужасное. Впрочем, у него было свое спасение, свой выход: молитва и идея о мученичестве. Сошедший с ума, зачитавшийся в Библии арестант, о котором я уже упоминал и который бросился с кирпичом на майора, вероятно, тоже был из отчаявшихся, из тех, кого покинула последняя надежда; а так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве. Он объявил, что он бросился на майора без злобы, а единственно желая принять муки. И кто знает, какой психологический процесс совершился тогда в душе его! Без какой-нибудь цели и стремления к ней не живет ни один жив человек. Потеряв цель и надежду, человек с тоски обращается нередко в чудовище… Цель у всех наших была свобода и выход из каторги.

Впрочем, вот я теперь силюсь подвести весь наш острог под разряды; но возможно ли это? Действительность бесконечно разнообразна сравнительно со всеми, даже и самыми хитрейшими, выводами отвлеченной мысли и не терпит резких и крупных различений. Действительность стремится к раздроблению. Жизнь своя особенная была и у нас, хоть какая-нибудь, да всё же была, и не одна официальная, а внутренняя, своя собственная жизнь.

Но, как уже и упоминал я отчасти, я не мог и даже не умел проникнуть во внутреннюю глубину этой жизни в начале моего острога, а потому все внешние проявления ее мучили меня тогда невыразимой тоской. Я иногда просто начинал ненавидеть этих таких же страдальцев, как я. Я даже завидовал им и обвинял судьбу. Я завидовал им в том, что они все-таки между своими, в товариществе, понимают друг друга, хотя в сущности им всем, как и мне, надоело и омерзело это товарищество из-под плети и палки, эта насильная артель, и всякий про себя смотрел от всех куда-нибудь в сторону. Повторяю опять, эта зависть,

посещавшая меня в минуты злобы, имела свое законное основание. В самом деле, положительно не правы те, которые говорят, что дворянину, образованному и т. д. совершенно одинаково тяжело в наших каторгах и острогах, как и всякому мужику. Я знаю, я слышал об этом предположении в последнее время, я читал про это. Основание этой идеи верное, гуманное. Все люди, все человеки. Но идея-то слишком отвлеченная. Упущено из виду очень много практических условий, которые не иначе можно понять, как в самой действительности. Я говорю это не потому, что дворянин и образованный будто бы чувствуют утонченнее, больнее, что они более развиты. Душу и развитие ее трудно подводить под какой-нибудь данный уровень. Даже само образование в этом случае не мерка. Я первый готов свидетельствовать, что и в самой необразованной, в самой придавленной среде между этими страдальцами встречал черты самого утонченного развития душевного. В остроге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про него, что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманье и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали. Бывает и обратно: образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит, и, как бы вы ни были добры или предубеждены, вы не находите в сердце своем ни извинений, ни оправданий.

Не говорю я тоже ничего о перемене привычек, образа жизни, пищи и проч., что для человека из высшего слоя общества, конечно, тяжелее, чем для мужика, который нередко голодал на воле, а в остроге по крайней мере сыто наедался. Не буду и об этом спорить. Положим, что человеку, хоть немного сильному волей, всё это вздор сравнительно с другими неудобствами, хотя в сущности перемена привычек дело вовсе не вздорное и не последнее. Но есть неудобства, перед которыми всё это бледнеет, до того, что не обращаешь внимания ни на грязь содержания, ни на тиски, ни на тощую, неопрятную пищу. Самый гладенький белоручка, самый нежный неженка, поработав день в поте лица, так, как он никогда не работал на свободе, будет есть и черный хлеб и щи с тараканами. К этому еще можно привыкнуть, как и

упомянуто в юмористической арестантской песне о прежнем белоручке, попавшем в каторгу:

Дадут капусты мне с водою —

И ем, так за ушми трещит.

Нет; важнее всего этого то, что всякий из новоприбывающих в остроге через два часа по прибытии становится таким же, как и все другие, становится *у себя дома,* таким же равноправным хозяином в острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен, и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его за *своего.* Не то с *благородным,* с дворянином. Как ни будь он справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой, его не поймут, а главное — не поверят ему. Он не друг и не товарищ, и хоть и достигнет он наконец, с годами, того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой и вечно, мучительно будет сознавать свое отчуждение и одиночество. Это отчуждение делается иногда совсем без злобы со стороны арестантов, а так, бессознательно. Не свой человек, да и только. Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, переселенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет там такого же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним, а через два часа они, пожалуй, заживут самым мирным образом в одной избе или в одном шалаше. Не то для благородных. Они разделены с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается *вполне* только тогда, когда *благородный* вдруг сам, силою внешних обстоятельств, действительно на деле лишится прежних прав своих и обратится в простонародье. Не то хоть всю жизнь свою знайтесь с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним, по службе, например, в условно-административных формах, или даже так, просто по-дружески, в виде благодетеля и в некотором смысле отца, — никогда самой сущности не узнаете. Всё будет только оптический обман, и ничего больше. Я ведь знаю, что все, решительно все, читая мое замечание, скажут, что я преувеличиваю. Но я убежден, что оно верно. Я убедился не книжно, не умозрительно, а в действительности и имел очень довольно времени, чтобы проверить мои убеждения. Может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо…

События, как нарочно, с первого шагу подтверждали мои наблюдения и нервно и болезненно действовали на меня. В это первое лето я скитался по острогу почти один-одинехонек. Я сказал уже, что

был в таком состоянии духа, что даже не мог оценить и отличить тех из каторжных, которые могли бы любить меня, которые и любили меня впоследствии, хоть и никогда не сходились со мною на равную ногу. Были товарищи и мне, из дворян, но не снимало с души моей всего бремени это товарищество. Не смотрел бы ни на что, кажется, а бежать некуда. И вот, например, один из тех случаев, которые с первого разу наиболее дали мне понять мою отчужденность и особенность моего положения в остроге. Однажды, в это же лето, уже к августу месяцу, в будний ясный и жаркий день, в первом часу пополудни, когда по обыкновению все отдыхали перед послеобеденной работой, вдруг вся каторга поднялась как один человек и начала строиться на острожном дворе. Я ни о чем не знал до самой этой минуты. В это время подчас я до того бывал углублен в самого себя, что почти не замечал, что вокруг происходит. А между тем каторга уже дня три глухо волновалась. Может быть, и гораздо раньше началось это волнение, как сообразил я уже потом, невольно припомнив кое-что из арестантских разговоров, а вместе с тем и усиленную сварливость арестантов, угрюмость и особенно озлобленное состояние, замечавшееся в них в последнее время. Я приписывал это тяжелой работе, скучным, длинным, летним дням, невольным мечтам о лесах и о вольной волюшке, коротким ночам, в которые трудно было вволю выспаться. Может быть, всё это и соединилось теперь вместе, в один взрыв, но предлог этого взрыва был — пища. Уже несколько дней в последнее время громко жаловались, негодовали в казармах и особенно сходясь в кухне за обедом и ужином, были недовольны стряпками, даже попробовали сменить одного из них, но тотчас прогнали нового и воротили старого. Одним словом, все были в каком-то беспокойном настроении духа.

— Работа тяжелая, а нас брюшиной кормят, — заворчит, бывало, кто-нибудь на кухне.

— А не нравится, так бламанже закажи, — подхватит другой.

— Щи с брюшиной, братцы, я оченно люблю, — подхватывает третий, — потому скусны.

— А как всё время тебя одной брюшиной кормить, будет скусно?

— Оно, конечно, тепере мясная пора, — говорит четвертый, — мы на заводе-то маемся-маемся, после урка-то жрать хочется. А брюшина какая еда!

— А не с брюшиной, так с усердием. * *

— Вот хоть бы еще взять это усердие. Брюшина да усердие, только одно и наладили. Это какая еда! Есть тут правда аль нет?

— Да, корм плохой.

— Карман-то набивает небось.

— Не твоего ума это дело.

— А чьего же? Брюхо-то мое. А всем бы миром сказать претензию, и было бы дело.

— Претензию?

— Да.

— Мало тебя, знать, за ефту претензию драли. Статуй!

— Оно правда, — прибавляет ворчливо другой, до сих пор молчаливый, — хоть и скоро, да не споро. Что говорить-то на претензии будешь, ты вот что сперва скажи, голова с затылком?

— Ну и скажу. Коли б все пошли, и я б тогда со всеми говорил. Бедность, значит. У нас кто свое ест, а кто и на одном казенном сидит.

— Ишь, завидок востроглазый! Разгорелись глаза на чужое добро.

— На чужой кусок не разевай роток, а раньше вставай да свой затевай.

— Затевай!.. Я с тобой до седых волос в ефтом деле торговаться буду. Значит, ты богатый, коли сложа руки сидеть хочешь?

— Богат Ерошка, есть собака да кошка.

— А и вправду, братцы, чего сидеть! Значит, полно ихним дурачествам подражать. Шкуру дерут. Чего нейти?

— Чего! Тебе небось разжуй да в рот положи; привык жеваное есть. Значит, каторга — вот отчего!

— Выходит что: поссорь, боже, народ, накорми воевод*.

— Оно самое. Растолстел восьмиглазый. Пару серых купил.

— Ну, и не любит выпить.

— Намеднись с ветеринаром за картами подрались.

— Всю ночь козыряли. Наш-то два часа прожил на кулаках. Федька сказывал.

— Оттого и щи с усердием.

— Эх вы, дураки! Да не с нашим местом выходить-то.

* То есть с осердием. Арестанты в насмешку выговаривали «с усердием».

— А вот выйти всем, так посмотрим, какое он оправдание произнесет. На том и стоять.

— Оправдание! Он тебя по идолам, ** да и был таков.

— Да еще под суд отдадут…

Одним словом, все волновались. В это время действительно у нас была плохая еда. Да уж и всё одно к одному привалило. А главное — общий тоскливый настрой, всегдашняя затаенная мука. Каторжный сварлив и подымчив уже по природе своей; но подымаются все вместе или большой кучей редко. Причиной тому всегдашнее разногласие. Это всякий из них сам чувствовал: вот почему и было у нас больше руготни, нежели дела. И, однако ж, в этот раз волнение не прошло даром. Начали собираться по кучкам, толковали по казармам, ругались, припоминали со злобой всё управление нашего майора; выведывали всю подноготную. Особенно волновались некоторые. Во всяком подобном деле всегда являются зачинщики, коноводы. Коноводы в этих случаях, то есть в случаях претензий, — вообще презамечательный народ, и не в одном остроге, а во всех артелях, командах и проч. Это особенный тип, повсеместно между собою схожий. Это народ горячий, жаждущий справедливости и самым наивным, самым честным образом уверенный в ее непременной, непреложной и, главное, немедленной возможности. Народ этот не глупее других, даже бывают из них и очень умные, но они слишком горячи, чтоб быть хитрыми и расчетливыми. Во всех этих случаях если и бывают люди, которые умеют ловко направить массу и выиграть дело, то уж эти составляют другой тип народных вожаков и естественных предводителей его, тип чрезвычайно у нас редкий. Но эти, про которых я теперь говорю, зачинщики и коноводы претензий, почти всегда проигрывают дело и населяют за это потом остроги и каторги. Через горячку свою они проигрывают, но через горячку же и влияние имеют на массу. За ними, наконец, охотно идут. Их жар и честное негодование действуют на всех, и под конец самые нерешительные к ним примыкают. Их слепая уверенность в успехе соблазняет даже самых закоренелых скептиков, несмотря на то что иногда эта уверенность имеет такие шаткие, такие младенческие основания, что дивишься вчуже, как это за ними пошли. А главное то, что они идут первые, и идут, ничего не боясь. Они, как быки, бросаются прямо вниз рогами, часто без знания дела, без осторожности, без того практического иезуитизма, с которым нередко даже самый подлый и замаранный человек выигрывает дело, достигает цели и выходит сух из воды. Они же непременно ломают рога. В обыкновенной жизни это

народ желчный, брюзгливый, раздражительный и нетерпимый. Чаще же всего ужасно ограниченный, что, впрочем, отчасти и составляет их силу. Досаднее же всего в них то, что, вместо прямой цели, они часто бросаются вкось, вместо главного дела — на мелочи. Это-то их и губит. Но они понятны массам; в этом их сила… Впрочем, надо сказать еще два слова о том, что такое значит *претензия?*. . . . . .

В нашем остроге было несколько человек таких, которые пришли за претензию. Они-то и волновались наиболее. Особенно один, Мартынов, служивший прежде в гусарах, горячий, беспокойный и подозрительный человек, впрочем честный и правдивый. Другой был Василий Антонов, человек как-то хладнокровно раздражавшийся, с наглым взглядом, с высокомерной саркастической улыбкой, чрезвычайно развитой, впрочем тоже честный и правдивый. Но всех не переберешь; много их было. Петров, между прочим, так и сновал взад и вперед, прислушивался ко всем кучкам, мало говорил, но, видимо, был в волнении и первый выскочил из казармы, когда начали строиться.

Наш острожный унтер-офицер, исправлявший у нас должность фельдфебеля, тотчас же вышел испуганный. Построившись, люди вежливо попросили его сказать майору, что каторга желает с ним говорить и лично просить его насчет некоторых пунктов. Вслед за унтер-офицером вышли и все инвалиды и построились с другой стороны, напротив каторги. Поручение, данное унтер-офицеру, было чрезвычайное и повергло его в ужас. Но не доложить немедленно майору он не смел. Во-первых, уж если поднялась каторга, то могло выйти и что-нибудь хуже. Всё начальство наше насчет каторги было как-то усиленно трусливо. Во-вторых, если б даже и ничего не было, так что все бы тотчас же одумались и разошлись, то и тогда бы унтер-офицер немедленно должен был доложить о всем происходившем начальству. Бледный и дрожащий от страха, отправился он поспешно к майору, даже и не пробуя сам опрашивать и увещевать арестантов. Он видел, что с ним теперь и говорить-то не станут.

Совершенно не зная ничего, и я вышел строиться. Все подробности дела я узнал уже потом. Теперь же я думал, происходит какая-нибудь поверка; но, не видя караульных, которые производят поверку, удивился и стал осматриваться кругом. Лица были взволнованные и раздраженные. Иные были даже бледны. Все вообще были озабочены и молчаливы в ожидании того, как-то придется заговорить перед

майором. Я заметил, что многие посмотрели на меня с чрезвычайным удивлением, но молча отворотились. Им было, видимо, странно, что я с ними построился. Они, очевидно, не верили, чтоб и я тоже показывал претензию. Вскоре, однако ж, почти все бывшие кругом меня стали снова обращаться ко мне. Все глядели на меня вопросительно.

— Ты здесь зачем? — грубо и громко спросил меня Василий Антонов, стоявший от меня подальше других и до сих пор всегда говоривший мне *вы* и обращавшийся со мной вежливо.

Я посмотрел на него в недоумении, всё еще стараясь понять, что это значит, и уже догадываясь, что происходит что-то необыкновенное.

— В самом деле, что тебе здесь стоять? Ступай в казарму, — проговорил один молодой парень, из военных, с которым я до сих пор вовсе был незнаком, малый добрый и тихий. — Не твоего ума это дело.

— Да ведь строятся, — отвечал я ему, — я думал, поверка.

— Ишь, тоже выполз, — крикнул один.

— Железный нос, — проговорил другой.

— Муходавы! — проговорил третий с невыразимым презрением. Это новое прозвище вызвало всеобщий хохот.

— При милости на кухне состоит, — прибавил еще кто-то.

— Им везде рай. Тут каторга, а они калачи едят да поросят покупают. Ты ведь собственное ешь; чего ж сюда лезешь.

— Здесь вам не место, — проговорил Куликов, развязно подходя ко мне; он взял меня за руку и вывел из рядов.

Сам он был бледен, черные глаза его сверкали, и нижняя губа была закусана. Он не хладнокровно ожидал майора. Кстати: я ужасно любил смотреть на Куликова во всех подобных случаях, то есть во всех тех случаях, когда требовалось ему показать себя. Он рисовался ужасно, но и дело делал. Мне кажется, он и на казнь бы пошел с некоторым шиком, щеголеватостью. Теперь, когда все говорили мне *ты* и ругали меня, он, видимо, нарочно удвоил свою вежливость со мною, а вместе с тем слова его были как-то особенно, даже высокомерно настойчивы, не терпевшие никакого возражения.

— Мы здесь про свое, Александр Петрович, а вам здесь нечего делать. Ступайте куда-нибудь, переждите… Вон ваши все на кухне, идите туда.

— Под девятую сваю, где Антипка беспятый живет! — подхватил кто-то.

Сквозь приподнятое окно в кухне я действительно разглядел наших поляков; впрочем, мне показалось, что там, кроме их, много народу. Озадаченный, я пошел на кухню. Смех, ругательства и тюканье (заменявшее у каторжных свистки) раздались мне вслед.

— Не понравились!.. тю-тю-тю! бери его!..

Никогда еще я не был до сих пор так оскорблен в остроге, и в этот раз мне было очень тяжело. Но я попал в такую минуту. В сенях в кухне мне встретился Т-вский, из дворян, твердый и великодушный молодой человек, без большого образования и любивший ужасно Б. Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили. Он был храбр, мужествен и силен, и это как-то выказывалось в каждом жесте его.

— Что вы, Горянчиков, — закричал он мне, — идите сюда!

— Да что там такое?

— Они претензию показывают, разве вы не знаете? Им, разумеется, не удастся: кто поверит каторжным? Станут разыскивать зачинщиков, и если мы там будем, разумеется, на нас первых свалят обвинение в бунте. Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд. Майор нас всех ненавидит и рад погубить. Он нами сам оправдается.

— Да и каторжные выдадут нас головою, — прибавил М-цкий, когда мы вошли на кухню.

— Не беспокойтесь, не пожалеют! — подхватил Т-вский.

В кухне, кроме дворян, было еще много народу, всего человек тридцать. Все они остались, не желая показывать претензию, — одни из трусости, другие по решительному убеждению в полной бесполезности всякой претензии. Был тут и Аким Акимыч, закоренелый и естественный враг всех подобных претензий, мешающих правильному течению службы и благонравию. Он молча и чрезвычайно спокойно выжидал окончания дела, нимало не тревожась его исходом, напротив, совершенно уверенный в неминуемом торжестве порядка и воли начальства. Был тут и Исай Фомич, стоявший в чрезвычайном недоумении, повесив нос, жадно и трусливо прислушиваясь к нашему говору. Он был в большом беспокойстве. Были тут все острожные полячки из простых, примкнувшие тоже к дворянам. Было несколько робких личностей из русских, народу всегда молчаливого и забитого. Выйти с прочими они не осмелились и с грустью ожидали, чем кончится дело. Было, наконец, несколько угрюмых и всегда суровых

арестантов, народу неробкого. Они остались по упрямому и брезгливому убеждению, что всё это вздор и ничего, кроме худого, из этого дела не будет. Но мне кажется, что они все-таки чувствовали себя теперь как-то неловко, смотрели не совсем самоуверенно. Они хоть и понимали, что совершенно правы насчет претензии, что и подтвердилось впоследствии, но все-таки сознавали себя как бы отщепенцами, оставившими артель, точно выдали товарищей плац-майору. Очутился тут и Елкин, тот самый хитрый мужичок-сибиряк, пришедший за фальшивую монету и отбивший ветеринарную практику у Куликова. Старичок из Стародубовских слобод был тоже тут. Стряпки решительно все до единого остались на кухне, вероятно по убеждению, что они тоже составляют часть администрации, а следственно, и неприлично им выходить против нее.

— Однако, — начал я, нерешительно обращаясь к М-му, — кроме этих, почти все вышли.

— Да нам-то что? — проворчал Б.

— Мы во сто раз больше их рисковали бы, если б вышли; а для чего? Je haïs ces brigands.[14] И неужели вы думаете хоть одну минуту, что их претензия состоится? Что за охота соваться в нелепость?

— Ничего из этого не будет, — подхватил один из каторжных, упрямый и озлобленный старик. Алмазов, бывший тут же, поспешил поддакнуть ему в ответ.

— Окромя того, что пересекут с полсотни, — ничего из этого не будет.

— Майор приехал! — крикнул кто-то, и все жадно бросились к окошкам.

Майор влетел злой, взбесившийся, красный, в очках. Молча, но решительно подошел он к фрунту. В этих случаях он действительно был смел и не терял присутствия духа. Впрочем, он почти всегда был вполпьяна. Даже его засаленная фуражка с оранжевым околышком и грязные серебряные эполеты имели в эту минуту что-то зловещее. За ним шел писарь Дятлов, чрезвычайно важная особа в нашем остроге, в сущности управлявший всем в остроге и даже имевший влияние на майора, малый хитрый, очень себе на уме, но и не дурной человек. Арестанты были им довольны. Вслед за ним шел наш унтер-офицер, очевидно уже успевший получить страшнейшую распеканцию и ожидавший еще вдесятеро больше; за ним конвойные, три или четыре

человека, не более. Арестанты, которые стояли без фуражек, кажется, еще с того самого времени, как послали за майором, теперь все выпрямились, подправились; каждый из них переступил с ноги на ногу, а затем все так и замерли на месте, ожидая первого слова или, лучше сказать, первого крика высшего начальства. Он немедленно последовал; со второго слова майор заорал во всё горло, даже с каким-то визгом на этот раз: очень уже он был разбешен. Из окон нам видно было, как он бегал по фрунту, бросался, допрашивал. Впрочем, вопросов его, равно как и арестантских ответов, нам за дальностью места не было слышно. Только и расслышали мы, как он визгливо кричал:

— Бунтовщики!.. Сквозь строй… Зачинщики! Ты зачинщик! Ты зачинщик! — накинулся он на кого-то.

Ответа не было слышно. Но через минуту мы увидели, как арестант отделился и отправился в кордегардию. Еще через минуту отправился вслед за ним другой, потом третий.

— Всех под суд! я вас! Это кто там на кухне? — взвизгнул он, увидя нас в отворенные окошки. — Всех сюда! гнать их сейчас сюда!

Писарь Дятлов отправился к нам на кухню. В кухне сказали ему, что не имеют претензии. Он немедленно воротился и доложил майору.

— А, не имеют! — проговорил он двумя тонами ниже, видимо обрадованный. — Всё равно, всех сюда!

Мы вышли. Я чувствовал, что как-то совестно нам выходить. Да и все шли, точно понурив голову.

— А, Прокофьев! Елкин тоже, это ты, Алмазов… Становитесь, становитесь сюда, в кучку, — говорил нам майор каким-то утопленным, но мягким голосом, ласково на нас поглядывая. — М-цкий, ты тоже здесь… вот и переписать. Дятлов! Сейчас же переписать всех довольных особо и всех недовольных особо, всех до единого, и бумагу ко мне. Я всех вас представлю… под суд! Я вас, мошенники!

Бумага подействовала.

— Мы довольны! — угрюмо крикнул вдруг один голос из толпы недовольных, но как-то не очень решительно.

— А, довольны! Кто доволен? Кто доволен, тот выходи.

— Довольны, довольны! — прибавилось несколько голосов.

— Довольны! значит, вас смущали? значит, были зачинщики, бунтовщики? Тем хуже для них!..

— Господи, что ж это такое! — раздался чей-то голос в толпе.

— Кто, кто это крикнул, кто? — заревел майор, бросаясь в ту сторону, откуда послышался голос. — Это ты, Расторгуев, ты крикнул? В кордегардию!

Расторгуев, одутловатый и высокий молодой парень, вышел и медленно отправился в кордегардию. Крикнул вовсе не он, но так как на него указали, то он и не противоречил.

— С жиру беситесь! — завопил ему вслед майор. — Ишь, толстая рожа, в три дня не…! Вот я вас всех разыщу! Выходите, довольные!

— Довольны, ваше высокоблагородие! — мрачно раздалось несколько десятков голосов; остальные упорно молчали. Но майору только того и надо было. Ему, очевидно, самому было выгодно кончить скорее дело, и как-нибудь кончить согласием.

— А, теперь *все* довольны! — проговорил он торопясь. — Я это и видел… знал. Это зачинщики! Между ними, очевидно, есть зачинщики! — продолжал он, обращаясь к Дятлову. — Это надо подробнее разыскать. А теперь… теперь на работу время. Бей в барабан!

Он сам присутствовал на разводке. Арестанты молча и грустно расходились по работам, довольные по крайней мере тем, что поскорей с глаз долой уходили. Но после разводки майор немедленно наведался в кордегардию и распорядился с «зачинщиками», впрочем не очень жестоко. Даже спешил. Один из них, говорили потом, попросил прощения, и он тотчас простил его. Видно было, что майор отчасти не в своей тарелке и даже, может быть, струхнул. Претензия во всяком случае вещь щекотливая, и хотя жалоба арестантов в сущности и не могла назваться претензией, потому что показывали ее не высшему начальству, а самому же майору, но все-таки было как-то неловко, нехорошо. Особенно смущало, что все поголовно восстали. Следовало затушить дело во что бы то ни стало. «Зачинщиков» скоро выпустили. Назавтра же пища улучшилась, хотя, впрочем, ненадолго. Майор в первые дни стал чаще навещать острог и чаще находил беспорядки. Наш унтер-офицер ходил озабоченный и сбившийся с толку, как будто всё еще не мог прийти в себя от удивления. Что же касается арестантов, то долго еще после этого они не могли успокоиться, но уже не волновались по-прежнему, а были молча растревожены, озадачены как-то. Иные даже повесили голову. Другие ворчливо, хоть и несловоохотливо отзывались о всем этом деле. Многие как-то

озлобленно и вслух подсмеивались сами над собою, точно казня себя за претензию.

— На-тко, брат, возьми, закуси! — говорит, бывало, один.

— Чему посмеешься, тому и поработаешь! — прибавляет другой.

— Где та мышь, чтоб коту звонок привесила? — замечает третий.

— Нашего брата без дубины не уверишь, известно. Хорошо еще, что не всех высек.

— А ты вперед больше знай, да меньше болтай, крепче будет! — озлобленно замечает кто-нибудь.

— Да ты что учишь-то, учитель?

— Знамо дело, учу.

— Да ты кто таков выскочил?

— Да я-то покамест еще человек, а ты-то кто?

— Огрызок собачий, вот ты кто.

— Это ты сам.

— Ну, ну, довольно вам! чего загалдели! — кричат со всех сторон на спорящих…

В тот же вечер, то есть в самый день претензии, возвратясь с работы, я встретился за казармами с Петровым. Он меня уж искал. Подойдя ко мне, он что-то пробормотал, что-то вроде двух-трех неопределенных восклицаний, но вскоре рассеянно замолчал и машинально пошел со мной рядом. Всё это дело еще больно лежало у меня на сердце, и мне показалось, что Петров мне кое-что разъяснит.

— Скажите, Петров, — спросил я его, — ваши на нас не сердятся?

— Кто сердится? — спросил он, как бы очнувшись.

— Арестанты на нас… на дворян,

— А за что на вас сердиться?

— Ну, да за то, что мы не вышли на претензию.

— Да вам зачем показывать претензию? — спросил он, как бы стараясь понять меня, — ведь вы свое кушаете.

— Ах, боже мой! Да ведь и из ваших есть, что свое едят, а вышли же. Ну, и нам надо было… из товарищества.

— Да… да какой же вы нам товарищ? — спросил он с недоумением.

Я поскорее взглянул на него: он решительно не понимал меня, не понимал, чего я добиваюсь. Но зато я понял его в это мгновение совершенно. В первый раз теперь одна мысль, уже давно неясно во мне

шевелившаяся и меня преследовавшая, разъяснилась мне окончательно, и я вдруг понял то, о чем до сих пор плохо догадывался. Я понял, что меня никогда не примут в товарищество, будь я разарестант, хоть на веки вечные, хоть особого отделения. Но особенно остался мне в памяти вид Петрова в эту минуту. В его вопросе: «Какой же вы нам товарищ?» — слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение. Я думал: нет ли в этих словах какой-нибудь иронии, злобы, насмешки? Ничего не бывало: просто не товарищ, да и только. Ты иди своей дорогой, а мы своей; у тебя свои дела, а у нас свои.

И действительно, я было думал, что после претензии они просто загрызут нас и нам житья не будет. Ничуть не бывало: ни малейшего упрека, ни малейшего намека на упрек мы не слыхали, никакой особенной злобы не прибавилось. Просто пилили нас понемногу при случае, как и прежде пилили, и больше ничего. Впрочем, не сердились тоже нимало и на всех тех, которые не хотели показывать претензию и оставались на кухне, равно как и на тех, которые из первых крикнули, что всем довольны. Даже и не помянул об этом никто. Особенно последнего я не мог понять.

## VIII
## Товарищи

Меня, конечно, более тянуло к своим, то есть к «дворянам», особенно в первое время. Но из троих бывших русских дворян, находившихся у нас в остроге (Акима Акимыча, шпиона А-ва и того, которого считали отцеубийцею), я знался и говорил только с Акимом Акимычем. Признаться, я подходил к Акиму Акимычу, так сказать, с отчаяния, в минуты самой сильной скуки и когда уже ни к кому, кроме него, подойти не предвиделось. В прошлой главе я было попробовал рассортировать всех наших людей на разряды, но теперь, как припомнил Акима Акимыча, то думаю, что можно еще прибавить один разряд. Правда, что он один его и составлял. Это — разряд совершенно равнодушных каторжных. Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы всё равно жить что на воле, что в каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло, но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в остроге так, как будто

всю жизнь собирался прожить в нем: всё вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нем и следа. Пробыть в остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь подумал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кой-какими услугами; но иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще более усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое. А я от тоски-то и заговаривал с ним. Жаждешь, бывало, хоть какого-нибудь живого слова, хоть желчного, хоть нетерпеливого, хоть злобы какой-нибудь: мы бы уж хоть позлились на судьбу нашу вместе; а он молчит, клеит свои фонарики или расскажет о том, какой у них смотр был в таком-то году, и кто был начальник дивизии, и как его звали по имени и отчеству, и доволен был он смотром или нет, и как застрельщикам сигналы были изменены и проч. И всё таким ровным, таким чинным голосом, точно вода капает по капле. Он даже почти совсем не воодушевлялся, когда рассказывал мне, что за участие в каком-то деле на Кавказе удостоился получить «святыя Анны» на шпагу. Только голос его становился в эту минуту как-то необыкновенно важен и солиден; он немного понижал его, даже до какой-то таинственности, когда произносил «святыя Анны», и после этого минуты на три становился как-то особенно молчалив и солиден… В этот первый год у меня бывали глупые минуты, когда я (и всегда как-то вдруг) начинал почти ненавидеть Акима Акимыча, неизвестно за что, и молча проклинал судьбу свою за то, что она поместила меня с ним на нарах голова с головою. Обыкновенно через час я уже укорял себя за это. Но это было только в первый год; впоследствии я совершенно примирился в душе с Акимом Акимычем и стыдился моих прежних глупостей. Наружно же мы, помнится, с ним никогда не ссорились.

Кроме этих троих русских, других в мое время перебывало у нас восемь человек. С некоторыми из них я сходился довольно коротко и даже с удовольствием, но не со всеми. Лучшие из них были какие-то болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени. С двумя из них я впоследствии просто перестал говорить. Образованных из них было только трое: Б-ский, М-кий и старик Ж-кий, бывший

прежде где-то профессором математики, — старик добрый, хороший, большой чудак и, несмотря на образование, кажется, крайне ограниченный человек. Совсем другие были М-кий и Б-кий. С М-ким я хорошо сошелся с первого раза; никогда с ним не ссорился, уважал его, но полюбить его, привязаться к нему я никогда не мог. Это был глубоко недоверчивый и озлобленный человек, но умевший удивительно хорошо владеть собой. Вот это-то слишком большое уменье и не нравилось в нем: как-то чувствовалось, что он никогда и ни перед кем не развернет всей души своей. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Это была натура сильная и в высшей степени благородная. Чрезвычайная, даже несколько иезуитская ловкость и осторожность его в обхождении с людьми выказывала его затаенный, глубокий скептицизм. А между тем это была душа, страдающая именно этой двойственностью: скептицизма и глубокого, ничем непоколебимого верования в некоторые свои особые убеждения и надежды. Несмотря, однако же, на всю житейскую ловкость свою, он был в непримиримой вражде с Б-м и с другом его Т-ским. Б-кий был больной, несколько наклонный к чахотке человек, раздражительный и нервный, но в сущности предобрый и даже великодушный. Раздражительность его доходила иногда до чрезвычайной нетерпимости и капризов. Я не вынес этого характера и впоследствии разошелся с Б-м, но зато никогда не переставал любить его; а с М-ким и не ссорился, но никогда его не любил. Разойдясь с Б-м, так случилось, что я тотчас же должен был разойтись и с Т-ским, тем самым молодым человеком, о котором я упоминал в предыдущей главе, рассказывая о нашей претензии. Это было мне очень жаль. Т-ский был хоть и необразованный человек, но добрый, мужественный, славный молодой человек, одним словом. Всё дело было в том, что он до того любил и уважал Б-го, до того благоговел перед ним, что тех, которые чуть-чуть расходились с Б-м, считал тотчас же почти своими врагами. Он и с М-м, кажется, разошелся впоследствии за Б-го, хотя долго крепился. Впрочем, все они были больные нравственно, желчные, раздражительные, недоверчивые. Это понятно: им было очень тяжело, гораздо тяжелее, чем нам. Были они далеко от своей родины. Некоторые из них были присланы на долгие сроки, на десять, на двенадцать лет, а главное, они с глубоким предубеждением смотрели на всех окружающих, видели в каторжных одно только зверство и не могли, даже не хотели, разглядеть в них ни одной доброй черты, ничего

человеческого, и что тоже очень было понятно: на эту несчастную точку зрения они были поставлены силою обстоятельств, судьбой. Ясное дело, что тоска душила их в остроге. С черкесами, с татарами, с Исаем Фомичом они были ласковы и приветливы, но с отвращением избегали всех остальных каторжных. Только один стародубский старовер заслужил их полное уважение. Замечательно, впрочем, что никто из каторжных в продолжение всего времени, как я был в остроге, не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей, что встречается в нашем простонародье относительно иностранцев, преимущественно немцев, хотя, впрочем, и очень редко. Впрочем, над немцами только разве смеются; немец представляет собою что-то глубоко комическое для русского простонародья. С нашими же каторжные обращались даже уважительно, гораздо более, чем с нами, русскими, и нисколько не *трогали* их. Но те, кажется, никогда этого не хотели заметить и взять в соображение. Я заговорил о Т-ском. Это он, когда их переводили из места первой их ссылки в нашу крепость, нес Б-го на руках в продолжение чуть не всей дороги, когда тот, слабый здоровьем и сложением, уставал почти с полэтапа. Они присланы были прежде в У-горск[*]. Там, рассказывали они, было им хорошо, то есть гораздо лучше, чем в нашей крепости. Но у них завелась какая-то, совершенно, впрочем, невинная, переписка с другими ссыльными из другого города, и за это их троих нашли нужным перевести в нашу крепость, ближе на глаза к нашему высшему начальству. Третий товарищ их был Ж-кий. До их прибытия М-кий был в остроге один. То-то он должен был тосковать в первый год своей ссылки!

Этот Ж-кий был тот самый вечно молившийся богу старик, о котором я уже упоминал. Все наши политические преступники были народ молодой, некоторые даже очень; один Ж-кий был лет уже с лишком пятидесяти. Это был человек, конечно, честный, но несколько странный. Товарищи его, Б-кий и Т-кий, его очень не любили, даже не говорили с ним, отзываясь о нем, что он упрям и вздорен. Не знаю, насколько они были в этом случае правы. В остроге, как и во всяком таком месте, где люди сбираются в кучу не волею, а насильно, мне кажется, скорее можно поссориться и даже возненавидеть друг друга, чем на воле. Много обстоятельств тому способствует. Впрочем, Ж-кий был действительно человек довольно тупой и, может быть, неприятный. Все остальные его товарищи были тоже с ним не в ладу. Я с ним хоть и

никогда не ссорился, но особенно не сходился. Свой предмет, математику, он, кажется, знал. Помню, он всё мне силился растолковать на своем полурусском языке какую-то особенную, им самим выдуманную астрономическую систему. Мне говорили, что он это когда-то напечатал, но над ним в ученом мире только посмеялись. Мне кажется, он был несколько поврежден рассудком По целым дням он молился на коленях богу, чем снискал общее уважение каторги и пользовался им да самой смерти своей. Он умер в нашем госпитале после тяжкой болезни, на моих глазах. Впрочем, уважение каторжных он приобрел с самого первого шагу в острог после своей истории с нашим майором. В дороге от У-горска до нашей крепости их не брили, и они обросли бородами, так что когда их прямо привели к плац-майору, то он пришел в бешеное негодование на такое нарушение субординации, в чем, впрочем, они вовсе не были виноваты.

— В каком они виде! — заревел он. — Это бродяги, разбойники!

Ж-кий, тогда еще плохо понимавший по-русски и подумавший, что их спрашивают: кто они такие? бродяги или разбойники? — отвечал:

— Мы не бродяги, а политические преступники.

— Ка-а-к! Ты грубить? грубить! — заревел майор. — В кордегардию! сто розог, сей же час, сию же минуту

Старика наказали. Он лег под розги беспрекословно, закусил себе зубами руку и вытерпел наказание без малейшего крика или стона, не шевелясь. Б-кий и Т-кий тем временем уже вошли в острог, где М-кий уже поджидал их у ворот и прямо бросился к ним на шею, хотя до сих пор никогда их не видывал. Взволнованные от майорского приема, они рассказали ему всё о Ж-ком. Помню, как М-кий мне рассказывал об этом: «Я был вне себя, — говорил он, — я не понимал, что со мною делается, и дрожал, как в ознобе. Я ждал Ж-го у ворот. Он должен был прийти прямо из кордегардии, где его наказывали. Вдруг отворилась калитка: Ж-кий, не глядя ни на кого, с бледным лицом и с дрожавшими бледными губами, прошел между собравшихся на дворе каторжных, уже узнавших, что наказывают дворянина, вошел в казарму, прямо к своему месту, и, ни слова не говоря, стал на колени и начал молиться богу. Каторжные были поражены и даже растроганы. Как увидал я этого старика, — говорил М-кий, — седого, оставившего у себя на родине жену, детей, как увидал я его на коленях, позорно наказанного и молящегося, — я бросился за казармы и целых два часа был как без

памяти; я был в исступлении…» Каторжные стали очень уважать Ж-го с этих пор и обходились с ним всегда почтительно. Им особенно понравилось, что он не кричал под розгами. Надобно, однако ж, сказать всю правду: по этому примеру отнюдь нельзя судить об обращении начальства в Сибири с ссыльными из дворян, кто бы они ни были, эти ссыльные, русские или поляки. Этот пример только показывает, что можно нарваться на лихого человека, и, конечно, будь этот лихой человек где-нибудь отдельным и старшим командиром, то участь ссыльного, в случае, если б его особенно невзлюбил этот лихой командир, была бы очень плохо обеспечена. Но нельзя не признаться, что самое высшее начальство в Сибири, от которого зависит тон и настрой всех прочих командиров, насчет ссыльных дворян очень разборчиво и даже в иных случаях норовит дать им поблажку в сравнении с остальными каторжными, из простонародия. Причины тому ясные: эти высшие начальники, во-первых, сами дворяне; во-вторых, случалось еще прежде, что некоторые из дворян не ложились под розги и бросались на исполнителей, отчего происходили ужасы; а в-третьих, и, мне кажется, это главное, уже давно, еще лет тридцать пять тому назад, в Сибирь явилась вдруг, разом, большая масса ссыльных дворян[*], и эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так по всей Сибири, что начальство уже по старинной, преемственной привычке поневоле глядело в мое время на дворян-преступников известного разряда иными глазами, чем на всех других ссыльных. Вслед за высшим начальством привыкли глядеть такими же глазами и низшие командиры, разумеется заимствуя этот взгляд и тон свыше, повинуясь, подчиняясь ему. Впрочем, многие из этих низших командиров глядели тупо, критиковали про себя высшие распоряжения и очень, очень рады бы были, если б им только не мешали распорядиться по-своему. Но им не совсем это позволяли. Я имею твердое основание так думать, и вот почему. Второй разряд каторги, в котором я находился и состоявший из крепостных арестантов под военным начальством, был несравненно тяжеле остальных двух разрядов, то есть третьего (заводского) и первого (в рудниках). Тяжеле он был не только для дворян, но и для всех арестантов именно потому, что начальство и устройство этого разряда — всё военное, очень похожее на арестантские роты в России. Военное начальство строже, порядки теснее, всегда в цепях, всегда под конвоем, всегда под замком:

а этого нет в такой силе в первых двух разрядах. Так по крайней мере говорили все наши арестанты, и между ними были знатоки дела. Они все с радостью пошли бы в первый разряд, считающийся в законах тягчайшим, и даже много раз мечтали об этом. Об арестантских же ротах в России все наши, которые были там, говорили с ужасом и уверяли, что во всей России нет тяжеле места, как арестантские роты по крепостям, и что в Сибири рай сравнительно с тамошней жизнью. Следственно, если при таком строгом содержании, как в нашем остроге, при военном начальстве, на глазах самого генерал-губернатора, и, наконец, ввиду таких случаев (иногда бывавших), что некоторые посторонние, но официозные люди, по злобе или по ревности к службе, готовы были тайком донести куда следует, что такого-то, дескать, разряда преступникам такие-то неблагонамеренные командиры дают поблажку, — если в таком месте, говорю я, на преступников-дворян смотрели несколько другими глазами, чем на остальных каторжных, то тем более смотрели на них гораздо льготнее в первом и третьем разряде. Следственно, по тому месту, где я был, мне кажется, я могу судить в этом отношении и о всей Сибири. Все слухи и рассказы, доходившие до меня на этот счет от ссыльных первого и третьего разрядов, подтверждали мое заключение. В самом деле, на всех нас, дворян, в нашем остроге начальство смотрело внимательнее и осторожнее. Поблажки нам насчет работы и содержания не было решительно никакой: те же работы, те же кандалы, те же замки — одним словом, всё то же самое, что и у всех арестантов. Да и облегчить-то нельзя было. Я знаю, что в этом городе в то *недавнее давнопрошедшее* время[*] было столько доносчиков, столько интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку! Итак, всякий побаивался, и мы жили наравне со всеми каторжными, но относительно телесного наказания было некоторое исключение. Правда, нас бы чрезвычайно удобно высекли, если б мы заслужили это, то есть проступились в чем-нибудь. Этого требовал долг службы и равенства — перед телесным наказанием. Но так, зря, легкомысленно нас все-таки бы не высекли, а с простыми арестантами такого рода легкомысленное обращение, разумеется, случалось, особенно при некоторых субалтерных командирах и охотниках распорядиться и внушить при всяком удобном случае. Нам известно

было, что комендант, узнав об истории с стариком Ж-ким, очень вознегодовал на майора и внушил ему, чтоб он на будущее время изволил держать руки покороче. Так рассказывали мне все. Знали тоже у нас, что сам генерал-губернатор, доверявший нашему майору и отчасти любивший его как исполнителя и человека с некоторыми способностями, узнав про эту историю, тоже выговаривал ему. И майор наш принял это к сведению. Уж как, например, ему хотелось добраться до М-го, которого он ненавидел через наговоры А-ва, но он никак не мог его высечь, хотя и искал предлога, гнал его и подыскивался к нему. Об истории Ж-го скоро узнал весь город, и общее мнение было против майора; многие ему выговаривали, иные даже с неприятностями. Вспоминаю теперь и мою первую встречу с плац-майором. Нас, то есть меня и другого ссыльного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали еще в Тобольске рассказами о неприятном характере этого человека. Бывшие там в это время старинные двадцатипятилетние ссыльные из дворян, встретившие нас с глубокой симпатией и имевшие с нами сношения всё время, как мы сидели на пересыльном дворе, предостерегали нас от будущего командира нашего и обещались сделать всё, что только могут, через знакомых людей, чтоб защитить нас от его преследования. В самом деле, три дочери генерал-губернатора[*], приехавшие из России и гостившие в то время у отца, получили от них письма и, кажется, говорили ему в нашу пользу. Но что он мог сделать? Он только сказал майору, чтоб он был несколько поразборчивее. Часу в третьем пополудни мы, то есть я и товарищ мой, прибыли в этот город, и конвойные прямо повели нас к нашему повелителю. Мы стояли в передней, ожидая его. Между тем уже послали за острожным унтер-офицером. Как только явился он, вышел и плац-майор. Багровое, угреватое и злое лицо его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину.

— Как тебя зовут? — спросил он моего товарища. Он говорил скоро, резко, отрывисто и, очевидно, хотел произвести на нас впечатление.

— Такой-то.

— Тебя? — продолжал он, обращаясь ко мне, уставив на меня свои очки.

— Такой-то.

— Унтер-офицер! сейчас их в острог, выбрить в кордегардии по-гражданскому, немедленно, половину головы; кандалы перековать завтра же. Это какие шинели? откуда получили? — спросил он вдруг, обратив внимание на серые капоты с желтыми кругами на спинах, выданные нам в Тобольске и в которых мы и предстали пред его светлые очи. — Это новая форма! Это, верно, какая-нибудь новая форма… Еще проектируется… из Петербурга… — говорил он, повертывая нас поочередно. — С ними нет ничего? — спросил он вдруг конвоировавшего нас жандарма.

— Собственная одежда есть, ваше высокоблагородие, — отвечал жандарм, как-то мгновенно вытянувшись, даже с небольшим вздрагиванием. Его все знали, все о нем слышали, он всех пугал.

— Всё отобрать. Отдать им только одно белье, и то белое, а цветное, если есть, отобрать. Остальное всё продать с аукциона. Деньги записать в приход. Арестант не имеет собственности, — продолжал он, строго посмотрев на нас. — Смотрите же, вести себя хорошо! чтоб я не слыхал! Не то… телес-ным на-казанием! За малейший проступок — р-р-розги!..*

Весь этот вечер я с непривычки был почти болен от этого приема. Впрочем, впечатление усилилось и тем, что я увидел в остроге; но о вступлении моем в острог я уже рассказывал. Я упомянул сейчас, что нам не делали и не смели делать никакой поблажки, никакого облегчения перед прочими арестантами в работе. Но один раз, однако, попробовали сделать: я и Б-кий целых три месяца ходили в инженерную канцелярию в качестве писарей. Но это сделали шито-крыто, и сделало инженерное начальство. То есть прочие все, пожалуй, кому надо было, знали, но делали вид, что не знали. Это случилось еще при командире команды Г-ве*. Подполковник Г-ков упал к нам как с неба, пробыл у нас очень недолго, — если не ошибаюсь, не более полугода, даже и того меньше, — и уехал в Россию, произведя необыкновенное впечатление на всех арестантов. Его не то что любили арестанты, его они обожали, если только можно употребить здесь это слово. Как он это сделал, не знаю, но он завоевал их с первого разу. «Отец, отец! отца не надо!» — говорили поминутно арестанты во всё время его управления инженерною частью. Кутила он был, кажется, ужаснейший. Небольшого роста, с дерзким, самоуверенным взглядом. Но вместе с тем он был ласков с арестантами, чуть не до нежностей, и действительно буквально

любил их, как отец. Отчего он так любил арестантов — сказать не могу, но он не мог видеть арестанта, чтоб не сказать ему ласкового, веселого слова, чтоб не посмеяться с ним, не пошутить с ним, и, главное, — ни капли в этом не было чего-нибудь начальственного, хоть чего-нибудь обозначавшего неравную или чисто начальничью ласку. Это был свой товарищ, свой человек в высочайшей степени. Но, несмотря на весь этот инстинктивный демократизм его, арестанты ни разу не проступились перед ним в какой-нибудь непочтительности, фамильярности. Напротив. Только всё лицо арестанта расцветало, когда он встречался с командиром, и, снявши шапку, он уже смотрел улыбаясь, когда тот подходил к нему. А если тот заговорит — как рублем подарит. Бывают же такие популярные люди. Смотрел он молодцом, ходил прямо, браво. «Орел!» — говорят, бывало, о нем арестанты. Облегчить их он, конечно, ничем не мог; заведовал он только одними инженерными работами, которые и при всех других командирах шли в своем всегдашнем, раз заведенном законном порядке. Разве только, встретив случайно партию на работе, видя, что дело кончено, не держит, бывало, лишнего времени и отпустит до барабана. Но нравилась его доверенность к арестанту, отсутствие мелкой щепетильности и раздражительности, совершенное отсутствие иных оскорбительных форм в начальнических отношениях. Потеряй он тысячу рублей — я думаю, первый вор из наших, если б нашел их, отнес бы к нему. Да, я уверен, что так было бы. С каким глубоким участием узнали арестанты, что их орел-командир поссорился насмерть с нашим ненавистным майором. Это случилось в первый же месяц по его прибытии. Наш майор был когда-то его сослуживец. Они встретились после долгой разлуки как друзья и закутили было вместе. Но вдруг у них порвалось. Они поссорились, и Г-в сделался ему смертельным врагом. Слышно было даже, что они подрались при этом случае, что с нашим майором могло случиться: он часто дирался. Как услышали это арестанты, радости их не было конца. «Осьмиглазому ли с таким ужиться! тот орел, а наш…», и тут обыкновенно прибавлялось словцо, неудобное в печати. Ужасно интересовались у нас тем, кто из них кого поколотил. Если б слух об их драке оказался неверным (что, может быть, так и было), то, кажется, нашим арестантикам было бы это очень досадно. «Нет, уж наверно командир одолел, — говорили они, — он маленький, да удаленький, а тот, слышь, под кровать от него залез». Но скоро Г-ков уехал, и арестанты опять впали в уныние. Инженерные

командиры были у нас, правда, все хороши: при мне сменилось их трое или четверо; «да всё не нажить уж такого, — говорили арестанты, — орел был, орел и заступник». Вот этот-то Г-ков очень любил всех нас, дворян, и под конец велел мне и Б-му ходить иногда в канцелярию. По отъезде же его это устроилось более правильным образом. Из инженеров были люди (из них особенно один), очень нам симпатизировавшие[*]. Мы ходили, переписывали бумаги, даже почерк наш стал совершенствоваться, как вдруг от высшего начальства последовало немедленное повеление поворотить нас на прежние работы: кто-то уж успел донести![*] Впрочем, это и хорошо было: канцелярия стала нам обоим очень надоедать. Потом мы года два почти неразлучно ходили с Б-м на одни работы, чаще же всего в мастерскую. Мы с ним болтали; говорили об наших надеждах, убеждениях. Славный был он человек; но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. Часто у некоторого разряда людей, очень умных, устанавливаются иногда совершенно парадоксальные понятия. Но за них столько было в жизни выстрадано, такою дорогою ценою они достались, что оторваться от них уже слишком больно, почти невозможно. Б-кий с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был и правее меня, не знаю; но мы наконец расстались, и это было мне очень больно: мы уже много разделили вместе.

Между тем М-кий с годами всё как-то становился грустнее и мрачнее. Тоска одолевала его. Прежде, в первое мое время в остроге, он был сообщительнее, душа его все-таки чаще и больше вырывалась наружу. Уже третий год жил он в каторге в то время, как я поступил. Сначала он многим интересовался из того, что в эти два года случилось на свете и об чем он не имел понятия, сидя в остроге; расспрашивал меня, слушал, волновался. Но под конец, с годами, всё это как-то стало в нем сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою. Озлобление росло в нем более и более. «Je haïs ces brigands»[*], — повторял он мне часто, с ненавистью смотря на каторжных, которых я уже успел узнать ближе, и никакие доводы мои в их пользу на него не действовали. Он не понимал, что я говорю; иногда, впрочем, рассеянно соглашался; но назавтра же опять повторял: «Je haïs ces brigands». Кстати: мы с ним часто говорили по-французски, и за это один пристав над работами, инженерный солдат Дранишников, неизвестно по какому

соображению, прозвал нас фершелами. М-кий воодушевлялся, только вспоминая про свою мать. «Она стара, она больная, — говорил он мне, — она любит меня более всего на свете, а я здесь не знаю, жива она или нет? Довольно уж для нее того, что она знала, как меня гоняли сквозь строй…» М-кий был не дворянин и перед ссылкой был наказан телесно. Вспоминая об этом, он стискивал зубы и старался смотреть в сторону. В последнее время он всё чаще и чаще стал ходить один. Раз поутру, в двенадцатом часу, его потребовали к коменданту. Комендант вышел к нему с веселой улыбкой.

— Ну, М-кий, что ты сегодня во сне видел? — спросил он его.

«Я так и вздрогнул, — рассказывал, воротясь к нам, М-кий. — Мне будто сердце пронзило».

— Видел, что письмо от матери получил, — отвечал он.

— Лучше, лучше! — возразил комендант. — Ты свободен! Твоя мать просила… просьба ее услышана. Вот письмо ее, а вот и приказ о тебе. Сейчас же выйдешь из острога.

Он воротился к нам бледный, еще не очнувшийся от известия. Мы его поздравляли. Он жал нам руки своими дрожащими, похолодевшими руками. Многие арестанты тоже поздравляли его и рады были его счастью.

Он вышел на поселенье и остался в нашем же городе. Вскоре ему дали место. Сначала он часто приходил к нашему острогу и, когда мог, сообщал нам разные новости. Преимущественно политические очень интересовали его.

Из остальных четырех, то есть кроме М-го, Т-го, Б-го и Ж-го, двое были еще очень молодые люди, присланные на короткие сроки, малообразованные, но честные, простые, прямые. Третий, А-чуковский, был уж слишком простоват и ничего особенного не заключал в себе, но четвертый, Б-м, человек уже пожилой, производил на всех нас прескверное впечатление. Не знаю, как он попал в разряд таких преступников, да и сам он отрицал это. Это была грубая, мелкомещанская душа, с привычками и правилами лавочника, разбогатевшего на обсчитанные копейки. Он был безо всякого образования и не интересовался ничем, кроме своего ремесла. Он был маляр, но маляр из ряду вон, маляр великолепный. Скоро начальство узнало о его способностях, и весь город стал требовать Б-ма для малеванья стен и потолков. В два года он расписал почти все казенные

квартиры. Владетели квартир платили ему от себя, и жил он таки небедно. Но всего лучше было то, что на работу с ним стали посылать и других его товарищей. Из троих, ходивших с ним постоянно, двое научились у него ремеслу, и один из них, Т-жевский, стал малевать не хуже его. Наш плац-майор, занимавший тоже казенный дом, в свою очередь потребовал Б-ма и велел расписать ему все стены и потолки. Тут уж Б-м постарался: у генерал-губернатора не было так расписано. Дом был деревянный, одноэтажный, довольно дряхлый и чрезвычайно шелудивый снаружи: расписано же внутри было, как во дворце, и майор был в восторге… Он потирал руки и поговаривал, что теперь непременно женится. «При такой квартире нельзя не жениться», — прибавлял он очень серьезно. Б-мом был он всё более и более доволен, а чрез него и другими, работавшими с ним вместе. Работа шла целый месяц. В этом месяце майор совершенно изменил свое мнение о всех наших и начал им покровительствовать. Дошло до того, что однажды вдруг он потребовал к себе из острога Ж-го.

— Ж-кий! — сказал он, — я тебя оскорбил. Я тебя высек напрасно, я знаю это. Я раскаиваюсь. Понимаешь ты это? Я, *я, я* — раскаиваюсь!

Ж-кий отвечал, что он это понимает.

— Понимаешь ли ты, что я, *я,* твой начальник, призвал тебя с тем, чтоб просить у тебя прощения! Чувствуешь ли ты это? Кто *ты* передо мной? червяк! меньше червяка: ты арестант! а я — божьею милостью * майор. Майор! понимаешь ли ты это?

Ж-кий отвечал, что и это понимает.

— Ну, так теперь я мирюсь с тобой. Но чувствуешь ли, чувствуешь ли это вполне, во всей полноте? Способен ли ты это понять и почувствовать? Сообрази только: я, я, майор… и т. д.

Ж-кий сам рассказывал мне всю эту сцену. Стало быть, было же и в этом пьяном, вздорном и беспорядочном человеке человеческое чувство. Взяв в соображение его понятия и развитие, такой поступок можно было считать почти великодушным. Впрочем, пьяный вид, может быть, тому много способствовал.

Мечта его не осуществилась: он не женился, хотя уж совершенно было решился, когда кончили отделывать его квартиру. Вместо женитьбы он попал под суд, и ему велено было подать в отставку. Тут уж и все старые грехи ему приплели. Прежде в этом городе он был, помнится, городничим… Удар упал на него неожиданно. В остроге

непомерно обрадовались известию. Это был праздник, торжество! Майор, говорят, ревел, как старая баба, и обливался слезами. Но делать нечего. Он вышел в отставку, пару серых продал, потом всё имение и впал даже в бедность. Мы встречали его потом в штатском изношенном сюртуке, в фуражке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но всё обаяние его прошло, только что он снял мундир. В мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. Удивительно, как много составляет мундир у этих людей.

## IX
## Побег

Вскоре после смены нашего плац-майора случились коренные изменения в нашем остроге. Каторгу уничтожили и вместо нее основали арестантскую роту военного ведомства, на основании российских арестантских рот. Это значило, что уже ссыльных каторжных второго разряда в наш острог больше не приводили. Начал же он заселяться с сей поры единственно только арестантами военного ведомства, стало быть, людьми, не лишенными прав состояния, теми же солдатами, как и все солдаты, только наказанными, приходившими на короткие сроки (до шести лет наибольше) и по выходе из острога поступавшими опять в свои батальоны рядовыми, какими были они прежде. Впрочем, возвращавшиеся в острог по вторичным преступлениям наказывались, как и прежде, двадцатилетним сроком. У нас, впрочем, и до этой перемены было отделение арестантов военного разряда, но они жили с нами потому, что им не было другого места. Теперь же весь острог стал этим военным разрядом. Само собою разумеется, что прежние каторжные, настоящие гражданские каторжные, лишенные всех своих прав, клейменые и обритые вдоль головы, остались при остроге до окончания их полных сроков; новых не приходило, а оставшиеся помаленьку отживали сроки и уходили, так что лет через десять в нашем остроге не могло остаться ни одного каторжного. Особое отделение тоже осталось при остроге, и в него всё еще от времени до времени присылались тяжкие преступники военного ведомства, впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторжных работ. Таким образом, для нас жизнь продолжалась в сущности по-прежнему: то же

содержание, та же работа и почти те же порядки, только начальство изменилось и усложнилось. Назначен был штаб-офицер, командир роты и, сверх того, четыре обер-офицера, дежуривших поочередно по острогу. Уничтожены были тоже инвалиды; вместо них учреждены двенадцать унтер-офицеров и каптенармус[*]. Завелись разделы по десяткам, завелись ефрейтора из самих арестантов, номинально разумеется, и уж само собою Аким Акимыч тотчас же оказался ефрейтором. Всё это новое учреждение и весь острог со всеми его чинами и арестантами по-прежнему остались в ведомстве коменданта как высшего начальника. Вот и всё, что произошло. Разумеется, арестанты сначала очень волновались, толковали, угадывали и раскусывали новых начальников; но когда увидели, что в сущности всё осталось по-прежнему, тотчас же успокоились, и жизнь наша пошла по-старому. Но главное то, что все были избавлены от прежнего майора; все как бы отдохнули и ободрились. Исчез запуганный вид; всяк знал теперь, что в случае нужды мог объясняться с начальником, что правого разве по ошибке накажут вместо виновного. Даже вино продолжало продаваться у нас точно так же и на тех же основаниях, как и прежде, несмотря на то что вместо прежних инвалидов настали унтер-офицеры. Эти унтер-офицеры оказались большею частью людьми порядочными и смышлеными, понимающими свое положение. Иные из них, впрочем, выказывали вначале поползновение куражиться и, конечно по неопытности, думали обращаться с арестантами, как с солдатами. Но скоро и эти поняли, в чем дело. Другим же, слишком долго не понимавшим, доказали уж сущность дела сами арестанты. Бывали довольно резкие столкновения: например, соблазнят, напоят унтер-офицера да после того и доложат ему, по-свойски разумеется, что он пил вместе с ними, а следственно… Кончилось тем, что унтер-офицеры равнодушно смотрели или, лучше, старались не смотреть, как проносят пузыри и продают водку. Мало того: как и прежние инвалиды, они ходили на базар и приносили арестантам калачей, говядину и всё прочее, то есть такое, за что могли взяться без большого зазору. Для чего это всё так переменилось, для чего завели арестантскую роту, этого уж я не знаю. Случилось уже это в последние годы моей каторги. Но два года еще суждено мне было прожить при этих новых порядках… Записывать ли всю жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Если писать по порядку, кряду, всё, что случилось и что я видел и испытал в

эти годы, можно бы, разумеется, еще написать втрое, вчетверо больше глав, чем до сих пор написано. Но такое описание поневоле станет наконец слишком однообразно. Все приключения выйдут слишком в одном и том же тоне, особенно если читатель уже успел, по тем главам, которые написаны, составить себе хоть несколько удовлетворительное понятие о каторжной жизни второго разряда. Мне хотелось представить весь наш острог и всё, что я прожил в эти годы, в одной наглядной и яркой картине. Достиг ли я этой цели, не знаю. Да отчасти и не мне судить об этом. Но я убежден, что на этом можно и кончить. К тому же меня самого берет иногда тоска при этих воспоминаниях. Да вряд ли я и могу всё припомнить. Дальнейшие годы как-то стерлись в моей памяти. Многие обстоятельства, я убежден в этом, совсем забыты мною. Я помню, например, что все эти годы, в сущности один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле. Помню, что одно только страстное желание воскресенья, обновления, новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. И я наконец скрепился: я ждал, я отсчитывал каждый день и, несмотря на то что оставалось их тысячу, с наслаждением отсчитывал по одному, провожал, хоронил его и с наступлением другого дня рад был, что остается уже не тысяча дней, а девятьсот девяносто девять. Помню, что во всё это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал всё до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, судил себя один неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего и положил твердо следовать ей. Во мне возродилась слепая вера, что я все это исполню и могу исполнить… Я ждал, я звал поскорее свободу; я хотел испробовать себя вновь, на новой борьбе. Порой захватывало меня судорожное нетерпение… Но мне больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей. Конечно, всё это одного только меня касается… Но я оттого и записал это, что, мне кажется, всякий это поймет, потому

что со всяким то же самое должно случиться, если он попадет в тюрьму на срок, в цвете лет и сил.

Но что об этом!.. Лучше расскажу еще что-нибудь, чтоб уж не кончить слишком резким отрубом.

Мне пришло в голову, что, пожалуй, кто-нибудь спросит: неужели из каторги нельзя было никому убежать и во все эти года никто у нас не бежал? Я писал уже, что арестант, пробывший два-три года в остроге, начинает уже ценить эти годы и невольно приходит к расчету, что лучше дожить остальное без хлопот, без опасностей и выйти наконец законным образом на поселение. Но такой расчет помещается только в голове арестанта, присланного не на долгий срок. Долголетний, пожалуй бы, и готов рискнуть… Но у нас как-то этого не делалось. Не знаю, трусили ль очень, присмотр ли был особенно строгий, военный, местность ли нашего города во многом не благоприятствовала (степная, открытая) — трудно сказать. Я думаю, все эти причины имели свое влияние. Действительно, убежать от нас было трудновато. А между тем и при мне случилось одно такое дело: двое рискнули, и даже из самых важных преступников…

После смены майора А-в (тот, который шпионил ему на острог) остался совершенно один, без протекции. Он был еще очень молодой человек, но характер его укреплялся и устанавливался с летами. Вообще это был человек дерзкий, решительный и даже очень смышленый. Он хоть бы и продолжал шпионить и промышлять разными подземными способами, если б ему дали свободу, но уж не попался бы теперь так глупо и нерасчетливо, как прежде, поплатившись за свою глупость ссылкой. Он упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах. Не говорю, впрочем, утвердительно. Так слышал я от наших арестантов. Говорили, что он работал в этом роде, еще когда ходил к плац-майору на кухню, и, разумеется, извлек из этого посильный доход. Одним словом, он, кажется, мог решиться на всё, чтоб переменить свою участь. Я имел случай отчасти узнать его душу: цинизм его доходил до возмутительной дерзости, до самой холодной насмешки и возбуждал непреодолимое отвращение. Мне кажется, если б ему очень захотелось выпить шкалик вина и если б шкалик можно было получить не иначе, как зарезав кого-нибудь, то он бы непременно зарезал, если б только это можно было сделать втихомолку, чтоб никто не узнал. В остроге он научился расчету. Вот на этого-то человека и обратил свое внимание

особого отделения арестант Куликов.

Я уже говорил о Куликове. Человек он был немолодой, но страстный, живучий, сильный, с чрезвычайными и разнообразными способностями. В нем была сила, и ему еще хотелось пожить; таким людям до самой глубокой старости всё еще хочется жить. И если б я стал дивиться, отчего у нас не бегут, то, разумеется, подивился бы на первого Куликова. Но Куликов решился. Кто на кого из них имел больше влияния: А-в ли на Куликова, или Куликов на А-ва? — не знаю, но оба друг друга стоили и для этого дела были люди взаимно подходящие. Они сдружились. Мне кажется, Куликов рассчитывал, что А-в приготовит паспорты. А-в был из дворян, был хорошего общества — это сулило некоторое разнообразие в будущих приключениях, только бы добраться до России. Кто знает, как они сговорились и какие у них были надежды; но, уж верно, надежды их выходили из обыкновенной рутины сибирского бродяжничества. Куликов был от природы актер, мог выбирать многие и разнообразные роли в жизни; мог на многое надеяться, по крайней мере на разнообразие. Таких людей должен был давить острог. Они сговорились бежать.

Но без конвойного бежать было невозможно. Надо было подговорить с собой вместе конвойного. В одном из батальонов, стоявших в крепости, служил один поляк, энергический человек и, может быть, достойный лучшей участи, человек уже пожилой, молодцеватый, серьезный. Смолоду, только что придя на службу в Сибирь, он бежал от глубокой тоски по родине. Его поймали, наказали и года два продержали в арестантских ротах. Когда его поворотили опять в солдаты, он одумался и стал служить ревностно, изо всех сил. За отличие его сделали ефрейтором. Это был человек с честолюбием, самонадеянный и знавший себе цену. Он так и смотрел, так и говорил, как знающий себе цену. Я несколько раз в эти годы встречал его между нашими конвойными. Мне кое-что говорили о нем и поляки. Мне показалось, что прежняя тоска обратилась в нем в ненависть, скрытую, глухую, всегдашнюю. Этот человек мог решиться на всё, и Куликов не ошибся, выбрав его товарищем. Фамилия его была Коллер. Они сговорились и назначили день. Это было в июне месяце, в жаркие дни. Климат в этом городе довольно ровный; летом погода стоит постоянная, горячая: а это и на руку бродяге. Разумеется, они никак не могли пуститься прямо с места, из крепости: весь город стоит на юру,

открытый со всех сторон. Кругом на довольно далекое пространство нет леса. Надо было переодеться в обывательский костюм, а для этого сначала пробраться в форштадт, где у Куликова издавна был притон. Не знаю, были ли форштадтские благоприятели их в полном секрете. Надо полагать, что были, хотя потом, при деле, это не совсем объяснилось. В этот год в одном углу форштадта только что начинала свое поприще одна молодая и весьма пригожая девица, по прозвищу Ванька-Танька[*], подававшая большие надежды и отчасти осуществившая их впоследствии. Звали ее тоже: огонь. Кажется, и она тут принимала некоторое участие. Куликов разорялся на нее уже целый год. Наши молодцы вышли утром на разводку и ловко устроили так, что их отправили с арестантом Шилкиным, печником и штукатурщиком, штукатурить батальонные пустые казармы, из которых солдаты давно уже вышли в лагери. А-в и Куликов отправились с ним в качестве подносчиков. Коллер подвернулся в конвойные, а так как за троими требовалось двух конвойных, то Коллеру, как старому служивому и ефрейтору, охотно поручили молодого рекрутика в видах наставления и обучения его конвойному делу. Стало быть, имели же наши беглецы сильнейшее влияние на Коллера и поверил же он им, когда после долголетней и удачной в последние годы службы он, человек умный, солидный, расчетливый, решился за ними следовать.

Они пришли в казармы. Было часов шесть утра. Кроме их, никого не было. Поработав с час, Куликов и А-в сказали Шилкину, что пойдут в мастерскую, во-первых, чтоб повидать кого-то, а во-вторых, кстати уж и захватят какой-то инструмент, который оказался в недостаче. С Шилкиным надо было вести дело хитро, то есть как можно натуральнее. Он был москвич, печник по ремеслу, из московских мещан, хитрый, пронырливый, умный, малоречивый. Наружностью он был щедушный и испитой. Ему бы век ходить в жилетке и халате, по-московски, но судьба сделала иначе, и после долгих странствий он засел у нас навсегда в особом отделении, то есть в разряде самых страшных военных преступников. Чем он заслужил такую карьеру, не знаю; но особенного недовольства в нем никогда не замечалось; вел он себя смирно и ровно; иногда только напивался как сапожник, но вел себя и тут хорошо. В секрете, разумеется, он не был, а глаза у него были зоркие. Само собою, что Куликов мигнул ему, что они идут за вином, которое припасено в мастерской еще со вчерашнего дня. Это тронуло Шилкина; он расстался

с ними без всяких подозрений и остался с одним рекрутиком, а Куликов, А-в и Коллер отправились в форштадт.

Прошло полчаса; отсутствующие не возвращались, и вдруг, спохватившись, Шилкин начал задумываться. Парень прошел сквозь медные трубы. Начал он припоминать: Куликов был как-то особенно настроен, А-в два раза как будто с ним пошептался, по крайней мере Куликов мигнул ему раза два, он это видел; теперь он это всё помнит. В Коллере тоже что-то замечалось: по крайней мере, уходя с ними, он начал читать наставления рекрутику, как вести себя в его отсутствие, а это было как-то не совсем естественно, по крайней мере от Коллера. Одним словом, чем дальше припоминал Шилкин, тем подозрительнее он становился. Время между тем шло, они не возвращались, и беспокойство его достигло крайних пределов. Он очень хорошо понимал, сколько он рисковал в этом деле: на него могли обратиться подозрения начальства. Могли подумать, что он отпустил товарищей зазнамо, по взаимному соглашению, и, если б он промедлил объявить об исчезновении Куликова и А-ва, подозрения эти получили бы еще более вероятия. Времени терять было нечего. Тут он вспомнил, что в последнее время Куликов и А-в были как-то особенно близки между собою, часто шептались, часто ходили за казармами, вдали от всех глаз. Вспомнил он, что и тогда уж что-то подумал про них… Пытливо поглядел он на своего конвойного: тот зевал, облокотясь на ружье, и невиннейшим образом прочищал пальцем свой нос, так что Шилкин и не удостоил сообщить ему своих мыслей, а просто-запросто сказал ему, чтоб он следовал за ним в инженерную мастерскую. В мастерской надо было спросить, не приходили ль они туда? Но оказалось, что там их никто не видал. Все сомнения Шилкина рассеялись: «Если б они просто пошли попить да погулять в форштадт, что иногда делал Куликов, — думал Шилкин, — то даже и этого тут быть не могло. Они бы сказались ему, потому этого не стоило бы от него таить». Шилкин бросил работу и, не заходя в казарму, отправился прямо в острог.

Было уже почти девять часов, когда он явился к фельдфебелю и объявил ему в чем дело. Фельдфебель струхнул и даже верить не хотел сначала. Разумеется, и Шилкин объявил ему всё это только в виде догадки, подозрения. Фельдфебель прямо кинулся к майору. Майор немедленно к коменданту. Через четверть часа уже взяты были все необходимые меры. Доложили самому генерал-губернатору.

Преступники были важные, и за них мог быть сильный нагоняй из Петербурга. Правильно или нет, но А-в причислялся к преступникам политическим; Куликов был особого отделения, то есть архипреступник, да еще военный вдобавок. Примеру еще не было до сих пор, чтоб бежал кто-нибудь из особого отделения. Припомнили кстати, что по правилам на каждого арестанта из особого отделения полагалось на работе по два конвойных или по крайней мере один за каждым. Правила этого не было соблюдено. Выходило, стало быть, неприятное дело. Посланы были нарочные по всем волостям, по всем окрестным местечкам, чтоб заявить о бежавших и оставить везде их приметы. Послали казаков в догоню, на ловлю; написали и в соседние уезды и губернии… Одним словом, струхнули очень. Между тем у нас в остроге началось другого рода волнение. Арестанты, по мере того как подходили с работ, тот час же узнавали в чем дело. Весть уже облетела всех Все принимали известие с какою-то необыкновенною, за таенною радостью. У всех как-то вздрогнуло сердце… Кроме того, что этот случай нарушил монотонную жизнь острога и раскопал муравейник, — побег, и такой побег, как-то родственно отозвался во всех душах и расшевелил в них давно забытые струны; что-то вроде надежды, удали, возможности переменить свою участь зашевелилось во всех сердцах. «Бежали же ведь люди: почему ж?..» И каждый при этой мысли приободрялся и с вызывающим видом смотрел на других. По крайней мере все вдруг стали какие-то гордые и свысока начали поглядывать на унтер-офицеров. Разумеется, в острог тотчас же налетело начальство. Приехал и сам комендант. Наши приободрились и смотрели смело, даже несколько презрительно и с какой-то молчаливой, строгой солидностью: «Мы, дескать, умеем дела обделывать». Само собой, что о всеобщем посещении начальства у нас тотчас же предугадали. Предугадали тоже, что непременно будут обыски, и заране всё припрятали. Знали, что начальство в этих случаях всегда крепко задним умом. Так и случилось: была большая суматоха; всё перерыли, всё переискали и — ничего не нашли, разумеется. На послеобеденную работу отправили арестантов под конвоем усиленным. Ввечеру караульные наведывались в остроге поминутно; пересчитали людей лишний раз против обыкновенного; при этом обсчитались раза два против обыкновенного. От этого вышла опять суетня: выгнали всех на двор и сосчитали сызнова. Потом просчитали еще раз по казармам… Одним словом, много было хлопот.

Но арестанты и в ус себе не дули. Все они смотрели чрезвычайно независимо и, как это всегда водится в таких случаях, вели себя необыкновенно чинно во весь этот вечер: «Ни к чему, значит, придраться нельзя». Само собою, начальство думало: «Не остались ли в остроге соумышленники бежавших?» — и велело присматривать, прислушиваться к арестантам. Но арестанты только смеялись. «Таково ли это дело, чтоб оставлять по себе соумышленников!» «Дело это тихими стопами делается, а не как иначе». «Да и такой ли человек Куликов, такой ли человек А-в, чтоб в этаком деле концов не схоронить? Сделано мастерски, шито-крыто. Народ сквозь медные трубы прошел; сквозь запертые двери пройдут!» Одним словом, Куликов и А-в возросли в своей славе; все гордились ими. Чувствовали, что подвиг их дойдет до отдаленнейшего потомства каторжных, острог переживет.

— Народ мастер! — говорили одни.

— Вот думали, что у нас не бегут. Бежали же!.. — прибавляли другие.

— Бежали! — выискался третий, с некоторою властью озираясь кругом. — Да кто бежал-то?.. Тебе, что ли пара?

В другое время арестант, к которому относились эти слова, непременно отвечал бы на вызов и защитил свою честь. Но теперь он скромно промолчал. «В самом деле, не все ж такие, как Куликов и А-в; покажи себя сначала…»

— И чего это мы, братцы, взаправду живем здесь? — прерывает молчание четвертый, скромно сидящий у кухонного окошка, говоря несколько нараспев от какого-то расслабленного, но втайне самодовольного чувства и подпирая ладонью щеку. — Что мы здесь? Жили — не люди, померли — не покойники. Э-эх!

— Дело не башмак. С ноги не сбросишь. Чего э-эх?

— Да вот же Куликов… — ввязался было один из горячих, молодой и желторотый паренек.

— Куликов! — подхватывает тотчас же другой, презрительно скосив глаза на желторотого парня. — Куликов!..

То есть это значит: много ли Куликовых-то?

— Ну и А-в же, братцы, дошлый, ух, дошлый!

— Куды! Этот и Куликова между пальцами обернет. Кольцов не найти концов!

— А далеко ль они теперь ушли, братцы, желательно знать…

И тотчас же пошли разговоры, далеко ль они ушли? и в какую сторону пошли? и где бы им лучше идти? и какая волость ближе? Нашлись люди, знающие окрестности. Их с любопытством слушали. Говорили о жителях соседних деревень и решили, что это народ неподходящий. Близко к городу, натертый народ; арестантам не дадут потачки, изловят и выдадут.

— Мужик-от тут, братцы, лихой живет. У-у-у мужик!

— Неосновательный мужик!

— Сибиряк соленые уши. Не попадайся, убьет.

— Ну, да наши-то…

— Само собой, тут уж чья возьмет. И наши не такой народ.

— А вот не помрем, так услышим.

— А ты что думал? изловят?

— Я думаю, их ни в жесть не изловят! — подхватывает другой из горячих, ударив кулаком по столу.

— Гм. Ну, тут уж как обернется.

— А я вот что, братцы, думаю, — подхватывает Скуратов, — будь я бродяга, меня бы ни в жисть не поймали!

— Тебя-то!

Начинается смех, другие делают вид, что и слушать-то не хотят. Но Скуратов уже расходился.

— Ни в жисть не поймают! — подхватывает он с энергией. — Я, братцы, часто про себя это думаю и сам на себя дивлюсь: вот, кажись, сквозь щелку бы пролез, а не поймали б.

— Небось проголодаешься, к мужику за хлебом придешь.

Общий хохот.

— За хлебом? врешь!

— Да ты что языком-то колотишь? Вы с дядей Васей коровью смерть убили, * оттого и сюда пришли.

Хохот подымается сильнее. Серьезные смотрят еще с большим негодованием.

— Ан врешь! — кричит Скуратов, — это Микитка про меня набухвостил, да и не про меня, а про Ваську, а меня уж так заодно приплели. Я москвич и сыздетства на бродяжестве испытан. Меня, как дьячок еще грамоте учил, тянет, бывало, за ухо: тверди «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей и так дальше…» А я и твержу за ним:

«Повели меня в полицию по милости твоей и так дальше…» Так вот я как с самого сызмалетства поступать начал.

Все опять захохотали. Но Скуратову того и надо было. Он не мог не дурачиться. Скоро его бросили и принялись опять за серьезные разговоры. Судили больше старики и знатоки дела. Люди помоложе и посмирнее только радовались, на них глядя, и просовывали головы послушать; толпа собралась на кухне большая; разумеется, унтер-офицеров тут не было. При них бы всего не стали говорить. Из особенно радовавшихся я заметил одного татарина, Маметку, невысокого роста, скулистого, чрезвычайно комическую фигуру. Он почти ничего не говорил по-русски и почти ничего не понимал, что другие говорят, но, туда же, просовывал голову из-за толпы и слушал, с наслаждением слушал.

— Что, Маметка, якши? — пристал к нему от нечего делать отвергнутый всеми Скуратов.

— Якши! ух, якши![*] — забормотал, весь оживляясь, Маметка, кивая Скуратову своей смешной головой, — якши!

— Не поймают их? йок?[*]

— Йок, йок! — и Маметка заболтал опять, на этот раз уже размахивая руками.

— Значит, твоя врала, моя не разобрала, так, что ли?

— Так, так, якши! — подхватил Маметка, кивая головою.

— Ну и якши!

И Скуратов, щелкнув его по шапке и нахлобучив ее ему на глаза, вышел из кухни в веселейшем расположении духа, оставив в некотором изумлении Маметку.

Целую неделю продолжались строгости в остроге и усиленные погони и поиски в окрестностях. Не знаю, каким образом, но арестанты тотчас же и в точности получали все известия о маневрах начальства вне острога. В первые дни все известия были в пользу бежавших: ни слуху ни духу, пропали, да и только. Наши только посмеивались. Всякое беспокойство о судьбе бежавших исчезло. «Ничего не найдут, никого не поймают!» — говорили у нас с самодовольствием.

— Нет ничего; пуля!

— Прощайте, не стращайте, скоро ворочусь! Знали у нас, что всех окрестных крестьян сбили на ноги, сторожили все подозрительные места, все леса, все овраги.

— Вздор, — говорили наши подсмеиваясь, — у них, верно, есть такой человек, у которого они теперь проживают.

— Беспременно есть! — говорили другие, — не такой народ; всё вперед изготовили.

Пошли еще дальше в предположениях: стали говорить, что беглецы до сих пор, может, еще в форштадте сидят, где-нибудь в погребе пережидают, пока «трелога» пройдет да волоса обрастут. Полгода, год проживут, а там и пойдут…

Одним словом, все были даже в каком-то романическом настроении духа. Как вдруг, дней восемь спустя после побега, пронесся слух, что напали на след. Разумеется, нелепый слух был тотчас же отвергнут с презрением. Но в тот же вечер слух подтвердился. Арестанты начали тревожиться. На другой день поутру стали по городу говорить, что уже изловили, везут. После обеда узнали еще больше подробностей: изловили в семидесяти верстах, в такой-то деревне. Наконец получилось точное известие. Фельдфебель, воротясь от майора, объявил положительно, что к вечеру их привезут, прямо в кордегардию при остроге. Сомневаться уже было невозможно. Трудно передать впечатление, произведенное этим известием на арестантов. Сначала точно все рассердились, потом приуныли. Потом проглянуло какое-то поползновение к насмешке. Стали смеяться, но уж не над ловившими, а над пойманными, сначала немногие, потом почти все, кроме некоторых серьезных и твердых, думавших самостоятельно и которых не могли сбить с толку насмешками. Они с презрением смотрели на легкомыслие массы и молчали про себя.

Одним словом, в той же мере как прежде возносили Куликова и А-ва, так теперь унижали их, даже с наслаждением унижали. Точно они всех чем-то обидели. Рассказывали с презрительным видом, что им есть очень захотелось, что они не вынесли голоду и пошли в деревню к мужикам просить хлеба. Это уже была последняя степень унижения для бродяги. Впрочем, эти рассказы были неверны. Беглецов выследили; они скрылись в лесу; окружили лес со всех сторон народом. Те, видя, что нет возможности спастись, сдались сами. Больше им ничего не оставалось делать.

Но когда их повечеру действительно привезли, связанных по рукам и по ногам, с жандармами, вся каторга высыпала к палям смотреть, что с ними будут делать. Разумеется, ничего не увидали, кроме майорского

и комендантского экипажа у кордегардии. Беглецов посадили в секретную, заковали и назавтра же отдали под суд. Насмешки и презрение арестантов вскоре упали сами собою. Узнали дело подробнее, узнали, что нечего было больше и делать, как сдаться, и все стали сердечно следить за ходом дела в суде.

— Пробуровят тысячу, — говорили одни.

— Куда тысячу! — говорили другие, — забьют. А-ву, пожалуй, тысячу, а того забьют, потому, братец ты мой» особого отделения.

Однако ж не угадали. А-ву вышло всего пятьсот; взяли во внимание его удовлетворительное прежнее поведение и первый проступок. Куликову дали, кажется, полторы тысячи. Наказывали довольно милосердно. Они, как люди толковые, никого перед судом не запутали, говорили ясно, точно, говорили, что прямо бежали из крепости, не заходя никуда. Всех больше мне было жаль Коллера: он всё потерял, последние надежды свои, прошел больше всех, кажется две тысячи, и отправлен был куда-то арестантом, только не в наш острог. А-ва наказали слабо, жалеючи; помогали этому лекаря. Но он куражился и громко говорил в госпитале, что уж теперь он на всё пошел, на всё готов и не то еще сделает. Куликов вел себя по-всегдашнему, то есть солидно, прилично, и, воротясь после наказания в острог, смотрел так, как будто никогда из него не отлучался. Но не так смотрели на него арестанты: несмотря на то что Куликов всегда и везде умел поддержать себя, арестанты в душе как-то перестали уважать его, как-то более запанибрата стали с ним обходиться. Одним словом, с этого побега слава Куликова сильно померкла. Успех так много значит между людьми…

## X
## Выход из каторги

Всё это случилось уже в последний год моей каторги. Этот последний год почти так же памятен мне, как и первый, особенно самое последнее время в остроге. Но что говорить о подробностях. Помню только, что в этот год, несмотря на всё мое нетерпение поскорей кончить срок, мне было легче жить, чем во все предыдущие годы ссылки. Во-первых, между арестантами у меня было уже много друзей и

приятелей, окончательно решивших, что я хороший человек. Многие из них были мне преданны и искренно любили меня. Пионер чуть не заплакал, провожая меня и товарища моего из острога, и когда мы потом, уже по выходе, еще целый месяц жили в этом городе, в одном казенном здании, он почти каждый день заходил к нам, так только, чтоб поглядеть на нас. Были, однако, и личности суровые и неприветливые до конца, которым, кажется, тяжело было сказать со мной слово — бог знает отчего. Казалось, между нами стояла какая-то перегородка.

В последнее время я вообще имел больше льгот, чем во всё время каторги. В том городе между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишние школьные товарищи.* Я возобновил с ними сношения. Через них я мог иметь больше денег, мог писать на родину и даже мог иметь книги. Уже несколько лет как я не читал ни одной книги, и трудно отдать отчет о том странном и вместе волнующем впечатлении, которое произвела во мне первая прочитанная мною в остроге книга. Помню, я начал читать ее с вечера, когда заперли казарму, и прочитал всю ночь до зари. Это был нумер одного журнала. Точно весть с того света прилетела ко мне; прежняя жизнь вся ярко и светло восстала передо мной, и я старался угадать по прочитанному: много ль я отстал от этой жизни? много ль прожили они там без меня, что их теперь волнует, какие вопросы их теперь занимают? Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинственный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным. Надо было привыкать к новому, знакомиться с новым поколеньем. Особенно бросался я на статью, под которой находил имя знакомого, близкого прежде человека… Но уже звучали и новые имена: явились новые деятели, и я с жадностью спешил с ними познакомиться и досадовал, что у меня так мало книг в виду и что так трудно добираться до них. Прежде же, при прежнем плац-майоре, даже опасно было носить книги в каторгу. В случае обыска были бы непременно запросы: «Откуда книги? где взял? Стало быть, имеешь сношения?..» А что мог я отвечать на такие запросы? И потому, живя без книг, я поневоле углублялся в самого себя, задавал себе вопросы, старался разрешить их, мучился ими иногда… Но ведь всего этого так не перескажешь!..

Поступил я в острог зимой и потому зимой же должен был выйти на волю, в то самое число месяца, в которое прибыл. С каким нетерпением я ждал зимы, с каким наслаждением смотрел в конце лета, как вянет лист на дереве и блекнет трава в степи. Но вот уже и прошло лето, завыл осенний ветер; вот уже начал порхать первый снег… Настала наконец эта зима, давно ожидаемая! Сердце мое начинало подчас глухо и крепко биться от великого предчувствия свободы. Но странное дело: чем больше истекало время и чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпеливее я становился. Около самых последних дней я даже удивился и попрекнул себя: мне показалось, что я стал совершенно хладнокровен и равнодушен. Многие встречавшиеся мне на дворе в шабашное время арестанты заговаривали со мной, поздравляли меня:

— Вот выйдете, батюшка Александр Петрович, на слободу, скоро, скоро. Оставите нас одних, бобылей.

— А что, Мартынов, вам-то скоро ли? — отвечаю я.

— Мне-то! ну, да уж что! Лет семь еще и я промаюсь…

И вздохнет про себя, остановится, посмотрит рассеянно, точно заглядывая в будущее… Да, многие искренно и радостно поздравляли меня. Мне показалось, что и все как будто стали со мной обращаться приветливее. Я, видимо, становился им уже не свой; они уже прощались со мной. К-чинский, поляк из дворян, тихий и кроткий молодой человек, тоже, как и я, любил много ходить в шабашное время по двору» Он думал чистым воздухом и моционом сохранить свое здоровье и наверстать весь вред душных казарменных ночей. «Я с нетерпением жду вашего выхода, — сказал он мне с улыбкою, встретясь однажды со мной на прогулке, — вы выйдете, и *уж я буду знать тогда,* что мне ровно год остается до выхода».

Замечу здесь мимоходом, что вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности. Арестанты преувеличивали понятие о действительной свободе, и это так естественно, так свойственно всякому арестанту. Какой-нибудь оборванный офицерский денщик считался у нас чуть не королем, чуть не идеалом свободного человека сравнительно с арестантами, оттого что он ходил небритый, без кандалов и без конвоя.

Накануне самого последнего дня, в сумерки, я обошел *в последний*

*раз* около паль весь наш острог. Сколько тысяч раз я обошел эти пали во все эти годы! Здесь за казармами скитался я в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню, как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Господи, как давно это было! Вот здесь, в этом углу, проживал в плену наш орел; вот здесь встречал меня часто Петров. Он и теперь не отставал от меня. Подбежит и, как бы угадывая мысли мои, молча идет подле меня и точно про себя чему-то удивляется. Мысленно прощался я с этими почернелыми бревенчатыми срубами наших казарм. Как неприветливо поразили они меня *тогда*, в первое время. Должно быть, и они теперь постарели против тогдашнего; но мне это было неприметно. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж всё сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?

То-то, кто виноват?

На другое утро рано, еще перед выходом на работу, когда только еще начинало светать, обошел я все казармы, чтоб попрощаться со всеми арестантами. Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в городе есть знакомство, что я тотчас же отправлюсь отсюда к *господам* и рядом сяду с этими господами, как ровный. Они это понимали и прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с барином. Иные отвертывались от меня и сурово не отвечали на мое прощание. Некоторые посмотрели даже с какою-то ненавистью.

Пробил барабан, и все отправились на работу, а я остался дома. Сушилов в это утро встал чуть не раньше всех и из всех сил хлопотал, чтоб успеть приготовить мне чай. Бедный Сушилов! он заплакал, когда я подарил ему мои арестантские обноски, рубашки, подкандальники и несколько денег. «Мне не это, не это! — говорил он, через силу сдерживая свои дрожавшие губы, — мне вас-то каково потерять[*], Александр Петрович? на кого без вас-то я здесь останусь!» В последний раз простились мы и с Акимом Акимычем.

— Вот и вам скоро! — сказал я ему.

— Мне долго-с, мне еще очень долго здесь быть-с, — бормотал он, пожимая мою руку. Я бросился ему на шею, и мы поцеловались.

Минут десять спустя после выхода арестантов вышли и мы из острога, чтоб никогда в него не возвращаться, — я и мой товарищ, с которым я прибыл. Надо было идти прямо в кузницу, чтоб расковать кандалы. Но уже конвойный с ружьем не сопровождал нас: мы пошли с унтер-офицером. Расковывали нас наши же арестанты, в инженерной мастерской. Я подождал, покамест раскуют товарища, а потом подошел и сам к наковальне. Кузнецы обернули меня спиной к себе, подняли сзади мою ногу, положили на наковальню… Они суетились, хотели сделать ловчее, лучше.

— Заклепку-то, заклепку-то повороти перво-наперво!.. — командовал старший, — установь ее, вот так, ладно… Бей теперь молотом…

Кандалы упали. Я поднял их… Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился теперь, что они сейчас были на моих же ногах.

— Ну, с богом! с богом! — говорили арестанты отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами.

Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых… Экая славная минута!

# Петербургские сновидения в стихах и прозе

— О, да будет проклята навеки моя должность — должность фельетониста!..

Не беспокойтесь, господа, это не я восклицаю! Признаюсь, что такое начало было бы слишком эксцентрично для моего фельетона. Нет, я так не воскликну, но до приезда моего в Петербург я решительно был уверен, что каждый петербургский фельетонист, принимаясь за перо, чтоб строчить свой еженедельный или ежемесячный фельетон, непременно должен так воскликнуть, садясь за письменный стол. В самом деле, рассудите, о чем писать? Приехала, напр<имер>, Ристори, и вот — всё что ни есть фельетонистов тотчас же строчит во всех фельетонах, во всех газетах и журналах, с направлением и без направления, одно и то же: Ристори, Ристори, — Ристори приехала, Ристори играет; она в «Камме», — тотчас же «Камма», «Камма», что ни развернете, везде «Камма»; в «Марии Стуарт»[*], — тотчас же «Стуарт», «Стуарт» и т. д. Так и рвут друг у друга новости! А всего досаднее то, что они действительно воображают, что это новости. Возьмешь газету, читать не хочется: везде одно и то же, уныние нападает на вас, и только согласишься, что много надо иметь хитрости, пронырливости, рутинной набивки руки и мысли, чтоб об одном и том же сказать хоть и одно и то же, но как-нибудь не в тех же словах. И теребят свой умишко несчастные и проклинают свою участь. И сколько, может быть, драм, даже чего-нибудь трагического происходит где-нибудь в сыром углу в пятом этаже, где в одной комнате помещается целая семья, голодная и холодная, а в другой сидит фельетонист, дрожит в продранном халатишке и пишет фельетон á la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях[*], теребит свои волосы, грызет перо, и всё это при обстановке совершенно не фельетонной. Но я увлекся; может быть, и ни одного такого нет фельетониста в Петербурге. Может быть, они все ездят в каретах и питаются страсбургскими пирогами… Но что? Ужели фельетон есть только перечень животрепещущих городских новостей? Кажется бы, на всё можно взглянуть своим собственным взглядом,

скрепить своею собственною мыслию, сказать свое слово, *новое слово*. Но боже мой! что вы говорите! Новое слово. Да разве каждый день можно говорить по новому слову, когда во всю жизнь, пожалуй, его не добьешься, а и услышишь, так еще и не узнаешь. Скрепить своею мыслию, говорите вы. Но какою же своею мыслью, где взять свою мысль? Отступите хоть на йоту от мыслей антрепренера*, он тотчас же откажет вам и вышлет из журнала. Ну да положим, мысль и будет, но оригинальность, но оригинальность, — где ее-то взять? Мысль ведь это все-таки не ваша. На это надо… да, на это надо ума, прозорливости, таланта! Слишком много вы хотите уж требовать от нашего фельетониста! А знаете ли, что такое иногда фельетонист (разумеется, иногда, а не всегда)? Мальчик, едва оперившийся, едва доучившийся, а часто и не учившийся, которому кажется, что так легко писать фельетон: «Он без плана, думает он, это не повесть, пиши о чем хочешь, тут посмейся, там отзовись с известного рода уважением, тут про Ристори, там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность*, про взятки например, уж непременно про взятки, и готов фельетон. Ведь мысли теперь продаются совершенно готовые, на лотках, как калачи. Составился бы только печатный лист, да и дело с концом!» Иному современному строчиле (вольный перевод слова «фельетонист») и в голову не приходит, что без жара, без смысла, без идеи, без охоты — всё будет рутиной и повторением, повторением и рутиной. Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век — это… это почти главное дело. Вольтер всю жизнь писал только одни фельетоны… Но боже мой! что я! ведь я сам пишу фельетон. Куда я заехал? Новостей! новостей!

О господа! Мне до того надоели все новости, что я не понимаю, как еще вас от них не тошнит. Вот, например, случилось что-нибудь с Андрей Александровичем!* Боже мой! Целые стаи фельетонистов налетают со всех сторон, как хищные птицы на павшую корову. Каждый хватает свой клочок, все клюют, клюют, щебечут, кричат, дерутся, как воробьи, когда они целыми тучами вдруг быстро перелетают с одного плетня на другой. Не в том дело, что они кричат: ведь и об Андрей Александровиче можно сказать, наконец, хоть и что-нибудь путное, ну, хоть занимательное. Не в том дело, а в том… но, господа, позвольте не договаривать в чем. Даже и об Андрее Александровиче не хочется говорить; переменим матерью, поговорим о

другом.

Я думаю так: если б я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эженя Сю, чтоб описывать петербургские тайны. Я страшный охотник до тайн. Я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какою-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге*, я как-то всё боялся его. Помню одно происшествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно поразило меня. Я расскажу вам его во всей подробности; а между тем, оно даже и не происшествие — просто впечатление: ну ведь я фантазер и мистик!

Помню, раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой*. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов… Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе… Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование…

Скажите, господа: не фантазер я, не мистик я с самого детства? Какое тут происшествие? что случилось? Ничего, ровно ничего, одно ощущение, а прочее всё благополучно. Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на — бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства — розог[*], так, за мрачное направление… О, вижу, вижу, как встает передо мной тучный образ покойного Фаддей Венедиктовича.

О, с каким наслаждением подхватил бы он в субботнем фельетоне мою фразу о розгах.

«Вот, смотрите, читатели и милые читательницы! — восклицал бы он четыре субботы сряду, — сами признаются, что им надобно розог. Я по крайней мере написал „Выжигина“[*], а они…» и т. д., и т. д. Но я надеюсь, что Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству[*], не пропишет мне розог.

И вот с тех пор, с того самого видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться всё такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона[*], то рыцарем на турнире, то Эдуардом Гляденингом из романа «Монастырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я… я… служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю… и в Швейцарию хочу бежать[*], и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей, ну да пусть она так и останется для меня навеки Амалией. И сколько мы романов перечитали вместе. Я ей давал книги Вальтер Скотта и

Шиллера; я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал[*], а замазывал дырочки чернилами; мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай[*] и… расчувствовались так, что я теперь еще не могу вспомнить тех вечеров без нервного сотрясения. Она мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть — вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. Я ничего не замечал; даже, может быть, замечал, но… мне приятно было читать «Kabale und Liebe»[15] или повести Гофмана[*]. И какие мы были тогда чистые, непорочные! Но Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и… непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу»[*]. Я даже подозреваю, что будь у него кошка, которую нельзя было принять за куницу, то он, может, и не решился б жениться, а еще подождал. Помню, как я прощался с Амалией: я поцеловал ее хорошенькую ручку, первый раз в жизни; она поцеловала меня в лоб и как-то странно усмехнулась, так странно, так странно, что эта улыбка всю жизнь царапала мне потом сердце. И я опять как будто немного прозрел… О, зачем она так засмеялась, — я бы ничего не заметил! Зачем всё это так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением вспоминаю про всё это, несмотря на то, что женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! Куда бы делся тогда Шиллер, свобода, ячменный кофе, и сладкие слезы, и грезы, и путешествие мое на луну… Ведь я потом ездил на луну, господа.

Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то другие сны… Прежде в углах, в Амальины времена, жил я чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было всегда принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице. И вдруг, оставшись один, я об этом задумался. И стал я разглядывать и вдруг

увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы*, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история. И если б собрать всю ту толпу, которая тогда мне приснилась, то вышел бы славный маскарад… Теперь, теперь дело другое. Теперь мне снится, пожалуй, хоть и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь. Приснилось мне недавно вот что: жил-был один чиновник, разумеется в одном департаменте. Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было*; вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутиком*, так, из ласки, когда он перебегал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к нему головы, не то чтобы выругал. Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью* и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, опустя глаза в землю и что-то пришептывая, как будто замаливал у господа свои прегрешения. Терпения не стало наконец ни у матери, ни у детей. Они жили в мезонине деревянного домика, половина которого уже обвалилась, а другая обваливалась. И когда слезы, попреки и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и проговорил, как Валаамов осел*, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он — Гарибальди!* Да! все чиновники, его сослуживцы, показали, что он уже две недели заботился об этом; вычитал он что-то случайно в подвернувшейся на столе газете. Никогда-

то он почти ни с кем не говорил и вдруг начал беспокоиться, смущаться, расспрашивать всё о Гарибальди и об итальянских делах, как Поприщин об испанских… И вот в нем образовалась мало-помалу неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей. Сознав в себе свое преступление, он дрожал день и ночь. Ни стоны жены, ни слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему на Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо — ничто, ничто уже более не занимало его. Весь божий мир скользил перед ним и улетал куда-то, земля скользила из-под ног его. Он одно только видел везде и во всем: свое преступление, свой стыд и позор. Что скажет их превосходительство, что скажет сам Дементий Иваныч, начальник отделения, что скажет, наконец, Емельян Лукич, что скажут они, они все… Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во всем, я — Гарибальди, делайте со мной что хотите!.. Ну, и сделали с ним… что надо было сделать. Когда мне приснился этот сон, я сам засмеялся над собою и над странностью моих снов. И вдруг — сон в руку. Как вам нравится, господа: вычитал я недавно из газет опять одну тайну. Действительно тайну; в газетах напечатано и истолковано, а все-таки тайну. Открылся вдруг новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота. Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова*, был некто отставной титулярный советник Соловьев, имевший около восьмидесяти лет от роду. Он нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру во-время не платил, оставшись после смерти должен за целый год. В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, страдал одышкою и грудным расстройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу*. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в его бумагах 169 022 р<убля> с<еребром>, кредитными билетами и наличными деньгами.

Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния[*], а тело умершего подлежит вскрытию… Я раздумывал об этом происшествии и приближался к Гостиному двору. Становился вечер; в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ[*]. Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по тротуарам валили прохожие… был канун рождества… И вот передо мною в толпе мелькнула какая-то фигура, не действительная, а фантастическая. Я ведь никак не могу отказаться от фантастического настроения. Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером[*]. Тогда, впрочем, я не пролез в одну щелочку. Теперь, разумеется, — седина, житейская опытность и т. д., и т. д., а между тем я все-таки остался фантазером. Фигура, скользнувшая передо мною, была в шинели на вате, старой и изношенной, которая непременно служила хозяину вместо одеяла ночью, что видно было даже с первого взгляда. Исковерканная шляпа, с обломанными полями, сбивалась на затылок. Клочки седых волос выбивались из-под нее и падали на воротник шинели. Старичок подпирался палкой. Он жевал губами и, глядя в землю, торопился куда-то, вероятно к себе домой. Дворник, сгребавший с тротуара снег, нарочно подбросил прямо на его ноги целую лопату; но старичок этого даже и не заметил. Поровнявшись со мной, он взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. Мне вдруг показалось, что мой Соловьев лицо колоссальное. Он ушел от света и удалился от всех соблазнов его к себе за ширмы. Что ему во всем этом пустом блеске, во всей этой нашей роскоши? К чему покой и комфорт? Что ему за дело до этих лиц, до этих лакеев, сидящих на каретах, до этих господ и госпож, сидящих внутри карет; до этих господ, катающихся на рысаках, и до этих господ, бредущих пешком, до этих очаровательных молодых людей, на лицах которых написана ненасытная жажда камелий и рублей серебром?.. Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?

[*].. Нет; ничего ему не надо, у него всё это есть, — там, под его подушкой, на которой наволочка еще с прошлого года. Пусть с прошлого года: он свистнет, и к нему послушно приползет всё, что ему надо. Он захочет, и многие лица осчастливят его внимательной улыбкой. Вот вино — оно бы согрело его кровь; оно бы помогло ему, и даже недорогое вино… Не надо ему никакого. Он выше всех желаний… Но когда я фантазировал таким образом, мне показалось, что я хватил не туда, что я обкрадываю Пушкина, и дело происходило совсем другим образом. Нет, это было, верно, не так. Лет шестьдесят назад Соловьев, верно, где-нибудь служил; был молод, юн, лет двадцати. Может быть, и он тоже имел увлечения, разъезжал на извозчиках, знал какую-нибудь Луизу и ходил в театр смотреть «Жизнь игрока»[*]. Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть, — одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то. И вот Акакий Акакиевич копит гроши на куницу, а он откладывает из жалованья и копит, копит на черный день, неизвестно на что, но только не на куницу. Он иногда и дрожит, и боится, и закутывается воротником шинели, когда идет по улицам, чтоб не испугаться кого-нибудь, и вообще смотрит так, будто его сейчас распекли. Проходят годы, и вот он пускает с успехом гроши свои в рост, по мелочам, чиновникам и кухаркам, под вернейшие заклады. Копится сумма, а он робеет и робеет всё больше и больше. Проходят десятки лет. У него уже таятся заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, всё копит. И сладостно, и страшно ему, и страх всё больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой-то бедный угол. Он держал было сначала у себя, в заплесневелой квартире своей, со стенами под желтой краской, кухарку и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он всё ее бранил и корил; ел картофель, пил цикорий, — и поил им кухарку, безответную и послушную. Мясо покупал он только для кошки, в месяц по фунту, и она от этого страшно мяукала, и когда мяукала и жалобно смотрела в его глаза, прося говядинки, и терлась около него, подняв хвост строкою, он гладил ее, называл ее Машей, а говядинки все-таки не давал. Всё богатство его состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и от нечего делать он посматривал на эти часы, как будто

интересуясь, который час. Но околела кошка, за кухаркой прислал муж из деревни, часы давно уже стали и развалились*. Старичок остался один, осмотрелся, пожевал губами и продал за два гроша на толкучий свои три провалившиеся стула, ломберный стол, с которого он давно уже придумал содрать сукно, чтоб употребить его на внутреннюю подкладку халата, но не употребил, а, пожевав губами, бережно сложил и спрятал в свой узелок. Продал он и часы и — отправился проживать по углам. По углам, за ширмами он спал, ел картофель, уменьшая каждый день его количество, трепетал и боялся, не доплачивал денег и, не заплатив, переезжал в другие углы, чтоб не заплатить потом и там. И сколько раз, может быть, бедная немка, его хозяйка, в папильотках и грязная, приставала к нему, чтоб он отдал ей хоть один грош своего долгу. Он только ахал и охал, говорил ей о благочестии, о долготерпении и милосердии, крестил себе рот и засыпал тревожно и с дрожью, чтоб кто-нибудь не узнал его тайны, чтоб хозяйка не проведала… И зачем он ходил в Максимилиановскую лечебницу! Зачем ему было лечиться? Для чего ему была жизнь? И предчувствовал ли он, что все его полмиллиона поступят на хранение в Управу благочиния? Впрочем, его тело хотели вскрывать, увериться, что он был сумасшедший. Мне кажется, что вскрытием не разъясняются подобные тайны. Да и какой он был сумасшедший!

Я вошел в Гостиный двор. Под арками кишела толпа людей, сквозь которую даже трудно было пробиться. Всё это покупало и запасалось на праздники. Под арками же преимущественно продавались игрушки и стояли готовые елки всех сортов, и бедные и богатые. Пред грудой игрушек стояла одна толстая дама с лорнетом и с лакеем в какой-то невозможной ливрее. Даму сопровождал курносый и чрезвычайно потертый молодой человек. Дама щебетала и выбирала игрушки; в особенности ей понравилась фигурка в синем мундире и красных панталонах.

— C'est un Zouave, c'est un Zouave, — пищала дама, — voyez, Victor, c'est un Zouave; car enfin il a… enfin c'est rouge; c'est un Zouave![16]

И дама с восторгом купила зуава.*

Недалеко от них, у другого вороха игрушек, в толпе покупателей стояли господин и госпожа и долго выбирали, что бы купить, чтоб и хорошо было и подешевле. Последнее, кажется, очень занимало господина.

— Посмотри, душенька, ведь щелкает, — говорил он своей подруге жизни, показывая ей деревянную пушечку, которая действительно щелкала. — Смотри, видишь — щелкает!

И господин несколько раз щелкнул перед глазами своей озабоченной барыни. Но той хотелось игрушку получше; она с недоумением смотрела на пушку.

— Лучше бы вот хоть эту куклу, — сказала она, безнадежно указав на нее пальцем.

— Эту куклу? гм… — проговорил господин. — Отчего же, душенька, смотри — ведь щелкает?

Его нахмуренное раздумье, серьезное, озабоченное каждым гривенником лицо свидетельствовало, что деньги доставались ему не даром. Он не решался и, с нахмуренным видом, молча, продолжал щелкать из пушечки. Я не знаю, что они купили. Я продолжал пробираться сквозь толпу, преследуемый памятью Шиллера, продаваемою мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил[*]. Изредка в толпе слышался робкий голос ребенка, украдкою просившего милостыню.

— Милостивый государь, извините, что осмеливаюсь вас беспокоить…

Я оглянулся. За мною следовал один господин, в форменном пальто, которого я подозреваю выгнанным из службы. Иначе быть не может. Они все ходят потом в форменных пальто, особенно бывшие под судом. Это господин вершков девяти росту[*], с виду лет тридцати пяти и родной братец Ноздреву и поручику Живновскому[*], в фуражке с красным околышком, с отвратительно свежим цветом лица и с необыкновенно тщательно выбритою физиономией, до того открытой и «благородной», что при взгляде на нее у вас рождалось непреодолимое желание плюнуть прямо в эту физиономию. Я его знаю; он уже мне не раз встречался на улице.

— Преследуем несчастьем. Сам давал по пятнадцати целковых нуждавшимся. Милостивый государь… с вашей стороны… если смею надеяться…

Не одного этого господина, дававшего по пятнадцати целковых нуждавшимся (надо было бы узнать, сколько *он* содрал с других нуждавшихся?), я встречал на петербургских улицах. Или мое такое несчастье, или я имею какое-нибудь особенное свойство на них

натыкаться. Я помню еще одного господина, тоже в форменном сером пальто, необыкновенно чистом и новом, с великолепнейшими бакенбардами и с благородством лица неизобразимым. Это лицо сияло здоровьем, белые руки блестели чистотою. Он придрался ко мне на немецком языке, вероятно, чтоб не компрометировать себя перед «публикой»; я не знал, как отстать от него. Такого бесстыдства я никогда еще не встречал… А какие бы из всех этих попрошаек вышли славные накатчики насосов или работники на железных дорогах! что за сила, что за здоровье! Но — благородство препятствует! И какие, должно быть, они были в свое время дантисты*…

Но встреча с пальто отвратительно благородной наружности напомнила мне другую встречу летом, в августе месяце. В тот день я имел две встречи; одна из них произвела на меня премиленькое впечатление. Я проходил по Фонтанке мимо одного барского дома. У подъезда стояла щегольская двуместная карета. Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и изящная парочка. Дама, одетая пышно и богато, прехорошенькая и премолоденькая, порхнула в карету, за нею вскочил господин, еще очень молодой человек, в блестящем военном мундире, и только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением приняла его ласку. Я разглядел всю эту мгновенную сцену сквозь стекло кареты. Они меня не приметили; карета рванулась, а я расхохотался, стоя на тротуаре. Не было сомнения, что это «молодые», делавшие визиты. Супруги после медового месяца в каретах не целуются.

Часов в пять пополудни того же дня я проходил по Вознесенскому проспекту*. Вдруг я услышал за собой робкий, слабый голос; я обернулся — передо мной стоял мальчик лет двенадцати или тринадцати, с миленьким и добрым личиком, смотревший на меня просящим и стыдливым взглядом. Он что-то говорил, но голос его прерывался и немного дрожал. Одет он был бедно, но очень чисто, в летнем легком пальто, в фуражке, но в довольно худых сапогах. Старенький шелковый галстучек был аккуратно повязан у него на шее. По всему было видно, что он принадлежал к семейству бедному, но честному и видавшему лучшие дни. И видно было, что этот галстух повязала ему сама маменька или старшая сестрица. Воротнички его довольно толстой рубашки были очень чисты. Манеры мальчика были

просты и вежливы. В усталом лице его было много благородного, искреннего выражения.

— Извините меня, что я вас беспокою, — сказал он. — Будьте так добры, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь… — Проговорив это, он слегка покраснел.

Я отступил на шаг от удивления. Так странною показалась мне его просьба.

— Но кто же вы? — проговорил я в недоумении, — и как это вы… просите. Я, право, не ожидал.

— Меня утром послали папенька и маменька к нашим родным на Петербургскую сторону. Они думали, что я там могу обедать. Но там… я не мог обедать, долго ждал и теперь иду домой; я очень устал, и мне очень хочется есть…

— А где вы живете?

— У Смольного монастыря[*]…Дайте мне шесть копеек, вот тут в лавочке есть пироги, я в окошко видел; эти пироги по шести копеек, я куплю пирог и отдохну в лавочке, а там опять пойду…

К счастью, у меня в кармане был четвертак, и я отдал его бедному мальчику.

— Скажите, кто же ваши родители? — спросил я.

— Папенька сперва служил, — отвечал мальчик, — и я ходил в гимназию. Нас четверо, сестер и братьев. А как папенька нынешнего года потерял место, я уж и не хожу в гимназию; жалованья нет, и мы теперь… очень бедны…

Вся история в нескольких словах.

Очень бедны, очень бедны!

Бедность, конечно, факт… ну, положим так — исключительный, спорить не будем. Ведь есть же и богатые, и достаточные люди; у них есть дети, милые, умные, воспитанные; им покупают зуавов, и зуавы, может быть, не помешают им быть очень хорошими людьми со временем… Ведь у нас чрезвычайно всё это странно; по неизвестному какому-то закону делается, а должен же быть закон; ведь по законам же действует природа и живет человек. А между тем все-таки странно. Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой; из специального заведения — мыслитель![*] И потому я покоен за встреченного мною мальчика. Он не пропадет; жаль, конечно, его отца, но он как-нибудь приютится, найдет себе место, обойдется. Вероятно, он уже человек

законченный. К тому же ведь и не без маленьких же несчастий на земле; да и не он один, не так ли? Но все-таки невыносимо, когда — ну хоть невольно — подумаешь, сколько грустного цинизма, сколько тяжелых впечатлений вынесет этот мальчик из своего детства. И не отразится ли этот цинизм в его нравственном развитии? А если отразится, то чем? отвращением ли к этому цинизму или одним из тех примирений, которые губят душу навеки? Этот уже мальчик учился, он уже многое понимает; он краснеет и стыдится. Он честен и уже мыслил, потому что несчастие учит мыслить, да иногда и слишком рано. Что? как же отзовется ему потом его случайное нищенство? Будет ли он вспоминать этот день с отвращением и содроганием или обратится в дармоеда в отставке, в форменном пальто и с отвратительно благородной наружностью? Но… успокоимся; к чему совершенно бесполезные вопросы? Бедность всегда исключение; все живут и живут кое-как. Общество не может быть всё богато; общество не может быть без случайных несчастий. Не правда ли? Я вам даже могу рассказать одну повесть чрезвычайно оригинальной и даже очень грациозной бедности. Но эту повесть я оставлю к концу моего фельетона. Прибавлю только, что если б все были — ну хоть только богаты, то было бы крайне однообразно, к тому же бедность развивает человека, учит его иногда добродетели[*]…не правда ли? Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею мудростию![*] Но не о Кузьме Пруткове я намерен теперь говорить. Я хочу сказать два слова о нашем Новом Поэте именно по поводу бедности. Он описывает в своем последнем фельетоне безумную петербургскую роскошь и… бедность — не в Петербурге, но на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря и вообще на оконечностях, что, как известно, уже не Петербург. Но упоминая о бедности, он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербургцах[*], в людях благонамеренных и вообще в тех гражданах Петербурга, которые в состоянии что-нибудь сделать. Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здравия, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники.[*] Конечно, этот комитет что-нибудь скажет и будет действовать наиполезнейшим образом, да и вообще это прекрасная мысль. Мы любим комитеты и уважаем их.

Посмотрите на Комитет литературного фонда: как много он сделал для пользы литераторов, с какой необыкновенной быстротой приумножает свой капитал, как деятельны все его члены, как заметна для всех их деятельность! Вот уже новый год, а уже было одно публичное чтение в пользу нуждающихся литераторов и ученых. Уже составилось, успело состояться. А ведь чтения — важная вещь. Чтения — один из главнейших доходов Литературного фонда. Сколько принесли они прошлого года денег![*] Кроме Комитета для народного здравия была еще речь одного инженера, г-на Васильева[*], о которой тоже упоминает Новый Поэт и которая, впрочем, появилась особой брошюрой. Г-н Васильев излагает свой взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга и обращает тоже внимание и на дороговизну петербургской жизни. Да, на это можно обратить внимание; это даже стоит того. Говорят, что в Петербурге нельзя теперь тратить меньше полуторы тысячи рублей серебром, а меньше тысячи для семейного человека почти уже бедность. Где же взять тысячу рублей? Конечно, если б я был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал каких-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка[*] (каждая крупица высокоталантливого человека драгоценна), — и вот уж у меня и тысяча серебром. Но ведь не все же Иваны Александровичи Гончаровы! Наконец, Новый Поэт упоминает и об мыслях г-на Лаврова в Пассаже… Ах, извините! это уже не для улучшения Петербурга. Это так, для философии. Что ж? и философия может ведь послужить к улучшению. Она украшает ум, дает ему разные мысли, ну и прочее, и всё остальное. Я вообще ужасно люблю, когда Новый Поэт говорит, например, о философии, об искусстве… и вообще про добродетель. Правда, его слова об искусстве, по поводу мыслей г-на Лаврова, немного… как бы это сказать — ну, хоть немного удивят г-на Лаврова, тем более что Новый Поэт обращается к нему с вопросом: как он об его словах думает? Но ведь нельзя же человеку знать всё, всю подноготную; судить обо всем одинаково удовлетворительно; ведь иногда и ошибается человек. Повторяю: не будь разнообразия, было бы очень скучно. Почему ж лишить этого разнообразия и Нового Поэта? Напротив, ему именно надо пожелать некоторого разнообразия, хотя мы все-таки читаем его с величайшим удовольствием, даже и в теперешнем виде, и, получая «Современник» — единственный русский журнал, в котором *все* статьи можно читать с любопытством, — мы всегда

разрезываем прежде всего Нового Поэта и г-на — бова.

В спорах голосисты,
Смелы невпопад,
Эти публицисты
Скоро замолчат.
Будут жить для целей
Мелкой суеты, —
И опять камелий
Станешь петь нам ты.*

Не соглашаюсь! Совершенно не соглашаюсь! Это стихотворение как-то случайно попалось ко мне, и я нечаянно его затвердил; но — не соглашаюсь! Конечно, всякий может иметь свои мнения. Можно не соглашаться с г-ном — бовым, но, мне кажется, я бы умер со скуки за его статьей, если б он хоть насколько-нибудь изменил характер своих указов, отдаваемых им по русской литературе:

Есть наслаждение и в дикости лесов*,
В статьях Дудышкина есть чары,
И поучительны от прозы до стихов
Литературные базары,
Есть упоение в софизмах Гымалэ,*
Есть перлы в омуте журналов,
Мил Войскобойников, сбирающий во мгле
Большую серию скандалов.*
Я это всё люблю, но ты, о критик — бов,
Для сердца ты всего дороже!
Не мысля, я скажу — ты выше всех умов,
Подумая — скажу я то же.
Ты можешь критикой воз несть иль погубить,
Тобою горд журнальный лагерь,
И равный силами с тобой лишь может быть
Один Конрад Лилиеншвагер.*

Но, кроме г-на — бова я люблю и Нового Поэта, даже больше, чем г-на — бова. Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов.* Не верю и не хочу верить. Имя его в литературе до сих пор безукоризненно и честно. Еще давно, чуть не в детстве моем я начал читать Нового Поэта. Я всегда любил воображать наружность поэтов и прозаиков, которые произвели на меня впечатление. Но, странное дело, я никак не мог добиться увидеть портрет Нового Поэта. Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского, вообще между портретами всех русских деятелей слова и мысли, изданных г-ном Мюнстером и которых уже издано теперь, может быть, до ста лиц*, и никак не мог отыскать в их числе Нового Поэта. Но довольно о Новом Поэте. Меня еще, пожалуй, обвинят в пристрастии. Я ведь заговорил о нем, собственно, по поводу одной оды, *будто бы* написанной петербургскими камелиями; чего не сочинят праздные люди! Вот эта ода:

# Ода петербургских камелий новому поэту*

Золото, роскошь, уборы алмазные
Вкруг рассыпаются нас,
Ездим мы в оперы — пышные, праздные,
Всем богачам напоказ.
Жемчуг, кораллы, с нарядами редкими,
Лошади, упряжь карет —
Всё это дал нам своими «Заметками»
Новый Поэт.

Все мы — Шарлотты, Армансы, Амелии —
Прежде не знали тех благ;
Было в презрении имя камелии,
Мы утопали в долгах;
Вдруг улыбнулось нам счастье алмазами,
Принял с восторгом нас свет,
Лишь о камелиях вышел с рассказами
Новый Поэт.*

Стал рисовать он с особой любовию
Невских гетер идеал.
Вспрянули старцы с вскипевшею кровию,
Круг молодежи восстал.
Золото в грудах снесли наши пленники,
Бедности минул и след.
Как подносил нам венок в «Современнике»
Новый Поэт.

Пусть враг прогресса, развития женского,
Дерзкий аскет нас клянет —
Новый Поэт от хулы Аскоченского
Юных камелий спасет.*

Пусть публицист занят делом Италии,
— бов порицает весь свет, —
Вновь воспоет наши плечи и талии
Новый Поэт.*

Ты, увлечен благородною целию,
Наш воспевал идеал,
И на пирах за то каждой камелией
Пит твой заздравный бокал.
Если ж стезю твою литературную
Кончишь ты в старости лет, —
Все мы почтим тебя мраморной урною,
Новый Поэт.

Шутка, милая шалость! но совершенно неправдоподобная; во-первых, ни одна из камелий не станет сочинять стихи. Вообще все подобные произведения грешат своею неправдоподобностию, хотя тем самым становятся безобидны. Так, например, известная эпиграмма в прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще о г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах*. Совершенно неправдоподобная эпиграмма! Кстати, о г-не Краевском: в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок» в шестьдесят первом году сказано, что отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский.* Это объявление произвело некоторый говор, как и известная статья в «Отечественных записках» — «Литература скандалов»; меня даже просили уведомить публику, что объявление о будущих критиках г-на Краевского должно считать самым важным и самым назойливым литературным скандалом за весь прошлый год. По-моему, это уже слишком сильно. Не так ли? Почему же г-ну Краевскому не написать хорошей критики? Он редактор «Энциклопедического лексикона». Он уже слишком двадцать лет издает журнал*. Если он до сих пор не написал, то еще нельзя сказать, что он не напишет. А впрочем, мне кажется, что известие о будущей критической деятельности г-на Краевского не совсем справедливо. Спешу

оговориться: может быть, я ошибаюсь и, во всяком случае, с нетерпением буду ждать выхода номера «Отечественных записок» с статьей почтенного редактора. Но мне все-таки кажется, что г-ну Краевскому теперь не до русской литературы; у него и без того много дела. Кроме серьезного дела, у него на плечах сорок будущих томов «Энциклопедического лексикона». Кроме «Энциклопедического лексикона», нужно поднять «Отечественные записки», сделать их поживее, посовременнее, расшевелить заснувший журнал, не то, пожалуй, не будет подписчиков… Не до литературы ему теперь!

Но несмотря на то, что ему теперь не до литературы, я, чтоб окончить о г-не Краевском, все-таки скажу, что считаю его лицом весьма полезным русской литературе, и говорю это совершенно серьезно. Если он и не писал почти ничего в продолжение всей своей литературной деятельности, то умел зато издавать журнал. Теперь это сделалось легче, но прежде было даже и очень нелегко. Журналы получили теперь у нас высокообщественное значение, и г-н Краевский, как издатель журнала, действительно, много тому способствовал. Он взглянул, между прочим, на журнал с коммерческой точки зрения (как и следовало сделать во времена г-на Краевского); в этом чувствовалась настоятельная потребность, и, положительно можно сказать, он первый придал издательскому делу серьезную деловитость коммерческого предприятия и необыкновенную аккуратность. Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она явилась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностию, неслыханною до того в русской журналистике[*]. Сознаюсь, что первый шаг важнее всего, но зато и второй шаг имеет, может быть, совсем не меньшее значение. Успех первого шага объясняют иногда случайными обстоятельствами, но успех второго шага окончательно оправдывает дело. Он доказывает всем не только возможность, но и устойчивость, но и зрелость дела. Аккуратностию и точностию своего издания г-н Краевский приучил публику верить в стойкость литературных предприятий, и эта уверенность ободрила публику и размножила подписчиков. Если г-н Краевский мало сделал как литератор, то сделал довольно как общественный деятель. Ему, как аккуратнейшему из издателей, и поручили теперь издание «Энциклопедического лексикона». Но г-ну Краевскому всегда мало одной (и опять-таки чрезвычайно важной) заслуги; он объявляет, что хочет писать критики. С богом! Но если г-ну

Краевскому вздумается, напр<имер>, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона»[*], скажет, что он принял на себя всю нравственную ответственность за статьи будущего лексикона; что он будет читать статьи по всем отраслям знания — философии, естественных наук, истории, литературы, математики; что он будет исправлять, сокращать и дополнять эти статьи по мере надобности; то тогда нам простительно будет хоть подивиться. Это будет даже уж слишком неловко. Вот это-то и насмешит, вот это-то и окомпрометирует! Я думаю, если б сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностию, то и тот насмешил бы публику[*]. Нельзя же всё знать, все науки на свете! Нельзя же всё уметь делать. Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся[*]. А г-н Краевский даже и не Шекспир…

Но, боже мой, куда я увлекся! Я всё забываю, что я фельетонист! Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Надобно писать о новостях, а я пишу об «Энциклопедическом лексиконе». Новостей! новостей! А теперь к тому же самое шумное время, середина зимы, рождество, Новый год, праздники, святки; святки! Кстати: помните ли вы стихотворение:

Перекресток, где ракитка[*]
И стоит и спит…
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.
Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут…
И вопрос раздастся звонкой:
— Как тебя зовут?

Один из петербургских мечтателей уверял меня, что тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта[*] и что будто бы в Петербурге оно должно непременно перефразироваться в такие стихи:

Переулок, где Фонтанка[*]

Мерзлая стоит…
Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.
Кто-то крадется за будкой;
Фонари горят…
И вопрос раздастся чуткой:
Кто идет? — Солдат!

Это стихотворение сентиментального мечтателя. А вот стихотворение другого мечтателя, мечтателя-прогрессиста, мечтателя-деятеля, или деятельного мечтателя:

Прогресс и ум во всем в нас видны[*]
Все наши страсти холодны,
Мы в увлечениях солидны,
Мы в наслаждениях скромны.
За ближних мы стоим горою,
Но, чтя Вольтера и Руссо,
Мы кушать устрицы порою
Не забываем у Дюссо[*].
Доходных мест, больших протекций
В душе не смея разлюбить,
На чтении публичных лекций
Талант мы рады поощрить;[*]
На пикнике, в разгаре спора,
Полиберальничать слегка,
И, быв в восторге от Сюзора,
К нему заехать с пикника.
Нас занимают виг и тори,
Рим и парламента азарт;[*]
Мы дружно хлопаем Ристори
В «Медее», «Камме» и «Стюарт».
Нас равномерно занимает:
Как изменил свой план Кавур
И что Каткову отвечает
В «Ведомостях Московских» Тур,[*]

Что сталось с Ицкой, нашим Крезом,*
Что говорил с трибуны — бов,
И как с привозным ut'diez-ом
В последний раз пропел Кравцов*
Средь благородного собранья,
Меж танцев — толк у нас один,
Что стоит гласного изгнанья
Из всех журналов Беллюстин*
Мы признаем, что развращает
Людей невежество и тьма,
Из нас никто уж не читает
Ни Кушнерева, ни Дюма.*
Служа для высших в жизни целей,
Мы все тайком со всех сторон
Содержим в роскоши камелий
И разоряем наших жен;
Проводники идей известных,
Мы о гуманности кричим,
И щедро в пользу школ воскресных
Поем и пляшем и едим.
Мы строим планы и гримасы,
Мы строим куры и дома —
И всё в пределах новой расы,
Прогресса, такта и ума.

Но бог с ними, с мечтателями! Ристори… Но все-таки прежде Ристори надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея;* все-таки надо бы сказать хоть о книгопродавческой теперешней деятельности, хоть о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою;* хоть об изданиях, предпринимаемых собственно для народного чтения*. Наконец, надо бы достать, хоть из-под земли, какую-нибудь особенную, интереснейшую новость, еще неизвестную или малоизвестную другим фельетонистам, чтоб пощеголять перед ними; но… но я всё это оставляю до другого раза! О памятнике я скажу подробнее, когда его воздвигнут; о книгопродавческой деятельности

скажу в своем месте. О воскресных школах мы намерены поместить особенную статью; об изданиях, предпринимаемых для народного чтения, — тоже. Что же касается до новости, никому не известной, то я непременно обещаюсь ее добыть для следующего фельетона, если только меня не предупредят. Остается теперь только одна Ристори…

Но, господа, мне кажется, что вы уже столько прочли о Ристори, столько слышали о Ристори, что вам наконец надоело читать об этом. Разумеется, не надоест смотреть на Ристори, и мы вот что думаем: мы лучше наглядимся сперва на нее, во всем ее репертуаре, во всем, что она намерена играть в Петербурге, и тогда… И тогда мы дадим вам о ней подробный и окончательный отчет. Итак, и об Ристори кончено. До свидания, господа, до следующего раза. Тогда я, может быть, еще что-нибудь увижу во сне, и тогда… Но до свиданья!

Ах, боже мой, и забыл! Ведь я хотел рассказать мой сон о грациозной бедности. Ведь я обещался рассказать этот сон в конце фельетона. Но нет! я и его оставлю до будущего раза. Уж лучше всё вместе. Каков рассказ будет — не знаю, но история, уверяю вас, интересная.

# Примечания

В настоящий том вошли повесть «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из Мертвого дома» и фельетон «Петербургские сновидения в стихах и в прозе», написанные и опубликованные Достоевским в 1859–1862 гг. Это было время возвращения писателя в литературу после вынужденного десятилетнего (с 1849 г.) перерыва, время выработки его новых творческих позиций.[17] На каторге Достоевский, лишенный возможности писать, не переставал внутренне готовиться к дальнейшему творчеству. Он писал А. Н. Майкову: «Я создал там <в Омске. — *Ред.*> в голове большую окончательную мою повесть. Я боялся, чтобы 1-я любовь к моему созданию не простыла, когда минут годы и когда настал бы час исполнения <…> Но выйдя из каторги, хотя всё было готово, я не писал. Я не мог писать» (письмо от 18 янв. 1856 г.). Позднее, в 1859 г., в письме к М. М. Достоевскому Федор Михайлович, сообщая о замысле нового романа, вспоминал: «Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения» (письмо от 9 окт. 1859 г.). Существует несколько свидетельств о том, что Достоевский вел какие-то записи, находясь в тюремном госпитале.[18] По всей вероятности, это была первая из дошедших до нас записных книжек писателя, так называемая «Сибирская тетрадь».[19] Л. П. Гроссман безоговорочно называет «Сибирскую тетрадь» «единственным памятником литературной работы Достоевского в Омске».[20] Пословицы, поговорки, присловья, отрывки тюремных легенд, народных песен, обрывки разговоров, точно зафиксированные здесь писателем, доносят до нас многоголосье окружения Достоевского, волнуют живой непосредственностью.

Подлинность фольклорного материала «Сибирской тетради» подтверждается наличием буквальных совпадений и близких вариантов в известных фольклорных сборниках.[21] Впоследствии записи «Сибирской тетради» стали для Достоевского своеобразным конспектом, где за отдельными фразами скрывались жизненные ситуации, характеры, рассказы каторжников. Писатель широко пользовался своей «тетрадкой каторжной» (так названа она в его записной тетради 1873–1874 гг.). Достоевский обращался к

цитированию «Сибирской тетради» 560 раз. причем более половины случаев падает на «Записки из Мертвого дома», а на «Село Степанчиково» 55 случаев.[22]

По выходе из каторги в первом же письме к брату, отправленном неофициальным путем, Достоевский писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! <…> На целые томы достанет» (письмо от 30 янв. — 22 февр. 1854 г.),

В написанном одновременно с предыдущим, глубоко задушевном и философски значительном письме к Н. Д. Фонвизиной Достоевский с грустью говорит, что «благ земных» не желает и что надо ему «только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному». Однако в Семипалатинске у рядового 7-го Сибирского линейного батальона руки были все еще скованы: ученья, смотры, «фрунтовая служба», караулы — времени совсем не оставалось, кроме того, бесконечный лихорадочный роман с М. Д. Исаевой «увлек и поглотил» его «совершенно» (письмо А. Н. Майкову от 18 янв. 1856 г.). Тем не менее на протяжении 1856–1858 гг. Достоевский в письмах постоянно обсуждал с братом, А. Н. Майковым, Е. И. Якушкиным замыслы будущих произведений. Во-первых, это «главное произведение» — «большой роман», задуманный в трех книгах и объединенный «приключениями одного лица в различные эпохи его жизни» (письмо А. Н. Майкову от 18 янв. 1856 г.); во-вторых, «комический роман», состоящий из «отдельных приключений», которые писатель в 1856 г. сшивает «в целое»,[23] кроме того, «роман из петербургского быта вроде „Бедных людей“» (письмо М. М. Достоевскому от 3 ноября 1857 г.), замыслы ряда патриотических статей и статьи об искусстве (письмо А. Е. Врангелю от 13 апр. 1856 г.). Одновременное сосуществование нескольких перекрещивающихся замыслов свидетельствует, что, скорее всего, все они были лишь в голове писателя или в виде планов и отдельных набросков. Дальше работа не продвинулась. Достоевского волновал в это время вопрос о получении разрешения на публикацию своих произведений. В марте 1856 г. он писал семипалатинскому другу, прокурору А. Е. Врангелю: «…я не верю, слышите: не верю, чтоб этого нельзя было выхлопотать» (письмо от 23 марта 1856 г.). Написанные Достоевским в 1854–1856 гг. стихотворения «На европейские события в 1854 году», «На первое июля 1856 года» и «На коронацию и заключение мира»,[24] пересланные

официальным путем в III Отделение и военному министру, свидетельствуют об отчаянных попытках писателя вновь вернуться в литературу. Достоевский обращается к своему соученику по Инженерному училищу герою Севастопольской обороны генералу Э. И. Тотлебену с просьбой ходатайствовать о «возможности выйти из военной службы и перейти в статскую», при этом он подчеркивает: «… не службу ставлю я главною целью жизни моей. Когда-то я был обнадежен благосклонным приемом публики на литературном пути. Я желал бы иметь позволение печатать <…> Есть у меня убеждение, что только на этом пути я мог бы истинно быть полезным» (письмо от 24 марта 1856 г.). Однако все попытки оставались безрезультатными. Лишь в апреле 1857 г. Достоевскому были возвращены права потомственного дворянина и тем самым дано разрешение печататься.

С этого момента творческие планы писателя обрели более конкретный характер. Он писал, что после длительного, почти в три года, периода сбора материалов в «мае м<есяце> прошлого <1857. — *Ред.*> года я сел работать начисто» (письмо М. Н. Каткову от 11 янв. 1858 г.). В начале 1858 г. у Достоевского завязываются переговоры с редакциями журналов «Русское слово» и «Русский вестник». В «Русский вестник» он предлагал для напечатания «большой роман» и, желая заинтересовать им М. Н. Каткова и добиться аванса, писал о романе в трех книгах, задуманном «на досуге, во время пребывания <… > в г. Омске». Каждая книга романа представлялась ему вещью «совершенно отдельною <…> но в три года все три книги могут быть напечатаны» (письмо от 11 янв. 1858 г.). В письмах же к М. М. Достоевскому писатель сообщал, что «большой роман» «сложен теперь в ящик» (письмо от 3 ноября 1857 г.), оставлен «до того времени, когда будет спокойствие в моей жизни и оседлость <…> намерен из него сделать мой chef d'oeuvre» (письмо от 18 янв. 1858 г.). В этом же письме он развивает перед братом свои ближайшие планы: «Теперь же вот что: у меня уже восемь лет назад составилась идея одного небольшого романа, в величину „Бедных людей“. В последнее время я, как будто знал, припомнил и создал его план вновь. Теперь всё это пригодилось. Сажусь за этот роман и пишу. Кроме того: в большом романе моем есть эпизод, вполне законченный, сам по себе хороший, но вредящий целому. Я хочу отрезать его от романа. Величиной он тоже с „Бедных людей“, только комического содержания. Есть характеры свежие».

Эпизод «из большого романа» Достоевский предполагал послать в журнал «Русское слово», с которым вел переговоры М. М. Достоевский, а М. Н. Каткову предназначил «*не большой* роман <…> но другой *небольшой*» (там же) — будущее «Село Степанчиково и его обитатели».

В письмах из Семипалатинска прямых намеков на замысел «Записок из Мертвого дома» нет. Лишь в письме к А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский говорит: «В часы, когда мне нечего делать, я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания в каторге, что было полюбопытнее. Впрочем, тут мало чисто личного. Если кончу и когда-нибудь будет очень удобный случай, то пришлю Вам экземпляр, написанный моей рукой, на память обо мне». Публиковать эти воспоминания Достоевский, видимо, в то время еще не собирался. Письмо, однако, свидетельствует о существовании не дошедшего до нас текста Достоевского. Имея в виду эти же первоначальные наброски, А. Е. Врангель вспоминал позднее: «Мне первому выпало счастье видеть Ф. М. в эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого бесподобного произведения». В письме же от 23 апреля (5 мая) 1865 г. Врангель сообщал Достоевскому: «Вообразите: я недавно только прочел, проглотил Ваши „Записки из Мертвого дома“. Прекрасно! Как хорошо охвачен характер русского человека <…> Читая — я вспомнил наши долгие беседы в Семипалатинске — всё это были личности мне известные из Ваших рассказов».[25]

П. П. Семенов-Тян-Шанский, знакомый с Достоевским с 1840-х годов, вспоминал: «В январе 1857 г. я был обрадован приездом ко мне <в Барнаул> Ф. М. Достоевского <…> По нескольку часов в день мы проводили в интересных разговорах и в чтении, глава за главой, его в то время еще неоконченных „Записок из Мертвого дома“, дополняемых устными рассказами».[26]

Воспоминания Врангеля и Семенова-Тян-Шанского написаны много позже происходивших событий, на них явно наложилось впечатление от прочитанного законченного произведения Достоевского. Аналогичных свидетельств, относящихся к семипалатинскому времени, не имеется. В этот период, возможно, были намечены и записаны Достоевским некоторые сюжеты, сценки, исповеди арестантов. Все это были только предварительные эскизы, замысел произведения не был еще оформлен. Достоевский не мог рассчитывать пока, что его записки о каторге могут быть опубликованы, не с этим он предполагал

«вернуться в литературу». Правда, 26 августа 1856 г. Александр II под давлением давно накопившегося общественного недовольства был вынужден дать амнистию политическим ссыльным. Наметилось некоторое ослабление цензуры. Но лишь в конце 1859 г., когда уже была опубликована повесть «Дядюшкин сон» и писатель был озабочен осложнениями с публикацией «Села Степанчикова», а М. М. Достоевский усиленно советовал «напомнить» о себе публике чем-нибудь необычным,[27] Достоевский в письмах к брату впервые заговорил о замысле «Записок».

Во время встречи братьев Достоевских в Твери в августе 1859 г. Федор Михайлович поделился своими ближайшими замыслами. По возвращении в Петербург Михаил Михайлович высказал в письмах свои соображения о них: «. .ты теперь колеблешься между двумя романами, и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании. Зачем ты мне рассказал сюжет? Майков раз как-то давно-давно сказал мне, что тебе стоит только рассказать сюжет, чтоб не написать его. Милейший мой, я, может быть, ошибаюсь, но твои два больших романа будут нечто в роде „Lehrjahre und Wanderungen <Годы учения и странствия *(нем.)*> Вильгельма Мейстера“. Пусть же они и пишутся, как писался „Вильгельм Мейстер“, отрывками, исподволь, годами. Тогда они и выйдут так же хороши, как и два Гетовы романа <…> Мне бы очень хотелось, чтоб в Твери ты написал что-нибудь хорошее, из ряду вон» (письмо от 21 сент. 1859 г.). Через несколько дней М. М. Достоевский советовал брату: «Тебе непременно к новому же году нужно написать что-нибудь эффектное. Всего лучше тот роман, который ты мне рассказывал <…> Прежде всего надо о себе напомнить публике чем-нибудь страстным и грациозным» (письмо от 6 окт. 1859 г.).[28] Пересказывал же Достоевский брату роман «с страстным элементом», который к октябрю, как он писал, был «уже уничтожен» (письмо от 9 окт. 1859 г.). Здесь же говорилось о двух новых замыслах. Первый из них — «„Записки из Мертвого дома“ (о каторге) <…> Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые, из записанных мною на *месте* выражений), и изображение личностей, никогда не *слыханных* в литературе, и трогательное, и, наконец, главное, — мое имя. Вспомни, что Плещеев приписывал успех своих стихотворений своему имени (понимаешь?)». Следующий замысел

вновь связан с большим произведением: «В декабре я начну роман (но не тот — м<олодой> человек, которого высекли и который попал в Сибирь). Нет. Не помнишь ли, я тебе говорил про одну „Исповедь“ — роман который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля <…> „Исповедь“ окончательно утвердит мое имя» (письмо от 9 окт. 1859 г.). [29]

Вдали от Петербурга, в Семипалатинске и Твери, Достоевский по мере возможности следил за общественной и литературной борьбой, кипевшей на страницах оживших после 1855 г. журналов. К 1859 г. популярность «Современника» достигла своего апогея, и Достоевский стремился войти в число его сотрудников. Он многократно писал брату о важности напечатания «Села Степанчикова» у Некрасова: «Для литературного моего значения это очень важно». Сообщая о новых замыслах, он уверенно добавлял: «Это пойдет в „Современник“». «Мертвый дом» он предполагал печатать с начала 1860 г. в «Современнике»: «…ведь у них не бараньи головы. Ведь они понимают, какое любопытство может возбудить такая статья в первых (январских) нумерах журнала» (письмо от 11 окт. 1859 г.). Достоевский собирался приступить к написанию «Записок из Мертвого дома» после 15 октября. Но конец октября, ноябрь и декабрь он был занят печатанием и корректурой «Села Степанчикова», хлопотами в связи с переездом в Петербург.

Сохранились наброски и планы художественных замыслов Достоевского конца 1859 г. Это замысел романа «Весенняя любовь», трагедии «Фатум», комедии и список, озаглавленный писателем «В 1860-й год», где перечислены: романы «Миньона» (по предположению исследователей, — первоначальное название романа «Униженные и оскорбленные») и «Весенняя любовь», а также «Записки каторжника (отрывки)» и, по-видимому, публицистический замысел «Апатия и впечатления». В Твери Достоевскому, однако, не удалось осуществить ничего из задуманного.

С переездом в декабре 1859 г. в Петербург Достоевский сразу же окунулся в литературную жизнь столицы, сблизился с редакцией журнала «Светоч», среди главных сотрудников которого был старый знакомый писателя А. П. Милюков. Программа «Светоча» оказала влияние на формирование замысла Достоевского об издании своего

журнала. Братья Достоевские летом 1860 г. воспользовались разрешением на издание еженедельника, которое Михаил Михайлович получил еще в 1858 г., и уже в сентябре 1860 г. в газетах появилось объявление о журнале «Время». Официальным редактором журнала выступал М. М. Достоевский, однако ведущее место в руководстве «Временем» принадлежало Ф. М. Достоевскому. К этому моменту у писателя окончательно сложился замысел романа «Униженные и оскорбленные», и одновременно он приступил к написанию первых глав «Записок из Мертвого дома», которые и должны были открывать первые номера журнала «Время».

Еще в сентябре 1858 г. в письме к брату, излагая в связи с задуманным им еженедельником программу будущего журнала, Достоевский писал: «Главное: литературный фельетон, разборы журналов…» (письмо от 13 сент. 1858 г.). В 1860 г. в печатной программе журнала «Время» на 1861 г. был также объявлен фельетон. [30] Фельетон для первой книжки «Времени» был первоначально заказан поэту Д. Д. Минаеву. В 1860 г. Минаев, печатавший свои сатирические стихи, переводы и фельетонные обозрения «Петербургская летопись» в «Светоче», часто посещал «вторники» А. П. Милюкова, на которых встречался с Достоевским. Фельетоны Минаева имели успех, поэтому неудивительно, что он был приглашен во «Время» наряду с другими активными сотрудниками «Светоча», перешедшими работать в журнал братьев Достоевских. Фельетон Минаева не удовлетворил Достоевского, видимо, вследствие обнаружившихся расхождений во взглядах «искровца» Минаева и редакции журнала. Фельетон был заменен «наскоро» написанной, по выражению Н. Н. Страхова, статьею Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе» с сохранением стихотворных вставок Минаева.[31]

Несмотря на указания Страхова о принадлежности фельетона Достоевскому, он не перепечатывался вплоть до 1914 г., когда в книге В. Астрова «Не нашли пути» был помещен значительный отрывок из него.[32] В 1916 г. «Петербургские сновидения в стихах и прозе» были перепечатаны полностью В. Л. Комаровичем, который на основе анализа содержания и стиля доказал принадлежность фельетона Достоевскому и указал на его большое историко-литературное значение.[33]

Текст повести «Село Степанчиково и его обитатели» подготовлен и

примечания к ней составлены А. В. Архиповой; тексты «Записок из Мертвого дома» и фельетона «Петербургские сновидения в стихах и прозе» и примечания к ним — И. Д. Якубович. Послесловие написано И. Д. Якубович. Редактор тома Г. Я. Галаган.

# Село Степанчиково и его обитатели

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» (1859. № 11, отд. I. С. 65-206; № 12, отд. 1. С. 343–410).

О времени возникновения замысла повести «Село Степанчиково и его обитатели» мы располагаем противоречивыми свидетельствами.

18 января 1858 г., сообщая брату, что он решил окончательно оставить свой «большой» роман (см. с. 507), Достоевский заявляет, что намерен взяться за другой: «…у меня уже восемь лет назад составилась идея одного небольшого романа, в величину „Бедных людей“. В последнее время, я как будто знал, припомнил и создал его план вновь. Теперь всё это пригодилось. Сажусь за этот роман и пишу. Кончить надеюсь месяца в два». Что замысел «Села Степанчикова», о котором речь идет в данном письме, возник за несколько лет до этого, подтверждается заявлением Достоевского в письме брату от 9 мая 1859 г., где он пишет, однако, что главные характеры повести создавались и записывались «пять лет», т. е. относит начало работы над ними уже не к периоду каторги, а к 1854 г.

Свою версию о происхождении «Села Степанчикова» выдвинула после смерти писателя А. Г. Достоевская. В 1888 г. она сообщила К. С. Станиславскому, что, приступая к созданию «Села Степанчикова», муж ее первоначально предполагал писать не повесть, а пьесу, «но отказался от этого намерения потому, что хлопоты по проведению пьесы на сцену <…> трудны, а Федор Михайлович нуждался в деньгах».[34] Действительно, 18 января 1856 г. Достоевский сообщал А. Н. Майкову, что «шутя начал комедию», но ему «так понравился герой», что он «бросил форму комедии» и принялся за «комический роман», состоящий из «отдельных приключений» героя. Как часть этого неосуществленного замысла рассматривают обычно «Дядюшкин сон» (ср. наст. изд. Т. 2. С. 579). Что касается «Села Степанчикова», то его связь с замыслом комического романа представляется сомнительной. Сообщая в конце 1857 г. брату о начатой работе над «Селом Степанчиковым», Достоевский характеризует эту повесть как неизвестную ему работу, в отличие от «Дядюшкиного сна», который здесь же называет «эпизодом» прежнего, «большого» романа (см. письмо к М. М. Достоевскому от 3 ноября 1857 г.).

К писанию «Села Степанчикова», как мы можем судить на основании дошедших до нас свидетельств, автор обратился не ранее осени 1857 г. — после того как А. Н. Плещеев передал Достоевскому согласие М. Н. Каткова на сотрудничество писателя в «Русском вестнике». 3 ноября 1857 г. Достоевский сообщал брату, что «взял писать повесть, небольшую (впрочем, листов в 6 печатных)» для «Русского вестника», что вещь эта была начата и частично написана «давно», «работа идет прекрасно, и 15-го декабря я высылаю <…> повесть». Но степень готовности повести была, по-видимому, как это с ним часто бывало, преувеличена Достоевским; поэтому работа затянулась и продолжалась до осени 1858 г. В сентябре Достоевский был вынужден ее прервать, чтобы срочно окончить повесть для «Русского слова», с которым был также связан обязательством. Завершив и отослав в феврале 1859 г. в «Русское слово» «Дядюшкин сон», писатель вновь принялся за работу для «Русского вестника». 11 апреля 1859 г. он выслал Каткову «три четверти» повести «Село Степанчиково», а в мае — июне отправил брату Михаилу для передачи в редакцию ее окончание.

На «Село Степанчиково» Достоевский возлагал большие надежды. В случае успеха повести (а он верил в успех) писатель рассчитывал упрочить с ее помощью свое литературное положение (требовать увеличения гонорара, издать собрание своих сочинений и т. д.). 9 мая 1859 г. он писал брату: «Этот роман, конечно, имеет величайшие недостатки и, главное, может быть, растянутость; но в чем я уверен, как в аксиоме, это то, что он имеет в то же время и великие достоинства и что это *лучшее* мое *произведение* <…> Не знаю, оценит ли Катков, но если публика примет мой роман холодно, то, признаюсь, я, может быть, впаду в отчаяние. На нем основаны все лучшие надежды мои и, главное, упрочение моего литературного имени».

Посылая повесть Каткову, Достоевский изложил свои условия (гонорар — 100 рублей за лист и 200 рублей аванса), но Катков на его письмо не ответил. Возмущенный Достоевский в июне 1859 г. написал ему новое резкое письмо, ответ на которое (от 28 авг.) он получил уже в Твери. Письмом этим редакция «Русского вестника» отказывалась от условий, выставленных Достоевским, и от его произведения. Получив назад рукопись «Села Степанчикова», привезенную в Тверь М. М. Достоевским, писатель еще раз пересмотрел и поправил ее. В связи с

отказом «Русского вестника» возникла мысль предложить повесть в «Современник», тем более что Некрасов еще раньше, в сентябре 1858 г. и апреле 1859 г., предлагал Достоевскому сотрудничество. 15 сентября старший брат писателя отнес Некрасову рукопись «Села Степанчикова», а 6 октября получил письмо от редактора «Современника» с такими гонорарными условиями, которые, по существу, означали отказ (за весь роман 1000 рублей с тем, чтобы печатать в будущем, 1860 г.).

Потрясенный Достоевский истолковал предложенные Некрасовым условия как «торгашество» редакции, которая, прослышав про отказ «Русского вестника», пользуется бедственным положением автора. «Я сам очень хорошо знаю недостатки своего романа, — писал Достоевский брату 11 октября. — но <…> мне кажется, что и в моем романе есть несколько хороших страниц». Достоевский не оставлял надежды напечататься в «Современнике», рассчитывая на возможность компромисса с Некрасовым (см. письмо к брату от 11 окт. 1859 г.). Однако практичный Михаил Михайлович, не надеясь на Некрасова, повел переговоры с редактором «Отечественных записок» А. А. Краевским. 21 октября эти переговоры закончились успешно. Краевский взял «Село Степанчиково» за 120 рублей с листа. Повесть была напечатана в ноябрьской и декабрьской книжках «Отечественных записок» за 1859 г., причем в первой книжке было помещено двенадцать глав, а во второй — шесть. Такое деление на две части было сделано по настоянию Достоевского. Издатель и Михаил Михайлович предлагали более равномерное разделение романа — по девять глав в каждой книжке журнала, мотивируя это свое пожелание тем, что главу «Мизинчиков» было бы более целесообразно перенести во вторую часть, иначе «читатели могут забыть его разговор с неизвестным, и потому вся соль, что не он увез, а Обноскин, может пропасть».[35] Но для Достоевского было очень важно окончить первую часть главой «Катастрофа», так как «остановиться не на 12-й главе» для него значило «сразу манкировать весь эффект» (письмо от 29 окт. 1859 г.).

Следил за изданием и держал корректуры М. М. Достоевский. Изменения, которые автор хотел внести в роман уже в процессе его печатания (сократить первую и третью главы, о чем он писал брату 29 октября), сделаны не были, так как к этому времени названные главы были уже набраны. Переиздавая повесть в 1860 и 1865 гг., Достоевский

ограничился сравнительно незначительной стилистической правкой, не сделав никаких существенных сокращений и изменений.

Цензором «Отечественных записок» был И. А. Гончаров. Михаил Михайлович писал брату 16 ноября, что, по словам Краевского, «цензура не вымарала ни одного слова» из «Села Степанчикова», а в следующем письме сообщал: Гончаров «выкинул, говорят, из первой части одно только слово. Какое, не знаю».[36]

Повесть вышла за подписью Достоевского, но вначале без его инициалов. Пропуск инициалов не мог не обеспокоить братьев Достоевских, так как в тех же «Отечественных записках» печатал свои произведения Михаил Михайлович. 23 ноября он писал брату: «Не понимаю только, зачем опять фиту выкинули. На обертке же О Отечественных) з(аписок) она осталась. И что она их там смущает. Если тебе возвращены все права и даже дворянство, то, конечно, возвращено и право печатать. Печатают же с своими инициалами и Толь, и Плещеев, и Ахшарумов (бывшие петрашевцы. — *Ред.*) и мн. другие».[37]

«Село Степанчиково» Достоевский в это время считал «лучшим» своим произведением. В письме к брату от 9 мая 1859 г. он сообщал: «Я писал его два года (с перерывом в середине «Дядюшкина сна»). Начало и середина обделаны, конец писан наскоро. Но тут положил я мою душу, мою плоть и кровь. Я не хочу сказать, что я высказался в нем весь; это будет вздор! Еще будет много, что высказать. К тому же в романе мало сердечного (т. е. страстного элемента, как например в «Дворянском гнезде») — но в нем есть два огромных типических характера, *создаваемых* и *записываемых* пять лет, обделанных безукоризненно (по моему мнению), — характеров вполне русских и плохо до сих пор указанных русской литературой». Это письмо свидетельствует о том, что первоначальный замысел повести — противопоставить два различных характера, т. е. Фому Опискина и полковника Ростанева, относится к началу 1854 г.

«Село Степанчиково» создавалось в эпоху общественного возбуждения, усилившего в русской литературе интерес к «глубинной», провинциальной России. Критическое изображение предреформенной жизни у ряда писателей (Писемский, Островский, Щедрин) связано с развитием гоголевских традиций. Обращение Достоевского к провинциальной теме было вызвано как общими устремлениями литературы, так и обстоятельствами личной жизни писателя, на

несколько лет связавшими его с русской провинцией.

Выбрав местом действия помещичью усадьбу, Достоевский поместил героев в необычную для предшествующих его произведений обстановку. Однако в самом изображении Достоевским жизни дворянской помещичьей среды сказалось своеобразие его подхода к ней. Герои повести в большинстве своем принадлежат к излюбленному Достоевским типу героев — обедневших и опустившихся, без определенного положения в обществе: приживал Фома Опискин, бывшая приживалка Татьяна Ивановна, полунищий Обноскин, промотавшийся вконец Мизинчиков, спившийся Коровкин и дошедший до последней степени нищеты и унижения Ежевикин.

Тема униженного человека, его ущемленного достоинства и болезненной амбиции, уже получившая отражение в «Двойнике» и других произведениях Достоевского 1840-х годов, стала центральной в «Селе Степанчикове», где она предстала в новом, неожиданном ракурсе: психологически ущемленный, болезненно сознающий в душе свою духовную неполноценность, в прошлом униженный человек перерастает здесь в мучителя и тирана; его переполняют мелочная злоба и ненависть к окружающим людям вместе с постоянной потребностью психологического самоутверждения за счет тиранства над ними.

При разработке сюжета повести писатель воспользовался в качестве канвы отдельными сюжетными мотивами ряда своих предшественников. Так, не раз отмечалось, что расстановка действующих лиц и основная схема их взаимоотношений напоминают комедию Ж.-Б. Мольера «Тартюф». Обитателям Степанчикова в известной мере соответствуют персонажи мольеровской комедии: Фоме Опискину — Тартюф, Ростаневу — Оргон, генеральше — г-жа Пернель, Бахчееву — Клеант и т. д.[38]

Заметна также связь отдельных сюжетных положений повести Достоевского и произведений его современников. Как показала Л. М. Лотман, Достоевский не прошел мимо повести Я. П. Полонского «Дом в деревне», напечатанной впервые в «Современнике» в 1855 г. (Достоевский внимательно читал этот журнал). И названия обеих повестей («Дом в деревне» и «Село Степанчиково и его обитатели»), и отдельные мотивы (рассказ ведется от лица молодого человека, занимающегося «науками», герой едет в деревню к «дяде», где становится свидетелем скрытой семейной драмы) сближают

произведения Достоевского и Полонского.[39] Некоторые ситуации и персонажи «Села Степанчикова» могли быть подсказаны комедией И. С. Тургенева «Нахлебник» (1848), запрещенной к печати в 1849 г. и опубликованной как раз в 1857 г. под названием «Чужой хлеб» во 2-й книжке «Современника». «Нахлебник» был написан под сильным влиянием произведений молодого Достоевского и не мог не привлечь его внимания, как отметил В В. Виноградов, наличием близких ему мотивов человеческой униженности и нравственной ущемленности.[40]

Пьеса Тургенева читалась петрашевцами в 1849 г. наряду с другими запрещенными цензурой произведениями. Достоевский мог уже тогда прочесть ее. Но даже если он впервые познакомился с «Нахлебником» в публикации «Современника», комедия Тургенева оставила в нем заметный след и дала бытовой материал для психологической разработки двух образов «Села Степанчикова». Тургеневский «нахлебник» — Кузовкин — у Достоевского как бы раздваивается на Фому Опискина и Ежевикина. Положение Фомы — приживальщика при покойном генерале — близко к положению Кузовкина в доме Корина; шутовское же поведение Кузовкина имеет много общего с поведением «добровольного шута» Ежевикина в повести Достоевского.[41] Вспомним, что психологическая разработка образов нахлебника-«пара жта» и «добровольного шута» интересовала Достоевского еще в 1840-х годах, на что указал А. Л. Григорьев в работе «Достоевский и Дидро».[42] Эпизоды «Села Степанчикова», связанные с Татьяной Ивановной, ее похищением и погоней за ней, перекликаются с теми главами «Записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, где говорится о похищении Джинглем старой девы мисс Уордль.[43] Но психологически образ Татьяны Ивановны сложнее: ей приданы автором черты смешной, но доброй и незлобивой мечтательницы история которой имеет трагический и в то же время «фантастический» оттенок.

Продолжал ориентироваться Достоевский и на Гоголя, учитывая опыт второго тома «Мерных душ». Сцена разговора Ростанева с мужиками в III главе напоминает разговор Костанжогло с крестьянами, а некоторые поступки Фомы (обучение дворовых французскому языку, беседы с крестьянами об астрономии, электричестве и разделении труда) связаны с образом Кошкарева, который мечтал, чтобы «мужик его деревни, идя за плугом», читал бы «в то же время <…> книгу о громовых отводах Франклина, или Вер(гилиевы) „Георгики“, или

химическое исследование почв».[44]

Не исключено, впрочем, что источником для этих эпизодов Достоевскому могли послужить суждения Великосельцева, автора статьи «Заметка о связи между улучшением жизни, нравственностью и богатством в крестьянском быту» (Земледельческая газ. 1856. № 23, 24). Достоевский мог знать об этом по иронической реплике Н. Г. Чернышевского в его «Заметках о журналах», опубликованных в «Современнике» (1857, № 1). Чернышевский писал: «Возможно ли читать без смеха эти предположения, что для улучшения быта поселян нужно затянуть сельских девушек в корсеты, набить их головы романами, выучить их танцевать французскую кадриль, а мужиков приучить к тому, чтобы они целовали ручки у своих дам?».[45]

Достоевский, как и в других произведениях, не просто использовал в «Селе Степанчикове» традиционные классические образы и сюжетные схемы, он часто отталкивался от них, психологически переосмысляя их и полемизируя со своими предшественниками.

Показывая в повести «Дом в деревне» полную зависимость доброго Хрустина от фактической приживалки Аграфены Степановны, Полонский объясняет это вялостью и апатией Хрустина, рисует «затухание» личности, бытовое и распространенное явление, не раз изображавшееся писателями натуральной школы.[46] Достоевский прошел мимо этих проблем, поставив вопрос о диалектике характеров, глубоких подспудных, не ясных поначалу мотивах поведения человека. Это подтверждает и сравнение «Села Степанчикова» с «Нахлебником». Тургеневский Кузовкин робок и унижен. Опискин же сам стремится унизить всех окружающих. Кузовкин отказывается от предложенных ему Елецким десяти тысяч, движимый чувством собственного достоинства. Фома Опискин, отказываясь от ростаневских пятнадцати тысяч, это чувство собственного достоинства лишь симулирует, унижая и посрамляя своего благодетеля.

Столь же отличен психологически Фома и от мольеровского Тартюфа. Герой Мольера действует последовательно и планомерно. Маскируясь добродетелью, он стремится овладеть деньгами Оргона и его женой Эльвирой. Ради этого он хитрит и лицемерит, его поведение от начала до конца логично и рационально. Иначе действует Фома. Ситуации «Тартюфа» как бы намеренно предложены автором читателю в «Селе Степанчикове» в качестве возможной мотивировки, но

отвергнуты им. Так, предположение, что «генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом», отведено автором. Не было у Фомы и интереса к Настеньке, что можно было бы вначале подозревать. Наконец, Фома отказался от предложенных ему Ростаневым денег — и отказался искренне. Фома не преследует определенной сознательной цели, он ничего не планирует заранее, действует по наитию. По словам Мизинчикова, он «тоже в своем роде какой-то поэт». Акцентировав в поведении Фомы моменты, не поддающиеся простому, рационалистическому объяснению, Достоевский затронул в «Селе Степанчикове» тему, ставшую центральной в «Записках из подполья» (1864). На эту связь образов Фомы Опискина и «подпольного» человека впервые указал В. В. Розанов.[47] Попытки полковника Ростанева и его племянника объяснить характер Фомы только условиями его жизни и тем, что сам он был унижен и оскорблен, представлены Достоевским как попытки несколько прекраснодушные и во всяком случае не дающие решения вопроса. Просветительские взгляды на роль среды в формировании человека у Достоевского ассоциировались с теорией и практикой натуральной школы 1840-х годов. Поэтому Сергей Александрович, рассуждая в «Заключении» повести о том, что «нельзя презирать падших, а, напротив, должно <…> восстановлять» их, и декламируя стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (см. с. 195), рассказывает дяде о натуральной школе. Здесь ощущается скрытая полемика и со взглядами Белинского, в той или иной степени отразившимися в позиции «Современника» 1850-х годов.

Созданный Достоевским характер русского Тартюфа впитал в себя не только многочисленные, сложные литературные традиции. Еще А А. Краевский, прочитав «Село Степанчиково», обратил внимание на черты известной психологической близости Фомы к Гоголю второй половины 1840-х годов, сказав М. М. Достоевскому, что Фома «напомнил ему Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни».[48] Вопрос о Гоголе как возможном прототипе Фомы Опискина был детально исследован Ю. Н. Тыняновым в статье «К теории пародии» (1921).[49] Тынянов убедительно показал, что в «Селе Степанчикове» пародируется книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» и отчасти личность ее автора. Внешний облик Гоголя последних лет жизни, его характер, манера поведения нашли отражение и сложное переосмысление в

образе Фомы.

Еще одна Деталь, подтверждающая сходство Фомы Опискина с Гоголем, отмечена американским исследователем Ю. Маргулиесом.[50] В пятой главе второй части «Села Степанчикова» возвращенный из «изгнания» Фома требует малаги, на что Бахчеев замечает: «И вина-то такого спросил, что никто не пьет! Ну кто теперь пьет малагу, кроме такого же, как он, подлеца?» (см. с. 176). Эпизод этот совпадает с рассказом И. И. Панаева о встрече Гоголя с молодыми петербургскими писателями на квартире А. А. Комарова.[51] Так как воспоминания Панаева были опубликованы только в 1860 г., то Маргулиес делает вывод, что Достоевский присутствовал на встрече с Гоголем, описанной Панаевым. Однако вывод этот не подтверждается другими данными; факт же, рассказанный Панаевым, мог быть известен Достоевскому от участников встречи.

Следует учесть, что Достоевскому во время работы над «Селом Степанчиковым» были уже доступны многие воспоминания о Гоголе и его письма (в 1854 г. вышел «Опыт биографии Гоголя», в 1856–1857 гг. — «Собрание сочинений и писем» под редакцией П. А. Кулиша). Отрицательное отношение Достоевского к «Выбранным местам из переписки с друзьями» сформировалось еще в молодые годы. В 1847 г. он, как мы знаем из материалов процесса петрашевцев, разделял оценку книги, данную Белинским, и читал дважды знаменитое письмо Белинского к Гоголю на собраниях у Петрашевского и Дурова.[52] В 50-х годах, когда Достоевский уже многое в своих взглядах пересматривал, а также Позднее отрицательное отношение его к книге Гоголя сохранилось. Упоминание «Выбранных мест» в письмах, в романе «Бесы», в черновых записях к «Подростку», в «Дневнике писателя» неизменно ироническое или осуждающее. Как видно из черновых записей к роману «Подросток», Достоевский видел в Гоголе тип русского человека своего времени с характерной для него душевной раздвоенностью, глубоко скрытым психологическим «подпольем». Именно «подполье» внушило Гоголю, по мнению Достоевского, «Выбранные места из переписки с друзьями» с их неумеренной экзальтацией, приобретающей временами трагикомический характер. Достоевский упрекал Гоголя в неискренности, в позерстве, в том, что, создавая свое «Завещание», он «врал и паясничал».[53]

Достоевский высмеял в «Селе Степанчикове» политические и

моральные установки автора «Выбранных мест», а также стиль этой книги, который пародируется во многих речах Фомы Опискина. Но, разумеется, образ Фомы Опискина нельзя сводить лишь к пародии на Гоголя. Это грандиозное обобщение, вобравшее в себя конкретные черты многих реальных людей, но в еще большей степени — плод создания его автора, реконструировавшего такие явления человеческой психики, которые до Достоевского были попросту неизвестны людям. По-новому объясняет Достоевский и причину воцарения Фомы в доме Ростанева. Опискин выступает в роли идеолога, морального и интеллектуального авторитета, борца за справедливость, когда-то «пострадавшего за правду». Такая роль, как показал Достоевский, при известных обстоятельствах помогает завоевать авторитет, который делается непререкаемым. Эта особенность русской жизни, так сказать феномен Опискина, нашла отражение и в русской литературе (от «Рудина» Тургенева до «Дяди Вани» Чехова).

«Село Степанчиково» строится на противопоставлении двух характеров, которые автор считал «типическими»: Опискина и полковника Ростанева.

Каждый из них явился важным звеном в разработке центральных социально-психологических мотивов творчества Достоевского. В Фоме Опискине получили дальнейшее развитие те черты, которые нашли отражение уже в героях многих более ранних произведений писателя (Голядкин, Ползунков, музыкант Ефимов в «Неточке Незвановой»). Вместе с тем его образ предвосхищает многое в последующем творчестве Достоевского. От Фомы Опискина тянутся нити в герою «Записок из подполья» и далее к ряду родственных характеров, вплоть до Федора Павловича Карамазова. Полковник Ростанев — первый набросок идеально прекрасного человека, черты которого воплотились на следующем этапе развития писателя отчасти в князе Мышкине, а отчасти и в старце Зосиме (мотив вины каждого человека перед всеми людьми). Ряд второстепенных персонажей повести также получил развитие в более поздних произведениях: Ежевикина напоминают Лебедев в «Идиоте» и капитан Снегирев в «Братьях Карамазовых», от Видоплясова — путь к Смердякову, а некоторые черты полубезумной Татьяны Ивановны претворены в усложненном виде в образе Марьи Лебядкиной в «Бесах».

Новыми приемами, характерными для последующего творчества,

Достоевский воспользовался и в композиции «Села Степанчикова». Обилие набегающих друг на друга событий, напряженные, развернутые диалоги, сжатость во времени и пространстве насыщают действие драматизмом. Именно это позволило некоторым исследователям предположить, что повесть возникла из комедии. Однако тот же драматизм характерен для большинства последующих произведений Достоевского. Широко использует Достоевский в «Селе Степанчикове» сборища действующих лиц с неожиданными скандалами и непредвиденными последствиями (главы «Ежевикин», «Фома Фомич», «Погоня», «Изгнание»). Прием этот, названный Л. П. Гроссманом «конклавом», или «развязкой „Ревизора“», часто встречается у Достоевского начиная с «Дядюшкина сна».[54] М. М. Бахтин отметил, что в «Селе Степанчикове» ощущается свойственное Достоевскому чувство фантастичности жизни, представляющей род своеобразного «карнавала». Жизнь в этой повести — своего рода «мир наизнанку». Особенно «карнавализован характер Фомы Фомича», который «дан в карнавальной контрастной паре с полковником Ростаневым».[55]

Пародируя в языке Фомы Опискина различные литературные стили, Достоевский боролся и с соответствующими литературными явлениями («Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, проза Н. Полевого, различные «поучения», книги «для народа» и т. п.). Работая над повестью, Достоевский учел и языковые наблюдения, сделанные в годы каторги и солдатской службы и отраженные в так называемой «Сибирской тетради». Многие выражения из нее органически вошли в «Село Степанчиково» (некоторые из них отмечены ниже в постраничных примечаниях).

«Село Степанчиково» перегружено скрытой и явной литературной полемикой. Она ориентирована как на литературные явления 50-х годов (повесть А. Ф. Писемского «Тюфяк», стихотворение Козьмы Пруткова «Осада Памбы», статья А. Н. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина» и др. — см. об этом с. 528–529), так в еще большей степени на явления прошлых лет, ставшие ко времени выхода в свет «Села Степанчикова» достоянием истории, но с точки зрения Достоевского, еще вполне актуальные (Гоголь, натуральная школа, «Сельское чтение» В. Ф. Одоевского и А. Н. Заблоцкого-Десятовского, произведения Н. М. Карамзина и многое другое — см. об этом на с. 523, 525).

Достоевского очень волновала судьба «Села Степанчикова». В письмах к старшему брату он постоянно просил запоминать и сообщать ему все, что будут говорить о его повести, так как это «голос будущей критики». Во время переговоров М. М. Достоевского с Некрасовым писатель просил брата: «…замечай все подробности и все его слова и, ради бога, прошу, опиши все это поподробнее. Для меня ведь это очень интересно» (письмо от 19 сент. 1859 г.). Некрасов, по свидетельству П. М. Ковалевского, отнесся к «Селу Степанчикову» более чем сдержанно: «Достоевский вышел весь. Ему не написать ничего больше, — произнес Некрасов приговор». Некрасов, писал тот же современник, «сильно, нехорошо и нерасчетливо ошибся», а «Достоевский в ответ взял да и написал „Записки из Мертвого дома“ и „Преступление и наказание“. Он только делался „весь“».[56]

Отношение Некрасова к «Селу Степанчикову» не было исключением. Повесть прошла почти незамеченной, и появление ее в «Отечественных записках» не вызвало печатных откликов. Дошедшие до нас немногочисленные устные отзывы современников содержатся в частных письмах.

А. Н. Плещеев в письме к А. П. Милюкову от 10 декабря 1859 г. писал, что роман Достоевского ему «решительно не по душе». «Где эти гоголевские типы, о которых мне говорил М<ихаил> М<ихайлович>? По-моему — тут, кроме Ростанева (дяди), нет ни одного живого лица. Всё это сочинено, придумано; ходульно страшно».[57]

Ряд отзывов о повести известен в передаче М. М. Достоевского, в его письмах брату. А. Н. Майкову повесть «очень, очень понравилась» (письмо М. М. Достоевского от 11 окт. 1859 г.).[58] Мнение И. А. Гончарова Михаил Михайлович передает с чужих слов: «Роман хвалил с оговорками. Какими, не знаю» (письмо от 23 ноября 1859 г.).[59] А. Н. Плещеев, который по просьбе Достоевского после отказа от повести редакции «Русского вестника» узнавал мнение о ней редакции, сообщал, что «от начала они были просто в восторге <…> но что вообще роман требует сокращения» (письмо Достоевского брату от 11 окт. 1859 г.). С отзывом А. А. Краевского нас знакомит письмо Михаила Михайловича от 21 октября 1859 г.: «О романе он сказал, что некоторые места великолепны, Фома ему чрезвычайно нравится <…> Характеры тоже, особенно распространялся он о помешанной девице. Это грациозное создание, сказал он <…> Сказал еще, что конец *великолепен,* вся вторая

часть (и я согласен в этом) великолепна, но начало растянуто, и вообще жаль, что ты поддаешься иногда влиянию юмора и хочешь смешить. Сила Ф<едора> М<ихайловича>, — прибавил он, — в страстности, в пафосе, тут, может быть, нет ему соперников, и потому жаль, что он пренебрегает этим даром».[60] Наиболее положительные среди дошедших до нас отзывов современников о «Селе Степанчикове» принадлежат М. М. Достоевскому: «Не умею сказать тебе, как нравится мне твое произведение. У меня постоянно стояли в глазах слезы от какого-то душевного благополучия при чтении второй части. Прекрасно. Полковник вышел чудно-хорош. Все, все лица обаятельно свежи и новы. Но чем я всего более дорожу, это то, что всё твое здание как в целом, так и в малейших деталях оригинально до чрезвычайности».[61]

Печатные суждения о «Селе Степанчикове» появились уже после переиздания повести в 1860 г., во втором томе «Сочинений» Достоевского. Все они содержались в статьях, посвященных другим произведениям писателя.

Наиболее проницательным был отзыв Н. А. Добролюбова, который в статье «Забитые люди» (1861) несколько раз упомянул о «Селе Степанчикове», рассматривая эту повесть в связи с другими произведениями Достоевского, посвященными теме униженной обществом личности и попыткам ее борьбы против этого унижения. «От г. Голядкина до Фомы Фомича в„Селе Степанчикове“ он изобразил на своем веку много болезненных, ненормальных явлений», — писал Добролюбов.[62]

Только в 1880-х годах, узнав всего Достоевского и особенности его творчества 1860-1870-х годов, критика оценила «Село Степанчиково», и прежде всего фигуру Фомы Опискина. Первым это сделал Н. К. Михайловский. В статье «Жестокий талант», напечатанной через год после смерти Достоевского, он признал Фому Опискина классическим для Достоевского психологическим типом. Это злобный тиран и мучитель, который не преследует никакой практической цели, не стремится ни к какому результату. Он наслаждается самим процессом мучительства, ему «нужно ненужное». «Словами „ненужная жестокость“ исчерпывается чуть ли не вся нравственная физиономия Фомы, и если прибавить сюда безмерное самолюбие при полном ничтожестве, так вот и весь Фома Опискин».[63]

Повесть Достоевского не раз перерабатывалась для сцены. Первая по времени инсценировка «Села Степанчикова» была выполнена 1С С. Станиславским в 1888 г. Им же в 1891 г. была осуществлена и первая постановка. С тех пор и до наших дней «Село Степанчиково» ставилось на многих русских и зарубежных сценах. Наибольший общественный резонанс вызвала постановка 1917 г. в Московском Художественном театре. Из выдающихся исполнителей «Села Степанчикова» следует отметить К. С. Станиславского (Ростанев) в постановке 1891 г. и И. М. Москвина (Опискин) в постановке 1917 г.

# Записки из мертвого дома

Начало (главы I–IV) впервые опубликовано в газете «Русский мир» (1860. 1 сент. № 67; 1861. 4 янв. *N* 1; 11 янв. № 3; 25 янв. № 7); полностью впервые опубликованы в журнале «Время» (1861, № 4, 9-11; 1862. № 1–3, 5, 12). Отдельно при жизни Достоевского «Записки» выходили в 1862, 1865 и 1875 гг. В изданиях 1862 и 1875 гг. писателем были сделаны стилистические исправления. Сохранился отрывок наборной рукописи второй главы второй части. Отличия ее от окончательного текста очень несущественны. (См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 4. С. 255–256, 278).

В «Записках из Мертвого дома» отражены впечатления пережитого и увиденного Достоевским на каторге в Сибири, в омском остроге, где он провел четыре года, осужденный по делу петрашевцев. Преследуя цель полного разобщения петрашевцев, царское правительство распределяло их среди уголовных преступников. Это было, конечно, особенно тяжело для писателя, но вместе с тем невольно столкнуло его с народной массой. Уже в первом по выходе из острога письме к брату Михаилу от 30 января — 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: «Вообще время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его». Судя по сохранившимся в архивах документам омского острога, основную массу содержавшихся в нем арестантов составляли крепостные крестьяне и солдаты (в прошлом также крестьяне). Наиболее частыми преступлениями у крестьян были нахождение в «бегах» и расправы с помещиками, а у солдат — неповиновение военному начальству и нарушение правил, условий воинской службы, невыносимых в эпоху Николая I.

Как книга о русском народе «Записки из Мертвого дома» связаны преемственно с многочисленными повестями и очерками из народного быта, печатавшимися в 1840-1850-х годах на страницах «Современника», «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения». Но в первую очередь Достоевский опирался на богатейший опыт собственных наблюдений. Замысел книги возник, по-видимому, еще на каторге. В цитированном письме к брату от 30 января — 22 февраля 1854 г. Достоевский писал: «Сколько я вынес из каторги народных

типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всего черного, горемычного быта! На целые томы достанет. Что за чудный народ». В воспоминаниях о жизни писателя на каторге и ее людях, содержащихся в этом письме, уже намечены многие темы, наброски отдельных картин и образов героев будущей книги. Но лишь в 1859 г., после завершения «Дядюшкиного сна» и «Села Степанчикова», замысел «Записок» окончательно созрел. 9 октября 1859 г. Достоевский увлеченно писал об этом брату: «Эти „Записки из Мертвого дома“ приняли теперь, в голове моей, план полный и определенный. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных <…> за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые, из записанных мною на *месте*, выражений), и изображение личностей, никогда не *слыханных* в литературе, и трогательное, и, наконец, главное, — мое имя <…> Я уверен, что публика прочтет это с жадностию». Здесь же он намечает план издания «Записок»: «Я так рассчитываю: к 1-му декабря я кончу; в декабре цензуровать <…> в генваре печатать и в генваре же в продажу <…> Печатать непременно самим, а не через книгопродавцев». Но уже в следующем письме, 11 октября, Достоевский предполагает печатать «Записки» (или «Мертвый дом», как он их здесь называет) в «Современнике»: «Ведь они понимают, какое любопытство может возбудить такая статья в первых (январских) нумерах журнала. Если дадут 200 р. с листа, то напечатаю в журнале. А нет, так и не надо». Как видно из этого письма, Достоевский собирался приступить к «Запискам из Мертвого дома» после 15 октября 1859 г. Но он был отвлечен осложнениями с печатанием и корректурой «Села Степанчикова», хлопотами в связи с переездом в Петербург. В план 1860 г., составленный писателем, вошли «„Записки каторжника“ (отрывки)». Очевидно, только в 1860 г. работа над «Записками» двинулась вперед.

1 сентября 1860 г. в № 67 «Русского мира» — еженедельной «политической, общественной и литературной газеты с музыкальными пр-иложе-ниями» Ф. Т. Стелловского, под заглавием «Записки из Мертвого дома» были опубликованы «Введение» и 1 глава.[64] Они прошли цензуру беспрепятственно. II же глава обратила на себя внимание Цензурного комитета, и, хотя в № 69 «Русского мира» от 7

сентября 1860 г. было объявлено, что «Продолжение „Записок из Мертвого дома“, соч. Ф. М. Достоевского, отложено до следующего номера», в газете оно не появилось.

Приступая к работе над «Записками», автор беспокоился об отношении цензуры к произведению: «Но может быть ужасное несчастие: запретят. (Я убежден, что напишу совершенно, в высшей степени, цензурно). Если запретят, тогда все можно разбить на статьи и напечатать в журналах отрывками <…> Но ведь это несчастье!» (см. письмо к брату от 9 окт. 1859 г.). 27 сентября редактор «Русского мира» А. С. Гиероглифов писал Достоевскому: «Очень сожалею, что до сих пор не могу сообщить Вам положительного известия о судьбе „Записок“. Цензор полагает, что они рассматриваются кем-либо из членов Главн<ого> управления цензуры, и, вероятно, не ранее будущей субботы будет решение о том, печатать или не печатать их». Упрек цензуры был неожиданным. Изображение каторжного быта показалось ей «соблазнительным» для преступников. Председатель Петербургского комитета барон Н. В. Медем в отношении в Главное управление цензуры от 14 октября 1860 г. писал, что «люди, не развитые нравственно и удерживаемые от преступлений единственно строгостью наказаний», из «Записок» могут получить превратное представление о слабости «определенных законом за тяжкие преступления наказаний». [65] Об этих колебаниях цензуры Достоевский знал уже 20 сентября и послал письмо от имени редакции «Русского мира» к Н. В. Медему с приложением следующего дополнения ко II главе «Записок», «которое совершенно парализует собою впечатление, производимое статьею в прежнем ее виде» (письмо от 20 сент. 1860 г.):

«Одним словом, полная, страшная, настоящая мука царила в остроге безвыходно. А между тем (я именно хочу это высказать) поверхностному наблюдателю или иному белоручке с первого взгляда жизнь каторжника могла бы показаться даже иной раз отрадною. „Да боже мой! — скажет он, — посмотрите на них: ведь иной из них (кто этого не знает?) хлеба чистого никогда не ел, да и не знает, какой такой настоящий хлеб-то на свете. А здесь, посмотрите, каким его хлебом кормят, его — каналью, разбойника! Смотрите на него: как он глядит, как он ходит! Да он в ус никому не дует, даром что в кандалах! Вот, — трубку курит; а это еще что? Карты!!! Ба, пьяный человек! Так он в каторге-то вино может пить?! Хорошо наказание!!!“.

Вот что скажет с первого взгляда человек посторонний, может быть, благонамеренный и добрый…

А отчего же этот же счастливец рад бы хоть сейчас же бежать и бродяжничать? Знаете ли вы, что такое бродяжничество? Об этом когда-нибудь скажу подробнее. Бродяга по неделе не ест, не пьет. Спит на холоде и знает, что всякий свободный человек, всякий небродяга смотрит на него и ловит его, как дикого зверя; он знает это и все-таки бежит из острога от тепла и хлеба. Да и вы, коли уверены, что он счастливец, для чего же вы за этим счастливцем посылаете беспрерывно конвойного, а за иным так и двух; зачем же у вас такие крепкие кандалы, замки и запоры? Что хлеб! Хлеб едят, чтобы жить, а жизни-то и нет! Настоящего-то, сущего-то, главного-то нет, и каторжник знает, что никогда не будет; то есть, пожалуй, и будет, да когда?.. Только как бы в насмешку сулится…

Попробуйте выстройте дворец. Заведите в нем мраморы, картины, золото, птиц райских, сады висячие, всякой всячины… И войдите в него. Ведь, может быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. Может быть, вы и в самом деле не вышли бы. Всё есть! „От добра добра не ищут“. Но вдруг — безделица! Ваш дворец обнесут забором, а вам скажут: „Все твое! Наслаждайся! Да только отсюда ни на шаг!“ И будьте уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за забор. Мало того! Вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваши страдания. Вам даже обидно станет, именно через эту роскошь…

Да, одного только нет: волюшки! волюшки и свободушки. Человек — да не тот: ноги скованы, кругом вострые пали, сзади солдат со штыком, вставай по барабану, работай под палкой, а захочешь повеселиться — вот тебе двести пятьдесят человек товарищей…

— Да не хочу я их! Не люблю я их, они душегубы, я молиться хочу, а они похабные песни поют. Как же можно жить с теми, кого не любишь, не уважаешь!

— Да так и живи! Не хотел шить золотом… и т. д.

Все это арестант знает в совершенстве, всем телом это знает, не одним умом; знает еще на придачу, что он клейменый и бритый, да еще прав гражданских лишен; он оттого-то всегда зол, желчен и грустен; оттого — то он и здоровьем хил; оттого-то между арестантами вечная свара, сплетня, грызня. Да оттого-то вы сами боитесь его; ведь без

конвойного в острог не войдете…

Говорят, когда-то и где-то, в каникулярное время, полицейские наловили ночью бесприютных собак, штук до тридцати, и всех вместе, живых и здоровых, спихали в одну кучу в крытую телегу и повезли в часть. То-то грызня завязалась. Картина глупая, отвратительная! А двести пятьдесят арестантов в остроге, собравшихся не своей волюшкой, со всего царства русского, — живите, мол, как хотите, да только вместе, да только за палями. Разве это не та же крытая телега? Разумеется, не та, а еще получше. Там была только „собачья“ грызня, а здесь „человечья“. А человек не собака: существо разумное, понимает и чувствует, по крайней мере — побольше собаки…

Да! понимает и чувствует каторжник, что все потерял, вполне чувствует. Он вон, пожалуй, и песни поет, да ведь так — форсит. Жизнь проклятая и безрассветная! и трудно вообразить это, надо испытать, чтоб узнать!

Вот простой народ это знает; и без опыта. Недаром же он назвал арестантов „несчастными“, недаром он простил им все, кормит их и ублажает. Он знает, что тут не суть великие муки; тут „каторга“, „одно слово — каторга!“ — как говорят сами же каторжные».

Главное управление цензуры определением от 4 ноября 1860 г. разрешило печатать главу в прежнем виде с обычной формулировкой об исключении мест, «противных по неблагопристойности выражений своих правилам цензуры», но умолчало о дополнении.

По-видимому, картина дворца с «мраморами», золотом, райскими птицами и висячими садами, обнесенного, однако, забором, как олицетворение несвободы, с точки зрения Цензурного комитета слишком отчетливо выражала мысль о свободе как основном, необходимом условии человеческого существования, сознаваемом «простым народом». Дополнение в дальнейшем не было нигде помещено Достоевским, возможно потому, что оно с самого начала предназначалось им для цензуры с целью добиться разрешения прежней редакции. Оно так и осталось в деле Цензурного комитета.

К письму А. С. Гиероглифова к Достоевскому от 21 ноября 1860 г. был приложен проект примечания «От редакции» относительно дальнейшего печатания «Записок»: «Продолжение печатанья „Записок из Мертвого дома“ Ф. М. Достоевского приостановлено было до сих пор по причинам, от редакции не зависящим; теперь же редакция ожидает

всех обещанных ей очерков от автора, у которого находятся, для общего просмотра, и написанные уже очерки, бывшие в руках редакции. Не желая дробить статьи между последними номерами настоящего года и первыми будущего, редакция предпочла помещать, начиная с первого номера 1861 г.».

Продолжение «Записок из Мертвого дома» появилось в «Русском мире» в январе 1861 г. («…цензурой пропущено всё с весьма малым исключением», — сообщал Достоевскому А. С. Гиероглифов 10 января). На четвертой главе публикация в «Русском мире», несмотря на указание «Продолжение следует», прекратилась. В связи с разрешением на издание своего журнала «Время» Достоевский перенес «Записки» в журнал, где в апрельской книжке были перепечатаны «Введение» и первые четыре главы со следующим примечанием: «Перепечатываем из „Русского мира“ эти четыре главы, служащие как бы введением в „Записки из Мертвого дома“, для тех наших читателей, которые еще не знакомы с этим произведением. К продолжению этих „Записок“ мы приступим немедленно по окончании романа „Униженные и оскорбленные“. Ред.». С перенесением «Записок» в журнал замысел Достоевского изменился и расширился. Но объем произведения и тогда окончательно не был определен. В перечне тем для VI–IX глав «Записок», набросанном, очевидно, в начале 1861 г. в записной книжке писателя, эпизоды не совпадают с окончательной редакцией. С сентября публикация продолжалась.

В редакционном объявлении о выходе второй книжки журнала «Время», помещенном в газете «С.-Петербургские ведомости», сообщалось: «Полные „Записки из Мертвого дома“ состоят из двадцати пяти глав, и все сполна будут напечатаны в нашем журнале в течение настоящего года».[66] Однако до конца 1861 г. появились лишь XI глав, составившие первую часть «Записок». Вторая часть книги печаталась в 1862 г., при этом объем ее сократился до двадцати двух глав, включая «Введение». Единственная глава, посвященная жизни в каторге политических преступников — ссыльных поляков, была задержана цензурой. Упомянутая в оглавлении майского номера журнала за 1862 г., в тексте глава «Товарищи» имела только три строки точек. Достоевскому все-таки удалось добиться публикации ее (после того как было уже напечатано окончание «Записок») лишь в декабрьском номере «Времени» за 1862 г.

«Записки» писались в годы подъема демократического общественного движения. По словам В. И. Ленина, это была эпоха «распространения по всей России „Колокола“», «требования политических реформ всей печатью и всем дворянством».[67] Одним из наиболее жгучих вопросов времени, стоявших в центре внимания русской прессы начала 1860-х годов, наряду с крестьянским вопросом был вопрос о преобразовании суда и судебной системы. Жестокие порядки царской тюрьмы и каторги вызывали растущее возмущение передовых кругов. «Записки из Мертвого дома» — первая по времени появления в печати книга, посвященная царской каторге, — в этих условиях отвечали широкому общественному настроению, явились отражением общедемократических идеалов и требований эпохи.

Документальный, автобиографический характер книги придает ей глубокое своеобразие, отличает по форме, стилю и языку от других произведений писателя. Достоевский размышлял о замысле «Записок из Мертвого дома» в письме от 9 октября 1859 г.: «Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного». В соответствии с этим замыслом во «Введении» Достоевский представляет читателю не политического, а уголовного преступника Александра Петровича Горянчикова, осужденного за убийство жены, как героя и рассказчика «Записок». Но это персонаж условный. Введение его давало возможность внешне придать «Запискам» форму не мемуаров, а художественного произведения. Не раз отмечалось, что введение образа Горянчикова могло быть вызвано цензурными обстоятельствами.[68] Горянчиков не отождествлялся с автором «Записок», ибо он, как это видно уже из II главы, пришел на каторгу в качестве политического преступника. Начиная с этой главы, Достоевский ведет рассказ от себя, забыв о вымышленном Горянчикове. Он говорит о свидании в Сибири с декабристками, о получении от них Евангелия, единственной книги, позволенной в остроге,[69] о встрече с «давнишними школьными товарищами», о чтении книг. А. Г. Достоевская в примечаниях к «Запискам из Мертвого дома» по поводу копеечки, полученной Достоевским на каторге «Христа ради» (гл. 1), пишет: «Личное воспоминание Федора Михайловича. Он несколько раз говорил про эту копеечку и жалел, что не удалось ее сохранить».[70] Противоречивость мировоззрения Достоевского, насыщенность «Записок» философскими размышлениями, волновавшими писателя в этот период, чувствуются в

каждой главе.

«Записки из Мертвого дома» впервые творчестве писателя ставят вопросы о причинах преступления, исследуют психологию преступника — темы, которые займут столь важное место в романах и повестях позднейшего Достоевского. Если в 1840-х годах вопрос о причинах преступности интересовал писателя чисто теоретически, то каторга дала обильный реальный материал для его решения. Главные объективные причины преступлений Достоевский видел в несовершенстве общественных условий, в конфликте между личностью и обществом. Хотя для Достоевского этого периода характерно объяснение вины преступника объективными обстоятельствами, уже в «Записках» звучит недоверие к «теории среды» (ч. 2, гл. II). Эта точка зрения, выдвинутая французскими материалистами, приводит, как пишет Достоевский, к тому, «что чуть ли не придется оправдать самого преступника». Впоследствии «философия среды», взаимоотношения между личностью и обществом будут особенно интересовать его. Эти темы прозвучат в художественных произведениях Достоевского и в его публицистических статьях, где писатель вступит в полемику со сторонниками «теории среды». Достоевский противопоставит им идею нравственной ответственности личности.

Постепенно автор всматривается в толпу разбойников и убийц, и мрачные картины первых глав уступают место образам, написанным иными красками «Люди везде люди. И в каторге между разбойниками я, в четыре года, отличил наконец людей», — писал Достоевский брату в письме от 30 января — 22 февраля 1854 г. Глава «Представление» опровергает мысль о природной, биологической предрасположенности человека к преступлению. Он — «несчастный» (как называет преступника народ), а не прирожденный злодей и убийца. Позволили людям пожить не «по-острожному» — и человек нравственно меняется.

Во второй части возникает и тема наказания. В «Записках» наказание понимается только как внешнее, юридическое, а не внутреннее, нравственное наказание. Писателя волнует жестокость, бессмысленность наказания, вопрос о соразмерности наказания и вины преступника. Мотив добровольного страдания, идущий из раскола, также впервые звучит в творчестве Достоевского в «Записках из Мертвого дома» — в рассказах о старике старообрядце, у которого «было свое спасение, свой выход: молитва и идея о мученичестве», и об

арестанте, начитавшемся Библии и решившем убить майора, чтобы найти «себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве». Одно из основных требований «бегунов» — «принять страдание» — Достоевский распространял впоследствии на весь русский народ, жаждавший страдания «искони веков» («Дневник писателя». 1873. Гл. V. «Влас»). Арестант, кинувшийся с оружием на начальство и «принявший страдание», появляется вновь в «Преступлении и наказании», где идея страдания, которым все очищается, станет одной из главенствующих. В «Записках» же «добровольное страдание» рассматривается лишь как форма протеста личности, доведенной до отчаяния.

Рассказчик «Записок» стремится проникнуть в психологию не только I жертвы, но и палача, задается вопросом о возникновении палачества. Оно трактуется писателем в этико-философском смысле. «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке», — утверждает Достоевский. «Но не равно развиваются звериные свойства человека», — добавляет он и рассматривает два рода палачей — подневольных и добровольных. И плац-майор, ставший палачом по велению «закона», как ярый его блюститель, и экзекутор Жеребятников, своего рода «утонченнейший гастроном в исполнительном деле» — оба являются подтверждением того, что палачом *делаются*. «Трудно представить, до чего можно исказить природу человеческую», — заключает писатель.

Тема «воли» возникает в первой главе «Записок». Она переплетается с темой денег. Без денег нет могущества и свободы. Размышления об этом Достоевский продолжит в «Зимних заметках о летних впечатлениях» («Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона?..» — наст. изд. Т. 4), а затем и в своих романах («ротшильдовская» идея и тема независимости героя, в «Подростке» например). Романтизация «воли», которая кажется обитателям острога вольнее, чем есть на самом деле, приводит к побегам, бродяжничеству. Напоминанием о порыве к свободе, живущем в душе каждого арестанта, являются главы «Каторжные животные» и «Летняя пора». Природа символизирует здесь единение человека с общей жизнью, рассматривается как предвестница «воли». Символом живой жизни становится орел, выпускаемый на волю; история его осмысляется глубоко трагически и многозначно.

Разъединение дворянства и вообще образованного общества с народом — один из лейтмотивов «Записок». Осознав пропасть между дворянством и народом, задумавшись о ее причинах, Достоевский пересматривает свои взгляды на жизнь, Судит себя «неумолимо и строго». Одна из основных художественных идей «Записок из Мертвого дома» — стремление Достоевского в каждом из обитателей острога «откопать человека» (по собственному выражению писателя), выявить ценность и неповторимость его человеческой индивидуальности, которую не смогли убить жестокость и обезличивающее влияние царской каторги. Если в ранних и позднейших произведениях Достоевский анализирует мельчайшие движения души героя, особое внимание уделяя деталям, то в «Записках из Мертвого дома» образ создается скупыми, но очень выразительными средствами. Достоевский подчеркивает трудолюбие и мастерство людей из народа. Это люди талантливые, преимущественно грамотные.

Персонажи «Записок» — одновременно и яркие индивидуальности, и типы; каждый из них воплощает определенную авторскую мысль. Газин — полное извращение «природы человеческой», «исполинский паук, с человека величиною»; Петров, метко названный В. Б. Шкловским революционером в потенции,[71] привлекает душевной чистотой, прямотой, искренностью, смелостью и дерзостью. Образ Петрова несомненно социально окрашен, и в главе «Претензия» имеется прямое подтверждение этого. Он первый выходит на «претензию», ясно выражает свое отношение к дворянству. Но Достоевский обвиняет Петрова за безрассудность, не видит применения его силам и считает лиц, подобных ему, обреченными на гибель: такие люди «первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, — и все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы». Тема «чистого сердца», естественного добра воплощена в образе молодого горца Алея. Это образец душевной гармонии и смирения. Достоевский восхищается целомудрием Алея, чутким отношением его к товарищам, стремлением всем помочь Тему «чистого сердца» продолжает добрая вдова Настасья Ивановна — человек с бесконечным желанием «сделать для вас непременно что-нибудь приятное», старик старообрядец и гордая и сильная духом Акулька. Эти образы очень важны для понимания мировоззрения Достоевского периода каторги. В

них намечен тот нравственный идеал, который Достоевский разовьет в своих позднейших произведениях: в Алее, например, чувствуются черты Мышкина и Алеши Карамазова.

Достоевский — автор «Записок» — хотел, чтобы его книга воспринималась читателями как рассказ о реальных событиях, а не как обычное произведение с вымышленными героями.

Сочетание документально точного описания людей и событий с художественным вымыслом дает возможность относить «Записки» к жанру *ф* «который граничит с художественным очерком, с одной стороны, и с мемуарами — с другой».[72] В воспоминаниях польского революционера Ш. Токаржевского,[73] также отбывавшего каторгу в омской крепости и названного Достоевским в «Записках» «Т-ский», в книге писателя П. К. Мартьянова,[74] в письмах Достоевского к брату и в официальных документах упоминаются многие эпизоды, о которых повествует Достоевский, действуют реальные прообразы его героев. Сопоставление текста «Записок» с этими материалами заставляет признать, что писатель достаточно полно и достоверно изобразил как основные моменты каторжного быта — внешний вид крепости, распорядок дня, работы, занятия арестантов, — так и тех, кто стал героями его произведения. Анализ метода отображения Достоевским реальных фактов, т. е. изучение многочисленных примеров видоизменения их и попытки объяснить причины этих отступлений, помогает глубже проникнуть в творческую лабораторию писателя, точнее раскрыть замысел произведения.

Большинство персонажей «Записок из Мертвого дома» имеют реальные прототипы. Достоевский сохраняет действительные имена многих из них. Даже убийца Соколов, только упомянутый в «Записках», фигурирует в записанной в 1860 г. «Песне о разбойнике Копеечкине», действие которой происходит в Омске,[75] а «знаменитый своими злодеяниями разбойник Каменев» — реально существующее лицо. Это преступник Коренев (в тексте «Записок» Каменев на с. 256 назван своей действительной фамилией), сидевший на цепи в тобольском остроге в 1850 г. Достоевский мог его там видеть, о нем пишут в своих воспоминаниях дочь тобольского прокурора М. Д. Францева,[76] этнограф С. В. Максимов,[77] А. Е. Врангель.[78]

При установлении возможных прототипов «Записок» возникает вопрос о достоверности воспоминаний Токаржевского и материалов

Мартьянова, служивших до сих пор своеобразным комментарием к произведению Достоевского. Они могут быть убедительно проанализированы при сравнении с официальными документами. В Статейных списках арестантов, сосланных в омскую крепость, хранящихся в Центральном военно-историческом архиве в Москве, обнаруживается большое число лиц, фигурирующих в «Записках» под теми же (или несколько измененными) именами. Прототипы же других персонажей «Записок» раскрываются с достаточной степенью очевидности по характеру преступлений, национальности, вероисповеданию и т. п.

Так, арестант Ломов, «из зажиточных Т-х крестьян, К-ского уезда», пырнувший другого арестанта шилом в грудь, — это преступник гражданского ведомства Василий Лопатин, 43 лет, крестьянин Тобольской губернии, Курганского округа, осужденный «за смертоубийство» на восемь лет. 1 ноября 1850 г. он за драку с Лаврентием Кузевановым и Герасимом Евдокимовым (у Достоевского — Гаврилкой) и нанесение последнему «шилом легкой раны в левый бок и царапины в шею ниже левого уха» был наказан шпицрутенами «через 500 человек два раза».

О Баклушине автор «Записок», сообщает, что он был из кантонистов, убил в городе Р., где служил в гарнизонном батальоне, немца Шульца и за стычку в судной комиссии с капитаном был осужден на «четыре тысячи да сюда, в особое отделение». Достоевский пишет: «Я не знаю характера милее Баклушина». А вот сухие сведения о его прототипе из Статейных списков: «Семен Арефьев, 42 лет, Смоленского отделения, из солдатских детей. Состоял на службе *в Рижском внутреннем гар~ низонном батальоне.* Доставлен в роту 1847 года, августа 25. За пятый со службы побег, грабеж и смертоубийство. Наказан *шпицрутенами через 1000 человек, четыре раза* с выключением из военного звания и отсылкою в *особое отделение,* в г. Омске состоящее. Поведения ненадежного. Грамоте знает» (курсив наш. — *Ред.*).

Судя по Статейным спискам, поразившим Достоевского «с первого взгляда», стариком старообрядцем был раскольник Егор Воронов, 56 лет, из Черниговской губернии (Ш. Токаржевский пишет о нем: «старик старовер из Украины»).[79] Прислан он был, «по высочайшему повелению», «на бессрочное время» за «неисполнение данного его

величеству обещания присоединиться к единоверцам и небытие на священнодействии при бывшей закладке в посаде добрянкской новой церкви».

Крещеный калмык Александр (или «Александра») из II главы второй части, рассказывающий, как он «выходил свои четыре тысячи», — это арестант «особого отделения», из калмыков Саратовской губернии православного вероисповедания Иван Александров, осужденный за «смертоубийство унтер-офицера, находившегося в арестантских ротах для присмотра»; он был наказан не четырьмя тысячами палок, а «шпицрутенами через 1000 человек пять раз».

«Дагестанских татар было трое, — пишет Достоевский, — и все они были родные братья. Два из них уже были пожилые, но третий, Алей, был не более двадцати двух лет…». В письме к брагу от 30 января — 22 февраля 1854 г. писатель говорит о молодом черкесе, «присланном в каторгу за разбой», очевидно, о том же Алее, которого он учил русскому языку и грамоте. В Статейных списках есть три брата из Шемахинской губернии: Хан Мамед Хан Оглы, 34 лет, Али Исмахан Оглы, 44 лет, и Вели Исмахан Оглы, 39 лет. Все они были осуждены за грабеж на 8 лет. Ни один из них не подходит под описание «прекрасного», «доверчивого» и «мягкого» Алея. Наиболее вероятным прототипом Алея был Али Делек Тат Оглы, 26 лет. Он прибыл в омскую крепость тоже из Шемахинской губернии 10 апреля 1849 г. «Лицом мало весноват, волосы черны, глаза карие, нос умеренный…» — таковы скупые сведения о его внешности в Статейных списках за 1851 г. Предполагаемый прототип Алея был прислан «за принятие и скрытие награбленных товаров» на 4 года и вышел из каторги 16 апреля 1853 г.

Реальный прототип имелся и у арестанта, бросившегося на плац-майора с намерением убить его. Сохранилось дело «О дерзком поступке арестанта омской крепости Чикарева против тамошнего плац—майора». Арестант Влас Чикарев был предан военному суду при омском ордонанс-гаузе, где дело было решено в 24 часа («Все произошло очень скоро», — пишет Достоевский — с. 233). По приговору суда он должен был подвергнуться наказанию шпицрутенами «через тысячу человек четыре раза» и остаться по-прежнему в «особом отделении».[80] У Достоевского арестант, наказанный шпицрутенами, умирает в больнице через три дня.

Рассказывая об одном из самых решительных арестантов из всей каторги — Петрове, Достоевский замечает: «…этот Петров был тот самый, который хотел убить плац-майора, когда его позвали к наказанию» (с. 301). В Статейных списках есть запись об очень сходном поступке. Один из арестантов был наказан «за сопротивление против плац-майора Кривцова при наказании его розгами и произнесении слов, что непременно над собою что-нибудь сделает или зарежет его, Кривцова». Правда, произошло это событие в июле 1848 г., но оно могло быть известно Достоевскому по рассказам, как и случай с Чикаревым. Следовательно, этот-то арестант Андрей Шаломенцев, пришедший на каторгу в «особое отделение» за кражу и за «сорвание с ротного командира, капитана Урвачева, эполет», возможно, и был прообразом одной из самых ярких фигур «Записок из Мертвого дома».

Имея сведения о прототипах героев «Записок», можно определить те тенденции, в соответствии с которыми Достоевский вносил изменения в изображение каторжной действительности. Одна из этих тенденций очевидна. Достоевский неоднократно сознательно усиливал преступления своих героев, вернее всего, по цензурным соображениям, чтобы ослабить впечатление от суровости царского суда. Так, татарин Газин из «особого отделения», о котором Достоевский говорит, что он «любил прежде резать маленьких детей», имеет своим прототипом каторжного военного ведомства, «сосланного на срок», Феидуллу Газина, 37 лет, служившего в Сибирском линейном № 3 батальоне и осужденного «за частовременные отлучки из казармы, пьянство и кражи». Прототипом Нурры — «блондина с светло-голубыми глазами», все тело которого «было изрублено, изранено штыками и пулями», был Нурра Шахсурла Оглы, «сероглазый и темнорусый с проседью, на правой щеке и носу шрамы», осужденный на шесть лет, но просто за воровство, а не за участие в набегах на русских, как сказано у Достоевского. Старик старообрядец, осужденный в «Записках» за поджог церкви, на самом деле был наказан бессрочной каторгой лишь за неисполнение обещания присоединиться к единоверцам и за отказ присутствовать при закладке церкви. Приводя все эти отклонения рассказчика от реальной действительности, возможно, рассчитанные на цензуру, не следует, однако, забывать главного: Достоевский смотрел на каторгу глазами художника и «Записки из Мертвого дома» являются не просто мемуарами, но художественным произведением, где большую

роль играют творческое обобщение и вымысел.

Архивные материалы дают дополнительные сведения и о прототипах арестантов из дворян. Писатель довольно точно рассказывает историю жизни каждого из этих своих героев до острога. И все же подлинные[81] события, извлекаемые из судебных дел, заставляют пристальнее вглядеться в людей, характеры которых поразили художника.

Прообразом дворянина-«отцеубийцы» был прапорщик тобольского линейного батальона Д. Н. Ильинский. Известны семь томов судебного дела «об отставном поручике Ильинском», в котором детально отражены все материалы процесса этого мнимого отцеубийцы. Внешне, в событийно-фабульном отношении «отцеубийца» — прообраз Мити Карамазова в последнем романе Достоевского.[82]

Дворянин А-в, о котором Достоевский говорит как о самом отвратительном примере того, «до чего может опуститься и исподлиться человек», также реальное лицо. Это арестант Павел Аристов. Достоевский кратко, но в полном соответствии с действительными фактами рассказывает о его деле. Аристов был осужден «за ложное возведение на невинных лиц государственного преступления» (с. 275). В деле из архива III Отделения «По доносу дворянина Аристова о существующем в С.-Петербурге тайном обществе» подробно излагается история этого человека.[83] На каторге, презираемый всеми арестантами, он продолжал доносить на товарищей. В деле Аристова хранится его собственноручное письмо от 1 января 1853 г. в III Отделение. В письме он просит ходатайствовать за него перед Дубельтом, который «был так милостив при отправлении моем в дальний край Сибири», и говорит: «Вот уже четыре года прошло, как я страдаю. Неужели заблуждения неопытного юноши не позволяют взрослому человеку высказать весь пламень святой любви к царю-отцу и отечеству? Мне наскучила жизнь в ничтожестве, хочется умереть в рядах воинов на Кавказе!». В post-scriptum'e Аристов не забывает добавить: «Страшная нужда заставляет меня просить его превосходительство Леонтия Васильевича Дубельта помочь мне сколько-нибудь высылкою денег на необходимые мне нужды». На письме помета: «Оставить без ответа». Вслед за этим Аристов, которому «наскучила жизнь в ничтожестве», совершает другие отчаянные поступки. В январе 1853 г. «за намерение составить фальшивый билет и

имение при себе для сей цели фальшивой печати» («Он упражнялся у нас отчасти и в фальшивых паспортах», — пишет Достоевский на с. 486) он был наказан розгами. В августе того же года Аристов решился на побег, описанный Достоевским в IX главе второй части. Побег этот он совершил не один, а с «особого отделения арестантом Куликовым» (с. 486), по Статейным же спискам — Александром Кулишовым, 52 лет, осужденным за убийство в «особое отделение». «Цыган, конокрад и барышник» Куликов — Кулишов остался у Достоевского в памяти на долгие годы. В наброске романа о Князе и Ростовщике (1870) влюбленная в Князя Хромоножка, изнасилованная и брошенная им, становится затем жертвой беглого каторжника Кулишова. Есть упоминания о нем в набросках «Смерть поэта» и в планах «Жития великого грешника» (1869–1870). Он же явился прообразом Федьки-каторжного в «Бесах». Об Аристове же Достоевский говорит как о «феномене» среди преступников (с. 275), а в черновых записях к «Преступлению и наказанию» Свидригайлов именуется А-овым. Писатель, очевидно, имел в виду Аристова как образец сходного нравственного падения.

Статейные списки позволяют установить, что прототипом бывшего прапорщика Акима Акимыча был Ефим Белых, осужденный за «ложное <…> понятие о патриотизме, показывающее недостаток развития умственных способностей, приведшее к убийству».

В. Б. Шкловский считал Аким Акимыча «отдаленным родственником лермонтовского Максима Максимовича и пушкинского Белкина». Так же, как Максим Максимыч у Лермонтова, Аким Акимыч у Достоевского как бы вводит рассказчика в новый мир; поэтому Шкловский называет его «Вергилием каторжного ада».[84] Но отношение авторов к своим героям различно. Если Лермонтов чувствует глубокую симпатию к бесхитростному, отзывчивому человеку, гуманист по натуре, то Достоевский, прекрасно понявший суть своего героя и изобразивший его в «Записках» как олицетворение формализма и казенщины, несмотря на прощальный поцелуй, ненавидит Акима Акимыча. Не случайно писатель отмечает пристрастие его к мелочному педантизму, «благоговение к пуговке, к погончику, к петличке» (с. 328), намекая на близость Акима Акимыча в этом отношении к Скалозубу А. С. Грибоедова («А форменные есть отлички: в мундирах выпушки, погончики, петлички» — «Горе от ума», д. III, явл. 12). Попав на

каторгу, Аким Акимыч принял за право «не рассуждать никогда и ни в каких обстоятельствах, потому что рассуждать „не его ума дело“». Несмотря на любовь к труду («не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч» — с. 231), он представляется автору верным слугой существующего порядка, закоренелым врагом всех, кто мешает «правильному течению службы и благонравию» (с. 446).

Много раз Достоевский упоминает в «Записках из Мертвого дома» «товарища из дворян», с которым он вместе «вступил в каторгу». Это был С. Ф. Дуров (1816–1869), поэт-петрашевец, сосланный на четыре года. В «Мертвом доме» Дуров не изменил своих революционных воззрений. Его стихи через инспектора Омского кадетского корпуса И. В. Ждан-Пушкина направлялись на волю. Стихотворение Дурова «К фарисеям» помечено: «14 марта 1850 г. Темница. Омск». Достоевский на каторге отдалился от Дурова; впрочем, они и на воле не были особенно близки. По свидетельству Мартьянова, они никогда не сходились вместе, не обменялись ни единым словом и даже «стали врагами». Но судя по тому, что после освобождения из острога Достоевский и Дуров бывали вместе в доме К. И. Иванова, мужа О. И. Анненковой, дочери декабриста И. А. Анненкова (см. письмо Достоевского к П. Е. Анненковой от 18 окт. 1855 г.), их отношения можно скорее назвать просто далекими, а не враждебными. Позднее, в письме от 14 декабря 1856 г. к Ч. Ч. Валиханову, с которым Достоевский познакомился в доме К. И. Иванова, он пишет: «Поклонитесь от меня Дурову и пожелайте ему от меня всего лучшего. Уверьте его, что я люблю его и искренно предан ему».

На протяжении всей книги Достоевский упоминает польских революционеров, бывших одновременно с ним на каторге. Хотя он подчеркивает свое расхождение с ними во взглядах, но описывает поляков с большим сочувствием, преклоняясь перед их нравственной стойкостью, посвящает им главу «Товарищи».

Из упоминаемых Достоевским поляков наиболее известен Т-ский — Шимон Токаржевский (1821–1899), дворянин, избравший профессию сапожника, чтобы легче вести революционную пропаганду среди ремесленников. Участник противоправительственных заговоров, он был дважды осужден, а в 1883 г. вернулся в Варшаву и написал две книги воспоминаний. Прототипы остальных польских революционеров раскрываются Токаржевским. Так, Ж-кий — это Иосиф Жоховский

(1801–1851), профессор математики Варшавского университета. За революционную речь в 1848 г. он был приговорен к смертной казни, замененной десятью годами каторги. Отбывал ее в Усть-Каменогорске, затем в Омске. По воспоминаниям Токаржевского, был незаслуженно наказан 300 ударами палок (у Достоевского плац-майор приказал дать ему сто розог). Скончался на каторге. М-цкий — это Александр Мирецкий (род. в 1820 г.), прибывший на каторгу в 1846 г. «за участие в заговоре, за произведение в Царстве Польском бунта». Он был особенно нелюбим плац-майором, который постоянно назначал его парашником и, издеваясь, повторял: «Ты мужик — тебя бить можно!» В ноябре 1851 г. Мирецкий был переведен в гражданское ведомство для определения на поселение в Сибири. Достоевский упоминает Мирецкого в «Дневнике писателя» за 1876 г. Б-ский — это Иосиф Богуславский (1816–1857 или 1859), осужденный на десять лет. В январе 1849 г. он был водворен в Усть-Каменогорскую крепость, а в октябре того же года вместе с Токаржевским и Жоховским переведен в Омск. По дороге Богуславский заболел, ему было отказано унтер-офицером в месте на подводе, и Токаржевский нес друга 700 верст на руках. Мемуары Богуславского «Воспоминания сибиряка»[85] существенно дополняют книги Токаржевского. Из Статейных списков об арестантах омской крепости известны и прототипы трех остальных поляков, лишь вскользь упомянутых Достоевским — Б-м, А-чуковский, К-чинский. Это были осужденные «за участие в краковском возмущении» живописец Карл Бем, Юзеф Анчиковский и тридцатидвухлетний Людвиг Корчинский («тихий и кроткий молодой человек», — писал о нем Достоевский), осужденный за «возмущение против православной церкви и верховной власти и покушение к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии». Судьбы политических осужденных описаны Достоевским чрезвычайно точно. В этом отношении глава «Товарищи» выделяется своей строгой фактографичностью.

Известно, что прототипом плац-майора, прозванного за «рысий взгляд» «восьмиглазым», послужил плац-майор омского острога Василий Григорьевич Кривцов. В письме к брату от 30 января — 22 февраля 1854 г. Достоевский дает ему следующую характеристику: «Плац-майор Кривцов — каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все, что только можно представить отвратительного <…> Он

уже два года был плац-майором и делал ужаснейшие несправедливости <…> Он наезжал всегда пьяный (трезвым я его не видел), придирался к трезвому арестанту и драл его под предлогом, что тот пьян как стелька. Другой раз, при посещении ночью, за то, что человек спит не на правом боку, за то, что вскрикивает или бредит ночью, за все, что только влезет в его пьяную голову». В воспоминаниях Токаржевского Кривцову посвящена специальная глава «Васька». Кривцов был отставлен еще при Достоевском, а затем предан суду. Токаржевский вспоминал, что, будучи проездом в Омске в 1864 г., встретил нищего, в котором узнал бывшего плац-майора, и подал ему рубль; Кривцов тоже его узнал и на вопрос, что же произошло, ответил: «Бог меня покарал за покойного Жоховского, за вас всех. Простите!» В письме же к Достоевскому его омской знакомой Н. С. Крыжановской от августа — сентября 1861 г. сообщается, что Кривцов скоропостижно скончался.[86] Достоверность этих сведений трудно проверить. Несмотря на то что все внешние черты Кривцова Достоевский воспроизвел достаточно точно, образ «восьмиглазого» получил обобщающий характер.

По цензурным условиям Достоевский не мог коснуться в «Записках» темы стихийной борьбы крестьян против крепостнического произвола. Рассказ писателя об одном из его товарищей по острогу — крестьянине, убившем своего помещика, вступившись за честь своей невесты, сохранил для нас друг Достоевского А. П. Милюков в своих воспоминаниях. Приводим этот рассказ полностью:

«В казарме нашей, говорил Федор Михайлович, был один молодой арестант, смирный, молчаливый и несообщительный. Долго я не сходился с ним, не знал — давно ли он в каторге и за что попал в особый разряд, где числились осужденные за самые тяжкие преступления. У острожного начальства был он по поведению на хорошем счету, и сами арестанты любили его за кротость и услужливость. Мало-помалу, мы сблизились с ним, и однажды по возвращении с работы он рассказал мне историю своей ссылки. Он был крепостной крестьянин одной из подмосковных губерний и вот как попал в Сибирь.

— Село наше, Федор Михайлович, — рассказывал он, — не маленькое и зажиточное. Барин у нас был вдовец, не старый еще, не то чтобы очень злой, а бестолковый и насчет женского пола распутный. Не любили его у нас. Ну вот, надумал я жениться: хозяйка была нужна, да и

девка одна полюбилась. Поладили мы с ней, дозволение барское вышло, и повенчали нас. А как от венца-то вышли мы с невестой да, идучи домой, поравнялись с господской усадьбой, выбежало дворовых никак человек шесть или семь, подхватили мою молодую жену под руки да на барский двор и потащили. Я рванулся было за ней, а на меня набросились людишки-то; кричу, бьюсь, а мне руки кушаками вяжут. Не под силу было вырваться. Ну, жену-то уволокли, а меня к избе нашей потащили да связанного как есть на лавку бросили и двоих караульных поставили. Всю ночь я прометался, а поздним утром привели молодую и меня развязали. Поднялся я, а баба-то припала к столу — плачет, тоскует, „Что, говорю, убиваться-то: не сама себя потеряла!“. И вот с самого этого дня задумал я, как мне барина за ласку к жене отблагодарить. Отточил это я в сарае топор, так что хоть хлебы режь, и приладил носить его, чтобы не в примету было. Может, иные мужики, видя, как я шатался около усадьбы, и подумали, что замышляю что-нибудь, да кому дело: больно не любили у нас барина-то. Только долго не удавалось мне подстеречь его, то с гостями, бывало, он хороводится, то лакеишки около него… всё несподручно было. А у меня словно камень на сердце, что не могу я ему отплатить за надругательство; пуще всего горько мне было смотреть, как жена-то тоскует. Ну вот, иду я как-то под вечер позади господского сада, смотрю — а барин по дорожке один прохаживается, меня не примечает. Забор садовый был невысокий, решетчатый, из балясин. Дал я барину-то немного пройти да тихим манером и махнул через загородку. Вынул топор я да с дорожки на траву, чтобы загодя не услыхал, и, по траве-то крадучись, пошел за ним шагать. Совсем уже близко подошел я и забрал топор-то в обе руки. А хотелось мне, чтобы барин увидал, кто к нему за кровью пришел, ну, я нарочно и кашлянул. Он повернулся, признал меня, а я прыгнул к нему да топором его прямо по самой голове… трах! Вот, мол, тебе за любовь… Так это мозги-то с кровью и прыснули… упал и не вздохнул. А я пошел в контору и объявился, что так и так, мол. Ну, взяли меня, отшлепали да на двенадцать лет сюда и порешили.

— Но ведь вы в особом разряде, без срока?

— А это, Федор Михайлович, по другому уж делу в бессрочную-то каторгу меня сослали.

— По какому же делу?

— Капитана я порешил.

— Какого капитана?

— Этапного смотрителя. Видно, ему так на роду было написано. Шел я в партии, на другое лето после того, как с барином-то покончил. Было это в Пермской губернии. Партия угонялась большая. День выдался жаркий-прежаркий, а переход от этапа до этапа большой был. Смаяло нас на солнцепеке, до смерти все устали; солдаты-то конвойные чуть ноги двигали, а нам с непривычки в цепях страсть было жутко. Народ же не весь крепкий был, иные, почитай, старики. У других весь день корки хлеба во рту не было: переход такой вышел, что подаяния-то дорогой ни ломтя не подали, только мы раза два воды попили. Уж как добрались, господь знает. Ну, вошли мы на этапный двор, да иные так и полегли. Я, нельзя сказать, чтоб обессилел, а только очень есть хотелось. В эту пору на этапах, как партия подойдет, обедать дают арестантам, а тут, смотрим, никакого еще распоряжения нет. И начали арестантики-то говорить: что же, мол, это нас не покормят, мочи нет, отощали, кто сидит, кто лежит, а нам куска не бросят. Обидно мне это показалось: сам я голоден, а стариков-то слабосильных еще больше жаль. „Скоро ли, спрашиваем этапных солдат, пообедать-то дадут?“ — „Ждите, говорят, еще приказа от начальства не вышло“. Ну, рассудите, Федор Михайлович, каково это было слышать, справедливо, что ли? Идет по двору писарь, я ему и говорю: „Для чего же нам обедать не велят?“ „Дожидайся, говорит, не помрешь“. — „Да как же, говорю я, видите, люди измучились, чай, знаете, какой переход-то был на этаком жару… покормите скорее“. — „Нельзя, говорит, у капитана гости, завтракает, вот встанет от стола и отдаст приказ“. — „Да скоро ли это будет?“ — „А досыта покушает, в зубах поковыряет, так и выйдет». — „Что же это, говорю, за порядки: сам прохлаждается, а мы с голоду околевай!“ — „Да ты, говорит писарь-то, что кричишь?“ — „Я, мол, не кричу, а насчет того сказываю, что немочные у нас есть, чуть ноги двигают“. — „Да ты, говорит, буянишь и других бунтуешь, вот пойду капитану скажу“. — „Я, говорю, не буяню, а капитану как хочешь рапортуй“. Тут, слыша разговор наш, иные из арестантов тоже стали ворчать, да кто-то ругнул и начальство. Писарь-то и обозлился. „Ты, говорит мне, бунтовщик; вот капитан с тобой справится“. И пошел. Зло меня такое взяло, что и сказать не могу; чуял я, что дело не обойдется без греха. Был у меня в ту пору нож складной, под Нижним у арестанта на рубашку выменял. И не помню теперь, как я достал его из-за пазухи

и сунул в рукав. Смотрим — выходит из казармы офицер, красный такой с рожи-то, глаза словно выскочить хотят, надо быть, выпил. А писаришко-то за ним. „Где бунтовщик?“ — крикнул капитан да прямо ко мне. „Ты что бунтуешь? А?“. — „Я, говорю, не бунтую, ваше благородие, а только о людях печалюсь, для чего морить голодом, ни от бога, ни от царя не показано“. Как зарычит он: „Ах ты, такой-сякой! я тебе покажу, как показано с разбойниками управляться. Позвать солдат!“. А я это нож-то в рукаве прилаживаю да изноравливаюсь. „Я тебя, говорит, научу!“. — „Нечего, мол, ваше благородие, ученого учить, я и без науки себя понимаю“. Это уж я ему назло сказал, чтоб он пуще обозлился да поближе ко мне подошел… не стерпит, думаю. Ну, и не стерпел он: сжал кулаки и ко мне, а я этак подался да как сигну

вперед и ножом-то ему снизу живот, почитай, до самой глотки так и пропорол. Повалился словно колода. Что делать? Неправда-то его к арестантам больно уж меня обозлила. Вот за этого самого капитана и попал я, Федор Михайлович, в особый разряд, в вечные».

Чтобы полнее определить жанровое своеобразие «Записок», необходимо упомянуть и о включенном в них фольклорном материале. Меткие выражения, специфические словечки, каторжные легенды, народные песни, пословицы, источником которых для писателя была его «Сибирская тетрадь», входят в текст «Записок» в живой, свободной, разговорной форме, сливаясь с общим строем речи персонажей, усиливая ее выразительность и национальный колорит. С особым интересом писатель относился к пословицам, — он пользовался в «Записках» всем разнообразием пословичного жанра. Поговорки, прибаутки, присловья, меткие слова, включенные непосредственно в живую речь персонажей, позволяют в образно-ритмической, максимально сжатой словесной форме воспроизвести обобщенный жизненный опыт данной группы людей. При этом Достоевский в отличие, например, от этнографа С. В. Максимова дает традиционные формулы народной поэзии, воспроизводя обстановку их бытования. Особенно насыщены фразеологизмами главы, где создается первое впечатление о массовом герое Достоевского (ч. 1, гл. II, III, V, IX). В этих главах, близких к физиологическому очерку, очень много диалогов, усиливающих сюжетную динамику, сообщающих действию драматическое напряжение, здесь пословицы так органически слиты с общим лексическим строем речи персонажей, что выделить их часто

довольно трудно.

Для того чтобы дать представление о «Сибирской тетради», служившей писателю «кладовой», из которой он черпал фольклорный материал, приводим в качестве образца характерный отрывок ее:

«70) Мы с дядей Васей *коровью смерть* убили.

71) Ну! бирюлину корову привели.

72) NB. Чего суешься с невымытым рылом в калашный ряд.

73) А у меня-то ни тетки, раз-так се совсем!

74) А я, брат, божиею милостию майор.

75) „Ах ты, язевой лоб!“ — „Да ты не сибиряк ли?“ — „Да есть мало-мало! А что?“ — „Да ничего“.

76) Как завел меня туда господь, ах! благодать небесная! Я — ну прибирать! И махальницу, и едальницу, и хлопотницу взял. Да и дьяконов чересседельник прибрал. У Н<иколая> У<годника> подбородник снял, у б<огороди>цы кокошник снял да и Ваньку-то крикуна заодно стащил.

77) „Ах, как дедушка на бабушке огород пахал!“

78) А уж у меня заложено пьянее вина. А уж я того… в Бахусе.

79) А я-то куражусь, рубаха на мне красная, шаровары плисовые, лежу себе, как этакий граф Бутылкин, и финозомия выражает, — ну, т. е. пьян, как швед, чего изволите?

80) А у него на ту пору бостон, генералы съезжались.

81) Кажись, генеральские дочки, а носы всё курносые.

82) Не хочу в ворота, разбирай заплот.

83) „Здравствуйте, батюшка! Живите больше, Анкудим Трофимыч!“ — „Ну, как дела?“ — „Да наши дела, как сажа бела. Вы как, батюшка?“ — „Э, батюшка, по грехам своим живем, только небо коптим“. — „Живите больше, Анкудим Трофимыч“.

84) Глухой не дослышит, так допытается.

85) Сибиряк соленые уши.

86) Ишь, разжирел! К заговению двенадцать поросят принесет.

87) „Что ж ты не приходила?“ — „Вот! Я пришла, а вас

Митькой звали“.

88) Старое дерево скрипит, да живет.

89) Ишь, Пермь желторотая! Ишь, пермяк кособрюхой!

90) „Да ты что за птица такая?“ — „Да уж такая птица!“ — „Да какая?“ — „Да такая“. — „Какая, < —— >?“ — „Каган“. — „Подлец ты, а не каган“.

91) „Чуете! Ты мене вид морду набьешь. Чуете, такого гвалта зроблю!“ — „Да молчи ты! Ню-ню-ню! Парх проклятый!“ — „Нехай буде парх!“ — „Жид пархатый!“ — „Нехай будет такочки! Хоть пархатый, да богатый, гроши ма!“ — „Христа продал!“ — „Нехай буде такочки!“

92) „Эх, жид, хватишь кнута, в Сибирь пойдешь!“ — „А що там пан бог есть?“ — „Да есть-то есть!“ — „Ну нехай! был бы пан бог да гроши!“

93) Ври, Емеля, твоя неделя!

94) „Да у кого?“ — „Да у нашего Зуя“.

95) А ты так живи: ни шатко, ни валко, ни на сторону.

96) Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу.

97) Пробуровил тысячу.

98) А! ты, верно, Неробелов? Вот подожди у меня.

99) Умный человек! из семи печей хлеба едал.

100) Чисто ходишь, где берешь, дай подписку, с кем живешь?

101) Чисто ходишь, бело носишь, скажи, кого любишь? С каким словом сказать.

102) Все дрянь. Только и можно почесть рубашку сарпинковую.

103) NB. Ты мне черта в чемодане не строй!

104) На обухе рожь молотили, зерна не проронили.

105) Голодом сидят, девятой день тряпицу жуют.

106) Ты сколько знаешь, я всемеро столько забыл. Другой больше забыл, чем ты знаешь.

107) Глаза-то уже успел переменить (напился).

108) Этому 5 лет, тот на 12, а я вдоль по каторге. Поперек Москвы шляпа.

109) Эй ты, строка.

110) Люди ложь, и я тож.
111) Как бы не так! Ты откуда, а я чей?
112) *Прогорел!* (Проигрался, промотался, пропился)».

Особое место в «Записках» занимает глава «Акулькин муж». Первоначальный источник сюжета ее — реальная история, кратко записанная Достоевским на полях «Сибирской тетради». Рассказ арестанта Шишкова стилизован. Введение рассказчика не условный композиционный прием, а явная установка автора на социально чужой сказовый тон. Сказовая манера достигается большим количеством постоянных эпитетов, народных идиоматических выражений. Название рассказа, возможно, восходит к записанному в «Сибирской тетради» двустишию из шуточной плясовой песни: «Погодя того немножко, Акулинин муж на двор».

Достоевский упомянул героя этой главы — Акулькина мужа — наряду с «главнейшими героями» своими в черновых материалах к «Подростку»: «Говорили, что я изображал гром настоящий, дождь настоящий, как на сцене. Где же? Неужели Раскольников, Ст<епан> Трофимович (главные герои моих романов) подают к этому толки? Или в „Записках из Мертвого дома“ Акулькин муж, например?».

«Записки из Мертвого дома» были приняты читателями и критикой восторженно. «Мой „Мертвый дом“ сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию», — писал Достоевский А. Е. Врангелю 31 марта 1865 г.

О каторге ходили до того времени лишь темные слухи. Разоблачение Достоевским ужасов, испытанных на себе, и недавнее возвращение автора из Сибири приковывали внимание к книге.

«Записки» вызвали в первую очередь ряд статей, связанных с пенитенциарным вопросом. «Сын отечества» поднял вопрос о госпиталях для каторжных (1862. 1 февр. № 28. С. 218) и о средствах исправления преступников на каторге (там же. 17 июня. № 24. С 569–570), а «Русский мир» опубликовал статью «На каком основании надевают кандалы на лиц привилегированных сословий?», где указывалось, что закование в кандалы лиц привилегированных сословий является нарушением закона (1862. 9 июня. № 22. С. 448–449). Известный юрист П. Муллов в статье «Вопрос о местах заключения арестантов в России» на основании «Записок из Мертвого дома» писал о

развращающем влиянии каторги, требовал допустить там свободный труд и рекомендовал «изменение системы заключения» (Век. 1862. 11 марта. № 9-10. С. 88–91).

Вслед за статьями, посвященными частным вопросам, появляются статьи, требующие радикальных реформ в устройстве каторжных тюрем (Иллюстрированный листок. 1862. 28 окт. № 42. С. 401–402; 4 ноября. № 43. С. 430–432). Возникновение этого направления критики было естественно: в силу своей фактической достоверности «Записки» воспринимались как документ, как совершенно необходимое дополнение к официальным отчетам о состоянии тюрем.

Уже в вышеназванных статьях отмечался и общегумаиистический характер произведения Достоевского. На этом вопросе останавливался А. П. Милюков. В статье «Преступные и несчастные» он называл писателя новым Вергилием, который ввел читателей в ад, но не фантастический, а реальный. Особо отмечая стремление автора в каждом преступнике найти человека, Милюков дает характеристику «галерее каторжников», от «страшного разбойника Газина до Алея», «возбуждающего страдание, как грустная тень Франчески посреди Дантова ада» (Светоч. 1861. Кн. 5. С. 27–40). К статье Милюкова примыкают две статьи В. Р. Зотова <?> в «Иллюстрации», выдвигающие вопрос о человеческих правах преступников, об отношении к ним общества (1862. 20 сент. № 237. С. 187–190; 1863. 21 февр. № 258. С. 114).

Рассматривая книгу только как изображение каторги, критики снижали ее общественное значение, сужали идейный смысл. Так, Ленивцев (А. В. Эвальд) в «Отечественных записках» доказывал, что «Записки из Мертвого дома» знакомят публику с второстепенными фактами и вопросами русской жизни, что это произведение полезно только «частностями, и к общему оно никогда не возвышается» (1863. № 2.С. 191–195). Критик обвинял Достоевского в отсутствии выводов общественно-политического характера.

Другой упрек сделал писателю критик «Библиотеки для чтения» Е. Ф. Зарин (1862. № 9. С. 89-119). Он обвинял Достоевского в сентиментальной филантропии. Зарин воспринял эту «бесхитростную», но «в высшей степени способную занимать человеческое внимание» книгу как выражение болезненного, расплывчатого гуманизма.

Такая односторонняя оценка «Записок из Мертвого дома»

постоянно волновала Достоевского.

Так, в записной тетради 1876 г., рассматривая критику, посвященную «народным романам», он сетовал, что о «Записках из Мертвого дома», «где множество народных сцен, — ни слова. В критике „З<аписки> из Мерт<вого> дома“ значат, что Достоевский обличал остроги, но теперь оно устарело. Так говорили в книжн<ом> магазине, предлагая другое, ближайшее, *обличение* острогов».

Достоевский был, однако, не совсем прав. Ведущие критики журналов часто даже там, где они только упоминали в своих статьях «Записки из Мертвого дома», отдавали должное этому произведению и верно определяли его место в литературном процессе. Так, А. А. Григорьев в статье «Стихотворения Н. Некрасова» писал: «В явлениях, или, лучше сказать, в откровениях, жизни есть часто бесспорный параллелизм. Новое отношение к действительности, к быту, к народу, смутно почувствовавшееся в стихотворении Некрасова, почувствовалось тоже и в протесте „Бедных людей“, протесте против отрицательной гоголевской манеры, в первом еще молодом голосе за „униженных и оскорбленных“, в сочувствии, которому волею судеб дано было выстрадаться до сочувствия к обитателям „Мертвого дома“» (Время. 1862. № 7. Отд. II. С. 17).

Глубоко оценили «Записки» Тургенев, Лев Толстой, демократическая критика в лице А. И. Герцена, Д. И. Писарева, Н. В. Шелгунова. Герцен писал, что эпоха общественного подъема 1860-х годов «оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это „Мертвый дом“ Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буонарроти».[87]

Наиболее значительная статья о «Записках из Мертвого дома» принадлежала Д. И. Писареву. Она была написана в то время, когда уже стали ясны политические взгляды Достоевского середины 1860-х годов, когда он открыто выступил противником «нигилизма» и идеологии революционных демократов не только как публицист на страницах журналов «Время» и «Эпоха», но и в художественных произведениях. Статья «Погибшие и погибающие» появилась в 1866 г. в сборнике

«Луч». Критик построил ее на сопоставлении «русской школы» («Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского) с «русским острогом». Писарев доказывал, что судьба отдельной личности определяется характером воспитания, условиями труда и быта, всей обстановкой жизни. Бессмысленность зубрежки в бурсе и работы на каторге, мизерность содержания, получаемого «обитателями этих двух одинаково воспитательных и одинаково карательных заведений», воровство и ростовщичество, т. е. сходство условий существования, приводит и к сходству духовному. Питомцы бурсы систематически становятся обитателями «Мертвого дома». Критик пришел к выводу, что оба произведения являются суровым и правдивым приговором современной действительности, высоко оценил «Записки из Мертвого дома» за их гуманизм и демократизм.

Свидетельством большого интереса демократического лагеря 1860-х годов, и в частности Н. Г. Чернышевского, к «Запискам из Мертвого дома» явилась попытка издать отрывки из книги значительным тиражом и по дешевой цене. Чернышевский принимал живое участие в организации этого издания, вел с Достоевским переговоры о его принципиальном согласии на издание, о выборе отрывков. Арест Чернышевского 7 июля 1862 г. и наступление реакции не позволили осуществить это намерение.[88] В дальнейшем глава «Акулькин муж» с подзаголовком «Из рассказа каторжного в „Записках из Мертвого дома“ Ф. Достоевского» вошла в составленный землевольцем А. Д. Путятой и изданный при поддержке кружка Н. А. Серно-Соловьевича «Сборник рассказов в прозе и стихах» (СПб., Тип. О. И. Бакста. 1863. 124 с. Цена 8 коп. Тираж 10 000 экз.). Текст Достоевского был дан здесь в редакционной обработке: снято описание обстановки, отсутствует личность рассказчика. Заключают рассказ (что очень значительно) строчки из последней главы «Записок» о погибших даром народных силах с вопросом: «А кто виноват? То-то, кто виноват?».

Проблематика «Записок» совпала с общими устремлениями демократической мысли 1860-х годов. Специфическая «почвенническая» окраска некоторых идей Достоевского, выраженных в «Записках», не привлекла пристального внимания критики этого периода.

В 1870-1880-е годы были попытки сблизить идею «Записок из Мертвого дома» со взглядами и творчеством позднего Достоевского. О.

Ф. Миллер и Н. Н. Страхов рассматривали книгу в свете христианского нравственного учения. Они писали об уроках «народной правды», которые получил Достоевский на каторге и которые способствовали его духовному обновлению.[89] Д. С. Мережковский в книге «Л. Толстой и Достоевский» заметил, что Достоевский «старался возвысить и облагородить свои воспоминания о каторге», видя в ней «суровый, но счастливый урок судьбы, без которого не было ему выхода на новые пути жизни»;[90] в аналогичном психолого-биографическом плане подошел к «Запискам» Л. Шестов, повторивший вывод Мережковского.[91]

Знаменателен отзыв о «Записках» В. И. Ленина, сохраненный в воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевича: «„Записки из Мертвого дома“, — отмечал Владимир Ильич, — являются непревзойденным произведением русской и мировой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и „Мертвый дом“, в котором жил русский народ при царях из дома Романовых».[92]

Линию «Записок из Мертвого дома» продолжили А. П. Чехов в книге «Остров Сахалин» (1895), революционер-народник П. Ф. Якубович в книге «В мире отверженных» (1894–1897), художественно-документальная литература XX в. (русская и зарубежная), в том числе связанная с судьбами жертв фашистских лагерей и сталинских репрессий.

# Петербургские сновидения в стихах и прозе

Впервые опубликовано в журнале «Время» (1861. № 1, отд. VI. С. 1 — 22) без подписи Достоевского.

Еще в сентябре 1858 г., в письме к брату, излагая в связи с задуманным им еженедельником программу будущего журнала, Достоевский писал: «Главное: литературный фельетон, разборы журналов…» (письмо от 13 сент. 1858 г.). В 1860 г. в печатной программе журнала «Время» на 1861 г. был также объявлен фельетон. Тут же было сказано, что «из статей юмористического содержания мы сделаем особый отдел в конце каждой книжки».

Для первой книжки журнала братьев Достоевских «Время» фельетон первоначально был написан Д. Д. Минаевым.

С Минаевым Достоевского познакомил в 1859 г. А. П. Милюков. Он писал Достоевскому в Тверь 28 сентября 1859 г.: «Позвольте вам представить подателя этого письма — Дмитрия Дмитриевича Минаева. Уполномоченные издателем нового литературного журнала „Светоч“, он весьма желает познакомиться с вами и просит вашего участия в новом издании» (Лит. наследство. М., 1971. Т. 83. С. 160). 18 октября Достоевский пишет брату Михаилу Михайловичу, что Минаев был у него в Твери и что он обещал ему сотрудничество в «Светоче». В 1860 г. Минаев, печатавший свои сатирические стихи, переводы и фельетонные обозрения «Петербургская летопись» в «Светоче», часто посещал «вторники» Милюкова, на которых бывал и вернувшийся в Петербург Достоевский.[93]

В первом номере «Времени» за 1861 г. в разделе «Критическое обозрение» Минаев поместил юмористический разбор четырех книг переводов из Гейне. В редакторской книге журнала «Время» за январь 1861 г. по этому поводу записано, что Минаеву «выдан гонорар „За библиограф<ическую> статью“»; здесь же имеются сведения о гонораре ему и за стихи в фельетоне. С фельетоном Минаева первый номер журнала был представлен к 1 декабря 1860 г. в цензурный комитет, и было получено цензурное разрешение на его выход. Уже после этого, в последние дни декабря, не удовлетворивший Достоевского фельетон Минаева был заменен фельетоном «Петербургские сновидения», датируемым концом декабря 1860 г.[94] Что фельетон не мог быть

написан раньше, подтверждается многочисленными перекличками и прямыми цитатами Достоевского из декабрьского номера «Современника», в частности из фельетона Нового Поэта (И. И. Панаева), цензурное разрешение которого было получено 19 декабря 1860 г., объявление же о выходе в свет появилось лишь 30 декабря.[95] Но и помимо этого, фельетон Достоевского насыщен самыми последними к тому времени новостями. Текст фельетона Минаева не сохранился, и мы не можем вполне определенно сказать, чем фельетон этот не удовлетворил Достоевского. Мотивами, вызвавшими его замену, могли послужить и идеологические разногласия между Достоевским и «искровцем» Минаевым (сотрудничество последнего во «Времени» прекратилось после того, как его фельетон был отвергнут редакцией), и неудовлетворенность Достоевского художественными качествами фельетона. Но можно предположить и еще один мотив: судя по сатирическим стихам Минаева, сохраненным Достоевским в тексте фельетона, и фельетонам того же Минаева в первом и втором номерах «Светоча» за 1861 г. (которые по содержанию и манере должны были быть близки его фельетону, написанному для «Времени»), весьма вероятно, что большая часть фельетона Минаева была посвящена выпадам против только что вышедших «Очерков из Петербургской жизни Нового Поэта» Панаева. В связи с выходом их П. И. Вейнберг в статье «Литературные скандалы» писал по поводу «Очерков» Панаева, что они «не имеют ничего литературного. Это совсем не сочинения. Это то, что, пока не напечатано, называется слухами, новостями, сплетнями. Напечатанное, оно имеет свое место и значение в другой литературе — литературе скандалов».[96] Примечание редакции к статье Вейнберга было прямо направлено против «Свистка». В «Светоче» Минаев также отозвался об «Очерках» Панаева критически: «Только один Новый Поэт, — пишет он, — умеет рассказывать о петербургской жизни весело, легко и занимательно. Это был бы соперник лучших парижских фельетонистов, если бы не один маленький недостаток — отсутствие светскости и тона истинного джсн-тельмена. К сожалению, при всех претензиях на приемы порядочного человека, у Нового Поэта на всяком шагу проглядывают замашки франта-комми из перчаточного магазина».[97] Между тем «Время» поместило в первом номере «Письмо постороннего критика (по поводу книг г-на Панаева и Нового Поэта)»,[98] где высказано иное, сочугствен-ное отношение к сочинениям

Панаева. Да и вообще в расчеты редакции вряд ли входило затевать сразу же полемику с Панаевым и «Современником».

Свой взгляд на роль и задачи фельетониста Достоевский сформулировал в самом фельетоне. Порицая фельетонистов, дающих лишь перечень «воображаемых животрепещущих городских новостей», он иронизирует над «едва оперившимися мальчишками», считающими, что фельетон — «это не повесть, пиши о чем хочешь <…> Ему и в голову не приходит, что фельетон в наш век — это… это почти главное дело». Вслед за этим писатель напоминает современным фельетонистам о Вольтере. Достоевский размышляет над тем, каким представляется ему «присяжный, всегдашний», а не «случайный», как он сам себя рекомендует, фельетонист: «…я пожелал обратиться в Эженя Сю, чтоб описывать петербургские тайны». Упоминание Э. Сю не случайно, В 1840-е годы французская традиция определила путь развития фельетонного жанра от газетной хроники, «физиологических очерков» к «роману-фельетону» Э. Сю «Парижские тайны». Аналогичное Парижу место в русском фельетоне со времен Гоголя занял Петербург.

Заглавие «Петербургские сновидения» связывает фельетон, с одной стороны, с литературой физиологии 1840-х годов, с другой — с переосмысленной Достоевским романтической традицией. Для фельетона характерен композиционный прием, найденный еще в «Петербургской летописи» 1847 г.: на первый план в нем выдвинуты личность автора — «мечтателя и фантазера» и его сложный внутренний мир.

Появившись впервые в цикле ранних фельетонов Достоевского, в «Хозяйке» и «Слабом сердце», образ «мечтателя» углубился в «Белых ночах» (см.: наст. изд. Т. 2). В «Петербургских сновидениях» он через 10 лет получает иные психологические оттенки. Рядом со старым типом «сентиментального мечтателя» в фельетоне в соответствии с новыми веяниями времени теперь мелькают «мечтатель-прогрессист», «мечтатель-деятель», к которым писатель относится иронически. Главный герой фельетона психологически во многом предвосхищает тип мечтателя из позднейших повестей и романов Достоевского 1860-1870-х годов от «Преступления и наказания», где тема «мечтательства» приобретает новую сложную философско-историческую интерпретацию, которую она сохраняет вплоть до замысла особого романа «Мечтатель» (1876 г.), оставшегося неосуществленным (см.:

*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1976. Т. 17. С. 8), и «Братьев Карамазовых».

В противовес легкому, юмористическому и даже слегка эксцентрическому началу фельетона дальнейшие автобиографические его страницы написаны с глубоким задушевным лиризмом. Здесь приподнимается завеса над многими малоизвестными нам по другим источникам страницами жизни писателя от момента выхода его в отставку в 1844 г. до появления в большой литературе. Автобиографичность фельетона явственно проступает в сопоставлении с письмом 1840-х годов. В письме к старшему брату от 1 января 1840 г., описывая встречи с другом юности И. Н. Шидловским, Достоевский писал: «…мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали <…> Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им <…> Имя же Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний». Та же атмосфера юношеского упоения литературой, мечтательством, романтическими грезами отражена в фельетоне: «…бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире…» (с. 485).

Восприятие Петербурга как некоего «сна», стоящего на грани реальности и фантастики, перенесенное из повести «Слабое сердце» (см.: наст. изд. Т. 2), проходит лейтмотивом через все творчество писателя. С «видением на Неве» связывает Достоевский начало нового этапа жизни — «с той именно минуты началось мое существование…», т. е. жизнь в творчестве. В героях его петербургских «сновидений» легко угадываются герои ранних произведений писателя. Среди перечисленных им «странных, чудных фигур» — «прозаический» и в то же время «фантастический» титулярный советник — Голядкин; Макар Девушкин и Вася Шумков — «чистые» и «честные» сердца, «преданные начальству», «оскорбленная и грустная» Варенька Доброселова и т. д.

«Петербургские сновидения» — произведение особого рода. С одной стороны, оно подводило в какой-то мере итог сделанного в докаторжный период, с другой — заключало в себе программу дальнейших творческих замыслов, обогащенных долгими размышлениями, новыми темами и мотивами. Новый герой опять-таки чиновник, но неожиданный поворот сюжета — возникшая у него

«неотразимая уверенность, что он-то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей», связывает привычную чиновничью тему 1840-х годов с бурной исторической обстановкой 1860-х. Достоевский переходит к злободневным петербургским событиям последних дней: «…вычитал я недавно из газет опять одну тайну». Далее следует рассказ, почти буквально совпадающий с заметкой в газете «С.-Петербургские ведомости», озаглавленной «Новый Гарпагон»: «5-го декабря, Нарвской части, 1-го квартала, и доме Кобылинского, найден умершим отставной титулярный советник Николай Петров Соловьев. Из дознания видно, что Соловьев, имевший около 80-ти лет от роду, жил в этом доме, на квартире у финляндского уроженца Андрея Глед, нанимая у него в комнате угол, отделенный ширмою, и платил за это 3 р<убля> сер<ебром> в месяц. Соловьев жил здесь больше года, по-видимому, не имел никаких запиши, постоянно жаловался на скудость своих средств и даже за квартиру вовремя не платил, оставшись после смерти должен за целый год; в течение этого года Соловьев постоянно был в болезненном положении, страдая отдышкою и вообще расстройством грудных органов; для излечения от болезни ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу, отказывал себе в употреблении свежей пищи даже в последние дни своей жизни и умер, не исполнив последнего христианского долга. При осмотре бумаг Соловьева найдено 169022 р<убля> в билетах разных кредитных установлений и наличными деньгами, кои отосланы, для хранения, в 1-й департамент Управы благочиния. Тело умершего подлежит вскрытию».[99] Фигура «Нового Гарпагона» должна была поразить Достоевского сходством с ситуацией, обрисованной им еще в 1846 г. в рассказе «Господин Прохарчин». Вернулся Достоевский к близкому мотиву и позднее — в «Подростке».

Следуя за Гоголем и отчасти за Бальзаком в изображении нищих-богачей, Достоевский переключает рассказ в иной, «фантастический» план, воссоединяя его с пушкинской идеей мрачного, демонического могущества, утверждаемого с помощью денег. Реальный факт, обогащенный сопоставлениями с литературными образами сю предшественников, дает Достоевскому возможность сказать свое слово, сделать именно то, о чем он говорит в начале фельетона: «…на всё можно взглянуть своим собственным взглядом, скрепить своею собственною мыслию, сказать свое слово, новое слово» (с. 483). Тема

свободы и могущества личности, достигнутых в результате накопления богатства, пройдет через все последующее творчество писателя. Элементы ее ощущаются в «Игроке», «Записках из подполья», «Идиоте»; она займет главенствующее место в неосуществленном замысле «Житие великого грешника», а затем в романе «Подросток» станет «одержимой идеей» Аркадия Долгорукова (см.: наст. изд. Т. 8).

«Петербургские сновидения» поднимают и ряд других тем, сквозных в творчестве Достоевского, — темы «униженной бедности», страдающих детей, губительного для человеческой души равнодушия и нравственного цинизма перед лицом общих страданий.

В связи с полемикой начала 1860-х годов о нищенстве внимание фельетониста привлекает «некий господин» «в форменном пальто», «родной братец Ноздреву и поручику Живновскому», а также другой подобный же господин «отвратительно благородной наружности», просящие милостыню на улицах Петербурга. Трансформировавшись, соединив в себе черты Ноздрева и Живновского, они появляются вновь в «Идиоте», на страницах черновых материалов к «Бесам», в романе «Подросток», где столкновение героев с «пьяным просящим поручиком» развернуто в целый эпизод.

Заключительная часть фельетона соответствует его подзаголовку: «в стихах и прозе». Возможно, таков был подзаголовок уже фельетона Минаева (ср. фразу в его сатирическом разборе русских переводов из Гейне: «„Развратные мысли“ этого писателя, в стихах и прозе, постоянно являются в наших журналах и газетах»..[100]

Сатирические стихи и пародии Минаева, искусно вплетенные в ткань «Петербургских сновидений», насыщают эту часть фельетона повседневными новостями литературного и общественного характера. Это включает фельетон в атмосферу острой журнальной полемики шестидесятых годов, в центре которой стояли споры вокруг «Современника», «единственного русского журнала, в котором *все* статьи можно читать с любопытством» (с. 497).

Постоянно обращаясь к фельетону «Современника» и в какой-то степени пародируя его, Достоевский иронически называет статьи Добролюбова «указами, отдаваемыми им по русской литературе». К этой мысли он вернется в написанной вскоре статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» («Но писать в „Современнике“ указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вот непременно об этом,

а не об этом, — и ошибочно и бесполезно» (см.: наст. изд. Т. 12)). Фельетонное обозрение в «Современнике» в эти годы вел И. И. Панаев. Его фельетоны «Петербургская жизнь. Заметки Нового Поэта» появлялись в журнале ежемесячно с 1855 по 1861 г. Основное их содержание составляли очерки быта и нравов различных слоев петербургского населения.

Во вступлении к «Петербургской жизни» Новый Поэт писал, что в центре его внимания будет жизнь светского, веселящегося Петербурга (что и дало повод к ироническим выпадам Достоевского). Но Панаев далеко вышел за пределы этой сформулированной им общей программы и придал своим фельетонам яркое обличительное направление. Как и во всех газетных и журнальных фельетонах, большое место Новый Поэт отводил хронике городской жизни; отчетам о театральных постановках, выставках, заседаниях научных и благотворительных обществ, гастролях иностранных знаменитостей. Эти черты панаевских фельетонов, сообщавшие им налет известной стереотипности, Достоевский пародирует в «Петербургских сновидениях». Говоря о «последнем фельетоне Нового Поэта», писатель имеет в виду его «Заметки» в декабрьской книжке «Современника» за 1860 г. Здесь даны две новеллы, по содержанию контрастирующие друг с другом. В одной — «счастливый, богатый город <…> решительно город дворцов, замков, палаццо». В другой — Выборгская сторона, «узенькие переулки, обстроенные деревянными, полусгнившими и покривившимися домишками». В связи с этим Достоевский пишет: «Он (Новый Поэт. — *Ред.*) описывает безумную петербургскую роскошь и… бедность». Иронизируя над описываемыми Панаевым мерами, предпринимаемыми в Петербурге «против бедности и дороговизны», Достоевский цитирует приводимый Панаевым «слух» об учреждении комитета народного здравия, упоминает о речи инженера Васильева «об улучшении Петербурга», которая только что разбиралась в «Современнике» (см. об этом ниже, с. 568). Достоевский спорит с Панаевым по поводу его возмущения «мыслями» П. Л. Лаврова, высказанными им в трех лекциях о современном значении философии, прочитанных 22, 25 и 30 ноября 1860 г. в Пассаже в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым по поводу «самостоятельного значения искусства».[101] Вскользь касается автор «Петербургских сновидений» темы «литературных скандалов»,

высказывается о «будущих критиках г-на Краевского», иронизирует над возможностью появления в газетах письма Краевского с объяснением степени своего участия в издании «Энциклопедического лексикона», зная, что подобное «Необходимое объяснение» от редакции «Отечественных записок» уже было опубликовано в «С.-Петербургских ведомостях» (1860. 16 сент. № 200). Перечислив главные фельетонные «новости дня» и пообещав вернуться к ним в последующих номерах, Достоевский заключает рассказ возвращением к обрамляющему фельетон мотиву «сна», что придает ему своеобразную музыкальную завершенность.

---

**notes**

# Примечания

# 1

мои внутренности (франц.).

## 2

светская дама (франц.).

# 3

Да отвечайте же (франц.).

# 4

Но, сын мой (франц.).

# 5

высший свет (франц.).

по фасону детских рубашек (франц.).

# 7

Утро вечера мудреней (франц.)

на широкую ногу (франц.).

# 9

Здесь: немыслимые брюки (франц.).

# 10

в сторону (итал.)

катаральная лихорадка *(лат.)*.

# 12

здоров *(лат.)*.

# 13

То есть в лесу, где поет кукушка. Он хочет сказать, что они тоже бродяги.

# 14

Я ненавижу этих разбойников (франц.)

# 15

«Коварство и любовь» (нем.).

# 16

Это зуав, это зуав, посмотрите, Виктор, это зуав; ведь у него… ведь это же красное; это зуав! (франц.).

## 17

См.: *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского 1854–1862. Л., 1980.

# 18

*Мартьянов П. К.* Дела и люди века: Из старой записной книжки, статьи и записки. СПб., 1896. Т. 3. С. 296; *Вайнерман В. С.* Омское окружение Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 181–182.

# 19

См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 4. С. 235–248.

# 20

*Гроссман Л. П.* Первая записная книжка. Сибирская тетрадь // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 414.

# 21

См.: *Власова* З. *И.* «Сибирская тетрадь» // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. С. 312–321.

# 22

См.: *Достоевский Ф. М.* Моя тетрадка каторжная. (Сибирская тетрадь). Красноярск, 1985. С. 56–57.

# 23

О семипалатинских неосуществленных замыслах «большого» и «комического» романов см.: *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского. 1854–1862. С. 9–13.

# 24

См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 2. С. 403–409.

# 25

Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3. С. 276.

# 26

Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 220.

# 27

Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования / Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935. С. 521.

# 28

Там же. С. 515, 521.

# 29

О связи замысла романа «Исповедь» с «Записками из подполья» см. наст. изд. Т. 4.

# 30

Там же. Л., 1978. Т. 18. С. 40.

# 31

Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 213.

# 32

*Астров В.* Не нашли пути. Из истории религиозного кризиса. Станкевич — Белинский — Герцен — Киреевский — Достоевский. СПб., 1914. С. 98-104.

# 33

Рус. мысль. 1916. № 1. С. 103–126; Фельетоны сороковых годов. М.; Л., 1930. С. 106–120.

# 34

*Станиславский К.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1954. Т. 1. С. 138.

# 35

Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1935. С. 527.

# 36

Там же. С. 531 и 532.

# 37

Цит. по статье Л. Гроссмана в кн.: *Достоевский Ф. М.* Село Степанчиково и его обитатели. М., 1935. С. 11.

## 38

См.: *Алексеев М. П.* О драматических опытах Достоевского // Творчество Достоевского. 1821–1881-1921. Одесса, 1921. С. 41–62.

## 39

См.: *Лотман Л. М.* «Село Степанчиково» Достоевского в контексте литературы второй половины XIX в. // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1987. Т. 7. С. 152–165.

# 40

Рус. лит. 1959. № 2. С. 45–71.

## 41

См.: Четвертый межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1975. С. 95–96. (*Серман И. З.* Достоевский и комедии Тургенева. С. 94-106). (Научные труды Курского и Орловского гос. пед. ин-тов. Т. 17. (110)).

# 42

Рус. лит. 1966. № 4. С. 95–96.

## 43

См. об этом: *Реизов Б. Г.* Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 159–169.

## 44

*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1951. Т. 7. С. 63. — Отмечено в кн.: *Гус М.* Идеи и образы Ф. М. Достоевского. М., 1971. С. 163–164.

## 45

*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1948. Т. 4. С. 694. — Отмечено В. А. Тунимановым в его книге «Творчество Достоевского. 1854–1862» (Л., 1980. С. 53).

## 46

См.: *Лотман Л. М.* «Село Степанчиково» Достоевского в контексте литературы второй половины XIX в. С. 157–158.

# 47

Рус. лит. 1959. № 2. С. 45–71.

# 48

Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1935. С. 525.

# 49

*Тынянов Ю. Н.* Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 198–226.

# 50

*Маргулиес Ю. Э.* Встреча Достоевского и Гоголя // Воздушные пути. Нью-Йорк, 1963. 3. С. 272–294. Перепечатано: Байкал. 1977. № 4. С. 136–144.

## 51

См.: *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 305–306.

## 52

См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С 119, 337

# 53

См.: Там же. Л., 1976. Т. 16. С. 329, 330.

## 54

См.: *Гроссман Л. П.* Достоевский-художник // Творчество Ф. М. Достоевского. М., 1959. С. 344–348.

# 55

*Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972. С. 280–281.

# 56

*Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 422, 423.

# 57

Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1961. Т. 6. С. 274.

# 58

Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1935. С. 522.

# 59

Там же. С. 532.

# 60

Там же. С. 525.

# 61

Там же. С. 531–532.

# 62

*Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1963. Т. 7. С. 233.

# 63

*Михайловский Н. К.* Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 266.

# 64

В письме редактора этой газеты А. С. Гиероглифова к О. Ф. Миллеру от 4 марта 1882 г. содержится рассказ о том, как попали «Записки» на страницы «Русского мира» (Рус. лит. 1969. № 3. С. 179–181).

# 65

Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922. Сб. 1. С. 361.

# 66

См.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 193.

# 67

*Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 29.

# 68

См.: История русской литературы. М.; Л., 1949. Т. 9, кн. 2. С. 46–47; *Кирпотин В.* Я. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966. С. 378.

## 69

Об этом автобиографическом эпизоде Достоевский впоследствии вспоминал в «Дневнике писателя» (1873. Гл. II. «Старые люди»). Указанный экземпляр Евангелия, имеющий многочисленные пометы писателя, хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

# 70

*Гроссман Л. П.* Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии. М.; Пгр., 1922. С. 55.

# 71

*Шкловский В. Б.* За и против. М., 1957. С. 111.

# 72

*Чулков Г.* Как работал Достоевский. М., 1939. С. 81.

# 73

*Tokarzewski S.* 1) Siedem lat Katorgi. Warszawa. 1907; 2) Katorznicy. Warszawa. 1912.

# 74

*Мартьянов П. К.* Дела и люди века: Из старой записной книжки, статьи и заметки. СПб., 1896. Т. 3.

# 75

Рус. старина. 1873. № 11. С. 821.

# 76

Исторический вестник. 1888. № 6. С. 619.

# 77

*Максимов С. В.* Сибирь и каторга. СПб., 1900. Т. 2. С. 172–182.

# 78

*Врангель А. Е.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. 1854–1856 гг. СПб., 1912. С. 116–117.

Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 503.

# 80

Центральный государственный военно-исторический архив, ф. 312, оп. № 1, № 3595.

# 81

Центральный государственный военно-исторический архив, ф. 312, оп. № 1, № 3595.

## 82

См.: *Реизов Б. Г.* К истории замысла «Братьев Карамазовых» // *Реизов Б. Г.* Из истории европейских литератур. Л., 1970. С. 129–138; *Якубович И. Д.* «Братья Карамазовы» и следственное дело Д. Н. Ильинского // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 119–124.

# 83

См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 4. С. 285–286.

# 84

*Шкловский В.* За и против. М., 1957. С. 104–105.

## 85

Wspomnienia Sybiraka: (Pamiętniki lózefa Boguslawskiego) // Nowa reforma. 1896. № 249–294; подробнее о них см. статью: *Bobowicz-Potocka* Z. Kto byl wlaściwym autorem rozdzialu poświeconego Dostoewskiemu w ksiaźce Sz. Tokarzewskiego «Siedem lat katorgi» // Przegląd humanistyczny. 1975. № 8. S. 91–94, а также: *Дьяков В. А.* Каторжные годы Ф. М. Достоевского // Политическая ссылка в Сибири. XIX — начало XX в. Новосибирск, 1987. С. 196–220.

# 86

См.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 253.

# 87

*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т. 18. С. 219.

# 88

*Лейкина-Свирская В. Н.* Н. Г. Чернышевский и «Записки из Мертвого дома» // Рус. лит. 1962. № 1. С. 212–215.

# 89

Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 134.

# 90

*Мережковский Д.* Полн. собр. соч. М., 1912, Т. 7. С. 95.

# 91

*Шестов Л.* Собр. соч. 2-е изд. СПб., б. г. Т. 3. Достоевский и Нитше. (Философия трагедия). С. 39–46.

# 92

*Ленин В. И.* О литературе и искусстве. 5-е изд. М., 1976. С. 698.

# 93

См. вступительную статью И. Г. Ямпольского в кн.: *Минаев* Д. Д. Собрание стихотворений. Л., 1947. С. XI–XII; а также: *Фридлендер Г. М.* У истоков почвенничества // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1971. № 5. С. 411-416

## 94

А. Г. Достоевская, перечисляя статьи Достоевского, напечатанные во «Времени» за 1861 г., писала о данном фельетоне: «По мнению Н. Н. Страхова, статья написана Ф. М. Достоевским» (Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского <…> 1846–1903. СПб., 1906. С. 35).

# 95

С.-Петербургские ведомости. 1860. 30 дек. № 283.

# 96

Отеч. зап. 1860. № 10. Отд. III. С. 29–39.

# 97

Светоч. 1861. № 2. С. 8–9.

# 98

Совокупность аргументов позволяет отнести «Письмо постороннего критика» к Dubia (см.: *Достоевский Ф. М.* Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 129–145).

# 99

С.-Петербургские ведомости. 1860. 10 дек. № 269.

# 100

Время. 1861. № 1. С. 63.

# 101

Современник. 1860. № 12. С. 404.

**comments**

# Комментарии

# 1

С. 7.. *.она процветала в обществе приживалок, городских вестовщиц и фиделек.* — Фиделька — нарицательное имя комнатной собачки *(франц.* fidèle — верный). Возможно, образ генеральши Крахоткиной возник не без воздействия сюжетов П. А. Федотова, создавшего в 1844 г. серию рисунков «Болезнь Фидельки» и «Смерть Фидельки», на которых изображена капризная барыня, окруженная слугами, приживалками и комнатными собачками. О близости творчества молодого Достоевского и П. А. Федотова см.: *Нечаева В. С.* Достоевский и Федотов // *Достоевский Ф. М.* Ползунков. М.; Л. 1928. С. 7-32.

# 2

С. 9. …*влияния различных иван-яковличей*... — Иван Яковлевич Корейша (1780–1861) — московский юродивый, особенно известный в 1820-1830-х годах; снискал среди своих почитателей славу провидца. В «Бесах» Достоевский изобразил Корейшу под именем Семена Яковлевича.

# 3

С. 14. *…вроде различных «Освобождений Москвы», «Атаманов Бурь», «Сыновей любви, или Русских в 1104-м году» и проч. и проч., романов…* — Все это типичные названия авантюрных произведений с псевдоисторическим сюжетом, наводнявших в 1830-1840-х годах книжный рынок. «Князь Пожарский и нижегородский гражданин Минин, или Освобождение Москвы в 1612 году» — роман И. Глухарева (1840); «Атаман Буря, или Вольница Заволжская» — роман Д. Преснова (1835). В связи с выходом «Атамана Бури» Белинский писал: «Эта книга принадлежит к известному числу произведений, которых первоначальная идея зарождается на Толкучем рынке» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 319). Третье из комментируемых названий, очевидно, имеет пародийный характер («Русские в … году» — обычный подзаголовок исторических романов 1830-1840-х годов, восходящий к «Юрию Милославскому» М. Н. Загоскина).

# 4

С. 14. …*доставлявших — приятную пищу для остроумия барона Брамбеуса*. — Псевдонимом «Барон Брамбеус» подписывал свои повести и фельетоны Осип Иванович Сенковский (1800–1858), в 1834–1849 гг. редактор журнала «Библиотека для чтения». Критические статьи журнала часто посвящались незначительным произведениям, недостатки которых высмеивались. Журнал Сенковского Ф. М. Достоевский знал с детства, так как «Библиотека для чтения» выписывалась его отцом.

# 5

С. 14. *Тридцать тысяч человек будут сбираться на мои лекции ежемесячно.* — В этих словах Фомы можно видеть намек на выступление Гоголя в 1834 г. в качестве профессора С.-Петербургского университета, закончившееся неудачей. В то же время они перекликаются со словами Хлестакова («тридцать пять тысяч курьеров»: «Ревизор», д. III, явл. 6). Отмечено Ю. Н. Тыняновым (Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С. 441).

# 6

С. 14. …*ему, Фоме, предстоит величайший подвиг…* — Ср. письмо Гоголя от 13 марта 1841 г. к С. Т. Аксакову: «Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного…». Опубликованное П. А. Кулишом в 1857 г. в «Сочинениях и письмах» Н. В. Гоголя, это письмо могло быть известно Достоевскому.

# 7

С. 14. …*написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия.* — В «Завещании» Гоголь говорил о задуманной им «Прощальной повести», о том, что это «лучшее из всего, что произвело перо» его, и что он его «носил долго в своем сердце как лучшее свое сокровище» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 8. С. 220).

# 8

С. 14–15...*Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества.* — Ср. слова Гоголя в Предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями»: «Я же у гроба господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 218). Отмечено Тыняновым.

# 9

С. 17. *Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь …* — В этих словах полковника нашли отражение мысли Достоевского, высказанные в письме к А. Е. Врангелю от 14 августа 1855 г.: «.. я очень хорошо знаю, что вы понимаете, может быть лучше другого, как должно обходиться с человеком, которого пришлось одолжить. Я знаю, что вы с ним удвоите, утроите учтивость; с человеком одолженным надо поступать осторожно; он мнителен; *ему так и кажется, что небрежностью с ним, фамильярностью хотят его заставить заплатить за одолжение*, ему сделанное» (подчеркнуто Достоевским. — *Ред.*).

# 10

С. 28. …*дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои — бакенбарды — дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству.* — Здесь содержится иронический намек на одну из прихотей Николая I, который специальным указом от 2 апреля 1837 г. запретил носить усы и бороды чиновникам гражданского ведомства (Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1838. Т. 12. С. 206). С проведением этого закона в жизнь Достоевский столкнулся в Семипалатинске. В «Воспоминаниях» А. Е. Врангеля рассказывается о чиновнике Малосапожкове, отвратительной личности, прозванной Достоевским «жареным скорпионом». Малосапожков послал донос генерал-губернатору и министру юстиции на Врангеля, который, исполняя должность прокурора, «вопреки закону носит усы». Еще раньше, в 1846 г., Достоевский работал над повестью «Сбритые бакенбарды» (см.: наст. изд. Т. 1. С. 429).

# 11

С. 18. *Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку…* — Пушкин рассказывает этот анекдот в Table-talk, XVIII *(Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 160–161). Достоевский цитирует неточно: у Пушкина — «государь».

# 12

С. 18. *Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком»*. — Обращение Фомы к мужикам пародирует стиль «Выбранных мест из переписки» Гоголя. Так, в письме «Русской помещик» Гоголь рекомендует обращаться к нерадивому мужику со словами: «Ах ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 323). Эти слова с возмущением цитирует Белинский в своем письме к Гоголю от 15 июля 1847 г.

# 13

С. 19. *Пехтерь* — плетеная высокая корзина из прутьев или бересты для носки сена или корма скоту. Иносказательно — неповоротливый, неуклюжий мешок. «Экой ты пехтеря!» *(Даль Владимир.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3).

# 14

С. 19. …*слуга — должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух.* — Возможно, здесь отразились впечатления детства Достоевского, связанные с его отцом Михаилом Андреевичем. В воспоминаниях младшего брата писателя, А. М. Достоевского, говорится, что, когда отец ежедневно ложился спать после обеда, в квартире воцарялась тишина, а маленький Андрей Михайлович «должен был липовою веткою, ежедневно срываемою в саду, отгонять мух от папеньки, сидя в кресле возле дивана, где он спал. Эти полтора-два часа были мучительны для меня, так как, уединенный от всех, я должен был проводить это время в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте. К тому же, боже сохрани, ежели, бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего…» *(Достоевский А. М.* Воспоминания. Л. 1930. С. 46).

# 15

С. 26. …*«запасные, дескать, колотья у нас проявились»*. — Выражение, записанное в Сибирской тетради под № 118. Использовано Достоевским также в «Записках из Мертвого дома» (см. с. 378).

# 16

С. 28. *Как не выгонят его со двора шелепами?* — Шелепы — побои, наносимые плетью (шелеп — плеть, нагайка).

# 17

С. 28. *…штука капитана Кука…* — Выражение это записано Достоевским под № 309 в «Сибирской тетради». Джемс Кук (1728–1779) — знаменитый английский мореплаватель, открывший Новую Зеландию и ряд островов в Тихом океане. Погиб во время экспедиции на Гавайские острова. Ряд книг о нем и его путешествиях вышел в России в конце XVIII — начале XIX в.

# 18

С. 31. *Всё фармазоны; неверие распространяют...* — Фармазон (искаженное — франкмасон; от *франц.* franc maçon — вольный каменщик) — вольнодумец. Франкмасонство, или масонство, — религиозно-этическое движение, получившее широкое распространение в XVIII — начале XIX в., в частности в России.

# 19

С. 31. *Крикса* — крикун.

# 20

С. 32. *Морген-фри* — ироническое выражение *(нем.* morgen früh — утром рано). Выражение «Морген фри — нос утри» записано Достоевским в «Сибирской тетради».

# 21

С. 34. *Кошон (франц.* cochon) — свинья.

## 22

С. 36. *Фенезерф (франц.* fines herbes — тонкие травы) — обозначение различных приправ, используемых в кулинарии.

# 23

С. 38. …*твержу вокабул.* — Вокабулами в начале XIX в. называли слова иностранного языка, подобранные в определенном порядке, снабженные переводом и предназначенные для заучивания наизусть.

# 24

С. 42. *«Знаете ли вы, говорит, сколько до солнца верст?»* — Содержание поучительных разговоров с мужиками Фомы Опискина и Ростанева перекликается с содержанием некоторых статей известных сборников «Сельское чтение» (1843–1848), изданных В. Ф. Одоевским и А. П. Заблоцким-Десятовским. Так, в 1-й книжке «Сельского чтения» была помещена статья А. П. Заблоцкого «О том, что называется миром и что такое земля, и о том, как велико славное Русское государство и что в нем есть», где сказано, что солнце, земля и луна — шары, что солнце в полтора миллиона раз больше земли и находится от земли на расстоянии в 143 с половиною миллиона верст (Сельское чтение. 7-е изд. СПб., 1849. Кн. I. С. 80). Ироническое отношение Достоевского к статье Заблоцкого предваряет его позднейшее полемическое выступление против либерально-просветительских взглядов на народное просвещение в статьях «Книжность и грамотность» (см. «Ряд статей о русской литературе» (1861) в т. 12 наст. изд.).

# 25

С. 43. …*Фрол Силин, благодетельный человек*… — См. примеч. к с. 84.

# 26

С. 48. *Аделаидина цвета изволите галстух надеть …* — Цвет аделаида — темно-синий цвет. Это цветовое обозначение изредка упоминалось в русской печати в 40-50-х годах XIX в., но затем забылось.

# 27

С. 50. *«Однако здесь что-то похоже на бедлам»*… — Бедлам *(англ.* Bedlam — название дома для умалишенных в Лондоне) — сумасшедший дом.

# 28

С. 54. …*вол-ти-жёр* — Вольтижер (от *франц.* voltiger — порхать, летать, перепархивать) — воздушный гимнаст в цирке, канатоходец. В переносном значении — ветреник.

# 29

С. 55. *Вы читали «Тюфяка»?* — «Тюфяк» — повесть А. Ф. Писемского, впервые опубликованная в 1850 г. в «Москвитянине» (№ 19–21) и затем перепечатанная в 1853 г. в его сборнике «Повести и рассказы». Герой этой повести Павел Васильевич Бешметев — молодой дворянин, получивший университетское образование, но неловкий, мешковатый, незнакомый с действительной жизнью. Вследствие этого он совершает ряд трагических ошибок и в конце концов спивается и гибнет. Сергей Александрович, возможно, имеет в виду некоторое сходство свое с молодым Бешметевым, так же, как и он, приехавшим после университета в провинцию.

# 30

С. 59. *Конфидантка (франц.* confidente) — наперсница, доверенное лицо.

# 31

С. 62. *…детей-то у меня, просто семейство Холмских!* — «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян» — роман Д. Н. Бегичева (1786–1855) в шести частях. Издавался в Москве в 1832, 1833 и 1841 гг. В романе описана жизнь четырех сестер, принадлежащих к обширной дворянской семье Холмских.

# 32

С. 62. *Мономан* (от греч. monos — один, единственный — и mania — безумие) — человек, страдающий помешательством на одной мысли, идее, т. е. мономанией.

# 33

С. 63. …*в бунтах недовес муки оказался.* — Бунты — хлеб в зерне или в муке, сложенный в кулях, накрытый и обшитый рогожами в виде скирды.

# 34

С. 63. *Отец и благодетель! да простого-то человека я и боюсь!* — Эти слова Ежевикина перекликаются с собственным признанием Достоевского в письме к брату 30 января — 22 февраля 1854 г.: «Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного».

# 35

С. 66. *Фрикасеи (франц.* fricassée) — жареное мясо.

# 36

С. 67. *Фрапировало (франц.* frapper — ударять) — поразило.

# 37

С. 73. …*донне муа мон мушуар… (франц.* donnez moi mon mouchoir) — дайте мне платок.

## 38

С. 74.. . *«Натрескался пирога, как Мартын мыла!»* — Выражение записано Достоевским под № 254 в «Сибирской тетради».

# 39

С. 76. *Оркестр составляли две балалайки, гитара, скрипка и бубен, с которым отлично управлялся форейтор Митюшка.* — Дворовый оркестр по своему составу напоминает оркестр, слышанный Достоевским на каторге и описанный в «Записках из Мертвого дома», ч. I, гл. XI (ср. с. 348).

## 40

С. 79. *Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий.* — Эта фраза непосредственно связана с «Выбранными местами» Гоголя. В третьем письме по поводу «Мертвых душ» говорится: «Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 296). Выражение «глупая светская башка» отмечено курсивом в рецензии Белинского на «Выбранные места из переписки с друзьями» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 66). Отмечено Ю. Н. Тыняновым.

# 41

С. 81. …*господский ли, казенный ли, вольный, обязанный, экономический?* — Господскими назывались крестьяне, принадлежавшие помещику; казенными, или государственными, — принадлежавшие казне и царскому дому; экономическими — принадлежавшие монастырям. Обязанными или временно обязанными называли крестьян, не рассчитавшихся полностью с помещиком за полученный надел земли.

# 42

С. 82. *Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, Бороздны? — Народ пляшет комаринского — а они воспевают какие-то незабудочки?* — И. П. Бороздна (1803–1858) — второстепенный поэт. Выпад Фомы против русской поэзии имеет конкретный полемический повод. В 1852 г. в Петербурге вышел сборник «Незабудочка. Дамский альбом, составленный из лучших статей русской поэзии <…> с портретами Жуковского, Бенедиктова и 10-ю оригинальными картинками Г. Педанова». В сборник вошли стихотворения самых различных русских поэтов от Жуковского и Пушкина до Коренева, Крешова, М. Владимирова, И. Бороздны. Для Опискина, одного из читателей «Незабудочки», как и для ее составителей, Пушкин, Лермонтов и Бороздна — явления одного поэтического ряда, авторы произведений для «дамского» чтения.

# 43

С. 82. *Народ пляшет комаринского, эту апофеозу пьянства — Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления…* — В постоянных выпадах Фомы против комаринской, как песни грубой и безнравственной, заметно пародийное использование суждений реакционного музыкального критика Ростислава (псевдоним Ф. Толстого), который в одной из музыкальных рецензий в «Северной пчеле» писал: «Какое удовольствие могут доставить кривлянья растрепанного, глупого мужика? Питейный дом с его последствиями, конечно, дело существенное, но в эстетическом произведении следует ли его выставлять? <…> Что хорошо для рассказа, то не всегда хорошо в сценических произведениях, коих непосредственное назначение исправлять и очищать нравы и возвышать душу и чувства» (Северная пчела. 1853. № 107; ср.: *Гозенпуд А. А.* Русский оперный театр XIX века. Л., 1969. С. 392).

# 44

С. 82. *Я знаю Русь, и Русь меня знает…* — Эти слова принадлежат Н. А. Полевому, который в предисловии к роману «Клятва при гробе господнем» (1832) писал: «Кто читал, что писано мною доныне, тот, конечно, скажет вам, что квасного патриотизма я точно не терплю, но Русь знаю, Русь люблю, и — еще более, позвольте прибавить к этому, — Русь меня знает и любит» (Клятва при гробе господнем. М., 1832. Ч. I. С. IX). Выражение «я знаю Русь и Русь меня знает» получило широкое распространение. Белинский в полемике с Полевым неоднократно цитировал его. (См. *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 3. С. 500; М., 1955. Т. 6. С. 404). Ср. также сатирическое произведение «Подарок ученым на 1834 год. О царе Горохе; когда царствовал государь царь Горох, где он царствовал, и как царь Горох перешел в преданиях народов до отдаленного потомства», где выражение это использовано в пародии на Н. Полевого. (См. об этом в статье Г. А. Федорова «К портрету Ф. Ф. Опискина». — Литературная учеба. 1987. № 2. С. 183–184).

## 45

С. 82. *Пусть изобразят они мне мужика — хоть даже в лаптях — но преисполненного добродетелями — Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе — голодного, но довольного...* — По мнению В. А. Туниманова, здесь, возможно, заключена пародия на критический разбор «Мертвых душ» Н. Полевым, который цитируется Чернышевским в «Очерках гоголевского периода», книге, хорошо известной Достоевскому (См. *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского. 1854–1862. Л., 1980. С. 51–52).

# 46

С. 84. *…если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за «Марфу Посадницу», не за «Старую и новую Россию», а именно за то, что он написал «Фрола Силина»…* — «История государства Российского» в 11 томах (1816–1824; незаконченный XII том вышел после смерти Карамзина в 1829 г.), повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1803) и «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811 г., частично опубликована в 1837 и 1842 гг., полностью — в 1870 г.) — сочинения Карамзина. Повесть «Фрол Силин, благодетельный человек» была впервые напечатана Карамзиным в 1791 г. в «Московском журнале»; перепечатана в 5-м издании «Сочинений» Карамзина в 1848 г. В ней говорится о «трудолюбивом поселянине» Симбирской губернии, который в голодный год раздавал свой хлеб крестьянам, помогал всем неимущим, «на имя господина своего купил двух девок, выпросил им отпускные <…> и выдал замуж с хорошим приданым» и т. п. Как все положительные герои Карамзина, Фрол Силин отличается чувствительностью. Вместе с облагодетельствованными им крестьянами, которые «проливали слезы», «Фрол <…> плакал и смотрел на небо…» (О восприятии повести Карамзина в разные эпохи, и в частности Достоевским, см.: *Степанов В. П.* Повесть Карамзина «Фрол Силин» // XVIII век. Л., 1969. Сб. 8. С. 229–244). Вложенная в уста Фомы похвала «Фролу Силину» имеет иронический подтекст. Сам Достоевский относился к изображению народа в повестях Карамзина критически, видя в Карамзине одного из родоначальников сентиментально-мечтательного народолюбия славянофилов 1850-1860-х годов. В статье «Книжность и грамотность» (1861; см.: наст. изд. Т. 12) он призывал «не судить» о душе «народа по Карамзинским повестям и по фарфоровым пейзанчикам». Здесь Достоевский иронически упоминал о «Фроле Силине» как о примере искаженного представления о русском крестьянине.

## 47

С. 84. *«Брюссельские тайны»* — роман, представляющий собой подражание «Парижским тайнам» Э. Сю; в переводе с французского, без имени автора, вышел в Петербурге в 1847 г. Рецензент «Библиотеки для чтения» (1847. Т. 84. Отд. 6. С. 10) отмечал, что это «одно из самых несчастных подражаний „Парижским тайнам“»; в «Литературной газете» (1847. № 27) говорилось об огромном количестве подражаний роману Сю, «которые, разумеется, все гораздо ниже оригинала <…> „Брюссельские тайны“ решительно худшее из всех этих произведений».

# 48

С. 84. *«Переписчик!» — это тот, который пишет в журнал письма?* — Намек на «Письма иногороднего подписчика в редакцию „Современника“ о русской журналистике», принадлежавшие А. В. Дружинину и печатавшиеся без подписи в «Современнике» в 1849 — начале 1850-х годов. Статьи Дружинина написаны от лица просвещенного помещика, который, живя в своей деревне, внимательно читает все столичные журналы. Ср. примеч. к «Неточке Незвановой» (наст. изд. Т. 2. С. 574)» а также роман «Униженные и оскорбленные», где иронически упоминается статья «Переписчика» (см.: наст. изд. Т. 4).

## 49

С. 89. *Шематон* (от *франц.* chômer — бездельничать) — бездельник, шалопай.

# 50

С. 89. *А парле-ву-франсе? — Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе… (франц).*

Parlez-vous français? — Oui, monsieur, je le parle un peu). — Говорите ли вы по-французски? — Да, сударь, немного говорю.

# 51

С. 91. …*на него колодку набей и в солдаты отдай!* — Колодки — массивные деревянные оковы, надевавшиеся на ноги, руки и шею арестованного для предупреждения побега.

# 52

С. 91. *Халдей* — здесь: нахал, наглец — от бранного переосмысления слова в значении «шут, скоморох» (халдей — ряженый в восточные одежды персонаж представления на религиозные темы).

# 53

С. 91. *Хамлет* — то же, что хам.

# 54

С. 91. *Либерте — эгалите — фратерните (франц.* liberté, égalité, fraternité — свобода, равенство, братство) — лозунги Великой французской революции.

# 55

С. 91. *Журналь де деба (франц.* «Jurnal des Débats») — французская политическая газета, основанная в 1789 г., имела большой литературный отдел. В 1850-х годах газета была органом, близким к правительству; поэтому Фома Опискин напрасно связывал с нею представления о вольномыслии.

## 56

С. 100. *Тут все почти ломбардными и очень немного наличными.* — Ломбардный билет — квитанция, выданная в счет денег, помещенных на сохранение в ломбард с выплатой соответствующих процентов.

## 57

С. 103. *Кайеннский перец.* — Кайенна — столица Французской Гвианы, колонии в Южной Америке, экспортировавшая перец в Европу.

## 58

С. 107. *Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание…* — Тон этих поучений Фомы совпадает с тоном поучений Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями». В статье «Близорукому приятелю» Гоголь писал: «Ты горд, говорю тебе, и вновь повторяю тебе, ты горд, сторожи над собой и спасай себя от гордости заране. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 348).

## 59

С. 108. *Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю…* — Ср. у Гоголя: «…я, как бы ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других…» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 220).

# 60

С. 108. *А тут, может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел...* — Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469–1527) — политический деятель и писатель эпохи Возрождения. Меркаданте Саверно (1797–1870) — итальянский композитор, автор симфонических и вокальных произведений. Произведения Меркаданте в 30-40-х годах ставились на сценах русского и итальянского оперных театров в Петербурге и исполнялись в концертах. Однако «дикое сочетание» имени политического деятеля XVI века и итальянского композитора XIX века отнюдь «не сводится к демонстрации глубины „эрудиции“ Фомы, подбирающего имена, начинающиеся с буквы М. Имя Меркаданте названо не случайно <…> О Меркаданте газеты и журналы писали чаще, нежели о Макиавелли. Поэтому замысловатая фамилия композитора засела в многодумной голове Фомы Фомича, если только он — что тоже возможно — по „рассеянности“ не смешал Меркаданте с Данте» *(Гозенпуд А.* Достоевский и музыкально-театральное искусство. Л., 1981. С. 114–115).

# 61

С. 109. *Да не зайдет солнце во гневе вашем!* — Цитата из Библии (Послание апостола Павла к ефесянам, гл. 4, ст. 26).

# 62

С. 111. *Парафы* — росчерк пера, например при подписи.

# 63

С. 111. …*подействовать на него «моею машиною», как буквально изображено было в конце этого послания.* — Выражение Видоплясова находим в «Сибирской тетради» под № 454.

# 64

С. 115. …*будет нечто похожее на Гретна-Грин…* — Гретна-Грин — деревня на границе Англии и Шотландии, где можно было обвенчаться без соблюдения предварительных формальностей; название этой деревни стало нарицательным для обозначения браков, заключаемых в нарушение обычных церковных обрядов и юридических норм.

## 65

С. 116. …*корчил Бурцова*… — Алексей Петрович Бурцов (ум. в 1813 г.) — гусарский офицер, известный своими кутежами. Воспет в стихах Дениса Давыдова:

Бурцов, ера, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради рома и… арака
Посети домишко мой!

*(«Призвание на пунш», 1804)*

# 66

С. 118. …*скоро успенский пост, и венчать не станут.* — Успенский пост, перед церковным праздником успения божьей матери, продолжался две недели — с 1 по 15 августа ст. ст.

# 67

С. 127. *Брамбеус* — см. примеч. к с. 14.

# 68

С. 127. *…чтоб тебя называли «Верный» — какой-то балбес прибрал на это рифму «скверный»*. — Рифма «Верный — скверный» напоминает сходный факт из биографии И. В. Шервуда (1798–1867), первого доносчика по делу декабристов. 1 июня 1826 г. «в ознаменовании отличного подвига», совершенного Шервудом, царь повелел прибавить к его фамилии «Верный». В обществе роль Шервуда была хорошо известна, и его прозвали Шервуд-скверный.

# 69

С. 130. …*пойдем всем кагалом…* — Толпой, скопом.

# 70

С. 146. *Черепословие* (френология) — учение, выдвинутое австрийским врачом и анатомом Ф. И. Галлем (1758–1828), согласно которому по форме черепа можно определить ум и характер человека.

# 71

С. 152. *Омбрелька* (от *франц.* ombrelle) — зонтик.

# 72

С. 153. …*коман-ву-порте-ву*… *(франц.* comment vous portez-vous) — Как поживаете?

# 73

С. 158...*мы разбирали оставшиеся после него рукописи…* — «Сочинения» Фомы Опискина, упомянутые далее, характеризуют его как подражателя устаревшим образцам. Перечисление жанров я названий его произведений носит пародийный характер.

# 74

С. 158...*начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии…* — Эта характеристика романа указывает на его псевдоисторический характер, так как Новгород основан в IX в. (ср. примеч. к с. 14).

# 75

С. 158...*чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами…* — Судя по ее названию, эта поэма должна была быть подражанием архаическим мистико-философским поэмам начала XIX в. (вроде поэм С. А. Ширинского-Шихматова, С. С. Боброва), которые часто писались безрифменными стихами.

# 76

С. 158. …*рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться* … — Название это пародирует традиционные названия сочинений подобного жанра, к числу которых принадлежит статья Гоголя «Русской помещик» (из «Выбранных мест из переписки с друзьями»), «Письмо сельского жителя» Н. М. Карамзина (1803), а также «Завещание моим крестьянам, или Нравственное им наставление» А. С. Шишкова (1843). Все указанные сочинения носили крепостнический характер.

# 77

С. 158...*повесть «Графиня Влонская», из великосветской жизни…* — Модный в 30-е годы жанр «светской повести» в следующие два десятилетия стал прибежищем эпигонов. См., например, повесть А. П. Глинки «Графиня Полина» (СПб., 1856), в которой традиционные приемы светской повести превратились в откровенные штампы.

# 78

С. 158...*заставал Фому за Поль де Коком.* — Поль де Кок (1793–1871) — французский романист-бытописатель, произведения которого имели репутацию «грязных».

# 79

С. 160. *Девять лет, как Педро Гомец...* — Стихотворение «Осада Памбы» за подписью Козьмы Пруткова; впервые напечатано в сатирическом приложении к «Современнику» «Литературный ералаш» (Современник. 1854. № 3. С. 36). Начальная часть его цитируется с некоторыми сокращениями и неточностями. По мнению В. Я. Кирпотина, чтение «Осады Памбы» играет в «Селе Степанчикове» экспозиционную роль, аналогичную чтению пушкинского «Рыцаря бедного» в позднейшем романе «Идиот». Герой стихотворения Пруткова Дон Педро является «ироническим подобием» Ростанева (см.: *Кирпотин В. Я.* Ф. М. Достоевский: Творческий путь (1821–1859). М., 1960. С. 539–540).

## 80

С. 161. *Экой фофан!* — Фофан (просторечное) — недалекий, ограниченный человек, простофиля.

# 81

С. 162. *Каплан* (капеллан; от *лат.* capellanus) — католический священник при домашней церкви; в данном случае — при военном отряде.

# 82

С. 162...*еще в романах Радклиф читал.* — Анна Радклиф (1764–1823) — английская писательница, автор «готических» романов тайн, «кошмаров и ужасов», широко популярная в России в первой половине XIX в.

# 83

С. 162. *Бенедиктинцы* — католический монашеческий орден, основанный в VI в. Бенедиктом Нурсийским (480–543) и широко распространившийся в средневековой Европе.

# 84

С. 164...*что, например, значит метла, лопата, чумичка, ухват?* — Здесь имеется в виду статья А. Н. Афанасьева «Религиозно-языческое значение избы славянина», где говорится: «Изба для славянина была <…> не только домом в обиходном смысле этого слова, местом жилья: она представлялась ему таинственным капищем, в котором пребывало благотворное светлое божество очага и в котором совершались обряды в честь этого пената. Изба была первым языческим храмом» (Отеч. зап. 1851. Июнь. С. 56). И далее: «…атрибуты кухни и очага — кочерга, помело, голик, ухват, лопата, сковорода и проч. — получили значение орудий жертвенных и удержали это значение даже до позднейшей эпохи языческого развития» (там же. С. 57). Свое ироническое отношение к идеям Афанасьева Достоевский высказал в еще более резкой форме в статье 1861 г. «Г. — бов и вопрос об искусстве» (см.: наст. изд. Т. 12). Печатая «Село Степанчиково» в журнале Краевского, Достоевский писал брату 20 октября 1859 г.: «Помнишь — литературные суждения п<олковни>ка Ростанева о литературе, о журналах, об учености „Отеч<ественных> записок“ и проч. Непременное условие: чтоб ни одной строчки Краевский не выбрасывал из этого разговора. Мнение п<олковни>ка Ростанева не может ни унизить, ни обидеть Краевского. Пожалуйста, настой на этом. Особенно упомяни».

# 85

С. 166. *Вы помещик; вы должны бы сиять, как бриллиант, в своих поместьях — Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания — Не отдых, а забота, и забота перед богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!* — Наставления Фомы пародируют наставления Гоголя русскому помещику: «Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле <…> взыщет с тебя бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить богу на своем месте, а не на чужом. .» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 322). В той же статье «Русской помещик» Гоголь дает и еще более конкретные наставления: «Заведи, чтобы при начале всякого общего дела <…> ты <…> вместе с ними вышел бы на работу, а в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца <…> И где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе <…> Возьми сам в руки топор или косу…» (там же. С. 324, 325). Отмечено Ю. Н. Тыняновым.

# 86

С. 177. *Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент…* — Иронический намек на «Завещание» Гоголя: «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 219–220). Ср.: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика; История литературы; Кино. С. 224.

# 87

С. 179.. *.и это был не тот «черный цвет», о котором поется в известном романсе…* — Сентиментальный романс «Черный цвет, мрачный цвет» был популярен в мещанской среде, входил в песенники. Автор неизвестен, возможно, что им был издатель М. Бернард.

## 88

С. 179. *Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил.* — Образ этот восходит не к Шекспиру, а к Шатобриану, в повести которого «Атала» (1801; русский перевод — 1802) индеец Шактас говорит: «Самое ясное сердце походит по виду на источник в саваннах Алашуа, поверхность его кажется чистой и спокойной, но, когда вы всмотритесь в глубину бассейна, — вы заметите там крокодила». Указанный образ Шатобриана не раз использовался в русской романтической литературе. К. Н. Батюшков в стихотворении «Счастливец» (1810) писал:

Сердце наше кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну… ужасно!
Крокодил на нем лежит!

А. Ф. Воейков в сатире «Дом сумасшедших» пародировал этот традиционный образ. Достоевский в пансионские годы знал наизусть сатиру Воейкова, ходившую тогда в рукописи.

## 89

С. 186. *…несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли.* — Гоголь писал в статье «О помощи бедным»: «…несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении» *(Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 236). О характеристике Гоголя как «легкомысленного» писателя и об использовании Достоевским эпитета «зернистый», также восходящего к Гоголю, см.: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика; История литературы; Кино. С. 225.

# 90

С. 187. *Как Диоген с фонарем, ищу я его…* — Диоген (ок. 404–323 до н. э.) — древнегреческий философ-циник, призывавший жить простою, естественной жизнью, пренебрегать условностями и земными благами. Относясь с презрением к окружающему обществу и его порокам, Диоген появился в полдень на улице с зажженным фонарем и на вопросы встречных отвечал: «Я ищу человека».

# 91

С. 187. *Фалалея ли я полюблю — похоже на Фалалея!* — Ср. в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного!» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 8. С. 300). См.: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика; История литературы; Кино. С. 224.

# 92

С. 190. *Атанде-с (франц.* attendez) — подождите.

# 93

С. 193. *Зато он убил добродетельного Клита…* — В 328 г. до н. э. Александр Македонский во время пира поссорился с Клитом, который спас ему жизнь в одной из битв. В припадке гнева Александр заколол Клита. Имя добродетельного Клита стало нарицательным.

# 94

С. 195. *…рассказал даже о натуральной школе…* — См. выше, с. 518.

# 95

С. 195. *Когда из мрака заблужденья…* — Стихотворение Н. А. Некрасова, опубликованное в 1846 г. в «Отечественных записках» (№ 4). Тема его — возрождение падшего создания, пробуждение в нем высоких человеческих чувств — была близка Достоевскому. Большой отрывок из этого стихотворения Достоевский приводит в качестве эпиграфа ко второй части «Записок из подполья» (1864; см.: наст. изд. Т. 4), где тема его получила сложное психологическое развитие, включающее в себя и полемическое переосмысление.

# 96

С. 199. …*нравственно-лукулловских капризов. — Имя* Лукулла, древнеримского полководца (106(?)—56 гг. до н. э.), известного своим богатством, стало нарицательным и обозначает человека, утопающего в роскоши, пресыщенного жизнью и ищущего особо изысканных удовольствий.

## 97

С. 201 …*с вознаграждениями проторей и убытков…* — Протори — судебные издержки.

# 98

С. 205. *В отдаленных краях Сибири…* — По Уложению о наказаниях 1822 г., ссылка на поселение делилась на два разряда — «в отдаленнейшие места» (Восточная Сибирь) и «в места, не столь отдаленные» (Западная Сибирь и Закавказье).

# 99

С. 205. …*субалтерным чином.* — Субалтерными чинами в армии назывались младшие офицеры *(нем.* Subaltern Offizier); здесь: мелкие чиновники.

# 100

С. 205. …*законный термин службы*… — т. е. установленный срок службы *(лат.* terminus — граница).

# 101

С. 206. *…много чрезвычайно достаточных инородцев.* — Инородцами в царской России официально назывались нерусские народности, по преимуществу из восточных районов страны.

# 102

С. 206. *Климат превосходный — Вообще земля благословенная.* — Описание Сибирского городка перекликается, с одной стороны, с описанием Семипалатинска в письме Достоевского к брату от 27 марта 1854 г.: «Климат здесь довольно здоров <…> Дичи тьма. Порядочно торгуют» и т. д. и, кроме того, представляет собой стилизацию под иронический пушкинский тон описания села Горюхина, издревле славившееся «своим плодородием и благорастворенным климатом, грибами и карасями» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 8 (1). С. 135)

# 103

С. 206. …*в городке К.* — Возможно, имеется в виду Кузнецк, где Достоевский пробыл несколько дней в 1857 г.

# 104

С. 213–214. *Различались все разряды по платью — темно-бурая.* — Достоевский принадлежал ко второму разряду арестантов гражданского ведомства. Арестанты этого разряда носили серую пополам с черным куртку с желтым тузом на спине.

# 105

С. 216. …*в кордегардию*… — Кордегардия — помещение для военного караула (от *франц.* corps de gardes).

# 106

С. 216. …*коменданта, человека благородного и рассудительного*… — Комендантом омской крепости был полковник А. Ф. де Граве, по воспоминаниям старшего адъютанта омского корпусного штаба Н. Т. Черевина, «добрейший и достойнейший человек» (Рус. старина. 1889. № 2. С. 318).

# 107

С. 217. …*знаменитая келейная система*… — Система одиночного тюремного заключения. Вопрос об устройстве в России одиночных тюрем по образцу лондонской тюрьмы был выдвинут самим Николаем I.

# 108

С. 217. …*энервирует* — притупляет, изможда́ет (от *франц.* énerver).

## 109

С. 222. *«…возьми Христа ради копеечку!»* — По свидетельству жены писателя — А. Г. Достоевской, это автобиографический эпизод, он повторен в «Преступлении и наказании» (ч. 2, гл. II).

# 110

С. 224. *…кроме вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука — вынужденное общее сожительство.* — Мысль высказана уже в письме Достоевского 1854 г. к Н. Д. Фонвизиной; она же звучала в «Дополнении» ко второй главе «Записок», поданном писателем в цензурный комитет, где острог сравнивался с телегой, наполненной грызущейся сворой собак.

# 111

С. 225. …*от шестириковой сальной свечи.* — Так назывались свечи, продававшиеся на вес, по шести на фунт.

# 112

С. 225. …*язевый лоб!* — Язевый — клейменый.

# 113

С. 226. …*в нем фартикультяпности нет.* — Фартикультяпный — сделанный ладно, хорошо (см.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 228).

# 114

С. 226. …*птица каган.* — По народным поверьям — вещая, в просторечном языке арестантов омского острога — важная птица.

# 115

С. 227. …*крыночная блудница* — прозвище тех, кто попал в Сибирь за пустяковую вину.

# 116

С. 227. …*простокишу поел* — т. е. бежал из острога и тут же был пойманным.

# 117

С. 228. …*форштадт (нем.* Vorstädt) — предместье, слобода.

# 118

С. 228. *Чума бендерская!* — Народное наименование эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1765–1772 гг. в г. Бендеры.

# 119

С. 231. … *кондуктор.* — Кондукторами в военно-инженерных частях назывались унтер-офицеры.

# 120

С. 231. …*дворян они не любят — съесть рады.* — Слова Аким Акимыча почти дословно повторяют строки из письма Достоевского к брату от 30 января — 22 февраля 1854 г.: «…нас, дворян, встретили они враждебно и злобною радостию о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали».

# 121

С. 232. …*из кантонистов.* — Кантонист — солдатский сын, со дня рождения числившийся за военным ведомством и обучавшийся в низшей военной школе.

# 122

С. 234. *Сельница* — лоток.

# 123

С. 234. …*две «суфлеры»*… — Суфлеры — принятое среди арестантов название женщин легкого поведения.

# 124

С. 234. …*люди набухвостили* — налгали, насплетничали.

# 125

С. 235. *Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить!* — Двустишие из народной плясовой песни любовного цикла.

# 126

С. 235. *В брюхе-то у меня, братцы, сегодня Иван Таскун да Марья Икотишна…* — Этнограф С. Максимов писал, что так называли в арестантской среде болезни, зависящие от дурной и преимущественно сухой, «без приварка» пищи *(Максимов С. В.* Сибирь и каторга. 3-е изд. СПб., 1900. С. 161).

# 127

С. 238. …*из стародубовских слобод, бывших когда-то Ветковцев*… — Местечко Стародубье в Черниговской губернии и остров Ветка на реке Сож были центрами старообрядчества.

# 128

С. 238. …*единоверческая церковь*… — Единоверцами называли старообрядцев, объединившихся с православной церковью и подчинившихся Синоду.

## 129

С. 239. *…чрезвычайные начетчики…* — Начетчик — знаток и толкователь богословских книг.

# 130

С. 239. …*по смеху можно узнать человека*… — Эта мысль развита Достоевским в романе «Подросток» (ч. 3, гл. I).

# 131

С. 240. …*сибирки.* — Сибирка — верхняя одежда в виде короткого кафтана в талию со сборками и стоячим воротником.

# 132

С. 246. …*на абвахте, у сошек.* — Абвахта — устарелое написание слова «гауптвахта» *(нем.* Hauptwache); сошки — стойки, служащие подставками для ружей в караульных помещениях.

# 133

С. 246. …*рундом правил.* — Править рундом — проверять караулы.

# 134

С. 254. …*к полному числу палок.* — По уставу 1839 г. высшей мерой телесного наказания был приговор к шести тысячам шпицрутенов. Но в действительности негласно это количество было сокращено до трех тысяч.

## 135

С. 254. *…накануне наказания решился выпить крышку вина, настояв в нем нюхательного табаку*. — Достоевский вспоминает тот же эпизод в повести «Дядюшкин сон» (гл. XV). Крышка — мера вина, водки (по размеру крышки от фляги) *(обл., устар.*).

# 136

С. 257. *Мефитический (лат.* mephiticus) — удушливый, зловонный: Мефитис — древнеиталийская богиня, охраняющая от вредных испарений.

# 137

С. 257. *Майдан* — базарная площадь в станице *(тюрк.);* на воровском жаргоне — игорный дом или просто карточная игра.

# 138

С. 257. …*байгуши*… — Байгуш — кочевник, впавший в нищету *(казахск.*).

# 139

С. 263. *…перевод Нового завета — книга, не запрещенная в остроге.* — В секретном рапорте дежурного генерала Главного штаба Военного министерства от 11 августа 1850 г., посланном в Омск инспектору по инженерной части, объявлялось «высочайшее повеление» относительно выдачи книг лицам, отданным в военную службу и в арестантские роты за политические преступления: «Состоящим в арестантских ротах, кроме духовных книг, других не давать».

# 140

С. 263. …*всю Нагорную проповедь.* — В Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, гл. V–VII; Евангелие от Луки, гл. VI) изложены основные заповеди Христа.

# 141

С. 263. …*Иса святой пророк…* — Иса — Иисус Христос, в Коране он назван Мессия Иса, сын Марйам.

# 142

С. 264. *…что он сделал из глины птицу — в книгах написано.* — См.: Коран, Сура III, 43.

# 143

С. 265. *…Гоголев жидок Янкель, из «Тараса Бульбы»…* — «Длинный, как верста», Янкель фигурирует в гл. X–XI «Тараса Бульбы» Н. В. Гоголя. Молодой Достоевский работал над трагедией «Жид Янкель» (на тот же сюжет) (см.: наст. изд. Т. 1. С. 423).

## 144

С. 274. …*расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими.* — В Петербурге были три Мещанские улицы — Большая, Средняя и Малая. Они славились множеством притонов и распивочных заведений.

# 145

С. 275. …*нравственный Квазимодо.* — Квазимодо — герой романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», имя его стало нарицательным для обозначения физического уродства. В сентябрьской книжке «Времени» за 1862 г. Достоевский напечатал перевод романа Гюго со своим «Предисловием от редакции».

# 146

С. 275. *…чуть не Брюллов…* — К. П. Брюллов (1799–1852) — известный русский художник, выдающийся портретист. В. В. Стасов в «Русском вестнике» писал: «Портреты — самый многочисленный отдел между произведениями Брюллова. Они же, без сомнения, и самый важный», в портрете «талант Брюллова является в полном блеске и силе» (1861. № 10. С. 345).

# 147

С. 277. *…оно обращалось в какой-то бредень…* — Бредень — рыболовная сеть.

# 148

С. 280. *…жила одна дама, Настасья Ивановна — за свой подарок…* — Прототипом вдовы Настасьи Ивановны была, очевидно, Наталья Степановна Крыжановская (см. письмо ее к Достоевскому из Омска от 4 авг. — 10 сент. 1861 г. в кн.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 251–254).

# 149

С. 281. *Говорят иные — и величайший эгоизм.* — Намек на так называемую теорию «разумного эгоизма». Эта теория лежит в основе учения о морали просветителей XVII и XVIII вв., а также Л. Фейербаха. В России последователем ее был Н. Г. Чернышевский. В статье «Антропологический принцип в философии» он подробно рассмотрел побуждения, руководящие людьми, которые стремятся «служить чужому благу», (см.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950. Т. 7. С. 282).

## 150

С. 283. …*в швальни*… — Швальня — швейная мастерская.

# 151

С. 283. *Цейхауз* — или цейхгауз *(устар. нем.* Zeughaus) — военный или вещевой склад.

# 152

С. 284. *Без меня меня женили — Я на мельнице был.* — Известен целый ряд плясовых припевок и частушек, начинающихся с этих слов.

# 153

С. 285. *…не ходи в карантин, не пей шпунтов, не играй на белендрясе…* — Карантин — огороженное здание, где содержались арестанты, изолированные по каким-либо причинам от остальных; шпунты (*нем.* Spund) — затычки, которыми закрывали бочки с неперебродившим вином, пить шпунты — пить прямо из бочки; играть на белендрясе — играть пальцами на губах, в переносном смысле — пустословить.

# 154

С. 286. *Погодя того немножко, Ак-кулинин муж на двор…* — Строки из шуточной плясовой «Как со вечера пороша нападала хороша».

## 155

С. 287. *Называли его пионером…* — Пионер — солдат саперной части инженерных войск.

# 156

С. 287. …*талиновые чубучки*… — Талина (тальник) — кустовая ива.

## 157

С. 288. …*шапка гречневиком.* — Гречневик — хлеб из гречневой муки в виде конуса. Крестьянские войлочные шапки по форме напоминали гречневик.

# 158

С. 289. *Стрепета!* — Стрепет, или свистокрыл, — степная птица из рода драхв, производящая при полете резкий шум крыльями; стрепетать — шуметь.

## 159

С. 289. …*маленькую кокору*… — Кокора — комлевая часть ствола, загнутого в виде крюка; кокоры кладут на днища барок в поперечном направлении.

# 160

С. 293. …*шабашное время*… — Шабаш — субботний отдых, предписываемый иудаизмом; в просторечии — окончание работы, свободное от работы время.

# 161

С. 299. *…про Наполеона спросить — в двенадцатом году был?* — Наполеон III (1808–1873), племянник Наполеона I, был с 1848 г. президентом Второй республики во Франции, а в 1852 г. провозгласил себя императором.

# 162

С. 300. *…про графиню Лавальер — Дюма сочинение.* — Лавальер, Луиза Франсуа, герцогиня де (1644–1710), была фавориткой Людовика XIV. А. Дюма упоминает ее в романе «Виконт де Бражелон». Роман же «Герцогиня де Лавальер» написан французской писательницей С.-Ф. Жанлис (1746–1830) в 1804 г., перевод его на русский язык впервые появился в 1805 г. и затем неоднократно переиздавался.

# 163

С. 304. *Они не люди слова — идут до самой последней стены…* — Сходный мотив см. в «Записках из подполья», где речь идет о «непосредственных людях и деятелях» (ч. 1, гл. III).

# 164

С. 307. …*в Ч-в.*.. — Имеется в виду Чернигов.

# 165

С. 307. …*в К-в.*… — Очевидно, в Киев.

## 166

С. 310. …*с кобылы снимали*… — Кобыла — столб с перекладиной, к которому привязывали наказываемого плетьми.

# 167

С. 310. *Балясина, как есть!* — Балясина — пустослов (от фразеологического выражения «лясы (балясы) точить»).

# 168

С. 314. *…пели все — переходя через Чермное море…* — Чермное море — Красное море. По библейскому сказанию, море расступилось перед евреями, когда они во главе с Моисеем уходили из Египта, и сомкнулось вновь, потопив их преследователей (см.: Библия, кн. Исход, гл. 14).

# 169

С. 314. …*Он навязывал наручники — какой-то деревянный ящичек.* — При утренней молитве евреи закрепляют на одной руке и на лбу выкрашенные в черную краску кожаные наглухо закрытые ящички — тефилин, в которых хранятся зачала Пятикнижия с заповедями о любви к богу и к ближним.

# 170

С. 315. *Куништик (нем.* Kunststück) — искусная махинация.

# 171

С. 320. …*послали в Р.* … Имеется в виду г. Рига.

# 172

С. 325. *«Ты что — перед зерцалом сидишь!»* — Зерцало — эмблема правосудия — трехгранная призма с указами Петра I о соблюдении законов; устанавливалась в судебных учреждениях.

# 173

С. 326. *…таких дней всего было три в году.* — Кроме рождества, праздничными в остроге были еще два дня пасхи.

# 174

С. 328. *…к рождеству всегда разбрасывали у нас по казарме сено.* — По преданию, младенец-Христос был положен матерью в ясли с сеном, отсюда обычай разбрасывать сено в рождество.

# 175

С. 332. *Яман* — плохо, дурно *(татарск.)*.

# 176

С. 332. *Я вечор млада…* — Песня «Я вечор млада» действительно была очень популярна. Ее использовал М. Балакирев в увертюре на темы трех русских песен.

## 177

С. 333. *Свет небесный — и т. д. …* — Строфы из народной песни «Не в Москве, не за Москвою» (см.: Великорусские народные песни / Изд. А. И. Соболевским. СПб., 1895. Т. 2. № 399).

# 178

С. 333. *Не увидит взор мой той страны — Меня не будет там.* — Строфы из стихотворения И. И. Козлова «Добрая ночь» (вольный перевод 13-й строфы первой песни «Чайльд Гарольда» Байрона), переосмысленного в устной традиции.

## 179

С. 340. …*представление в нашем театре*. — Ш. Токаржевский пишет, что в качестве режиссера театрального представления был приглашен Достоевский (см.: Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 506).

# 180

С. 341. *…и создалась афишка.* — Токаржевский приводит текст начала этой афишки (см.: Там же. С. 506–507).

# 181

С. 342. *…в городе не было театра.* — Действительно, в Омске в середине XIX в. театра не существовало.

# 182

С. 342. …*«Филатка и Мирошка соперники»*. — «Филатка и Мирошка соперники, или Четыре жениха и одна невеста» — широко популярный водевиль актера петербургского Александрийского театра П. Г. Григорьева 2-го (1807–1854), вошедший в репертуар с начала 1830-х годов и упомянутый еще в «Невском проспекте» (1835) Н. В. Гоголя; водевиль этот был знаком Достоевскому до каторги; о нем говорится в объявлении о выходе альманаха «Зубоскал»: «В театре смеются, когда „Филатку“ дают» (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 18. С. 5).

# 183

С. 343. *…платье с фальбалой…* — Фальбала *(франц.* falbala) — оборка.

# 184

С. 343. …*«Кедрил-обжора»*. — Текст интермедии «Кедрил-обжора» неизвестен. А основе ее лежит «Отрывок из комедии о Дон-Яне и Дон-Педре», приведенный в сборнике «Русские драматические произведения 1672–1725 годов», изданном Н. С. Тихонравовым (СПб., 1874. Ч. 2. С. 240–249). Дон Педро со временем превратился в Педрило, а затем в Кедрила (см.: Русская народная драма XVII–XX веков. М., 1953. С. 326–328).

# 185

С. 349. …*на московском и петербургском театрах — столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже…* — Водевиль «Филатка и Мирошка соперники» ставился на сцене Александрийского театра в Петербурге с 1831 г. В нем дебютировал А. Е. Мартынов. На сцене Малого театра в Москве роль Филатки исполнял П. С. Садовский.

# 186

С. 351. *…крайнего щегольства и фешени.* — Фешень *(англ.* fashion) — стиль, фасон, мода.

# 187

С. 353. *…другой фантом тоже с фонарем на голове…* — Фантом *(франц.* fantôme) — призрак, привидение.

# 188

С. 354. *Оркестр начинает камаринскую — услыхал ее у нас в остроге.* — Камаринская — одна из наиболее любимых народом песен с явным антикрепостническим содержанием (см.: *Адрианова-Перетц В. П., Путилов Б. Н.* Народное поэтическое творчество времени крестьянских и городских восстаний XVII в.// Русское народное поэтическое творчество. М.; Л., 1953. С. 364–365). На сатирический характер камаринской намекал Достоевский в «Селе Степанчикове и его обитателях» (см. с. 77). М. И. Глинка — автор «Камаринской», написанной для симфонического оркестра. Достоевский познакомился с музыкой Глинки в 1849 г.

# 189

С. 354. *Начинается пантомина под музыку.* — Сюжет этой пантомимы был широко известен, он сходен с эпизодом «Ночи перед рождеством» Н. В. Гоголя.

# 190

С. 356. …*донцо валится*… — Донцо — доска, на которой сидит пряха, втыкая в нее кудель.

## 191

С. 356. …*раздается «Солнце на закате»*… — «Солнце на закате, время на утрате» (1799) — песня С. Митрофанова. Фольклоризированный вариант ее был чрезвычайно распространен (см.: Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1963. С. 179, 180, 989).

## 192

С. 357. …*военный госпиталь — в полуверсте от крепости.* — Деревянное здание госпиталя сохранилось. В нем и сейчас помещается один из корпусов госпиталя (см.: *Юрасова М.* Узник Мертвого дома // Сибирские огни. 1956. № 1. С. 133).

# 193

С. 360. …*Т — к*… — Имеется в виду Тобольск.

# 194

С. 378. …*«свежо предание, а верится с трудом»*… — Строки из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (д. II, явл. 2).

## 195

С. 383. *«…умеешь вот такой-то стих наизусть?»* — Имеется в виду молитва «Отче наш».

# 196

С. 386. *…напоминающее маркиз де Сада и Бренвилье.* — Сад, Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де (1740–1814), французский писатель. Для его романов характерно сочетание изображения утонченной жестокости и разврата, которое получило название садизма. Бренвилье, Мария Мадлена, маркиза де (1631–1676), известна как отравительница, наслаждавшаяся муками своих жертв. В статье 1861 г. «Ответ „Русскому вестнику“» Достоевский упоминал эти же имена в связи с характеристикой героини «Египетских ночей» А. С. Пушкина Клеопатры.

## 197

С. 393. …*наше нещечко*… — Нещечко — сокровище *(укр.)*; здесь употреблено в ироническом смысле.

# 198

С. 397. *…у генерала Кукушкина служит.* — В арестантской среде существовала легенда о бродяжьем генерале (иносказательное название кукушки), сзывающем весной бродяг к себе на службу (см.: *Крестовский В.* Сочинения. СПб., 1898. Т. 1. С. 193).

## 199

С. 403. …*за сто раков.* — Рак — в просторечии десять рублей (десятирублевые ассигнации печатались на красной бумаге).

# 200

С. 403. *На торбе — играл.* — Торба — очевидно, искаженное «торбан» — струнный щипковый музыкальный инструмент, напоминающий бандуру *(итал.* tiorba).

# 201

С. 407. *«Не хочу в ворота, разбирай заплот!»* — Заплот — забор, деревянная сплошная ограда из досок или бревен.

# 202

С. 411. …*Робинзон Крузе*… — герой известного романа Д. Дефо «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (1719).

# 203

С. 413. *«Вы — железные носы, вы нас заклевали!»* — Железные носы или железноклюи — прозвище арестантов из дворян, возникшее от формы древнерусских железных шлемов с наносником (клювом), являвшихся привилегией знатных, именитых воинов.

# 204

С. 414. *«…но яко разбойника мя прийми»…* — строка из молитвы Василия Великого, 1.

# 205

С. 416. …*песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега.* — Левый берег Иртыша населяют казахи, которых в царской России называли киргиз-кайсаками.

# 206

С. 433. *…орел (карагуш)…* — Карагуш — слово казахского происхождения (каракус).

# 207

С. 442. …*поссорь, боже, народ, накорми воевод.* — Вариант старинной пословицы: «Помути, бог, народ, накорми воевод» (см.: *Даль В.* Пословицы русского народа. М., 1957. С. 173).

# 208

С. 454. …*У-горск*. — Имеется в виду Усть-Каменогорск.

# 209

С. 456. *…большая масса ссыльных дворян…* — Достоевский говорит о декабристах.

# 210

С. 458. …*в то недавнее давнопрошедшее время*. — В данном случае Достоевский говорит, что он описывает старые каторжные порядки, которые теперь уже изменились к лучшему; этот прием — одна из «цензурных уловок» Достоевского.

# 211

С. 458. *…три дочери генерал-губернатора…* — Генерал-губернатором Западной Сибири до 1851 г. был П. Д. Горчаков (1789–1868), у него было четыре дочери. По свидетельству Мартьянова, трое из них приезжали к отцу в Омск погостить (см.: *Мартьянов П. К.* Дела и люди века. СПб., 1896. Т. 3. С. 247).

# 212

С. 458–459. *Вспоминаю теперь и мою первую встречу с плац-майором — р-р-розги!* — Сцена встречи политических арестантов плац-майором основана на автобиографическом эпизоде. Достоевский вспоминал: «Началось с того, что он (Кривцов) нас обоих, меня и Дурова, обругал дураками за наше дело и обещался при первом проступке наказывать нас телесно» (письмо к брату от 30 января — 22 февраля 1854 г.).

# 213

С. 460. *…при командире команды Г-ве.* — Ниже он назван Достоевским подполковником Г-ковым. Реальный прототип его — подполковник Гладышев — раскрыт в статье В. С. Вайнермана «Вновь о „секретах“ Достоевского» (Вечерний Омск. 1985. 9 марта. № 57).

# 214

С. 461. *Из инженеров — симпатизировавшие.* — Это был подпоручик К. Иванов (см. о нем: *Громыко М. М.* Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. Новосибирск, 1985. С. 56–61).

## 215

С. 461. *…кто-то уж успел донести!* — В воспоминаниях Мартьянова назван дежурный штаб-офицер полковник А. А. Мартин (правильное написание его фамилии Мартен), доложивший о «письменных занятиях» арестантов корпусному командиру (см.: *Мартьянов П. К.* Дела и люди века. С. 251).

# 216

С. 462. *«Je haïs ces brigands»*. — Эту фразу Достоевский повторил в рассказе «Мужик Марей», вспоминая свой разговор с польским революционером А. Мирецким (см.: Дневник писателя. 1876 г. — наст, изд. Т. 14).

## 217

С. 465. …*каптенармус*. — Каптенармус *(франц.* capitain d'armes) — унтер-офицер, ведающий хранением имущества и выдачей провианта.

# 218

С. 469. *…весьма пригожая девица, по прозвищу Ванька-Танька…* — *С* «Ванькой-Танькой» Достоевский встретился еще раз в Семипалатинске. По свидетельству А. Е. Врангеля, эта встреча послужила поводом для написания главы «Побег» (см.: *Врангель А. Е.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири. СПб., 1912. С. 67–70).

# 219

С. 475. *Якши! ух, якши!* — Якши — хорошо *(татарск.)*.

# 220

С. 475. …*йок?* — Йок — нет *(татарок.)*.

# 221

С. 477–478. *…между служащими военными — школьные товарищи.* — В Омске служили многие выпускники петербургского Главного инженерного училища, которое окончил Достоевский. Имеется свидетельство, что его посещал в остроге «товарищ по Корпусу Осипов» (Лит. наследство. М., 1956. Т. 60, ч. 2, кн. 1. С. 625). В списке кондукторов, зачисленных вместе с Достоевским в Инженерное училище в январе 1838 г., числился под номером пятнадцатым Павел Осипов (см.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 181; а также: *Громыко М. М.* Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. Новосибирск, 1985. С. 21–24).

# 222

С. 480. *Бедный Сушилов! он заплакал — вас-то каково потерять…* — Автобиографический эпизод; в письме к брату Достоевский писал: «Другой каторжный заплакал, расставаясь со мной» (письмо от 30 янв. — 22 февр. 1854 г.).

# 223

С. 482. *Приехала, напр<имер> Ристори — она в «Камме» в «Марии Стуарт»…* — Аделаида Ристори, она же маркиза Капраника дель Грилло (1823–1906) — итальянская актриса, гастролировала со своей труппой в Петербурге зимой 1860 г. Гастроли Ристори начались 1 декабря трагедией Э. Легуве «Медея» и написанной специально для нее трагедией Дж. Монталелли «Камма» (на сюжет из Плутарха). Затем Ристори играла в «Марии Стюарт» Шиллера, драме П. Джиакометти «Юдифь» и в «Макбете» Шекспира. Газета «С.-Петербургские ведомости» в еженедельном воскресном фельетоне «Петербургская летопись» последовательно сообщала о каждом выступлении итальянской актрисы (1860. 4, 11, 18 дек. № 265, 270 и 276). «Московские ведомости» поместили статью «Г-жа Ристори в Петербурге» (1860. 20 дек. № 276), подробно разбирали выступления гастролерши и журнальные фельетонисты «Отечественных записок», «Современника», «Светоча». Журнал братьев Достоевских во втором номере поместил статью А. А. Григорьева (?) «Несколько слов о Ристори».

# 224

С. 482. *…и пишет фельетон à la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях…* — Стремясь показать стереотипность обычных журнальных фельетонов конца 1850-х — начала 1860-х годов, Достоевский обращается за примером к фельетонам И. И. Панаева в «Современнике». «Приятели», «друзья», «знакомые литераторы» и просто «знакомые» — непременные персонажи чуть ли не каждого его фельетона. Камелии — нарицательное название женщин легкого поведения, вошедшее в употребление после появления романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1847), а затем и его одноименной драмы. Устрицы как один из символов гастрономической роскоши наряду со страсбургскими пирогами (Достоевский упоминает их ниже) постоянно присутствовали в фельетонах Панаева. Описывая праздничный вид Невского проспекта в фельетоне «Слабый очерк довольно сильной особы», он замечает: «…устрицы только что привезли, и привоз был отличный: устричные раковины валялись у дверей Милютиных лавок для соблазна прохожих <…> на полках были раздражающие вкус страсбургские пироги» (Современник. 1857. № 11. С. 88). В ноябрьских «Заметках Нового Поэта» за 1860 г. Панаев, перекликаясь с Достоевским, иронизирует над фельетонистом, считающим себя счастливейшим человеком в мире, если ему удастся напечатать хоть какую-нибудь новость, «хотя бы о привозе устриц», а на последних страницах «Заметок», точно забыв об этом заявлении, среди прочих «новостей» сам подробно описывает еще одно «небольшое заведение для устричных охотников» и даже советует содержателям его, «благоразумно уменьшившим цену на устрицы, не увеличивать неблагоразумно цены на другие яства» (Современник. 1860. № 11. С. 108–109, 131).

# 225

С. 483. *Антрепренер* — здесь в значении издатель. В «Униженных и оскорбленных» Достоевский о Краевском-издателе писал: «Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был только антрепренером? Он смекнул, что в литературе надо антрепренера…» (см.: наст. изд. Т. 4).

# 226

С. 483. *…там про добродетель и нравственность, а там про безнравственность…* — Рассуждением о «нравственности и безнравственности» посвящена большая часть октябрьского фельетона Нового Поэта (Современник. 1860. № 10. С. 390–395).

# 227

С. 483. …*случилось что-нибудь с Андрей Александровичем!* — Речь идет о редакторе «Отечественных записок» А. А. Краевском.

# 228

С. 484. *Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге…* — Автобиографический мотив. Достоевский, привезенный для поступления в Инженерное училище в Петербург в 1837 г., чувствовал себя здесь одиноким, тем более что приехавший вместе с ним брат Михаил был вскоре отправлен в Ревель.

# 229

С. 484. *…спешил с Выборгской стороны к себе домой.* — Выборгская сторона — один из окраинных районов тогдашнего Петербурга, отделенный от центральной части города Невой. Панаев в «Заметках Нового Поэта» противопоставляет великолепие Петербурга «бедным лачугам» Выборгской стороны (Современник. 1860. № 12. С. 393–397).

# 230

С. 485. *Если бы я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на — бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства — розог…* — Достоевский имеет в виду недавнее выступление Н. А. Добролюбова, который в статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (1860), настаивал на отмене телесных наказаний в гимназиях и полемизировал по этому поводу с Н. И. Пироговым, допускавшим сечение гимназистов розгами. Отношение Достоевского к этой полемике отразилось в набросках 1861 г. к неосуществленной статье о Добролюбове и Пирогове.

# 231

С. 485. *…образ покойного Фаддей Венедиктовича — написал «Выжигина»…* — Ф. В. Булгарин (1789–1859) — агент III Отделения, издатель-редактор официозной газеты «Северная пчела», которую вместе с Н. И. Гречем он издавал более 30 лет. Булгарин вел в «Северной пчеле» еженедельный субботний фельетон «Журнальная всякая всячина», который был посвящен в основном обличению литературных противников в неблагонадежности, а также беззастенчивой саморекламе. Булгарин был автором благонамеренных нравоописательных романов «Иван Выжигин» (4 ч. СПб., 1829), «Петр Иванович Выжигин» (4 ч. СПб., 1831) и др.

# 232

С. 485. …*Новый Поэт, наследовавший популярность Фаддея Венедиктовича четырнадцатилетним служением искусству…* — Достоевский считает началом «служения» И. И. Панаева искусству 1847 год, когда Панаев и Некрасов стали издателями «Современника».

# 233

С. 485. *…я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона…* — Перикл (ок. 490–429 гг. до н. э.) — древнегреческий государственный деятель периода расцвета! афинской демократии. Марий Гай (155-86 гг. до н. э.) — римский полководец и политический деятель. При римском императоре Нероне (54–68 гг.) усилилось преследование первых христиан. В 64 г. возникло, в частности, так называемое «Нероново гонение», когда римская христианская община за предполагаемое участие в поджоге Рима подверглась гонениям и кровавой расправе.

# 234

С. 485. *…в Швейцарию хочу бежать…* — Намек на строку из юмористического стихотворения Н. А. Некрасова «Говорун. Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина» (1843): «Бежать хотел в Швейцарию». Ср. «Зимние заметки о летних впечатлениях» (наст. изд. Т. 4).

# 235

С. 486. *…я записывался в библиотеке у Смирдина, но сапогов себе не покупал.* — Библиотека книгопродавца и издателя А. Ф. Смирдина (1795–1857) с 1832 г. находилась на Невском проспекте в доме лютеранской церкви св. Петра (ныне дом № 22/24). Посетителями ее были А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, В. Ф. Одоевский и другие известные писатели, поэты и журналисты. Бнблтлека выдавала книги и журналы для чтения на дому всем желающим по подписке.

# 236

С. 486. *…мы прочли с ней вместе историю Клары Мовбрай…* — Клара Мовбрай (или Мобрай) — героиня романа В. Скотта «Сен-Ронанские воды» (1823), упоминаемого Достоевским также в произведениях 40-х годов «Белые ночи» и «Неточка Незванова» (см.: наст. изд. Т. 2).

# 237

С. 486. *…мне приятно было читать «Kabale und Liebe» или повести Гофмана.* — Трагедия Шиллера «Коварство и любовь» («Kabale und Liebe», 1783) сыграла значительную роль в литературном формировании Достоевского наряду с другими драмами Шиллера. С «Коварством и любовью» имеет ряд сюжетных совпадений роман «Униженные и оскорбленные» (см.: наст. изд. Т. 4). Следы увлечения Гофманом отразились не только в ранних произведениях Достоевского («Двойник», «Белые ночи»); но, по замечанию Л. П. Гроссмана, «известное влияние Гофмана <на Достоевского> никогда не исчезало» *(Гроссман Л. П.* Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 112).

# 238

С. 486. *…с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу»*. — Неточная цитата из повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842).

# 239

С. 487. …*вовсе не Дон Карлосы и Позы*… — Дон Карлос и маркиз Поза — герои драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787), переведенной на русский язык М. М. Достоевским. Оба они часто упоминаются Достоевским — в статьях: «Г-н — бов и вопрос об искусстве», «Два лагеря теоретиков»; в письме к брату от 1 января 1840 г. и др.

# 240

С. 487. *Белья на нем почти тоже не было…* — Аналогичное замечание см. в рассказе «Господин Прохарчин»: «…можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче» (наст. изд. Т. 1).

# 241

С. 487. *…кучер, хлестнувший его один раз кнутиком…* — Близкий эпизод упомянут в первой (краткой) редакции «Преступления и наказания». Ср. также «Медный всадник» Пушкина.

# 242

С. 487. *Дома у него была старая тетка, родившаяся с зубной болью…* — Ср. рассказ «Скверный анекдот» (1862), где говорится, что жена отставного титулярного советника Млекопитаева была женщиной, «родившейся с зубной болью» (наст. изд. Т. 4).

# 243

С. 488. *…проговорил, как Валаамов осел…* — В библейской легенде ослица месопотамского волхва Валаама заговорила человеческим голосом, в чем Валаам усмотрел божественное указание (Библия, Числа, гл. 22, ст. 20–35). Выражение «валаамова ослица» употребляется иронически по отношению к неожиданно заговорившему молчаливому человеку.

# 244

С. 488. *И могло же войти ему в голову, что он — Гарибальди!* — В 1860 г. не было ни одного номера русской газеты или журнала без статьи об итальянских событиях и о Гарибальди. Ежедневно в газетах излагались новые подробности его биографии, его взаимоотношений с Кавуром и Виктором-Эммануилом. Фельетонист «СПб. ведомостей» даже объявлял о появлении в Петербурге «горчицы à la Garibaldi» (1860. 6 ноября. № 242). «Время» в своем первом номере в «Политическом обозрении» за 1860 г., большую часть которого занимает «итальянский вопрос», сообщало о триумфальном шествии Гарибальди на север Италии: «Вся Европа следила за этим шествием с самым напряженным любопытством <…> И деловой человек, и государственный муж, и простой работник, и поэт — в то время принимались за свое дело не иначе как с мыслью: что-то делает Гарибальди? что он потом станет делать?» (Время. 1861. № 1. С. 28).

# 245

С. 488. *Старик этот, которого тоже нужно отнести к замечательным субъектам доктора Крупова…* — Герой повести Герцена «Доктор Крупов» (1847) — врач-материалист, считающий, что все человечество больно безумием. Говоря о сходстве чиновников различных канцелярий с больными, Герцен писал: «Чиновничество (я, разумеется, далее XIII класса восходить не смею) есть особое специфическое поражение мозга, мне опротивели все эти журнальные побасенки, наполненные насмешками над чиновниками» *(Герцен А. И.* Собр. соч. М., 1955. Т. 4. С. 257).

# 246

С. 489. *…ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебницу*. — Максимилиановская больница для приходящих, основанная Обществом посещения бедных в 1850 г., находилась в Петербурге на углу Вознесенского проспекта и Глухого переулка (ныне угол пр. Майорова и пер. Пирогова). Лечебница состояла под покровительством герцога Максимилиана Лейхтенбергского и с 1853 г. носила название Максимилиановской.

# 247

С. 489. *Газетное объявление гласит, что найденные деньги отданы на хранение в департамент Управы благочиния…* — Вслед за первым газетным сообщением о «Новом Гарпагоне» — Соловьеве (С.-Петербургские ведомости. 1860. 10 дек. № 269), где действительно говорилось о передаче его денег в Управу благочиния, появилось второе — о том, что «у Соловьева осталось завещание, которым он отказал свое состояние детям какого-то господина, которые выросли на его глазах и у отца которых его принимали с радушием» (там же. 1860. 24 дек. № 281).

# 248

С. 489. *…в магазинах, за цельными, слегка запотевшими стеклами, загорелся газ.* — Панаев, описывая Невский проспект, замечает: «…в цельных стеклах магазинов светились и играли бронзы» (Очерки из петербургской жизни Нового Поэта. СПб., 1860. Т. 2. С. 78). На Невском проспекте газовое освещение появилось в 1839 г. Многие другие улицы Петербурга в 1860 г. переходили на газовое освещение. Так, в сентябре газеты сообщали, что оно появилось на Гороховой, Офицерской, части Вознесенского и Загородного проспектов.

## 249

С. 489. *Еще в сороковых годах меня называли и дразнили фантазером.* — Достоевский намекает на слова о нем Белинского, который писал, что кроме чрезмерной растянутости в «Двойнике» есть еще и другой существенный недостаток: это его «фантастический колорит». «Фантастическое в наше время, — писал далее критик, — может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведовании врачей, а не поэтов» *(Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 15. С. 41). Год спустя, в связи с «Хозяйкой», Белинский замечал, что автор должен издать необходимые пояснения и толкования «на эту дивную загадку его причудливой фантазии» (там же. Т. 10. С. 351).

# 250

С. 490. *Что ему за дело до этих камелий, Минн и Арманс?..* — В очерке Панаева «Камелии» фигурирует француженка Арманс (Очерки петербургской жизни Нового Поэта. СПб., 1860. Т. 1. С. 111). Возможно, Достоевский имеет также в виду фаворитку министра двора графа В. Ф. Адлерберга — Минну Ивановну Буркову, которую упоминают также Герцен и Салтыков-Щедрин. Имена эти употреблялись как нарицательные в «Униженных и оскорбленных» и в «Идиоте».

# 251

С. 490. …*ходил в театр смотреть «Жизнь игрока»* — «Тридцать лет, или Жизнь игрока» — мелодрама французского драматурга В. Дюканжа (1783–1833), пользовавшаяся большой популярностью на русской сцене.

## 252

С. 491. …*богатство его состояло в стенных часах, с гирями — давно уже стали и развалились.* — Возможно, эти часы поп пились в фельетоне Достоевского по аналогии с описанием комнаты Плюшкина в «Мертвых душах», где упомянуты «часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину».

# 253

С. 491–492. …*фигурка в синем мундире и красных панталонах — И дама с восторгом купила зуава.* — Зуавы (от зууа — название одного из кабильских племен) — французские колониальные войска, сформированные из жителей Северной Африки. Впервые подразделения зуавов были организованы в Алжире в 1830 г., позднее они участвовали в Крымской войне 1854–1855 гг.

# 254

С. 492. *…преследуемый памятью Шиллера, продаваемою мальчишками, к которой присоединился теперь и Виктор-Эммануил.* — В ноябре 1859 г. праздновалось столетие со дня рождения Ф. Шиллера (1759–1805), а в мае 1860 г. была 55 годовщина со дня его смерти. Панаев, упоминая темы, затрагиваемые фельетонистами, перечисляет: «…третий красноречиво распространяется о медальках о память Шиллера, которые разносятся теперь по всему Петербургу» (Современник. 1860. № 11. С. 108–109). Подобные же медали, очевидно, были выпущены п честь Виктора-Эммануила II (1820–1878), короля Сардинии, который стал королем Италии, объединившейся в 1860–1861 гг. под его властью. Газеты за ноябрь — декабрь 1860 г. были полны сообщений о почестях, принимаемых Виктором-Эммануилом от своих подданных.

# 255

С. 492. *…господин вершков девяти росту…* — В XIX в. рост обозначался вершками, которые отмерялись сверх двух аршин. Следовательно, рост этого господина был два аршина (71 смх2 = 142 см) девять вершков (4.45 смх9 = 40.05 см); всего около 182 см.

# 256

С. 492. …*поручику Живновскому*… — Живновский — персонаж «Губернских очерков» М Е. Салтыкова-Щедрина, упомянут Достоевским также во введении к «Ряду статей о русской литературе» (см.: наст, изд. Т. 12).

# 257

С. 493. *И какие, должно быть, они были в свое время дантисты.* — Дантист — сатирическое наименование полицейского, не брезгающего кулачной расправой. В смысле «зубодробитель», «герой зуборазрушающей силы» слово «дантист» впервые употреблено Гоголем в «Мертвых душах».

# 258

С. 493. *…я проходил по Вознесенскому проспекту*. — Вознесенский проспект (ныне проспект Майорова) — одно из излюбленных мест действия в произведениях Достоевского.

# 259

С. 494. *У Смольного монастыря…* — Смольный монастырь находился в удаленной части Петербурга, в другом конце городи по сравнению с Петербургской стороной.

# 260

С. 494–495. *Из мужицкой семьи выходит вдруг поэт, да еще какой; из специального заведения — мыслитель!* — Под «поэтом» Достоевский подразумевает А. В. Кольцова, под «мыслителем», возможно, — Н. Г. Чернышевского.

# 261

С. 495. *…бедность развивает человека, учит его иногда добродетели…* — Эту же «зернистую», по его определению, мысль повторяет Фома Опискин в «Селе Степанчикове» (1859): «…несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь» (см. с. 186).

# 262

С. 495. *Если б на свете везде пахло духами, то мы бы и не ценили запаха духов. О Кузьма Прутков, прими сей афоризм в число знаменитых фраз, изреченных твоею мудростию!* — В 1850-1860-е годы в журналистике были широко распространены мнимые цитаты и перифразы из Козьмы Пруткова. Ему не раз приписывали собственные иронические изречения Щедрин, Чернышевский, Некрасов, Добролюбов. Комическая бессмыслица каламбуров Пруткова часто подхватывалась газетными и журнальными фельетонистами (см.: *Бухштаб В. Я.* Русские поэты. Л., 1970. С. 218–219). В черновом наброске 1861 г. для предполагавшейся переработки «Двойника» Достоевский замечает: «Выдумывают каламбуры à la Кузьма Прутков» *(Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1971. Т. 1. С. 434).

# 263

С. 495. *…он извещает, что дороговизна петербургской жизни начинает возбуждать некоторые заботы в петербургцах.* — В фельетоне Панаев сообщает о дороговизне квартир в Петербурге, об увеличении цен на мясо и ссылается на «наблюдение петербургских хозяек» «об ежедневном уменьшении в своем объеме булок» (Современник. 1860. № 12. С. 406).

# 264

С. 495–496. *Он приводит, например, слух об учреждении Комитета народного здравия, в котором, за исключением докторов, будут заседать представители городских сословий, фабриканты и ремесленники.* — Начиная со слов «Комитета народного здравия…» — буквальная выписка из декабрьского фельетона Панаева.

# 265

С. 496. *Посмотрите на Комитет литературного фонда — прошлого года денег!* — Литературный фонд — вошедшее во всеобщий обиход неофициальное название «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Оно было учреждено в Петербурге в 1859 г., а самая мысль о его создании впервые была высказана А. В. Дружининым в «Библиотеке для чтения». Первое собрание общества состоялось 8 ноября 1859 г. под председательством Е. П. Ковалевского. 25 января 1860 г. А. Н. Плещеев писал Достоевскому: «…в Петербург очень успешно действует общество Литературного фонда <…> Оно уже имеет и довольно значительные суммы и назначило много пенсий». Во втором 1 номере «Современника» за 1860 г. в «Заметках Нового Поэта» приводятся сведения о денежных пожертвованиях и литературных чтениях в пользу «Общества». Протоколы заседаний комитета «Общества» печатались в газетах. С начала 1860-х годов Достоевский принимал живое участие в деятельности Литературного фонда (см. об этом: *Заборова Р. Б.* Достоевский и Литературный фонд // Рус. лит. 1975. № 3. С. 158–170).

# 266

С. 496. *…речь одного инженера, г-на Васильева…* — Речь инженера Васильева «Взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга» была произнесена в первом собрании инженеров и архитекторов в Институте корпуса путей сообщения.

# 267

С. 496. *…если б я был Иваном Александровичем Гончаровым, я бы написал каких-нибудь полтора печатных листика, так, чего-нибудь вроде отрывка…* — И. А. Гончаров обыкновенно задолго до публикации нового романа печатал из него отрывок, имеющий целостный характер. Так, «Сон Обломова» впервые был опубликован в «Литературном сборнике», изданном редакцией «Современника» в 1849 г. В 1860 г. в «Современнике» (№ 2) появился отрывок из романа «Обрыв» — «София Николаевна Беловодова».

# 268

С. 497. *В спорах голосисты — Станешь петь нам ты.* — Для своей пародии Минаев здесь использует размер и синтаксическое строение перевода Лермонтова из Гете («Горные вершины», 1840).

# 269

С. 497. *Есть наслаждение и в дикости лесов..* — Начальная строка заимствована из стихотворения К. Н. Батюшкова (перевод отрынка из IV песни «Чайльд Гарольда» Байрона), использованною Минаевым как основа для сатирического «перепева».

# 270

С. 497. *Есть упоение в софизмах Гымале.* — Гымале — псевдоним Ю. А. Волкова, сотрудника «С.-Петербургских ведомостей», где в 1860 г. он опубликовал серию обширных статей «Литературные впечатления» (20 июля. № 158; 5, 11 и 24 авг. № 170, 174 и 184; 20 и 30 сент. № 190, 212). Данная минаевская строка-сатирическая перелицовка начального стиха Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина («Есть упоение в бою…»).

## 271

С. 497. *Мил Воскобойников, сбирающий во мгле // Большую серию скандалов.* — Имеется в виду статья Н. Воскобойникова «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы!» (С.-Петербургские ведомости. 1860. 30 ноября. № 261).

# 272

С. 497. *…но ты, о критик — бов, // Для сердца ты всего дороже! — // И равный силами с тобой лишь, может быть,// Один Конрад Лилиеншвагер.* — Конрад Лилиеншвагер — сатирическая маска, созданная Н. А. Добролюбовым, подписывавшим так свои пародии в «Свистке» (о возникновении этого псевдонима-маски и произведениях Добролюбова, им подписанных, см.: *Бухштаб Б. Я.* Добролюбов — поэт // *Бухштаб Б.* Русские поэты. Л., 1970). В декабрьском номере «Современника» за 1860 г. целый раздел «Свистка» назывался «Неаполитанские стихотворения (написанные на австрийском языке Яковом Хамом и переведенные Конрадом Лилиеншвагером)». Предисловие к циклу заканчивалось похвалами автору и переводчику: «Мы должны сказать откровенно, — иронически писал здесь Добролюбов, — со времени такого рода творений Пушкина, Майкова и Хомякова мы не читывали ничего столь громкого, как стихотворения г-на Якова Хама в переводе Конрада Лилиеншвагера» («Свисток». С. 23–24).

# 273

С. 497. *Меня всегда возмущало, что его считают родоначальником литературных скандалов.* — Намек на статью «Отечественных записок» «Литература скандалов» (1860. № 10. С. 29–39). В упоминаемой выше статье «Перестаньте бить и драться, г-да литераторы!» Н. Воскобойников называет Нового Поэта «родоначальником скандального направления в литературе» (С.-Петербургские ведомое!и. 1860. 30 ноября. № 261).

# 274

С. 497–498. *Я отыскивал его между портретами г-на Краевского, г-на Старчевского — изданных г-ном Мюнстером и которых уже издано теперь, может быть, до ста лиц…* — А. А. Краевский (1810–1889) — журналист-предприниматель, умеренный либерал. А. В. Старчевский (1818–1901) — журналист; с конца 1840-х годов — помощник О. И. Сенковского по изданию «Библиотеки для чтения», затем фактический редактор этого журнала до 1856 г., с 1856 г. — редактор журнала и впоследствии газеты «Сын отечества» (до 1870 г.). А. Э. Мюнстер (род. 1824) — литограф. Издавал (первоначально отдельными выпусками) «Портретную галерею русских деятелей», в которую вошло 200 литографированных портретов с биографическими очерками (2 т. СПб., 1865 и 1869). О выходе очередных выпусков «галереи» постоянно сообщалось в печати начала 1860-х годов.

## 275

С. 498. Ода петербургских камелий Новому Поэту. — Эта «Ода» Д. Д. Минаева по форме пародирует ряд стихотворений Н. А. Некрасова.

# 276

С. 498. *Лишь о камелиях вышел с рассказами Новый Поэт.* — Среди «Очерков из Петербургской жизни Нового Поэта» (ч. 1–2. СПб., 1860) помещены: «Дама из петербургского полусвета», «Камелии», «Шарлота Федоровна» (последний очерк также посвящен истории одной из петербургских «камелий»).

## 277

С. 498. *Пусть враг прогресса — // Новый Поэт от хулы Аскоченского // Юных камелий спасет.* — В. И. Аскоченский (1813–1879) — реакционный публицист, редактор-издатель журнала «Домашняя беседа для народного чтения». В № 43 «Домашней беседы» за 1859 г. в статье «Аномалии в мире литературном», говоря о появлении в 1859 г. всевозможных юмористических листков: «Смех», «Пустозвон», «Сплетник», «Муха» и т. д., — Аскоченский сообщал, что «Муха» предлагает «безнравственный и соблазнительный рассказ под названием „Камелия“» (с. 411). В связи с этим фельетонист «Светоча» Д. Д. Минаев, иронизируя над Аскоченским, «смело и открыто нападающим на окаянный прогресс, цивилизацию и цивилизаторов», стремящихся к исправлению «некоторых заблудших овец, именуемых *камелиями»,* писал: «…сильно подействовал протест г-на Аскоченского на петербургских камелий. Они надели власяницы, постились, посыпали главу свою пеплом и в заключение попросили одного знакомого им поэта сочинить в стихах благодарственный гимн г-ну Аскоченскому». Далее приводится и самый «гимн» (Светоч. 1860. № 1. С. 57–63).

# 278

С. 498. *Пусть публицист занят делом Италии // — бое порицает весь свет. — // Вновь воспоет наши плечи и талии // Новый Поэт. —* Фельетоны Панаева помещались в «Современнике» обычно перед разделом «Политика», где постоянно уделялось пристальное внимание «итальянским делам». За этим же разделом часто следовал добролюбовский «Свисток», сатирические стихи и заметки которого были посвящены не только русским, но и международным вопросам.

# 279

С. 499. *…известная эпиграмма в прозе на г-на Краевского, помещенная в прошлогодней «Искре», если припомните, читатель, упоминала еще о г-не Перейре, г-не Дудышкине и сенсимонистах.* — «Эпиграммой в прозе» Достоевский называет сатиру М. Е. Салтыкова-Щедрина «Характеры» — одно из острых выступлений сатирика в «Искре» против «Русского вестника» и «Отечественных записок» (Искра. 1860. 22 июля. № 28). Исаак Перейра (1806–1886) — французский банкир и публицист. С 1829 по 1834 г. принадлежал к кругу сенсимонистов. Сен-Жерменская железная дорога, проданная с торгов братьям Э. и И. Перейра, положила начало их богатству. 2 июня 1860 г. в Петербурге состоялось «третье общее обыкновенное и чрезвычайное собрание акционеров главного общества железных дорог», на которое из Франции приехал И. Перейра. Протокол заседания, на котором выступал Перейра и где присутствовали многие тогдашние журналисты, печатался в газетах. Отчет о заседании был напечатан в июльских «Заметках Нового Поэта» (Современник. 1860. № 7. С. 137–139).

В «Характерах» Салтыков-Щедрин сопоставил политическую биографию И. Перейры и эволюцию А. А. Краевского как редактора «Отечественных записок». Сравнение это было навеяно помещенным в «Искре» «Письмом в редакцию», где Краевский осмеивался как автор, обиженный отказом «Искры» поместить его стихотворение «Чувства русского журналиста с капиталом при взгляде на банкира Исаака Перейру…» (Искра. 1860. 10 июня. № 22).

# 280

С. 499. *…в одном из прошлогодних объявлений об издании «Отечественных записок,» — отделом критики будут заведовать с будущего года г-да Дудышкин и Краевский.* — Объявление «Отечественных записок», подписанное: «Редакторы и издатели А. Краевский, С. Дудышкин», Достоевский иронически называет «историческим», подробно останавливаясь на критическом отделе этого журнала в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» (см.: наст. изд. Т. 12).

# 281

С. 499. *Он уже с лишком двадцать лет издает журнал,* — А. А. Краевский стал издателем «Отечественных записок» с 1839 г.

# 282

С. 500. *Укажут на «Библиотеку для чтения», скажут, что она явилась прежде «Отечественных записок» и издавалась тоже с аккуратностию, неслыханною до того в русской журналистике.* — «Библиотека для чтения» — ежемесячный журнал «словесности, наук, художеств, промышленности и мод», который выходил в Петербурге в 1834–1865 гг. Это был первый в России подлинный «толстый» журнал (до 30 печатных листов). Издавал его А. Ф. Смирдин, редактором же был О. И. Сенковский (до 1836 г. совместно с Н. И. Гречем). «Библиотека для чтения» положила, по оценке современников, начало «торговому», или «коммерческому», направлению в русской журналистике.

# 283

С. 500. *Но если г-ну Краевскому вздумается, напр<имер>, напечатать от своего имени в газетах письмо, и в этом письме он станет объяснять меру своего участия в издании «Энциклопедического лексикона»…* — Речь идет об «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами», обязанности редактора которого принял на себя вначале Краевский, что вызвало возмущение в широких литературных кругах.

# 284

С. 500. …*если бы сам Бекон издавал «Энциклопедический лексикон» с такой ответственностию, то и тот насмешил бы публику*. — Бекон (Bakon) Френсис (1561–1626) — английский философ-материалист, обосновавший индуктивный метод познания в науке нового времени.

# 285

С. 501. *Шекспир был великий поэт, но построить Петра в Риме он бы не взялся.* — В строительстве собора св. Петра в Риме (1506–1620) принимали участие многие великие зодчие, живописцы и скульпторы итальянского Возрождения, в том числе Микеланджело и Рафаэль.

# 286

С. 501. *Перекресток, где ракитка…* — Д. Д. Минаев приводит стихотворение А. А. Фета из цикла «Гадания» (1842).

# 287

С. 501. …*тихая грация этого стихотворения недоступна для коренного петербургского поэта*… — А. А. Фет (1820–1892) действительно не был коренным петербургским поэтом. Его молодость прошла в Москве, и лишь период его близости с «Современником» в 1850-х годах мог дать основание причислить его к петербуржцам.

## 288

С. 501. *«Переулок, где Фонтанка»*. — Пародия с «петербургским» колоритом Д. Д. Минаева на названные стихи Фета.

# 289

С. 501. *«Прогресс и ум во всем в нас видны — Прогресса, такта и ума»*. — Минаевский сатирический «перепев» стихотворения А. С. Пушкина «Простите, верные дубравы!» (1817), что подчеркнуто последней строфой, заключительный стих которой аналогичен по строению пушкинскому «Веселья, граций и ума».

# 290

С. 501. *Дюссо* (Dussot) — владелец известного петербургского ресторана на Большой Морской (ныне ул. Герцена), посещавшегося великосветской публикой.

# 291

С. 501–502. *На чтение публичных лекций // Талант мы рады поощрить…* — В февральском фельетоне «Современника» Новый Поэт, отмечая необычно большое число состоявшихся в Петербурге в 1860 г. публичных лекций, восклицал: «А лекций-то, лекций-то сколько! Лекции в Пассаже, лекции в зале 2<-й> гимназии… Все наши ученые и юные авторитеты читают теперь лекции». В марте он вновь возвращался к этому вопросу: «Никогда не были в Петербурге в таком ходу публичные благотворительные лекции, как в нынешнюю зиму».

# 292

С. 502. *Нас занимают виг и тори, // Рим и парламента азарт…* — Виги и тори — английские либеральная и консервативная политические партии. В декабрьском номере «Современника» за 1860 г. отдел «Русская литература» был занят статьей Н. Г. Чернышевского «Нынешние английские виги» (1860. № 12. С. 221–244). Итальянские события осенью 1860 г. были в центре внимания каждого политического обозрения в журнале любого направления, так же как и заседания английского парламента. «Отечественные записки» писали: «… окончились заседания английского парламента <…> кончилась сессия, которую англичане, избалованные своим государственным устройством, называют малоплодотворною в законодательном отношении, но которая для континентального наблюдателя, конечно, останется надолго очень памятна по своему огромному политическому значению» (1860. № 9. С. 65–66).

# 293

С. 502. *И что Каткову отвечает //В «Ведомостях московских» Тур…* — Евгения Тур — псевдоним писательницы графини Е. В. Салиас де Турнемир (1815–1892). С 1858 г. она печатала в «Русском вестнике» статьи критико-биографического характера. В 1860 г. вследствие полемики с Катковым о С. П. Свечниной Е. Тур покинула журнал Каткова с намерением основать свой собственный журнал «Русская речь». Здесь имеется в виду «Объяснение Евгении Тур» о газете «Русская речь» (Московские ведомости. 1860. 19 ноября. № 252). «Отечественные записки» по этому поводу замечали: «В Москве г-жа Тур заводит в пику „Русскому вестнику“ „Речь“, ну а дело известное, коли пойдет на речи, даму не переговоришь» (1860. № 12. С. 73).

## 294

С. 508. *Что сталось с Ицкой, нашим Крезом…* — Имеется в виду петербургский миллионер-откупщик Исаак Осипович Утин. Так же он назван в пародии Н. С. Курочкина «Не — Парус», которая частично приводится в «Письме постороннего критика»:

Перед ним волнуется и свищет
Неугомонная толпа,
А он, мятежный,
Ицку ищет,
Чтоб говорить про откупа.

*(Время. 1861. № 1. Отд. III. С. 55).*

Крез — последний царь Лидии (Малая Азия) (ок. 560–546 гг. до н. э.), один из богатейших людей древности, что сделало его имя нарицательным.

# 295

С. 502. *И как с привозным ut-diez'ом // В последний раз пропел Кравцов.* — Эти строки Минаева являются откликом на сообщения о теноре И. Кравцове, публиковавшиеся в тогдашней печати. «Прекрасный, как уверяют, тенор, обладающий, подобно г-ну Тамберлику, грудным ut-diez, — уже приехал», — сообщали «С.-Петербургские ведомости» (1860. 21 авг. № 182). В сентябрьских «Заметках Нового Поэта» приводилась биографическая справка. В ней сообщалось, что Иван Кравцов, окончив с отличием курс медицинских наук, занялся изучением музыки. Сначала пел в Петербурге как любитель, затем отправился в Италию, а в 1859 г. пел в Париже (Современник. 1860. № 9. С. 128). В ноябрьском фельетоне Панаева говорилось, что выступления Кравцова оказались неудачными. «Свой ut-diez г-н Кравцов <…> потерял на дороге из Парижа в Петербург» (Современник. 1860. № 11. С. 120). Фельетонисты других журналов горячо обсуждали провал Кравцова (Кравцов и новая нота // Отеч. зап. 1860. № 12. С. 55–56; Г-н Кравцов и пение в России вообще // Московские ведомости. 1860. 23 дек. № 279).

# 296

С. 502. *Что стоит гласного изгнанья // Из всех журналов Беллюстин.* — Священник и публицист *И. С. Беллюстин* (1818 (1819?) —1880) в «Журнале Министерства народного просвещении» в статье «Теория и опыт», высказываясь о проекте устава низших и средних училищ, писал: «Грамотность, как и всякое из средств, ко трое дастся человеку для личного употребления его, — дело ни великое, ни малое, ни доброе, ни злое, а совершенно безразличное», — и заключал: «… вместе с грамотностью развивались в народе не польза и благо, а зло и вред» (1860 № 10. С. 37, 43). «Свисток» в шестом номере сразу же откликнулся на это:

На грамотность ударил Даль —
И обнаружил много чувства
И остроумье, и мораль;
Но отразил его Карнович,
И против грамоты один
Теперь остался Беллюстин!

*(Современник. 1860. № 12. «Свисток». № 6. С. 34).*

# 297

С. 502. *…никто уже не читает // Ни Кушнерева, ни Дюма.* — Писатель И. Н. Кушнерев помещал бытовые очерки обличительного характера в «Искре» и «Веке». Они были собраны в книге «Очерки и рассказы» (М., 1862). Дюма — очевидно, имеется в виду Александр Дюма-отец (1803–1870), романами которого зачитывались во второй половине 1840-х годов.

# 298

С. 502. *…надо бы упомянуть о памятнике, который будет наконец воздвигнут Пушкину в саду бывшего Александровского лицея.* — В «Современнике» в февральских «Заметках Нового Поэта» сообщалось: «Пора бы, кажется, подумать о памятнике Пушкину. Года дна тому назад многие из наших известных литераторов горячо рассуждали о том, каким бы образом приступить к этому делу, покричали, потолковали — и разошлись…» (1860. № 2. С. 375). В ноябре 1860 г. «Московские ведомости» в разделе «Вести и слухи» оповещали читателей: «…разрешено поставить памятник нашему любимому и первому современному поэту (Пушкину) в Царскосельском саду» (1860. 16 ноября. № 249); об этом же слухе упоминает Новый Поэт (Современник 1860. № 12. С. 404). Памятник Пушкину работы скульптора Р. Баха был открыт в Лицейском саду в Царском Селе (ныне г. Пушкин) лишь 15 октября 1900 г.

# 299

С. 502. *…о воскресных школах, которые размножаются с такой быстротою…* — Движение в пользу организации воскресных школ возникло в конце 1850-х годов. Главное участие в нем принимала учащаяся молодежь. Революционно настроенная интеллигенция рассматривала их как один из возможных очагов антиправительственной пропаганды. Циркуляр Министерства внутренних дел от 22 марта 1860 г. впервые узаконил воскресные школы. К этому времени в Петербурге составился круг лиц, постоянно занимавшихся делами школ. При книжных магазинах Глазунова и Кожанчикова была открыта подписка для желающих помочь делу воскресных школ денежными взносами. «О подписке в пользу петербургских частных воскресных школ», открытой в конторе «Отечественных записок», сообщалось в «С.-Петербургских ведомостях» (1860. 1 сент. № 189). «Современник» постоянно информировал о вновь открывающихся школах (1860. № 7. С. 144; № 10. С. 394). О положительном отношении Достоевского к воскресным школам свидетельствует следующее газетное объявление: «25-го октября, в зале Пассажа, литературное чтение в пользу частных воскресных школ». Среди участвующих был назван Ф. М. Достоевский, который выступил с чтением главы из «Неточки Незвановой» (С.-Петербургские ведомости. 1860. 20 окт. № 228). В первом своем номере «Время» в разделе «Внутренние новости» высказалось в поддержку воскресных школ (1861. № 1. С. 15–16).

# 300

С. 502. …об *изданиях, предпринимаемых — для народного чтения…* — Проблеме чтения для народа посвящена статья Достоевского «Книжность и грамотность. (Статья вторая)», содержащая разбор проекта читальника Н. Ф. Щербины (см.: наст. изд. Т. 12).